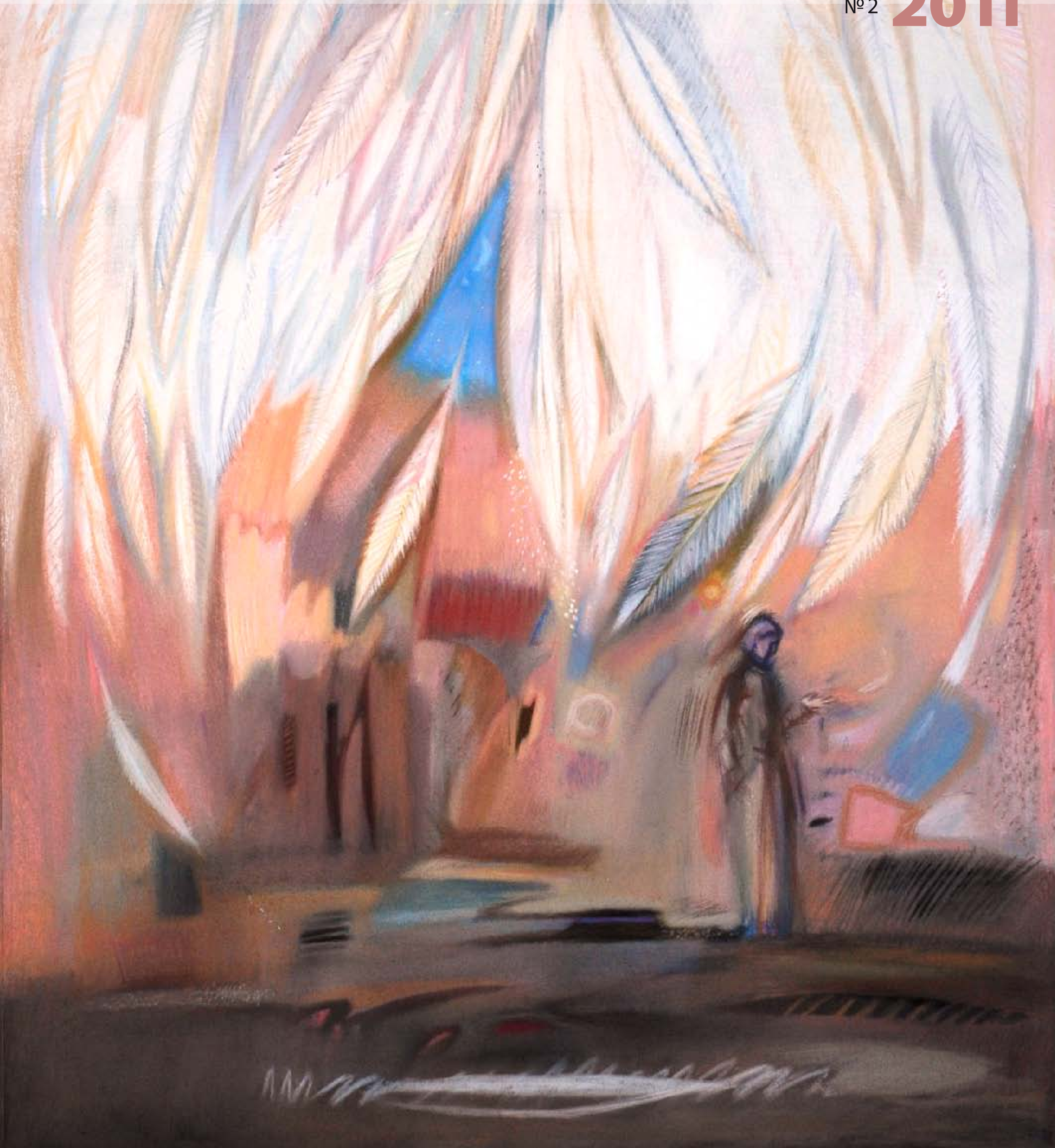
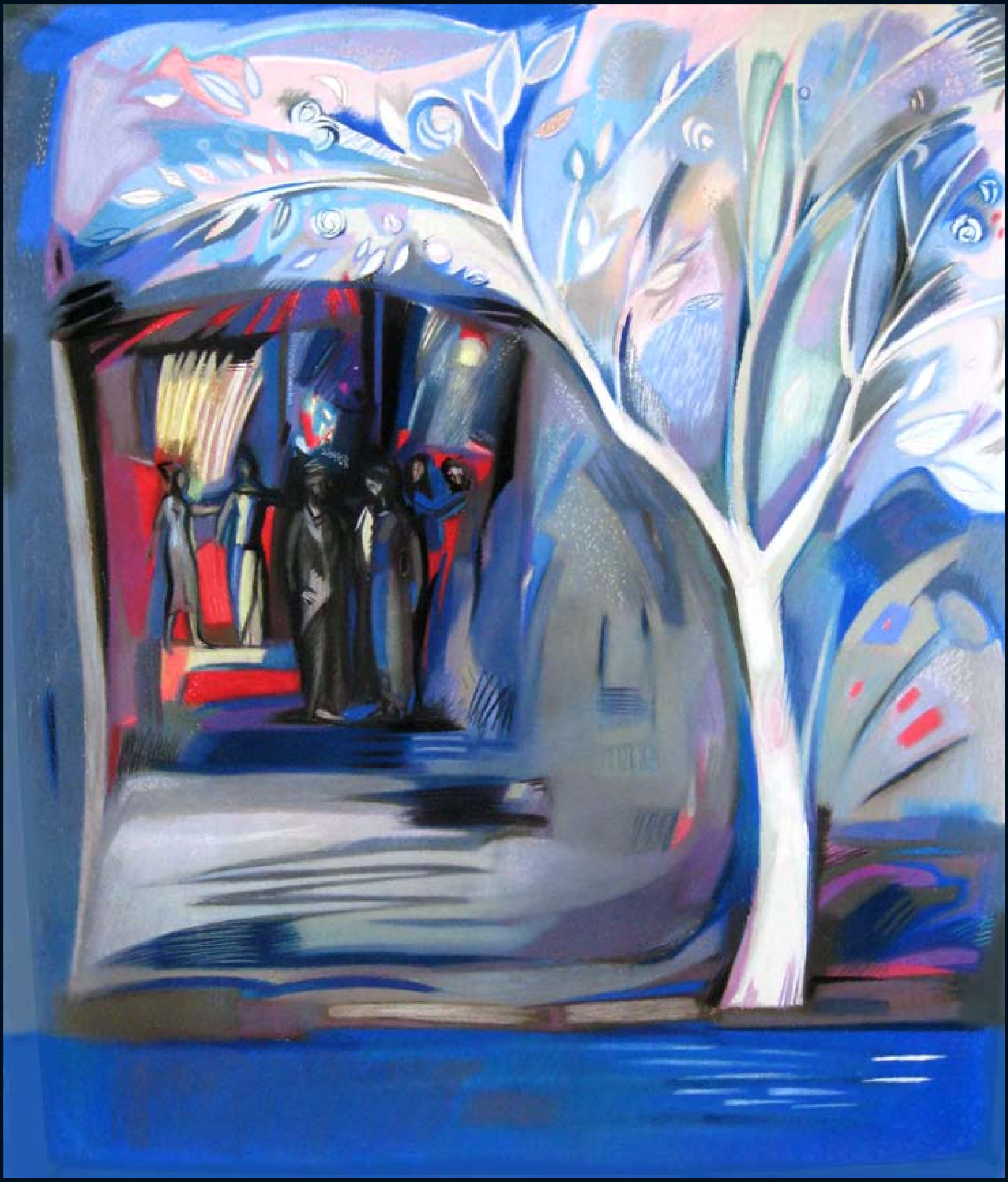
ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 2 2011





Румяна Внукова. «Псалом 1. Блажен праведник»

1 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в со-
брании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое,
и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. 4 Не так—нечестивые, [не так]: но
они—как прах, возметаемый ветром [с лица земли]. 5 Потому не устоят нечестивые на суде, и греш-
ники—в собрании праведных. 6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

ДЕНЬ и НОЧЬ
литературный журнал для семейного чтения
№ 2 (82) | март–апрель | 2011

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».
Е. А. Баратынский

В номере

ДиН галерея
Марина Москалюк
3 **Цвет и музыка древнего слова**

ДиН память
Николай Кавин
5 **Не надо камня-памятника, пусть живёт Астафьев!..**
Юрий Беликов
16 **На пути к Святому источнику**
Юрий Каминский
124 **Сердце-смычок**
Сергей Белозёров
126 **Среднерусская дорога**

ДиН публицистика
Сергей Есин
21 **Страницы дневника**
Варвара Юшманова
192 **История одной песни**

ДиН роман
Андрей Лазарчук
41 **Мой старший брат Иешуа**

Страницы Международного сообщества писательских союзов
Андрей Расторгуев
85 **В междувечье**
Геннадий Иванов
87 **Душа — на месте…**
Темур Амколадзе
89 **Цветок-бессмертник**
Станислав Бондаренко
95 **Камо летеши?**
Николай Зиновьев
99 **На чердаке**
Валерий Иванов-Таганский
101 **Грязь к алмазам не пристаёт**
Юрий Пахомов
110 **Вечер в Стамбуле**
Георге Раковицэ
117 **Покаяние**
Андрей Матях
122 **В одну и ту же реку**

ДиН притча
Владимир Любицкий
125 **В самолёте над Альпами**

ДиН проза
Татьяна Заворина
129 **Жизнь хороша, птички поют**
Евгений Лукин
177 **Памятник**

ДиН стихи
Жанна Лебедева
15 **Ленты игольчатых трав**
Владимир Кудрявцев
84 **С престола деревенского крыльца**
Александр Винничук
150 **Как на гравюрах Хокусая**
Лариса Дегтярёва
152 **На маленьком холсте**
Александр Кердан
154 **Перекрёсток**
Валерий Скобло
156 **Шаг вперёд**
Людмила Гайдукова
158 **На окраине жизни**
Антон Полунин
191 **чш**
Станислав Ливинский
196 **Звезда любви и смерти**
Дмитрий Мурзин
198 **Вариации**
Полина Кондаурова
200 **Другого мира сумрачный росток**
Ирлан Хугаев
202 **Быки и облака**
Марина Генчикмахер
204 **Родины нет**
Глеб Симонов
213 **Живущие у реки**

ДиН дебют
Андрей Оланов
206 **Глаза улиц**

Библиотека современного рассказа
Анастасия Астафьева
159 **Грустника**
Владимир Селянинов
175 **Смех нутряной**

Клуб читателей
Ульяна Лазаревская
205 **Привет из Сан-Франциско**
Борис Кутенков
208 **Лирическая дерзость и литературные ортодоксы**
Нина Ягодинцева
214 **Страна одинокого снега**

ДиН реплика
Дмитрий Косяков
109 **История храма в Барабаново**
Евгений Степанов
197 **Новый Союз писателей: надо работать!**

ДиН антология
Николай Гумилёв
121 **О высшей радости земли**
Александр Величанский
151 **Под музыку Вивальди**
Осип Мандельштам
234 **Высокая нежность грядущих веков…**

ДиН перевод
Венди Коуп
153 **Беспокойство**

ДиН ирония
Антип Ушкин
216 **Вкус жизни**

ДиН школа
Людмила Мыльникова
195 **Рубаи**
Павел Кулешов
217 **Концентрированная выразительность**

ДиН пьеса
Константин Миллер
235 **Горшочек каши**

ДиН дети
241 **Синяя тетрадь**

247 **Авторы**

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков
Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков
Сергей Кузнечихин

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Михаил Стрельцов

СЕКРЕТАРЬ

Наталья Слинкова

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Александр Ёлтышев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Илья Фоняков
Санкт-Петербург

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова
Заместитель председателя правительства Красноярского края

А. М. Клешко
Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края

П. И. Пимашков
Глава города Красноярска

Г. Л. Рукша
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использована картина Румяны Внуковой «Псалом 90».

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь»

или по электронной почте: kras_spr@mail.ru.

Желательны диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

БИК
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75[а],
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

Подписано к печати: 19.04.2011
Тираж: 1500 экз.
Номер заказа: 4290

Отпечатано в типографии ООО «Издательство ввв».
ул. Пограничников, д. 28, стр. 1.

Марина Москалюк

Цвет и музыка древнего слова

Откровения Твои — утешение мое.
Псалом 118

Псалтырь, Книга псалмов Давида, Книга хвалений, наверное, одна из самых популярных книг Священного писания, которая притягивает и древней непостижимой тайною, и удивительно современной жизненностью. В религиозном бытии иудеев и христиан Псалмы играли и играют исключительную роль, но нам не по силам раскрыть глубину их сакральной и богослужебной сущности… И всё-таки о Псалмах говорить хочется снова и снова. Поражает востребованность древних священных текстов светской культурой. 150 псалмов — «славословий» Господу, которые изначально исполнялись под аккомпанемент музыкального инструмента psalterion (отсюда их русское название Псалтырь) переводят, комментируют, перекладывают учёные и великие поэты. Только в России среди многих и многих можно назвать имена Симеона Полоцкого, Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, одно из ярчайших современных переложений — тексты Сергея Аверинцева. Псалмы поют монастырские и светские хоры, профессиональные композиторы создают на их основе оратории и симфонические поэмы, нередко цитируют строки псалмов рок-музыканты. Образность, яркость, духовная сокровищница Псалтыри — неисчерпаемый источник вдохновения и для художников, стремящихся в красках воплотить состояния души и движения мысли. Но каждая новая интерпретация у меня как читателя, слушателя, зрителя, вызывает настороженность и тревогу: при всей популярности тексты Давида *священны*, не будет ли очередная попытка поверхностной, случайной, легкомысленной?

Соприкасаясь с Псалтырью, понимаешь, что тексты псалмов метафоричны и символичны, но как визуализировать, найти зрительный эквивалент поэтической метафоре, поэтическому символу? Грешник — прах, взметаемый ветром с лица земли, но праведник «будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё, и лист которого не вянет», — заявляет в своём первом стихе псалмопевец. Сколько раз затем в мировой культуре за прошедшие после написания Давидовых псалмов столетия человека сравнивали с деревом? По Юнгу возник практически архетипический уровень образности. Дерево как символ роста и развития, символ укоренённости и прочности, дерево как символ жизни и принесения доброго (или пустого) плода… Дерево — понятный визуальный образ, но для художника-живописца символично не столько изображение само по себе, сколько символичен цвет. В христианской символике особое место занимает белый цвет. Он не просто один из многих других цветов, он есть символ Божественного нетварного света, переливающегося всеми цветами радуги, как бы содержащего в себе все эти цвета…

И вот на одной из наших красноярских выставок в отделении Академии художеств Румяна Внукова, автор, которого давно знаю и за творчеством которого наблюдаю с искренним интересом, представляет серию «Псалмы» из одиннадцати достаточно больших по размеру листов (72 × 62 см), выполненных пастелью. В листе к Псалму 1 «Блажен праведник» мы видим, как белое, стройное, искрящееся в тонких переливах цвета дерево взмывает вверх гибкие ветви с плодами-цветами, и в своей удивительной образности умиротворяет, наполняет душу чистотой. Свет, цвет, дерево-архетип сливаются в единый образ души праведника, язык древних слов обретает символическую визуализацию, текст переходит в новые зрительные категории восприятия, переживания, постижения.

Живописное переложение древних псалмов в пастелях Внуковой разбудило душу, заставило о многом размышлять. Вспоминается удивительное ощущение: в полупустых до открытия экспозиции залах как будто возник из небытия голос неведомого восьмиструнного инструмента Давида! Душа наполнилась звуками, то трепетными, чуть слышными, то ясными и прозрачными, то робко вопрошающими, то смело взмывающими в небо, редко тихими и спокойными, чаще грустными, чуть не трагичными. С удивлением открыла для себя, что, обращаясь в минуты разочарований и в моменты радости к этим текстам, я практически забыла, что изначально они пелись, ритмично переплетались с бряцаньем звонких Давидовых струн. Именно живопись, цвет возродили для меня музыкальность древнего слова. Представленное Румяной Внуковой на суд зрителей живописно-пластическое воплощение духовных гимнов заставило почувствовать, что источник языка подлинной поэзии, музыки, живописи в своей сокровенной глубине, в своей изначальности един.

Одухотворённость листов художницы, визуализирующих древние тексты, рождалась в живой вибрации сложных тонов, во вспышках и угасаниях цвета, в мягких мерцаниях и контрастных сопоставлениях бархатистых фактур особого живописного материала — пастели. Тональные гаммы, используемые художницей, расширяют границы нашего реального зрения до зрения духовного,

перекидывают мост от внешнего к внутренней пульсации произведения. Вся серия строится на сложных цветовых сочетаниях, воплощающих глубину размышлений о мире, о смысле жизни, о красоте и гармонии.

Отдельно хочется сказать о ритме. Поэтическая ритмика Книги псалмов Давида строится на повторах и параллелях, ритм логически заложен во внутреннюю структуру всякого высказывания в Библейском тексте. Но совершенно иной по своей художественной сути ритм — ритм живописного текста, найденный Румяной Внуковой, убеждает и покоряет зрителя. То гибкий, плавный, как мелодия скрипки, опоясывающий силуэты удлинённых фигур и фиксирующий границы цветовых пятен, то чёткий, складывающийся из повторяющихся линий и штрихов, как бы выверяющий структуру каждой из композиций. Цветовой и линейный ритм в серии «Псалмов», с одной стороны, абсолютно точно задаёт эмоциональный тон каждого отдельного листа, неповторимо-индивидуально выстраивается художницей для каждой композиции, но с другой стороны, именно ритм объединяет все листы единым дыханием в стилистически единое целое.

Изначальная противоположность света и тьмы заполняет всё человеческое бытие. В листе к 26 Псалму, начинающемуся текстом «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться?», тьма разрывается потоком света, за этим светом явно ощущается Творец, в этом свете покойно и радостно. Но рядом, совсем рядом — тьма. В мироощущении Румяны тьма не воплощает зло напрямую, скорее, таинственные вспышки цвета в глубоком тёмном фоне боковых полос вызывают ассоциации ночного неба, издавна поражающего и вдохновляющего людей. И всё-таки мерцающие фигурки людей (души людей?) в этой величественной космической тьме ночи ищут, ищут и жаждут света.

В живописном прочтении 41 Псалма «Что унываешь, душа моя?» красный поток цвета, воплощающий страдание («Слёзы мои были для меня хлебом день и ночь»), сливается с синим потоком, несущим ощущение небесного, жажды высокого («Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!»). И из слияния двух потоков красного и синего, соединения страдания и надежды, конца и начала рождается сложный фиолетовый, мерцает и переливается по всему листу.

Ещё активнее красный цвет выстраивает драматично-напряжённое эмоциональное поле листа, воплощающего скорбные строки 65 Псалма «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро». Да, на земном пути и горе, и страдание, и вряд ли кому удалось земных скорбей избежать. Но сверкают белые штрихи и линии, превращающиеся в священные потоки света. «Благословен Бог, Который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости Своей» повторяет вслед за псалмопевцем не только душа художницы, но и народы, сыны человеческие, так как лист «Ты испытал нас» самый многофигурный, хоровой.

Смысл каждого листа можно пытаться прочесть снова и снова. Румяна Внукова не ставит задач иллюстрирования поэтических текстов. Как говорит об этом она сама: «Псалмы ещё труднее описывать, чем собственные душевные состояния, но читая их, понимаешь, что это — твои слова». Псалмы ею духовно переосмысливаются и претворяются в новой живописно-музыкальной образности, через которую раскрывается весь спектр сложнейших человеческих переживаний: сосредоточенность и высокая печаль, разочарование и надежда, благодарность и хвала, изумление и вдохновение, доверие и почтение…

Современный человек погружён в обыденность как никогда прежде. В потоке недоделанного, недодуманного, недописанного вдруг возникает необходимость остановиться и понять, какими ритмами и категориями мы живём, чувствуем, мыслим? Как за суетой и спешкою не растерять и не выплеснуть главное, как соединить вчерашнее, сегодняшнее, будущее? И так нужно в такие моменты, чтобы звучали древние струны и стихи Давида, и так хочется, чтобы чаще встречались живописные просветления, подобные тем, что подарила нам Румяна Внукова.

P. S. Первая персональная выставка Румяны Внуковой состоялась в Красноярске в 1991 году, когда начинающему живописцу было только двадцать лет. Сейчас список выставок персональных, групповых, местных, всероссийских и международных вполне внушителен. Внукова — признанный мастер. Но с какой теплотой и почтением Румяна говорит о своих учителях: о любимом с детства педагоге, Алле Николаевне Орловой, о замечательных педагогах Красноярского художественного училища им. В. И. Сурикова Валерьяне Алексеевиче Сергине и Владимире Алексеевиче Белоусове. И, наконец, последняя ступень — мастерская живописи отделения «Урал, Сибирь и Дальний Восток» Российской академии художеств в Красноярске, где Румяну опекал и наставлял академик Анатолий Павлович Левитин. Кто знаком с красноярской художественной жизнью, сразу поймёт, почему Румяна Анатольевна так трепетно относится к своим учителям. И Орлова, и Сергин, и Белоусов, и Левитин — яркие личности, настоящие подвижники на художественной стезе. Наверное, не удивительно огромное значение художественной педагогики и в собственной судьбе Румяны Внуковой. Воспитывая в педагогическом университете будущих художников-педагогов, она отдаёт им полной мерою и душу, и творческие силы, и бесценный опыт. Мне неоднократно приходилось наблюдать, как ценят и любят её нынешние воспитанники. Педагогика и художественное творчество требуют полной отдачи, зачастую трудно совместимы, и только мужественным людям это удаётся. При всей утончённой эмоциональности Румяна — духовно сильный человек, и её обращение к библейским темам — полное тому подтверждение. Серии «Псалмы», «Притчи», «Часослов» создаются художницей годами, они не завершаются с окончанием того или иного листа, мировая сокровищница духовного опыта помогает жить и творить, даёт точки опоры в поисках Истины.

Николай Кавин

«Не надо камня-памятника, пусть живёт Астафьев!..»

Письма радиослушателей на «Радио России» после выхода в эфир передачи с участием В. П. Астафьева[1]

3 мая 2001 г.

(Письмо принесено автором в петербургский Дом Радио и опущено в ящик для корреспонденции)

Уважаемая редакция!
2 мая прослушал передачу «Беседы о культуре», в которой были представлены суждения писателя Виктора Астафьева о войне, о нашей истории. Передача, по-видимому, приурочена к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В конце передачи <…> прозвучало предложение написать о своих оценках суждений писателя Виктора Астафьева. И писать-то не хочется, но и промолчать-то нельзя по поводу всего услышанного, впрочем, услышанного не в первый раз. С творчеством Виктора Астафьева знаком давно, да и кто же в наше время не знает этого писателя, творчество которого столь широко освещается и в печати, и по телевидению (я бы даже сказал «пропагандируется»). В своём творчестве и в своих выступлениях, в том числе и в тех, что прозвучали в радиопередаче, писатель избрал такую позицию: быть вместе с народом, но против коммунистической партии. Это ложная позиция, которая привела писателя к необъективной оценке событий военных лет, позиция, которая фактически ставит писателя в положение человека, выступающего против народа, искажающего историческую правду.

Виктор Астафьев констатирует, что в войне победу одержал народ, но при этом закрывает глаза на то, что невозможно было одержать победу без огромной организаторской работы, которую вела партия в течение всех военных лет, будучи стержнем сопротивления врагу.

Небезызвестно высказывание писателя о героической обороне Ленинграда в дни блокады. Он утверждает, что город нужно было сдать врагу, избежав тем самым тех жертв, которые понесли горожане[2]. Мой ответ Виктору Астафьеву — это и ответ ленинградца, жителя блокадного города. В оценке ленинградского сопротивления, как и в оценке всей войны, писателю оказалось неведомо главное — понятие подвига. Война была подвигом нашего народа. Подвигом была и героическая защита Ленинграда. Виктор Астафьев в войне видит только страдания, кровь, потери, очень любит посмаковать ошибки, приводившие к потерям (а они, увы, тоже были неизбежны, особенно в начале войны). Для писателя не существуют понятия подвига, чести, а именно эти понятия были главными, определяющими весь смысл народного сопротивления, народного подвига во время войны. Народ готов был добиться победы, несмотря на всю тяжесть обрушившегося на него удара, несмотря на тяжёлые лишения, потери. На победу мобилизовала, к победе вела коммунистическая партия. Разделять здесь партию и народ, как это пытается делать Астафьев, — необъективно, нечестно. Ненависть к коммунизму, к советскому строю настолько застилает глаза писателю, что он теряет объективность, правдивость, присущую ему в осмыслении и изображении частных вопросов.

Встав на подобную позицию, писатель превращается в окончательно запутавшегося «пророка». Про таких людей справедливо говорят, что они «за деревьями не видят леса».

Впрочем, является ли случайностью то, что именно Астафьев присутствует в эфире, на телеэкране? Почему не Валентин Распутин? Почему не Владимир Бушин? Конечно же, нет, не случайность.

Идёт война, в том числе война с помощью средств массовой информации, и в этой войне творчество Виктора Астафьева — неплохое оружие для тех, кто стремится стереть, исказить историческую память народа.

Сегодня претендующий на «народность» писатель воюет против собственного народа.

Борис Королёв

1 мая 2001 г.

Здравствуйте, уважаемый Николай!
Отчества Вашего не знаю, к сожалению. Слышала передачу о Викторе Астафьеве, я неравнодушна к его творчеству. Хотелось бы прочесть его книги. Надо спросить в библиотеке. Пишет он

1. Рассказ радиожурналиста Николая Кавина о работе над радиопередачами с участием В. П. Астафьева читайте в «ДиН», №1, 2011 г.
2. Когда в одной из бесед с Виктором Петровичем я спросил его по поводу сдачи Ленинграда фашистам в годы блокады, то услышал: «Когда-то ленинградцы обиделись на то (мне приписали, конечно, это), что я, якобы, за сдачу Ленинграда в дни войны. Это большевистская, коммунистическая привычка — передёрнуть всё, чуть-чуть передёрнуть… А смысл меняется. Там в интервью было точно сказано. Я говорил (это интервью «Правде» было) о том, что, как любой художник, я постоянно занимаюсь изучением психологии нашего современного общества, и задавал разным людям вопрос (и ленинградцам, и не ленинградцам), что было бы лучше: сдать Ленинград или не сдать. Как видите, в интервью я говорил о том, что изучаю психологию, задаю вопросы. Ответов я не давал. А мне сразу приписали ответ, что я за сдачу Ленинграда фашистам…». (В. П. Астафьев. Война. Современный фашизм. Преступность. Литература. Беседа журналиста Н. Кавина. «День и ночь», 2002, №7–8, с. 3).

нефальшиво, без художественного вымысла. Очень близко моему сердцу его повествование. Особенно об его детстве. О матери, о бабушке и т. д.

Я тоже много вынесла из детства, грустного и смешного. Но это не сравнится с тем, как Виктор Петрович потерял мать в 6 лет. Это самая большая потеря для ребёнка. Можно недоедать, ходить плохо одетым, но рядом с доброй матерью этого не замечаешь.

Как моя мать тяжело переживала смерть односельчан (потому что своих много похоронила), и мне передалось это сочувствие.

Теперь и моему сыну. Он и старые фильмы смотрит со слезами на глазах.

Можно было б переделать словари и написать много интересного из своей жизни. Но я не уверена в том, что кто-то это опубликует. «Замылят» или выбросят. Хотя материал очень серьёзный. Не у всех жизнь гладкая. Но приходится нести это бремя. Самоубийством кончать нельзя, в ад попадёшь. В детстве много раз пыталась это сделать. Даже и будучи матерью. Но Бог отводил это несчастье. Частенько «допекают» непутёвые люди. Убивать их нельзя, в тюрьму попадёшь. А терпеть тяжело. Я только к 60-ти годам почти стала спокойно смотреть на свадебные торжества. А раньше без слёз не обходилось. Никогда не приходилось надевать свадебный наряд. Хотя заслужила это.

Извините за откровение.

Всего Вам доброго!

Анна Марковна Константинова,
г. Екатеринбург

---

2 мая 2001 г.

Уважаемый Николай Матвеевич, здравствуйте! 1 мая слушал вашу запись беседы с замечательным современным классиком отечественной литературы — с Виктором Петровичем Астафьевым.

Боже мой, какая же это прекраснейшая была беседа, какой замечательный праздничный подарок вы оба преподнесли радиослушателям. Будь бы вы рядом, я бы от души крепко-крепко обнимал бы вас обоих.

У меня нет слов, чтобы выразить своё восхищение этому величайшему гуманисту, философу, человечному человеку с огромным сердцем и с большой чистейшей душой.

Я не умею писать письма, мой лексикон скуп, но то, что меня потрясает до великой радости и влюблённости в прекрасное, я всегда воспринимаю с нижайшим земным поклоном и с сердечной благодарностью.

Спасибо огромное всем, кто принял участие в создании этой передачи. А песня меня тронула до слёз. Мелодия слилась со словами воедино, и голос пел проникновенно мягко и отменно.

…Вот всё, что я хотел написать вам в своём отклике на вашу радиопередачу о Викторе Петровиче Астафьеве.

Желаю вам успехов, новых интересных материалов. Крепкого вам здоровья и благополучия.

С уважением Пётр Павлович Кулешов
(г. Белгород)

1–2 мая 2001 г.

Здравствуйте, уважаемый Николай!

(Простите, что без отчества).

Во-первых, сердечное спасибо за передачу от 1 мая о Викторе Петровиче Астафьеве. Уже далеко за полночь, а я всё под впечатлением от передачи, в которой вы талантливо как журналист предстали перед радиослушателями и предложили написать Вам и через Вас письмо В. П. Астафьеву. Совсем недавно опять же через СМИ узнал о здоровье нашего прекрасного писателя. Опять же передача в праздник весны и труда подвинула меня написать, да и самому кое о чём задуматься. (Простите за ошибки — волнуюсь).

Я — Севалев Леонид Павлович — коренной северянин. Родился и большую часть жизни прожил и живу в Заполярье. По образованию педагог. Самого постигла беда — неблагополучие со здоровьем. Всего 20 дней, как выписался из больницы. Перенёс инсульт и ещё выкарабкиваюсь, т. е. лечусь. Работаю учителем русского языка и литературы, и сейчас очень переживаю за своих выпускников, одиннадцатиклассников. Спасибо им — они навещали в больнице почти каждый день. Надеюсь, что посещения их бескорыстны, хотя я и консультировал их, давал советы по предмету в оставшееся до экзаменов выпускных [время].

Я очень прошу переслать моё письмо Виктору Петровичу, так как очень ценю творчество этого русского прозаика и просто прекрасного человека. На протяжении уже многих лет я сам перечитываю произведения (особо близко и дорого мне его автобиографическое произведение «Последний поклон»). Каждый год провожу уроки, так как, слава Богу, произведения В. П. Астафьева включены в школьную программу. Часто рекомендую ребятам произведения писателя для самостоятельного чтения. Очень радуюсь, когда, прислушавшись к моим советам, мои школьники по-детски, по-доброму отзываются о прочитанных книгах. Иногда позволяю себе выразительное чтение страниц произведений моего соотечественника, глубоко проникающего через образы своих героев в сердца моих воспитанников.

Май — месяц, насыщенный праздниками (1, 7, 9, 28 мая). И особо трогает меня День Победы. Нельзя не согласиться с Виктором Петровичем, что пока косточки солдат не покоятся в могилах, всё — бравада произносящих по случаю часто бездушные слова о войне, отнюдь не искренние пожелания ветеранам мэров и чиновников различного ранга. Бог им судья. Моё же мнение солидарно с мнением Виктора Петровича. Да, присутствует сейчас агрессивность, имеют место факты надругательства над могилами. И добры, и честны, и порядочны те руководители, которые на деле, а не на словах следят за братскими могилами, организуют встречи с ветеранами и оказывают им по-настоящему адресную помощь. Мне, как учителю литературы, в силу специфики предмета приходится говорить о нравственности. И учить порой жизни не только на примерах из книг, но и говорить о жизни той, какая она есть. Я всегда благодарен администрации

школы, которая помогает организовать встречи не только по официальным датам, но и просто так, как говорится, по будням.

Уважаемый Виктор Петрович с супругой! Низкий вам поклон от учителя, простого человека, чьи родители уже умерли, но прошли через страшные испытания войной. Я родился через 8 лет после Великой Победы, а мог бы родиться и раньше, да ранение отца, инвалидность сделали то, что родился я через несколько дней после смерти Сталина, в марте 1953 года. И в этом году свои 48 лет я встретил с инсультом и на той же больничной койке, на которой 9 лет назад умирала моя мама — тоже участник минувшей войны 1941–1945 гг. (но это уже парадокс судьбы). Обидно только, что нет у меня материальных сил вместо могильного столбика установить памятник маме. Обращался я как-то к мэру с просьбой помочь мне с установкой скромного памятничка, но письмо пересылали из инстанции в инстанцию, и результат обычный чиновничий — «не положено», «нет закона». Папа мой, к сожалению, покончил с собой, но был он столяром, и его друзья смогли сделать деревянный памятник (не гниёт даже) со звездой. Вот и езжу я на 9 мая на могилки родителей: к столбику и скромному человечьих рук деревянному памятнику. А умер мой папа в канун тридцатилетия Великой Победы 5 мая 1975 года.

<…> И спасибо Вам, дорогой Виктор Петрович, за напутствие сходить в церковь помолиться по православному за упокой родных, да поставить свечу во храме за здравие и мир живущих.

Второй раз в жизни я пишу писателю, признанному. Не надеюсь получить ответ, хотя, что греха таить, мечтаю получить письмо, написанное самим автором моего любимого «Последнего поклона», автора «Печального детектива», «Царь-рыбы».

В 1998 году я с ребятами через Центральное телевидение послал поздравление с 80-летием Александру Исаевичу Солженицыну, но ни я, ни мои ученики ответа не получили. И мы не в обиде — настоящим творцам пишут много и далеко не равнодушные почитатели.

Вам же, Виктор Петрович, и Вашей замечательной супруге я искренне желаю по-прежнему не терять «интереса друг к другу». Дай Бог вам здравствовать, а если всё же недуг достанет, преодолеть его и жить, жить.

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Днём Победы. Хочется верить, что не вернутся 1937, 38 и другие годы, что образуется всё же жизнь в нашей многострадальной России. И, конечно же, опять дай Бог, чтобы Вы продолжали творить, писать, а Вам ещё о многом можно и нужно написать. Побольше замечательных книг подарите нам, живущим уже в третьем тысячелетии.

Храни Вас Бог. Здоровья и божьей благодати на благо России.

С любовью и сыновней преданностью
Леонид Павлович Севалев, г. Мурманск

7 мая 2001 г.

Дорогой Виктор Петрович!
Не поверите, но я хотела написать Вам много лет назад — тогда, когда прочитала Ваш «Последний поклон» в роман-газете. У меня возникло тогда непередаваемое чувство жалости, сострадания к сироте-ремесленнику, так сильно там передана тяжесть положения в стране, что сразу будто попадаешь в то время. Хотя мне было тогда 7–9 лет. Прожила я всю жизнь на Урале, но прочувствовала и видела всё: и подводы эвакуированных, и раненых из госпиталя, который открыли в школе, и бедность быта, и сиротство — отец ушёл на фронт в декабре 1941 года, а в марте 1942 года уже пропал без вести под Ленинградом. (Кстати, в январе 2001 года мне, наконец, сообщили, что группа «Поиска» нашла его останки, как теперь находят кости, — под деревней Глубочка Ленинградской области. Но, честно сказать, я искала его лет тридцать и теперь восприняла известие как ожидаемое).

Да, а тогда, читая книгу, я пролила много слёз над судьбой этого паренька (а думала — Вашей), особенно тогда, когда он последний раз встретился с бабушкой, которая была ему всем, которая теперь была ему по грудь. Особенно горько было читать, когда бабушку похоронили без него. Потом я всем рассказывала о книге, причём, четырём слушателям, повторяясь, не могла сдержать волнения и слёз, и каждый раз ревела.

Потом удалось купить «Стародуб». Тоже в нём поражалась тяжёлым судьбам людей, жестокостью жизни. Позднее прочитала трудное серьёзное произведение «Царь-рыбу», потом купила 2 сборника рассказов. Слышала о «Прокляты и убиты», почему-то кажется, что описаны там страшные события, что это что-то обвинительное и разоблачающее, что это о войне, или даже о таких, как мой отец. Наверное, её тяжело читать.

Я читаю, наверное, с 5 лет. Это были и «Анна Каренина», и Анна Караваева, и Никитин И. С., и Мельников-Печерский, и Вересаев. А потом «Тимур и его команда», «Егорка», «Васёк Трубачёв», «Зоя» Алигер. А ещё потряс роман «Молодая гвардия». Совершенно изумительные были произведения Кассиля, Катаева с их «Швамбранией» и «Парусом», «Дорогими мальчишками» и «Великим противостоянием». А уж потом были разные книги. А сейчас уже нет желания читать запоем. Видно, своё я уже прочитала. Мне 65. Извините за такое письмо. Я написала его, услышав только конец передачи о Вас, и воспользовалась предложением Вам написать, чтоб Вам высказать признание, глубокое уважение, преклонение перед Вашим талантом и той судьбой, которая Вам выпала.

Поздравляю Вас с Днём Победы!

Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, долгих лет жизни и творчества.

С поклоном

Черемных Маргарита Петровна
г. Озёрск Челябинской области

8 мая 2001 г.

Уважаемый Николай Кавин!
Извините пожалуйста за такое обращение, не знаю Вашего отчества. Прежде всего хочу поблагодарить Вас за повтор передачи о встрече с Виктором Астафьевым. В первый раз я её не слышала, может быть, забыла. А сейчас, когда я со слезами перечитываю письма не вернувшегося с фронта отца, все слова и мысли Виктора Петровича меня очень взволновали. Я очень благодарна ему за его правду о войне, за его боль о погибших, не вернувшихся, не похороненных, о неоправданных жертвах. Эта его боль — наша боль: вдов, матерей, детей. Боль не проходит с годами, она обостряется. Нет уже Константина Симонова, и правда о войне, боль за погибших, пожалуй, звучит теперь только из уст Виктора Астафьева. Как правильно, хорошо он сказал, что День Победы — это день поминовения и скорби, и надо в этот день сходить в церковь, поставить свечу за погибших.

Особенно больно тем родным, чьи отцы, мужья погибли, пропали без вести на территории бывших союзных республик и так не захоронены. В России в некоторых областях (Псковской, Новгородской) работают поисковые отряды, находят останки, медальоны, сообщают родным. В бывших республиках вряд ли, скорее всего, нет поисковых отрядов.

Мой отец Лебедев Аркадий Григорьевич из службы в армии сразу же попал на Юго-Западный фронт, воевал под Киевом (оттуда были письма, последнее было от 6 сентября 1941 года), там, видно, и погиб, хотя официально «пропал без вести». Нет его могилы. Потом я узнала, что погиб весь 135 пап, немцы, наверное, сровняли с землёй танками все трупы. К кому обратиться на Украине с вопросом о существовании там поисковых отрядов? Отца забыть невозможно. Больше всего на свете он любил свою маленькую семью и очень страдал, нестерпимо страдал вдали от неё. Письма были для него — жизнь. Из армии он прислал очень много писем, с фронта — 15. Как правильно рассказал Виктор Петрович Астафьев о том, что такое письма для солдат, о большой солдатской почте.

Уважаемый Николай Кавин, если Вам удастся ещё разговаривать с Виктором Астафьевым, передайте ему эту мою благодарность и поклон, а также пожелания хорошего ему здоровья и успехов. Я думаю, ко мне присоединятся все, потерявшие своих дорогих и любимых близких.

Извините за подробности.

И. А. Лебедева, г. Ярославль

---

30 мая 2001 г.

Здравствуйте, уважаемая редакция.
Мне 61 год. Я до сих пор, хоть и на пенсии, очень занятой человек. Но передачи, типа «Литературные чтения», слушаю с большим удовольствием, равно как и хорошую музыку классическую, или «Театр у микрофона».

Прочтение Виктора Астафьева глав, из его книги «Последний поклон» подкупает непосредственностью сюжета и, главное, языка с местными словечками и выражениями. После навязчивых бесконечных реклам, из-за которых я редко стала включать радио и телевизор, подобные передачи греют душу, веют свежим ветерком, заставляют расслабиться на несколько минут, поулыбаться, посочувствовать и т. д.

Сердечное спасибо В. Астафьеву от всей души. И вам, дорогая редакция, большое спасибо. Я вообще люблю передачи из Санкт-Петербурга (даже детские) за познавательность, корректность, высокий культурный уровень, где нет места низкопробности, банальности.

С уважением,

Долгушева Людмила Васильевна,
бывший инженер-конструктор,
г. Омск

---

4 июня 2001 г.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу выразить вам огромное спасибо за рассказы Виктора Астафьева, которые он читает сам. Ну, просто очень интересные, увлекательные. Я сижу дома, не работаю (так уж получилось), постоянно слушаю эти рассказы, а вечером, когда вся наша семья соберётся вместе, я их пересказываю, всем очень нравится — и детям (20 и 14 лет), и мужу. Во время прослушивания некоторых рассказов я даже плачу. Мне 43 года.

Особенно меня потряс рассказ о трёх малышах, которые пошли на пашню-поле к матери, и самый маленький потерялся.

Голос самого Астафьева — такой спокойный и очень приятный для прослушивания.

Спасибо вам, продолжайте, пожалуйста, и дальше эту передачу.

С уважением
Валентина Ивановна Скатская, г. Волгоград

---

6 июня 2001 г.

Уважаемый Виктор Петрович!
Уважаемая редакция, подготовившая такую замечательную передачу!

Большое вам спасибо за то удовольствие, которое я испытываю, слушая передачу в Вашем исполнении, Виктор Петрович. Каждый день я жду с нетерпением 14:30, а потом весь день у меня хорошее настроение. Даже забываю своё горькое житьё-бытьё на Украине. Я живу на Украине, но каждый год приезжаю на лето в Рязань, на свою историческую родину, и в сентябре опять уезжаю на Украину.

Я не критик и не могу выразить даже тысячную долю достоинства Вашей книги. Но попытаюсь, как могу.

Мне кажется, что если бы эти рассказы звучали в другом исполнении, они бы немного проигрывали. Нет, городской писатель не мог бы так писать. Я думаю, Вы либо родом с Урала, либо сибиряк. Как тонко и проникновенно Вы заглядываете в человеческую душу. Вы знаете обычаи, характеры, язык, диалект ваших героев. Точно Вы сами жили среди них. Каждое Ваше слово, каждое предложение

слушается с удовольствием. Хотя нет ни слов, ни предложений. Это — «золотые россыпи».

Как давно я не слышала и не читала ничего подобного. Только рассказы Паустовского (это моя настольная книга) доставляют такое блаженное спокойствие.

К сожалению и к моему стыду, я ничего о Вас не знаю и не знаю других Ваших книг. Пошла в сельскую библиотеку, книги «Последний поклон» нет. В районной — тоже нет.

Может быть, когда-нибудь мне удастся добыть Вашу книгу, хотя моя мизерная украинская пенсия вот уже несколько лет не позволяет мне покупать книги.

Слушая Ваши рассказы, я «вижу» и представляю всех героев. Я «вижу», как Колька доедает девятнадцатый блин, а Саньку — у костра. Какой добрый, мягкий и весёлый юмор.

А какое бесподобное Ваше чтение, Ваш голос и интонации. Такая передача — это находка для редакции.

Только радио иногда радует, а телевизор смотреть не хочется.

Похильченко Надежда Фёдоровна,
Рязанская область

---

6 июня 2001 г.

Уважаемая редакция!

С превеликим удовольствием слушаю передачу В. П. Астафьева «Последний поклон». Он прекрасный чтец. Замечательно читает. В определённых моментах смеюсь от души. Он артист в полном смысле.

Если у Вас будет возможность, передайте ему, пожалуйста, [спасибо] за прекрасный рассказ и чтение, за доставленное удовольствие. Желаю ему долгих лет в полном здравии.

Почему мне передача понравилась? Наша семья жила в войну в Красноярске, и когда мы там жили, мне был интересен язык, выражения местного населения. Виктор Петрович сейчас мне это очень напомнил.

Сейчас мне 79 лет. Вот и нахлынули воспоминания. Тяжёлое время было, а годы были молодые.

Уважаемая редакция, ещё раз Вас благодарю за передачу. Балуйте нас почаще такими передачами, нашими писателями, классиками, историческими передачами.

Будьте здоровы.

Удачи в работе, жизни.

Васильева Елена Васильевна,
г. Санкт-Петербург

---

7 июня 2001 г.

Дорогая редакция!

Слушаю «Последний поклон». Наслаждаюсь. Все дела откладываю. Ни одному артисту не прочитать *так!*

Каждое слово проходит через его сердце и отзывается во мне. Он любит родную природу, каждую травинку, свою бабушку, деда, соседей, мальчишек, учителей. Там он родился, вырос, прикипел душой к этой сибирской особенной красоте, где всё особенное, но это может увидеть лишь гениальный глаз, влюблённый навсегда в Сибирь, в свою Родину, где люди живут бедно, но эти люди прекрасны.

Хочется поклониться великому русскому писателю, поблагодарить его за то, что он создал, прочитал по-своему просто, но в этой простоте я услышала не то стон, не то сдержанное рыдание.

Дай Бог Вам здоровья, дорогой Виктор Петрович, долгих Вам лет!

Надеюсь, передачи будут продолжены.

Редакции спасибо.

Смирнова Юлия Григорьевна
г. Санкт-Петербург
Проработала 46 лет преподавателем литературы, сейчас — увы! — пенсионерка.

---

5 июня 2001 года

Здравствуйте, уважаемый Виктор Петрович!

Слушаю с огромным удовольствием отрывки из Вашей книги «Последний поклон». Слушаю, и у меня такое впечатление, что я с Вашими героями живу, дышу их воздухом, ихние проблемы переживаю, как свои. Всё настолько естественно и просто. Давно я не слушала и не читала такой красоты. Написано прекрасным слогом, и очень чистый и хороший сюжет. Спасибо Вам. Я Ваш талант смогу сравнить с Буниным. Вас, конечно, печатают, у Вас есть рассказы и повести. Но, к сожалению, я не знаю куда обратиться.

Несколько слов о себе: мне скоро будет 78, я сталинградка. Инвалид 2-й группы. Сколько пережито… Фронт и Сталинград, эвакуация. Город сгорел на глазах, и я [осталась] с больной мамой (у неё была стенокардия). По Оби плавала судовым радистом.

Не буду Вас утомлять. Мой жених погиб под Сталинградом, пропал без вести отец, умерла мама, и я осталась в этом жестоком мире совсем одна. Давно умер муж — 37 лет прошло. От обид и жестокости уехала из посёлка аэропорта. Вот здесь я сделала огромную ошибку. Я в аэропорту работала радисткой и телеграфисткой. Но я знаю, что мне жить осталось всего ничего, я больная: остеохондроз, ноги, печень, почки, а 5 ноября 2000 года я ослепла на 1 глаз. Нашла чужих людей, сделала завещание. Приходят 1 раз в неделю: моют пол, сходят в магазин — и за это спасибо. У меня нет ни сестёр, ни братьев и ни одного ребёночка не было, и родных никого нет.

Извините за откровение. Я люблю читать, с потерей глаза стало хуже. Если захотите мне ответить, буду Вам благодарна, а если не будет возможности написать, то не утруждайте себя.

Если напишете, то обязательно «заказным», у нас из ящиков всё вытаскивают.

Простите за плохой почерк. Одиночество переношу плохо.

До свидания.

С уважением: Зоя Алексеевна

Дай Бог Вам счастья!

P. S. Мой покойный муж жил с семьёй в Пулково, под Ленинградом. В блокаду умерли отец, мать, бабушка и сестрёнка, а его дистрофиком вывезли в Сибирь. Когда его откормили, врач нашёл, что у него туберкулёз, открытая форма. А я его полюбила.

Я у него была первая, он у меня — 2-й. Прожили с ним всего 4 года. Я его часто просила: «Поедем в Ленинград, возможно, могилки найдём». Но он сказал: «Не могу ехать в Ленинград». Я его очень жалела. Замены не нашла и не хотела. Он был красивый, эрудированный, и вообще лучше его не нашла.

Ещё раз извините.

Сундукова Зоя Алексеевна,
г. Волжский Волгоградской области

---

9 июня 2001 г.

<…> Сегодня 8 июня 2001 года закончилось чтение книги «Последний поклон». Отзвучал голос Астафьева на радио. (Здоров ли он?) А я жду: может ещё…

Вот эта жизнь, описанная в книге, — моя жизнь, моя судьба, моя страна (поскотина, сбор ягод, язык бабушки, живой образный, знакомый). Тот уклад жизни, в котором вырастали хлеборобы, хозяева, солдаты, таланты России.

Последняя страница — внук бабушки уходит в жизнь, но память, память даёт силы жить дальше: так окреп он в руках сильной мудрой сибирской женщины. Труженицы и умницы. Это могло быть моей судьбой, но всё оборвалось. 1929–1933 годы — страшные, голодные, жестокие годы XX века. Что вспоминаю? Расстрелы за озером непокорных мужиков, а такие были в нашей деревне. Насилия над женщинами, одинокими после репрессий, таких немало. Скитания по чужим углам, наш дом снесли. Всё, что могли, отобрали.

Дорога на ссылку — идём пешком за подводой, нас конвоируют комсомольцы, молодые активисты Советской власти. Ждём на станции (а нас шестеро детей, двое уже умерли из семьи). Вагон для ссыльных, темно, спим на полу. Уводят сестру матери конвоиры. Больше не увидим — их выбрасывают по пути на ссылку из вагонов, сколько их погибло.

На ссылке — север Урала, сопки, камень, тайга, болота, голод, холод и насилья. Зона северного Урала, ГУЛАГ под начальством Петра Ермакова, расстрельщика царских детей в Екатеринбурге. Умирает отец — 41 год (есть отчего умереть, везде трупы). Умирает за ним мама. Ей было 37 лет. От голода, жестокости. Умирает сестра Мария — 5 лет. Умирает брат Леонид — 7 лет. Убили на лесоповале братьев матери, в лесхозе, за то, что содержали в Зауралье мельницу. Один из братьев замёрз. Расстреляли отца матери в Кемеровской ссылке, ему было 84 года. Зимой 1932 года расстреляли мужа сестры — 37 лет. В Челябинской тюрьме. Оставалось ещё трое двоюродных братьев, но они погибли на войне, один под Ржевом в феврале 1942 года (погиб весь батальон).

Вся жизнь, начиная с 7 лет, прошла под страхом насилия, жестокости, гонения, нищеты, но теперь говорят: «Надо было всех их… Мало их вырезали» (Шандобин, Жириновский и др.) Нам не дано сочувствия, понимания.

Страшное место ссылки, теперь это город Карпинск на Северном Урале. Никто никого не хоронил. Умирали целые посёлки.

Никто не осудил, никто не сказал: «Осудите, люди. Не допускайте дальше — такого!»

И что с вами, старики, дети начала 30-х годов?

Все бегут по пути: «Создадим великую Россию!» Это при хамстве-то нашем?! А мы — опять серая пыль, мешаем под ногами. «Куда вы, старичьё?»

Уважаемый Виктор Петрович! В Вашей книге — чистая вода, родник, здесь величье простого народа, его дух, его крепость! Не надо камня-памятника, пусть живёт Астафьев. Будет живая память о простом человеке. Кто вы, господа, уложившие голодом и расстрелами Россию, ставшие хозяевами на этой земле?

Нестерова Клавдия Ивановна, г. Курган

---

10 июня 2011 г.

Дорогие работники радио!

Трудно оценить значение радио в моей жизни. Я без радио не могу. Я получаю от него эмоциональный заряд.

Мне удалось послушать несколько передач, где свои произведения читал Виктор Астафьев. Его голос — это целая радуга! Что я испытываю, когда любуюсь радугой? Красоту, священную чистоту, возвышенность, восторг, величественность, очищение, обновление. В голосе Виктора Петровича ещё слышится трепетность, целомудрие, любовь, нежность, сокровенность, мудрость. Речь звучит, как чистый родник! При этом ты испытываешь такое равновесие, как будто исполняются все твои желания! Ты счастлив!

Спасибо, спасибо, спасибо!

Валентина Потехина, скоро 60 лет, г. Пермь

---

13 июня 2011 г.

Здравствуйте, г. В. П. Астафьев!

Сегодня закончили передавать по радио Ваши рассказы из книги «Последний поклон», и я почувствовала себя осиротевшей. Много дней я жила счастливою жизнью вместе с Вами (в детстве) в сибирской деревне с Вашей бабушкой, дедом и односельчанами. Я купалась в море любви и счастья, которым была обделена последние два десятка лет, в любви к Вашим старикам, к России, к Отчему дому. Чистое наслаждение! А какой язык изложения! Хорошо, что сам автор читал свои рассказы. Никакой, даже самый талантливый актёр, не прочёл бы их так хорошо, как сделали это Вы. Спасибо Вам.

Мне 74 года. Я мать трёх детей и бабушка семи внуков. Вдова 20 лет. На мою старость выпало такое время, когда старость поругана, уничтожена, всеми неуважаемая. В театрах и по телевидению не найдёшь пищи для души. И вот Вы нас порадовали.

Я испытываю гордость за Вас и Ваш талант писателя, за Вашу любовь и доброту к прародителям, односельчанам, к родному краю, где Вы

родились, к людям, с кем вы жили и общались и к Отечеству нашему. Я за Вас счастлива, что Вы успели при жизни пережить это всё и рассказать людям. Спасибо Вам.

Как богата наша Родина талантливыми и добрыми людьми. И Бог радуется вместе со мной, он был свидетелем Вашей жизни и соучастником в Ваших делах. Слава Богу!

Я прожила свою жизнь тоже в этот период времени, и мне всё знакомо и понятно, о чём Вы писали. Я тоже свидетель этого Века и этого периода жизни в России. Десятки лет вела дневник. Когда отца взяли на Отечественную войну, он приказал мне дневник сжечь. Боялся репрессий. Ребёнок пишет всё, как видит, чувствует, бесхитростно. Это было опасно. Возобновила писать дневник в 60-е годы, у меня росли дети, и хотелось о них рассказать. Постепенно втянулась, и вот накопилось 7 общих тетрадей. Пишу о времени, о родителях, о детях и внуках. Жизнь меняется, не успеваешь переосмыслить. Я очень любила своих детей. Все они получили высшее образование, но не сумели в рыночных условиях реализовать себя в полной мере. Внуки-подростки, нынче трое будут поступать в вузы.

Слушая Ваши рассказы, я поняла, что никакие обстоятельства, времена, бедность или богатство не могут сделать человека счастливым, если он не умеет любить Отечество, родителей, детей, природу и не живёт в согласии с собой и с Богом.

Спасибо Вам, и низкий поклон за встречу с Вами на радио.

Будьте здоровы. С признательностью.

Цыпушкина Нина Николаевна,
г. Нижний Тагил

---

10 июня 2001 г.

Здравствуйте, дорогой и Родной по Духу брат Виктор Петрович!

Пишет Вам из Омска семья: Владимир Фёдорович и Валентина Алексеевна Деняк.

Дорогой Виктор Петрович, вот мы слушаем Вашу передачу уже который раз «Последний поклон», и как только услышим Ваш голос, всё бросаем и садимся слушаем.

Всё такое родное и дорогое сердцу, как будто ещё раз проживаем свою жизнь сначала, от детства до старости. Мы Ваши ровесники, тоже прожили несладкую жизнь, а поэтому нам всё то дорого, что Вы прожили и написали.

Боже мой, жить в таких трудных условиях, сиротой и не сбиться с пути, выйти в Большую жизнь Человеком с большой буквы—писателем.

А как читаете! Артист, да даже самый искусный артист так не прочитает ни одного произведения, как читаете Вы!

Желаем Вам, дорогой Виктор Петрович, здоровья, благополучия, долгих лет жизни, радости бытия и больших творческих успехов!

У нас есть книга «Сибирские рассказы», есть там и Ваши рассказы: «Игра», «И прахом своим», «Царь-рыба».

Мы—я и муж—тоже думаем о тех, кто прошёл войну и не вернулся с поля боя, ещё не узнав, что такое жизнь, защитили своими жизнями нас. И теперь на тех героических жизнях, что полегли когда-то, выросло молодое племя. Но оно не очень радует нас. Может, мы обиделись напрасно? Может, не правы?..

Дорогой Виктор Петрович, простите нас за просьбу, но очень хотелось иметь Вашу книгу «Последний поклон». Если это возможно, то вышлите по нашему адресу. Муж незрячий, и очень болят ноги, а потому мне, Валентине.

Простите, что попрошайничаю.

Целуем Вас крепко-крепко. И фото Ваше, и жены.

До свидания.

Деняк Валентина Алексеевна, г. Омск

---

14 июня 2001 г.

Уважаемая редакция!

От всей души благодарю за эти короткие, но чудесные минуты.

Среди гнусного, наглого, безграмотного «шумового оформления», называемого в последние годы радиопередачами…—услышать тихий голос любимого великого писателя—большая радость!

Уверена, что многие ленинградцы благодарят Вас за эти благостные минуты.

P. S. Слышал, что Виктор Петрович был очень болен. Как хочется пожелать ему сил и здоровья! Как страшно осиротеем мы без него!

В. П. Астафьеву

Астафьев любит одиночество…
Устал… А сердце всё ж в тревоге;
Ведь с патриаршего высочества
Видней и судьбы, и дороги.
И вопреки стандарту графьеву,
Кричу заблудшему народу:
«Учите русский по Астафьеву,
По Оде—просто—огороду!»
Давайте мы по-человечески
Вдохнём дымок родной Отчизны,
И воздадим в своём Отечестве
Пророку ну хоть раз при жизни!

Жданова Эмилия Дмитриевна, г. Ленинград

---

11 июня 2001 г.

Уважаемые Господа передачи «Радио России», благодарим вас за то, что вы есть!

Вся необходимая информация в наш далёкий край доходит всегда во время и в нужное время.

Спасибо вам за это.

Передача Астафьева Виктора Петровича нам понравилась, очень даже. Необыкновенный стиль. Слушаешь и видишь перед собой происходящее. И совсем не ощущаешь, что читает один человек за всех. Слушая эту передачу, мы получили истинное удовольствие.

Спасибо Вам, Виктор Петрович! Спасибо вам, уважаемые Господа работники редакции!

И ещё очень хочется слушать в Вашем эфире больше классической музыки, особенно по утрам и вечерам.

Жизнь наша сложна, скачкообразна, и только серьёзная музыка может нас успокоить и привести к серьёзным размышлениям, покою.

Мало национальной музыки. «Радио России», а русских песен почти нет, больше звучит зарубежной и не очень высокого качества.

Однако, при всех недостатках, Ваша передача уникальна.

Спасибо Вам!

С уважением

Налимова Екатерина Ильнична,
Приморский край

---

27 июня 2001 г.

Приветствую вас, друзья мои, питерцы!
Уже, наверное, с месяц времени промелькнуло с то поры, как вы перестали передавать по своему радио чтение В. П. Астафьева своей повести «Последний поклон», а я только вот собрался отзыв свой вам написать. Но лучше поздно…

Я — это Власов Павел Фёдорович — ветеран, инвалид прошлой проклятой войны. (Извините, что коряво пишу: я плохо вижу).

С большим вниманием и душевным удовольствием слушаю подобные вашей передачи. Слышал, как читает свои стихи Маяковский, С. Есенин, К. Симонов. Неожиданно своеобразно читал А. Твардовский своего «Тёркина на том свете». Потом слышал, как читал А. Солженицын фрагменты из «Красного колеса». В последнем мне нравилась его точность, документальность исторического повествования. Мой отец в 16–17 годах служил в Лейб-гвардии Павловском полку. В учебной команде в Петрограде. И я потом слышал отцовские рассказы о так называемой революции. Меня удивляло сходство рассказов отца и описанием А. Солженицына.

На мой взгляд, далеко не каждый автор может хорошо прочитать своё творение. Я думал, что артисты, мастера своего дела, могут прочитать гораздо лучше. Раньше я считал лучшим чтецом В. И. Качалова, затем нравилось слушать Москвина, Дм. Вик. Орлова, Яхонтова, а после, когда я услышал, как М. А. Ульянов читал «Тихий Дон», я был в восторге. Про себя подумал: если бы этот замечательный актёр не играл Жукова и там всяких председателей и пр., М. А. можно было бы присвоить «Народного» только за это чтение.

И вот, наконец, я слушаю, как читает Виктор Петрович Астафьев. Подобного я ещё не слышал. Каждый день я бросал все дела свои и усаживался слушать этого, по-моему, великого современного писателя.

Это как же надо любить всех окружающих тебя, и все предметы, и всю природу вокруг! У меня всегда прошибала слеза. Досадовал на то, что коротки были отрывки, всё бы слушал и слушал этот особенный, неповторимый сибирский шикающий говорок: пошшупал, шшучку, пымал…

Я не литератор и не критик. Не могу выразить своего восхищения и восторга от этого чистого, честного, обаятельного, человечного, мудрого и глубоко трогательно-душевного описания.

Был бы жив В. Лакшин, он бы по достоинству оценил и описал творчество этого выдающегося русского писателя.

Слышал, что Виктор Петрович прихворнул намедни. Дрогнул я душой. Дал бы Господь этому доброму, честному Человеку побольше пожить, без хвори и уныния и ещё порадовать народ наш своим прекрасным творчеством.

Если можно, то передайте Виктору Петровичу мой земной поклон и глубочайшее почтение.

Вам же, други мои, питерцы, сердечно благодарен за хлопоты и осуществление этой ценной передачи.

С глубоким уважением — старый солдат

Павел Фёдорович Власов,
г. Камышин Волгоградской области

---

24 июля 2001 г.

Уважаемый Виктор Петрович!
В июне сего года слушала по радио Ваши рассказы из повести «Последний поклон».

И вот какая удивительная история произошла со мной, что и побудило меня написать об этом Вам. Я отношу себя к тем, кто радио любит больше, чем телевидение.

И когда случается в радиопрограммах услышать записи в авторском исполнении, то бросаю все дела и слушаю. Однако знатоком художественной литературы считать меня никак нельзя. Базис держится на школьной программе (я ученица 70-х годов). С Вашим творчеством, к сожалению, была не знакома. И вот теперь, достигнув зрелого возраста, поняла, что «не добрала». И потянуло к чтению, причём рассказов о природе.

Пересматривая домашнюю библиотеку, обратила внимание на роман-газету 1971 года издания — «Последний поклон», Виктор Астафьев. Полистала и поняла, что это то, что мне сейчас нужно для души. Сразу приступила к чтению первых рассказов «Далёкая и близкая», «Зорькина песня», «Деревья растут для всех». И… О! Чудо! На следующий день слышу по радио Ваше чтение. Задаюсь вопросом: «Что это? Случайность или закономерность?» Почему так произошло? Это же не исполнение какого-либо современного шлягера, популярной песенки, которую можно услышать по радио и где угодно несколько раз в день. Значит, мне было задано стать Вашим читателем.

В последующем меня ожидал ещё один поразительный сюрприз. Если не ошибаюсь, это было чтение под порядковым номером 7 (счёт глав или радиопередач точно не знаю).

Слушаю очередную передачу, и вот, узнаю знакомый рассказ, который «запал» в память, потому что сцена семейного застолья, так живо описанная в нём, не может оставить равнодушным русского человека.

А этот рассказ в Вашем же исполнении я слышала по радио, может быть, два или три года назад.

Но имена автора и исполнителя остались загадкой, потому что слушала тогда радио в краткий рабочий перерыв.

Чувство сожаления о невозможности это узнать не покидало. И вот случай помог. И почему говорят, что чудес не бывает?

Признаюсь, что обратиться с письмом к писателю с известным именем лично решаюсь впервые, и благодарна «Радио России» за предоставленную возможность.

Спасибо Вам, Виктор Петрович, за Ваш жизненный труд и немалый вклад в отечественную литературу, который должен послужить ценным историческим материалом для будущих поколений России.

Маргарита Амелина, г. Курск

---

29 ноября 2001 г.

Виктор Петрович — умер!
Правильно сделал: на мразь такую смотреть — лучше помереть. Царствие ему небесное!

Шувалова Елена Юрьевна, г. Питер

И ещё одно письмо и открытка сохранились у меня из почты радиослушателей. Они датированы началом мая 1995 года и пришли после одной из передач, приуроченных ко дню рождения Виктора Петровича.

Уважаемый Виктор Петрович!
Я слышала Ваше выступление по радио сейчас, 3 мая 95 г<ода>, и вот — пишу.

Прошу прощения, если отнимаю у Вас время, постараюсь короче; моё мнение может быть Вам неинтересно, как мнение самого рядового среднего человека.

Я родилась и живу в Петербурге, мне 56 лет; родители всю жизнь работали в ВПК, они оба из поколения первых советских интеллигентов; деды и бабки — крестьяне. Я закончила сначала военно-механический институт, а затем художественное училище и работаю художником-конструктором. Никаких связей с элитными кругами — интеллектуальными или художественными — у меня нет. В общем, если анкета, то — нет, не имею, не была и т. д.

Наша семья во время войны пострадала меньше многих других, т. к. мы вместе с предприятием были эвакуированы из Ленинграда, правда, неудачно — в Сталинград. Я помню бомбёжки, помню, как дети бегали и кричали: «Фрицы идут, фрицы идут!», но страха не было, я была слишком мала. Боялась только отстать от поезда, когда нас везли в Сибирь (42 дня в теплушках).

Конечно, родителям досталось — кроме тяжестей кочевой жизни, отца ранили в Сталинграде, деда фашисты сожгли живьём (сожгли всю деревню — это на Смоленщине). Но всё же, это меньше, чем выпало на долю многим и многим.

Ребёнком я даже чувствовала себя неловко из-за того, что у меня жив отец — это была большая редкость. Я была самым что ни на есть советским ребёнком, ничего не знала о репрессиях (родители нас берегли), а позже — о диссидентах. Имела самые стандартные представления, когда умер Сталин — плакала. Политикой не интересовалась, газет не читала (скучно). Сейчас удивляюсь, как я сдавала все идеологические предметы — не знаю абсолютно ничего (я училась хорошо). То, что при Хрущёве стали жить лучше, воспринимала как естественное развитие после войны.

Всегда очень много читала — русскую классику. Родители сами не были читателями, но твёрдо знали, что читать книги — это хорошо, и всеми правдами и неправдами доставали подписные издания (большое им спасибо).

Советскую литературу не читала совсем. То есть, прочла кое-что («Белую берёзу» Бубеннова, например). Доконала меня такая милая книжка «Далеко от Москвы» Ажаева. После неё советские книги в руки не брала (и пропустила много хорошего позже).

Булгаков был — как взрыв. Помню, читала ночью, смеялась и плакала; и днём, на работе (дали только на сутки), абсолютно забывалась и хохотала громко.

Потом, как прорвало — всё живое, родное, задевающее за душу.

И вдруг опять слышу по радио «Белую берёзу» (это при Брежневе). Просто ушам не могла поверить. Но тогда я думала, что это касается только литературы, ну, искусства.

Хотя при всей моей правильности и советскости оставались в сознании какие-то царапины, зазубрины. Так, помню, где-то в годах 57–58 мне попалась книга об Освенциме. Я была потрясена, но недоумевала — как же раньше я ничего об этом не знала? Казалось немыслимым, что об этом не писали, не говорили сразу после войны.

Появились фильмы «Чистое небо» (не вполне поняла, только остро почувствовала боль), «Летят журавли», «Обыкновенный фашизм».

Наверное, тогда начала думать.

Помню — уже позже — внутреннее сопротивление, когда читала «Один день из жизни Ивана Денисовича», песни Галича. Даже булгаковское «Собачье сердце» было больно читать — как это «я не люблю пролетариат»?

Потом уже стала верить только тому, что видела своими глазами.

Была у нас на работе женщина Кира Лаврентьевна. Пошла на войну в 17 лет, прошла всю войну, сначала санитаркой, потом шофёром. В то время было модно приглашать ветеранов на пионерские сборы — такие идиллические воспитательно-патриотические беседы. Мы тоже пытались вызвать К. Л. на откровенность, ожидая, что вот пойдут воспоминания — весёлые и грустные, может быть, и страшные. Как меня поразило, когда у К. Л. вдруг сделалось жёсткое, враждебное лицо, и она сказала: «Ничего вспоминать не собираюсь».

Правда, впоследствии кое-что она всё-таки рассказывала — и как это всё было далеко от официальной версии героизма! Враждебно отнеслась она и к тому, что ветеранам выделили льготы, и к книге Фадеева «Молодая гвардия».

Не буду больше отнимать у Вас время, скажу главное—то, то Вы говорили, это даже не мысли мои, это моё мироощущение сейчас. Стыдно и больно. Мне кажется: никогда ещё наш народ не был так унижен, как сейчас.

Унижение и сверху—сейчас в том, что ветеранам бросили кость (о-о-очень маленькую косточку), и в том, что эту кость отняли у других нищих (не ветеранов), в бесконечном делении на инвалидов—участников—блокадников—работавших в… году—и т. д. И унижение в том, что нищие, герои и не герои, потерявшие себя, не имеющие уважения к себе и чувства собственного достоинства, грызутся между собой за подачку (на что, видимо, и рассчитано).

Ходят слухи, что истрачены большие деньги на то, чтобы не допустить дождь 9 мая в Москве—а что до этого нищему, возможно, ветерану, который роется в помойке (и тут же ест).

А бурное оживление военно-патриотических настроений сразу же вызвало у меня в мозгу словосочетание «бряцание оружием». Естественно, нужно пушечное мясо—в Чечню, а, может быть, ещё куда. А у меня сыну 22 года. Он, правда, освобождён по болезни (настоящей), но ведь ясно, что будут брать и хромых, и кривых, и горбатых, если Родина прикажет.

И всё-таки поздравляю Вас с праздником Победы. Это действительно святой день. И Ваше выступление—действительно мужественный поступок.

Живите, пожалуйста, долго.

Желаю Вам всего хорошего.

P. S. Обязательно прочту Ваши книги.

Л. И. Герасимчук

Уважаемые Виктор Петрович, Мария Семёновна!

С праздником вас, здоровья, удачи!

Слышала Вас по «Радио России», не могла выключить.

Предлагаю Вам отдохнуть в большой деревне—г. Павловске Воронежской области. Ехать через Воронеж или Лиски, потом автобусом 2 часа. Можно через Подгорное, но поезд стоит 2 минуты, и автобусы ходят до 13 часов.

Я—бабушка. Мне 70 лет. Одинока, хотя есть дети-врачи, живём врозь. Живу бедно, скромно. Есть сад: 7 яблонь, смородина, крыжовник, вишня, черешня, много тюльпанов, но они отцвели.

Предлагаю комнату, веранду, реку Дон, тишину, покой, дешёвый рынок. Люди злые. Я очень устала, хочу погреться в лучах добрых людей.

Буду варить борщ, кашу, жаркое, есть рыба. Лишь бы хватило сил.

Моя судьба большая, я сильный человек, ещё не сломалась… Это и есть история нашей Родины.

Простите, плохо пишу, но с добрым большим сердцем к Вам.

Счастья Вам!

Приезжайте. Можете не писать, т. к. соседи всё равно заберут почту.

С уважением к Вам и заранее благодарностью.

Сделаем перестановку в квартире, чтобы Вам было удобно.

Обещаю, что Вы останетесь довольными.

Отдохнёте.

Аза Алексеевна Фадеева

В Павловске автобусов много, но в центр, до базара все идут по одному маршруту. Спросите: «В центр». Ехать до базара. Конечная. И по ул. Готвальда до ул. М. Луговой.

В разные годы в петербургский и во всероссийский эфир «Радио России» выходили беседы и интервью с писателем, как правило, приуроченные к его дню рождения. На них тоже приходили отклики.

---

10 мая 1995 г.

(Письмо принесено в Дом Радио на Итальянской улице, передано журналисту Н. Кавину без конверта.)

Господину писателю с Енисея.

О его личном мнении: «Надо было сдать Л[енингра]д врагу, было бы меньше жертв».

Вы забыли, что для Гитлера мы люди 2-го, 3-го сорта, подлежащие уничтожению.

По-вашему, он бы нас накормил, обогрел? Оккупация породила бы и полицаев, и предателей. Что было бы с жителями и с людьми с так называемой жёлтой звездой на груди? Может в «Астории» на банкете кто-то из писателей сделал бы Гитлеру посвящение?.. А что было бы с Эрмитажем, Исаакием, храмами, архитектурой и проч[им]???

Наш город—это музей под открытым небом! Город разграбили бы, людей уничтожили, а отступая, всё взорвали.

Жители голодные, полуживые, защищали город, сохраняли бесценные сокровища и проч[ее]. И не приходило в голову сдать город врагу. Ленинград это не сопка и не высота, с которой можно временно отступить, чтобы сохранить личный состав воинов.

Извините, стыдно за Ваше «личное мнение». Согласна, что, как победитель, наш народ заслуживает лучшего, но это другой вопрос.

Нина Ивановна, 66 лет,
житель блокадного Ленинграда, работник тыла, с 12-ти лет работала для фронта на мужских работах

---

6 мая 1999 г.

Здравствуйте!

С огромным интересом прослушал беседу с писателем В. П. Астафьевым. Большое спасибо! Передачи Петербургской студии неизменно вызывают у меня большой интерес. Иногда сожалею, что не она, а московский центр являются основными вещателями.

Пользуясь предоставленной возможностью, решил написать В. П. Астафьеву и надеюсь, что моё письмо будет ему передано или переслано.

Заранее благодарен!

Всего доброго!

С уважением

Плешаков Иван

Здравствуйте, глубокоуважаемый Виктор Петрович! Услышал беседу с Вами по радио и не мог не написать. О себе: 1978 г.р., г. Волгоград. Братьев и сестёр нет (Увы!). Учусь на заочном отделении исторического факультета. Пытаюсь разыскивать имена предков и родственников, выяснять их судьбы. Собираю воспоминания и материалы личных архивов наших сограждан старшего поколения — преимущественно ветеранов. Мало их осталось, а спустя несколько лет не будет вовсе. Я счёл своим долгом сделать всё возможное, чтобы сохранить их память и память о них — иначе в истории опять останутся только подонки. В войне будут маршалы и армии, танки, корабли, самолёты и т.д., но не будет людей, не будет народа. Это ужасно!

Повсюду разослал обращения — опубликовали только каждое десятое. Откликнулись единицы, но я рад и этому. Хочу знать правду о войне не из умных книг со стрелками на картах, а из уст её участников.

Я согласен с Вами, что День Победы должен быть, прежде всего, днём памяти, скорби и покаяния. Для меня он таким и является. Но если сейчас старики не будут ходить по площади, завтра никто уже не вспомнит ни о них, ни о войне вообще. Уже сейчас ребятишки со жвачкой во рту понятия не имеют о прошлом своего народа. Какая уж у них будет скорбь!

Зная Ваше отношение ко Дню Победы, я не решился поздравить Вас с этим «праздником», хотя всем своим знакомым ветеранам я открытки всё же разослал, и буду делать это впредь.

Примерно года два назад я слышал пересказ вашего мнения о настоящем положении России, то ли в обзоре газетных публикаций, то ли ещё где — не помню. Смысл услышанного сводится к тому, что народ переродился и уже не поднимется. Конец России! Неужели Вы могли сказать (написать?) что-либо подобное?! Ваше мнение я могу узнать только у Вас самого и поэтому очень надеюсь получить хотя бы краткий ответ. Для меня это важно.

Да, народ уже не тот, но он не выродился! Вся эта всплывшая муть не имеет продолжения. Россия будет возрождаться теми людьми, кто сумел, вопреки всему, сохранить свою душу неизгаженной. Поверьте, таких людей немало! Их почти не видно, но они есть и их трудами будет спасена Россия!

Любой конец — всегда начало. Мы только начинам жить. Всё впереди!

Всего доброго!

С уважением

Плешаков Иван,
потомок крестьян Саратовской
и Пензенской губерний и донских казаков.

Письма подготовил к публикации журналист «Радио России — Санкт-Петербург» Николай Кавин

Жанна Лебедева

Ленты игольчатых трав

Цветные карандаши

В нашем доме белые стены,
белый потолок и белые двери.
Этого оказалось достаточно
маленькой девочке,
что цветными карандашами
разрисовала пространство
и наугад дёргает колокольчики,
подвешенные на длинных линиях.
Она чувствует то же, что
чувствую я,
выдавливая из тюбиков краски.
И наше сопереживание
не ограничено пределами
белой комнаты,
оно — в пёстрых формочках
детской пирамидки,
собранной усердными ручками.

Цветок клевера

Цвета осенних злаков лист,
Изодранный ногами,
Задавленный зданиями вокруг,
Сквозняками поперечно-продольными,
Скрученный в окурок
С отпечатками зубных протезов,
Раскрывает свою мёртвую сущность,
Концентрирует моё безумие
В одной точке.

А в руке, продолжающей полоску дороги —
Цветок клевера.
И золотистая фея
Срывает звонко-зелёные ленты
Игольчатых трав,
Разбрасывает на лопнувшем асфальте
И кормит ими муравьёв.

Юрий Беликов

На пути к Святому источнику

1-го июня исполняется год, как перестало биться сердце большого русского поэта Андрея Вознесенского. Эти заметки были написаны по горячим следам, дополнены позднее, но, вместе взятые, передают нерв утраты, которую понесла отечественная словесность, детали событий годовой давности, глубину сопереживания уходящему Мастеру, отношение к его человеческому примеру и творческому наследию.

Редакция «ДиН»

Ливень и молитва

Никогда не слышал в Переделкине кукушку. Соловьи — да. Другие певчие? Сколько угодно. А тут как будто во глубине древесной мышца сердечная сокращается. Дважды. Потом — молчок. Снова учащённое «ку-ку», взбалтывающее воздух. Опять тревожная пауза.

Я направляюсь к Святому источнику. В этом заповедном месте, каковым наречено Переделкино, его все знают. Бьющий из-под земли ключ с прозрачной, студёной водою, освящённый установленным рядом крестом с изображением Спасителя. Сюда идут и приезжают не только со всей округи, но и из Москвы. Увозят воду баллонами.

Я обычно троекратно пью из источника и наполняю небольшую пластиковую бутыль. Это — когда у родника никого нет. Иначе будешь стоять в очереди. А этого очень не хочется. Канет таинство. Тогда я даже не спускаюсь к источнику по деревянной лестнице, а разворачиваюсь — иду обратно.

Уже несколько лет со стороны петляющей речки Сетуни Святой источник отсечён высоченным забором. Там, за забором — гортанный говор. Громоздится строительство. Ощущение, точно ты на границе Родины. Словно здесь, у источника, заканчивается Русская земля. Вывешенная табличка гласит: «Извините за доставленные неудобства». М-да.

На пути к роднику — дача Андрея Вознесенского. Она примыкает к дому-музею Бориса Пастернака. 1-го июня 2010-го года в 11.09 (время отпечаталось на моём мобильном) я поравнялся с дачей и позвонил по известному мне номеру. Дня за три до этого, ещё будучи в Перми, разговаривал по телефону с Зоей Богуславской — знаменитой Озой, героиней одноимённой поэмы и многих других стихов, женой и душехранительницей поэта. Голос её, обычно наделённый каким-то летним ликованием, на этот раз был угасшим, тронутым хрипотцой неизбежного. Она поведала, что Андрей после операции, что 12-го мая, когда ему исполнилось 77 и его пришли поздравлять близкие люди, благодарил их только светом глаз, что, если до этого, несмотря на затяжную болезнь, распространившуюся на последнее 15-летие, продолжал писать стихи (я вспомнил название его давней и пронзительной статьи — «Муки музы»), то теперь сам уже не пишет — диктует. Я подивился: «диктует»! То есть мог бы ведь не писать, не диктовать — столько им уже создано неопровержимого, а из него продолжает бить Святой источник поэзии, не подвластный телесной неволе.

Впрочем, Оза вдруг обнадёжила (а может, всё уже предвидела?), что дня через четыре ему должно быть полегче (теперь уже эта обмолвка прочитывается иначе — как то, когда душа покинет измученное тело), поэтому «приезжайте — и вы должны встретиться».

…И вот звоню, поравнявшись с дачей.

— Юра, — сразу же узнала она мой голос, — я не могу сейчас с вами говорить. У нас — «Скорая»…

— Понял. Всё-ооо… — на длинном выдохе вырвалось у меня.

Хлынул ливень. До того дождь только накрапывал, а тут крупные струи ударили по раскрытому зонту, да так, что я ощутил, как вибрирует его материя. Я начал молиться. Просил Господа продлить дни Андрея Андреевича. При этом сразу же ощутил бессилие слов. Иногда чувствуешь, как они срабатывают во время молитвы. А тогда…

Будто брошенное на чашу весов краткое, но длинно-тяжёлое «всё-ооо», перетягивало все другие слова. И ещё: точно упал забор, разделявший две дачи — Вознесенского и Пастернака, и один сад без помех перетёк в другой — сад учителя в сад ученика, и два сада обнялись и потерялись друг в друге…

Я не дошёл до Святого источника — двинулся назад, к Дому творчества. Вскоре пронзила весть: около 12-ти часов пополудни прервался земной путь поэта Андрея Вознесенского. Значит, я приблизился к его даче и позвонил в тот миг, когда?..

Червь, он же соловей-разбойник

Не думал, что мне придётся писать объявление о кончине и месте захоронения своего «поэтического отца». Ещё в 1973-м году, в «Разговоре с эпиграфом» он обронил: «Как я тоскую о поэтическом сыне…» Одно из моих начатых, но недописанных юношеских стихотворений конца 70-х, звучало, как эхо: «Я — сын Андрея Вознесенского…» Впрочем, уже в 81-м у меня состоялся свой «Разговор

с эпиграфом», переросший в «Притчу о происхождении». Оттолкнувшись от строк Гавриила Державина «Я царь—я раб—я червь—я бог!» и посыла Вознесенского «Мы научили свистать пол-России. Дай одного соловья-разбойника!..», следующего после его «Как я тоскую...», ваш покорный слуга, явив непокорство, предложил собственную поэтическую генеалогию:

Не бог, не царь, не человек,
не соловей-разбойник,
но червь, растянутый, как век,
и тощий, как любовник.

А был он богом и царём,
и даже человеком,
и грубияном-соловьём,
глумившимся над веком!

Да увилась за ним вина...
и рухнул он со сводов
за пропуск низшего звена
в цепочке переходов...

Итак, червь. Бывший богом, царём, «даже человеком» и соловьём-разбойником». Потому что:

Собой фильтруя плоть земли,
ползут они бессрочно.
Есть роща—будут соловьи.
Есть черви—будет почва.

Пусть свищет в роще соловей.
Но он не просочится
по эскалаторам корней
сквозь царские глазницы...

На правах «сына», угодившего в кривозеркалье иной эпохи, когда боги, цари, даже «человеки» и соловьи-разбойники могли существовать преимущественно в обличии червей, я пробовал растолковать «отцу» причину вынужденного превосходства оных над всеми другими воплощениями. Не знаю, услышал ли он меня? Но однажды в коридоре журнала «Юность», где я подарил «отцу» свою первую книжку «Пульс птицы», куда вошла и эта «Притча о происхождении», в присутствии «сына» он спросил тогдашнего зама главного редактора Виктора Липатова:
— Вы почему его не печатаете?..
— Уже планируем...—быстро подтвердил Виктор Сергеевич.

Насчёт «сына»—никаких натужных гипербол. Позапрошлым летом, когда мы виделись в последний раз, и я читал в саду его дачи: «Вознесенский говорит голосом пришельца...»—стихотворение-портрет, Оза, узнав мой возраст, воскликнула: «Да вы же годитесь нам в сыновья!» Давняя моя телевизионная покровительница, пермячка Вера Шахова, глянув на фотографию, опубликованную в «Дне и ночи», («Голос шаровой молнии» № 5 за 2008 год), на которой мы запечатлены с Андреем Андреевичем, заметила: «Как отец с сыном». В книге Леонарда Постникова «Чусовой—это совы на сучьях сосновых...» я наткнулся на доселе неведомый мне снимок, оказавшийся фотоколлажом: я стою на сцене у микрофона, только я—лишь на голову я, а туловo—Вознесенского (поначалу я даже признал в его фигуре свою!).

В конце концов, Евгений Степанов, ныне известный поэт и основатель журнала «Дети Ра», когда-то работавший в журнале «Столица», в той самой столице и выходившем, в одночасье сделал меня персонажем рубрики «Осколки», где определил в... кого бы вы думали? В «любимчики Андрея Вознесенского». Андрей Андреевич действительно в разные годы—то в «Огоньке», то в Книжном обозрении», то в книге «На виртуальном ветру», то ещё в не припомню-каких изданиях—называл моё имя. Однако я эти упоминания сильно не отслеживал. Но, очевидно, отслеживали другие.

Не буду ни перед кем оправдываться. Свою книгу избранного «Аксиома самоиска» он подписал так: «Дорогому Юре—с сердечной и звёздной близостью». Насчёт «звёздной близости»—странная правда. Ещё до того, как вкусить его метафору «Сирень, как пудель, мне в щёки лижется», я выдал: «Сирень неистово залает—я только ноздри округлю». В 1990-м у меня в Перми вышла книга «Прости, Леонардо!» Я вручил её «отцу». Там есть стихотворение «Возвращение к цветам». Потом, в одном из новых его сборников, наткнулся на поэму «Возвратитесь в цветы». Стало быть, «отец» прочитал «сына»...

Хотя, когда однажды, по просьбе Андрея Андреевича, я вложил в почтовый ящик его дачи книгу, которую сам вынянчил,—соборный том дикороссов «Приют неизвестных поэтов», где соединил творения 40 авторов от Норильска до Ставрополя, а потом случайно встретился с четой Вознесенского-Богуславской на проводинах Георгия Владимова у переделкинского храма Преображения Господня, Оза вымолвила нечто многослойное:
— Читаем...

Не думаю, что моему «поэтическому отцу» глянулось программное эссе «поэтического сына», с коего начинался том: «Почему одни фрахтуют ЦДЛ или едут на каникулы в Париж, а другие всю жизнь топят баньку по-чёрному? Отчего одни, выпуская книгу за книгой, дённо и нощно заспиртованы в телеэкранах, а другие на закате своей жизни после долгих уговоров соглашаются провести творческий вечер в заводской библиотеке?» И—далее: «Как говорил старый слесарь Черепаныч, плюнувший в рожу комсоргу Литинститута и с той поры кочевавший по лагерям:

Вы—поэты, мы—поэты,
Отчего ж, едрёна мать,
Вас печатают газеты,
Нам—заказана печать?
Блокам вы и мы—не пара,
Отчего ж и почему
Вам за слово—гонорары.
Нас—за жопу и в тюрьму?

В данном случае «поэтический сын» (обращённый в червя соловей-разбойник) не только вступал в неприкрытый спор со своим «поэтическим отцом», но и, пожалуй, выказывал осмысленную дистанцию, которая «родственников» разделяла. Когда

один из читателей книги дикороссов, зная о моём знакомстве с Вознесенским, спросил меня о том, говорили ли мы с ним на сей счёт (мол, слишком уж разнятся жизнетворческие позиции!), я ответил: «Нет, эту тему мы никогда не затрагивали». Собственно, я понимал, даже если бы Андрей Андреевич захотел что-то сказать или спросить о дикороссах — «новых варварах, чертополохах от литературы», как определил их породивший само это имя поэт из Великих Лук Андрей Канавщиков, пожалуй, ему уже трудно было бы сие исполнить физически…

Диагноз камнереза

И вот теперь по просьбе вдовы поэта, испугавшейся интернет-разночтений, по которым похороны должны состояться то в Переделкине, то на Новодевичьем кладбище, я пишу, во-первых, о дате их — 4-го июня, во-вторых, о месте — это Новодевичье. Зоя Борисовна обеспокоена тем, что люди целыми вагонами садятся в электрички и едут в Переделкино, тогда как Андрей будет предан земле рядом с родителями на Новодевичьем.

Похолодевшими пальцами пишу сразу три объявления: одно — чтобы вывесить в старом корпусе Дома творчества, другое — в новом, третье, на отысканной дежурной администраторшей картонке (чтобы покрупнее можно вывести буквы), — где-нибудь у ворот переделкинского кладбища.

Буквы не слушаются, не располагаются равномерно, один фломастер выдыхается, ищу другой, чувствую, как переклинивает мою орфографическую моторику. Спрашиваю у дежурной, чего никогда бы не позволил себе ранее (всё-таки имею дело со словом): как пишется «на Новодевичьем» — через мягкий знак, или?..

Клея и скотча в арсенале Дома творчества не оказывается. Медсестра Валентина (здесь — немало писателей преклонного возраста) выдаёт мне медицинский пластырь, чтобы приклеить объявление. Попутно рассказывает: ещё недавно была у Вознесенского на даче — делала процедуры, и он, рассматривавший до этого веер фотоснимков, попросил её помочь «разложить их по теме».

По телефону Оза предлагает:

— Возьмите нашу машину, чтобы съездить до кладбища…

Зачем? Тут минут пятнадцать быстрого ходу. Я уже у ворот переделкинского погоста, по коему когда-то водил юных поэтов Илья-премии не зарастающей тропой — сначала «к Арсению Тарковскому», потом, по курсу, «к Борису Пастернаку»…

— Там, рядом, ещё — Корней Чуковский, — пробует просветить меня повстречавшийся у ворот плечисто-мускулистый надгробных дел мастер в синем комбинезоне.

Киваю ему как заправский кладбищенский сталкер. Мысленно перечисляю: и Роберт Рождественский, и Семён Липкин, и Саша Ткаченко, и Толя Кобенков, и Юрий Щекочихин, и Александр Межиров, и Михаил Алексеев (надо помнить этого прозаика-фронтовика, некогда возглавлявшего журнал «Москва» и проделавшего путь от романа «Солдаты» к роману «Драчуны»). А сколько ещё троп зарастающих, могил писателей полузабытых, а то и вовсе окружённых забвением?..

Знакомый мне переделкинский житель красноярского происхождения по прозвищу Ёж отыскал на кладбище могилу Георгия Владимова, за которой, похоже, никто не ухаживает. Того самого, написавшего «Верного Руслана», «Генерала и его армию» — образцы горькой русской прозы второй половины XX-го века… Волею провидения Ёж стал посмертным «Верным Русланом» Владимова — приглядывает за местом его упокоения.

Между тем камнерез уже прочитал мою «картонку». И, пока нет отлучившегося кладбищенского смотрителя, который формально (никто не будет против!) должен мне разрешить продёрнуть между металлическими прутьями забора объявление о том, что «похороны Андрея Вознесенского состоятся на Новодевичьем кладбище», мы обмениваемся репликами. Надгробных дел мастер:

— Было бы правильней, если бы Вознесенского похоронили здесь, в Переделкине, у могилы Пастернака — его учителя… И все бы сюда приезжали. Хотя, где кому лежать, решается там, наверху, — указывает он синими очами не то в небо, не то в располагающийся где-то на недосягаемой для простых смертных высоте некий синдикат земных регулировок. Узнав, что я из Перми, произносит:

— Интересный город! Я там жил пацаном. В Голованово. В Перми помню ЦУМ, цирк, Речной вокзал… Не знаю, есть ли они сейчас?

— ЦУМ и цирк — на прежнем месте, — заверяю нечаемого земляка. А вот на Речном вокзале теперь Музей современного искусства Марата Гельмана. Знаете такого?

— Кто ж его не знает! — усмехается надгробных дел мастер. И добавляет: — Похоже, что Россия больна гельмонеллёзом.

Ух, и сказанул! Хотя вряд ли надгробных дел мастера ошибаются, ежели ставят диагноз.

Между тем, прибыл смотритель и, глянув на мою «картонку», разрешил укрепить её у кладбищенских ворот.

Шипы для троеперстия

В те дни все столичные газеты набухали крупными заголовками о его кончине. Мой друг, московский кинорежиссёр и поэт Сергей Князев обратил внимание на один из них — в метро кто-то развернул газету: «Прими, Господь, поэта улиц и со святыми упокой!»

«Поэт улиц»… Не абсолютно, но близко. Помните у Маяковского: «Улица корчится безъязыкая — ей нечем кричать и разговаривать»? А припоминаете, как раннего Вознесенского, автора «Треугольной груши», упрекали в авангардизме, зауми и «недосягаемости для масс»? Прошло время, и улица заговорила его языком. Он дал ей язык, хотя и немало у неё позаимствовал. И стал вдруг не только досягаем, но едва ли не прост. Возможно, тут уместна такая параллель: когда-то итальянский язык называли вульгарной латынью. Позднее он стал самым пригодным для пения. И вот улица поёт: «Плачет девочка в автомате…», Летайте самолётами Аэрофлота, любите на лету…», «Барабан

был плох, барабанщик — бог…», «С первого по тринадцатое старых ищу друзей…», «Ты меня на рассвете разбудишь…»

Мне рассказывал Иосиф Раскин, автор «Энциклопедии хулиганствующего ортодокса» и частый паломник поэтических вечеров Вознесенского:
— Однажды при нём я прочитал в неком кругу его стихотворение «Бьёт женщина». Женщинам понравилось. Однако, как я убедился, никто из них этой вещи доселе не читал и не слышал. «Как же так? — спросил я Вознесенского. — Они не знают этого замечательного вашего стихотворения!» На что он ответил: «Зато они знают «Миллион, миллион, миллион алых роз…»

В ответе — мягкая усмешка. Конечно, Андрей Вознесенский стал не только «поэтом улиц», хотя когда-то полушутливо признался: «Грешен, люблю цыганщину!» Наверное, сей титул в некотором роде льстил, но, как сказал Арсений Тарковский, «на пригреве тепло, только этого мало». Да, если улица начнёт сейчас раскрывать книги «своего поэта», она там отыщет немало собственных слов и словечек, даже целые речевые обороты, в том числе, не самые подходящие, предположим, для зала имени Чайковского, где он любил выступать. Но если она будет заглядывать дальше, то увидит, кроме своего зеркального, и зазеркальное отражение. В день похорон А. А., ранним утром, на мой мобильный пришла sms-строфа:

Здесь живу, где подыхает живность.
Надо делать что-то — не тужить.
Жизнь моя в итоге не сложилась.
У народа не сложилась жизнь.

И подпись: *А. Вознесенский*

Сначала холодок пробежал по позвоночнику. Вообще-то у Вознесенского был номер моего мобильного. Потом всё-таки я определил по исходящему номеру — это прислал один из моих московских друзей. Затем подумал: «Чем вам не зазеркальный ответ про «поэта улиц»? Разве жизнь у народа сложилась? И разве жизнь поэта может сложиться, если «у народа не сложилась жизнь»?

И то, что на гражданскую панихиду, проходившую в ЦДЛ, прислали свои соболезнования главы государств — не только Дмитрий Медведев, Владимир Путин, но и Александр Лукашенко, и Михаил Саакашвили — то бишь самые взаимоисключающие фигуранты, не свидетельство ли того, что «поэт улиц» разговаривал на равных с сильными мира сего, да он и сам был сильным мира?..

Может быть, в этом смысле он — «последний поэт, последнейший», как написал много лет назад именно о Вознесенском знавший его пермский мастер стиха Владислав Дрожащих?

А то, что тогда, в день похорон, падкие до vip-персон телевизионщики выхватывали камерами то Игоря Николаева, то Олега Табакова, то Николая Караченцова с супругой или тех, кто на сцене — Евгения Евтушенко, Андрея Дементьева, Евгения Рейна, Виктора Ерофеева, а потом ничтоже сумняшеся посетовали: мол, на прощание с Вознесенским поэты не пришли, — не подтверждает ли это наличие того самого, охватившего Россию гельмонеллёза — новейшего перекоса в иерархии ценностей?

А поэтов-то, если приглядеться, 4-го июня как раз собралось много — Игорь Шкляревский и Светлана Василенко, Олег Хлебников и Марина Кудимова, Нина Краснова и Сергей Мнацаканян, Юрий Арабов и Надежда Кондакова, Константин Кедров и Марина Тарасова, Кирилл Ковальджи и Александр Самарцев, Елена Исаева и Геннадий Калашников (если про список, поверьте мне, он может быть огромным!); они просто тихо и скорбно сидели в зале, или двигались в медленном потоке к установленному на сцене гробу, по меньшей мере, не страдая от того, насколько памятны телевизионщикам их лица, потому что несли тогда в своих сердцах единственно возможный груз страдания — горечь от ухода великого собрата.

…Я положил чётные розы на скорбный постамент, занёс руку в крестном знамении и — вдруг! — увидел, что пальцы мои в крови… Даже не почувствовал, как их укололи шипы, когда шёл проститься.

Андрей, внук Андрея

Чем он был болен? Этот вопрос в те дни задавали многие. Но давайте и нынче не будем надевать фартук патологоанатома. Он, чей голос заставлял замирать зал Политехнического и стадион в Лужниках, сам поведал о своей главной трагедии в стихотворении «Теряю голос»:

В праве на голос отказано мне.
Бьют по колёсам,
чтоб хоть один в голосистой стране
был безголосым.
. . . .
Веру наивную не верну.
Жизнь раскололась.
Ржёт вся страна, потеряв всю страну.
Я ж — только голос…

И всё-таки — не только. Сегодня немало говорят и пишут, какую в последние годы боль причиняло ему каждое движение. По свидетельству актрисы Аллы Демидовой, читавшей при жизни А. А. эти стихи со сцены (а он сидел на переднем ряду), во время чтения по его «почти святому лицу» текли слёзы.

Тем неизмеримее самообладание Вознесенского, которому я был очевидец. До 2008-го года мы виделись в 2007-м, в кафе гостиницы «Редиссон-Славянская», чего я ещё коснусь. Миновал всего лишь год. Да, присутствие недуга было ощутимо и тогда, но теперь, в 2008-м, когда, пропустив меня вглубь, дверь в их переделкинский сад отворилась, поэта вела, придерживая под руку, Оза. Вдруг А. А. увидел меня. Я заметил её недоумение, граничащее едва ли не с испугом, когда он отстранил Озу и двинулся без поддержки. Сам.

Я поразился: навстречу мне шёл… подросток. Не в смысле угловатости или порывистости движений — так высушила его болезнь. Потом, когда А. А. погрузится в пластиковое кресло, установленное у дачи, то, слушая меня, он будет болтать

Андрей Вознесенский и Анна Вронская. Май 2007-го.

Франческо Андрей Де Роса Вознесенский. Май 2007-го.

ногой, как это делают непоседливые дети. Я замечу: везде, и в саду у беседки, и особенно по перилам крыльца, ведущего в дом, точно вокруг были сплошные потайные дверцы, привинчены никелированные ручки…

Впрочем, о том, как А. А. преодолевал недуг, лучше расскажет живущая калитка в калитку с его дачей поэтесса Олеся Николаева, с которой в ряду других авторов мне довелось выступать на девятинах по Андрею Вознесенского в зале РИА «Новости»:

— Вознесенский был человеком невероятно мужественным. «Андрей Андреевич, вы хромаете?» — «Нет-нет-нет, я мозоль натёр». Он не хотел ничего демонстрировать. Потом, когда это стало очевидно, сохранял удивительное благодушие. В его глазах поселился свет смирения и кротости. И это тяжелейшее испытание, которое было ему послано и которое он выдержал, — немощь тела, он преодолевал тем, что продолжал писать стихи. Его сознание было очень ясным и точным. В нём происходило абсолютное духовное созревание. Об этом свидетельствуют изумительные строфы, выходившие из-под его пера. И я уповаю на то, что он, конечно же, перешёл в Вечность…

На том же вечере, выступив, «как профессиональный биограф», литературовед и президент Фонда Достоевского Игорь Волгин обмолвился о том, что «мы не знаем Вознесенского, всей подосновы его жизни, которая часто бывает у великих поэтов. А стихи его как раз говорят, что такая подоснова была».

Теперь, когда земные весы перестроились в пользу небесных, когда из Америки на похороны отца прилетела его дочь Арина Вознесенская, можно заглянуть и за зеркало этой подосновы.

Описывая в «ДиНе» свою встречу с Андреем Андреевичем в кафе гостиницы «Редиссон-Славянская», которая пришлась на май 2007-го, из-за естественной мужской солидарности я умолчал о том, что, кроме нас двоих, был ещё и третий участник этой встречи. Вернее, участница. Вознесенский сидел за столиком с моложавой дамой.

— Анна Вронская, — представилась она.

Дальний пласт моей памяти воскресил историю романа А. А. с некой юной особой, к которой он якобы даже уходил от Озы. Но лучше всего, наверное, об этом расскажут его стихи:

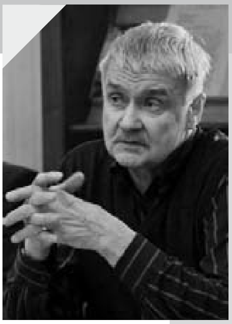
На суде, в раю или в аду
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».
Всё равно, что скажут, всё равно…
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнёт на чёрный шпингалет.

Когда мы с Анной разговорились, оказалось, что у нас один в один совпадают дни рождений. Это не могло не сблизить. Именно тогда я сделал несколько снимков, один из которых вы видите сегодня в «Дне и ночи».

Вскоре Анна поделилась со мною радостью и ответными фотографиями: через несколько дней после нашей встречи, в США у Арины, дочери Андрея и Анны, родился внук, который был наречён двойными именем и фамилией: Франческо Андрей Де Роса Вознесенский.

И сегодня я думаю: «Если когда-то, откликаясь на грёзу «Как я тоскую о поэтическом сыне…», червь этих заметок самозванно написал: «Я — сын Андрея Вознесенского!», то, десятилетия спустя народившийся почти параллельно со сроком земного ухода своего великого деда, этот мальчик, настанет час, с неотменимой гордостью произнесёт: «Я — внук Андрея Вознесенского!» И это будет в высшей степени справедливо.

P. S. Поймал себя на мысли, что перестал ходить к переделкинскому Святому источнику. Попробовал объяснить: наверное, потому, что, идя по этой улочке, я подспудно предполагал встретить на ней нечаянно прогуливающегося бога. Судя по всему, сейчас меня останавливает внутренний вопрос: зачем ходить к Святому источнику, если на ней бога больше не встретишь?



Сергей Есин

Страницы дневника[1]

2009 год

1 января, 2009 года, четверг

В 10 часов газовую трубу на Украину всё-таки отрубили. Это политика. Безвыходное положение, как мне кажется, и у Украины, которая требует оплату в 210 долларов, и у нас, которые вроде бы предлагали Украине вместо 418 долларов, как платит нам вся Европа, 250 долларов. Стать народами-врагами очень трудно, почти невозможно. Видимо, у Украины есть существенные запасы в подземных хранилищах. Сюда накладывается столько всего разного от политики до социальной психологии, что прогнозировать чрезвычайно трудно. Цель Ющенко — остаться ещё на срок, для этого нужно все грехи списать на Россию; у России подо всем цели геополитические: в первую очередь Крым. Купить Крым за газ и нефть?

Президент наградил Даниила Александровича Гранина по случаю его девяностолетнего юбилея орденом Андрея Первозванного. Это хорошо, орден очень большой. Крупно прожитая жизнь, сумел в мире и взаимном уважении просуществовать со всеми властями. Была ли крупная литература? Такой, как у Шолохова и Солженицына — нет, даже такой, как у Распутина, Астафьева, Абрамова и Белова — рангом ниже. Но ордена писателям, видимо, дают за что-то другое, может быть, за молчаливую лояльность. Ну, во-первых, ленинградец, фронтовик, уже это не мало, почти кумир интеллигенции, не трусил, кажется. Во-вторых, сразу примкнул к новому режиму. В связи с этим многие вспоминают удивительное награждение Татьяны Васильевны Дорониной орденом Почёта вместо ожидаемого ордена «За заслуги перед отечеством» Первой степени. Здесь мы имеем дело с кумиром на многие времена и с удивительным человеком, сохранившим свои убеждения. Кстати, и в театре она сделала великое, и не только как актриса — в годы, когда всё распалось на коммерческие антрепризы, она сохранила репертуар русского театра. <…>

2 января, пятница

Разговоры о газе не утихают, Украина, промахнувшись ранее, разделив транспортировку газа и его поставку Россией, теперь пытается что-то наверстать. Всё доказывает, что может жить самостоятельно и существовать, как самостоятельное государство, а не под боком у Империи. Малороссия, Украина — названия не случайные. <…>

Почти каждый день понемножку разбираю скопившиеся за последние годы бумаги. Среди прочего, нашёл распечатку из Яндекса с такими двумя, мне показалось любопытными, высказываниями. Первое. «Убывшего ректора Литинститута любимое слово было «кать». Это комментарии анонима от 27 мая 2008 года в журнале «Grossfater». Как же я боюсь этого слова при публичных выступлениях, но привыкший говорить без бумаги и часто неуверенный, колеблющийся, высказывая только что родившуюся мысль, я часто пытаюсь смягчить «так сказать», а получается это бесконечное «кать».

Второе высказывание связано с моей дружбой с Ливри. «Писательница из Сан-Франциско Маргарита Меклина считает, что Ливри «это либо новый русский Ремизов, чьё воображение полнится ажурным, резным туманом собственных сказок, либо новый Набоков», по мнению ректора Литературного института Сергея Есина, «просто фантастично, что автор такого словесного волшебства, хотя и родился у нас, с малолетства живёт где-то за рубежом», а славист Сергей Карпухин всерьёз утверждает, что «стиль Ливри несомненно превосходит набоковский». <…>

4 января, воскресенье

С утра продолжаю читать книгу Соломона Волкова об истории культуры Санкт-Петербурга и продолжаю восторгаться и радоваться, как точно и понятно для меня и моего мировоззрения всё написано. На 135-й странице встретил такое высказывание. «Другое важное для Бенуа и его кружка свойство музыки Чайковского он окрестил словом «пассеизм». Термина этого я никогда не слышал, но его раскрытие мне чрезвычайно близко — «пристрастие к прошлому». Для меня и всего того, что я делаю, это совершенно справедливо и вполне соответствует тому, что я ощущаю, рассматривая любое время. А разве не об этом мой новый роман?

Второе, буквально оглушившее меня суждение, опять же взятое из книги Соломона Волкова — это некое суждение, связанное с размышлениями А. Блока на лекции 13 ноября 1908 года. Вот как всё интерпретирует С. Волков:

«Он говорил монотонно, но завораживающе, как истинный поэт, о противостоянии народа и интеллигенции в России; о том, что «есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с другой;

1. Дневники С. Н. Есина давно завоевали популярность у ценителей автобиографической прозы, они были отмечены престижными премиями и даже стали предметом литературоведческой монографии. Благодаря любезности Сергея Николаевича мы имеем возможность познакомить с избранными страницами Дневника за 2009 г. и читателей «ДиН».

люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном». Слушатели в зале зашептались: зачем же так пессимистично смотреть на современную ситуацию? разве не растут грамотность, культура народа? Но Блок продолжал, точно в сомнамбулическом сне: «Отчего нас посещают всё чаще два чувства: самозабвение восторга и самозабвение тоски, отчаянья, безразличия? Скоро иным чувствам не будет места. Не оттого ли, что вокруг уже господствует тьма?» И такова была исходящая от поэта сила внушения, что публика заёрзала, физически ощутив эту сгущающуюся вокруг тьму.

Но особенно резануло либеральную чувствительность аудитории произнесённое Блоком как факт, как приговор: «Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель». Это мрачное предсказание вызвало в зале взрыв осуждения, но также и восторг многих, кому приелась либеральная ортодоксия» (стр. 158).

Это по существу очень верно и действует, наверное, как никогда сегодня. Только понятие народ заменено понятием современного мещанства, к которому, пожалуй, можно отнести и средний класс. Эта пропасть, рождённая временем и цивилизацией, сглаживалась в период советской власти, но надежда для русских опять пропала. Как иллюстрация — это то, что смотрит наш телезритель и читает наш массовый читатель, но одновременно существует и, скажем, канал «Культура», и выходят другие книги. Кстати, взято из того же источника, «Преступление и наказание» в годы его издания и первых публикаций распространялось не более чем 400 экземпляров за год.

Утром же решил посмотреть фильм Алексея Балабанова «Морфий» из той коллекции дисков, что подарили мне ребята на день рождения. Критики уже довольно кисло фильм оценили, но это особенность современной молодой критики — не делать усилий. Мне кажется, что фильм, сделанный по сценарию С. Бодрова-младшего, несколько лет назад погибшего на съёмках, интереснее и глубже рассказа. Один из приёмов фильма — это заглушённая речевая фонограмма, практически фильм идёт под аккомпанемент романсов Вертинского, песен Вяльцевой и просто пластинок того времени. Здесь хорошо всё — и актёры и время. Балабанов с предметами работает, как всегда, тщательно, я помню приборы из музея звукозаписи Ленинграда в фильме по Кафке. Самое поразительное в фильме — это невольное, зрительское сравнение медицины того, революционного, времени и сегодняшней, разжиревшей и комфортной, уже совершенно не ощущающей своего долга перед народом. Здесь можно говорить о многом. Здорово.

5 января, понедельник

Собственно, день провёл за компьютером, но выходил часа на два гулять, пытаюсь всё же расходиться. Одному всё-таки очень трудно, почти постоянно думаю о Вале. Не устаю утром и вечером читать Сол. Волкова и Ю. Пирютко — оба какие-то неистощимые.

Утром у С. Волкова на стр. 185 нашёл любопытное суждение. Собственно, самое начало даю, чтобы ввести в курс дела, главное здесь, конечно, слова Ахматовой. Они близки мне, потому что и я без группы сотоварищей, но почти в таком же положении. Одно по-другому: не дружу я ни с правыми, ни с левыми.

«Ядро акмеистической группы составляли всего лишь полдюжины молодых поэтов, но их яркая талантливость и обещание были несомненны, так что символисты встречали их в штыки. Ахматова как-то жаловалась мне, что у акмеистов не было ни денег, ни меценатов-миллионеров, а имевшие и то, и другое символисты заняли все важные позиции и старались не пропускать произведений акмеистов в журналы: «Акмеизм ругали все — и правые, и левые».

6 января, вторник

Утром ходил в магазин на проспекте Вернадского заказывать икону для Лены Богородицкой. Пока не получилось, хозяйки нет, а сиделица ни в чём не заинтересована.

Моё внимание занято двумя вещами: романом, который всё же потихонечку движется, и газовым конфликтом с Украиной.

Продолжаю читать и книги, о которых написал. Как я понял, Соломон Волков — по профессии музыкант и довольно много в качестве примера оперирует музыкальными историями, или просто размышляет по поводу музыки. И вот одно, настолько оно созвучно с моим пониманием того, чем я постоянно занимаюсь, что у меня возникла мысль, не читаем ли мы для того, чтобы найти подтверждение своим собственным размышлениям? А может быть и по-другому: подходы и принципы во всех искусствах одинаковы. Мне это тоже чрезвычайно близко.

Идёт разговор о том, что симфоническую технику Чайковского во время учёбы в консерватории подхватил через Римского-Корсакова именно Шостакович.

«…Шостакович накрепко усвоил отношение Римского-Корсакова к оркестровке как к качеству музыкального мышления, а не чему-то внешнему, надевающемуся на сочинение, как платье на вешалку. Римский-Корсаков так комментировал своё знаменитое «Испанское каприччио»: «Сложившееся у критиков и публики мнение, что «Каприччио» есть превосходно оркестрованная пьеса, неверно. «Каприччио» — это блестящее сочинение для оркестра». То есть оркестровка рождается одновременно с сочиняемой музыкой, составляя её неотъемлемую характеристику, а не «добавляется» позднее».

Для меня это тем более важно, потому что я всё время слышу разные разговоры о языке произведения, который якобы у писателя существует как бы отдельно от содержания, по крайней мере, наши языковеды умудряются «снимать» его, как мерлушковую шкурку с ягнёнка. <…>

12 января, понедельник

<…> У нас в этом году при приёме будет три единых экзамена: литература, русский язык, история. Министерство требует, чтобы мы за экзамен

засчитывали и процедуру конкурсного отбора и выставляли соответствующие оценки. Это довольно сложно, потому что мы в первую очередь не знаем, сам ли студент написал присланный текст. Это выясняется постепенно из анализа его знаний, из качества и содержания его этюда и его поведения, и ответов на собеседовании. Мы можем получить много блестящих самозванцев. <…>

Обедали вместе с М. Ю. Он рассказывал о разговорах у касс метро, когда после праздников люди пришли и обнаружили, что билеты на метро стоят уже не 18 рублей, а 22. Потом пришли угольщики — арендаторы из особняка — и стали говорить о ценах, кризисе и инфляции. Потом разговор зашёл о последней Осетино-Грузинской войне, и здесь мои очень осведомлённые собеседники поведали мне много интересного. Об опоздании наших войск, потому что машины не были снабжены приборами ночного видения, или о том, что грузинами был сбит самолёт стратегической авиации, которому вообще нечего было делать в этом районе. Самолёт летел на высоте в восемь тысяч метров, на которой подобные самолёты не летают, и был использован как самолёт-разведчик. Сбит он был украинскими ракетами. Но кроме этого, было ещё сбито три наших самолёта и тоже украинским оружием. Я обязательно использую эти все сведения в самом конце своего романа, когда снова соберу компанию властелинов в том же месте.

<…> Вчера, наконец-то, впервые в этом году пришла «Российская газета». В первую очередь схватился за материал о крушении вертолёта Ми-171. Возможно, для нас всех это была бы рядовая катастрофа, но в ней погибло несколько высокопоставленных людей. В своём переложении я обостряю спокойный тон газеты. Среди «персон» — полномочный представитель президента в Госдуме Александр Косопкин и «сопровождающие» лица, все тоже во властных чинах — всего с экипажем 11 человек. Авария произошла ещё 9-го января, три дня искали. Среди оставшихся после аварии полномочный представитель республики Алтай в Москве Анатолий Банных, второй пилот, 23-летний Максим Колбин, Николай Капранов, сотрудник Госдумы и Борис Белинский, предприниматель из Москвы. В числе погибших: Виктор Каймин — охотовед, председатель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, пилоты и артист, руководитель ансамбля «Яманка» Василий Вялков. Летели из Бийска на границу, самолёт упал в 10 км от нашей границы с Монголией. Большая компания летела — охота это спорт мужественных мужчин. Нашли только потому, что 23-летний пилот решил сам добираться до погранзаставы. Его-то и заметили, и по следу нашли остальных. Федеральные и региональные чиновники сообща выехали поразвлечься. В газете есть сообщение, что все разрешительные документы у них были. Да, как и не быть при таком раскладе, кто запретит?

14 января, среда

<…> Сегодня в газете продолжение истории с охотниками. Вот цитата: «Выжить на 30-градусном морозе пострадавшим в авиакатастрофе помог солидный запас продовольствия и горячительных напитков, а также большое количество тёплой одежды, которую охотники брали с собой в надежде на несколько дней экспедиции». Надо здесь сказать, что первый рабочий день в государстве — это 11 января. К этому времени московским охотникам, наверное, надо было бы добраться до Москвы.

Комментировать здесь нечего — вся эта VIP-экспедиция так напомнила мне великосветские охоты в советское время. Здесь много вопросов: кто, например, платил за аренду вертолёта, который только в одну сторону летел 4 часа? Много бы я отдал и за то, чтобы посмотреть бутылки из-под «горячительных напитков».

Сегодня же по радио передали, что некие экологи, обнаружили на снимках с катастрофы тушу горного козла. Экологи утверждают, что охота на этих животных запрещена. Судя по всему, наши охотники по пути к Монгольской границе где-то садились. А может быть и с воздуха пальнули? Была такая популярная обкомовская игра.

В газете огромное интервью Мелихова, которое он взял у Гранина. Мелихов, немного забыв, что это интервью юбилейное, по случаю 90-летия писателя, слишком много умничает. Вот пример, мне не близкий, из интервьюера: «Я могу лишь вернуться к своей излюбленной идее. Главную ценность всякой нации составляют аристократы духа». А вот сам Гранин: «Сейчас я не могу стать олигархом ни при каких обстоятельствах. Даже если бы я готов был продать свою душу дьяволу». «Иногда кажется, что наше телевидение — это заговор, заговор, чтобы превратить народ в зомбированную массу». А я-то переживаю, написав и опубликовав последнюю главу романа, о телевидении. Всё раздумываю: не жёстко ли?

Два последних дня продолжается газовая война с очень хитрой Украиной. Половина Европы сидит без газа. В этой войне, за которой стоит собственник, объективно теряют деньги обе стороны… <…>

19 января, понедельник

<…> По «Времени» сегодня сказали, что днём в Москве, на Кропоткинской, убит адвокат Маркелов и корреспондент «Новой газеты», совсем ещё девочка Анастасия Бабурова. Это тот самый адвокат, который утром же, когда по «Эхо Москвы» передали о досрочном освобождении Буданова, комментировал это событие. Он говорил о том, что это незаконно и что он написал какую-то соответствующую бумагу. Тогда же я подумал, что всё-таки Буданов отсидел уже 8 с половиной лет. Я вспомнил не о мстительности, а о милосердии. Жалко и эту девочку-чеченку, но ведь уже никого не воскресишь. <…>

20 января, вторник

По телику показали инаугурацию Обамы — это 44-ый президент Соединённых Штатов. Как было сказано, присутствовало беспрецедентное количество народа. Это и понятно: он сравнительно молод и он — это впервые — афроамериканец. Для его цветных соотечественников это знаковый момент.

Радость неимоверная, с этой радостью соединяется и надежда, что что-то новым президентом может быть сделано в борьбе с кризисом. Вот в этом-то я совсем не уверен. Экономику развернуть очень сложно. А в Америке она построена по принципу — жить в долг. Вообще, весь этот кризис, который нас ещё коснулся не полностью, показал, что «интеграция в мировое сообщество» — с чувством глубокого удовлетворения беру эти слова в кавычки — нам обойдётся недёшево.

Газ наконец-то пошёл в Европу. Я представляю те огромные убытки, которые понесла Россия. Я не думаю, что это лишь вина Украины, мы тоже достаточно нерасторопны. Очень смешно Миллер под объективами телекамер отдавал указания открыть газ. Наши политики постепенно стали киноактёрами. <…>

1 февраля 2009 года, воскресенье

Для меня, практически невоцерковлённого, сомневающегося, ищущего человека удивительны долгие размышления по поводу религии, начавшиеся со смерти патриарха Алексия. Ещё в Хургаде на отдыхе я несколько раз ловил себя, что во мне пробудился какой-то импульс, требующий съездить в Елоховский собор, чтобы поклониться его могиле. Вот и со вчерашнего дня, а может быть ещё и раньше, я держу в памяти, что сегодня день интронизации нового Патриарха.

Утром проснулся рано, наверное, ещё в шесть, принялся, что-то готовить, слушал радио, которое говорило о вчерашних акциях в поддержку правительства и акциях, которые организовали несогласные с антикризисной политикой власти. На этот раз, что бывает нечасто, «Эхо Москвы» целиком и полностью правительство поддерживает. Это связано, на мой взгляд, только с тем обстоятельством, что на этот раз правительство, уже совершенно не стесняясь, спасает, дабы чтобы никак не пострадали, банки, банкиры, предприниматели. Во спасение порядка закачиваются огромные деньги. Сохранение рабочих мест и подобные разговоры — это некая дымовая завеса, потому что по-настоящему до бедного человека правительству дела никакого нет. Но если говорить об «Эхе», то, только сохраняя видимость беспристрастности, оно говорит о «несогласных», о выступлении лимоновцев, о милиции, которой, как правило, больше, чем митингующих. Но это всё ещё начало.

До того, как в десять часов уехал с С. П. на его дачу, расположенную в двадцати минутах от города, жадно смотрел интронизацию. Сразу можно отметить, что по державной роскоши, по количеству облачённых в праздничное золото церковных иерархов, рядами стоящих в центральном нефе Храма Христа Спасителя мы, наверное, не уступаем католикам. Камера довольно крупно показывала лица митрополитов и епископов, все как один в золотых митрах, и объективности ради надо сказать, что при всей бросающейся в глаза серьёзности и значительности церемонии, ни одного аскетического и измождённого лица не было.

Потом показали, как новоизбранный патриарх Кирилл выходил из машины и через центральный вход входил в храм. Вся церемония, которую блестяще, как и всегда, вёл один и тот же — грех называть его диктором, это какой-то профессор семинарии или академии — голос, наверное, описана в специальной литературе, так что рассказывать об этом — смысла нет. Но всё время, пока длилась служба, пока одевали нового патриарха в специальные одежды, каждая деталь которой символизировала особое значение и особую ответственность перед Богом, всё это время крупно показывали привычное лицо нового патриарха. Мне кажется, что за последнее время это лицо изменилось, мне показалось, что оно освещено невероятным трагизмом ответственности. Это уже не просто умный, одарённый и хорошо разбирающийся во многих вопросах человек, который мирян и церковь пытался соединить с властью сегодняшнего дня. Это лицо освещено жаром высочайших этажей духовности. Не моя это терминология, но впервые я понял, что такое, если она есть и существует, божья благодать.

На даче у С. П. неглубокий, но абсолютно чистый и белый снег. Прокопал две дорожки: к колодцу и к воротам. В крошечном домике С. П. наводит тепло, в основном, керогазом. Уже потом включается электрообогреватель. Что-то слегка поели и оба уткнулись каждый в свой компьютер. В 15:45 по «Культуре» показали передачу о Замятине. Я вроде выглядел неплохо, в кадре был виден и краешек портрета В. С., висящий над диваном. К сожалению, телевизионный приёмник плохо работал, и звука почти не было, что я там лепетал и что оставили при монтаже, не ведаю. В нашей культурной столице канал «Культура» смотрит лишь 5% населения.

Вернулся домой часов в пять, смотрел что-то по тв, а потом до глубокой ночи сидел над рукописью. <…>

3 февраля, вторник

<…> Утром, наконец-то, прочёл за пятницу 30 ноября. Здесь я бы выделил три момента. Статья Валеры Кичина — я много раз думал, почему рука сама, называя тех или иных персонажей, так фамильярничает и шестидесятилетних людей называет Валерами и Наташами. А всё очень просто: не только потому, что все они знакомы с юности, но здесь ещё и тайное желание приобщиться к своим юным годам, ещё магия и ворожба, может быть, поможет. Статья эта о новом фильме Мамина, где один из эпизодов в пересказе Валеры мне так напомнил кое-какие сцены из моего «Имитатора». Фильм, кажется, неплохой. Второе — это две статьи на разных полосах. Одна, как в преддверии кризиса — я цитирую только название статьи и подзаголовок — «Себя не забывая. Саратовские чиновники раскроили бюджет в свою пользу». Вторая и на другой полосе: «Наличный пример. Руководители западных компаний сокращают себе зарплату». Сокращения, как следует из текста, огромные. Я полагаю, что заграничным чиновникам не всё равно, если их компания рухнет,

а нашим — на «компанию», т. е. на людей, которые их окружают, наплевать. Новый стиль — это легальное воровство. В прошлом году министрам, депутатам и крупным чиновникам Саратовской области зарплату поднимали пять раз. В муниципалитетах соответственно. Чиновники действуют в случаях подобных экономических аналогий с удивительной быстротой.

В институте блаженная тишина. Быстро сделав кое-какие дела, побежал на Скарятинский переулок, в Московское отделение. Ничто не даёт мне такого большого количества весёлых минут, как наша писательская организация. Сначала отдал доделки в главу и вступление к повести Шелапутина Ире. Я ещё, пожалуй, и не встречал работника, который бы подобным образом, как она, не отрываясь от компьютера ни на минуту, час за часом правил и что-то делал. Вот так, как я понимаю, и создаётся прибавочная стоимость. А начальство по-прежнему руководит. <…>

4 февраля, среда

Вечером был в театре у С. И. Яшина на «Ночи перед Рождеством», и пойду ещё сегодня вечером. Это особенности моего театрального сознания, мысли возникают во время спектакля, часто я кое-что на программке же и записываю. В общем, спектакль мне понравился, как всегда у Яшина своя протянутая стилистика и, как всегда, блестящие декорации Елены Качелаевой, его жены.

Но это всё не основное в сегодняшнем дне — вчера ночью скорая помощь увезла моего соседа Ашота — инфаркт. Ночью же возле дома началась суета, звонки в домофон, я, честно говоря, подумал, что случилось что-то с родителями Ашота, более старых людей у нас в доме нет. Поэтому утром дал ему сообщение, дескать, не случилось ли что-нибудь, нужна ли помощь. В ответ молчание, что очень не похоже на моего соседа. Всё разъяснилось, когда я пришёл на работу. Е. А. Табачкова, оказывается, уже позвонила ему домой, и там рыдающие родители обо всём и сказали. Тут же в отделе кадров я отыскал все адреса и получил первые известия — в реанимации, с врачом можно поговорить только завтра после 12. И вот сегодня, созвонившись с С. П. и взяв его ассистировать, я отправился в некий Кардиологический центр в районе Маросейки, а ещё ближе — вот странное совпадение — Армянского переулка. Роскошь, чистота, не очень понял даже, как он туда попал. После 20-й больницы, где я знал все ходы и выходы, контраст разительный. Немыслимый. Поговорил с врачом: инфаркт, в сердце затромбированный сосуд, сделал операцию и восстановили кровоток — видимо, это ставшая уже традиционной операция с неким шунтированием через бедренную артерию. Завтра переведут в палату. В приёмном покое встретил Олега Сергеева, артиста, которому Ашот составлял документы на звание — вот уж благодарный и ответственный парень, ему позвонили родители.

Вернувшись из больницы, написал рецензию на книгу М. О. Чудаковой.

Кое-что любопытное было по радио: во-первых, внутреннее распоряжение президента: крупные чиновники не должны в дни всеобщего кризиса мозолить глаза публике на мировых курортах, поэтому должны писать бумагу, куда едут и не выключать телефонов. Здесь все вспомнили, что во время истории в Кондопоге не могли отыскать губернатора Карелии и генерального прокурора. Судя по сообщениям, наши крупные чиновники, губернаторы, министры, соратники президента по его администрации засветились на Рождественские праздники в Куршевеле. Несколько фамилий было по радио перечислены, среди них, я запомнил имя Дмитрия Рогозина. На это можно только сказать: таких уж чиновников господин президент набрал! Из новостей этого же радостного плана ещё одно небезынтересное сообщение. Оказалось, по данным расследований экологов, ссылающихся на местных жителей и очевидцев, во время крушения вертолёта в Алтайском крае у горы Чёрная, было подстрелено не три горных барана-архара, которые были видны на снимке у самолёта, а около тридцати — это приблизительно 28% всей популяции. К сожалению, подстрелен был и вожак, и теперь, как считают местные охотники, стадо рассеется и погибнет. Напомним, что среди охотников были и очень высокопоставленные чиновники. Это кадровые вопросы нашего правительства и президента. Есть и ещё добавление к этой истории: оказывается, до «официального» был и ещё один, «спасательный», вертолёт, который забрал незарегистрированное оружие, видимо, часть добычи, двух девушек и подростка. Крепенько охотники экипировались.

5 февраля, четверг

Вчера вечером выехал из дома в 17:20, за час сорок до спектакля, и приехал в театр Гоголя на час позже, уже после антракта. В Москве резко потеплело, и пошёл снег, даже не снег, а какая-то снежная крупа. Москва, как и положено, встала. Отрезок после Моста и мимо Курского вокзала ехал больше часа. Играла, на этот раз Солоху, моя любимая Анна Гуляренко. Наконец-то как-то определился со статьёй о Яшине, буду делать статью о трёх его последних спектаклях — «по литературе». В какой-то степени он очень похож на меня: тоже ничего в жизни не видит, кроме работы.

День прошёл довольно напряжённо. В институте давали зарплату, не могу сказать, чтобы после всех повышений и 30% обещанной бюджетной прибавки я получил больше. Но кажется, — по сведениям у кассы, — значительно больше получили наши проректоры и бухгалтер. О ректоре не говорю, он фигура святая. У Сергея Толкачёва, профессора и доктора, студенты которого не помещаются в 23-й аудитории, жалование — 23 тысячи с рублями — знаю, потому что получал за него — а у проректора по хозяйству 66 тысяч. Чтобы выкроить деньги для себя, начальству надо недодать остальным. Получал также зарплату для Ашота — 8 тысяч с небольшими рублями. Такого дьявольского разноса в зарплатах в советское время не существовало.

До моего похода в больницу к Ашоту мне ещё надо было сходить на Экспертный совет по наградам. К счастью, это недалеко на фоне такого

несчастья с Ашотом — шёл мимо мхата — всё время думал о Т. В. Дорониной. Начал бояться за всех своих знакомых. На Совете всё, как обычно, пошла новая волна, так сказать, стремление подзадержать присвоение званий Народного и Заслуженного артиста, получить его, скорее, за выслугу лет. Правда, за выслугу лет при Николае Первом давали актёрам даже личное дворянство. Но волна эта, в принципе, стараниями Паши Слободкина и кое-кого из других членов совета была отбита. Но кое-что, естественно, протискивается. До конца совета не досидел, ушёл в пять.

Ашоту отнёс передачу. За продуктами в магазин бегала Надежда Васильевна и купила всё так, как мне бы никогда не удалось, женский заботливый глаз. В больнице у Ашота ещё раз подумал, какое счастье, что он попал именно в Центр интервенционной кардиологии. И сам центр прекрасно и современным образом оборудован и, главное, там немедленно поставили диагноз и немедленно же соперировали. В обычной бы больнице ещё неизвестно, чем бы закончилось. Накануне мне отец Ашота рассказывал, что врач скорой помощи обзванивал больницы, везде было полно. Только в Центре сказали: «везите». Делали операцию, по рассказу Ашота, без наркоза, зонд проходил через вену в паху. Как растворяли тромб и разбивали сужение сосуда, Ашот по телевизору хорошо видел.

Ещё до отъезда из дома в институт слушал радио. По «Эху» постоянно и тревожно говорят о кризисе. Многого говорят о поддержке правительством банковской системы. Кое-что я с эфира записал, поэтому за точность ручаюсь. О банках и банкирах. «Утром выпрашивают деньги у правительства, а вечером покупают зарубежную собственность».

6 февраля, пятница

Вчера политикой закончил, сегодня с политики начну. Довольно редко последнее время читаю газеты, но вот сегодняшний номер «рг». Коллекционирую лишь свой специфический интерес. После цитирования расскажу про своё утреннее посещение Теплостанского рынка — одного из самых дешёвых в городе.

Кадровый вопрос. Число уголовных дел против vip-персон за год выросло в три раза. «…под статьёй оказалось более 11 тысяч «неприкасаемых»: судей, прокуроров, депутатов… Обвинения в различных преступлениях уже предъявлены 1442 судьям, прокурорам, адвокатам и народным избранникам, 575 человек уже осуждены».

Фемида. В эту когорту лучших из полутора тысяч героев вошли: следователи, их набралось без малого 200 человек. «Обвинения большей частью стандартные — фальсификация доказательств, вымогательство, взятки и даже присвоение вещественных доказательств»; адвокаты, их 136 человек. «Их самые распространённые служебные грехи — мошенничество, сговор, подкуп свидетелей»; судьи «…в 26 случаях возбуждены уголовные дела, пятерым вынесены приговоры. В основном, за неправосудные вердикты, служебный подлог, взятки»; прокуроры — здесь газета застеснялась с цифрами и в качестве примера приводит Мордовию — по этой крошечной республике сразу три прокурора.

Народные избранники. «Под следствием оказалось более 4 тысяч избранников. Обвинения предъявлены за присвоение казённого имущества, подпольную предпринимательскую деятельность, кредиты». Разнос показателей по деянию, деликатно названному вместо воровства «присвоением», от 7 миллионов до 138 миллионов рублей.

Образование. По этой категории проходит лишь один бывший ректор Волгоградской академии государственной службы и депутат областной думы Михаил Сукиасян. Здесь мелочь, «покупал недвижимость за счёт федеральных средств», «по его распоряжению выплачивалась зарплата преподавателям, не работающим в академии. Государству был нанесён многомиллионный ущерб».

Бизнес. «Всех перещеголял депутат Госсобрания Якутии <…>, он же гендиректор крупной фирмы И. Корнев, который «прихватил» имущество целого предприятия на сумму 138 миллионов рублей. Суд отмерил ему 4 года».

О нашем суде см. раздел «фемида».

Утром ездили с Витей на рынок, здесь тоже много удивительного, а главное, цены, которые значительно ниже, чем в наших «цивилизованных» точках торговли. Как бы отвечая на мои недоумённые вопросы: «Неужели торговля так бесстыже «наваривает?», вернее: «Неужели государство и правительство позволяет ей так бесстыже «наваривать?», «рг» приводит цифры роста цен от производителя до прилавка. Всё обстоит, как в бессмертных фокусах Кио: стоимость картошки вырастает на 45%, говядины на 62%, свинины на 67%, риса фасованного на 75%, масла сливочного на 101%. Любопытно, что на рынке в палатке белорусское сливочное масло с тем же процентом содержания, что и вологодское, стоит на 20 рублей дороже. Это качество и тоталитарная дисциплина. <…>

7 февраля, суббота

Весна и кризис обострили борьбу за власть в творческих союзах. В одном из последних номеров «рг» большое интервью с Хуциевым, избранным председателем на последнем съезде. Съезд этот не зарегистрировал Минюст, но и Михалков, понимая, что этот состав его не выберет, отказался делать на съезде доклад. Но, тем не менее, просрочив с созывом съезда, он ещё и потерял право называться председателем, но всё равно, кажется, борется. Что касается Минюста, то он, как и Михалков, близок и знаком с властью, его позиция понятна. В союзе писателей тоже, как и бывало, война. Большие писатели в это не ввязываются, а для шустрых и маленьких, из которых в основном и состоит руководящий состав, это источник жизни и возможность считать себя значительным лицом. Они за это отчаянно дерутся. В основном, все деньги, которые эти «правящие органы» имеют, а это в Москве аренда и отчасти помощь правительства, направленная на поддержание книгоиздания, расходуются среди верхушки.

В. Н. Ганичев собирает съезд. На прошедшем пленуме он уже создал удобную для себя квоту. В своём письме в ЛГ Петя Алёшкин указал на юридическую неправомочность подобного решения. Ганичев эту квоту отменил и вместо неё создал новую, тоже хромающую в справедливости. В последней газете П. Алёшкин опять указал на этот предвыборный феномен. Что будет дальше?

Как известно, и в МСПС всё не очень в порядке. После отстранения Ф. Ф. Кузнецова и замены его на Ваню Переверзина, его бывшего соратника и друга, с которым они делили очень большую зарплату, возникла занятная ситуация. Ваня, во что бы то ни стало, хочет легитимизироваться, потому что назначен временно. Практически уже назначен съезд, вот к съезду-то Ф. Ф. Кузнецов и подготовил своё новое письмо — «Защитим писательское содружество. Членам МСПС». Я полагаю, защитить, т. е. вернуть прежнюю клику к распределению, не удастся.

Тем временем 96-летнего С. В. Михалкова отвезли в больницу. <…>

8 февраля, воскресенье

Мне так и не удаётся в этом году зимой пожить в Обнинске. Витя вчера учился, С. П. работал, ехать одному было стрёмно, утром поехали опять на дачу к С. П. в Ракитки. Заодно по дороге крепко затарился продуктами в «Перекрёстке». Час походил по пустынным улицам дачного посёлка, об этом я уже писал. Стоят на крошечных участках огромные бессмысленные дома, часто имитирующие дворянские усадьбы. Есть даже дом с колоннами, стыдливо расположенный фасадом внутрь участка, чтобы не мозолить глаза. Но самое любопытное — это огромные заборы, огораживающие барские замашки. Один из таких заборов — вышиной не менее четырёх-пяти метров. В тюрьмах делают ниже. Каждый хочет дворянского порядка и спокойствия на отдельно взятой территории. Если мне не изменяет память, никогда барские дома в России не были закрыты заборами. Порядок охраняла легитимность уклада жизни. <…>

9 февраля, понедельник

Утром по радио объявили, что Н. С. Михалков собирается созвать съезд Союза кинематографистов. Союзом, который сейчас в руинах, Михалков руководит 11 лет. Как семья отчаянно борется за власть и положение, понимая, что их «художественное» благополучие зиждется на административном успехе.

В ЛГ небольшая заметка Малкина о французском канале «Mezzo», одновременно занятная критика канала «Культура», который даёт «прикорм» очень надоевшим людям. «Архангельского, Швыдкого и Виктора Ерофеева я уже в лицо знаю, их мировоззренческие тезисы давно выучил наизусть, а новых лиц — особенно имеющих отношение к русской и мировой культуре — я там всё равно не вижу». Немедленно нашёл этот канал, который у меня в связке каналов на кабельном телевидении, и уже смотрю. «Поверьте, Андрея Максимова видеть менее приятно, чем Светлану Захарову, а ещё меньше — их вместе в «Ночном полёте». Умные разговоры лучше, да и полезнее читать».

По прессе прошло сообщение о возвращении боевого корабля из похода в Аденский залив, где он боролся с пиратами. Сведения из широт на этой неделе обширные. Наконец-то «выкупили» и судно «Фаина», гружённое украинскими танками. Танки пойдут, нарушая все международные нормы, по назначению. Для общества важнее торговать, нежели соблюдать. Само по себе чудовищно, что какие-то вшивые, обнаркоченные пираты на небольших моторках успешно противостоят мировому сообществу. Командир вернувшегося в родные воды российского корабля рассказывал, что они героически отбили два или три нападения на торговые суда. Снимается с палубы вертолёт и зависает над пиратским судном. Наших героев в родном порту встретили, как раньше встречали из боевых походов подводников, жареным поросёнком. Но вот Юля Латынина, выпускница Лита, сказала по радио «Эхо Москвы», что у половины вернувшегося экипажа — цинга. При этом Латынина прокомментировала: достаточно было бы на 100–200 долларов купить для экипажа лимонов.

Иногда думаю: надо позвонить Вале по телефону. Потом спохватываюсь.

10 февраля, вторник

<…> На кафедре после занятий видел В. И. Гусева, и тот рассказал, что встретил шофёра больного Михалкова и стал расспрашивать его, как чувствует себя старейший и мудрейший. Внезапно шофёр будто бы ответил, что С. В. дома и вроде бы даже и не был в больнице и что именно сегодня он, шофёр, отвозил ему домой зарплату. Мнение Гусева, что, скорее всего, старейший и мудрейший не хочет ввязываться в историю со съездом МСПС, назначенном на 18 февраля. Съезд почему-то должен состояться в Переделкино, так сказать, на территории Вани Переверзина. Надо подумать, стоит ли ехать мне.

11 февраля, среда

<…> С огромным вниманием я наблюдаю за кризисом. Здесь есть даже некоторый садизм: и мои небольшие деньги, несколько сот тысяч рублей, не переведённых в доллары, тоже гибнут. Я ведь не желаю плохого своей стране, но с чувством социального удовлетворения слушаю по радио и читаю в газетах, как «проваливаются» огромные проекты. Вот уже в телевидении, показав роскошно, в пластроне и бабочке Федю Бондарчука, сказали, что его фильм, который немыслимым образом был разрекламирован, не собрал необходимых средств, и теперь Федя должен где-то искать, как расплатиться с долгами. По-другому, но всё же меня обрадовало, что башня «Россия», которую предполагалось довести до 600 метров, чтобы она стала самым высоким небоскрёбом Европы, именно из-за кризиса уменьшат до 200 метров. Упоминался и главный постройщик — Чигиринский. <…>

14 февраля, суббота

Весь день просидел над чтением Марка Максимова. Выяснилось, что у него, оказывается, ещё есть и настоящая фамилия—Кардань. Кстати, и повесть его по страстной любви к слову чем-то напоминает длинный стиль Василия Гроссмана. Повесть огромная, расчётливо, чтобы не тратить бумагу, распечатана с межстрочным промежутком в один интервал двенадцатым шрифтом. Вечером к шести ходил в театр Гоголя на моноспектакль «Записки сумасшедшего». Ставил не Яшин, а Андрей Левицкий и Юлия Быстрова, я как бы понимаю, как это сделано, но спектакль потрясающий. Играет виртуозный молодой актёр Александр Лучинин. Кажется, я обратил на него внимание ещё во время «Последних» по Горькому. Он играет там Петра. Здесь просто чудо внутреннего перевоплощения, именно не внешнего, с разными паричками, предметиками и одёжками, а всё изнутри, мощно, без чувства недоверия.

Я невероятно задёрган всеми обстоятельствами творческой жизни. Надо бы писать роман, но не пишу. Надо бы делать статью о Фадееве, но занимаюсь статьёй о Яшине. Не смотрю телевидение. Иногда только слушаю радио: «Эхо» вовсю защищает замминистра финансов Сергея Сторчака, которого следственный комитет обвиняет в попытках хищения. <…>

16 февраля, понедельник

<…> Последнее время я всё время думаю, что надо бы распорядиться имуществом и составить завещание. Кому что? Несмотря на плохое самочувствие, немного позанимался разбором книг. Если уж разговор о книгах, то ещё в постели прочёл в сборнике «Юнкерские поэмы»—кроме Лермонтова, там есть кое-что и ещё—прочёл поэму Полежаева «Сашка», за которую царь сгноил поэта в армии. Предварительно он заставил эту поэму прочесть Полежаева вслух. В послесловии к книжке есть кое-что неожиданное для меня и о Лермонтове. Например, о его странных отношениях с его убийцей Мартыновым. В три часа потом поехал на кладбище Донского крематория. Это уже как обычно: всегда, когда мне было плохо, я шёл или к маме, или теперь к Вале. Только рядом с этими двумя женщинами я всю жизнь чувствовал себя защищённым. Пять минут постоял у плиты: Валя, мама, Фёдор Кузьмич. Опять расплакался.

Пока ехал в трамвае, прочёл прекрасное интервью в «РГ» с Зюгановым. Его «научный» подход борьбы с кризисом очень совпадает с моим подходом «здравого смысла». И первым пунктом—крестьяне. Уже второй день говорят о том, что у тех банков, которым оказана государственная помощь, надо бы проследить, чтобы начальство не увлекалось «бонусами». Бонус в данном случае это эвфемизм слова: большая, а чаще всего и гигантская, зарплата, которую начальство само себе назначило. В ряде случаев, именно это и могло быть одним из составляющих кризиса. Я думаю, понятие «бонус» относится и к нашей системе. Пока заведующий самой большой и головной кафедры института получает вдвое меньше, чем проректор по хозяйству. Проработав всю жизнь на руководящих должностях, я думаю, что никогда ещё не было такой разницы между зарплатами разных этажей. Похоже, это касается и высшего образования. <…>

18 февраля, среда

Приехал пораньше, чтобы посмотреть и первоначальную кухню, и сам съезд МСПС, а в конечном итоге из моего плана ничего не получилось. Особой охраны не было, довольно легко меня пропустили внутрь. Я порадовался, что всё же хватило ума не прятаться, а проводить съезд в Москве, а не в Переделкино, как предполагалось раньше. Внутри всё было довольно скучно, со следами обветшалости, с моим портретом на стенке рядом с другими. На давно не натёртом паркетном полу толкались писатели со смутно знакомыми лицами. Никого из писателей первого ранга, кроме С. Ю. Куняева, я не увидел. С. Ю. сразу же передал мне газету с какой-то его собственной статьёй, где он, по его словам, всё разъясняет. Но никаких первоначальных статей, даже в Литгазете, я вроде бы и не читал, пропустил. Встретил Максима Замшева и Ваню Голубничего, у всех настроение лихорадочное. Все ждали С. В. Михалкова, кто-то неприлично вслух назвал его «изваянием». В этой иронии был привкус некоторой справедливости: не хватит ли руководить? К этому примешалась настойчивость сохранить власть ещё и Никиты Сергеевича. В Российском искусстве подобная власть означает ещё и возможность в полную силу работать. Забегая вперёд, скажу, что Михалков довольно скоро подъехал и минут двадцать пробыл на съезде. Возможно, это опять чьи-то недобрые слова: «его почти внесли». Зарплата классику гимнов и детской литературы даётся тяжело. Я ждал Полякова, с которым мы хотели посоветоваться и выбрать стратегию. Общий план был уже готов: по возможности не вмешиваться. Но тут кто-то мне сказал, что внизу охрана всё же не пускает Ф. Ф. Кузнецова, Ю. Полякова и Жору Зайцева. Без пальто я выскочил на улицу, действительно не пускают. На лицо Полякова смотреть было невозможно. Ф. Ф. Кузнецову я не симпатизирую, он бьётся за «машину к подъезду», за большую зарплату и за приватизацию, как выяснилось из статьи Куняева, своей переделкинской дачи. Я статью прочёл много позже описываемых событий, уже дома. Все за что-то бьются, а больше всего меня удивило, откуда такие огромные средства, которые писатели вложили в свою недвижимость. Ну, у Полякова-то понятно, у него идут пьесы. Но вернёмся к подъезду.

К счастью, на улице было довольно тепло. Я постоял с ребятами минут десять и твёрдо решил, что на съезде не останусь. Здесь и солидарность, и поддержка моего друга Полякова, и понимание, что всё-таки это писательский съезд, а не сбор масонской ложи, куда допущены должны быть только свои.

Очень хорошо мы с Юрой посидели в ресторане «Кибитка» или «Тележка» при Доме писателей. Обедали за счёт драматурга, а в это время Зайцев

и Кузнецов поехали в милицию, где составили протокол об их «недопуске». Я в этот протокол вписан как свидетель. Замечательная была солянка и бараньи купаты. Полакомились и мороженым, я как больной одним шариком, а Юра двумя. Во время обеда о многом поговорили, в том числе и о том, как я и он—оба—не рискнули поступать в Литинститут. Я пошёл на заочку в МГУ, а он в пединститут.

В два я уже был в Институте, а в три началось заседание экзаменационной комиссии. Невольно вспомнил прошлый год, когда защищался курс Руслана Киреева. На этот раз было семь человек семинара Рекемчука, и, как мне показалось, все семеро были довольно кислые. Тем не менее, Александр Евсеевич по обыкновению разливался майским соловьём. <…>

20 февраля, пятница

В России уже свыше шести миллионов безработных. Это совершенно другой коленкор, нежели в советское время не работать. Тогда безработный, как и любой человек, мог без труда прокормиться, просто сдавая посуду. У него—жильё, а продукты, в частности молоко и хлеб, стоили и буквально, и фигурально копейки. Мы получили то управление, о котором и не мечтали. Всё, конечно, ещё закрашено поразительной демагогией, о которой советская власть и не предполагала. Что сегодня стоят речи наших вождей во главе с В. В.? Сейчас уже абсолютно ясно, что осенью были совершены невероятные ошибки в управлении финансами. Деньги налогоплательщиков, так называемый резервный фонд или его часть, были отданы банкирам, чтобы они спасали банковскую систему. А они тихо и спокойно деньги перевели в иностранную валюту. Наше правительство испугалось, как бы не пропали Дерипаска и Потанин. Как бы не разорились иностранные банкиры, у которых наши «производственники» заняли деньги. Над всей этой ситуацией витает тень Гайдара, который первым, как в своё время бедолага-переводчик, принёс к нам СПИД, провозгласил замечательную идею монетаризма. Ура! Единственно, что утешает, что стада девочек и мальчиков, всю неделю сидящих за банковскими компьютерами, а уже в пятницу кипящие в развлечениях, теперь на улице. И—не жалко.

Весь день сидел дома и рисовал в компьютере статью о театре Гоголя. Вечером дождался С. П. и—Витя за рулём—отправились на дачу. Как же здесь хорошо.

21 февраля, суббота

Невероятно отоспался. Ездил на источник за водой, потом убирался в доме, читал подборку материалов о выборах в Думу—готовлюсь к шестой главе романа. Но основное—прочёл дипломную работу Георгия Сердюкова с несколько претенциозным названием «Когда ангел спящую разбудит». В двадцать лет я так чисто и с таким широким охватом не писал, ещё был ребёнок. Несколько жидковато по стилю, но вполне зрелое сочинение о современном молодом человеке. Парень прекрасно владеет деталями, и кое-что может отлично придумать. <…>

Вечером Ашот дал эсэмэску—умер Роман Сеф.

23 февраля, понедельник

<…> День сегодня большой и полон событиями. И главное—это сегодняшнее заседание клуба в Китайском посольстве. У нас здесь показательный урок, который дают наши китайские друзья—как надо выживать в кризисе. Всё, естественно, строго по-китайски организовано: внесены в реестры охраны номера машин, в посольстве, которое от меня неподалёку на улице Дружбы, немедленно открываются ворота. Впервые я в огромном аванзале и вестибюле. Всё поражает поистине китайским размахом. Колонны, на стенах огромные классические пейзажи Поднебесной, в конференц-зале, в который мы потом переходим, панно с пейзажем одного из Пекинских садов. Неслышно снуют малые дипломаты и персонал. Встречает сам посол господин (товарищ) Лю Гучан. «Современный Китай в условиях мирового кризиса: перспективы двухстороннего сотрудничества Китая и России». Доклад посла не очень долог, здесь есть цифры нашего сотрудничества и цифры китайских достижений. Но самое главное—это ощущение готовности его страны справиться с кризисом. По крайней мере, они готовы и на следующий год дать 8% ВВП. К сожалению, я, кажется, потерял свои записи и приходится полагаться на память. Китайцы уверены, что в условиях кризиса им поможет государственное регулирование. Ещё раньше они много строили, теперь государство предоставляет кредиты и помощь, чтобы народ покупал жильё. Практически весь успех современного Китая заключается в том, что они взяли на вооружение всё, что мы изобрели при советской власти, и это дополнили достижениями и изобретениями нашего времени. Возможно, самое главное—это сохранение влияния партии на государство. Не партия ради партии, а партия для проживания народа.

После выступления посла и обычных в этих случаях вопросов я вклинился и подарил послу своего «Имитатора» на китайском языке. А кому мне ещё эту книжку дарить?

Потом, естественно, по-китайски, вкусно и неожиданно кормили. Ещё раз сожалею, что потерял записи, но меню-то с собой прихватил. Сканирую.

Холодные закуски
Овощной суп
Деликатес из морепродуктов
Жареные креветки
Выпеченная рыбка
Спаржа с крабовым мясом
Кисель из белых древесных грибов
Десерт
Фрукты
Чай

Последние день или два всё время говорили о юбилее Янковского. Не было ни одного сюжета, чтобы как бы втихаря, как бы из тайн сокровенных не сказали, что мать знаменитого актёра ещё в

его детстве сожгла документы, подтверждающие права на дворянское происхождение. Боюсь, что скоро в нашей стране из интеллигенции крестьянского происхождения останутся только я и Лёва Скворцов. Много также трубили, как бы подавая всем тревожный знак, и о том, что Администрация президента в связи с кризисом, сокращает 100 единиц своих вакансий и текущего персонала.

26 февраля, четверг

<…> В три часа начался Учёный совет. Рассматривали успеваемость студентов. Чуть ли не больше половины первокурсников не сдали первую сессию. Все валятся на двух дисциплинах, которые ведут И. А. и Т. Б. Гвоздевы. В принципе, всё сводится к тому, что ребята не читают текстов. Интернет и низкий уровень школы окончательно доминируют нашу молодёжь. Порой для ребят весь процесс познания сводится к коротким аннотациям из Интернета. Они полагают, что этого им для дальнейшей жизни хватит, путая сдачу экзамена и творческую жизнь. Вспоминая свою университетскую молодость, я сегодня же вразумлял девушек и молодых людей, расположившихся в очередь на пересдачу античики возле одной из аудиторий: «Не зубрите чужие шпаргалки, запомнить что-либо можно, лишь эмоционально пережив. Я в университете не прочёл по литературе ни одного учебника, а читал только тексты. Если вы знаете текст, смело вступайте в схватку с преподавателем, всё, чего вы не знаете, он расскажет вам сам».

<…> Подвозил В. В. Сорокина, он мой сосед. По дороге В. В. рассказал мне о прошедшем съезде МСПС. Он подтвердил, что С. В. Михалкова в зал почти внесли, говорил он невнятно, а читать почти не мог. <…>

27 февраля, пятница

<…> По радио передают последние известия. События в связи с кризисом множатся. Похоже, что надвигается и что-то политическое. Власть охраняет и поддерживает крупный капитал. Но на этом фоне постоянно идут и мелкие шалости. Верховный суд, после отставки Киселёва выявивший коекакие подробности, держится, как никогда твёрдо. Сегодня суд объявил, что нельзя признать кого-то недееспособным или невменяемым без решения суда. Здесь всё понятно: корыстные родственники прячут за взятки родню в сумасшедший дом и наслаждаются имуществом псевдосумасшедшего. Это как бы объявить живого человека покойником. Сегодня же происходят любопытные истории и в Думе, всегда торжественно помалкивающей против власти. Во время голосования фракция ЛДПР торжественно, забыв, кто её кормит, содержит и поддерживает, покинула зал заседания. Первого марта назначены региональные выборы, и ЛДПРовцы вдруг почувствовали себя стеснёнными. В этом смысле «Единая Россия» в хватке не уступает и большевикам, постепенно вытеснившим все иные партии с политического пространства.

Собственно, теперь мне надо зафиксировать главное событие сегодняшнего дня. Ещё, кажется во вторник или в среду, вдруг дозвонился до меня Игорь Львович со счастливым известием: моя книга в «Дрофе» вышла в свет. Честно говоря, иногда я с замиранием сердца думал, что в такое ужасное время кризиса и экономических предательств книга может быть, в числе наверное многих в издательстве, задержана. А книга всё же вышла! От радости я, кажется, и прореагировал довольно сухо и не сказал Игорю Львовичу всех полагающихся ему заслуженных благодарственных слов.

Накануне я созванивался с Натальей Евгеньевной Рудомазиной, моим редактором. Смутно представляя расписания своих ближайших дней, договорился заехать за авторскими экземплярами лишь на следующей неделе. А тут так быстро суд закончился! В общем, поехал сразу с Павелецкой на Рижскую, в издательство. Книга получилась просто замечательная! Как я рад. И как бездарно не могу в собственном дневнике выразить эту свою радость. <…>

3 марта, вторник

С каждым днём на политику остаётся всё меньше и меньше времени. Политика откровенно стала мне скучна, и занимаюсь я ею лишь потому, что она отражает любимую мою категорию: социальную справедливость. А что стоит рядом с социальной справедливостью? Рядом с ней — государственное устройство, «чтобы жизнь, а не ярем…» Я не философ, а наблюдатель фактов, и из этих фактов один радует. Вроде бы Министерство обороны объявило, что никаких поблажек и отсрочек не будет нашим молодым спортсменам, нечего им таиться по базам, а пора, как и всем ребятам, становиться в армейский строй. Естественно, сразу поднялась волна протеста: как же так, это особые таланты! А я вот против «особых талантов». Я за то, чтобы эти особые таланты служили в армии, даже если они артисты балета, даже если они знаменитые певцы, киноактёры и прекрасные музыканты. Помоему, в Израиле или в каком-то другом восточном государстве существует правило: если не можешь служить в юности — дадим тебе отсрочку, лет до 40 или 50. Но должен отслужить. Кажется, всё же это правило существует в Греции. Мне это очень по душе. Второе событие, значительное для Москвы наших дней, нашего времени. Некая группа предприимчивых москвичей, с которыми — один раз это было названо — действовала гражданка государства Израиль с грузинской фамилией — эта группа изготовила свыше миллиона билетов на метро и благополучно, пока их не схватили, распродала их. Тем времени начальство метро, экономя на всём, в час пик не смогло обеспечить свободный доступ пассажиров к кассе.

На всякий случай, во вторник я приготовился обсуждать на семинаре большую повесть Магомета Нафездова. Это повесть о любви с оттенком восточно-кавказского менталитета автора. Обсуждать трудно, потому что переводчик хороший, но неизвестно, каков язык у подлинного автора. Есть интересные детали сегодняшней жизни, быта, и это я прочёл с удовольствием. В этом смысле, несмотря на заданность сюжета и некоторых местных обстоятельств действия, — почти всё, как при

соцреализме—повесть читается с интересом, по крайне мере более ярко выраженным, чем при чтении нашей московской молодёжной литературной тусовки.

Но у меня на сегодня был ещё один страховочный вариант. Я, кажется, уже писал, что пару дней назад домой позвонил Захар Прилепин. Он хотел бы провести интервью со мной для Литгазеты. Я уцепился за это обстоятельство и сказал: давай лучше, Захар, во вторник выступи у нас на семинаре в Литинституте, а интервью как-нибудь потом. И Захар, как ни странно, пришёл—обязательность ведь не основное качество писателей, хотя настоящий писатель всегда обязателен. Имя Прилепина знаковое, его роман «Санькя» семинар прочитал в прошлом году. Аудитория была полна, пришли ребята из других семинаров. Говорит Захар блестяще, речь его хорошо структурирована, я не мог предположить,—настолько это сделано подлинно и с «нервом»—что парень этот обладает филологическим образованием. Но ещё он, видимо, хорошо учился: много читал, много знает, имеет своё суждение и о жизни, и о литературе. К сожалению, мне не удалось, как обычно, записать выступление Захара, а он хорошо говорил о времени, о литературе, о советской литературе, о Лимонове, о литературе новой, о чувстве справедливости. <…>

4 февраля, среда

<…> Домой приехал уже в восемь часов. Читал «Литературную газету». Самое любопытное это статья о «Вехах», которым в этом году «исполняется» 100 лет и статья Андрея Воронцова о новой книжке А. Варламова о Булгакове. Статья называется «Политкорректный фоторобот мастера» К сожалению, я книжки Варламова не читал. Лёша плодовит, книжка большая, чуть ли не 800 страниц. «Всё у Варламова размеренно, спокойно, в меру умно, в меру завлекательно и интересно. Дойдя до середины книги, определённо ощущаешь, что в ней имеется какой-то изъян, словно в портрете, сделанном методом фоторобота». Так ли это не знаю, но Булгаков—о котором написано тьма—это сейчас беспроигрышная цель. Но вот Воронцов даёт и портрет Варламова, возможно, здесь не месть, определённая зависть к успехам ровесника. «Варламов—человек литературной системы. Он писатель осторожный, я бы даже сказал—осторожненький. Ни разу не оступился на своём творческом пути, ни разу не вышел «за рамки»: он тихонько протопал по краю клокочущего мира, который являла собой Россия последних двадцати лет, ни слова никому не сказал поперёк и, уж конечно, такого слова не написал. У него есть небольшой художественный мир, с небольшими страстями. Перед нами своеобразный мастер мимикрии». С последней фразой мне согласиться трудно, здесь некая ревность к более удачному сверстнику.

5 марта, четверг

Потихонечку читаю книгу Владимира Лакшина «Солженицын и колесо истории», и книжка меня затягивает. В споре Лакшина и Солженицына о чести и достоинстве Лакшин, конечно, побеждает, хотя бы потому, что у него Дневник, где день за днём отображены эти отношения, а не модель книги, которую великий художник талантливо и тенденциозно претворяет в текст. Меня-то в книжке привлекают подробности не только таинственного и великого для меня журнала, но извивы борьбы, которая проходила при моей жизни. Я ведь всегда в это особенно не вникал. Теперь мне кажется, неприятие почвенниками «Нового мира» было связано не только с его—ну, скажу грубо—еврейством, а в первую очередь, что туда, в основной массе, именно из-за качества не пускали. Но вот Шукшин печатался там, Можаев печатался там, а из остальных лишь писатели калибра Астафьева, Распутина и Белова могли быть там в то время напечатаны. Это был очень глубокий вспах. Но, собственно, сейчас я не совсем об этом. В Дневниках Лакшина, вернее, в тех выборках, которые касались Солженицына, всё же есть, и иногда удивительные, детали эпохи. Сегодня многое смотрится по-новому. А. Т. Твардовский рассказывает, что говорилось на идеологической комиссии: «С. Павлов делал доклад о воспитании молодёжи. Приводились такие цифры: в Москве 40% детей крестят в церквях, 20% браков совершается в церкви». Дальше цитата эта продолжена растущей молодёжной преступностью, но я о другом. Сначала о том, что тот рост верующих людей, который вроде бы повсеместно наблюдается в России, обусловлен в первую очередь тем, что русский человек вне православной религии себя никогда не мыслил, мы просто вспомнили себя. Но есть и другое, что каким-то образом заставило меня обратить внимание на эту цитату. «У нас каждый двенадцатый ребёнок делает попытку к суициду»,—это утром я услышал по «Эху». <…>

Наши девочки из семинара драматургии, все очень современные и начитанные, как мне иногда кажется, глубоко презирающие Островского, позвали в институт новое драматическое светило Гришковца. На эту встречу приплелась и одна моя студентка, предварительно что-то прочла. Теперь, в рамках моего задания о круге чтения, пишет отчёт. Её имя я всё же не указываю, она просит в своём отчёте на семинаре её текст не читать. Я бы так радикально плохо ни об одном писателе высказаться не смог. Лёг спать что-то около одиннадцати.

6 марта, пятница

<…> Солженицыну не дали, как известно, в своё время Ленинскую премию, хотя, конечно, он был из самых сильных претендентов. И вот редактор «Нового мира» А. Т. Твардовский беседует с влиятельнейшим в идеологии партаппаратчиком Поликарповым по поводу статьи Твардовского, в которой он пишет об этом писателе. «Твардовский высказал ему многое—и тот молчал. О Солженицыне А. Т. сказал: «Ты же ведь знаешь, что фактически он премию получил. Кто сейчас вспомнит Гончара с его «Тронкой», а всего год прошёл».

Эта цитата вспомнилась мне после разговора с Ириной Львовной, главным редактором издательства «Терра». Я дружу с нею уже много лет. Именно она недавно рассказала мне о «русском князе Батые». Сегодня мы вспомнили и ещё одно речение образованнейших наших учеников. Коран написан, по их мнениям, на «коранском» языке. Мы говорили с ней о таких премиях, как Букер и «Большая книга». Где сейчас эти важные лауреаты! Между прочим, Прилепин считает премию Букера Елизарову неким прорывом, и он, пожалуй, прав. Прости, в смысле «извини», Юра Поляков!

<…> Как-то со своими литературными делами я совсем упустил в Дневнике, что заболела собака Муза. Она уже пятнадцать лет живёт в комнате отдела кадров — днём под столом в ногах у Е. А., а ночью на маленьком диванчике. Охранники обычно выгуливают собаку по утрам. Правда, я заходил в среду и, понимая, что Е. А. непосильно тратится, как обычно, на лекарства и ветеринаров, к 8 марта сделал Музе подарок — 1000 рублей. Почему тогда я дал так мало, ведь только что была зарплата.

На въезде в институт у открытых ворот встретил на машине Л. М. Царёву: «Вы чего так поздно?» — «Повидаться с собакой». Через поднятое боковое стекло Людмила Михайловна мне сказала: «Собаки уже нет». Чего же здесь описывать, такое невероятное для Е. А., моего друга, горе. Это понятно лишь тому, кто сам терял собаку. Разве до сих пор я не вспоминаю свою бедную Долли?

Ехали домой на троллейбусе до метро вместе, по дороге Е. А. рассказывала мне все перипетии. Кажется, собаку Музу мы похороним за счёт института. Она это как никто заслужила и своей верностью, и тем, что стала институтским мифом. <…>

8 марта, воскресенье

Собственно весь день занимался романом, что-то начало двигаться, по крайней мере, я набросал план первого «президентского эпизода». Витя создал мне идеальные условия для работы: на нём не только машина, вся техника, но и кухня. Параллельно с романом читаю найденную на полках книжку Нины Берберовой о Чайковском. Совершённо невероятный фрагмент, связанный с психологией творчества. Такое ощущение, будто это всё писал я сам, но это из письма к Надежде Филаретовне фон Мекк:

«Я постараюсь рассказать Вам в общих чертах, как я работаю. Прежде всего, я должен сделать очень важное для разъяснения процесса сочинения подразделение моих работ на два вида:

1) Сочинения, которые я пишу по собственной инициативе, вследствие непосредственного влечения и неотразимой внутренней потребности.

2) Сочинения, которые я пишу вследствие внешнего толчка, по просьбе друга или издателя, по заказу, как, например, случилось, когда для открытия Политехнической выставки мне заказали кантату или, когда для проектированного в пользу Красного Креста концерта, дирекция Музыкального общества мне заказала марш (сербско-русский) и т. п.

Спешу оговориться. Я уже по опыту знаю, что качество сочинения не находится в зависимости от принадлежности к тому или другому отделу. Очень часто случалось, что вещь, принадлежащая ко второму разряду, несмотря на то, что первоначальный толчок к её появлению на свет получался извне, выходила вполне удачной, и наоборот, вещь, задуманная мной самим, вследствие побочных обстоятельств, удавалась менее.

Для сочинений, принадлежащих к первому разряду, не требуется никакого, хотя бы малейшего усилия воли. Остаётся повиноваться внутреннему голосу, и если первая из двух жизней не подавляет своими грустными случайностями вторую, художническую, то работа идёт с совершенно непостижимой лёгкостью. Забываешь всё, душа трепещет от какого-то совершенно непостижимого и невыразимо сладкого волнения, решительно не успеваешь следовать за её порывом куда-то, время проходит буквально незаметно…

Для сочинения второго разряда иногда приходится себя настраивать. Тут весьма часто приходится побеждать лень, неохоту. Иногда победа достаётся легко, иногда вдохновение ускользает, не даётся.

…Мой призыв к вдохновению никогда почти не бывает тщетным. Таким образом, находясь в нормальном состоянии духа, я могу сказать, что сочиняю всегда, в каждую минуту дня и при всякой обстановке. Иногда это бывает какая-то подготовительная работа, т. е. отделываются подробности голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз является совершенно новая, самостоятельная музыкальная мысль. Откуда это является — непроницаемая тайна».

Как всё это справедливо! Может быть, когда идёт роман, мне заканчивать писание Дневников? Событий мало, политика стала интересовать меня лишь в моём новом романе.

В Интернете стихотворение Жени Лесина.

Памяти Музы

Музой звали собаку. Собаку Литинститута.
Она была очень старой. Сто или двести лет.
А, может быть, даже больше. И Скуратов Малюта
Поил её самогоном, чтоб она держала ответ
Перед Иваном Грозным. И ведь она держала.
Жила-то в отделе кадров, а там не всяк проживёт.
Русская литература любила её и знала.
Я тоже учился с нею, но точно не помню год.

Собака Муза — легенда. Вчера мы выпили водки.
Не чокаясь. За собаку. Умерла ведь не так давно.

А у девки зато две юбки. А под ними — чулки, колготки.
На колготки чулки надеты. Очень глупо, зато смешно.
Девка шла, уезжал Данила, на углу менялась валюта.
Мы бухали, о чём-то спорили,
жизнь, как девка, куда-то шла.
Музой звали собаку. Собаку Литинститута.
Она была очень старой. Теперь она умерла.

9 марта, понедельник

Утром встал в семь, час у меня заняли лекарства и зарядка, потом писал, читал, ещё час гулял. В двенадцать Витя организовал еду. Перед самым

отъездом прочёл предисловие самой Берберовой к книге и там встретил поразительный пассаж о «биографической литературе». Он актуален ещё и в связи со статьёй Воронцова.

1930-е годы были временем писания биографий. Писатели их писали, а читатели их с увлечением читали. Были выработаны некоторые законы, которым подчинялись авторы: отсутствие прямой речи, использование архивных документов, никакой прикрасы для завлечения читателя, никакой романсировки. Такие приёмы (прошлого века), как диалоги, чтение мыслей, возможные встречи и ничем не оправданные детали, которыми, как когда-то считалось, оживлялся роман из жизни великого человека, описания природы, погоды — дурной для усиления мрачных моментов его жизни или прекрасной, для подчёркивания радостной встречи, или вставки цитаты в прямую речь, иногда в полторы страницы, из статьи, написанной героем через 12 лет после описываемого разговора, были выброшены на Западе, как хлам. К сожалению, в Советском Союзе до сих пор ими пользуются не только авторы «для широкой публики», но даже учёные историки. <…>

10 марта, вторник

Пока ехал, по радио всё время говорили о кризисе. Вечером по ТВ вроде бы министр финансов сказал, что «фонда» хватит на два с половиной года, а потом будем занимать. И тогда же сообщили, что трёхлетнее планирование пока отменяется. Ещё утром, уже второй раз за последнее время, сообщили, что резко снизили оплату киноактёрам, снимающимся в кино и сериалах — это решение гильдии кино- и телепромышленников. Я даже наших лучших людей немножко пожалел, теперь им будут — самым первачам — платить лишь по 82 тысячи рублей за съёмочный день. Без иронии. Наш русский туризм тоже снизился уже на 20%. Все уповают на окончание кризиса, чтобы начать строить новые экономические пирамиды. Единственное утешение, что сейчас основные страдальцы — это очень богатые. Уже и Дерипаска, и Батурина просят у государства помощи.

Утром в институте продиктовал Е. Я. своё приветствие фестивалю:

«Здравствуйте! После небольшого перерыва я снова говорю участникам и зрителям XV фестиваля «Литература и кино» — здравствуйте!

Конечно, не очень весёлое это дело «крутить» кино во время кризиса. Но ведь есть точка зрения, что именно через культуру можно поднять не только человека, но и страну. Хорошо бы мысль это достигла всех уголков нашего начальствующего сознания. Но есть ещё один положительный фактор: пожалуй, никогда Кинофестиваль не собирал такую внушительную и ровную по своему высокому качеству программу. Здесь есть самые первые имена нашего кино, но и самые первые имена нашей литературы. Может быть, это какой-то последний всплеск нашего когда-то знаменитого кино! Посмотрим, как на это отреагирует зритель, по крайней мере, жюри Фестиваля напряглось и взяло наизготовку.

В этом году Гатчинский экран пристально будет рассматривать Евгений Юрьевич Сидоров, знаменитый литературовед, ещё в недавнем прошлом министр культуры, доктор наук, профессор. Полагаю, он-то во всём разберётся, тем более, что ещё последние многие годы просидел представителем в ЮНЕСКО. Рядом с ним я вижу другого представителя когорты профессионалов: это Виктор Матизен, хорошо известный как кинокритик, постоянный рецензент «Известий», человек отчаянной ярости в отстаивании *настоящего* кино. Посмотрим! Долго размышляя над тем, кто будет оценивать Кино с точки зрения музыки, я пришёл к выводу: надо совместить приятное с полезным, для чего и выбрал своего старого приятеля Олега Борисовича Иванова. Он — народный артист России, значит, что-нибудь, может быть, и споёт нам на открытии, но он ещё и один из самых популярных композиторов-песенников, и хорошо помню даже самый первый его шлягер на слова Александра Прокофьева:

«Мы хлеба горбушку — и ту пополам!»

На новых креслах в зале знаменитого кинотеатра «Победа», в том ряду, который традиционно отводится Жюри, будет сидеть и заместитель главного редактора «Литературной газеты», это новый информационный спонсор Кинофестиваля, — Леонид Колпаков, блестящий журналист, человек, всесторонне подкованный в искусстве и, самое главное, — человек редчайшей справедливости и принципиальности.

Экспертом таинственных картинок со скоростью 24 кадра в секунду, т. е. членом Жюри, отвечающим за операторское искусство, станет «прекрасная дама», владеющая этим тяжёлым ремеслом на уровне искусства — знаменитый кинооператор Мария Смирнова. Как говорится, исполать!

Ну а теперь — кинозвезда 70-х, хотя настоящие звёзды, такие, как она, никогда не гаснут. Это — героиня многих советских фильмов, она не нуждается в представлении — Тамара Сёмина, народная и любимая.

Осталось лишь представить Председателя жюри. Собственно говоря, в Гатчине его знают все, по крайней мере, его знает библиотека.

Это — писатель, профессор Литературного института, впрочем, он вам знаком».

Продиктовал и фрагмент интервью для Димы Каралиса в Ленинград. Всё, кажется, получилось. Теперь надо замазывать все наши былые конфликты.

Как сложились мои отношения с Фестивалем «Литература и кино»? Предыстория известна. 15 лет назад я вместе с моей женой, кинокритиком Валентиной Сергеевной Ивановой, и тогдашним директором кинотеатра «Победа» Генриеттой Ягибековой сначала придумали, а потом с помощью городских властей и основали этот Фестиваль. Собственно говоря, время тогда было — крушение и литературы, и кино. Мы начинали на нищенские деньги, занимали, отдавали… Хорошо помню, как во время первого Фестиваля Валентина Сергеевна сидела в номере гостиницы и пересчитывала то, что надо было вернуть газете «Советская

культура», которая тоже стояла у истоков этого предприятия. Занятно, что Фестиваль — ну, не очень любимый нашей глубоко либеральной и глубоко коррумпированной прессой — тем не менее, в отчётах Министерства культуры стоял всегда первым номером, я ведь долгие годы был членом коллегии этого Министерства и видел это сам.

На Фестивале мы пережили многое: свои маленькие региональные открытия, утверждение своей правды в искусстве, не всегда совпадавшей с той парадной правдой, которая фанфарила на других фестивалях.

Фестиваль отличался двумя чертами: полным отсутствием какой бы то ни было коррупции и абсолютно справедливым, в меру своего понимания, жюри. Среди актёров, режиссёров всегда было ощущение удивительно культурной творческой атмосферы, мы ведь не мыслили Фестиваль, где бы жизненный праздник с возлиянием был бы главным. Гатчина расположена в районе такого культурного напряжения, сам воздух говорит о славе Отечества, о его историческом статусе, что хочешь не хочешь, а должен всему этому соответствовать. И надо отдать должное, что участники Фестиваля старались отдать должное этому уголку нашей Родины. Главное галадействие происходило на основной сцене в кинотеатре «Победа», но и сколько всего совершалось в районе — в школах, научно-исследовательских институтах, Художественном училище и других, как мы называем, очагах культуры! У меня всегда было твёрдое ощущение, что это не только праздник кино, но и некая школа искусств. Кого только не было здесь из писателей, какие встречались славные имена! Не буду всего этого перечислять, практически всё это есть на сайтах. Ну, а потом что-то расклеилось. Целый год я на Фестивале не был, у меня случился конфликт с администрацией города, которая, как мне показалось, не создала определённых условий для работы директора кинотеатра, всё той же Генриетты Ягибековой, и та ушла как-то торопливо, без меня, а ведь была в этом «колесе» не последней спицей. Изменения произошли и со статусом Фестиваля, и с фондом и со многим другим.

К счастью, конфликт закончился. Сейчас трудный момент в экономике, и для всего искусства наступают не лучшие времена — и что же, вспоминать прошлое, считаться? С администрацией города меня сблизила трагическая ситуация — смерть Валентины Сергеевны Ивановой, моей жены. Ведь по сути дела, она всё начинала, она буквально взяла за горло тогдашнего ректора Литературного института: необходимо создать Фестиваль. Я не могу уйти из этих дней, уйти от памяти этого замечательного человека и критика, не могу бросить её дело. И вот, с перерывом в год, снова собираю жюри и снова еду в Гатчину. Может быть, это последняя волна, но мне кажется, что программа Фестиваля в этом году сильна, как никогда. Я отчётливо сознаю, как мне и моим коллегам по жюри будет трудно, как сложно придётся определять победителей. Поиск правды и справедливости — всегда вещь нелёгкая.

Ходил в отдел кадров к Евгении Александровне: она — как потерянная. В воскресенье она ездила на кремацию своей собаки Музы. Теперь мраморная урна стоит у неё на письменном столе. Я так понимаю её отчаяние, и моя Валя, и моя собака тоже всё время со мною, и нет дня, чтобы я о них не вспомнил.

<…> Из событий дня было и ещё одно: и трагическое, и смешное, и нелепое. Неделю назад, когда вышла моя книга в «Дрофе» я принёс её в институт, и библиотекари поставили её на витрину, где стоят новые работы наших преподавателей. Там и Гусев, и книги Тарасова, уже с пожухшими от многомесячной экспозиции обложками и его пожелтевшие газетные статьи да и мои старые книги. Вчера, ровно через неделю, эту книгу с выставки сняли. Библиотекарша, пряча глаза, принесла книгу Надежде Васильевне: «Неделю постояла, надо ставить другие книги». Не верю, что это наше начальство. Рядом с двухтомником воспоминаний о Литинституте, в котором сотни авторов, стоит том, который о том же Лите написал одинокий и скромный преподаватель. Напомню, что было на обложке: «Твербуль, или Логово вымысла». Роман места и «Дневник ректора. 2005 год». Ах, ревность, ревность. Чья же она?

11 марта, среда

На этот раз удивительно трудно формируется наше фестивальное жюри. Вот уже и Лёня Колпаков отказался, и потерялся Олег Иванов. Что касается Олега, это наш русский творческий, необязательный характер — он просто не отвечает по телефону. Практически не можем мы также найти себе в жюри и режиссёра. Раньше я был занят формированием жюри задолго до начала фестиваля и собирал всё это, как мозаику, по камешку. Нынче всё приходится делать срочно, чувствуется и отсутствие В. С., которая помогала здесь советом безмерно. К обычным трудностям прибавилось и изменение сроков фестиваля. Трудно с режиссурой ещё и потому, что 30-го начинается съезд Союза кинематографистов, всё там — это в кино, а в литературе — вся наша яркая либерально-демократическая тусовка летит тоже 30-го марта в Париж, где будут отмечать день рождения Гоголя. На это я наткнулся, позвонив Ольге Славниковой, все собираются в Париж… <…>

12 марта, четверг

Ещё вчера вечером принялся читать «Патологии» Захара Прилепина, и день, в смысле работы, пошёл насмарку — оторваться уже не мог. С некоторым пренебрежением я читаю все материалы о Чечне и смотрю фильмы об этой войне — для художника дело это, если он не обладает огромным талантом, всегда конъюнктурное. В кино всегда понимаешь, что это не жаркое и настоящее пламя, а солярка, в литературе всегда чувствуешь готовый ход. Может быть, Прилепин начинает, как Толстой начинал с «Севастопольских рассказов»? Это невероятно убедительно и здорово. Трудно говорить об образах, о приёмах, образы, может быть, и не все получились, а лишь лента имён товарищей, но вот весь

ход этого ужасного действия получился. Описать, «как» получилось нельзя—здесь всё надо пересказывать фразами и словами Захара. Наверное, это лучший писатель нынешнего времени в России. Да и вообще, роман ли это, конечно не роман, но репортаж ли это о событиях, случившихся с группой наших спецназовцев в Чечне. А если это репортаж—то это репортаж из мясорубки.

Для себя, вернее, для своих студентов выписываю цитату—вот как надо знать предмет, о котором пишешь.

<…> В шестом часу поехал в театр Гоголя на «Портрет», смотрю уже во второй раз. Спектакль мне определённо нравится ещё больше—Серёжа ставит другую, может быть даже менее выигрышную, чем А. Бородин, задачу. Завтра закончу статью о театре Гоголя, еду за недостающими чертами. В метро и на эскалаторе читаю Прилепина и тороплюсь домой, чтобы спокойно, в сладостном безделье закончить книгу. Так я только в юности читал «Всадника без головы».

13 марта, пятница

<…> На сцене в театре имени Гоголя в гоголевские дни.

Начать с известного восклицания: «Знаете ли вы, как я люблю театр!» или с «простенького»,—«Давно я хотел написать статью о московском театре им. Гоголя?». И если название театра определилось, то надо начать с объяснения. Может быть, потому я хожу в этот театр, что довольно давно, в начале перестройки, когда люди в театр не ходили, а сидели у телевизоров и с надеждой,—правда не реализовавшейся!—наблюдали за съездом Советов или читали «разоблачительные» книги бывшего начальника ГлавПУРа Волкогонова, вот именно тогда, в этом театре шла моя пьеса «Сороковой день». Это ведь уже немало для любви! А может, любовь к театру возникает, как привязанность к определённой газете? С годами мы ведь понимаем, что все подряд газеты читают только старые политики, а взрослея и становясь опытнее, мы читаем лишь по интересам. Скажем, «Советская культура», я помню эту газету, которая была неизменно лучше, чем нынешняя локально-ориентированная «Культура», или «Спорт» или «Литературная газета» либо то, что соответствует твоим взглядам, и что тебя—это немаловажно—не раздражает. Это называется—применительно к газете—совпадением политических взглядов, а когда дело касается театра, здесь возникает и дополнительно понятие—совпадение эстетики. Я с этим театром совпадаю.

Я уже заметил некое, я бы сказал, своеобразное отношение к этому театру снобирующей интеллигенции. Может быть, это связано с его особым расположением возле Курского вокзала, а может быть, с идеологическим атавизмом,—когда-то именно здесь стартовала печально знаменитая пьеса Сурова «Зелёная улица». Эту пьесу о советских достижениях наших транспортников, где хорошее соревновалось с лучшим, естественно, не могла полюбить ни интеллигенция, ни даже «в нагрузку» достаточно нетребовательный прошлый зритель. Но время минуло, давно уже от Курской окружной станции метро к театру идёт специальный, с указателем тоннель, репертуар сменился. Далёкое стало близким. Правда, репертуар этот своеобразный: здесь, при обилии знаменитых и увлекательных пьес Запада, идёт в основном, и явно с приоритетом, я бы сказал, сугубо русский театральный репертуар. Приветствуется ли сейчас этот репертуар гораздой на быстрые смены смыслов и приоритетов театральной общественностью и критиками? Не знаю, критика полюбила цирк на сцене, фривольность в поведении персонажей, простоту до нищеты декорации и прочие современные прелести, возникшие с новым временем. Но время сказать о главном режиссёре.

Сергей Иванович Яшин—я с ним дружу—пришёл в театр, наверное, лет двадцать назад. И кстати, просмотрев, как положено в этих случаях, текущий репертуар, он довольно скоро снял мою пьесу, к чему я отнёсся совершенно спокойно, но пьес после этого уже не пишу. Он ученик знаменитого театрального режиссёра Андрея Гончарова, а согласимся, это уже немало. Как-то я с ним разговорился на немодную тему статистики. Выяснилось, что он всего поставил чуть больше ста спектаклей и почти сорок в театре, которым руководит. В Яшине есть некая немодная нынче русская страсть к работе. Я бы даже сказал, не по должности, не главнорежская. Эти господа обычно долго раздумывают, собираются и, как мне видится даже по нашим крупным театрам, ставят иногда довольно плохо. В этом мы с ним сходимся, я тоже не очень представляю себя вне каждодневного и упорного дела. Он ставит спектакли у себя в театре, потом—в Ленинграде у Товстоногова, в московском Малом, в имени Маяковского, на Малой Бронной, в Центральном детском, в Новосибирском театре «Глобус». Такая жадность мне понятна, я сам тоскую, когда нет работы или крупного замысла, ищу, пишу дневник и от него ухожу к статьям, пока снова не замаячит роман. Вещь вполне естественная для человека, связавшего себя навсегда с искусством. Правда, иногда в немолодом возрасте искусство, как таковое, порой заменяется искусством тусовки, что тоже нелегко и требует определённой режиссуры, но это уже отходы от судьбы. Мне иногда кажется, что Сергея Ивановича, как наваждения, переполняют какие-то яркие сценические видения. Картины человеческого быта, проносятся искорёженные страстью лица, мечты о любви и верности сменяются коварным пафосом всечеловеческого предательства, всё неистово, противоречиво, неожиданно. Как и в его спектаклях. Я многое бы отдал, чтобы узнать, что в этой очень непростой голове, и как всё это потом укладывается в стройные прописи театра. Во всём этом есть какая-то стремительная жадность до всего комплекса жизни. Как и любой русский, Сергей Иванович человек не тёплого угла, а вселенной. Отсюда, наверное, и такой обширный и неожиданный репертуар. Может быть, в Москве, такой же по количеству названий репертуар есть только у другого такого же жадного до жизни главрежа—у Валерия Беляковича в театре на Юго-Западе. У него

тоже Горький может стремительно смениться «Комнатой Джованни».

Припоминая свои театральные впечатление за последние десять-пятнадцать лет, я могу назвать ряд неординарных премьер в театре у Яшина. Это несколько спектаклей по пьесам Теннесси Уильямса, где такие удивительные фигуры высшего пилотажа накручивали премьеры театра — несравненная Светлана Брагарник и Олег Гущин. Подобное, признаться, не часто увидишь. Мне как-то повезло, и ещё раз нечто схожее я увидел из левой, бывшей царской ложи Малого театра, когда в «Горе от ума» Виталий Соломин, игравший Фамусова, в «утренней сцене» разговаривает с дочерью и, невидимый ею, крутит амуры с Лизой. Это особый, почти потерянный виртуозный русский театр, где всё рождается не на акробатике, на внутренней технике. В Малом также ещё была несравненно хороша Э. Быстрицкая, одним взглядом, казалось, расставлявшая, в роли старухи Хлестовой, фигуры на балу. Это дорогие впечатления. Ради этого, собственно, мы и ходим в театр, а не ради пьес, которые можно прочесть. У Яшина я видел также несколько пьес А. Н. Островского, в которых всё поворачивалось как-то не совсем так, как мы привыкли, но вот как поворачивалось, почему-то запомнилось. Я полагаю, что когда-нибудь я напишу объёмную статью об этом театре, где придётся многое вспомнить, заглянуть в дневник, который веду много лет, ещё раз что-то посмотреть, а сейчас у меня другая цель. Я искусственно сужаю разнос виденного — четыре спектакля и три премьеры последнего времени, объединённых, кроме режиссёра и часто почерка художника, ещё одним: русская проза на театре.

Теперь в своём сознании мне надо возобновить эти три виденных за последний год спектакля. Начну с «Капитанской дочки» по повести Пушкина. Кстати, это всегда иллюзия зрителя, что он хорошо знает даже школьную русскую прозу. Часто откроешь страницу и задохнёшься над красотой пропущённого при раннем чтении. Я уже не говорю, что классическая проза хороша тем, что она универсальная на все времена.

Это своеобразный спектакль, который Яшин сделал для некой антрепризы со своими актёрами и на собственной сцене. Сделал, так сказать, и передал для проката. Я полагаю, что дальше этот спектакль будет, в зависимости от графика занятости актёров на основной сцене, ездить по Подмосковью, возможно, махнёт куда-нибудь и дальше, может быть проблистает в какой-нибудь школе или в поселковом клубе. Здесь, как и обычно, в театре им. Гоголя, совершенно замечательные и всегда запоминающиеся декорации, да и всё оформление. Давайте не забывать, что театр искусство синтетическое. В нём оформление мобильное, потому что состоит из мягких задников и чрезвычайно простых «знаковых» деталей: шлагбаум, верстовой столб, Белогорскую крепость, кажется, изображали макеты. Всё может войти в грузовую «Газель»

Потом что-то подобное — хатки, церковь с колокольней, появятся и в другом спектакле Яшина — в «Ночи перед Рождеством» по повести Гоголя. Но здесь к прелестным театральным «аксессуарам» прибавились роскошные задники. Нет, это требует особого описания, потому что такие задники редки даже в отечественном, старинном, ещё императорском или советском театре. В первую очередь это, конечно, звёздный план ночного неба над Диканькой. Крупные смарагды звёзд, привычно, в виде знаков зодиака — Рак, Стрелец, натянувший лук, Рыбы, Телец, Скорпион, с поднятым для удара жёстким хвостом, уютно расположились на безмятежном небе. Здесь же, как и положено в сказке, и полумесяц с комфортно устроившимися на его излучине влюблёнными. Нет, нет, а каков Царицын Дворец, уютно устроившийся на царицыном же кринолине! И тут самое время сказать, что искусством иногда руководит провидение. Потому что чем, как не вмешательством потусторонних сил, можно назвать возникший как бы из предопределений союз молодого режиссёра Сергея Яшина, закончившего ГИТИС в 1974-м году, и художницы Елены Качелаевой, на год раньше получившей диплом в художественном институте им. В. Сурикова. Союз двух талантливых людей в искусстве всегда плодотворен, но здесь, можно сказать, особая стать — я почти никогда не видел спектаклей, где смысловая и внешняя, оформительская, часть находились бы в таком взаимопроникающем единстве. Ах, эти семейные разговоры за чаем и битвы на кухне! Боюсь, немногие московские театры сегодня, за исключением может быть доронинского МХАТа с грандиозным традиционалистом В. Серебровским, могут похвастаться таким удивительно талантливым и острым на театральное художественное видение главным художником, как Елена Качелаева. Это редчайший дар с редким самопожертвованием растворяется в недолговечной театральной сцене.

Итак, здесь собственно на премьере «Капитанской дочки» впервые посетила меня мысль, что, осознано или не неосознанно, Яшин делает очень серьёзное и значительное дело. Довольно большой зал театра — а если вернуться к началу, то ведь какие знаменитые актёры играли в прошлом на этой сцене: Борис Чирков, Людмила Скопина, Владимир Самойлов — итак, зал был полон. Первые места, конечно, занимала критика и люди, от мнения которых в Москве часто зависит репутация того или иного спектакля. Народ, в общем, непростой, в большинстве своём либеральный, видевший буквально всё на свете. А вот сзади зал под деревянным сводом и огромный амфитеатр был полон молодёжью — это были в основном школьники, явление редкое на вечерних спектаклях и шумное.

Яшин, как мне кажется, обладает редкой, как уже говорилось, способностью представлять действительность в виде театрального действия. Я думаю, что когда он что-нибудь читает, то книга тоже выстраивается в его сознании в некой театральной последовательности. В театре ведь как: одно слово, зацепка, и потом пошло, всё лепится одно к другому. А потом большую часть работы по восстановлению первоначального смысла приходится делать зрителю. И в этом и заключается созидающая

сила зрительного зала и счастье, если повезёт, постоянного угадывания. Но это зритель думает, что угадывает — на самом деле к каждому моменту зрительского озарения его подводит режиссёр.

Здесь, на площади пушкинской повести, как и в обычной пьесе, идёт лепка смыслов. Каждый актёр играет несколько ролей. Декорации к новой сцене переставляют солдаты. Бригадиршу Миронову и Екатерину Великую играет одна и та же актриса. Назову, потому что издавна любимая Анна Гуляренко. Театр властвует целиком без какого-либо компромисса. Тот самый театр, который, по существу-то, ничего не требует, кроме артиста. Театр, которому достаточно коврика, который расстилают перед зрителями на площади. Но вот что любопытно: на пространстве довольно знакомого литературного произведения, для большей части зала, который сидел в амфитеатре, происходит некий театральный и литературный ликбез. Так всё непривычно, так всё, казалось бы, клочковато, но так всё знакомо и так близка, оказывается, каждому судьба Петруши Гринёва и Маши Мироновой. Колышется и густеет благодарная тишина внимания. И тут невольно начинаешь думать, а нет ли здесь момента узнавания? Так ли хорошо эти взрослые школьники знают сочинение из учебной программы? Но тут же и другая проблема. И не слишком ли мы много претензий предъявляем молодёжи, которая всё же хочет учиться? Так ли хорошо её, в конце концов, учат? Но тема эта другая — провалы в нашей школе.

Не секрет, что нынешнему российскому кино — я не меняю тему, а захожу к ней с другой стороны — далеко до временнóго универсализма кино советского. Дозоры, роты, мушкетёры, острова — это как тени в бреду. Все подобные фильмы, сотворённые для утех недоучившихся малолетних, трудно сопоставить с шедеврами прошлого. В первую очередь по смысловой, духовной составляющей. Когда же станет понятным, что крупный план с хорошим актёром снять значительно труднее, чем взорвать бочку солярки. Крупный план Сергея Бондарчука в фильме «Тарас Шевченко» вообще бесценен, как алмаз «Шах». Впрочем, мировое кино тоже стало проще. И мы, как прежде, уже не ждём от нынешних властителей экрана таких же откровений, какие давали нам Висконти, Феллини и Хуциев. У меня есть ощущение, что нынешний кризис смысла в современном российском кино связан с кризисом литературы, а точнее с ложным всевластием киносценариста. Обычно в основу сериала или российского фильма кладётся сценарий, пишущийся сценаристом. У такого сценариста порой за жизнь собирается много. Но сценарий — это более или менее аргументированная схема, где главная задача свести концы с концами. Американцы в этих вопросах как правило поступают по-другому. У них основа для фильма — это сценарий, сделанный на основе литературы, чаще всего романа. И «Молчание ягнят» и «Психо» — сначала это были романы, кстати, и «Ворошиловский стрелок» — это тоже сначала роман.

В каком-то смысле положение с сегодняшней российской драматургией схожее. Театр уже не требует большой трёх- четырёхактной и серьёзной пьесы. Театру нужна пьеса на двух-трёх крупных актёров, чтобы рубить «бабло» где-нибудь в провинции. Актёры должны быть телеизвестные, а пьеса немудрёная, язык доступный. Это Колумб Замоскворечья требовал от себя поисков совершенного языка и, стоя за кулисами, вслушивался в русскую речь актёров, которая должна была быть похожей на речь московских просвирен. Драматург наловчился за пьесу выдавать псевдожизнь с её скудным языком, несущим не постижение, а лишь узнавание. Теперь понятно, почему и театр, и в первую очередь С. И. Яшин так внимателен к прозе. И последнее о современной пьесе. Как правило, особенно если пьеса развлекательная, она делается по немудрёному рецепту: нужен общий ход, а дальше всё разгоняется, как на арифмометре, результат легко просчитывается. Именно поэтому в большинстве современных пьес и в телесериалах соответственно, нет «самости». Драматургия — это не только диалог.

Настоящая пьеса, в которой в отличие от романа лишь 50–70 страниц, — это целый мир, а на полноценный спектакль одного романа может и не хватить. Вот и замечательный спектакль театра Гоголя «Театральный роман, или Записки покойника», поставленный в театре у Сергея Яшина молодым Константином Богомоловым, это, кроме текста Булгаковского романа, ещё и «записи репетиций К. С. Станиславского, и воспоминания участников спектакля». Но здесь другой принцип драматизации. Здесь выявление внутренних смыслов произведения и представленных в нём характеров, все наплывы смысла переводятся в реплики и организованное действие. Здесь нужен ещё и собственный режиссёрский и оформительский ход. Я смотрел этот спектакль несколько раз и даже разорил родной институт, приведя на спектакль целый семинар студентов-прозаиков. Спектакль идёт на малой сцене, и при ограниченном количестве мест, как любят нынче говорить, «на халяву» смотреть и решать свои педагогические задачи было совестно. Ах, как же понравилось всё юным студентом Лита! Они все написали у меня по рецензии на спектакль.

Этот спектакль, конечно, требует особого разбора. Совсем не даром и не случайно спектакль в прошлом году получил премию Москвы, у которой несколько другие, менее «цеховые» принципы, чем у «Маски». Но специального разбора требуют и другие спектакли театра, как скажем «Последние» по Горькому, премьера которых состоялась в прошлом году, или существующий в репертуаре уже много лет спектакль по пьесе Уильямса «Записная книжка Тригорина». Понятно про что? Важно здесь другое: поиск театра, не удовлетворённого современным состоянием драматургии, продолжается. А чего собственно ленинградец Додин схватился за Василия Гроссмана и Фёдора Абрамова?

Я не утверждаю, что задача театра решать те проблемы, которые не может решить средняя школа, окончательно отвадившая своих воспитанников от чтения. Я полагаю, что театральная составляющая лишь один из импульсов посланных

обществом и уловленных театром. Но ведь есть ещё и вечная театральная тенденция—просветительская, театр как университет. И всё это присутствует и в тех двух премьерах, которые последовали после недавнего опыта Яшина, связанного с весёлым именем Пушкина. Надо также не забывать, что театр ещё борется и за зрителя, и если пожилой зритель завяз в сериалах телевидения, то зритель молодой открывает для себя в театре недополученное в школе. Ой, как памятен мне полный, затаивший дыхание зал на «Капитанской дочке»!

Следующий спектакль, на который я привёл своих студентов и который моим студентам понравился, пожалуй, меньше, был Гоголевский «Портрет». Мне кажется, что спектакль меньше понравился и рецензентам. Я и сам, увидев театральную программку, был несколько удивлён списком действующих лиц. Здесь и майор Ковалёв, и писарь Акакий Акакиевич Башмачкин, мелькнула тень хлестаковского лакея Осипа и другие наваждения русской литературы, вывалившиеся из гоголевской «Шинели». Удовлетворил ли спектакль жажду познания? Да. Донёс ли до зрителя основную идею повести, о том, что талант это больше, нежели жизнь? Безусловно. Но сама повесть, в литературном обиходе которой, пожалуй, только её первая часть, рождает ещё массу других смыслов. Здесь и мистический, и такой разный Петербург, и подлинная жизнь современных автору художников, даже некая литературоведческая дилемма: не стал ли «Портрет» русской предтечей «Портрета Дориана Грея»? Мне кажется, что это и попытался сделать Яшин, переводя прозу в пластику сцены, в картины и эпизоды. Гоголевская проза здесь чуть прогнулась, но выдержала. Этой прозы, в отличие от других «гоголевских» спектаклей Яшина, оказалось в чистом виде на сцене чуть меньше; прямые высказывания трансформировались в переплетения судеб. Я потом объяснял собственным студентам, что спектакль потребовал от зрителя знания не только этого одного произведения Гоголя, но и множества других. Вот тогда волшебная коробочка, в которой перемешены тексты и цитаты, открывается. Впрочем, я всегда говорил, что ходить надо в «совпадающие» театры, и смыслы, как и дети, рождаются только от взаимной любви.

Как же мне хочется сравнить этот «Портрет» с портретом на сцене Российского Академического Молодёжного театра, который также мною страстно любим. Премьеры состоялись почти впритык одна к другой. Что это, наши почти гоголевские времена или надвигающийся юбилей классика? Алексей Бородин, другой выдающийся режиссёр московской сцены, также как и Яшин, решает, что даже полного текста этой «петербургской повести» всё же для сцены мало—ах, с каким внутренним напором и почти без пауз тянет этот текст замечательный актёр Евгений Редько—и Бородин тоже «подселяет» иные персонажи. У него грандиозная придумка—музыка. На сцене девять прекрасных музыкантов со скрипками, виолончелью, альтом и контрабасом—ансамбль солистов «Эрмитаж» и поразительный гобоист—жалобный человеческий голос—Алексей Уткин. И оформление здесь, сделанное Станиславом Бенедиктовым, совершенно другое—петербургская классика—чёрный бархат сцены и золото рамного багета. Здесь тоже высокий уровень приёма спектакля зрителем. Но театры провели своеобразную рокировку: академия осталась в центре города, а школьная заразительность и мистика бесконечных смыслов ушла к Курскому вокзалу. И на этом спектакле я тоже убедился по реакции зрителя, как плохо он знает этот почти школьный текст. Но кто может предсказать, с какой стороны театр действует на зрительское сознание? Универсальный для нашего времени смысл об ответственности художника. Пусть знают!

Телевизионное ощущение, что русская культура сдалась без боя, порой ошибочно. Театр даже ответил Минобразу с его тенденцией сократить изучение в школе литературы. Но ведь настоящий театр идёт всегда и за зрителем с его тайными и явными устремлениями. И если школе фронтальное изучение классики становится обременительным, то это на себя берёт театр. И «Война и мир», и джойсовский «Улисс» у Петра Фоменко в этом смысле показательны. Русское кино продолжает неуклюже блокбастерить.

Последняя премьера в театре у Сергея Яшина—это его постановка «Ночи перед Рождеством». И мне так хотелось бы сразу перейти к этому спектаклю, где яшинская семья—муж режиссёр и жена художник—кое-что придумали не только оригинальное, но и занимательное. Я уже рассказывал, какое над Диканькой висело небо. Так ещё был и полёт Вакулы верхом на чёрте, который, если мне не изменяет память на гоголевский текст,—всё что на сцене я и так вижу,—«напоминал немца». Здесь на сцене появилось огромное зеркало—то ли земля отражалась в нём, как в небе, то ли небо сливалось с землёю—и ещё всё это окутывала метель или просто былинная пелена, в которой и рождались все волшебные гоголевские смыслы, в том числе и тот, что литература никогда не бывает скучной. Как прекрасны в театре эти зрительские паузы, когда можно подумать и помечтать, вспоминая только что на сцене прошедшее. Кристаллизация. Но, коли взялся, то—будь полон. Гоголевские «Записки сумасшедшего» в этой статье тоже нельзя упустить.

Я, конечно, отчётливо понимаю, что организация пространства и зрительского внимание на большой сцене и на сцене малой—это разные вещи. Взлетает и садится огромный воздушный лайнер совершенно по-иному, нежели воздушное такси. И сила разгона, и энергетика, и взлётная полоса здесь другие. Но и тут требуется и школа, и мастерство, и любовь к своему делу. Но, наверное, театру имени Гоголя и положено держать в репертуаре лучшие гоголевские страницы. И я верю, что на этих подмостках окажется не только драматургия, но и «Мёртвые души», пока почти гениально поставленные Сергеем Арцыбашевым в театре Маяковского.

Пока в «Записках сумасшедшего», спектакле, поставленном уже учениками главрежа Андреем

Левицким и Юлией Быстровой, очень хорош молодой Александр Лучин. Он так же, как и Евгений Редько в РАМТе, один и за всех вспахивает весь текст небольшой повести. Фантасмагория воображения и счёт у актёров равный. Но вот что интересно: одинокий монологический смысл всё время требует подтверждения и эха. Ему надо аукаться не только со зрительным залом. И что? Здесь опять музыка — сам Лучинин, когда не хватает даже Гоголевских слов, берётся за тромбон, и всё время на сцене звучит музыка Шнитке. И не говорите мне, что театр — это только слово и зрелище. Это ещё и постоянно действующая лаборатория, ищущая пути воздействия на человеческую душу в соответствии с запросами времени.

«Ночь перед Рождеством» — последняя премьера театра — почти беспроигрышный театральный сюжет. Занятное что-нибудь получается всегда. Иногда это смешной до уморы дуэт Дьяка и Солохи, иногда сцена у Императрицы, когда запорожцы ревут своё классическое: «Мамо!». Бывает очаровательная Оксана и *гарный* Вакула. А успешный любовный дуэт — это уже много. Яшин почти всё это имеет в своём спектакле, но озаботился ещё и тем, чтобы, почти как у Гоголя, вся история с волшебством, влюблённостью, ревностью, неузнаваниями неожиданно возникла из зарядов рождественской и мечтаний старого подвыпившего дурня Рудого Панька. Проза здесь как первоисточник и параллельный текст. Но так, казалось бы, и просится здесь подбодрить действие протяжным песенным фольклором и подлинными рождественскими колядками. Озвучить гоголевское слово попробовали. Но не выламываются ли здесь из контекста стихи Елены Исаевой, не слишком ли знакома бодрая музыка Чернова? Впрочем, Яшин здесь пошёл не за этнографией, а в глубь действия, навстречу молодому зрителю, всегда жаждущему в ночь перед Рождеством ещё и веселиться. Но хватит крохоборничать, искать недостатки, упрекать за поиски. Гоголь и Пушкин, когда-то подаривший Гоголю несколько сюжетов, — разве этого для театра, носящего замечательное имя волшебника русского слова и смыслов, мало? <…>

14 марта суббота

Утром прочёл «Поэму без героя» Анны Ахматовой и вчерашнюю газету. От поэмы, к которой я уже давно хотел вернуться, впервые её прочитав, когда работал на радио, осталось, как от всего в поэзии лучшего, ощущение материализовавшегося времени и собственного духовного полёта. Читал по институтскому, из библиотеки, расчерченному поколением студентов экземпляру. Как же талантливо они столько лет подчёркивают «не то». И как трудно иногда без специальной подготовки что-либо воспринимать до корневого смысла. Мне потребовалось столько прочесть и столько узнать, чтобы сейчас прочесть поэму легко, почти иногда совпадая с автором. Что же воспринимают и понимают наши студенты? Кто такой был Всеволод Князев, а ведь он один из трёх героев.

Накануне видел, как Медведев назначал нового министра сельского хозяйства — Елену Скрынник. Сегодня из газеты узнал, что она «лично известная» нашему самостоятельному президенту как специалист, занимавшийся поставкой сельхозоборудования. Новый министр закончила мединститут, дополнительно Академию народного хозяйства при Правительстве России. В общем — она бизнесмен и человек, занимающийся деньгами. Мне очень нравится, что власть думает, что перестановка и управление финансовыми потоками спасёт сельское хозяйство России.

На дачу вместе с С. П. приехали уже около пяти. У Вити сидит обнинский приятель Максим. Максим рассказывал, что уже попал под сокращение, Максим «слесарь-вакуумщик», а это знаменитый ФИАН, который строил первую атомную станцию. Естественно, баня, меня хорошо похлестали веником.

15 марта, воскресенье

Утро на даче начал с чтения сначала рассказа Достоевского «Бобок», а потом рассказа о мальчике на ёлке у Христа. Собственно, всё это замечательная и ясная публицистика. И не устарела. Время так повернулось или Достоевский так всё предусмотрел?

По радио много говорят об автобусе с русскими туристами, свалившемся в пропасть во Вьетнаме. В машине отказали тормоза, девять убитых, пятнадцать тяжело и менее тяжело раненных. За ними высылают самолёт МЧС, который всех вывезет на родину.

Юбилей Юрия Васильевича Бондарева — ему 85 лет. Показали о нём фильм, сделали всё, чтобы подчеркнуть формальность акции. Если бы вместо Бондарева был Укупник или Петросян, как бы дули фанфары!

16 марта, понедельник

Утром еле встал, такая слабость и так всё разламывается. Так хотелось лежать, лежать и лежать. Преодолел, напился кофе и отправился в Пенсионный фонд. Там просто ахнули, когда обнаружили, что много лет, со дня получения пенсионного удостоверения, я не провожу перерасчёт своей пенсии. Пока заводил и грел машину, и пока минут пятнадцать сидел, ожидая приёма в фонде, читал газету. Чтобы уже не возвращаться к этому, теперь уже и фонд, как в своё время объединённое — называю по старинке — «домоуправление» меня порадовали в смысле организации дела, всё я завершил быстро. У них всё есть: компьютер, через десять минут меня отпустили.

В газете зафиксировался на вещах для меня важных, стараясь обходить те статьи и материалы, где будет царить явная ложь — в первую очередь, об экономике. Наша пресса с ужасом и сладострастием — не наш! — рассказывает о том, что 17 летний школьник из одного маленького немецкого городка расстрелял 15 человек — учителя и соучеников. По этому поводу в «РГ» две интересных заметки: Александра Минкина и директора центра образования «Царицыно», историка Ефима Рачевского. Практически оба пишут о влиянии телевидения на процесс воспитания. Первый: сначала телевидение, потом компьютерные игры — «Если

школьник ударит одноклассника, его потащат к директору, а если расстреляет в компьютере миллион человек, получит награду — 1000 очков. Компьютер его похвалит. О том, что раньше было под запретом — убийство, людоедство, инцест, использование детей в сексуальных целях, — теперь постоянно говорят в телевизоре». Как следствие растабуирования. Чуть ниже: «Недавно было объявлено, что у нас за 7 лет в 26 раз выросло сексуальное насилие над детьми». Второй: «Да, виртуальные игры, в которые играют подростки, в большинстве своём кровожадные и садистские. Игра — это моделирование реальной действительности…» Первый: «В России синдром «школьных расстрелов» только проявляется…»

Был в институте. Перетягивание каната с ректоратом. Всем хотелось бы, чтобы учебные дела шли блестяще, а набранная молодёжь, в основном платная, с низким потенциалом, учиться не хочет. Я рад, что хотя бы настоял, чтобы наши магистры сдавали экзамены вместе со специалистами — для многих магистратура это попытка облегчённого прохождения курса и надежда на «автомат» при поступлении в аспирантуру.

Вышел очередной номер «Российского колокола» с пятой главой, теперь я уже пишу шестую, смогу ли, материал суровый — выборная система. Всё время себя корю, что слишком в печальном ракурсе всё рассматриваю, а потом сталкиваюсь с какой-нибудь очередной коррупцией. Все говорят о какой-то статье о Строеве, уже ставшем Сенатором, в «МК». Хотят ли они власти? Они хотят «депутатской неприкосновенности».

В Москве начинается весна. Для меня главнейший и вернейший её признак: дворники начинают разваливать во дворах сугробы и бросать, чтобы таял, снег на проезжую часть.

Одна из русских туристок, скатившихся в автобусе в пропасть с высоты 200 метров и отделавшаяся только ушибами, решила продолжать отдых во Вьетнаме. Всех остальных, даже тяжело пострадавших, увозят на самолёте МЧС на родину. Психика продолжившей отдых туристки для меня загадка. <…>

19 марта, четверг

<…> Из интересного в «РГ» небольшая корреспонденция «МГУ вне возраста. Освободит ли Виктор Садовничий кресло ректора ведущего вуза страны?». Это меня, конечно, очень интересует, особенно вспомнив, как меня, сославшись на закон и на возможный протест прокурора, освободили от этого «кресла» — слава тебе, Боже — на следующий день легко и играючи, чуть ли не ожидая моего сопротивления и отстрела из миномёта. Судя по всему, Садовничий никуда уходить не собирается и будет драться за своё место ожесточённо, невзирая на закон. Впрочем, закон могут и поменять. Его переизбрание состоялось 18 ноября 2005-го года, заблаговременно. Буквально накануне его юбилея, который состоится 3 апреля, т. е. завтра открывается съезд ректоров. Интересно, какие там будут звучать коллективные просьбы! Впрочем, газета говорит об этом жёстче и определённее.

«Виктор Садовничий в свою очередь заявил, что на пенсию не собирается. Кстати, последние выборы ректора МГУ состоялись 18 ноября 2005 года, и Виктор Садовничий получил ректорский мандат на следующие пять лет. Так что до окончания его полномочий — почти два года.
— Впереди ещё работа, а там будет видно, — прокомментировал «РГ» Садовничий слухи о своём уходе. — Пока у меня есть мандат, всё это «народное творчество» не имеет под собой никаких оснований. Я избран университетской корпорацией на этот пост для решения серьёзных задач и обязан эти задачи решить. В настоящий момент я и мои коллеги целиком сосредоточены на вопросах, от скорейшего решения которых зависит жизнеспособность образования в целом». <…>

20 марта, пятница

Сегодня день рождения В. С. Ночью между четырьмя и пятью я вдруг услышал щелчок, похожий на поворот ключа в двери, и сразу же подумал: «Вошла Валя». А кому ещё ко мне приходить? И сразу же всё забыл. Утром из Германии позвонила Елена, она тоже помнит об этом дне рождения. Что же мне жаловаться, что день для работы пропал?

Сходил на наш университетский рынок, купил две алые роскошные розы. Валя цветы не очень любила, но может быть оттого, что ей не часто их дарили. Удивительная была женщина, абсолютно и с полностью отсутствующим лицемерием. Какая тоска, и как всё оборвалось с её уходом. Как я скучаю по разговорам с нею. Как обрадовался, что хотя бы поговорил с Леной. Здесь с Леной для меня опять что-то пролетает, в лексике ли, в манере думать, своё и привычное. О дальнейшем пока не пишу, но жить одному почти невыносимо.

Потом на кладбище Донского эти розы я положил на снег прямо под стеной с клетками колумбария. Слышит ли она меня? Слышат ли мама и дядя Федя? Опять при взгляде на доску, закрывающую нишу, подумал, что не настоял в переговорах с мастерами, и они не оставили немножко свободного места на доске уже для меня.

В институт из «Терры» привезли для лавки мою новую книжку и мои авторские экземпляры. Книжечка оказалась небольшой, но хорошо выполненной и составленной. Надо бы девочкам отвезти торт. Вечером впился в неё и читал, и читал. Почему мне, если попадается, так интересно читать свои тексты. В них я глубже и интереснее, чем в жизни.

<…>

Продолжение следует

Андрей Лазарчук

Мой старший брат Иешуа

Окончание. Начало в №1 2011.

Глава 17

Но вернёмся к тому дню, когда Иешуа рассказывал мне о тайне своего рождения и о дальнейшем предназначении. Это был самый конец лаоса — месяца, который римляне недавно переименовали в честь императора Августа: двадцать седьмое или двадцать восьмое число. Стоял предвечерний зной. Близость озера не спасала. Над водой стояло дрожащее марево, как над пустыней. Мы сидели в тени дома; пахло горячей землёй и горячим виноградом. Детей забрала мама: в её доме с ними и с её близнецами занимался наёмный учитель-грек.

— Как же ты это узнал? — спросила я, в тёмном ужасе не найдя лучшего вопроса.

Иешуа ответил не сразу — вернее, не сразу не ответил. Он сказал:

— Есть свидетели. Записи. Есть пыточные записи… — я слышала, как его передёрнуло. — Я пытался найти мельчайшую зацепку, что это не я, что случилась ошибка, подлог… Я не нашёл.

— Но почему?..

Не знаю, что я хотела спросить. Может быть: почему мир так несправедлив к нам? Иешуа понял по-своему.

— Я надеялся, что ещё долго… что будет время подготовиться. Но… Антипа знает, что я есть. Он ещё не знает, кто я, под каким именем, где-то это выяснится быстро. Он не может допустить, чтобы я был… был жив.

Потом я узнала, что и как произошло. Рассказывали двое, плача, размазывая кровь по лицам и торопясь вывалить подробности раньше, чем это успеет сделать другой. Они мало в чём были виноваты и поэтому остались жить.

С тех пор, как Архелай был отстранён от власти, этнархия его превратилась в римскую провинцию, управляемую сирийским наместником через префектов, сменяемых довольно часто. Нынешний префект, престарелый всадник Валерий Грат, тот самый славный Грат, начальник гвардии Ирода, спасший страну и народ в смутное время междувластия, — так вот, Валерий Грат весьма благоволил Ироду Антипе, четвертьвластнику Галилеи. И действительно, Антипа умел произвести впечатление на человека сильного и грубого; прочие чувствовали фальшь. Префект написал тогдашнему императору Тиберию, человеку умному, проницательному, но подозрительному, письмо, в котором рекомендовал восстановить иудейское царство примерно в пределах Иродова (за исключением Филистины и Фасаэлиды, которые после смерти Шломит стали частным владением жены Августа, Ливии; и если хоть малая толика того, что я знаю про Ливию, правда, то у меня не возникает сомнения в том, что Шломит умерла примерно тою же смертью, что и её великолепный брат), а на место царя рекомендовал, разумеется, бесстрашного воина, блестящего учёного и лучшего друга Рима — Ирода Антипу, ныне тетрарха галилейского. Этим-де с империи будет снята существенная статья расходов на поддержание порядка; доходы же от налогов только увеличатся; возрастёт также и лояльность благодарного населения.

Узнав об этом письме (откуда? — смешной вопрос), пришёл в деятельное неистовство старший внук Ирода, Ирод Агриппа, сын Аристобула. Это был удивительный человек, и судьба его может стать темой и для высокой трагедии, и для низкой площадной комедии — только выбирай. Может быть, потом, позже, я о нём расскажу, если успею. Он стал последним иудейским царём, намеревался свергнуть власть Рима и провозгласить себя мессией, но умер от яда — от того же яда, что и его дед. В них вообще было много похожего, в деде и внуке. Оронт, видевший того и другого, говорил, что у них на двоих одно лицо, одни жесты и одна походка.

Итак, Агриппа ринулся в Рим, попытался предстать перед Тиберием, но сумел только передать ему тайное письмо, в котором, в частности, упоминал, что, во-первых, завещание Ирода подделано, и этому есть множество доказательств, а во-вторых, что где-то среди людей спрятан сын умершего царём царя Антипатра, а значит, онто и есть настоящий царь. И если восстановить царский престол, он в то же мгновение окажется занят этим неизвестным царём…

После этого Агриппа уже не мог вернуться домой и остался в Риме, где его подхватила и понесла столичная жизнь, а Валерий Грат получил на своё письмо отказ с объяснениями причин отказа. Тут же это стало известно и Антипе.

Антипа пришёл в ужас и ярость. Он не жалел для поисков ни золота, ни железа. Больше тысячи человек рыскали по стране, собирая сведения и сплетни. Всех, кто имел отношение ко двору времён последнего года Ирода, допрашивали пристрастно. Оронта выручило лишь то, что как раз в опасное время он находился якобы в заключении…

И всё же круг поиска всё время сужался. Натаскивал и вёл ищеек знаменитый Шаул из Тарса по прозвищу Кривой, дядя другого Шаула, к которому я не знаю как относиться: с одной стороны, он боготворил моего брата и длил его память, с другой — поощрял всяческие измышления о нём. Дядя же был знаменит тем, что, будучи доверенным лицом наместника и начальником тайной

стражи, сумел пресечь незаконную торговлю титулами и званиями, которая в Сирии долгое время процветала; в ходу были иронические выражения: «сирийский нобиль», «сирийский всадник» и даже, я не шучу, «сирийский сенатор»! Шаул Кривой был умён, цепок, отчаянно смел и неподкупен. Он непременно нашёл бы и Иешуа, и Иоханана.

Его убил цорек три месяца спустя после того, как Иешуа покинул дом. Шаул попытался походя разобраться и с ревнителями—уж не знаю, из-за чего,—и они убили его прямо на площади, при стечении народа, напоказ: к Шаулу подошёл закутанный в плащ мальчик, заколол его кинжалом, а потом ударил себя; в сердце не попал, но всё равно умер вскоре, так и не сказав ни слова; говорили, что он умер от яда, принятого перед покушением.

Я много слышала про этот зелотский яд, который отнимал у убийцы сначала страх и колебания, а через несколько часов и самоё бренную жизнь, но так и не выяснила его состав.

— А мама знает?—спросила я.

Иешуа кивнул.

— Но ещё не знает, что мне нужно бежать,—добавил он через сколько-то долей.—Я боюсь ей это говорить. Может быть, ты… потом?..

Я подумала.

— Нет. Ты сам. Иначе будет… несправедливо.

— Хорошо,—сказал он послушно.—Так я и сделаю. Но не сегодня. Сегодня я просто не вынесу. И не завтра…

— А Мария?

— Передашь ей письмо?

— Конечно. Как будет с Марией?

— Не знаю. Я не знаю…

Конечно, я не читала этого письма и я не думаю, что Иешуа оставил там для неё какие-то тайные знаки, где его искать… нет, я так не думаю. Но Мария настолько сильно и остро чувствовала его, что ему и не нужно было оставлять значки—она всё прочла между слов. Я помню, как она улыбнулась и прижала письмо к груди.

— Глупый,—сказала она.

Потом мы всё равно плакали. Было страшно и очень-очень пусто.

Временами я просыпаюсь и обнаруживаю, что ложе моё подвешено над пустотой среди звёзд. Если я опущу ноги, то упаду в бездну. Я знаю по опыту, что нужно снова уснуть и ещё раз проснуться, но от страха сердце колотится, и уснуть я не могу очень долго. Я лежу над бездной, боясь пошевелиться.

Там холодно и одиноко.

И ещё. Когда Иешуа и Марию обвиняют в распутстве и прелюбодеяниях, это не так. Я говорю, я знаю. До самой свадьбы они блюли чистоту, хотя от любви изнемогали оба. Я знаю это потому, что знаю, но вот сторонний довод: если бы они возлегли раньше, то как Мария, здоровая сильная женщина, могла ли избегнуть зачатия? Первый муж её был негож, это так, но сразу после свадьбы с моим братом она понесла. Если это не довод, то что ещё может быть доводом?

Да и по глазам их всё было видно, и по мукам их…

Иешуа уехал как бы в простую поездку по делам—в Тир и Дамаск. Из-за нелёгких времён купцы ездили часто и надолго, притом собираясь отрядами по восемь-десять, а когда и пятнадцать человек, а считая со слугами и рабами—до полусотни. Но и таких, случалось, беспокоили разбойники… Я помню так, как будто смотрела сквозь моё волшебное стекло: Иешуа в дорожном плаще с кистями, верхом на белой кобыле с чёрной гривой и чёрным хвостом, под серым чепраком; с ним слуга и секретарь Иосиф, милый, но странный, на рыжем муле. Другой мул переминается под перемётным грузом. Сбор через час на таможне.

Я не могла этого видеть, потому что глаза мои оплыли от намертво запертых слёз. Но помню я именно так.

Глава 18

Тир—большой шумный город, в котором легко затеряться. Иешуа вошёл в него пешком, и никто даже из старых друзей не узнал бы его в этом бритоголовом и гололицем страннике, говорившем по-бактрийски или по-арамейски, но с сильным бактрийским акцентом. На нём был синий плащ со звездой, а за плечами—гадательный ящик.

Несколько месяцев он прожил сугудским гадателем, и, как он потом рассказывал, это были смешные и забавные месяцы. Иешуа и впрямь обнаружил у себя способности к различным мантикам, и только понимание того, что магия вообще есть дело богопротивное, не позволяло ему отдаться этому увлечению со всей страстью, а относиться лишь как к необходимому притворству.

Муж мой тем временем отправился в долгое путешествие на Восток, о котором я уже упоминала—через Парфию и Лидию в царство Кушанское, Индию и страну Церес. Оно длилось три с половиной… почти четыре года. Путешествие это принесло нашей семье много денег, очень много денег, которые так никогда и не пригодились…

А Иешуа вынужден был ждать и скрываться под личиной. От верных людей он узнавал, что поиски его не прекращаются и даже, более того, ширятся по всей земле. Антипа буквально сходил с ума от ревности. Он даже занемог от этой неистовой ревности, и во всех синагогах молились об его исцелении. Мама рассказывала, как маленькая Элишбет всё спрашивала дома, почему же мы такие плохие, что не ходим и не молимся? «Нельзя молиться за царя Ирода»,—пытался объяснить ей набожный и благочестивый брат Яаков. «Но почему, почему, почему?»—не могла понять Элишбет. «Я не велю»,—отрезала мама.

Как раз в эти месяцы в Иудее сменился префект. На место вдумчивого и знающего народ Валерия Грата, отозванного в Рим из-за преклонного возраста и болезней, пришёл Понтий Пилат, человек огромной воли, но ограниченного ума и малых познаний. С детства солдат, он и не мог получить

ни воспитания, ни образования; солдат римский, он привык побеждать только силой. Буквально сразу же, в первые дни правления, он допустил страшную ошибку, отвратившую от него евреев на все годы вперёд.

Было так: Грат провёл рекрутский набор, поскольку нужны были солдаты для войны в Германии, и две тысячи рекрутов стояли лагерем близ Иерихона, проходя начальную подготовку. Должна сказать, что в рекруты всё больше попадали не столько неженатые юноши, сколько отцы семейств, которые от бедности перенимали рекрутскую марку у тех, на кого выпал жребий, но кто готов был заплатить за право не идти на службу. В это же время завершался сбор налогов, и к уже новому префекту крупные откупщики пришли и доложили, что полностью собрать налог не удалось. Он принимал их в Кесарии, в резиденции префектов. Я думаю, откупщики лгали, намереваясь погреть руки на неопытности нового управителя; они просчитались, но просчитался и он. Пилат приказал откупщикам послать мытарей и стражников по сёлам и городам, не рассчитавшимся с казной, и, согласно Закону, забрать детей у родителей, чтобы либо получить выкуп за них, либо продать их в рабство и уже вырученные деньги внести в казну. У римлян заведено: пусть рухнет небо, но Закон должен быть соблюдён. Я считаю, что это неверно, поскольку закон для человека, а не человек для закона; но Рим зиждется на этих твердокаменных заблуждениях. Мытари и стражники разъехались по стране, и вскоре об их бесчинствах стало известно в лагере рекрутов. Мужчины, продавшие себя под военное ярмо ради своих детей, вдруг узнали, что этих самых детей хватают и готовы вывести на чужбину, в страны, где не чтут Закон! Вспыхнуло восстание. Римских начальников поубивали и небольшими отрядами пронеслись по стране, круша мытные дома и убивая самих мытарей. Брошенные против бунтовщиков солдаты оказались почти бессильны: бунтовщики не желали сражаться лицом к лицу, прятались среди людей или в лесах, но могли и ударить в спину. Большая часть бунтовщиков позже ушли в Галилею… Старые люди, не понукаемые никем, бросились в Кесарию (их было много, более тысячи) и там почти седмицу молили Пилата остановить взыскание непосильных податей таким способом. Нашлись люди в его окружении, кто сумел в тот раз донести до него всю пагубность неправедного насилия; хотя, говорят, всё дело было в поведении старцев, которых он решил вышвырнуть из города силой. Когда их окружили солдаты с отточенными мечами, старцы распростёрлись на камнях улиц и площади Юноны и вытянули шеи, подставляя их под мечи. Поняв, что этих людей можно только убить, Пилат пошёл на попятную и отменил свой приказ о взыскании недоимок детьми. Но унижение это он запомнил навсегда и не простил.

Евреи тоже не простили Пилата. Когда Тиберия сменил Гай Юлий Кесарь Второй, по прозвищу Калигула, они преподнесли ему через Ирода Агриппу целый сундук документов, доказывающих казнокрадство Пилата и его ближайших приспешников. На каждый переданный в казну аурий приходилось два, прилипших к рукам префекта. Гай немедленно вызвал Пилата в Рим и приказал покончить с собой, что Пилат охотно и сделал, удавившись на шёлковом шнуре.[1]

Несметные его сокровища вывозили на двух кораблях.

Понятно, что эти бурные события помешали и Оронту в помощи Иешуа, и Шаулу—в его поисках. Но в какой-то момент Иешуа ощутил неясное беспокойство и стремительно перенёсся в Сидон. Там—не в самом городе, но в трёх часах пути, то есть совсем рядом—был дом Марии; он, однако, запретил себе встречаться с нею до тех пор, пока ему угрожает опасность, пока он бессилен и беззащитен, как сбросившая шкуру ящерица.

В Сидоне Иешуа сделался слугой и учеником рабби Ахава, о котором я мало что знаю, но, тем не менее, хочу рассказать поподробнее. Для этого мне придётся вернуться и ещё раз поведать об особенностях еврейских верований; и я не ошибаюсь, когда употребляю множественное число, хотя за одно это евреи меня могут убить.

Еврейский Бог скрывает от всех не только свою внешность, но и имя. Также никто не знает, кто его жена и дети—хотя точно известно, что дети у него есть, о них упомянуто в Книге. От людей, что поклоняются ему, он требует соблюдения довольно большого числа писаных законов, большей частью вполне разумных, но также среди них и нелепых. Насколько я знаю, никакие другие боги таких условий не выдвигают. Однако среди всех этих писаных законов и правил нет ни одного, которое позволило бы разобраться в сущности самого Бога; она так и остаётся тайной за семью печатями. И когда греки, не жившие бок о бок с евреями и не привыкшие к ним, задают мне вопрос: так получается, эти евреи и сами не знают, в кого верят и кому кадят?—мне приходится отвечать: да. Это страшно, но это так.

Можно ли удивляться тому, что не найти двух евреев, которые одинаково представляют себе то, во что верят? Мир одних прост, жесток, холоден, суров и прекрасен: мы рождаемся, чтобы хвалить Господа не пустыми словами, а делами рук своих; никакой судьбы и предназначения нет, и Господь не вмешивается в нашу жизнь, а лишь смотрит на нас, размышляя; когда мы умираем, мы умираем совсем, и всё, что от нас остаётся, это лишь прах и память. Мир других теплее, но в нём нужно проявлять изворотливость: Господь лелеет нас настолько, насколько мы можем угодить ему и улестить его; если мы не находим нужных слов или чураемся слёз, он наказывает нас, как пастырь наказывает непослушный скот; когда мы умираем, наша душа покидает тело и отправляется на суд

1. Здесь разночтение с римскими источниками. Согласно им, Пилат был отозван с должности и заменён Марцеллом ещё при Тиберии. Возможно, Дебора что-то путает, возможно—знает лучше.

к Предвечному, и он разбирает жизнь каждого, раскладывая на весах его грехи и добрые дела, и выносит решение: либо жизнь вечная, либо огненное озеро, из которого то ли нет возврата, то ли душа там испепеляется навсегда. О том, что происходит с теми, кто осуждается на жизнь вечную, каждый говорит разное: то ли это возвращение в райский сад, где ещё живут Адам и Ева до грехопадения, а души умерших летают там бесплотными тенями, то ли Царство Небесное создано так же, как и земное, а души становятся там плотными и живут полной жизнью; то ли они получают младший ангельский чин и служат проводниками воли Божией здесь, на земле… Мир третьих непригляден: в нём можно, всю жизнь нарушая заповеди и творя грехи, однажды особым образом обетовать себя, постричь волосы, провести месяц в молитвах и голоде — и считаться очищенным и прощённым за всё; такой без всякого суда попадает на небеса, а пренебрёгший обетом — в подземное девятикружие, полное демонов, боли и скорби. Ещё хуже у четвёртых: женщина у них заведомо нечиста, и если мужчина коснулся её или коснулся золота, или надел окрашенную одежду, или смягчил кожу маслом, или состриг волосы — он лишается и малейшей возможности возрождения в будущем, когда Господь поднимет всех мёртвых на последнюю битву с ложными богами… Очень привлекательно учение о душе у асаев, весьма замкнутой и немногочисленной группы священников-крестьян: днём они работают в поле или по каким-то иным надобностям, а по закате солнца славят Бога и готовятся к последней битве, изнуряя себя непрерывными воинскими упражнениями; так вот, согласно их учению, душа находится в теле как бы в заключении и только и ждёт, когда может покинуть эту непритязательную руину; впрочем, время заключения она использует. как может и хочет, и единственно верное — это использовать его для самосовершенствования — подобно тому, как узник в башне требует всё больше книг и жаждет бесед с мудрецами. Едва получив свободу, душа уносится — и либо в вышину, в эфирные поля, где нет ни засухи, ни утеснения, ни пронизывающего холода пустыни: такая участь ждёт души людей добрых, — либо в холодную тёмную пещеру, где не может быть ничего хорошего: туда попадают души злых людей, причём даже тех, которые при жизни скрывали свою злобность и напоказ творили богоугодные дела. Но душу-то так просто не изменишь, её-то не обманешь…

Нет, я не описывала здесь мировоззрения основных религиозных школ, а лишь свои впечатления от бесед с несколькими священноучителями, с которыми мне довелось быть знакомой при различных обстоятельствах, как приятных, так и напротив. Описывать религиозные школы — занятие неблагодарное, поскольку, хотя их всего три или четыре, смотря как считать, но в каждой имеется множество течений, и некоторые из них отходят от канона настолько далеко, что в это даже невозможно поверить. Например, равви Ахав всерьёз полагал себя истинным фарисеем, всех же прочих фарисеев мягко порицал за упрощения…

Я перескажу учение Ахава так, как его изложил мне Иешуа. Но при этом он говорил, что не уверен, до конца ли сам понял своего учителя.

«Господь в своей беспредельной мудрости сотворил мир несовершенным и незаконченным, поскольку в другом случае человек был бы лишён возможности творить добро и неминуемо обратился бы ко злу и разрушению.

Поскольку мир несовершенен и незавершён, то жизнь человека есть страдание от рождения тела и до смерти тела. Жизнь реализуется только через волю к жизни; напряжение воли и есть страдание.

Страдание входит в человека извне, поскольку мир несовершенен, а человек создан по образу и подобию Всевышнего — и, следовательно, совершенен по замыслу и способен достичь совершенства во всём.

Благодари за это Бога искренне и благоговей перед Ним, но не пресмыкайся. Пресмыкаясь, ты оскорбляешь Его творение, а значит, и Его самого.

В жизни есть смысл и наполненность. Одни могут считать смыслом самосовершенствование, а наполненностью — избавление от страдания, другие наоборот: избавление от страдания — смыслом, а наполненностью — самосовершенствование; итог от этого не меняется. Одно необходимо для другого, и другое немыслимо без первого.

Пойдя по пути самосовершенствования, ты с него уже не свернёшь, поскольку остановка, уход в сторону или возвращение назад принесут умножение страданий. Но и путь вперёд труден и опасен. Думай, прежде чем сделать первые шаги.

Посвящай молитвам и размышлениям один час в день и один день в седмицу. Если меньше — ты зря потратишь силы, если больше — зря потратишь время.

Только то ведёт к истине, что может быть оспорено.

Путь к истине подводит к горю, но приводит к счастью.

Души как таковой не существует, как не существует и смерти. Душа едина с телами своими и соотносится с ними, как радуга соотносится с каплями водопада. Смерть тела означает лишь, что эта душа именно в этот миг дала жизнь другому телу. Нет никакого отдельного существования души, а есть непрерывная цепь жизни. И нет души отдельно человеческой, а есть душа всего живого.

Кончится ли когда-нибудь эта цепь, а если кончится, то чем? Мы не знаем, так как нам не дано знать замыслов Всевышнего, а если кто-то говорит, что он знает, то этот человек ставит себя рядом с Предвечным, и мы можем спросить: по праву ли?

Времени не существует, не существует и расстояний. Лишь для тела важны смена дней и преодоление земель. Душа живёт в вечном «здесь» и неизменном «сейчас».

Бог един. Но Он может показываться в разных обличиях.

Люби Господа в себе. Любовь выше веры.

Есть разум и есть ум. Разум светел, ум тёмен. Разум отважен, ум труслив и смердит от страха. Разум прям, ум изворотлив. Но один немыслим без другого, как нет правого без левого.

Душа—это свет разума.

Зло существует как грязь мира, и с ним надо бороться неустанно, как с грязью: на площадях, и в домах, и на своём теле, и в глубине помыслов. Люди, которые более других очищают город от грязи, более всего и пачкаются; так же и те, кто более других борется со злом мира, более ожесточается сердцем. Думай, прежде чем осудить такого человека.

Иногда нет смысла убирать грязь. Огороди это место, чтобы не испачкались другие, и обойди его сам. Нельзя уменьшить количество грязи в мире, но можно сделать больше мест, где чисто.

Бог видит нас совсем не так, как мы видим себя; когда вы увидите себя глазами Бога, знайте: вы прошли первый этап пути. Впереди ещё шесть.

Помните, что Господь добр к нам. Ведите себя так, будто вы снова в раю.

Все первые побуждения чисты, и только потом вступает в дело лукавый и трусливый ум. Во всех сложных случаях руководствуйтесь самым первым побуждением. Когда это не будет сопровождаться последующими раздумьями, знайте: вы прошли второй этап пути.

Иногда добро трудно отличить от зла. Отключи ум и прислушайся к себе. Если на душе твоей теплеет, значит перед тобою добро. Душа—это печать Господа в тебе.

Страх изживается разумом и прирастает умом. Поскольку нет смерти, то не может быть и страха, но ум мешает это осознать, потому что создание страха—главная задача ума. Для человека несовершенного жизнь в страхе естественна и полезна, поскольку продлевает бренное бытие. Когда свет разума прольётся на все твои страхи так, что ты сможешь взять их, поднести к глазам и отбросить равнодушно, знай—ты прошёл третий этап пути.

Пусть каждый твой шаг будет наполнен смыслом…»

Было ещё несколько свитков с записями, но я потеряла их. Вернее, они сгорели, а этот, первый, уцелел каким-то чудом.

Рабби Ахав имел немало учеников и последователей (один из них впоследствии прославился, звали его Шимон, а прозвище ему было Маг) по всему побережью от Птолемиады до Триполиса, а также в Дамаске и Кесарии Филипповой, но более всего он проповедовал в одной из сидонских синагог. Он охотно диспутировал с другими фарисеями, придерживавшимися более традиционных взглядов на веру—что-де достаточно буква в букву следовать написанному, и понимание мира будет тебе даровано свыше,—и с язычниками, и со жрецами с Востока, из Сигуды и Кандагара.

Иешуа повсюду следовал за ним и всегда принимал участие в учёных беседах.

Это было удобно: бродячие проповедники, а тем более их полубезумные ученики, никогда не вызывали подозрения у стражников. Оронт смог наконец откликнуться на письма Иешуа, и вскоре его посланцы начали с братом встречаться.

Вскоре по базарам Самарии и Иудеи поползли слухи о том, что пророчества верны и грядёт истинный, пока потаённый, царь… Разумеется, царь-Искупитель.

Глава 19

В последний свой год, предчувствуя трудные времена—а может быть, зная наверняка, что они непременно наступят,—отец озаботился тем, чтобы семья была обеспечена даже в том случае, если его не станет. Поэтому в дополнение к старому винограднику, о котором я уже упоминала и который давал небольшой, но стабильный доход, он купил ещё два земельных участка—небольшую рощу оливковых деревьев с давильней и пахоту, приносящую в хороший год сто—сто двадцать медимнов пшеницы или сто пятьдесят—ячменя. Половину урожая получали работники, половину—мы. На деньги, вырученные от продажи зерна и оливкового масла, можно было существовать не роскошно, но вполне безбедно. Оба наших угодья находились неподалёку от деревни Аммаус, что близ Тибериады, и я уверена, что сходство названий повлияло на решение отца в большей мере, чем что-либо ещё.

Я знаю, как он тосковал по родному городу. Но он никогда не роптал на судьбу.

Иешуа между тем продолжал странствовать с рабби Ахавом, находя себе сторонников и помощников. Сам он представлялся доверенным лицом тайного царя. Я подумал, рассказывал он мне потом, как хорошо было бы, окажись царём Иоханан, вообразил это себе так явственно, что почти поверил в это и всё стало получаться… Но он никогда не рассказывал, какую тоску испытывал в первые месяцы своего служения, как ему приходилось заставлять себя не то что ходить и говорить, а просто жить и дышать. Он не рассказывал, но я-то всегда понимала его без всяких слов.

Одним из первых помощников его оказался Филарет, дядя Марии. Трудно сказать, что двигало им—разве что честолюбие и врождённая склонность к опасным захватывающим предприятиям. Ну и, конечно, племянница, которую он, за неимением собственных детей, любил пламенно и беззаветно и готов был для неё отправиться хоть в преисподнюю, а не то чтобы участвовать в заговоре. Он сразу предложил Иешуа свой кошелёк (оказавшийся почти бездонным) и свои связи среди сирийцев-язычников, недовольных римским владычеством.

Вскоре после этого Иешуа покинул рабби Ахава и принял обет назира, то есть аскета и отшельника. Назирство в ту пору было распространено чрезвычайно, поскольку его поощряли и фарисеи, и ревнители. Обычно обет длился тридцать дней; за это время нельзя было прикасаться к вину и винограду, стричь волосы и ногти, принимать пищу до захода солнца и думать о суетном. Принимали обет, как правило, мужчины и по весьма практическим поводам: прося у Предвечного или здоровья, или удачи в делах, или рождения ребёнка, или ущерба соседу. Бывали и более длительные обеты—я знаю, и до семи лет. Большинство назиров держали обет дома, но были и такие, что

уходили в особо выделенные для этого места (не помню, упоминала ли я, что в Женском дворе Храма был угол назиров?) — обычно, в горах или в пустынях. Там они жили в пещерах, землянках, а иные и просто под открытым небом. Некоторые из назиров умирали. Это считалось достойной и завидной смертью.

Иешуа ушёл в пустыню и держал обет сорок дней и сорок одну ночь. Я знаю, чего он просил у Предвечного, но должна молчать об этом. Могу только сказать, что Господь не услышал молений Иешуа.

Но с тех пор брат носил почётное имя Иешуа Назир.

И все же первым, кому открылся Иешуа как потаённый царь, был не Филарет, а разорившийся врач Тома по прозвищу Дидим, то есть Близнец (прозванный так за то, что всю жизнь был уверен: у него есть скрытый, спрятанный от него, неизвестный брат-близнец; это была не самая большая, но самая запоминающаяся из его странностей), бежавший из Иудеи в последний год правления Архелая, когда по неизвестным причинам многих врачей, костоправов, повитух и цирюльников хватали, подвергали пыткам и бросали в тюрьмы, где они скоро гибли без суда и разбирательства. Тома, сам наполовину грек, ещё только постигал искусство врачевания у известного на всё бывшее царство греческого врача Агатопа; именно у Агатопа лечился тогдашний государственный управитель Прокул, человек болезненный и большую часть дня проводивший в целебной ванне; сидя в ней, он и принимал посетителей, и читал доклады, и вёл счёт денег. Агатоп бежал в Дамаск, бросив и дом, и богатства; Тома последовал за ним, поскольку бросать было в общем-то и нечего: всё, что ему оставили родители, он отдал за обучение. Окончив учёбу, Тома некоторое время служил врачом в сирийской коннице, но вынужден был покинуть службу из-за размолвок с начальником, возревновавшим молодого врача к своей жене, потрясающей красавице и блуднице. На полученные по увольнении мелкие деньги Тома купил место врача в пригороде Фиатира, в то время очень оживлённого и разбогатевшего на торговле пурпуром города. В несколько лет он получил известность и стал если не богат, то вполне обеспечен — однако алчность однажды обуяла его, и он вложил почти все свои деньги в морскую экспедицию за пряностями. Плавание было успешным, корабль вернулся — но странным образом затонул в виду порта. Все, кто хотел заработать, остались ни с чем. Тома не смог расплатиться по долгам, продал своё место и сделался странствующим лекарем. Однажды его позвали к сильно страдающему ученику странствующего же проповедника…

У Иешуа случился один из первых приступов болезни головы, которая будет мучить его до самой смерти. Свет и звук необыкновенно усиливали страдание, он лежал в комнате с закрытыми окнами. Это был бедный дом, всего из двух комнат, в одной из которых хозяева держали кур. Куриная возня за стеной приводила Иешуа в отчаяние…

Первый визит не принёс Томе успеха. Обычное в таких случаях снадобье, маковое молочко и вытяжка красавки, оказалось бессильно: больной уснул, но скоро проснулся с удесятерённой болью и жаждой смерти. Врач пришёл снова — благо, он остановился в трёх домах отсюда. Повторная, бóльшая доза лекарства, чаша горячего вина со сливками, ароматными травами и мёдом, наконец, подействовали, и боль стала отступать и таять.

— Что со мной? — спросил Иешуа.

Тома честно, как подобает врачу, ответил, что сказать этого пока не может: возможно, что это всего лишь поздние проявления гемикрании либо темпоралгии — болезней обычно юношеских, но, случается, и запаздывающих; однако не исключено, что началась лептоменингопиома, болезнь почти наверняка смертельная; всё покажет завтрашний день. Тогда Иешуа взял с него клятву хранить молчание и продиктовал ему короткое письмо, адресованное бывшему первосвященнику Ханану, в котором просил похоронить себя в гробнице своего отца, царя Антипатра; письмо он запечатал кольцом со змеевиком, которое довольно давно носил на большом пальце, камнем внутрь.

Я много раз видела у него это кольцо, но не обращала внимания. Кольцо и кольцо.

На следующий день, когда стало ясно, что смерть может подождать, Иешуа письмо сжёг, а Тому ещё раз попросил помалкивать. Тот действительно молчал, как мёртвая рыба, но через несколько месяцев нашёл Иешуа и сказал, что больше так не может и готов помогать ему просто так, без платы и даже без обещаний. Наверняка царю скоро понадобятся военные врачи и цирюльники…

Пилат, между тем, допустил следующую неловкость, которая кончилась, подобно первой, большим кровопролитием и возмущением духа. Известно уже, что он, как и прочие префекты до него, жил в Кесарии, морском городе с лёгким климатом и послушным населением; однако же дела управления изредка приводили Пилата и в Иерушалайм. Резиденция его была во дворце Ирода, который стоит на высокой, в шестьдесят локтей, возвышенности над Нижним городом. На третий год своего управления Пилат затеял ремонт дворца, и архитектор заменил часть каменной стены, выходящей на обрыв, решёткой из железных прутьев с железными же наконечниками. Это было сделано для лучшей продуваемости дворцового сада, где Пилат начинал задыхаться от аромата цветов. Но архитектор не учёл, что сделанные по римскому обычаю решётки имеют в центре каждого звена медальон, на котором изображён тотем владельца или другая фигура. У Пилата тотемом был медведь, стоящий на задних лапах и простирающий передние.

Кто оказался настолько зорок, чтобы разглядеть издалека снизу эти изображения размером с фракийский щит?..

Поднялся ропот, потом — страшный ропот, потом первосвященник в гневе и ужасе высказал приехавшему Пилату претензии. Пилат выслушал и смолчал, но отдал распоряжения — и через

несколько дней на внутренних стенах, разделяющих город на части, и на самых выдающихся домах висели так называемые сигны — чёрно-алые деревянные щиты с бронзовыми профилями императора Тиберия; подобными знаками украшают обычно частоколы вокруг военных лагерей. Каждую сигну в городе охраняло не менее десяти солдат, в основном, эдомитяне из вспомогательных войск; эти, в отличие от декаполийцев, пускали оружие в ход, не задумываясь.

Всего сигн было вывешено не менее ста.

Весть о таком глумлении разнеслась стремительно, и уже буквально на следующий день Иерушалайм наполнился селянами и жителями соседних городов; в толпе было множество юных каннаев-ревнителей, а ещё больше каннающих. Насколько я знаю, начальники-ревнители решили тогда, что время для решительного выступления неблагоприятное и что, скорее всего, их таким вот изощрённым способом вынуждают проявить себя, дабы потом уничтожить, вырезать до девятого колена (обычное для всяких вождей преувеличенное мнение о себе и своём месте в мире; Пилат даже и не вспомнил об их существовании) — поэтому всё, что они разрешили своим воинам, это разрозненные убийства римских солдат и мирных иноверцев: просто так, без всякой далёкой цели.

Ночью в пригороде Бет-Зейта, где, в основном, и находились языческие кварталы, а также вблизи ипподрома и языческих храмов — это примерно в часе ходьбы по Иоппийской дороге — вспыхнули пожары. Огнём были охвачены десятки домов. Многих поджигателей схватили и растерзали на месте, некоторых передали властям. Пилат приказал распять их на столбах вблизи тех мест, где они творили преступления, после чего отбыл к себе в Кесарию.

Шесть дней в городе и окрестностях шла резня и пылали дома. Наконец Ханан и три сотни священников со всей страны прибыли к претории Пилата и, прождав униженно весь день с утра до позднего вечера на площади под палящим солнцем, всё-таки умолили его наконец отдать приказ снять сигны со стен. Он сделал это с видимой неохотой, предупредив, что в следующий раз, если духовенство позволит черни возвышать голос, он не просто обвесит все стены изображениями императора, но и поставит его статуи на площадях и в Храме. Поскольку Иерушалайм — это римский город, о чём он, Пилат, настоятельно просит всех присутствующих помнить вседневно и всечасно и не забывать ни на миг.

Всего погибло в те дни сто шесть солдат, двадцать два мелких чиновника и более трёх тысяч простых жителей, как евреев, так и язычников. Сколько из них было ревнителей, раздувавших пламя мятежа, не знает никто. Но не более нескольких десятков.

Весть об этих событиях достигла Сидона с опозданием в три, не более, дня…

Не могу сказать, что эти годы мы жили, не получая вестей от Иешуа. Напротив, не проходило месяца или двух, чтобы какой-нибудь незнакомец не заглянул бы либо к маме, либо ко мне и, попросив напиться, не сказал, понизив голос и отвернувшись так, чтобы с улицы не было видно его лица, что с известным человеком всё в порядке, он здоров и мечтает о скорейшем возвращении. То есть они говорили разные слова, иногда даже загадочные, подобные тем, что писаны в пророческих книгах, но суть сводилась к этому: жив, люблю, скучаю.

От моего нежно любимого мужа я получала известия гораздо реже, но были они намного основательнее. Приезжали купцы, привозили подарки, задерживались надолго, рассказывали медленно, подробно и обильно; я как будто частью своей оказывалась в том месте, где был мой муж, и видела то же, что видел он. Потом много дней ныло сердце…

Нет, не могу описать, как тосковала я без Иоханана. Может быть, мне и удавалось скрыть эту тоску от детей и от мамы, но когда я ночами подолгу лежала без сна на ложе, мне начинало казаться, что я лежу в гробнице и не покрывало на моём лице, а саван. Жизнь покидала меня в эти часы; душа отлетала.

Иоханан вернулся как раз в такую ночь — конечно, был ещё вечер, но казалось, что ночь, когда тоска и гибель захлестнули меня с головой и сомкнулись надо мною подобно трясине или зыбучему песку, и не выпускали, и поэтому я просто ничего не чувствовала (вернее, чувствовала только досаду), говорила тупые слова и порывалась что-то доделать по дому, я что-то забыла сделать или о чём-то распорядиться, и вообще — зачем такой шум и такая суета? Поразительно, но муж мой понял всё…

Я очнулась, глядя на луну, зеленоватая луна, чуть изъеденная сбоку, лежала на чёрных, как бы обугленных верхних ветвях древней-древней смоковницы, — и, услышав внизу голоса, бросилась туда, рыдая без слёз, в большой комнате сидели Иоханан, мама, мои дети и старшие близнецы, повсюду разбросаны были куски ярких тканей, кожаные расписные короба, чеканные кувшины из тонкой бронзы и что-то ещё, и ещё и ещё (начищенная медная труба; потом на ней играл Яаков; изогнутый лёгкий, но очень упругий лук из рогов неизвестного животного и стрелы к нему; бубен; красные сапожки…) — я перелетела всё это богатство и повисла на шее подхватившего меня Иоханана, я обхватила его и замерла — или нет, я била его кулаками по спине, — или нет, я…

Вера в чудо вернулась ко мне.

Иоханан пробыл дома четыре дня и отправился в дальнейший путь. А я отправилась с ним.

Он долго пытался меня отговорить, и он во всём был совершенно прав — да, такая жизнь не для женщин, да, первое время мне приходилось тяжело, очень тяжело, и неловко рассказывать о тех трудностях, да и ни к чему — и ему приходилось труднее, потому что ко всем прочим заботам добавился и страх за меня, близкую и пока ещё неловкую; но я, честно говоря, думала, что будет тяжелее, когда настаивала на том, чтобы отныне сопровождать его повсюду, как женщина кочевых

народов. Спасибо маме, она поддержала меня, она поцеловала Иоханана в лоб и сказала:
— Сын мой. Сделай так, как говорит Дебора. В неё вселился ангел судьбы; он знает, что нужно и что необходимо. Посмотри на неё: когда у девочки такие глаза, ей нельзя возражать, потому что нельзя спорить с ангелом.

Так мама осталась одна на два дома с семью детьми. Впрочем, старшим близнецам скоро должно было исполниться по двадцать лет, и они были настоящей опорой семьи. В силу собственных пристрастий они занимались не столько торговлей, сколько строительством, но уже не деревянным, как наш отец, а каменным. Как раньше в доме горячо спорили о сравнительных свойствах сосны и сикоморы, так теперь—о камне из разных каменоломен, о том, когда можно использовать сырой кирпич, а когда приходится покупать дорогой обожжённый, о санторинской земле и молотом антиохийском туфе, и о том, что проще и долговечнее: опус ретикулатум, опус тестациум или опус спикатум?..

У них были грубые, израненные острыми сколами различных камней руки. Но души их были нежны и преданны.

Мои любимые братья…

Глава 20

Всю ночь ревел ветер, выдувая последнее тепло из комнаты. Среди ночи пришлось встать и разжечь очаг. Дикая олива, высохшая до твёрдости бронзы, тяжёлая и звонкая, разгоралась медленно, но горела жарко, и я согрелась. Во мне мало тепла, оно быстро уходит из тела, поэтому я кутаюсь в шкуры, как армянка. Даже летом я надеваю овчинную безрукавку. Сейчас зима. Мне холодно смотреть на мальчишек, которые бегают босиком по обледенелым камням. А им смешно смотреть на меня.

Утром я не сразу смогла выйти из дома. Дверь не открывалась, и пришлось разрезать верхний ремень, на котором она висит, и повалить её наружу. Выпал снег. Его было по пояс у двери и под самую крышу у задней стены. Ветром снег вбило так сильно, что он не проседал под ногами. Придётся заплатить мальчишкам несколько оболов, чтобы выгребли его оттуда, иначе в доме будет долго держаться холод и сырость и на стенах появится плесень. Я ненавижу плесень.

Она может испортить мои записи.

А первый раз в жизни я увидела снег в то самое моё путешествие с Иохананом—первое и последнее. Это было в Кесарии. Мы ждали корабль, чтобы плыть на Кипр. Четыре дня мерно грохотал шторм, и солёные брызги оседали на губах. Тучи летели низко, иногда порывался пойти дождь, но так и не решался. Этот шторм пришёл из Египта, в нём чувствовался остаток африканской жары. Мраморные лестницы, сбегавшие к морю, были пусты, фонтаны молчали. Пальмы, напротив, громко шумели; иногда ветер волок по ступеням большой тёмный обломанный лист с прорезями по краям. Статуи неизвестных мне людей отворачивались от ветра и кутались в тоги.

Я никогда не испытывала отвращения к статуям или страха перед ними и не понимаю, почему многие евреи так их не любят.

В Кесарии мы жили у моего сводного двоюродного брата, Иегуды по прозвищу Горожанин.[2] Помните, у отца была предыдущая семья, вся умершая в моровой год? Иегуда—сын Шимона, младшего брата Рахель, которая и была первой женой моего отца.

О дяде Шимоне в нашей семье было не принято вспоминать, и не потому, что он был откупщик—не из самых крупных, но и не мелкий,—а потому, что он был разорившийся откупщик. Совершенно невозможно представить себе, как откупщик может разориться, но дядя Шимон смог. Потом он несколько раз попадал под суд за обман и мошенничество, но всегда отделывался в худшем случае штрафом, а чаще так запутывал судей, что выходил сухим из воды. Но как-то при всех своих неурядицах он сумел выучить сына и хорошо выдать замуж дочь, после чего тихо умер. Иегуда знал все возможные языки—более десяти!—историю и математику, имел невероятные способности к счёту, и поэтому богатые купцы часто привлекали его для разрешения запутанных денежных вопросов.

Иегуда был старше меня на шесть лет, но казалось—что на двадцать. Основательность и неторопливость, говорил он. Жизнь слишком коротка, чтобы нестись по ней галопом. Иоханан очень уважал его умения, но иногда подсмеивался над манерами. Они сразу поладили.

Дом Иегуды был скромный и очень аккуратный. Хозяйство вели пожилая рабыня и молодая вольноотпущенница Эгла, наложница Иегуды, взятая на срок.
— Почему ты не женишься?—спросила я его както.—Хочешь, найду невесту?

Он помолчал.
— Нет.
— Но почему?
— Ты веришь в вещие сны?
— Все сны—вещие.
— Ну да… Ещё был жив отец, и он сосватал мне прелестную девушку. Умную, добрую, богатую. Назначили день обручения. И накануне мне приснился сон. Про то… Сестра, скажи, наши сны от Предвечного или от демона Сартии?
— Сартия и его ангелы-мучители часто приходят в сны, посылаемые Предвечным, и превращают их в кошмары. Поэтому нет вещих снов, в которых не содержалась бы толика лжи. Что ты видел?
— К счастью, я не помню всего. Но я помню, как горел мой дом и как я кидал в раскалённое белое пламя моих детей, чтобы успеть спасти их от чего-то неизмеримо худшего… Я попросил отца разорвать помолвку, отправил девушке подарок и извинительное письмо и решил для себя, что никогда не женюсь и не рожу детей… ну или до тех пор, пока не увижу другой сон…
— Не увидел?

2. По-арамейски—еш-Кириаф; слово «кириаф» не является топонимом, а означает просто «город».

— Нет. А тот сон… он всё время где-то рядом. Стоит протянуть руку. Понимаешь меня?

Тогда я ещё не поняла. Поняла потом.

На пятый день шторм улёгся и небеса вздохнули. Вдруг как бы огромный облачный купол воздвигся над городом. Синие облака образовывали свод его, а под сводом неподвижно висели клочья тёмных, цветом похожих на зимние волны. Настала благоговейная тишина. Сразу, как это бывает только в пустыне, похолодало, а потом с неба поплыли, медленно кружась или покачиваясь из стороны в сторону, белые хлопья.

Меня обуяли восторг и благолепие. Не чувствуя холода, я опустилась на колени и взяла в руки белый мех, которым покрылись ступени. Он тут же потёк по запястьям и пропал. Иоханан гладил меня по голове и просил подняться. Наконец я поднялась.

Всё кругом покрывал этот белый мех…

— Пойдём, Пчёлка,— сказал мой муж.— Ступай осторожно, не торопись…

И я, конечно, тут же поскользнулась, упала и раскроила об острый край ступени левое колено. Хлынула кровь. Иоханан перевязал мне рану тряпицей, оторванной от полы рубашки, и потом нёс на руках до самого дома. По белому меху протянулся красный крапчатый след. Я не видела ничего красивее в своей жизни…

Наверное, потому, что я так истосковалась без мужа все эти годы, путешествие наше казалось мне пределом счастья; я перестала думать и понимать, а только чувствовала и ощущала. Я была, наверно, ещё глупее, чем Мария, когда она отправилась в своё путешествие к Иешуа; я ещё расскажу об этом; и мне, и ей затуманило разум любовью и страстью. И поэтому, разумеется, я тогда мало что понимала из происходящего, так что описать могу какие-то отдельные картинки, которые врезались в память — как эта, со снегом в Кесарии. Уже потом я, вспоминая, стала осознавать, чем же Иоханан — и я вместе с ним — занимался всё это время.

Мы собирали армию.

…но этот крапчатый красный след на белом меху стоит перед моими глазами и будет стоять, пока я не расскажу ту историю до конца, он просто не позволит мне перейти к главным событиям, и я прошу прощения. Со мной всегда так: я не могу оставлять что-то за спиной. Постараюсь рассказать кратко.

Я несколько дней после того, как получила рану, находилась в странном состоянии полубреда. Я разговаривала с мужем и Иегудой и всё понимала, но мир стал прозрачнее, и многое, прежде скрытое за стенами, сделалось доступным взгляду. А кроме того, перед глазами вставали живые картинки, которых быть не могло, но тем не менее я их видела столь ясно и отчётливо, что понимала: это игра воображения, мои глаза давно ни на что подобное не способны. В ушах звучал далёкий шёпот или шорох, и в нём проступали слова…

Итак, я видела заснеженное поле, по которому бежала, проваливаясь местами по колено, Мария; из левого предплечья её, когда-то исполосованного лезвием ланцета, обильно сочилась алая кровь, оставляя на снегу отчётливый прерывистый след, тогда как ноги её и руки, которые тоже время от времени касались пушистых покровов земли, никаких следов не оставляли; далеко позади Марии, отставая стадиев на десять, шли неторопливо три огромных пса, в одном из которых, вертлявом, я с изумлением узнала её мужа; двое других были мне незнакомы. Мария стремилась к далёкому жемчужно-голубому пятну впереди, обрамлённому пальмами; я присмотрелась: это был недостроенный римский портик с круглым бассейном позади него, портик и пространство земли заросли шиповником, усыпанным цветками этого необыкновенного жемчужно-голубого цвета. На краю бассейна, спустив ноги в воду, сидел мой брат, изготовившийся к купанию. Он словно услышал что-то, потому что соскользнул в воду, но не поплыл и не нырнул, а стал, наклонив голову, вслушиваться в тот же шёпот, что слышала я.

Вот такая картина предстала мне, а год спустя Мария рассказала, как она однажды вышла из дома словно бы на ярмарку, и тут её охватила решимость, она сделала вид, что забыла гребень, отправила рабыню за гребнем, а сама у ярмарки наняла двуколку и поехала в Сидон — где, она знала, жил в то время Иешуа. Он встретил её приветливо, но каким-то необъяснимым способом дал ей понять, что не сможет нарушить святость её супружеских уз. Они гуляли по садам Сидона, только что отцвела акация, лёгкие лепестки вздымались при каждом шаге, и среди всего он рассказал ей о гибели Фасаэля, как она произошла на самом деле, а не по рассказам нечестных переделыщиков; и то же он рассказал о похожей смерти царя-соправителя Антипатра, и по тому, как он рассказывал, Мария поняла, что история эта многое для него значит, но спрашивать не стала. Она ночевала в гостинице, а утром спешила в дом на окраине, где рабби Ахав собирал учеников и говорил с ними, и она смотрела, как Иешуа слушает своего учителя: внимательно, мудро и без восхищения. Наверное, он уже взял у рабби Ахава всё, что мог…

Потом они снова гуляли в садах, и упавшие лепестки шелестели вокруг их сандалий… Так продолжалось четыре дня, а на пятый, поздним вечером, в гостиницу вошли рабы её мужа и почтительно, но твёрдо увезли Марию в именье. Вёл рабов евнух Малх, ключник.

Я не знаю, что ей пришлось пережить в доме мужа. Она просто не стала рассказывать. По каким-то отрывкам позже я догадалась, что более полугода она сидела на цепи.

Спас Марию — от сумасшествия, а вероятно, и от смерти — дядя Филарет. Какие доводы он привёл, я даже не берусь себе представить. Однако муж Марию с цепи спустил и даже разрешил ей покидать дом, но не двор…

Это он же потом пустил по её следу ищеек Антипы. Я однажды узнала это и ночью пришла к нему

с четырьмя своими людьми. Муж был гнусный лысый и морщинистый старик, покрытый пятнами. Тогда я его и увидела в первый раз. Почему-то он был уверен, что прав во всём.

Да, можно сказать, наверное, что здесь и оборвался алый крапчатый след на белом снегу, и Мария перестала бежать, а нашла успокоение средь мира по вере её. Но эта картина с бегущей ею и с кровью, что стекает с локтя левой руки, до сих пор возвращается ко мне время от времени, и может быть, я что-то недоделала или же сделала не так. Может быть; в конце концов, я просто человек.

Итак, армия. Как мы собирали армию… Это очень скучное дело, и сама бы я за него никогда не взялась. Иоханан откуда-то знал, как это делается…

Если смотреть сверху, то всё просто: мы едем в Кесарию, муж мой берёт в римском банке некоторую сумму серебром — и мы возвращаемся в Галилею, или в приграничные городки Сирии, или в Тир — и там встречаемся, обычно вдвоём, с кем-то из жителей, кого нам порекомендовали в предыдущем месте или кто ранее откликнулся на тайный зов шептунов. Или это те, на кого указал человек Оронта. Обычно мы собирались с ними в сельской местности, у водоёмов; Иоханан слыл страстным проповедником, провозвестником Искупителя…

Поговорив с людьми, послушав их самих, он выбирал двух-трёх, редко пятерых, и дальше мы разговаривали с ними подробнее; я вслушивалась в звуки речи избранных и иногда запрещала того или другого. Голос — самый страшный предатель, мало кто может его обуздать. Трус не в состоянии притвориться храбрецом и алчный — щедрым.

Те, кто проходил отбор, получали мешочек с деньгами и задание: подобрать себе каждому ещё четверых бойцов, купить для всех нагрудники и мечи, обучиться ими пользоваться — хотя бы на палочных подобиях. И — ждать. Скоро будет дан сигнал.

Изредка мы находили среди тех, кто предлагал себя для боя, будущих начальников и командиров. Их Иоханан отправлял в Назир-рат, место на склоне горы Нэцр, издавна облюбованное назирами для своего служения. Подобно ласточкиным гнёздам, к крутому склону лепились сложенные из дикого камня или слепленные из глины лачуги, дававшие жалкий приют от пронизывающего ветра по ночам и от обжигающего солнца днём; в некоторых лачугах имелись очаги и даже котлы, но за хворостом следовало спускаться к подножию горы. Ручей по изломанному кремнистому руслу протекал сквозь это селение, иногда разливаясь от дождей или обильной росы, а чаще пересыхая. Но звёзды, которые висели по ночам на расстоянии всего лишь вытянутой руки, вселяли в сердца такую благодать, такой восторг перед трудами Предвечного, что молитвы сами рвались из уст и возносились к небесам…

Я не знаю, почему настоящие назиры оставили это место; думаю, оно просто стало для них слишком обжитым и обыденным. У подножия горы раскинулась деревня, она росла; слышно было, как кричат ослы. Чуть поодаль солдаты Антипы возвели военный лагерь и упражнялись там в построениях и битвах. Дорога, проходящая мимо, делалась всё более и более оживлённой.

Для наших же целей лучшего места было и не найти.

С будущими командирами занимался самаритянин Филон, служивший прежде в гвардии Ирода под командованием Валерия Грата, а в бытность Грата префектом Иудеи и Самарии угодивший в разбойники. Случилось это из-за того, что Филон решил потребовать возмещения недоплаченных — как он считал — денег за службу хотя бы натурой, скажем, земельным участком. Грат, под старость сделавшийся несдержанным, углядел в прошении бывшего гвардейца нескромность и стяжательство и повернул дело так, что Филон лишился и того жалкого, что имел: домика, пахотной полосы и нескольких волов. Наверное, и не сам Грат эту несправедливость сотворил, а кто-то из мелких подручных, но какая разница? — Филон забил волов, поджёг домик и ушёл в Галилею. Там он собрал небольшую шайку — пять-семь человек в разные времена — и занялся промыслом мытарей: в обоих смыслах, если так можно выразиться. Он промышлял мытарей, но делал это их же способом, то есть обкладывал данью. Неоднократно его пытались убить в складчину и сами мытари, и откупщики, нанимая с этой целью других разбойников, но куда там — Филон неизменно выходил победителем из схваток, отправляя потом заказчикам носы и уши несостоявшихся убийц. За это его в шутку звали Юдифью.

Здесь мне следует заметить, что юмор гвардейцев Ирода был очень своеобразный. Они подхватывали всё, в том числе самые нелепые или оскорбительные, слухи о себе и раздували их до гомерических размеров, до полного абсурда. Так, например, за гвардией всегда водили небольшое стадо жертвенных овец, ухоженных и украшенных лентами; гвардейцы же хором утверждали, что овцы эти служат им в качестве блудниц и рассказывали множество небылиц на эту тему, покупая на базаре очередную ленточку или бубенчик; точно так же, подхватив и развив слух о том, что в гвардии согласно традициям, заложенным ещё Александром Великим, положено придерживаться содомитских отношений между начальниками и подчинёнными, они называли друг друга «девочками», носили женские плащи и имена и подводили глаза сурьмой, а губы кармином. Но беда тому, кто принимал всё это всерьёз и пытался склонить гвардейца к противоестественной связи — в лучшем случае он просто лишался гениталий…

Через руки Филона-Юдифи прошло около пятидесяти наших командиров, в том числе такие, как Яаков бар-Альф, грек Фемистокл из Тивериады, осуждённый на каменоломни, но бежавший из-под стражи, Шимон по прозвищу Зелот, данному ему за неистовство, Иегуда бар-Яаков по прозвищу Таддий, что значит «похвала» — он, насколько я знаю, будет последним из наших, кто падёт от меча, и произойдёт это лет примерно через пятнадцать,

на берегах Иордана в бою с конницей прокуратора Фада,—Ефраим из Каны, Ицхак бар-Раббуни, Абдиэль Галаадец, самый молодой из начальников и единственный из них убитый в первом походе… Я помню их всех, не столько по лицам, сколько по голосам и походкам, и даже узнала бы сейчас, подойди кто-то из них ко мне по каменным плитам; другое дело, что уже давно некому подойти.

Было ещё одно место подготовки командиров: в Хулате, за озером Мером, в старой полуразрушенной финикийской крепости на скалах. И должно было быть и третье, в горах неподалёку от Гишалы, но устроить его как следует не успели.

Самое трудное было тогда—удержать их всех на месте, не пустить в бой порознь или малыми группками. Иоханану это удалось.

Глава 21

Я хорошо помню тот день, когда Иешуа объявил о себе миру. Это случилось в самый канун праздника Кущей, в год эры Маккаби сто семьдесят первый, от начала правления же Ирода Антипы—тридцать третий. По всей стране, словно первый порыв ветра по пустыне, предвестник бури, пронеслась весть: грядёт царь! Это передавали из уст в уста, об этом кричали на углах, и стражники отворачивались, а люди ликовали.

Само объявление состоялось в Птолемаисе, в одной из вилл, принадлежащих Филарету, дяде Марии. Собрались знатные люди финикийских городов, сам Филарет, алабархи—то есть главы еврейских общин—Сидона, Тира и Дамаска, купцы и судовладельцы, а среди них—тайные представители царя Коммагены, царя Понта и Киликии, царя Халкиды, царя Итурии и, кажется, царя Малой Армении; наверняка, я кого-то не упомянула, поскольку мало кто из них назывался своим именем. Были здесь и финикийские священнослужители, поскольку предвидели свой немалый интерес.

Всё было представлено так, как будто гости собрались на свадьбу. Один из компаньонов Филарета, знатный, но небогатый армянин, выдавал свою дочь за сирийца, имперского кавалерийского командира. Уже когда все гости собрались за столом в обширном внутреннем дворе под фруктовыми деревьями, отягощёнными плодами, вокруг которых вились медоносные пчёлы,—вошёл Иешуа и с ним ещё несколько человек, в их числе и Мария.

Надо сказать, что двое алабархов, Беньямин и Йехорим, люди пожилые, многократно видели вблизи царя Ирода, который и сам не раз бывал у них в гостях, и гораздо чаще принимал их в своих дворцах. И ещё надо сказать, что только в Иудее, а прежде всего в Иерушалайме, память великого царя подвергалась бесчестью за его терпимость к обычаям язычников; во всех же общинах рассеяния—и в финикийских городах, и в Александрии, и в самом Риме—Ирода превозносили по-прежнему, а может, и более, нежели при жизни его.

Иешуа одет был в простой белый плащ, похожий на кавалерийский; волнистые его волосы, ничем не стеснённые, опускались до плеч… Когда он подошёл к столу, Беньямин вскочил на ноги и вдруг с восклицанием бросился ниц; тучный Йехорим встал медленно, всмотрелся, потом приблизился к Иешуа—и затрепетал. Кто это, кто?!—закричали гости. Иешуа бросился к Беньямину и ласково заставил его подняться. Другой рукой он опекал Йехорима.

— Царь!—воскликнул Беньямин и вскинул руки над собой.—Я вижу нашего царя! Теперь я умру счастливым—наш царь вновь с нами!

Я, разумеется, не могу сама судить, насколько Иешуа был похож на молодого Ирода, а те немногие, кто видел обоих, говорили совершенно разное. Я бы прислушалась, скорее всего, к Оронту, который объяснял так: как правило, Иешуа на Ирода похож не был—разве что волной волос; на Ирода куда больше похож был Ирод Агриппа: и лицом, и фигурой, и походкой, и жестами. Но время от времени в каких-то ситуациях, при каком-то освещении, при каком-то наклоне лица—вдруг становилось понятно, что обыденное несходство Иешуа и Ирода просто не имеет никакого значения.

При этом Иешуа и Агриппа для любого непосвящённого казались совершенно чужеродными друг другу людьми…

Нас с Иохананом эта весть настигла буквально на пороге родного дома. Мы возвращались из Гамалы, из земли Филипповой, уже привычно сделав два перехода за день. Кроме нас с Иохананом, в Гамале побывали Иегуда бен-Шимон—тот самый Горожанин, о котором я рассказывала, врач Тома и ещё трое молодых наставников, недавно вышедших из-под рук Филона-Юдифи. Поздним вечером, уже при свете месяца, мы проехали таможню, от усталости не обратив внимания на странное оживление, царившее среди чиновников и стражников. На ярмарочной площади горели костры, оттуда доносились звуки музыки и радостное пение.

Новость сообщили рабы, принявшие наших лошадей. Я почувствовала, что Иоханан задрожал. Нет, это была дрожь не страха, но долго сдерживаемого напряжения. Чуть позже, когда мы все собрались за поздним ужином—холодным, разумеется, никто нас не ждал сегодня, но мы уже привыкли довольствоваться пресными лепёшками, просольным сыром, оливками и молодым вином,—он встал и попросил нашего внимания.

— Великий день настал,—сказал он.—Как земля, страдая, ждала дождя, как невеста, томясь, ждала жениха из дальнего похода, так и народ ждал своего обетованного царя, царя-избавителя. Подобные бесконечной ночи, тянулись неправедные годы. И вот свершилось: приходит к нам царь. Не в злате и рубинах он, а в простой одежде солдата и пахаря; не нефритовый скипетр в его руке, а острый железный меч. И путь его будет не путём роз, а путём огня и крови. И всякий, идущий с ним, не сможет знать, где уснёт и кем проснётся, и как сядет вечерять, а встанет на бой, и кто спасёт, а кто предаст, и к какому краю над пропастью подведёт его судьба. Пока не вострубили трубы и не взгремели кимвалы, насладимся же покоем и

возрадуемся, ибо завтра уже не скитания ждут нас, а сражения, и не усталость, а простая смерть без милости и надежды. Кто из тех, кто ликует сегодня, умрёт завтра? Кто, зачав, не увидит детей своих? Кто, сняв урожай, не вспашет новой борозды, кто, слепив горшок, не обожжёт его, кто, срубив дерево, не поставит дом? Несть им числа. И кровь их на наших руках, братья мои, и смерти их на нашей совести, и слёзы их вдов и сирот, родителей и невест. Но так вышло, что нельзя иначе…

Он сел. Мы долго не говорили ни слова.

Да, с этого дня всё переменилось, хотя переменилось неуловимо. Так прозрачное облако набегает на солнце. Так ты зачинаешь во чреве, ещё не подозревая о том.

Семь месяцев прошло с последнего мятежа в Иерушалайме до дня провозвестия, но многие из тех, кто потерпел тогда оскорбление и смертную обиду, ещё и не думали остывать. Услышав о новом царе, каждый из них бросал свой плуг или свою иглу, или молот, или книгу, брал с собой малый запас и трогался в путь на север. Тупое и неотвратимое движение по дорогам и без дорог несколько тревожило римлян, но прекратить его было невозможно — всё равно что перегородить ручей сетями.

Пилат к новостям из Птолемаисы отнёсся просто: да, вот объявился новый самозванец, таких была дюжина до него и будет дюжина после; опасности он не представляет, поскольку римская сила неодолима; при этом «орлы мух не ловят»; так пусть его либо зарежут свои же, либо он соберёт вокруг себя несколько тысяч оборванцев; тогда их можно будет и прихлопнуть всех разом.

Наместник Сирии и прямой начальник Пилата, Вителлий, видел дело иначе. Я точно знаю, что его люди тайно встречались с Иешуа ещё в Сидоне, пытаясь выведать у него, будет ли он верен Риму или же противен ему. Иешуа объяснил, что против римского покровительства ничего не имеет, а хочет лишь процветания и стяжения народа и торжества Закона. Вителлий, хорошо зная, каким рассадником беспокойства стали еврейские общины в провинциях, а особенно в Сирии и Египте, счёл за лучшее не вмешиваться в дела Иешуа, но не вмешиваться благожелательно, при этом как бы незаметно для себя патронируя ему. Потом мне говорили даже, что он настоятельно отсоветовал Пилату писать доносное письмо императору Тиберию про Иешуа, про его притязания на царство и про тех, кто его снабжает деньгами и оружием, мотивировав это тем, что Иешуа-де исполняет полезную работу, заставляя накопившееся недовольство Римом работать на укрепление Рима; посмотрим, как обернётся дело, сказал он, как этот плотник себя проявит — а вдруг и будет смысл просить императора назначить его царём? Это было сказано будто бы в шутку, но Пилат запомнил слова. Пилат вообще запоминал всё — другое дело, что это шло ему на пользу очень медленно.

Не знаю, правда ли это, или просто одна из множества легенд, появившихся среди людей, чтобы объяснить странности времени и обстоятельств.

В эти дни в городе вновь вспыхнуло недовольство, и произошло оно явно от обид священничества. Уже много лет Иерушалайм страдал от недостатка пресной воды; колодцы, цистерны и источники в стенах города не справлялись, воду приходилось возить в бочках издалека. Пилат затеял водопровод, такой же, как и в других городах империи. В двух местах выше по долине Кедрон были неиссякающие ключи, и если их подвести к городу, то нужда в воде будет покрыта с большим запасом на будущее. На строительство водопровода Пилат собрал однократную дань со всех горожан, а также — меньшую — со всех жителей провинции, поскольку и они бывают в городе и пользуются его благами; недостающую сумму он взял у римских банкиров, не желая связывать себя обязательствами с еврейскими. Работы начались, но вскоре прошёл слух, что деньги на строительство префект забрал из храмовой сокровищницы. Деньги от Храма он действительно получил и немалые, но только потому, что Храм был крупнейшим потребителем воды. Итак, вновь начались волнения, на рабочих нападали, мешали им строить, избивали. Производители работ наняли охрану из жителей самарийских городов, и однажды охранники с дубинами окружили толпу беснующихся и крепко поколотили их. Разумеется, все говорили, что это сделали солдаты и что убито множество людей. На самом деле никто не погиб, хотя было переломано множество рёбер и выбито множество множеств зубов. Строительство продолжилось и через год было успешно завершено.

Но за это время произошло много других событий…

Через семь дней после провозвестия Иешуа появился в Галилее. И вновь, как в Птолемаисе, явление его было обустроено во время свадьбы. Свадьба происходила в Кане, богатом и древнем городе — кажется, самом древнем в Галилее. Когда объявили, что среди гостей присутствует царь иудейский Иешуа, фонтан на городской площади забил вином — и бил так три дня.

Присланные солдаты вернулись ни с чем.

Злые люди говорили потом, что Антипа тайно встречался с Иешуа в те дни, но я не могу этого ни подтвердить, ни отвергнуть. Возможно, что так и было. Допустим, что так и было. Что ж, понятно простое желание дяди познакомиться с племянником и убедиться, что перед ним не самозванец; понятно и желание правителя узнать, кто претендует на соседние земли; понятно всё. Не знаю, убедил ли Иешуа Антипу в своей истинности? — ведь что у него было: пятна на теле (говорили, что такие же были у Ирода; не знаю), перстень с печатью и имена людей, которые могли выступить свидетелями — Оронта в первую очередь. Известно, что за Оронтом Антипа не послал, но значит ли это, что он удовлетворился другими доказательствами? Нет, я так не думаю. Скорее, он просто решил выждать, как всё обернётся, а чтобы вернее выжидать, нужно как бы не до конца знать положение дел.

Так или иначе, в Галилее Иешуа поначалу ничто всерьёз не угрожало, хотя формально его не признавали и даже порицали с площадей. Но делали это подчёркнуто незлобиво.

Другое дело, что и помощи ему никакой не было. Да, Антипа особо не мешал ему, но и не помогал ни на йоту.

Жаль, жаль, что не смогла я задать Антипе долго мучивший меня вопрос: а всё же в глубине души был ли он уверен, что перед ним тогда стоял его родной племянник? Не потому, что это на что-нибудь повлияло бы, нет, я-то знаю, как можно резать и травить родных и самых родных. Нет-нет, тут что-то другое, и за этим простым вопросом стоит какой-то больший, какой-то иной вопрос, который я пока не могу рассмотреть и назвать вслух. Но я постараюсь. Может быть, за этим я и затеяла вот это письмо. Когда пишешь, мысли делаются яснее. Наверное, так. Да.

Что же представляла собой наша армия? Это было отнюдь не то вооружённое вилами и кольями поголовье, что окружало Шимона—у них храбрость граничила с безумием, а готовность умереть ужасала. Нет, Иешуа сразу сказал, что намерен не воевать, не заливать страну кровью, а покорить её нежно и бережно—может быть, так, чтобы римляне и не заметили этого.

Потом, уже в другой жизни, я познакомилась с человеком, который придумал и воплотил нашу армию. Звали его Гектор, родом он был с Крита, и за свою жизнь он участвовал, по крайней мере, в шести войнах против римлян. Он гордился тем, что на родном его Крите есть немало мест, где не ступала нога римского легионера.

Да, римская армия—сильнейшая в Ойкумене. Но только тогда, когда вступает в бой на своих условиях. Чтобы успешно бороться с нею, бой ей нужно навязывать тогда, когда ей сражаться неудобно—и без стыда избегать боя, когда она развёрнута для сражения и готова к нему. Примерно так действовали в те времена повстанцы в Иллирике и Каппадокии, но им не хватало продуманной организации. Гектор эту организацию создал.

Основу армии составлял пентон—несколько бойцов-панкратиоников, обычно от трёх до двенадцати, хорошо знающих друг друга и понимающих без слов. Во главе пентона стоял пентоник, который либо сам набирал себе бойцов—когда армия формировалась, либо избирался бойцами, если прежний пентоник погибал. Двенадцать пентонов составляли апостолон, названный так по апостоле, «посланию»—лёгкому знамени на высоком древке, видимому издалека; на самый верх древка, выше знамени, можно было быстро и легко поднять сигнальный флаг, значение которого легко понималось пентониками. Таким образом, начальник апостолы мог легко руководить своими бойцами, разбросанными на большом пространстве боя. Это давало особое преимущество в городах, когда сигнальщики поднимались на крыши или башни.

Обычным вооружением воина был меч или большой кинжал и тяжёлое копьё, или несколько лёгких дротиков; щиты были маленькие дубовые, позволяющие прикрыть торс; нагрудники из варёной кожи были не у всех.

Кроме двенадцати пентонов, в апостолон входил ещё дуодексон лучников—но, к сожалению, не в каждый.

Примерно половина воинов передвигалась на лошадях или мулах, но все сражались в пешем строю. Не было времени и сил на подготовку полноценной конницы, а неполноценная, ущербная конница опасна скорее для своих, нежели для противника.

Имелись и другие хитрости, которые позволяли армии возникнуть в нужном месте как будто из ничего, нанести удар и тут же исчезнуть здесь, пропасть, как вода пропадает в песке, чтобы через час собраться в другом месте—и вновь нанести удар, и вновь рассеяться. Да, это были осы против льва. Но осы—это самое страшное, что можно противопоставить льву, если у вас нет другого льва или носорога.

На момент провозвестия под рукой Иешуа было четыре апостолона. Ими командовали братья Андреас и Шимон-Утёс из Кпар-Нахума, я о них расскажу позже, и братья же Яаков и Иоханан, сыновья Забди ха-Хадара[3], в том числе и за это получившие прозвище «Сыновья Грома», а не только за свою медноголосость.

Когда Иешуа пришёл в Кану, с ним было семь апостолонов; когда он покинул Кану, высоко в небе развевалось десять знамён. За месяц свадебных поездок по Галилее он довёл их число до шестидесяти.

Только через месяц я встретилась с ним.

Глава 22

Мы были тогда у мамы, я и Иоханан. Меня накануне охватила непонятная скорбь и тревога, и из Кесарии муж мой повёз меня домой, сказав, что и так уже почти всё сделано, а всех мышей никогда не переловить даже лучшему из котов и не изгнать всех блох из пса. Поскольку о своём приезде мы не сообщили, то маму не застали дома, а только младших детей—моих и маминых—и их учителя Натаниэля бар-Толму, юношу-левита, сироту, бывшего ученика одного из бет-мидрашей Геноэзара, изгнанного оттуда за бунт и неповиновение. Несмотря на такую свою репутацию, Натаниэль был добрый, скромный, кроткий и очень образованный молодой человек. Мама считала, что рано или поздно всё разъяснится и он вернётся к учёбе, а пока что давала ему кров и содержание.

За мамой побежала служанка, а мы предались радости встречи с детьми и раздаче подарков.

Мамин дом был хорош тем, что стоял на самой окраине города лицом к озеру; он был построен когда-то как загородная вилла, но город разросся; большая же дорога, ведущая в Бет-Саиду, проходила за его спиной, отделённая садом. И вот мы услышали, как по дороге валит шумное весёлое

3. Хадар, или Хадара—один из городов Декаполиса, отошедший к тетрархии Филипповой; также имя древнесемитского бога грома.

шествие с бубнами и флейтами и доносятся выкрики и песни. А потом вдруг как-то разом всё стихло.

Моя тревога, вроде бы ушедшая, тут же вернулась удесятерённой.

— Пойду узнаю,— сказал муж и шагнул от меня и исчез за углом.

Мне захотелось обхватить детей руками и скрыть их, но они уже были слишком большие для этого, и поэтому я лишь сказала:

— Это свадьба. Свадьбе перелетела дорогу сова. Я слышала её крик.

— Разве совы летают днём?— спросила сестрёнка Элишбет.

— Не всегда совы— это совы,— сказал Иегуда.— Иногда это…

— Не пугай сестру, брат,— остановил его Шимон.— Совы— это просто совы. Ночами они могут кричать, как люди, ну и что же? Помнишь, на ярмарке была красная птица, которая говорила «мир вам»?

— Если воронёнка вырастить в доме, он тоже научится словам,— сказал Натаниэль, учитель.— Но он будет повторять их бессмысленно, как обезьяна повторяет жесты и ужимки людей. Предвечный создал этих тварей для того, чтобы мы помнили: от животных нас отличает не только умение говорить или держать в руках палку.

— А что?— с интересом спросил Иегуда.

— Ответь сам,— предложил учитель.

— Мама!— сказала Элишбет и вскочила.

Я присмотрелась. По берегу почти бежала мама, за ней с трудом поспевала толстая служанка. Я пошла ей навстречу.

— Доченька!— Мама обхватила меня и не хотела отпускать. За эти несколько месяцев она осунулась и постарела.

И тут возле дома снова зашумели. Мы вернулись туда. Стояло несколько человек в дорожной и праздничной одежде, вперемешку. Первой, кого я узнала, была Мария. Потом я увидела Иешуа. Мой муж держался позади всех— он и ещё какой-то человек в коричневом плаще и греческой соломенной шляпе.

Иешуа подошёл к нам, обнял и расцеловал маму, потом меня. Мне он шепнул на ухо: «Позже, всё позже». От пришедших отделилось двое с посохами и хотя они были в запылённой дорожной одежде, в них нельзя было не узнать священников.

— Дочь моя,— обратился один из них, более старший, к маме.— Этот человек, которого мы все знаем как твоего и покойного Иосифа сына, именем Иешуа, говорит, что это не так. Можешь ли ты объяснить нам, как обстоят дела на самом деле?

— Что ты хочешь узнать, кохен? Да, я вскормила, вырастила, воспитала и выучила его— с раннего младенчества и до последних лет. Но я его не зачинала и не вынашивала. Большего я не скажу, пока не получу дозволения от того, кто поручил мне тайну.

— Этого достаточно, Мирьям. Готова ли ты повторить признание перед народом?

Мама посмотрела на Иешуа. Я видела, как он кивнул. Еле заметно.

— Да,— тихо сказала мама.— Если народ спросит меня, я ему отвечу этими же словами.

Потом я узнала того, с кем рядом стоял мой муж. Это был Оронт.

Вечером мы собрались все под одним кровом— последний раз в жизни.

— Я знала, что так будет,— нарушила молчание мама.— Не вини себя. Я знала.

— Не в этом беда, мама,— сказал Иешуа.— А в том, что я делаю то, чего не хочу делать. От чего моя кожа идёт коростой. Я не хочу быть царём. Я бы лучше строил шлюзы…

— Хочешь, поменяемся?— серьёзно спросил Иоханан.

— Хочу,— так же серьёзно ответил Иешуа.

Они посмотрели друг другу в глаза, и я поняла вдруг, что оба не шутят.

— Обсудим,— сказал Иоханан.

— Если мне позволено будет вмешаться…— поднял голову Оронт.

— Да, конечно,— сказал Иешуа.

— Сейчас самое не время это делать,— сказал Оронт.— Или именно так надо было начинать, или теперь уже придётся доводить начатое до конца, а потом решать. То есть остаётся второе. Потерпи, царь. Полгода, год. В худшем случае полтора… Вспомни, сколько людей в тебя верят.

— Да. Только я никак не могу понять, почему…

— Уже нельзя останавливаться,— тихо сказала Мария.— Даже медлить нельзя. Иначе тебя убьют.

— Мне был сон,— сказал Иешуа.— Я говорил с ангелом. Вот как сейчас с тобой, мама. И ангел сказал: сбудется всё, о чём ты мечтаешь и к чему стремишься, но сбудется так, что ты поседеешь от ужаса и будешь выть, как последний пёс на земле. И вот теперь…— он замолчал и обвёл нас глазами.

У меня разрывалось на части моё бедное сердце. Я понимала Марию, я понимала брата, я понимала мужа…

Иоханан встал.

— Так или иначе, брат,— сказал он,— последнее слово твоё. Я же поддержу тебя во всём. В жизни и в смерти. Мария?

— Да,— сказала Мария.— Может ли быть иначе?

— Дебора?

— Да.

— Яаков? Иосиф?

— Да. Да.

— Мама?

— А мы? А мы?— зашумели младшие.

— Ваше место под одеялом,— строго сказал Иоханан,— а, впрочем…

— Да, да, да!— подпрыгнули все пятеро.

— Мама?— повторил Иоханан.

— Делай, что должен, сынок,— сказала мама,— и будь что будет.

Иешуа наклонился и поцеловал её.

Глава 23

Но ещё почти три месяца Иешуа не решался покинуть Галилею— вернее, не решался ступить на земли Пилата. С маленькой горсткой ближайших помощников он объехал почти все города самой Галилеи, многократно пересекал озеро и говорил с людьми в городах Декаполиса и тетрархии

Филипповой; на встречу с ним приходили немыслимые толпы; иногда ему приходилось говорить с лодки, потому что все хотели до него дотронуться. Как всем царям, ему приписывалось волшебное умение исцелять наложением рук, поэтому к нему часто несли больных и увечных…

Помимо того, что необходимо было расположить к себе как можно больше народу, встречи эти имели более приземлённую цель: сбор денег. Армия разрослась настолько, что ни состояние Филарета, ни пожертвования богатых общин диаспоры не могли покрывать все расходы, тем более что стряслась немалая беда, о которой не могу не упомянуть, поскольку она имела и отдалённые последствия.

Когда весть о появлении нового царя, царя-избавителя, пробежала по всем общинам, тут же начался сбор пожертвований. Я уже говорила, кажется, что появления этого царя ждали не только евреи, но и другие народы — хотя и непонятно, почему. Так или иначе, в Риме, Неаполе и других городах Италии деньги евреям давали и богатые римляне, в том числе и патриции, — причём давали много. Видимо, это объяснялось ещё тлеющими подспудно в душах недавними гражданскими войнами и неизбывным принципом «враг моего врага — мой друг». Денежные взносы перевели Филарету через различные банки, а вот драгоценности, пурпур и всякого рода подарки взялись отвезти в Сидон четверо достойных людей, из которых двое были племянниками римского алабарха, а ещё двое — молодыми священниками. По дороге все четверо бесследно исчезли, не доезжая Антиохии. Скорее всего, они стали жертвами или капподокийских повстанцев, которые время от времени взимали дань даже с тех купцов, что ехали по имперской дороге, либо обычных разбойников. Но, разумеется, люди тут же подумали худшее — что гонцы попросту сбежали с драгоценностями и что они с самого начала этого хотели.

Среди жертвователей была некая Фульвия, судя по всему — непроходимая дура. Когда стало известно об исчезновении каравана, она не придумала ничего лучшего, как пожаловаться мужу, а через него — императору. Тиберий, возмутившийся тем, что прямо в центре империи собирают деньги на помощь кому-то, кто должен, согласно преданию, изгнать римлян отовсюду, решил опередить события и сам изгнал всех евреев из Рима. Им разрешили взять только то, что можно унести на себе; молодых же мужчин, пригодных для воинской службы, забрали в солдаты и отправили в Сардинию, на борьбу с пиратами. Таких оказалось более четырёх тысяч человек; и не меньшее число было казнено за отказ взять в руки оружие.

Когда эти солдаты, отслужив свои тридцать и более лет, стали возвращаться, — Рим запылал…

Я хорошо помню эти пожары. Поначалу тлели окраины, трущобы, и все кругом говорили, что это дела рук земельных спекулянтов — подобно тем расчисткам, что происходили во времена Марка Красса. Ночами весь Рим был в кольце зарев, небо светилось розовым, и страшно воняло гнилью и горящими отбросами. Днём солнце не могло пробиться сквозь пелену серого дыма. Но через месяц или два заполыхали целые кварталы в центральных районах и даже вблизи Капитолийского холма. Поджигателей ловили; среди них оказалось немало уволенных легионеров, бывших евреев и тех из городской бедноты, кто ожидал нового появления Избавителя. Схваченных обливали горячей смолой, поднимали на городские фонари и поджигали, но и такое варварское устрашение не шло на пользу, и пожары не утихали.

Неотложные дела мои позвали меня в Галлию, и я не дождалась развязки этого великолепного трагифарса. Говорят, бесконечные пожары стоили жизни тогдашнему императору Нерону; говорят также, что Рим отстроили заново ещё краше. Может быть. Больше я в Риме не была, и мне он помнится именно таким: в сжимающемся кольце огня, пропитанный вонью и страхом. А иногда во снах своих я вижу его лежащим в развалинах, среди развалин бродят люди с дубинами и в шкурах, а с неба валится не то снег, не то белый пепел.

Да будет так.

После семейного совета мы с Иохананом провели у мамы ещё несколько дней, а потом возобновили странствия по городам, прихватывая уже и Самарию с Переей. Нас сопровождала разноликая свита, более похожая на шествия масок в дни римских сатурналий или на ярмарочные гуляния финикийцев. Многие были откровенно безумны — как старый знакомец негр Нубо, бывший когда-то плотником. Я так и не сумела выяснить, что с ним произошло и какое несчастье лишило его рассудка, а вернее, памяти о происходящем. Он помнил то, что было пять лет назад, но ничто из быстротекущего не задерживалось в его голове более чем на десять-двадцать долей. Иногда он впадал в отчаяние и начинал крушить всё вокруг себя… Шли с нами и другие — как, например, целитель Гер, посвятивший свою жизнь поиску удивительного корня жизни «мехаб», который один может заменить все лекарственные средства; впрочем, до тех пор, пока он его не нашёл, Гер успешно использовал многие растительные и животные соки, а также яд змей и скорпионов. В городках и деревнях Великой долины в те дни свирепствовала дыхательная лихорадка; заболев ею, человек становился серым и вскоре умирал; Гер показал крестьянам нужную траву — ту самую, от которой, объевшись её, падают наземь овцы, — научил заваривать и пить, и многие сумели одолеть болезнь. Но, разумеется, более всего людей привлекал Иоханан со своими рассказами о чудесном спасении младенца-царя, его беспорочной юности и грядущем служении народу. Стоило нам задержаться где-то более чем на два дня, как туда начинали стекаться люди со всей округи, желавшие через свои уши получить подтверждение смутным слухам, уже много раз пробежавшим по всей земле. Как-то раз мы просто не смогли выйти из города, запертые толпой, и Иоханан вынужден был говорить с крыш домов, но его не хотели отпускать, он начал сердиться — и тут среди ясного неба ударили молнии, и хлынул

ливень. Кто-то крикнул, что в лице Иоханана явился сам пророк Илия, и этот слух не утихал более никогда—до самого конца… И, как Илию, Иоханана прозвали Исправителем, но шептались при этом, что милосердный Иоханан исправляет водой, тогда как Илия исправлял огнём… А в шутку или между собой его звали и Купалой, и Окунателем, и даже Топителем.

Я, кажется, не упоминала, а зря, что муж мой в возрасте двенадцати лет решил посвятить себя Предвечному и в качестве первого шага поступил в асайскую школу, что находилась в двенадцати стадиях от его дома. Асаи, невзирая на всю их замкнутость и небрежение нравами внешнего мира, в школы свои посторонних детей принимали охотно; да и то сказать: с их отношением к плотской любви они вымерли бы за два поколения. Обучение было бесплатным, а вернее сказать, плата принималась самими учениками, которые исполняли множество мелких и грязных работ в общине. Иоханан провёл в этой школе год, вернулся разочарованным и злым и потом говорил, что единственное полезное приобретение, ради которого он потратил год у асаев,—это отношение к воде. Так что, когда со дня той чудесной грозы все собравшиеся требовали, чтобы их хотя бы окропили водой, муж мой это охотно делал—охотно и иногда даже свирепо, потому что его не слушали, а лишь желали прикоснуться и быть окроплёну, поэтому случалось—особенно когда мы перешли в Перею и двигались вниз по Иордану,—что он хватал особо рьяных требователей за волосы и макал их в воду с головой, очищая от скверны, но они из-за этого лишь заходились в ещё более буйном восторге… Безумие, начинается безумие, говорил мне Иоханан, когда мы оставались одни—это случалось редко, всё время вокруг были люди, и все они говорили, говорили, кричали, требовали, хохотали, бились в корчах,—что же так медлит брат?..

Иешуа действительно медлил—как он потом сказал, все дни наперёд оказывались неблагоприятными, и он просто ждал знамения, и дождался: он и те, кто был с ним, увидели, как в небе сойки заклевали коршуна.

—Это наш день,—сказал Иешуа и повернул коня.

Я помню, когда я была маленькой и мы жили в Ламфасе, египетском городе, мы с Иешуа едва не погибли. Случилось так, что нам с ним понадобилось перейти дорогу, потому что за дорогой высилась большая куча камней, среди которых можно было найти полупрозрачные камешки с жилками и чешуйками почти настоящего золота. Мы набрали две корзинки этих камешков и пошли обратно, и у моей корзинки как раз посреди дороги оторвалась ручка. Камешки рассыпались, я начала их собирать, и тут вдруг подскочил брат, схватил меня за руку и больно дёрнул, и мы полетели в пыль и на острые камни, валявшиеся на обочине, а мимо нас пронеслась красная колесница, запряжённая четвёркой вороных. Казалось, что колесницей никто не правит и никто не сидит внутри. Она пронеслась так быстро, что нас ударило ветром и покрыло взметнувшейся пылью. Вдруг рядом оказалась мама. Вначале она бросилась к Иешуа и, упав на колени, ощупывала его и не могла поверить, что он цел, и, только поверив, дотянулась до меня—одной рукой, потому что другой она всё так же прижимала к себе моего брата.

Не подумайте, что во мне говорит зависть, или ревность, или что-то ещё хуже зависти и ревности. Просто этот случай с каких-то пор стал мне сниться. Приснился он и сегодня, и я снова ощутила себя сиротой и, проснувшись, поняла, что плачу…

Впрочем, на землю Самарии Иешуа ступил босым и в полном одиночестве. Чтобы не отвратить воодушевлённый народ, ему следовало хотя бы поначалу вести себя так, как подобает Избавителю из пророчеств. Поэтому он шёл по дороге босым, в белых льняных одеждах назира и с посохом, а войско уже давно было впереди, на просёлках, в деревнях и городах, бродило там по улицам или сидело за столами, или даже окапывало виноградники—были и такие.

Близился канун годовщины смерти царя Ирода…

Меж тем Иоханан и я—и с нами две сотни других странников—поравнялись с Иерихоном и встали ночлегом на левом берегу Иордана, намереваясь начать переправу утром. Этой дождливой зимой реки вздулись и перебраться через Иордан вплавь или вброд было немыслимо. Но как раз в этом месте имелся подвесной мост, мощный и широкий, по которому можно было не только пройти самому, но и провести в поводу коня.

Муж мой был тих, беспокоен и мрачен. Ах, Пчёлка, говорил он, безверие охватывает меня, как мёртвый зыбучий песок; когда я смотрю на этих людей, я не понимаю тщения Господня; зачем?! Зачем длить их век, наш век, позволять нам терпеть муки только для того, чтобы после терпеть муки ещё более страшные? Поневоле станешь слушать речи восточных мудрецов, которые учат, что не следует иметь привязанностей и желаний. Всё, что сделано тобой, идёт во вред тебе, а пользу пожинают лисицы и черви. Твори добро, сказано в Законе; и, творя его, ты находишь изумруд, но изрываешь для этого целое поле полбы, и там более ничто не растёт; или срубаешь фисташковое дерево, чтобы вырезать из него иглу для вышивания ковров; или поливаешь землю, и она прорастает солью. Творя толику добра, всегда производишь меру зла и долго не замечаешь этого; а когда замечаешь, тебя охватывает непомерный ужас; а потом ты привыкаешь и говоришь себе: не я сотворил этот мир. Я хочу молиться, но не молитва выходит из меня, а только говорение слов…

У него и раньше бывали такие вечера и такие дни, и я попыталась как-то его успокоить. Но он вряд ли слышал меня. Небо было больным, с багровым отсветом по краям; лишь две или три звезды осмелились оказаться на нём.

Пока ставили шатры, возжигали костры и готовили пищу, не заметили, как с севера, откуда и мы пришли, появились четыре десятка всадников с факелами, а по мосту перешли сюда также десятка

четыре пеших — с длинными свёртками на плечах. Вдруг как по команде все они эти свёртки развернули и оказались в плащах храмовой стражи и с копьями в руках.

Кто были всадники, я так и не поняла. Скорее всего, тоже стражники.

Становище наше было оцеплено мигом, начался было переполох, но тихий и робкий. Нас было больше, но оружие средь всех имели человек десять. Иоханан встал от стола, я двинулась за ним, он попытался меня отстранить, я не послушалась. В свет костров вошли несколько пеших стражников во главе с сотником. С ними был какой-то торговец, маленький, чернявый, с огромным носом. В руках он держал фонарь. Дрожа фонарём, он подошёл к Иоханану, присмотрелся, склоня голову набок, потом вернулся к сотнику.

— Да, начальник, это он. Это тот самый человек.

— Возьмите его, — скомандовал сотник стражникам.

Они двинулись к Иоханану, но тут из темноты от реки выскочил голый Нубо с бронзовым мечом и бросился на них. Произошла схватка, которую Иоханан с трудом разнял.

— Кто приказал? — задыхаясь от натуги, спросил он сотника.

Нубо с мечом нависал сзади. Стражники, каждый из которых был несколько окровавлен, держались совсем неуверенно.

— Приказ первосвященника Иосифа. Если ты Иоханан, сын Зекхарьи бен-Саддука из Ем-Риммона…

— Да, это я.

— Тебя приказано взять под стражу и с уважением доставить к первосвященнику. Он сейчас находится в Иерихоне. Причин такого приказа мне не сообщили, поэтому я ничего не могу сказать и тебе. Но если ты будешь сопротивляться, тебя можно убить за непочтительность.

— Никто не будет сопротивляться и никто не умрёт. Нубо, отдай меч Деборе. Осторожнее… Дебора. Не бойся. Скоро придёт Иешуа и всё станет на свои места, как положено по природе. Наше служение пока что окончено, возвращайся домой. Пусть Нубо будет с тобой. Заботься о нём, он пропадёт без тебя. Всё остальное ты знаешь.

Он поцеловал меня и пошёл к мосту. Я ещё видела, как на середине моста он приостановился, обнажил правое плечо и дал на него посмотреть начальнику стражников. Должно быть, тот вдруг засомневался, правильного ли человека он взял…

Потом, когда по мосту прошли все пешие всадники, а конные пропали во тьме, канаты сильно задёргались, и дощатый настил провис к самой воде. На том берегу перерубили что-то важное.

Арест, а вернее, похищение Иоханана — похищение потому, что случилось оно в Перее, земле, подвластной Антипе, а не Пилату и уж тем более не первосвященнику Иосифу по прозвищу Камень, зятю бывшего первосвященника Ханана, — вызвало немалое возмущение повсюду. Но поскольку все ожидали скорого прихода Избавителя, который и восстановит полную справедливость, с оружием в руках никто не поднялся. Роль в этом сыграли и слова самого Иоханана, сказанные им уже в Иерихоне при большом стечении самого разного народа: не копите-де в себе ненависти, избавляйтесь от грехов и томлений и с лёгкой душой прощайте друг друга; и торопитесь очиститься водой, дабы не очищаться потом в озере огненном…

Антипа пытался возмущаться, но действия первосвященника оказались поддержаны префектом Иудеи, а потому протест подлежал бы рассмотрению самим императором; однако известно было, что император совсем отошёл от государственных дел, всем ведают его старая мать Ливия и двое или трое её приближённых; а также известно, что в подобных спорах они встанут на сторону того, кто больше заплатит. Антипа явно не собирался отдавать хоть динарий за какого-то лже-Илию. А вскоре и сам первосвященник, опросив и Иоханана, и многих свидетелей, удостоверился, что Иоханан себя за Илию вовсе не выдавал; вышла неловкость, которую следовало исправить.

Всё время разбирательства — более месяца — Иоханан содержался в крепости близ Иерихона, Киприоне. Оттуда он прислал два письма. Он был уверен, что его не сразу, но обязательно отпустят.

Тем временем Иешуа пришёл в Себастию. Его подняли на руки и внесли в город, а после поставили на деревянный поддон для кирпичей и так и носили по улицам, подобно тому, как язычники носят статуи своих богов. Римские солдаты стояли на перекрёстках, но ликованию не препятствовали.

Иешуа отправил Иегуду, чтобы тот снял ему скромную комнату в небогатом доме. Так он поступал во время своих странствий по Галилее, так вёл себя и здесь. Множество людей стремились к нему, поскольку, как я уже упоминала, все верили, что он одним взглядом своим, а лучше прикосновением, излечивает от любых болезней; то же было и с Иохананом, если вы помните.

В Себастии Иешуа остановился на несколько дней, отправив вперёд себя семьдесят апостолонов. Тогда же произошла его встреча с военным трибуном Кентием (или Сентием, точно не помню). Трибун был одним из доверенных помощников Пилата и занимался, как я понимаю, тайным надзором. Он был умным и образованным человеком — но, к сожалению, век его оказался недолог, всего лишь месяц спустя его отозвали в Рим и скоро казнили; думаю, по навету Пилата, который уже тогда показал себя знатным мздоимцем, а после устранения Кентия попросту перестал знать меру и страх. Как рассказывал Иешуа, Кентий видел большую опасность в первосвященниках Ханане и Иосифе, прежнем и нынешнем; и прежний, отринутый от должности префектом Валерием Гратом за противоборство с римскими властями, до сих пор пользовался огромным авторитетом у священников, скорее прикрывался нынешним, как щитом, и за его спиной творил какие-то дела; Кентий подозревал, что зелотов вдохновляет и покрывает именно Ханан — причём самых страшных из них, самых безумных. Похоже, что Кентий намеревался разоблачить перед императором и самого Пилата, который ради своей

выгоды попустительствовал развитию страшного гнойника в самом сердце важнейшей из римских провинций, а разоблачив, поспособствовать восстановлению местной светской власти нового царя, который будет и благодарен, и любезен Риму…[4]

Но всё повернулось иначе.

Глава 24

Кажется, ровно в тот год, когда префектом Иудеи и Самарии был назначен Пилат, или же годом раньше, среди священничества Иерушалайма и Иерихона случилось большое возмущение и едва ли не раскол. Повод к нему был пустячный, но глубинные причины — чрезвычайными. Не буду углубляться в гнусные подробности, скажу лишь, что семейство Ханана, стяжав в своих руках и религиозную, и светскую власти, перестало различать казну Храма и собственный кошелёк, а главное — в повседневной жизни своей, далёкой от благочестия, почти уподобилось римлянам, а в чём-то их и превзошло. Выплеснувшийся тогда поток обличений заставил их хотя бы внешне вернуться к нормам Закона, но и самим обличителям пришлось туго, и многие блестящие учёные книжники вынуждены были либо довольствоваться провинциальными синагогами, либо отправиться в другие страны — более всего в Египет и в самый Рим. А сколько-то, самых непримиримых, предпочли участь бродячих проповедников.

Среди них был и рабби Иешуа бар-Абда, в странствиях принявший имя Иешуа бар-Абба. Прежде он служил секретарём первосвященника Иосифа. Иосиф имел прозвище Каменный, полученное им за бессердечие и неснисходительность.

Я не слышала проповедей бар-Аббы, а лишь однажды принимала его в мамином доме в Кпар-Нахуме. Это было вскоре после захвата Иоханана первосвященником и за несколько дней до того, как та же храмовая стража попыталась вблизи Александриона захватить самого Иешуа.

Отряжённых для этого стражников было немало — я слышала, что и десять тысяч. Наверное, это преувеличение, а вот не меньше пяти — близко к истине.[5] Однако им не удалось даже приблизиться к Иешуа, а увидев себя окружёнными со всех сторон, они и не пытались этого сделать. Убитыми вышло сто семнадцать человек у стражников и один у Иешуа, медник из Хадары по имени Абиаил; пленных же и обезоруженных стражников насчитали тысячу сто восемьдесят человек; позже всех отпустили, лишь срезав им бороды и волосы на голове…

Рабби бар-Абба оказался высоким и тихим человеком, очевидно стеснявшимся своего роста. Он несколько раз задевал висящий на цепочках светильник и каждый раз пугался этого. Он говорил, что в душе его живёт страх огня и пожара. Я не могу понять, как и почему перед ним замолкали тысячные толпы разнообразного люда, но я почему-то легко могу это увидеть. Он никогда не повышал голос, но все затихали, затаивали дыхание и стремились его услышать.

Мама от переживаний слегла тогда, и он зашёл, чтобы взять на себя её страдания. Он так не сказал, но я это хорошо почувствовала — насколько легче стало маме, настолько же тяжелее ему. Он старался не подавать виду…

Среди прочего говорили и о том, почему женщины ныне отодвинуты от служения Богу; мама горевала по старым временам, когда и девушка, и замужняя женщина, и вдова могли принять обет и стать назиром — на время или пожизненно; вспомнила мама и любимую свою пророчицу Хулду, за советом к которой не чинились обращаться первосвященники и цари, и других пророчиц, и цариц, посвящавших себя служению Предвечному. И тут бар-Абба удивил и маму, и меня, сказав, что он, пожалуй, более одобряет нынешние обычаи, нежели прежние, и женщина у очага или колыбели, а не у алтаря, более мила Всевышнему — равно как и священник в простом плаще и на вершине холма ближе к Нему, чем священник в истекающем зо́лотом храме, одетый в златотканые одежды и ступающий по позолоте… Служение Богу не может быть ни службой, ни ремеслом, ни промыслом, а может быть лишь биением сердца того, кто исполняет службу, творит ремесло или ведёт промысел; так плотник, с любовью спрямляющий доску, чтобы обновить истлевшую кровлю, любит Господа, а священник, равнодушно и устало закалывающий тысячного за день козлёнка, всего лишь добывает мясо к своему столу. Омывательница трупов, жалеющая всех умерших, куда благочестивее учёного асая, полагающего её навсегда нечистой и потому недостойной приближаться к нему ближе, чем на семьдесят семь шагов. И тот, кто в субботу достанет из колодца упавшую туда овцу, служит Господу, а тот, кто порицает его за это, служит демону Огиэлю, лишающему людей мудрости понимания и мудрости различения смыслов. Страх поступка туманит наш внутренний взор, а ещё более туманит его — страх утраты. Но чем мы можем владеть помимо того, что дано нам Господом? Если у нас что-то можно отнять — значит, оно нам и не нужно. Мудрость различения смыслов приводит к отваге, и мудрость понимания превосходит отвагу. Лишь страхи привязывают нас к миру и вынуждают терпеть муки и мириться с беззакониями, страхи, все как один порождённые не-мудростью. И как неимение вещей, которые можно отнять, делает нас свободными на подъём, так и неимение в душе страстей, привязанностей и надежд, которые точно так же можно отнять, делает душу лёгкой и возвышенной, открытой вере и любви. Человек и есть — любовь и свобода…

---

4. Военный трибун Марк Сентий был казнён по обвинению в шпионаже в пользу Парфии. Это обстоятельство не опровергает, конечно, версию Деборы, но существенно её дополняет.

5. Разумеется, здесь речь не идёт о настоящей храмовой страже — число их не могло превышать шестисот человек. Однако многотысячная городская стража Иерушалайма также подчинялась непосредственно первосвященнику; кроме того, по множеству косвенных данных, можно предположить, что и сам первосвященник Иосиф, и бывший первосвященник, общепризнанный религиозный лидер Ханан имели значительные «личные армии», состоящие из рабов и наёмников. Вполне возможно, что «храмовой стражей» именовались все эти вооружённые силы в совокупности.

Это его изувеченное тело я никак не могла опознать тогда на площади. А кругом бесновалась толпа.

Итак, истёк месяц пребывания Иоханана в крепости Киприон, и было похоже на то, что первосвященники, истинный и формальный, никак не могут решить, что с ним делать. Я понимаю так, что оба хотели бы его убить, но не решались этого сделать из-за опасения тех самых народных волнений, которые сами же и пытались предотвратить, арестовав Иоханана. Наконец они приняли решение: влить Иоханану медленно действующий яд, а самого его передать тетрарху Галилеи Ироду Антипе — так сказать, по принадлежности.

Антипа, как рассказывали, с самого начала хотел заполучить Иоханана в свои руки. Дело в том, что он, в отличие от первосвященников, знал, чьим на самом деле сыном является Иоханан. Как он хотел распорядиться таким узником, для меня загадка, но очевидно, что какие-то планы он строил. Однако Антипа сумел выдержать паузу и не подать виду, насколько он заинтересован в этом человеке; более того, он даже после первых писем первосвященника Иосифа ответил примерно так: вы не нашли в этом человеке вины, так отпустите его в том же месте, где взяли. И лишь через седмицу он позволил себя уговорить: ну, раз вы полагаете, что человек опасный, так уж и быть, приму его от вас…

Иоханана тайно, запутав следы, перевезли в крепость Михвара, что на самом юге Переи, на границе с Набатией. Крепость эта достойна того, чтобы о ней рассказать немного подробнее.

Воздвигнутая в неприступных горах, вдали от дорог и перевалов, она не представляет ни малейшей ценности в смысле обороны от врага. И царь Александр Яннай, воздвигший её, и царь Ирод Великий имели в виду совсем другое, а именно: они создавали для себя убежище, где можно отсидеться, малыми силами обороняясь от любого врага. Ирод, помня, что пришлось пережить его семье в Масаде, уделил Михваре очень много внимания. В сущности, это был роскошный дворец, окружённый стенами и башнями и рассчитанный на то, чтобы пятьсот человек могли провести в нём три года, не испытывая нужды ни в провианте (одних вяленых бараньих туш там было вывешено в полых башнях более десяти тысяч), ни, особенно, в воде. Подземные цистерны обиты были дубом и серебром, вода в них не портилась никогда. Сами помещения по роскоши не уступали любимому Иродом летнему дворцу вблизи Хеврона, где он и нашёл своё последнее пристанище, но не нашёл покоя. Говорят — я не видела сама, — что в год низложения Архелая множество людей захватили холм и дворец, убили всех сторожей, взломали и разгромили гробницу и на куски разбили саркофаг. Мне страшно представить, какой была судьба останков…

В обычное время гарнизон Михвары составлял около ста человек, из них только половина солдаты.

Вот туда-то и поместил Антипа моего мужа. Иоханан пользовался полной свободой внутри стен; к его услугам была прекрасная библиотека и несколько собеседников, в том числе греческий историк Диомид из Филадельфии; пять или шесть последних лет он жил при дворе Антипы, а как и за какую провинность он получил эту ссылку, я не знаю. Все они находились на положении почётных пленников, а горное расположение крепости шло на пользу здоровью.

Плохо было лишь то, что никто не знал, где находится Иоханан. Слухов ходило множество, самых ужасных. Ни один из них и близко не приближался к истине.

Я сказала «плохо»? Неправильно. Я ещё просто не знала в то время, что такое «плохо».

Хотя ворота Иерихона были распахнуты настежь, Иешуа в город не вошёл, а свернул к Иордану и остановился в роще на берегу. Маленький шатёр, который он свёрнутым сам носил за плечами, был такого же белого цвета, как и его плащ. Только две апостолы развевались поблизости, Андреаса и его брата Шимона, остальные рассеялись повсюду, по кущам и по холмам. Множество людей города бросились к шатру Иешуа, желая узнать, почему царь — уже так его называли все и никак иначе — не хочет почтить город своими стопами?

Иешуа ответил, встав перед ними, что любимый город правителя Архелая проклят и он, Иешуа, не желает ни видеть его, ни слышать о нём, ни даже знать, что он такой существует. Если же жители хотят что-то переменить, то пусть они все хотя бы год тушат по вечерам светильники в своих домах, оставляя лишь один — в память младенцев, убитых по приказу Архелая в Бет-Лехеме, в Бет-Ашереме и в Нетофу. Многие старые люди ужаснулись и даже упали на землю, и Иешуа понял, что они не знали о давнем злодеянии; но были и такие, что просто закрыли лица одеждами, повернулись и ушли; эти знали.

Что сказать? Примерно до Пасхи Иерихон был самым тёмным городом в Ойкумене, лишь по одному огоньку светилось в домах, и было странно тихо. Потом многие за делами стали забывать гасить огни. Но всё же оставались такие дома, где ежевечерними поминаниями искупали страшный грех Архелая…

Может быть, потому-то участь Иерихона оказалась не такой страшной, как участь Иерушалайма.

Я хотела рассказать об Андреасе и Шимоне, ближайших к Иешуа людях, которым он доверял как себе и о которых говорил, что Шимон — это его правая рука, а Андреас — вторая голова.

Они считались братьями и были похожи, как братья, но только внешне. Согласно записям, отцом их был некий Иона, о котором более ничего не известно. Воспитывались они поочерёдно в нескольких семьях якобы дальних родственников, которые почему-то ничего не сообщали им о родителях. А поскольку происходило это в деревне Бет-Шеда, то легко предположить, что и Андреас, и Шимон были детьми, похищенными у настоящих родителей ревнителями…

Воспитание их было беспощадно-суровым, как и у прочих детей в Бет-Шеде, и сравнить его можно,

пожалуй, только со старым спартанским. Драки между мальчиками поощрялись; слабость жестоко наказывалась. Ещё страшнее наказывалась ложь. Да, пожалуй, два основных принципа воспитания можно сформулировать так: не лгать и достигать поставленной цели всеми возможными способами.

Не вполне обычным для деревни было и образование. Помимо расхожих языков, обязательным был латинский; помимо изучения Закона, преподавали историю, философию, риторику и логику—набор наук, потребных для того, чтобы побеждать в спорах и обращать противников в сторонников, порой даже незаметно для них самих.

А потом вдруг о них почти забыли. Обучение прекратилось, наставники исчезли. Похоже, что и семьям, приютившим детей, перестали давать деньги. Это случилось в тот год, когда мы вернулись из Александрии…

Странно ли, что получившие такое воспитание мальчики сделались не кроткими пахарями и рыбаками? Кто-то пошёл в стражники, кто-то в моряки и солдаты. Были такие, кто просто бежал из дому, и следы их простыли. Андреас, Шимон и с ними ещё пятеро сделались разбойниками.

Мне про них рассказывали разное, и далеко не всему можно верить—равно как и тому, что я слышала от них самих. В первые годы они промышляли по дорогам, не брезгуя и одеждой одинокого путника. Позже интересы их перенеслись на Галилейское море. И вот почему. Море Галилейское, в которое впадает Иордан и вытекает Иордан, самой природой положено как граница. Я уже упоминала, что на Царской дороге, идущей по северному берегу его, стоит таможня, и на многие грузы, везомые из Сугуды либо из Индии в Египет, накладывается пошлина—иногда значительная. А есть грузы, которые просто не пропускаются—то же сугудское железо, к примеру. Поэтому у некоторых купцов возникает соблазн провезти груз мимо таможни, и тут прямой путь—через море. Многие жители Гиппоса или Гергезы на восточном берегу, Магдалы или Бет-Яры на западном промышляли и до сих пор промышляют таким вот незаконным перевозом. Они-то и стали постоянной и лёгкой добычей дерзких разбойников. Причём, после нескольких захватов и уводов этих лодок братьям даже не требовалось выходить в море—им заранее подносили деньги и подарки, как бы оплачивая безвозбранный перевоз. Разумеется, никто из перевозчиков не мог обратиться к властям; объединиться же им не позволяли сами братья, хитроумно сеющие вражду…

Так продолжалось довольно долго, пока среди самих главных разбойников, называвших себя «старыми рыбаками», не начался раздор. Вернее, это была череда раздоров, и чует моё сердце, что вражду кто-то старательно и аккуратно сеял—может быть, один из семёрки, а может быть, и кто-то извне. Но увы, мне слишком мало известно, чтобы попытаться вычислить виновника. Привело всё это в конце дел к распаду разбойничьего предприятия на несколько малых ватаг—и буквально тут же на место его пришли другие разбойники, на этот раз гауланиты. Перевозчики, до того пенявшие бет-шедовским «мальчикам» на излишнюю рачительность, схватились за кошели и вскричали, но крик их не был услышан. Тогда, помаявшись три года, перевозчики выкопали из-под прибрежных кряжей последние золотые, собрали депутацию и отправили её в Галилею к прежним своим обирателям с мольбой и наказом: вернуться и володеть. Депутация пошла по берегу и вскоре наткнулась на Шимона и Андреаса—они ловили рыбу с причала и спорили о «Поэтике» Аристотеля.

Здесь надо сказать, что настоящее имя Андреаса было Бохр, что значит «первенец». Греческое прозвище «Андреас» дали ему в раннем детстве за совершеннейшее бесстрашие. Это качество он сохранил на всю жизнь. В отличие от многих, желающих слыть бесстрашными, он никогда не создавал опасных ситуаций, но если они возникали сами по себе или по вине других, то здесь Неустрашимому не было равных…

Шимон-Утёс тоже был не из пугливых; просто он был гораздо сильнее Неустрашимого и несколько медленнее его.

Выслушав депутацию, Андреас похлопал брата по каменному плечу и сказал: мы берёмся. И все вместе они пошли собирать прежнюю шайку. Это почти получилось у них, разве что вместо Авиэля, который вдруг неожиданно для всех стал назиром, к ним прибился некий Маттафия, тоже вроде бы из сирот-воспитуемых, только из горной деревни Асора. Уйдя из деревни, Маттафия промышлял лавочников в небольших городах, предлагая им на выбор либо охрану их лавки, либо ночной пожар в ней. Понятно, что навыки настоящей драки у него были в состоянии зачаточном.

Довольно много времени ушло на то, чтобы из лодочников-перевозчиков создать сильную и умелую команду, готовую драться на воде. Гауланиты оказались к такому повороту событий не готовы, однако их было много. Понадобилось три настоящих морских сражения, прежде чем уцелевшие признали своё поражение и убрались подальше. Увы, когда победа была уже близка, погибли трое из бет-шедовских: Александр, Рувим и Матфат. От усталости и упоения боем они утратили бдительность, и их лодку подожгли смоляным горшком.

После того, как всё успокоилось и перевозки возобновились, последние «старые рыбаки» устроили совет. Все понимали, что теперь уверовавшие в свои силы перевозчики не потерпят над собой сторонней руки. Но как-то само собой дело образовалось: самый красивый из четвёрки, Руф, влюбился в дочь одного из наиболее уважаемых и богатых перевозчиков; вскоре сыграли свадьбу.

На вырученные деньги Шимон, Андреас и Маттафия могли позволить себе безбедную жизнь до старости. Братья купили дом в Кпар-Нахуме, Шимон вскоре женился, Маттафия же вознамерился было ехать в Александрию, но тут донёсся слух о появлении в Сидоне потаённого до времени царя иудейского…

Глава 25

Иешуа вошёл в Иерушалайм через Конские ворота, имея за собой двенадцать апостол, и ещё семьдесят

шесть остались ждать за стенами. Он шёл босиком и вёл в поводу белого мула, на котором боком сидела Мария, тоже босая, вся в белом, с пальмовой веткой в руках. Множество людей шло следом, и множество выбегало навстречу…

Храмовая площадь была запружена, как бывает только во время главных праздников, и от криков «Хошана!» обезумели и всё небо заполнили птицы. На золотую кровлю Храма птицы садиться не могли, потому что она была усеяна острыми иглами, но на галереях, заново отстроенных после страшного пожара, их гнездилось неизмеримое множество, и вот сейчас тень от крыльев застлала солнце, а перья падали, будто снег. Было ещё холодно, хотя и очень ясно. Шёл шестнадцатый день месяца перития. От ареста Иоханана прошло всего три седмицы и три дня, и он ещё сидел в Киприоне, ничего о себе вперёд не зная.

Я двигалась в толпе, как будто плыла без сил. Хвала Всевышнему, Нубо не оставлял меня, и его сил хватало на двоих. Стараясь держаться рядом со мной, шёл учитель Натаниэль бар-Толма. Теперь он тоже был апостолом, одним из самых доверенных. Иешуа поручил ему наладить отношения с молодыми священниками и левитами, причастными к недавним волнениям. Его апостола была небесно-голубого цвета с большой алой четырёхлучевой звездой.

Не знаю, волею случая ли, либо в совпадении этом содержался тонкий замысел Предвечного, но точно таким же было когда-то знамя у Шимона, самопровозглашённого царя, побочного сына Ирода. Царство его занимало Перею и часть долины Иордана, столицей же был Иерихон; и погиб Шимон в тот день, когда родилась я.

Туда, за Иордан, и отправил Иешуа бар-Толму и меня в самом начале весны. Отсутствие вестей об Иоханане тревожило и его; а попутно следовало расположить к себе тех в Перее, кто — весьма многочисленный — подвергал сомнению царственную сущность Иешуа, противопоставляя его истинному царю Шимону.

Дорога из Иерушалайма в Перею весьма живописна, особенно весной, когда цветёт всё, даже пустыня, и только белые известковые утёсы над Иорданом остаются голыми, как иссохшая древняя кость. Мы, тридцать семь человек депутации, ехали всю ночь и приблизились к долине на рассвете. Долина была заполнена синеватым туманом, и выступающие из синевы по грудь скалы сияли изнутри нежно-розовым светом, как будто были светильниками из цельных кусков каменной соли. Мы постояли, любуясь красотами, и стали медленно спускаться по петлистой дороге вниз. Бар-Толма рассказывал мне, покачиваясь рядом, что Асфальтовое озеро — это выпарки от той массы воды, что оказалась заключённой в котловине после Потопа, и что простейшими подсчётами можно установить, был ли сорокадневный дождь пресным, как все дожди, или же солёным, как океанские воды; так-де можно разрешить один из самых давних богословских споров. Мы миновали полосу тумана и окунулись в душный, влажный и неподвижный жар; всё тело тут же охватила испарина…

Нет, про путешествие моё и бар-Толмы в Перею можно рассказывать неоправданно долго, так ничего и не рассказав. Такое бывает; событий много, но все они происходят не до конца и не приводят в результате ни к чему. Мы пробыли там почти месяц и вернулись, непонятно чего добившись. У вас, эллинов, есть сказание о Сизифе, вкатывающем камень на высокую гору, и есть сказание о герое Тесее, прошедшем Лабиринт и убившем Астерия, человека-со-звезды, который жил там в полной темноте и время от времени должен был пить людскую кровь. Так вот, после этой поездки я чувствовала себя так, как будто всё это время катила камень по лабиринту, вся обратившись в слух и ожидая, что вот-вот прозвучат, приближаясь, стремительные шаги чудовища, но так ничего и не случилось — камень стесался, а я оказалась у выхода…

Я никогда, ни до, ни после, не разговаривала так много с людьми, которые мне настолько не верили и которые в чём-то мёня подозревали, но не желали мне этого сказать или хотя бы сказать, в чём суть подозрения. Я была уверена, что меня убьют просто потому, что должны, но не могут ничего объяснить.

На множестве перекрёстков, у мостов и при въездах в города в Перее сложены каменные пирамидки из четырёхсот шестидесяти шести камней каждая — по числу имени Шимон (или, как здесь произносят, Шимун). В щели между камнями вкладывают записки с просьбами и мелкие монеты. А однажды меня тайком провели в храм Шимуна.

Это сделала пожилая женщина, в доме которой я остановилась. Муж её был искалечен на войне за Шимуна и умер несколько лет назад. По её словам, все жившие здесь, в Царстве Шимуна (так до сих пор многие называли между собой все окрестные земли, принявшие его власть), знали каким-то свыше дарованным знанием, что Шимун и был настоящим обетованным царём-избавителем, мудрым, добрым и кротким, который принёс себя в жертву во имя своего народа и пал от рук римлян. После смерти он вознёсся прямо к престолу Всевышнего и смотрит оттуда на нас, и страдает, и служит заступником за всех, кто верил в него при жизни и верит ныне…

Храм располагался в старой каменоломне. Мы долго пробирались по низким переходам при свете тонкой свечи. Пол был скользок от пролитого воска.

В самом храме стояли на коленях и шептали молитвы два десятка, а может быть, и больше, мужчин и женщин, одетых в тёмные безрадостные плащи с накинутыми на головы колпаками; здесь не положено было видеть лица друг друга. За алтарём в нише угадывался трон, и на троне как будто кто-то сидел, невидимый за дымом от воскурений. Пахло оливой, можжевельником и сандалом — деревьями Шимуна. И ещё горькой полынью.

Всё было пропитано небывалой печалью.

Только эта печаль и отличала культ Шимуна от римских верований, допускающих обожествление

обычных смертных людей и поклонение их статуям. Я бы назвала всё, что происходило на моих глазах в Перее, непомерно затянувшимися похоронами. Наверное, то, что подданные Шимуна так и не увидели его тела — римляне увезли останки, и что с ними стало потом, где царь нашёл последнее упокоение, не знает никто, — и создало такую странную, почти беззаконную, форму прощания…

Да, и ещё: занавес в храме был в цветах знамени Шимуна, небесно-голубой с алой звездой о четырёх лучах. Нижний луч, самый длинный, почти касался земли.

Есть ли в этом связь и единство с тем знаком, который отметил наше жилище в Канопе? Или же знаков мало, и здесь мы видим простое совпадение?

Не знаю и никогда не узнаю…

Иешуа остановился в доме на углу Гончарной и Кожевенной улиц в Нижнем городе; дом принадлежал вдове и сыну умершего в прошлом году мастера-пергаментщика Аспрената, Мирьям и Иоханану; сын в эти дни учился кузнечному ремеслу в Антиохии и вернулся лишь через два с половиной месяца. Аспренат и Мирьям, римлянин и еврейка, были, как я позже узнала, такими же тайными доверенными людьми Оронта, как и мои родители или же тётя Элишбет и дядя Зекхарья.

Дом этот, весь целиком построенный из камня и кирпича, казался велик снаружи, но при этом был странно тесен и неудобен внутри, и только дворик с ветвистыми деревьями и кустами роз как-то примирял всех с чрезмерным множеством неудобств. Зато перед домом имелась небольшая площадь, поднимающаяся широкими ступенями к переулку, выводящему на Сионскую дорогу; на ступенях этих в дни праздников размещались музыканты и танцоры, а также торговцы со своими лотками.

Из окон второго этажа виден был дворец Ирода — плоские белые крыши поверх аккуратных и таких же плоских древесных крон.

Я не могу сказать, что Иешуа вдруг стал недоступен для меня. Нет, это не так. Но он сделался совсем закрыт — как будто мучился внутри себя страшной мукой и никого не желал впускать. А может быть, это я, охваченная своими тревогами, запирающими сердце, не слишком стремилась к нему достучаться…

С первых же часов дом наполнился чужими людьми и переплетающимися разговорами, которые немедленно съедали способность хоть что-то понимать. Уже потом до меня дошло, как чувствует себя Предвечный, пытаясь разобраться в том невозможном гвалте, который доносится до него снизу. Спасибо Утёсу: он, как утёсу и подобает, стоял нерушимо и в конце концов смог перегородить этот поток, оставив узкую щель.

Иешуа рассказывал, что как-то в Самарии, по пути в Иерушалайм, он остановился на постоялом дворе — и люди из окрестных деревень бросились туда, к нему, поближе, чтобы прикоснуться и излечиться наконец от истинных и от вымышленных хворей; утомившись, он заперся, но они разобрали крышу и проникли сверху, и пришлось «лечить». Он рассказывал очень смешно, но глаза у него были грустные и немного испуганные. Что-то подобное повторялось и здесь. Но здесь у него всё-таки начинало получаться. Здесь у него были помощники.

Меня много раз спрашивали: а в чём состояла власть Иешуа, ведь он так и не был коронован, у него не было золота и воинов (ну, воины-то как раз были, другое дело, что он никогда не прибегал к силе по-настоящему) — в общем, не было ничего, чем правят. Тем не менее он действительно правил, он царил и властвовал, и по слову его творилось всё вокруг. И я не всегда находила правильные слова, чтобы ответить.

Я и сейчас не могу их найти.

Если быть очень точной, то придётся сказать, что спрашивали меня, имея в виду какую-то совершенно благостную картину всеобщего добровольного подчинения, тогда как на самом деле ничего благостного не было. Да, в первые дни мы окунулись во всеобщее ликование, но тут же наступили будни, и сразу проявилась оборотная сторона ликования, а именно — непомерная требовательность. От Иешуа хотели всего и сразу, хотели чудес. Чудес же он дать не мог…

Вторая проблема, с которой пришлось столкнуться тут же, это враждебное отношение со стороны части священников. Здесь, боюсь, мне придётся опять отвлечься от череды событий, потому что иначе не понять будет ни этой вражды, ни всех последующих событий. Отчасти я уже рассказала о верованиях евреев, о невидимом и неведомом боге, которому они поклоняются, о различных религиозных школах и об огромной власти священников. Однако необходимо добавить ещё вот что: после прихода римлян еврейские верования, оставаясь прежними в образах и речах, начали стремительно меняться по существу. Всё больший вес приобретали не сами писаные тексты Книги, а их толкования теми или иными учителями веры, поиски скрытых смыслов и тайных посланий. Доходило до того, что некоторые учителя проповедовали в состоянии исступления, в которое вгоняли себя различными отварами из трав и воскурениями из грибов; то же и пророки, которых явилось множество. Манерой этой они заразились в Бабилоне, но долгое время она осуждалась и существовала подспудно; теперь же — торжествовала. Говорят, это связано с деяниями рабби Хиллеля Бабилонянина, бывшего при Ироде и Архелае начальником синедриона — он-де покровительствовал подобным извращениям Закона, поскольку и сам проникнут был духом тайного бабилонского язычества. Не знаю, не могу судить, вина это его или грех оплошности — но да, именно при нём прежде суровая вера (дух которой пытались, но не сумели сохранить саддукеи) напиталась площадным фокусничеством, многозначительными намёками, туманными мечтами, суевериями — и нервным ожиданием незначительных чудес. Муж мой за время обучения в асайской школе (а асаи при всей их, казалось бы, праведности и приверженности традициям без должных снадобий колен

не преклоняли) проникся отвращением к этой практике и передал его и мне, и отчасти Иешуа.

Но кроме вопросов именно веры, изменялись, и подчас весьма резко и не всегда обоснованно, толкования Закона относительно личной жизни, разного рода отчислений, налогов и пошлин, браков и разводов, факта и состава преступлений, определения вины, возмещения урона и наказания преступника. Я упоминала, кажется, что жители Иудеи и в меньшей степени Самарии были возмущены деяниями первосвященника Иосифа Каменного и его тестя Ханана? Так вот, если при Ироде все отчисления с человека не могли превышать одной десятой его доходов и во многих случаях были меньше, то теперь нормой была треть, а с некоторых бедных брали более половины. Храм при Пилате—после злополучного восстания рекрутов—стал единственным откупщиком на территории провинции, и его мытари отлично знали меру, но не знали пощады…[6]

При этом Ирод выстроил город и практически заново возвёл Храм; эти же лишь восстановили сгоревшие галереи, а про строительство нового водопровода я недавно рассказала. Зато пышность дворца первосвященника превосходила все возможности любой человеческой фантазии. Размерами не уступавший дворцу Антипы, он расположен был близко к простому народу, в Нижнем городе, рядом со старым водопроводом, из которого питались фонтаны, бассейны и купели этого дворца (на что уходило две трети воды, и лишь треть поступала остальным жителям), и имел весьма скромную приёмную, куда допускались посторонние. Все же остальные помещения утопали в роскоши, отделанные панелями из благоуханного розового дерева, золота и слоновой кости, полы были из бесценных мозаик, потолки затянуты шёлком и виссоном. Повсюду струилась вода, свисали ветви и стебли неведомых растений, в огромных вольерах пели птицы. Нет, даже я, видев всё это, не нахожу достойных образов для повествования. Роскошь бесстыдная, выпирающая из всех щелей. Местами было красиво, местами безобразно; некоторые залы напоминали пещеру разбойников, в которой грудами свалено награбленное. Угощение же было ещё более роскошным и ещё менее описуемым, потому что названий многих яств я не знала в тот день и никогда более ни с чем подобным не встречалась.

Впрочем, я и не попробовала ничего: вслед за братом я попросила простой воды, ячменной каши и овечьего сыра…

Ну и, возвращаясь к якобы всеобщему добровольному подчинению. Нет, всеобщим добровольным оно не было. Большинство—да, большинство приникло к Иешуа радостно и охотно; но было немало и тех, кто отказывался признавать его как нового царя, решающего всё в городе и стране. Довольно скоро стало понятно, что среди этих людей немало не только честных упрямцев, но и тех, кто, так или иначе, примыкал к городским разбойникам, предводимым бывшим стражницким начальником Архелая эдомитянином Касом, и другим разбойникам, обложившим данью языческие кварталы и зерновые рынки, что по Иоппийской дороге. Близость легионерского лагеря их как-то не особенно смущала.

Когда стало понятно, что добрые разговоры ни к чему не приведут, в дело пошли апостолоны Сыновей Грома и Неустрашимого. Касу удалось бежать в Эдом, но вся его шайка была разгромлена—днём и при полном попустительстве городской стражи. Потом, ночь за ночью, разбившись на пентоны, воины обшаривали те дома, дворы, лавки, притоны и даже общественные здания, где могли укрываться разбойники. Буквально за десять дней было покончено с разветвлённой шайкой Каса, и это так напугало прочих, что они и думать забыли про свои разбойничьи дела и про нашёптывания на углах и на рынках.

Тех же, чьё неприятие царя объяснялось лишь упрямством или послушанием священникам, Иешуа трогать запретил. С Храмом следовало разбираться медленно и аккуратно.

Пока же он готовился к свадьбе…

Глава 26

Я знаю, что мама скрепя сердце дала согласие на этот брак, и то же самое Ханна, мать Марии. Они как чувствовали, что счастья это не принесёт; и в то же время знали, что воспрепятствовать не смогут.

Марии никто не мог воспрепятствовать.

Ладно, я расскажу. Я не хотела, но почему-то без этой истории я не могу писать дальше. Может быть, после я просто выброшу эти листки.

Это случилось примерно через год после попытки Марии убить себя. Через год с четвертью. Иешуа тогда уехал в Рафану за скобами и гвоздями, везти оттуда их было дешевле, чем заказывать дома или в Сирии. В дороге его укусила змея. Но поскольку эта же змея перед тем укусила верблюда, Иешуа досталось уже не так много яда и он остался жив. Нога его, однако, распухла, стала синюшно-багровой, и караванщик, знавший толк в змеиных укусах, разрезал вены в нескольких местах, чтобы выпустить мёртвую кровь. Она выдавливалась чёрными сгустками.

Иешуа оставили в какой-то деревне, в доброй семье, и там он лежал и медленно поправлялся. Однажды, когда он ещё не мог ходить и чувствовал себя прескверно, мимо проходил встречный караван—в Тир и Сидон. Не подумав о последствиях, Иешуа в жару и лихорадке написал письмо Марии; это письмо долго хранилось у неё, но я его не читала. Получив письмо, Мария сорвалась с места; со своим рабом-лекарем она примчалась в деревню—Иешуа всё ещё не мог подняться, хотя уже начал есть жидкую кашу. Несколько дней она

6. Налоговая система во времена Пилата и Ханана была нарочито сложна и запутанна. Казалось бы, со взрослого мужчины-налогоплательщика Законом положено было взимать лишь два обязательных налога: на Рим в размере 1 динария в год и на Храм в размере 0,5 шекеля серебра, т. е. примерно 2 динария. Однако число косвенных налогов, пошлин и обязательных платежей превышало три сотни, и разобраться в них мог только специально обученный чиновник.

ухаживала за ним там, в деревне, а потом привезла его ко мне. И я пустила их в дом и никому не говорила об этом. Половину месяца они тайно прожили под моим кровом…

Потом я рассказала Ханне. И мы почему-то плакали друг у дружки на плече, как будто прозревали страшное будущее.

На второй день после вступления в Иерушалайм Иешуа, Мария, несколько апостолов, бар-Абба и я вошли в Храм и молились там, и принесли жертвы. Там снова кричали «Хошана! Хошана!» и обступали Иешуа, и не давали пройти.

— Почему ты не хочешь молиться в Царском портике?— спросил его какой-то сострадательный человек.

— Вы — моё царство,— ответил Иешуа.

Тоска и тревога сжигали меня заживо… Посланные лазутчики вернулись не все, но те, кто вернулся, не принесли ничего обнадёживающего. Три разные истории рассказали мне, и все они кончались смертью Иоханана. Я уже точно знала, через подкупленных рабов, что Иоханан побывал в руках первосвященника, но что было дальше? Дальше была неизвестность. Я не верила в смерть его ещё и потому, что была уверена: кто бы ни удерживал его, не станет убивать столь ценного пленника. Я даже не очень понимала и не вполне понимаю сейчас: почему Иосиф Каменный отпустил его от себя? Приходит в голову только одно: опасался непредвиденных последствий. Так лис, схвативший пастью ежа, не отпускает его сразу, а ищет в растерянности, куда бы поместить такую неудобную добычу. Так человек, вынувший, чтобы зажечь светильник, слишком жаркий уголёк из жаровни, роняет его с ладони на ладонь и после не кидает на пол, а поскорее перебрасывает товарищу…

Но общее понимание никогда не спасает, когда ты просто ничего не знаешь о близких людях, которые были, были — и вдруг пропали.

Я знаю, что Иешуа писал, и не один раз, Антипе, прося его как родича помочь в поисках Иоханана; тщетно; Антипа пылко обещал сделать всё, что от него зависит, и даже сверх того, но теперь-то я знаю, что он бесстыдно лгал. Однако тогда ни я, ни Иешуа не имели повода заподозрить его во лжи.

Многих узников, осуждённых за преступления против Храма и Закона, выпустил в те дни Иешуа, открыв тюремные двери; никто и не пытался ему помешать. Но Йоханана не было среди освобождённых…

И, не мешкая, Иешуа продолжал изменять жизнь в Иерушалайме. Он отменил незаконный подённый сбор с уличных торговцев и заодно разрешил им занимать ту часть улиц и площадей, где они не мешают хождению. Цены заметно упали, что не понравилось некоторым лавочникам, особенно богатым, имеющим по десять и более лавок. Они отправились жаловаться Иосифу Каменному, и тот прислал людей к Иешуа, приглашая его на вечер. Иосиф, разумеется, хотел договориться о разделе влияния, поскольку понимал уже, что за Иешуа стоит немалая сила.

С Иешуа была я, был Иегуда бен-Шимон, и был Утёс — для вящей солидности. Сначала разговор шёл спокойно и обстоятельно, и могло показаться, что Иешуа едва ли не поддерживает Иосифа, когда тот повествовал о разделении людей на пастырей и стадо. Потом стали подавать блюда, и вот тут-то Иешуа попросил себе воды, каши и сыра. Плох тот пастырь, сказал он, который не состригает шерсть, а снимает всю шкуру, ибо не будет второго стада у него, а псы его обратятся в волков. И плох тот предстоятель пред Господом, который полагает себя выше нищего, покрытого коростой, ибо он обременён богатством, о котором все его помыслы, а отнюдь не о Боге. И Храм, который девять лет строили и сорок лет украшали, рухнет за три дня, ежели будет и впредь оставаться домом менял и двором мытарей… Он говорил это спокойно и страшно, и даже я сжалась в комок, сидя рядом с ним.

На следующий день Иешуа собрал старейшин всех торговых и ремесленных обществ и сказал, что отныне они сами вправе собирать среди своих римскую подать, храмовую десятину и городские пошлины, и сами разносить их по адресам — ибо только так можно справиться с златолюбством сильных и избежать злоупотреблений нанятых мытарей и продажных табулариев, которые все сущие разбойники.

Старейшинам даны были бронзовые таблички с должными словами, выбитыми с обеих сторон, и обещана охрана и защита. Им же он объявил, что суды по налоговым и торговым тяжбам отныне будут бесплатными; а завтра же по обществам следует провести выборы народных заступников, которые смогут свидетельствовать даже за самых малых и бессредственных против богатых и сильных. Этим же днём он объявил, что каждому крупному землевладельцу предписывается в обязательном порядке кормить своих арендаторов и работников во времена голода; если же он этого не делает, то земли у него отымут. Это был грозный выпад в сторону Храма, владевшего едва ли не половиной плодородных земель в Иудее и Галилее, и многих богатых римлян, живущих далеко и только пожинающих плоды угодий своих хозяйственных вилл[7]. Что римляне, что священники — все были одинаково скупы и безжалостны.

Впрочем, вопрос о деньгах на царство не был так прост, как Иешуа хотел бы показать. Многие из тех, кто давал ему деньги в начале его пути, рассчитывали получить обратно что-то существеннее денег, и кто-то из них начинал проявлять нетерпение. С ними дело имели Филарет и Иегуда бен-Шимон, действующие от лица Иешуа. После Филарет рассказывал мне, что Иешуа требовал от них одного: как можно сильнее тянуть время

7. Villa agrarica — крупное сельскохозяйственное предприятие, плантация. На территории провинции Палестина, т. е. Иудеи и Самарии, такая форма хозяйствования развивалась очень интенсивно вплоть до восстания бар-Кохбы. Крестьяне во множестве разорялись и шли в батраки или же продавали себя в рабство.

и либо обещать многое в будущем, либо предлагать унизительно малое сейчас. Во-первых, Иешуа пока лишь провозглашённый царь, а отнюдь не помазанник, и во-вторых, он всё равно не сможет сделать ничего серьёзного, пока не назовёт в Храме нового первосвященника, с которым будет заодно.

И как-то само собой подразумевалось, что следующим первосвященником будет Иоханан бар-Зекхарья по прозвищу Исправитель, которого пока что не могут найти, но человек ведь не иголка и рано или поздно — ну, может быть, через месяц…

Меж тем по городам поставлены были особые ящики во многих местах, куда можно было просто бросить монетку на царство, и об этом гласила надпись над ящиком. Когда после первой седмицы ящики вскрыли, по всей земле оказалось в них триста с небольшим шекелей серебра и примерно равное по стоимости количество латунных монет; люди, как обычно, посчитали, что облегчение их жизни произошло само собой, тогда как в любом ухудшении всегда виновна власть. Иешуа расстроился, но виду не подал. Ящики вернулись на свои места, только теперь они предназначены были для советов царю. Можно было дать любой совет и внести любое предложение, предварительно заплатив за кусочек особого папируса два динария. Одновременно с этим по всем городам организована была лотерея, где предполагался как огромный выигрыш, и не обязательно денежный, так и крупный проигрыш; идею её подсказал Филарет, знавший, что такое используют в Бабилонии, когда нужно быстро собрать средства на какое-нибудь благое дело; и это сработало, лотерея имела просто невероятный успех. За одну седмицу казна, которой ведал Иегуда, пополнилась почти двумя миллионами динариев.

Впрочем, деньги и уходили стремительно…

Ежедневно Иешуа три или четыре часа высиживал в судах, которые происходили на площади вблизи Сионских ворот, откуда недавно убрали торговые ряды. По закону, судьёй мог быть любой человек, к которому спорящие обращались за разрешением их спора. Поначалу места этих собраний — а послушать суд Иешуа приходило много сотен людей, и площади всегда было мало, — оцепляли римские солдаты и храмовые стражники; но вскоре солдаты перестали появляться.

Иешуа судил просто: по справедливости и по тем толкованиям законов, что были в старых книгах. Он никого никогда не приговаривал к увечью, что было распространено в других судах, сказав однажды, что «око за око» — это значит, что причинивший зло должен предоставить раба-поводыря потерпевшему, и «зуб за зуб» — купить ему молодую рабыню, которая станет пережёвывать пищу; ибо всё остальное — бессмысленно и богопротивно.

По дороге от дома Марии к судной площади он проходил по городу и много разговаривал с людьми, но там не принимал от них прошений и просьб, говоря, что для этого у него есть помощники, более сведущие, чем он сам…

Одним из этих помощников была я.

Глава 27

Не самое, наверное, интересное — читать рассказ о повседневной работе, тем более что работа эта связана с разбором бесконечных однообразнейших женских жалоб на мужей, отцов и братьев. Я пошла на это потому лишь, что рассчитывала из разговоров и из новых знакомств выцедить хоть какие-то крохи знаний о том, где может находиться Иоханан, какова его судьба.

Женщины знают даже больше, чем рабы. Но увы…

Когда я отчаялась добиться чего-то в Ерушалайме, я попросилась у Иешуа поехать с той же целью в Иерихон и в Перею.

Он согласился, но попросил меня прежде сопроводить Оронта в недолгой поездке — два или три дня — по нескольким селениям южнее Иерихона; там-де может таиться и вызревать угроза для всего царства.

Я буду расспрашивать всех о моём пропавшем муже, Оронт — прислушиваться и понимать.

О так называемых Дамасских землях, лежащих от впадения Иордана в Асфальтовое озеро и дальше, до Вади Мураббахат по западному берегу озера и почти до наббатийской границы по восточному, знают все, но знают очень мало. Это почти край мира, забытый угол. Когда-то там обосновались первые асаи, распахивающие под поля многочисленные террасы; на своих мозолистых спинах они перенесли наверх неисчислимое количество плодородного иорданского ила. На самых узких террасах или в расщелинах они выращивали оливковые деревья; на склонах, поросших густым кустарником и колючками, паслись козы.

Другая жизнь здесь началась во времена Александра Янная, когда среди скал обнаружились гематитовые пласты, и вскоре благодаря сугудским, наббатийским и тейманским мастерам эта область стала одним из центров железоделанья. Говорят, в лучшие времена здесь пылало до ста горнов. Говорят же, что именно здесь широко применялось производство клинков из скрученных разнородных полос; в большом же Дамаске таких никогда не делали, потому что их дешёвое железо не приспособлено для подобной ковки.

Ирод благосклонно относился к асаям, как и к прочим разноверам; однако те, внимая своим пророкам, постепенно отстроили старые крепости в теснинах, ковали оружие и тренировали бойцов; я знаю, что Иешуа для подготовки своих панкратиоников использовал кое-что и из воинских практик асаев; но те тренировались многие годы, оттачивая своё искусство, у Иешуа времени было значительно меньше.

Потом говорили, что асаи в большинстве своём смешались с зелотами, и «праведные» асаев сделались начальниками ревнителей. Да, на мой взгляд, так или примерно, в конце концов, всё и произошло; другое дело, что сам процесс был долгим и запутанным и напоминал скорее борьбу двух змей, каждая из которых вцепилась в хвост другой и медленно его заглатывала.

Во времена после смерти Ирода, при царе-избавителе Шимоне, Дамасские земли приняли немало беженцев. Хотя, как я уже упоминала, это были годы, в которые медленно и неотвратимо менялась погода, и не в сторону улучшения — как раз там, в устье Иордана, условия жизни даже немного улучшались. Во всяком случае, ожили многие источники, и ручьи, прежде бежавшие лишь в отдельные зимние дни, журчали в камнях и летом. Связано это, может быть, ещё и с тем, что к тому времени леса на плоскогорьях, сведённые при Александре Яннае и пережжённые в уголь для горнов, вновь восстановились, пусть и частично, пусть и другие. Теперь это были рощи низкорослых чёрнолистых дубков, а также дикого граната; на тенистых склонах всё затягивала непроходимая заросль какой-то особенной сосны, похожей, скорее, на кустарник, и терновника. Новопоселенцы расчищали эти склоны, выгрызая для себя крошечные пашни и огороды; я очень удивилась, когда узнала, что с террасы пять на пятьдесят шагов может кормиться целая семья. Но это требовало, конечно, колоссального труда…

Шимона в Дамасских землях почитали не менее чем в прежнем его царстве, а может, и даже более, учитывая особую набожность асаев и тех, кто к ним прислонялся душой. Иначе, как Шимон-Помазанник, его не называли, и несколько раз я слышала: Помазанник Божий. И меня под большим секретом спрашивали: а не есть ли Иешуа воскресший Шимон? И нет ли у него отметок на теле, как то: незагорающего пятна на левом плече; и другого пятна, тёмного и поросшего волосами, на правом бедре повыше сустава, размером со сливу? И не сросшиеся ли пальцы у него на ногах, второй и третий?..

Не знаю, удалось ли мне скрыть ошеломление. Надеюсь, что удалось.

Мы въезжали в Дамаск ранним утром, а покидали его через трое суток поздним вечером, дабы ехать по ночной прохладе. Огромная луна висела среди неба, друг путников. Мы — это я, Нубо, Оронт, Неустрашимый и пять его панкратиоников, и ещё один апостол, рав Ездра по прозвищу Свиток; Неустрашимый считался самым главным из нас. Он должен был заручиться поддержкой «праведных» Дамаска, которые до сих пор вели себя так, как будто ничего не происходит.

Последующие события показали, что мы ничего не понимали в ситуации. Вернее, ситуация напоминала ярмарочный горшок с подарками, куда можно сунуть руку и вытащить или пирожок, или скорпиона, или что-то ещё. И никогда не знаешь, что вынешь, сколь бы ты ни был умён и сведущ…

Крепость в дельте Иордана, над старой содомской дорогой, носила много имён: Дамаска, Кумран, Зегеда, как-то ещё — и была построена в незапамятные времена, взята и разрушена бен-Нуном, после чего то восстанавливалась, то забрасывалась, поскольку, с одной стороны, совершенно не нужна была в этом месте, а с другой — расположение её было чрезвычайно удачным… если бы требовалось оборонять земли вокруг Асфальтового озера от вторжения с севера. В конце концов Зегеда и окружающие поселения сделались чем-то вроде передового поста, который не предполагалось всерьёз защищать, перед цепочкой действительно мощных крепостей, прикрывающих все земли царства от вторжения с востока и юго-востока.

Гора, на которой воздвигнута была эта крепость, имела вид трёхуступчатой пирамиды; даже сама по себе, без стен и валов, гора эта казалась почти неприступной. Чтобы подняться на первый уступ, где располагалась часть построек, требовалось пройти по цепочке лестниц, часть из которых могла быть в любой момент сброшена. Подняться с первого на второй уступ, где было основное жильё многочисленного населения крепости, можно было только по узким тоннелям, в потолках которых зияли отверстия и колодцы, через которые сверху можно было метать стрелы, лить кипяток или даже горящее масло. Так же или ещё более трудно было подобраться к крепости со стороны плоскогорья…

У подножия горы вдоль дороги также притулилось множество домиков, а также раскинулся рынок, во время нашего приезда почти пустой. Говорили, что главным товаром на этом рынке бывают дрова и невольники, но и для того, и для другого сейчас не сезон.

Между прочим, я там купила для Нубо прекрасной выделки железный клинок, который совсем не ржавел, а лишь темнел от времени.

Люди относились к нам с неприятной опаской. У них уже был в прошлом свой Помазанник, и они либо не хотели второго, либо опасались, что этот второй будет неправильным.

Ибо было пророчество, что за Помазанником, павшим от меча, придёт другой, который сам будет как разящий меч; и никто не избегнет гнева его, и брат пойдёт на брата, а сын на отца; и падут крепости и царства, и неправедных будет горька участь, а праведным лучше бы и вовсе не родиться. Волки будут выть в городах, а реки потекут кровью…

Мы отправились в обратный путь в Иерушалайм, когда крепость уже была объята тьмой, и лишь белые утёсы на другой стороне долины дарили нам свет — они, да ещё огненная полоса низких облаков у края неба; возможно, со стороны Сирийской пустыни надвигалась буря. Но в любом случае следовало спешить: Оронт узнал что-то важное, и это важное следовало доставить Иешуа незамедлительно.

Каюсь: то, что происходило в те дни вокруг меня, казалось мне малозначимым и почти ненастоящим. Исчезновение Иоханана занимало всё моё существо; я, не отдавая себе в том отчёта, пыталась повторить его путь, хотя и знала умом, что такое невозможно. Но ведь есть свидетели и участники, рабы и солдаты, писцы и стражники — и среди них есть те, кто за полсотни драхм шепнёт, намекнёт, даст понять…

Почему-то я знала, что Иоханан жив. Впрочем, я, кажется, уже говорила об этом. Да, я знала, я была уверена, что он жив, но точно так же твёрдо я знала, что жив он до срока или до знака. И тот,

кто его держит над смертью, в любой момент разожмёт руку.

Так вот, из-за охватившего меня недуга, который эллины зовут мономанией, я почти ничего не замечала вокруг, а из замеченного не понимала всего, что прямо не касалось бы судьбы Иоханана. Я хватала события и людей, подносила их поближе к своим близоруким глазам, понимала, что искомого нет, отбрасывала — и тут же забывала всё увиденное, и тянулась за следующей горстью…

Поэтому теперь мне приходится не только вспоминать былое, но — вспоминать нарочито забытое, отринутое за ненадобностью. Увы, это получается не всегда, а главное, события эти часто не сцеплены между собою, а иногда друг другу противоречат.

Но, может быть, в этом их особая ценность? Они лежали забытыми, не использовались, а значит, сохранились в первозданности? Мало кто знает, до какой степени искажаются наши воспоминания, когда мы к ним обращаемся часто — а уж когда начинаем ими делиться с другими…

Поэтому я и сдерживалась до последнего.

Сегодня я упала. Наверное, талые воды подточили камень на дорожке, и он покачнулся под моей ногой. Я шла от хлева, где ночуют козы. В отличие от многих эллинов, я не могу жить в одном доме с козами и собаками. Моя собака живёт под домом, а козы в хлеву, позади дома. Я знаю, что так холоднее, а блох всё равно столько же.

Итак, я упала, разбила кувшин и разлила молоко. Но не это плохо, а плохо то, что я скатилась по склону, по колючкам и острым камням, и долго не могла встать. Слава Всевышнему, кости мои всё ещё достаточно крепки, но суставы лучше бы не трогать, и лучше бы не трогать спину. Сколько часов я карабкалась обратно, не знаю. Солнце зашло, и луна погасла. Моя собака, Серый бок, пыталась мне помочь, но она такая же старая, как я — днём спит на солнцепёке, а ночью ворчит и лает на призраков. Но мы всё-таки кое-как добрались до дома, и тут уже я, собравшись с какими-то ошмётками сил, разбудила огонь в очаге и повесила греться котелок, побросав в холодную воду размельчённую ивовую кору, шалфей, полынь, шишечки змеиного хмеля, сухой перемолотый зелёный мак и последний комок живицы бальзамной сосны. Этот отвар на первое время снимет боль, а завтра надо будет готовить мази и притирания…

Нет, я не умерла, хотя и душой подготовилась к этому. Наверное, незавершение начатого дела всё ещё держит меня в мире живых. Но я поняла, что это падение — знак свыше. Это то же самое, что было с раббуни Шаулом. Я с ходу, не дав себе труда сравнить и сопоставить, плохо подумала о человеке, который мало что такого не заслуживал, а напротив — жизнь положил за других, куда менее достойных, чем он. Я уподобилась толпе, которая всегда и сразу верит лишь простому и скверному.

Увы, в размышлениях своих я забежала далеко вперёд повествования. Мне придётся рассказать ещё немало второстепенного, прежде чем удастся перейти к главному.

Глава 28

Рабби Ахав говорил в числе прочего, что жизнь труднее всего удержать в нормальном течении; стоит на миг отвлечься, и она норовит скатиться либо к предельному упрощению, либо к немыслимой сложности и запутанности; и то, и другое порочно, поскольку отвлекает нас от спокойного наслаждения совершенствами Божиего мира.

Оронт же говорил, что, когда ситуация становится слишком сложной и ты понимаешь, что вот-вот потеряешь управление реальностями, сделай её ещё сложнее и отойди, передай инициативу противнику — пусть он безнадёжно разбирается со всем и всеми и терпит поражение…

Итак, Оронт выяснил следующее: верховные праведные асаев, несколько начальников ревнителей, высокопоставленные фарисеи, духовно близкие к осквернителям Храма Маттафии бен-Маргалафу и Иегуде бен-Сарафу, намерены встретиться через несколько дней в Иерушалайме и основать так называемый «кровавый синедрион», тайное беззаконное собрание, которое будет собираться ночами и карать «людей погибели» и «отступников». Поскольку «людьми погибели» асаи называли всех неасаев, а ревнители полагали отступниками всех неревнителей, то Оронт поначалу был уверен, что они передерутся между собой, а уж потом те, кто останется в живых, будут решать за всех.

Первым же, кого «кровавый синедрион» намерен был вызвать на свой круг, был Иешуа, и вопрос был бы ему задан один: ты царь или не царь? И если ты царь, то поднимай народ и веди его против завоевателей, против язычников и инородцев, режь, жги и порабощай — короче, делай то, что тебе заповедано пророками. А раз ты этого не делаешь, то царь ли ты?..

Я узнала обо всём этом позже, когда вернулась из Переи — как уже говорила, ни с чем. Потом, задним числом, разбирая бессмысленно все свои промахи, я поняла, что мне не хватило лишь малой толики удачи, поменяйся последовательность двух разговоров, и я бы всё узнала, потому что получила бы пищу для нужных вопросов… и ещё мне не хватило гибкости ума: уловить связь между событиями вроде как посторонними, но косвенно связанными с Михварой… однако нет смысла об этом рассказывать, бередя давно зажившее. Я даже думаю, а не подарила ли я тогда своей непроницательностью полгода жизни Иоханану? А не убили бы они его сразу, как только стало бы ясно, что тайны его заключения уже нет? Может быть. Не знаю…

В тот день, когда «кровавый синедрион» готов был собраться, чтобы сотворить суд и расправу, Оронт усложнил ситуацию — да так, что все злоумышленники застыли, как жёны праведника Лота, и долго стояли в неудобных позах.

Было назначено обручение Иешуа и Марии. Среди приглашённых был и Иосиф Каменный, первосвященник, и префект Понтий Пилат,

имножество другого люда, богатого и знатного. Приехавшая накануне мама говорила потом, что разом вспомнила все храмовые уроки поведения, казалось бы, забытые с детства…

Торжество происходило в просторном доме друга Филарета, Иосифа ха-Рамафема, человека богатого и достойного во множестве других отношений. Он был родом из Самарии, и там ещё жили его родители, которым он щедро помогал. Богатство своё он составил на торговле тканями, нитями и швейными иглами. Побывавший в самых далёких и неожиданных местах Ойкумены, он ещё более проникся мудростью Закона и помогал многим ученикам из бедных семей получать образование в столичных школах. Дом его, стоящий на высоком откосе, выходил окнами одновременно на Храм — и на театр…

Был приглашён и Ирод Антипа — благо, что жил он в это время в Иерушалайме, а дворец его находился в четверти часа дороги. Однако он прислал лишь слугу, который передал подарок и извинения: тетрарх нездоров. Впрочем, все знали подлинные причины его отсутствия, и мало кто жалел о том, что Антипы здесь нет. По-моему, он оказался единственным из Иродиадов, кого возраст не облагородил — уже тогда, в пятьдесят лет, Антипа производил какое-то сатирообразное впечатление: ещё не внешностью, но уже манерами. Потом добавилась и внешность.

Надо уточнить, что сам обряд обручения, скромный и короткий, произвёл бар-Абба, и присутствовало при этом, за исключением жениха с невестой и их матерей, человек пять-шесть — самые близкие друзья. Уже потом, на пир, собрались высокие и знатные. Мама говорила, что Пилат ей даже понравился: крупный и грузный, он двигался легко и свободно, и лицо его, от природы квадратное и малоподвижное, тем не менее случалось выразительным и ироничным; удивляли глаза, очень светлые, серо-голубые, насмешливые. Он бегло говорил по-гречески, и хотя знал, похоже, не очень много слов, распоряжался теми, которые знал, умело и ловко; и если у него всё же получались неуклюжие фразы, он первым смеялся над ними. Он сказал, что единственная черта, которой он в евреях не переносит, — это их либо невыносимая серьёзность, либо безудержное глумление, а третьего не дано. Он же, Пилат, повидавший многое и многих, просто не в состоянии относиться ни к жизни, ни к смерти иначе, как с лёгкой насмешкой. Жена его, Камилла, была женщиной эффектной, но всегда несколько отстранённой в силу своеобразной религиозности: будучи римлянкой-язычницей, она как данность принимала самые разнообразные тайные учения всех известных народов, рассуждая примерно так: жрецы и священники разыгрывают спектакли для непосвящённых зрителей, главное же таинство всегда происходит за плотно закрытыми дверями. В щёлочку в этих дверях она и пыталась заглянуть хоть одним глазом. Она постоянно была окружена какими-то проповедниками, учителями иных толков, просто сумасшедшими; однажды она побывала на развалинах самаритянского Храма на горе Геризим, что близ Шехема, и там участвовала в тайной мистерии. После отзыва Пилата из Иудеи и воспоследовавшей смерти его она переехала в Антиохию, сумев уберечь какую-то часть имущества от конфискации, и долго жила там, время от времени совершая путешествия то в Армению, то в Индию. Я однажды встретилась с нею — кажется, лет через двенадцать после смерти Иешуа и Иоханана; я надеялась, что она знает что-то важное для меня, но увы — она верила только легендам и только в легендах пыталась разобраться. Боюсь, что она даже не поняла, чего я от неё добиваюсь. Не знаю, жива ли она сейчас, но в год разрушения Иерушалайма была жива: её вспоминали как пророчицу, в деталях и красках предсказавшую это событие…

Первосвященник пробыл на пиру недолго, ровно столько, чтобы не выразить неуважения префекту; с другой стороны, своим уходом он как бы сказал Пилату: сколько можно тянуть, реши же ты, наконец, кто этот странный человек, про которого все говорят, будто он царь! Пусть он будет царь, и мы поклонимся ему! Но нельзя же вот так: и не полба, и не мёд[8]…

Мария была скромна, робка и потому прекрасна. Она говорила, что боялась всего на свете — вплоть до того, что небо расколется над головой, и оттуда повалятся камни. Что в город ворвутся бронзовые солдаты из стран, которых мы не знаем. Что все сойдут с ума и вцепятся друг в друга зубами. Но ничего такого не случилось. Случилось иное.

В самом конце вечера, когда уже все устали плясать и петь, когда мама и Ханна заговорили почему-то о детских вещах и игрушках, а Иешуа лежал головой на коленях Марии, к нему подошла одна из гостий с кувшином в руке. Присев перед ним, она подняла кувшин, и из него тонкой струйкой побежало рубинового цвета масло — прямо на волосы Иешуа.

— Что ты делаешь? — спросила Мария, отчего-то оцепенев.

Девушка Мирьям, галилеянка (говорят, что галилеянок можно не спрашивать, как их зовут, потому что их всех зовут Мирьям) молча поставила кувшин у ног Марии и опустилась на колени перед Иешуа, вытянув вперёд руки и коснувшись лицом пола. Потом, пятясь, она отошла и присела у мраморной колонны.

— О, боже, — сказала Мария.

Иешуа приподнялся. Мария держала его за руку. Она так крепко вцепилась в его руку, что остались следы. Он дрожал. Ей показалось вдруг, что сердце его не бьётся — настолько холодным стало тело. Молчание, сравнимое разве что с громом, наполняло зал. Наконец Иешуа смог выпрямиться. Масло катилось по его лицу, как кровь из открытых ран на лбу. Потом он поклонился и медленно сел.

Пути назад не было.

Девушка эта, Мирьям, была одной из двух сестёр строителя Элиазара ха-Хазора, того, под чьим началом Иосиф и Иешуа строили шлюзы в Великой

8. Полба приносилась в жертву в печальных случаях, мёд — в радостных.

долине. Напомню, что строительство это затеял Антипа, дабы урожаи в этой плодороднейшей долине собирать не два, а три раза в год, как то делают крестьяне Междуречья. Элиазар был первый, кто осмелился обратить внимание четвертьвластника на подъём соли из глубины, и предложил многое построенное разрушить, а что-то перестроить иначе. В результате, Элиазару пришлось бросить дом и имущество и бежать туда, где гнев Антипы не был столь грозен; увы, престарелые родители его не перенесли тягот странствия; сам же Элиазар с двумя сёстрами приобрёл наконец маленький домик неподалёку от Иерушалайма, на обратном склоне Масличной горы, в Бет-Ханане, и постепенно занялся привычным делом—строительством; в частности, он был распорядителем-тысяцким при постройке пилатовского акведука.

Иешуа, бывая по делам в Иерушалайме, обычно останавливался в этом маленьком, но очень уютном доме. Я не сомневаюсь, что младшая сестра, Мирьям, воспламенилась к нему и строила планы.

Когда же ушей Элиазара достигли слухи об обретении царя и когда он вдруг понял, что с этим человеком он неоднократно делил хлеб и кров, то и сам Элиазар, и его сёстры, не сговариваясь, стали самыми деятельными помощниками Иешуа. В первую очередь, конечно, это был низменный и необходимый сбор денег, а кроме того, приём и направление по назначению идущих людей, разъяснение целей—и множество других мелких необходимых и неописуемых дел. Когда Иешуа входил в Иерушалайм, Мирьям и Марфа кормили целых три апостолона, разместившихся в окрестностях Бет-Ханана…

Чем объяснить самовольство Мирьям? Да и было ли то самовольством? Может быть, она как безнадёжно любящая женщина решила помочь любимому человеку, который, по её мнению, слишком долго колебался, чтобы сделать последний шаг? Или—не буду ссылаться, от кого я это услышала, и допускаю, что это лишь злая придумка,—Мирьям сказала, что пусть уж он скорее станет царём, потому что у царя может быть и две жены—понятно, намекая и на Ирода, и на Антипатра. Может быть, она могла держать эту мысль в глубине сердца, но никогда не сказала бы вслух…

Когда я вернулась—через три седмицы после обручения и помазанья—от Иешуа всё ещё исходил знакомый с детства запах, запах того волшебного бальзама, который не один раз спасал жизни и ему, и мне.

И в день, когда я вернулась, не найдя следов и ничего не добившись, вся чёрная, в слезах, прибежала Марфа…

Меня терзали злые предчувствия, настолько злые, что хотелось что-то с собой сделать, как бы содрать коросту. Я многое узнала за этот месяц о Шимуне Благодатном, слишком многое, чтобы увидеть, что Иешуа ступает след в след за ним—и непонятно, что можно сделать, чтобы эту кару судьбы отменить. Уже начала разбредаться и самовольничать армия…

Говорили потом, что после помазанья—пусть совершённого народом, а значит, и непризнаваемого, но всем ставшего известным тут же, наутро, и все кричали или шептали: «Помазанник! Помазанник!»—и опять вспоминали Маккаби, царей от мотыги, и толковали книги пророков, кто какую хотел, потому что в пророках можно найти предсказание любого события,—что после этого помазанья, совершённого девой, и это тоже было предсказано, так вот—после этого Иешуа стал нетерпелив и гневен, и все падали ниц и стонали, как в истоме: «Царь! Царь!» Я не помню его гневным, но, может быть, со мной он просто не имел повода срываться; наш брат Яаков, из старших близнецов, он бросился в служение Иешуа чуть позже меня, потому что мама старалась удержать его в доме, но он всё-таки ушёл, оставив всё на Иосифе, и я помню, как он пытался не встретиться с мамой, когда она и оставшиеся при ней братья и сестра приехали на обручение,—Яаков говорил мне, почти плакал, что брат страшно изменился, что он, Яаков, не узнаёт его и временами пугается, не подменыш ли тот, и что всё, что происходит, неправильно, ложно, противно и должно быть как-то изменено. Яаков и прежде был очень набожен, а теперь целые дни проводил в Храме; в отличие от многих наших, он не принадлежал к ученикам бар-Аббы, а избрал себе наставником престарелого цадоки Эльехоэная бен-Саддука, полуслепого, редко выходящего из своего дома на улице Вязальщиков. Цадоки Эльехоэнай принадлежал, понятно, к саддукеям, но полагал при этом, что на самом деле ни одна из школ и близко не подошла к пониманию сущности Завета—и более того, в своих стремлениях истолковать и приспособить Завет под сиючасные нужды искажают природу Божией воли; нет, не в словах истина, говорил он, и не в череде слов, а в той музыке, что рождается в сердце, когда ты эти слова невзначай вспоминаешь, глядя на небо…

Однажды я нечаянно подслушала часть разговора Иешуа и Горожанина. Иегуда горячился и доказывал, что медлить больше нельзя, что старый план провалился, а составлять новый некогда, поэтому надо прямо сказать: «Я царь!»—и смещать первосвященника, смещать решительно и грубо—дабы народу видна была сила и страсть. Да, сказал Иешуа, это было бы правильно… но что, если я не царь? Что, если меня обманули, а я обманул всех вас?.. Как ты можешь такое говорить, застучал ногами Горожанин, опомнись! Да, сказал Иешуа, нельзя такое говорить, и думать нельзя…

Он повернулся и тяжело пошёл в мою сторону, почти наткнулся на меня, но не заметил и не узнал.

После помазанья Иешуа «кровавый синедрион» уже не решился призвать его к ответу, но это не помешало им собираться иногда и творить судилища над неповинными людьми. Так, пропали куда-то и более не были найдены три брата, владевшие мельницей и мучным складом на Хлебном рынке. После того как Иешуа отменил дополнительные незаконные поборы, оставив

Храму одну его десятину, они не удовольствовались этим, а подняли волнение на рынке, требуя возврата незаконно отнятого; и их поддержали было и торговцы, и прочие люди, по большей части беднота, но накануне назначенного похода в поисках тайных хранилищ — а подозрения такие были, и назывались разные места вне Храма, — все три брата пропали, и более их не видели. Кстати, хранилища эти существовали определённо, и в руки Иешуа попал тайный медный свиток, где все они были перечислены, но это случилось слишком поздно. Храм был богат настолько, что не мог показывать все свои богатства и вынужден был зарывать их в землю; одного золота зарыто было двенадцать воловьих упряжек и шестьдесят упряжек серебра.

Надеюсь, там оно всё и останется.

…За что, за какую вину схватили Элиазара, Марфа не знала или не стала говорить. И откуда ей стало известно, что это дело рук тайных стражников «кровавого синедриона», она не сказала, но ясно, что правда стоила ей немалых денег, и расшитых золотом и камнями драгоценных старинных праздничных головных повязок и шейных ожерелий её и Мирьям я у них больше не видела. Но что она знала, так это то, что брата их за неведомую вину объявили мёртвым, спеленали в саван и завалили в гробнице, и она знает, в какой именно! Она попыталась нанять сторожей, чтобы они распахнули гробницу, откатили камень, но все отказались в ужасе, боясь провозглашённого проклятия.

Иешуа бросился сам, его догнали Неустрашимый и Тома, бывшие в доме, а по дороге на лошади вдвоём прискакали бар-Толма и с ним незнакомый священник. До гробницы было далеко, поэтому даже я, узнав обо всём поздно, догнала их у самой цели; со мной был Нубо.

Я не помню места более страшного, причём страшного необъяснимо. Треугольная выемка меж трёх голых холмов; когда-то здесь брали камень. Дорога, далее идущая к Гирканиону, огибала эти холмы широкой петлёй, и лишь подобие тропы, скорее угадываемой, чем видимой, показывало, что к холмам кто-то приближался. Позже подобные трихолмия попадались мне во множестве в речных долинах близ Тарса и Александрии Сирийской, и тамошние жители считали их местами обитания всяческой нечисти; остановившиеся на ночлег вблизи трихолмий путники могли исчезнуть, а могли сойти с ума и истребить друг друга. Серого цвета и из породы, похожей на шлак или пемзу, что часто прибивают волны к берегу, они не давали прибежища ни дереву, ни траве, а лишь подобию лишайника. Весеннее пополуденное тепло казалось здесь зноем… Ещё, похоже, сюда приходили умирать звери; или же это была трапезная каких-то ночных тварей, сейчас попрятавшихся. Осколки мелких косточек похрустывали под ногами.

Всего гробниц было семь с высеченными именами и две безымянные. Видно было, что одну из них недавно открывали.

Земля перед могильным камнем и стена вокруг него были испещрены непонятными бурыми знаками, еле заметными под ярким солнцем. Под самым камнем насыпан был маленький холмик щебня, и я видела, как синие мухи забираются в щели.

Иешуа это тоже видел.

— Здесь? — спросил он Марфу.

Та кивнула. Мы все стояли и нервно тряслись, и казалось, что сквозь зной нас пробирает могильный холод.

Иешуа припал к камню, но камень не подался. Он был величиной с большой жёрнов, из тех, которыми рушат зерно для круп.

К брату присоединились апостолы и Нубо. Священник — имя его было Рувим — молился рядом. Холмик разрушили, приоткрылась яма, откуда вылетели полчища мух и вырвался смрад. Судя по шерсти, зловонным кишащим червями месивом могла быть собака. Все боялись наступить в яму.

Камень, наконец, тронулся с места. Образовалась щель, в которую мог протиснуться человек.

— Элиазар! — крикнул Иешуа. — Элиазар, друг! Ты слышишь меня?

Донёсся только шорох.

Впопыхах никто из нас не взял ни огнива, ни трута.

— Элиазар… — Иешуа, согнувшись, потом на четвереньках, протиснулся в гробницу.

Мы ждали. Слышалось только гудение мух.

Вдруг Нубо, зарычав от натуги, ещё раз налёг на камень. Раздался громкий хруст, камень шевельнулся и повалился плашмя. Взлетела пыль.

Я неожиданно для себя шагнула вперёд и оказалась в пещере. Спиной ко мне — он угадывался как светлое размытое пятно — стоял Иешуа и что-то делал. Я подошла; глаза мои с огромным трудом привыкали к полумраку после солнцесияния. Иешуа оглянулся и улыбнулся мне.

— Успели, — сказал он.

Рот Элиазара был запечатан, а всё тело связано. Он лежал на погребальном ложе. Иешуа тихонечко высвобождал деревянный кляп из его рта, стараясь ничего не повредить. Я стала разрезать путы.

Потом мы вдвоём выволокли негнущееся тело наружу и там стали разминать и растирать. Неустрашимый и Нубо отправились за водой, маслом и полотном, а тем временем откуда-то стеклись десятки людей, стояли в отдалении и смотрели, не подходя и никак не реагируя, хотя их просили и требовали помочь хоть чем-то.

Наконец Элиазар начал постанывать; синевато-белые его руки и ноги стали напитываться кровью. Привезли масло, воду и уксус; мы обмыли его и высушили полотном, натёрли маслом, завернули в плащи; теперь он дрожал. Нубо поднял его, как малого ребёнка, и понёс. Иешуа шёл впереди; ничего живого не было в его лице; как будто свою жизнь он перелил в тело Элиазара. Зрители потянулись к нему и вдруг отпрянули; многие пали на колени. «Хошана…» — тихо сказал кто-то.

Глава 29

Вечером того безумно долгого дня — но уже легла тьма, и в небе цвета ночного моря стояла красная подрагивающая луна, и не было звёзд, — я нашла

Оронта. Душа моя металась, и надо было опереться на прочное…

Но Оронт не был прочен. Потом, лет через семь или восемь, я поняла причину его морального бессилия: царь Парфии Артабан, пришедший к власти не без помощи Рима, испытывал в предыдущий год и в этот большую неуверенность в прочности своего трона, а потому не мог позволить себе ничего такого, что вызвало бы у Тиберия (который быстро впадал в старческую слабоумную подозрительность) хоть тень подозрения в недостаточной лояльности; желающих же бросить на него такую тень было предостаточно. Поэтому Оронт не смог обеспечить Иешуа ни золотом, ни выгодными торговыми соглашениями, а без этого ему невозможно было рассчитаться с кредиторами и заимодавцами.

Теперь другое. Да, Пилат в какой-то мере поддерживал Иешуа—исключительно на словах, но поддерживал,—и даже обещал намёками, что представит его императору и испросит для него царский титул, с тем, чтобы под одной рукой объединить все земли общины Иерушалаймского Храма, но я очень сомневаюсь, что он действительно собирался это сделать. Во-первых, это было решительно не в его денежных корыстных интересах; разве что, пресытившись и почувствовав скорую отставку, он мог как бы закрыть за собой дверь и не пустить туда ревизоров; но это вряд ли, слишком хитро, слишком тонкий нужен расчёт. Во-вторых, он таким образом сильно осложнил бы свои отношения с Хананом, который знал о злоупотреблениях Пилата всё, потворствовал им—а значит, держал Пилата за самые трепетные места. В конце концов, он таки Пилата и погубил, но уже по другой причине. Да, если попытаться представить себе тайную картину власти в Иудее, то получится, что именно Ханан в те годы был самой влиятельной и самой страшной фигурой, а Пилат предназначался для порядка и для парадов. Ну и где-то совсем на третьем плане мы видим первосвященника Иосифа Каменного… В общем, я думаю, что обещал он это лишь для того, чтобы подзудить Ханана, вызвать его на новый торг и что-то себе выгадать.

Надо сказать, что Иешуа на Пилата и не надеялся. Его вполне бы устроил нейтралитет римлян…

Нет, не об этом мы разговаривали тогда с Оронтом. И не могли разговаривать об этом, потому что я не знала и трети из того, что написала только что. Может, и десятой части не знала. Нет, нет, я вдруг после первых же слов поняла в нём глубокую усталость и бездонное отчаянье, но не то отчаянье, которое делает человека непобедимым наперекор всему, а то, которое его губит, а вернее—заставляет желать смерти. Оронт не в силах был мне помочь, а я не могла искать в нём поддержки.

И тогда мы поговорили о затмении звёзд, о древних играх в камни—одну партию такой игры можно было вести всю жизнь, и о том, сойдутся ли наши души, когда всё кончится, а если сойдутся, то узнают ли друг друга. Оронт был стар, хотя казался просто высушенным, но в ту встречу он сказал мне, что ему минуло восемьдесят три осени. И ещё он сказал как бы между прочим, что даже смерть бессильна остановить творимую тайну.

Пожалуй, я стала понимать его только сейчас.

Да, и ещё: Оронт настоятельно рекомендовал мне подыскать для мамы и хотя бы для младших братьев и сестры какое-то надёжное убежище прямо здесь, в городе; но такое, чтобы нырнуть туда можно было за долю часа и затаиться надолго.

Я нашла такое убежище и ещё порадовалась тогда, что мои дети дома, вдали отсюда, в безопасности.

После вскрытия гробницы Иешуа очищался, и очищаться ему надлежало семь дней. Элиазар был жив, но он молчал и смотрел в одну точку; ему давали воду, и он пил, его сажали на горшок, и он опрастывался, но при этом он никого не замечал и видел что-то неведомое и очень далёкое. Я думаю, пока он лежал, связанный и с деревянным кляпом во рту, в полной темноте—сквозь какую-то щель пробивался лучик света.

Бар-Абба рассказывал об этом в Храме, и многие слушали его. Но по городу уже понеслись слухи, что царь Иешуа гнусным волшебством, которому он обучился в Египте, оживил мертвеца и к оживлённому прикасался к нему. И ещё говорили, что для оживления он использовал собаку, которая взамен мертвеца сгнила заживо, подобно царю Ироду. И что, войдя в гробницу, он снял печать, а печать была наложена потому, что умерший был великим колдуном и грешником против естества, и запечатанные демоны и проклятия высвободились и теперь обрушиваются на живущих… Нет, бар-Абба был великолепным, великим проповедником, но он немного опоздал—люди скорее, охотнее и торопливее верят в чудеса и во зло, нежели в разум и справедливость. И потому он как бы запоздало объяснял и выворачивал то, что они успели узнать раньше—как оно было на самом деле.

И тогда он показал на священников и левитов, обвиняя их во лжи и стяжательстве. Он ведь тоже знал, чему толпа поверит с охотой, и ему было чем привлечь уши и разжечь азарт обличения. Он рассказывал, как неправедно наживались и наживаются те, кому мы вручили ключи своей веры, как они прислуживают захватчикам, как творят беззакония и предаются таким порокам, за малую толику которых погребены были Гоморра и Содом; и что нет такого закона, который не был бы нарушен ими безнаказанно, потому что право наказывать забрали себе именно те, кто рушит. А теперь они изливают яд лжи на того, кто пришёл, кто Богом призван был вернуть справедливость в мир, отнять неправедно нажитое и покарать алчных спесивцев, превративших Божий дом в гнездо разврата, в дом менял и в вертеп разбойников…

Пороки же тех священников, что процветали под крылом Ханана, были действительно непрощаемые, и они, как научил их Царь обмана, первыми обвиняли невиновных и именно в том, в чём грешны были сами. Я имею в виду магию, занесённую к нам даже и не из Египта и Бабилонии,

а из недр Нубии и страны Куш, а может быть, и из более дальних стран, о которых сочиняют небывалое. Но я точно знаю, например, что в поместье Ханана под Иерихоном раббуни Иоаким бен-Шеллун магическими приёмами убивал раба, а потом заставлял его ходить и исполнять приказы, и он же пытался оживлять создание из сырой глины, но тут у него ничего не вышло: глина слишком быстро высыхала, и чудовище распадалось, пытаясь пошевелиться. И я знаю также, что группа священников, которых трудно назвать этим словом, собиралась вдесятером, как для миньяна, и вторили богопротивное заклинание, призывая демонов убить неугодного им человека—как бы далеко он от них ни был. Человек мог умереть от чего угодно, суть смерти демоны избирали сами, но за полгода его жизнь так или иначе прекращалась. Я уже не говорю о множествах других случаев применения магии, один из которых мне кажется даже более мерзким, чем проклятие на смерть, а именно: маг впадал в глубокий сон, почти подобный смерти, а душа его внедрялась в чужое тело и заставляла его поступать так, как ей было угодно; и если это было недолго, то человек просто приходил в себя в другом месте и не помнил произошедшего, а если долго, то терял память и о себе, и о прожитой жизни вообще; я встречала таких опустошённых людей не один раз на дорогах и одного из них даже смогла спасти и после найти его родных, но то был просто счастливый случай; обычно они погибали. Я рассказала лишь малую толику из того, что до сих пор помню, потому что мне отвратительно говорить об этом, и ещё потому, что мне страшно. Я не знаю, чего мне ещё можно бояться в этой жизни, но что-то внутри меня уверено, что можно.

Так вот, всё это немногое я рассказала только для того, чтобы вы знали: священники, что благоденствовали под сенью Ханана, были страшными грешниками против Господа, а кроме того, они были искусными лжецами, и по правилам этого искусства они обвиняли противника в том, в чём были грешны сами; и если бы он в ответ взялся обличать их, то люди бы, послушав, сказали: он лишь повторяет их слова, а значит, ему нечем оправдаться…

Я ходила к сёстрам и Элиазару каждый день. Дом их охраняли воины Сыновей Грома, а рядом с больным постоянно находился Тома Дидим и ещё один врач-римлянин, сосланный в Иудею (которую римляне называли Палестиной, что значит Филистинская Сирия); имя его было Люций. Он не мог ходить без трости и каждый раз, садясь или вставая, выкряхтывал из себя греческую поговорку: «Врач, исцелись сам!» Впрочем, Тома сказал, что именно настои и вытяжки, приготовленные Люцием, обратили Элиазара к жизни. Сам Тома не чувствовал, что может чем-то помочь больному.

На пятый день Элиазар стал замечать людей. Ночью он расплакался. Он рыдал, как будто потерял лучшего друга. Сёстры обнимали его…

После этого разум его быстро пошёл на поправку. Тело неохотно начинало слушаться, ноги подгибались, и руки не держали чашу, но разум стал ясен и быстр, я бы даже сказала—лихорадочно-быстр. И пребывал он не вполне здесь, а здесь и где-то ещё.

Мне кажется, Элиазар видел происходящее как бы сверху, с птичьего полёта, в городе без крыш, где в одном доме «сегодня», а в соседнем—уже «завтра». Он и сказал первым, что Иешуа нужно сейчас, срочно, арестовать и заточить Ханана и прочих, кто входит в «кровавый синедрион», по обвинению в практиковании чёрной магии; он, Элиазар, и некоторые другие могут свидетельствовать против них. Но сделать это нужно сейчас, потому что сила их нарастает стремительно…

Сила их нарастала: наши воины ловили шептунов на базарах и допрашивали, и те охотно выкладывали, как за небольшие деньги или просто за поблажки в делах им велели рассказывать всем, кто хотел слышать, что царь Иешуа—это и не царь вовсе, а ублюдок, родившийся у завивальщицы волос из Каны от римского солдата; с детства он путался с непотребными самаритянскими священниками, которые и подучили его выдавать себя за царевича; другие говорили, что на самом деле за царя себя выдаёт проповедник бар-Абба, а тот, который проповедует под его именем, есть не кто иной, как сумасшедший армянский шут и акробат Тогба, привезённый ещё Архелаю для развлечения; нет, говорили третьи, этот самозваный царь—переметнувшийся к римлянам александрийский еврей Калхозий, ненавидящий Предвечного, намеренный свергнуть его и в Храме устроить кадения всем паскудным божкам и идолам сразу, а прежде всего—самому себе, своей золотой статуе, которую уже везут из Рима…

И ещё в тот долгий день, когда Иешуа спас Элиазара, а я пыталась выведать у Оронта, что нам предстоит, пыталась безуспешно, боюсь, что он уже всё знал,—в тот день, вечер, ночь решалась судьба Иоханана, моего мужа, а я этого не знала и продолжала беспокоиться о нём так же, как и в предыдущие дни, и ничуть не сильнее.

Скажу сразу—я так и не выяснила до конца, как и почему произошло то, что произошло. В этой истории концы с концами не сходятся, ведь не принимать же на веру утверждение одного из доверенных людей Антипы, что-де покровители Иешуа и Иоханана (он не знал про Оронта, но понимал, что кто-то должен был быть) спрятали младенцев дважды, как бы перепутав их, и именно Иоханан является законным царём, сыном Антипатра и его жены Мариамны, а Иешуа—лишь сыном рабыни. И что-де Иешуа, узнав об этом уже на пути в Иерушалайм, предал Иоханана первосвященнику, а тот, убоявшись, сбыл его на руки Антипе. И хитрый Антипа до последнего держал Иоханана под почётной стражей в Михваре, желая, когда Иешуа сделает своё дело и свалит Ханана, но и погибнет или слишком осквернится сам, помочь тому сесть на царский престол… Думать так можно, только совсем не зная этих людей, а лишь исходя тупой злобой к ним. Но предположим, что Антипа сам верил в эту околесицу и действовал по вере своей.

Всё равно непонятно, почему он решил послать в Михвару отряд убийц, а не действовать по плану и не везти Иоханана в Иерушалайм.

Вероятно, что-то из происходившего в те дни попросту оказалось неверно истолковано им. Что это могло быть? Вероятнее всего, побег его нелюбимой жены Вашти, дочери эдомского царя Ареты. Вашти бежала, не в силах заставить себя мириться с бесконечными и напоказ изменами мужа; но бежала она в сопровождении полутора сотен всадников-эдомитян, прихватив восемь талантов золота в монетах и слитках и двадцать талантов серебра в утвари; и бежала она не куда-нибудь, а в Михвару…

Вряд ли можно Антипу винить в том, что он немедленно заподозрил заговор. Причём заговор, учинённый не кем-нибудь, а его пусть нелюбимой, постылой, но всё-таки женой—и потаённым царём, которого он, Антипа, скрывал с опасностью для себя и намеревался возвести на трон, поставить выше себя… Такого оскорбления душа его не вынесла.

Это только одно из моих предположений. Есть и другие. Я склоняюсь к этому. Но не могу сказать, что я полностью уверена в правильности изложенного. Просто другие объяснения устраивают меня ещё меньше.

Стражницкий сотник, привёзший голову моего мужа Антипе, перед смертью признался, что у него был приказ убить обоих, и Иоханана, и Вашти. Но в крепости было слишком много воинов, и Вашти была недоступна. Иоханан же спокойно вышел из-за стен, когда ему передали, что тетрарх Ирод Антипа просит его к себе—время-де подошло…

А послал Антипа стражников в Михвару как раз в ту ночь, когда я, сопровождаемая Нубо, возвращалась от прежнего дворца Ирода, где в маленьком флигеле, примыкающем к крепостной стене, всё ещё жил Оронт. Город оттуда, от дворца, виден был как бы сверху, и мне ещё показалось в тот час, что на улицах больше огней, чем в другие дни.

Но это просто был праздник, весёлый праздник Жребия—тот, что прежде именовался Днём Мордехая. Я совсем забыла про него.

Глава 30

Во времена царя Ирода каждый год устраивались состязания борцов, и каждый месяц—чтецов и артистов, и дважды в год в состязаниях этих мог принять участие любой человек, который придёт и проявит желание. Устраивались большие состязания весной, после первого сева, и поздней осенью, после второй уборки.

За три седмицы до Праздника опресноков улицы и площади городов наполнялись акробатами и музыкантами, и выступления шли без перерыва с утра до поздней ночи три дня и ещё всю последнюю ночь до рассвета. Мама говорила, что можно было увидеть всё: акробатов и жонглёров, укротителей пламени и зверей, говорящих собак и осликов, умеющих считать до двенадцати, женщин-змей и мальчиков-канатоходцев… Многие пели, танцевали и веселили людей всяческими другими богоугодными способами. При Архелае это быстро прекратилось—вообще всё; артистов перестали пускать в города и выгоняли ночевать в пустыню. А при римлянах что-то возобновилось, но только в специально отведённых местах, поближе к языческим кварталам. Римляне рассудили здраво: если они не хотят веселиться сами, зачем же мы будем настаивать?

Но я хорошо помню уличные празднества в Александрии; а кроме того, в Галилее люди тоже не чужды были старым обычаям не просто испытывать наведённое, как наводят порчу, веселье в положенные для этого дни, а трубить в рога, бить в бубны, плясать вокруг костров и горланить хором такое, от чего щёки девушек пылали, а глаза прятались. И напрасно приходили и приезжали из Иерушалайма высокопоставленные саддукеи и высокоучёные фарисеи, в данном случае говорившие заодно, и проповедовали среди галилейских священников, что-де праздники, не подтверждённые Законом, богопротивны и подлежат искоренению, ибо они суть не что иное, как кадения финикийским мерзостным лжебогам Аштарет и Баалу, то есть прелюбодеяние и блуд. Происходило очень много религиозных диспутов на эту тему, но случалось и плохое…

Впрочем, я отвлеклась.

Иешуа разрешил уличные шествия по домашним и семейным праздникам, разрешил звать на них музыкантов и танцовщиц, играть громкую музыку до десятого часа ночи, до второй стражи, а также определил на суде, что ежели встретятся или пересекутся похоронная процессия и праздничная, то похоронная должна остановиться и пропустить праздничную, поскольку жизнь главнее смерти.

И ещё он сказал, что пусть понемногу, сами собой, возвращаются на улицы состязания чтецов и актёров, поскольку они дают народу веселье и бодрость духа, а именно веселье и бодрость духа позволяют людям высоко держать голову и не склоняться под ударами…

«Кровавый синедрион» продолжал свои заседания, но людей они больше не захватывали и не судили, и никто не знает до сих пор, чем они там занимались; я думаю, что самой гнусной и самой чёрной магией. Дворец Ханана охраняло в это время не менее пяти сотен стражников.

Интересно, что первосвященник Иосиф Каменный в этих бдениях не участвовал. Или, по крайней мере, не участвовал в большинстве их, поскольку его видели в других местах. Сомневаюсь, что его не позвали или же не допустили на эти заседания; скорее, он отказался сам. Тут опять проявилась его то ли трусость, то ли предусмотрительность…

Свой «тайный синедрион» завёл и Иешуа—в каждый поздний вечер, прежде чем разойтись по спальням этого дома или по другим домам, он, Мария, я, брат Иосиф и столько апостолов, сколько оказывалось рядом, собирались вокруг стола, на котором стояло простое вино, сыр, египетские яблоки и виноград (не помню, упоминала ли я про слишком ранние тяжёлые ливни с градом, почти погубившие урожай фруктов и оливок минувшей осенью, да и многие ячменные поля полегли

недоубранные), и обсуждали самые насущные проблемы. После трудов и переживаний дня вдруг оказывалось, что вечером ум становится одновременно изощрённее и проще, и многое непосильное вдруг оказывается посильным.

В тот вечер, накануне свадьбы Иешуа и Марии, состоялось последнее из «тайных собраний», на котором присутствовала я. Марии как раз не было, считалось, что видеть невесту жениху или невесте жениха накануне свадьбы — значит рисковать навести на него блуждающий глаз Малаха а-Мавета; демон этот, чёрный, исполненный глазами с головы до пят, рассыпает их по небу, и они видят для него всё, что делают люди и что они замышляют делать; в руках же демона меч, с которого стекает то ли яд, то ли кровь грешников. И нет большей радости демону, как застать жениха с невестой накануне свадьбы, воспламенить их похоть — и тут же покарать за свершённый грех, грех хотя бы помыслом единым…

Итак, собрались Иешуа, я, братья Утёс и Неустрашимый, братья Сыновья Грома, Иегуда Горожанин, Тома, бар-Толма, Яаков бар-Альф, Шимон Зелот, Иегуда Таддий, Филипп из Бет-Шеды, но не сирота, как Утёс и Неустрашимый, а родившийся там в семье коренных жителей и более того, старосты деревни, сын, седьмой в семье; он не разбойничал, но встал под апостолы сразу, как только узнал, что там верховодят братья; был Маттафия из Асоры и кто-то ещё, но я никак не могу вспомнить, кто. Брат Яаков помогал маме в хлопотах; и я не буду больше пытаться вспомнить, кто там был ещё, потому что не меняет ничего.

Настроение у всех было дерзостно-нетерпеливое, но Иешуа вначале попросил высказаться Горожанина, поскольку денежный вопрос оставался решённым не до конца. Тот рассказал, что лотерея стала приносить меньше дохода, поскольку священники, особенно в маленьких городах, запугивают людей, утверждая, что это-де занятие волховское, и кто участвует в лотерее, участвует в бабилонской волшбе. Вместе с тем и расходы стали меньше, поскольку почти половина бойцов с разрешения командиров либо вернулись по домам, либо осели в близлежащих городах и деревнях и занялись каким-то делом. Но назревала огромная проблема: множество беднейших в Иерушалайме и вообще в провинции уже получили однажды от Иешуа небольшую милостыню — либо деньгами, либо зерном. Прошлогодний плохой урожай давал себя знать, и всё больше людей испытывали чрезвычайную нужду. Голода ещё не было, но запасов оставалось всего ничего. Говорили, что торговцы прячут зерно, чтобы поднять и без того немалую цену. Иешуа посылал некоторых апостолов проверить это, но подтверждения не получил, что не облегчило ситуацию; уж лучше бы и вправду прятали. Так вот, Иегуда достал из-за пазухи узкий папирус, — удалось за подкуп получить едва ли не величайшую святыню Храма — медный свиток, в котором указаны сокровищные места. Он, Горожанин, скопировал его — вот она, копия! — и завтра вернёт на место. Одно из хранилищ ценностей — довольно скромное — находится недалеко от города в старой гробнице, неизвестно кому принадлежащей. Гробница запечатана с применением ещё более гнусных магических приёмов, чем та, в которой погребли Элиазара: под дверным камнем нашли человеческие останки. Золота взято: двенадцать талантов в монетах, серебра — почти сорок талантов в монетах и утвари; есть ещё драгоценные камни, чья стоимость пока не определена. Сейчас это всё перевезено в надёжное место и взято под охрану. Он, Иегуда, предлагает все эти деньги пустить на приобретение зерна в Галилее и Египте, и уже зерно раздавать нуждающимся; иначе, если раздать деньги (что, конечно, проще), торговцы поднимут цену, и бедным опять ничего не достанется. С позволения Иешуа, он, Иегуда, займётся этим с утра…

— Они не простят нам этого! — воскликнул бар-Толма.

— Я думаю, завтра же нужно будет объявить о том, что царь конфискует неправедно сокрытое! — поднялся на ноги Утёс. — Тогда вся ложь лжецов пропадёт впустую, и те, кто ещё верит им, станут слушать нас! А главное, пер нётер[9] не смогут воспользоваться сокровищами…

— Сядь, брат, — сказал Неустрашимый. — Если об этом объявить, всё попадёт к римлянам. По их проклятому закону. Ты же не собираешься драться с римлянами?

— Если бы это сказал не ты… — угрожающе навис над ним Утёс.

— Я знаю, что ты не боишься римлян, — сказал Андреас. — И я знаю, что все наши мечты только о том, чтобы их не было на нашей земле — ни следа, ни слова, ни духа, ни дыхания. Но здесь я согласен с Иешуа: сделать это надлежит так, чтобы не погубить землю. Много ли надо ума — проливать кровь…

— Мы всё равно упрёмся в это, — сказал Утёс и сел.

— Можно попробовать иначе, — сказал Шимон Зелот. — Нужно. Взять Храм, убить Ханана. Заточить Иосифа. Сегодня. В крайнем случае, завтра.

— Прийти в Храм с мечом? — недоверчиво спросил бар-Толма.

— Храм захвачен колдунами и халдеями-чернокнижниками. Мы это знаем и мы это докажем. И грабителями.

— Взять Храм, — хмыкнул Яаков бар-Забди. — Ничего проще, а? С нашими семью сотнями копейщиков…

— Нетрудно, — сказал Шимон. — Войдём через крепость. Там подземный ход.

— Войдём через крепость! — захохотал Утёс. — Ничего проще! Войдём через крепость! Как будто там нет гарнизона! Как будто там не отвесные стены в сто локтей!

— Есть гарнизон, — сказал Шимон. — Триста солдат. Начальник — Гилл из Себастии. Я с ним уже договорился.

Все загомонили. И разом утихли.

9. Каста египетских жрецов — служителей Храма, исполнявших, в основном, хозяйственные и административные функции. Применительно к иудейским священникам-коxенам — грубое оскорбление.

— О чём договорился, Шимон? — тихо спросил Иешуа.
— Он впустит наших солдат в ворота со стороны Овечьей дороги. Ночью…
— Со стороны учебного лагеря?
— Да. Задние ворота. Подземный ход будет открыт. Мы пройдём…
— Зачем он это сделает, как ты думаешь?
— Он считает, что ты царь, Иешуа. Он хочет служить тебе.
— А почему ты думаешь, что это не ловушка?
— Он предложил в залог свою семью. Жену и четверых детей. Они уже у нас.
— Вот как…
— Но идти надо сегодня или завтра.
— А иначе?
— Нас опередят. Могут сменить гарнизон. Могут… что-то ещё. Не знаю.
— Понятно… Отдай ему жену и детей, Шимон. Скажи, что я благодарю его за порыв, но службы предательством мне не нужно. Дай сколько-нибудь денег. Не очень много, не очень мало. Может быть, он нам пригодится, но не сейчас… — Иешуа помолчал. — Я хочу, чтобы вы все поняли одно. Одно, но главное… Хотя нет, я забежал вперёд. Вы все знаете, что я не стремился встать на этот путь, но почему-то встал. Не потому, что испугался смерти и сам пошёл ей навстречу — так-де больше возможности уцелеть. Не только потому. Я вдруг понял, что да, я отвечаю за всё. Именно я. Так распорядилась судьба, так пал жребий. Я встал на эту тропу и пошёл по ней, и позвал вас. И вот теперь можно спросить себя: а куда мы шли и куда идём? Что наша цель и что наша победа? Скажи ты, Утёс?
— Ты обидишься, если я скажу, — притворно потупился Утёс.
— Не обижусь. Говори.
— Ты был такой забавный, почти смешной. Петушок, который хочет склевать гору. Я пошёл, чтобы помочь тебе. Потому что без меня у тебя ничего бы не получилось… Я только потом понял… ну… Вон, Андреас — он страха не знает. А ты знаешь. И всё равно ничего не боишься. Ты храбрее его. Вот… собственно…
— Так в чём будет наша победа?
— Если ты не отступишь. Всё остальное — неважно.
— Так просто?
— Мир прост. Ты сам говорил.
— Неустрашимый?
— Тебе сказать, чего бы я хотел или чего я ожидаю?
— Можно и то и другое.
— Я бы хотел обойти всю землю и повсюду видеть развалины Рима. Чтобы в дикой траве валялись пустые бронзовые доспехи — как шелуха раков. Чтобы на рынках римских девок продавали на вес по цене рыбы…
— За что ты так не любишь Рим, Неустрашимый?
— Не знаю. Я даже не могу сказать, что я его не люблю. Мне у них многое нравится. Больше, чем мне хотелось бы. Но я просто хочу видеть Рим в развалинах… считай это причудой. Ты спросил — я ответил. А чего я ожидаю… Я думаю, мы все погибнем, царь. Хотя, может быть, не все в один день.
— Тогда что же наша победа, по-твоему?
— Чем бы она ни была, мы до неё не доживём. Стоит ли задумываться?.. Нет, царь. Я, кажется, понимаю, что ты хочешь спросить, и я даже, кажется, знаю, что я хочу ответить. Но для этого ещё не придумано слов. Извини. Вон, может быть, рабби сумеет?

Бар-Толма покраснел — не знаю, то ли от смущения, то ли от сдерживаемой ярости. Он почему-то не любил, когда его в глаза называли «учителем».
— Нет, Иешуа, — сказал он, — я не догадываюсь, что имел в виду Неустрашимый… из меня плохой прорицатель. Я видел бы нашей победой искоренение лжеучений, которые процвели в Храме и вокруг него. Вот и всё.
— Ты думаешь, этого достаточно?
— Если добавится что-то ещё, я буду только рад. Но для меня — да, этого достаточно. Другое дело, что мало захватить Храм и зарезать Ханана…
— Я тебя понял, бар-Толма. А что ты скажешь, Яаков? — обернулся он к старшему бар-Забди.
— Сначала я скажу, в чём наше поражение, царь. У тебя не получится то, что ты задумывал изначально, — и это уже очевидно всем нам.

Кто-то кашлянул. После этих слов стало очень тихо.
— Мы вынуждены применяться к обстоятельствам и всё время сворачивать в сторону — или обходя препятствие, или уничтожая опасность. И мы забыли, куда шли. Почти забыли. Мы сейчас дальше от цели, чем были в начале пути. Царство, которое в груди каждого из нас, царство, которое не зависит ни от Рима, ни от Храма, царство неощутимое, но могущественное… Где оно? Мы прошли мимо? Не там искали, не так строили? Или это был демон лжи, что обитает в пустыне? Мы пошли за демоном и скоро умрём от жажды? Я не знаю, да это и неважно. Спросим себя иначе: а можно ли ещё что-то сделать? И я думаю, что что-то — можно. Но надо, во-первых, честно сказать себе, что пока что мы терпим поражение, а во-вторых, сесть и срочно набросать новый план действий, потому что старый съели мыши. И… ещё…
— Что, друг мой?
— Сейчас… Мы должны чётко определить, кто наши враги. Только тогда мы сможем понять, что будет нашей победой. Ибо наша победа — это всегда поражение врагов.
— Ты сказал что-то настолько мудрое, что я и не пойму толком…
— Я хочу сказать, что если врагов слишком много, то ни о какой победе мы говорить не можем. Да, мы буквально со всех сторон обложены теми, кто нам либо явный, либо возможный враг. Нам нужно для начала выбрать кого-то одного, а прочих попросить не вмешиваться, а то и заключить с ними союз. Причём, выбрать среди врагов самого слабого…
— И кого ты видишь самым слабым?
— «Кровавый синедрион». Они кажутся сильными лишь потому, что все их противники разобщены. Если мы прямо и громко объявим себя их врагами, к нам примкнут многие. Есть множество разумных священников и левитов, которые возмущены попранием Закона, но просто не рискуют выступить

против, потому что не напрасно опасаются мести. Перед римлянами мы можем выставить Ханана и его присных как опасных заговорщиков, которые покушаются на жизнь префекта, а то и самого императора. Асаи и ревнители, я думаю, озабочены тем, что Ханан принялся действовать их методами, а значит, подлежит укрощению… Я вижу, ты хмуришься, царь. Ты не хочешь лгать и изворачиваться. Но такова власть, таковы её правила. Это не признак гнили, потому что, когда имеешь дело с толпами и городами, невозможно месяцами и годами доказывать свою правоту, а проще один раз солгать, спрямить, упростить, умолчать. Такова тяжесть венца…

— Я подумаю над твоими словами, Сын Грома. Теперь ты, Иоханан…

Но услышать, что скажет младший бар-Забди, нам не довелось. В зал ворвался запыхавшийся, как после долгого бега, двенадцатилетний сын хозяйки дома.

— Там! — закричал он, показывая рукой. — Там говорят… что Исправителя… что Ирод Антипа… убил Купалу! Что привезли голову!..

Глава 31

К тому времени отряд убийц давно миновал Ерушалайм — в город они, разумеется, не заезжали — и приближался к Галилее; просто слух о чудовищной смерти моего мужа распространился с запозданием и пришёл из Самарии, где один из стражников, заболевший и отставший от отряда, проболтался родственнику.

Но это мы выяснили только на третий день. В первые часы мы были уверены, что несёмся по горячему следу.

Слух, разошедшийся по всем городам и деревням, по всем дорогам и тропам, исказился весьма и уже не имел ценности. Болтали, что Иоханан не позволял Антипе развод с Ваштщи, что громогласно обличал его в прелюбодеянии с Иродиадой, бывшей женой Филиппа; смешно, кого бы это волновало? Что-де это коварная Иродиада вынудила Антипу казнить узника, соблазнив его своей двенадцатилетней дочерью… Всё это байки, которые сами собой возникают на базарах и углах. Они скроены на один манер, и их легко распознать: байки эти бездарны и бессмысленны, как и те, кто их выдумывает и тем более слушает…

Меж тем — мы ещё этого не знали, но всё происходило как раз в эти дни и часы — отец Вашти, царь Арета, двинул свою армию на границу с Переей и взял Михвару. Жаль, что это не случилось несколькими днями раньше.

Мы возвращались после заката, вымотанные не столько самой погоней, сколько безрезультатностью её: я, Нубо, бар-Толма, Иоханан бар-Забди и одиннадцать бойцов из их апостолонов, что оказались под рукой в тот миг, когда я бросилась седлать коня.

Город был неприятно пуст. Обычно на рынках в это время при свете фонарей готовят товары на раннюю торговлю, и слышны голоса работников, но оба рынка, мимо которых лежал наш путь, Рыбный и Дровяной, казались мёртвыми кладбищами. Я подумала было, что просчиталась и что уже начало шаббата, однако этого точно не могло быть, потому что шаббат был позавчера. Стражники у Дровяных ворот окликнули нас, и мне показалось, что калитку, в которую можно было войти только пешим, ведя коня или мула в поводу, открыли не сразу. Но, повторяю, мы так вымотались, что на такую мелочь не обращали внимания.

На всех четырёх башнях крепости горели высокие костры, а вот уличные фонари ещё не зажигали; в Верхнем городе нам попалось по дороге не более десяти прохожих, да и те, судя по виду, были рабами или слугами, посланными по срочным делам. Ни на широкой мраморной лестнице Антония, ни на Храмовой площади, ни в саду дворца Антипы, открытом для гуляний, нигде не было празднично настроенных толп, хотя после праздника Жребия наступали благоприятные дни для свадеб; правда, немало людей прогуливалось по Царской дороге, единственной, где зажгли фонари.

Как раз Нижний город, который обычно рано ложился и рано вставал, напоминал растревоженный муравейник. Здесь множество домов были одноэтажными, с плоскими крышами, на которых в жаркое время устраивались спать; сейчас на многих крышах люди сидели или стояли, слышались отрывки разговоров — напряжённых и тревожных. Бар-Толма заговорил с мужчиной, спешащим в одном с нами направлении, и тот сказал, что сегодня все ворота Храма оказались заперты, а во многих синагогах провозгласили харэм[10] Иешуа бар-Абду, что ложно называет себя бар-Аббой. А произошло это потому, что он противозаконно — и против провозглашённой воли первосвященника Иосифа — обвенчал самозваного царя Иешуа и блудную женщину — гречанку Марию…

Всё доходило до меня, как через толстую шерстяную попону. Мы поравнялись с домом вдовы Мирьям, я вошла — зал внизу был полон мужчин с оружием, на меня посмотрели и вернулись к своим делам, — поднялась в свою комнату, рухнула на постель и как бы пропала; меня не стало ни здесь и нигде больше; и даже горя своего я не чувствовала.

Мне сказал потом сын Мирьям, что я пролежала, жаркая и неживая, всю ночь, весь день и ещё вечер; это было начало страшной лихорадки, истерзавшей меня после. И то, что я помню события следующей ночи странно, то это потому, что я вся была пропитана этим лихорадочным ядом, который я подхватила, наверное, у заросших осокой запруд Великой долины, когда мы все поняли, что дальше идти бессмысленно.

В детстве, когда мы жили в Александрии и я целыми днями плавала в море, такое состояние возникало у меня временами — отсутствия времени и медлительности глубины; я могла погружаться глубоко, лишь чуть-чуть шевеля ногами,

10. Проклятие, анафема, сопровождаемое лишением множества гражданских прав — в частности, права владения собственностью и обращения в суд.

и смотреть в глаза больших рыб, совсем не пугая их. Море звучит иначе, чем город; оно звучит, как оркестр огромных труб, в которые дуют не ради грома, а извлекая из них причудливые шорохи и свисты. Лучи солнца проникают глубоко, но там, на глубине, становятся сонными. Поверхность моря, когда смотришь на неё снизу, подобна зеркалу, и в ней можно увидеть себя; и ты неизбежно приближаешься к себе и входишь в себя, и отрешённость пропадает.

Про страшную ночь мне рассказывали многие, но все рассказывали разное. Я никому не верю. Никому. Это грех, но я согласна с ним жить. Поэтому я расскажу только то, что видела и слышала сама, не более и не менее этого; и я не буду ничего додумывать и не буду строить предположений.

Да, и ещё вот что я узнала позже от тех, кто был далеко: на другой день после того, как я бросилась в погоню за убийцами Иоханана, Иешуа отправил двадцать шесть апостолонов — больше половины того, что у нас осталось; даже нет, две трети — на помощь Арете, который двинул свою армию на Михвару. Этот отряд повели Фемистокл и Ицхак бар-Раббуни.

Правильно он поступил или нет, я не знаю. Порочно было и это решение, и любое другое. Воины тоже имели уши, и они роптали.

Наверное, и Бог вмешивается в людские дела уже тогда, когда наш ропот становится невыносим для него. То есть когда поздно что-то переменять, и выбор есть только из очень плохого и совсем гиблого.

Глава 32

Я очнулась. Если это можно так назвать.

Я не зря вспоминала море и плаванье у дна, потому что сейчас было что-то подобное: я вся была мокрая, сверху лилось холодное, а потолок рябил и переливался, как зеркало вод. Она очнулась, очнулась, сказали рядом, вставай, женщина, скорее вставай. Это был кто-то незнакомый, но сейчас для меня все были незнакомыми. Я попробовала встать, но снова упала, больно ударившись виском; боль вразумила меня, но ненадолго. Что происходит, спросила я, и мне ответили, что не знают, но вокруг дома бушует толпа. Опираясь о чьё-то плечо, я доковыляла до окна, выходившего как раз на ту площадь, где Иешуа разрешил торговлю. Окно было забрано деревянной решёткой, защищающей и от воров, и от палящего солнца. Приникнув к щели между наклонными планками, я постаралась увидеть, что творится внизу. С десятками факелов, освещаемые и уличным треножником, мрачно бесновались полуоборванные подростки. Именно это и бросилось мне в глаза: большинство в толпе были мальчики не старше четырнадцати, но были и старики, многие одетые в белое. Они всё время что-то кричали и колотили палками о камень уличной кладки.

Потом меня стали оттаскивать от окна, и я не сразу поняла, почему — пока несколько планок не расщепилось и не загремела, рассыпаясь и разваливаясь, посуда с полок. Камень, пущенный умелой рукой из пращи, разминулся с моей головой совсем немного. Я вышла, подталкиваемая, из маленькой комнаты в большую и угодила в людской водоворот. Свет ослепил меня, а слышать я ничего не могла из-за адского грохота. Испуганные и злые люди в медных шлемах и шапках из вываренной кожи, с копьями и мечами в руках откуда-то появлялись и тут же исчезали. Потом я увидела Марию и бросилась к ней, но не дошла и упала, а когда поднялась, её уже не было. Иди вниз! — приказал кто-то, и я пошла. Там было ещё теснее. Пронесли кого-то на руках; голова его болталась как бы отдельно от туловища. Крики стали громче, и я поняла, что уже давно слышу какие-то мерные удары, от которых вздрагивает пол под ногами. Когда я это поняла, входная дверь рухнула, и просунулся конец бревна. Кто-то из наших с воем бросился рубить его топором; его оттащили. Бревно исчезло, и как по команде в дверь всунулось несколько толстых пик с чёрными четырёхгранными наконечниками, а вслед за пиками полезли здоровенные парни в рванине. Их сила и упитанность никак не сочетались с одеяниями, здесь было что-то неправильное. Но у них не было щитов, и наши, одолев мгновенную растерянность, стали метать в них лёгкие дротики. Кто-то упал, остальные бросились назад. Меня подхватил Нубо, оттащил немного в сторону. Я увидела, что его меч в крови. Они хотели забраться сзади, сказал он. «Где мой брат?» — спросила я. «Он здесь, — Нубо огляделся, — я только что видел его». Сзади раздался шум схватки, крики и чей-то смертный стон. Я отступила за занавес, там дрались в полной темноте, Нубо как будто увидел кого-то и пантерой метнулся в самое пекло, что-то хрястнуло, стало светлее. Это выбивали ставень. «Отдайте нам бар-Аббу, и мы уйдём!» — хрипло орали на улице. Я споткнулась и упала под стену, на меня навалился кто-то тяжёлый и тут же умер. Пока я выкарабкивалась, эта комната опустела, шерстяной занавес в углу горел жёлтым вонючим пламенем. Четыре или пять тел лежали неподвижно, кто-то пытался ползти, но лишь сучил ногами. «Нубо!» — тихо позвала я. Надо было уходить, огонь разгорался. Я подобрала короткое копьё — не драться, а как посох. Повисая на нём, я выбралась в зал, где Иешуа проводил наши «тайные собрания». На меня тут же, пятясь, налетел парень в рванине и уронил, но и упал сам. Я тут же на миг увидела знакомое лицо, это был Горожанин, он ткнул упавшего мечом и побежал дальше. Упавший забился молча — меч вошёл ему над ключицей. Под рваньём у него было что-то твёрдое — наверное, панцирь из варёных кож. Меня снова нашёл Нубо. «Уходим!» — сказал он. Дом уже горел. Мы выбрались через кухню на задний двор. За забором, во внутреннем садике, шла страшная схватка, рубка на мечах и топорах. Туда, показал Нубо в другую сторону. По рассыпающимся дровам мы забрались на хлебную печь, а с неё — на крышу длинного глинобитного сарая, крытого по греческому обычаю тростником. Бежать можно было только посередине крыши, по балке. Вдруг Нубо охнул и пропал. Я осторожно спустилась следом. Сарай был конюшней, почему-то совсем

пустой. Нубо подвернул ногу, но идти пока мог. Тут же послышались голоса: в конюшню вошли несколько возбуждённых подростков. Что это подростки, я слышала по голосам. Они что-то тащили. При этом я никак не могла понять, что они говорят, я как будто забыла все слова. Что они говорят?—хотела я спросить Нубо, но он зажал мне рот горячей рукой. Рука его пахла кровью и рвотой. Потом он, когда понял, что я молчу, отстранил меня и шагнул из стойла в коридор. Там что-то очень быстро произошло. Нубо вернулся, поманил меня за собой. Мальчишки ещё корчились на полу, а под стеной извивался и скулил какой-то свёрток. У меня в руке откуда-то был нож, я разрезала верёвки. Из свёртка на меня смотрели два огромных глаза. Кое-как я смогла размотать проклятый плащ и вытащить тряпку изо рта девушки. Это была Эгла, старшая дочь одного из наших апостолов, Иегуды бар-Яакова по прозвищу Таддий. Тише, сказала я ей, и что случилось? Она с братом жила сейчас рядом с городом, в Бет-Ханане, по соседству с Элиазаром и его сёстрами, и она как раз зашла к сёстрам за нитками. К Элиазару прибежали какие-то люди и сказали, чтобы он спрятался, иначе его убьют, и Элиазар тут же приказал ей бежать к царю Иешуа и к отцу предупредить их, что начинается мятеж. Она тут же побежала и не знает, что с ним случилось потом, а сама она не успела, здесь уже толпились, и она укрылась в доме напротив, а потом, когда стали ломать двери, не выдержала и побежала в обход площади, и её схватили. Пойдём, сказал Нубо. Вдруг оказалось, что я не могу встать. Идите сами, сказала я, и тут стало темно и горячо. Потом я снова пришла в себя на какой-то плоской крыше, одна. Эгла вернулась с медным кувшином, смочила мне лоб, дала напиться. Вставать было нельзя, мы лежали и слушали, ничего не понимая. Были завывания и рёв, и звуки ударов топора в мясо. По улице кто-то пробежал с факелами, высоко задирая ноги и волоча на длинных крючьях голые трупы. Беззвучно появился Нубо, лёг рядом. Наших нет нигде, сказал он. Несколько домов горели, к ним катили бочки на колёсах, били в кимбалоны и трубили в рога. Мне вдруг стало всё равно, что будет со мной и всеми другими. Пойдёмте, я знаю куда, сказала я, и мы пошли совершенно открыто, пересекли Навозную дорогу и вошли в дом, в котором я договорилась с хозяевами, что они спрячут маму и младших. Дом был пуст, всё перевёрнуто и занавеси сорваны на пол. Не имея сил, мы повалились под стены. «Нубо,—сказала я немного погодя,—тебе надо уходить». Он не отозвался. Мне показалось, что он мёртв. На теле его не было видимых ран, и наверное, он умер оттого, что разорвалось его сердце. Я ничего не почувствовала. Эгла то ли спала, то ли тоже умерла. Я просидела до рассвета. Так сидят под водой, затаив дыхание и легонько покачиваясь в такт волнам.

Утром я снова очнулась и решила было, что всё, что было, мне привиделось в бреду, настолько оно было невозможным. Рядом со мной не было ни Нубо, ни Эглы, и разве что комната была не моя, но это ничего не значило—так мне казалось. Я попыталась встать и чуть не напоролась на нож, так и зажатый в руке. На голове моей была шапка из толстой кожи с приклёпанными бронзовыми пластинами, грудь закрывал короткий фракийский панцирь, заляпанный страшными пятнами. Я ничего не понимала. Доспехи были настолько тяжелы, что мне пришлось их снять—только тогда я смогла подняться, опираясь на стену. От ушей к глазам перекатывалась тошнотная вязкая волна. Я добралась до угла и там осквернила какой-то горшок. Стало немного легче. Я нашла среди разбросанных вещей чистый плащ, накинула его, какой-то тряпицей протёрла лицо. Приоткрыла дверь. Холодным ветром в дом внесло горсть золы; сильно запахло горелым. Я вышла, пытаясь понять, где я и что я тут делаю, но этого города я не помнила и никогда в нём не была. Потом я услышала много шагов, посмотрела в ту сторону. Ко мне приближалось человек десять—кто-то в повседневной, кто-то в праздничной одежде; впереди шёл священник и два стражника.

—Я её знаю!—закричал кто-то; голос показался мне знакомым, но, повторяю, в те дни я просто никого не узнавала.—Это его сестра! Уж она-то опознает!

И меня, подхватив под руки, стражники то ли понесли, то ли поволокли куда-то, по лестнице вверх, по лестнице вниз, за поворот—и вдруг я оказалась на обширной площади, какой никогда не было в Иерушалайме, она была размером с весь этот город, края её загибались к небу, и она была выложена красным обожжённым кирпичом. Никакое число людей не могло бы заполнить её, и потому люди стояли маленькими толпами, прижимаясь друг к другу, потому что иначе им было страшно. А посередине этой площади, страшно изломанный, лежал, раскинув руки и сложив по-детски ноги, неузнаваемый человек, всё тело которого было кровавой корой, а волосы—спёкшейся глиной. Глаза вытекли, носа не было и не было губ. Наверное, ему выдернули бороду вместе с подбородком—там под сгустком крови виднелась кость. Я склонилась над ним, чтобы посмотреть на плечо, где, может быть, сохранилось белое незагорающее пятно, но былая муть качнулась у меня в голове, а перед глазами вдруг откуда ни возьмись выросла пылающая лиловая пятерня с загнутыми короткими когтистыми пальцами, и как бы я ни устремляла взгляд, она всегда оказывалась на пути, позволяя увидеть лишь то, что сбоку. Я, наверное, в первый миг шарахнулась от неё в испуге, потому что кругом завыли: «Узнала! Узнала!» Но я покачала головой и наклонилась ещё ниже, и тут мне показалось, что этот человек ещё жив. Вернее, что именно сейчас, только сейчас, душа его покидает истерзанное тело. Да. Вот она коснулась меня…

Это был бар-Абба.

Я подняла голову и посмотрела вверх. Застилающая мир рука на миг исчезла. В небе кружили птицы.

—Так ты его узнаёшь?—спросил меня священник, грозно стукнув посохом.

—Нет,—солгала я.

— Это твой брат? — повторил священник.
— Нет, — сказала я и встала. Ног у меня не было, но я всё равно встала.
— Она лжёт! — закричали со всех сторон, и я видела, как они бросились на меня. Но я продолжала стоять даже под первыми ударами.

Я пролежала как мёртвая почти два месяца. Всё это время бар-Абба был со мной. Я помню его мягкое присутствие. Он и только он дал мне силу выжить. Потом бар-Абба незаметно ушёл, а я очнулась.

Не хочу рассказывать про первые седмицы моей новой жизни, это были лишь боль и унижение. Будем считать, что жить я начала в тот день, когда впервые сама спустилась на первый этаж, вышла во двор, постояла там, а потом поднялась обратно.

Дни стояли чудовищно жаркие, и ночи не давали облегчения. Будто невидимая жаровня висела в небе. Поникли даже пальмы. Рынок был пуст. Все говорили о близком голоде и конце времён.

Иешуа, Мария, а с ними Иегуда Горожанин и Иоханан бар-Забди с некоторым числом воинов укрылись в Дамасских землях, в крепости Зегеда; асаи приняли его, Храмовым же стражникам туда пути не было. Говорят, Ханан и Иосиф Каменный просили войск у Пилата, но тот войск не дал, сказав, что Рим не вмешивается в религиозные споры.

Мой брат Яаков остался в Иерушалайме, и его не тронули.

Сколько наших погибло в ту страшную ночь и в следующий за нею день, не знает никто. Говорили, что более трёх сотен. Полностью уцелели те апостолоны, что двинулись на помощь Арете. Пока я лежала, произошла битва между Аретой и Иродом Антипой; армия Антипы была разбита наголову; впрочем, сам Антипа в битве не участвовал, оставшись после праздника опресноков в своём дворце в Иерушалайме. Отступало разбитое войско его через Иудею, что вызвало недовольство Пилата; впрочем, задним числом он дал им разрешение на это. Множество раненых разместили по домам Иерушалайма и сколько-то довезли даже до Еммауса. Все считали, что такой разгром произошёл потому, что Антипа казнил Иоханана, которого многие считали пророком Илией. Когда раненые солдаты узнали, что в Еммаусе есть дом, в котором лежит без жизни, но и не умирает при этом вдова Иоханана, они стали приходить под окна и просить прощения; и они приносили жертвы и молились во всех синагогах города, прося Предвечного о моём выздоровлении. И когда я стала появляться во дворе, слух об этом разнёсся широко. Почтение и восторг, с которыми относились люди к моему мужу, вдруг оказались незаслуженно перенесены на меня и на моих детей.

Стало известно, что после страшной ночи римские солдаты арестовали в Иерушалайме и Иерихоне около полусотни человек и среди них — Оронта. Он заключён был в крепости Антонион, и дело его разбирал специальный судья, прибывший из Антиохии. В конце лета объявлено было, что Оронт казнён как парфянский шпион, но говорили, что он умер в тюрьме от старости; говорили также, что судья сам дал ему яд, дабы скрыть многие тайны.

Глава 33

Я уже говорила, что в те дни, когда меня, в сущности, не было на свете, мир охватило страшным зноем, и он не унимался и тогда, когда я стала подниматься на ноги. Выгорали посевы, а быки сходили с ума и разносили свои хлевы. И многие люди лишались рассудка легче, чем в обычные годы. Я тоже понемногу лишалась рассудка — и от горя, и от болезни, и от зноя, не дающего отдыха. Тогда я стала просить маму, без которой всё ещё не могла сделать и сотни шагов, отвезти меня к воде. Я была нетерпелива и зла, и мне казалось, что мама слишком медлит, а значит, затевает что-то против меня.

Однажды ночью я без памяти выбралась на крышу дома и стала что-то кричать, угрожая небесам. В ответ раскатился гром, и со стороны Египта налетел такой ветер, что казалось, что он исходит из огромной печи для плавки меди. Ещё немного, и дома и люди вспыхнули бы, как если бы сделаны были из соломы. Но с часовым запозданием сгустились тучи, и с неба ударили струи горячего ливня. Те, кто собирал дождевую воду в бассейнах и бочках, говорили потом, что дождь этот был жёлтый и вонючий, как верблюжья моча. Но потом ливень остыл, а ветер переменился и усилился; немало деревьев было свалено им, а все крыши, уложенные на греческий манер, улетели. Местами ветер сгущался в чёрные столбы, сметающие на своём пути даже каменные постройки. Так длилось полтора дня, после чего ещё раз пролился дождь, на этот раз прямой и обильный, и всё стихло.

Кто нас предупредил о том, что «кровавый синедрион» собрался вновь и на этот раз постановил тайно захватить нашу семью, дабы вынудить Иешуа сдаться, я не помню. Всё запечатлелось в моей памяти очень отрывочно: пробуждение средь ночи — в небывалой прохладе, — и вот мы уже пробираемся куда-то в темноте, раздвигая мокрые кусты, а вот утро на дороге, солнце в спину и длинные тени впереди нас, я сижу на спине ослика, остальные идут пешком, а вот какой-то постоялый двор, откуда-то взялся Нубо, и я прощаюсь с мамой и детьми и думаю, что не увижу их больше, но у меня нет ни слёз, ни даже сожалений, я похожа на деревяшку. Я откуда-то знаю, что мне нужно держаться подальше и от Галилеи, и от Иерушалайма, и мы с Нубо едем в Зегеду, вдвоём на одной лошади. Я помню вот эти отдельные кусочки событий, причём помню их так, как будто они происходили не со мной.

Дальше я помню Зегеду, как карабкаюсь по шаткой лестнице, связанной из тонких палочек, а потом меня втаскивают наверх на верёвке. Здесь много людей. Потом я оказываюсь где-то в темноте.

Но это был уже последний приступ той странной лихорадки, что чуть не свела меня в гробницу. Я тогда как бы по-настоящему проснулась, мой рассудок был ясен и чист, а память властно требовала, чтобы её наполнили…

Пока я лежала без жизни, и Иешуа, и Мария уже увидели, во что я превратилась. Костлявое

безволосое полуслепое чудовище с отвисшей повсюду кожей. Такими иногда бывают древние старухи. Ещё я стала вспыльчивой и нетерпимой — брат посмеивался: как настоящая пророчица. Он тоже стал другим, и я чуть попозже расскажу об этом. Мария поплакала надо мной, но честно сказала, что боится меня — боится того, во что я превращаюсь. Я её поняла и не настаивала на частых встречах. Частых — это когда больше десяти раз в день. В Зегеде было очень тесно. Чудовищно тесно. После разгрома Антипы люди во множестве бежали из южной части Переи, и многие бежали сюда, где, по слухам, обосновался второй Шимун-избавитель, которого иерушалаймские извратители веры едва не извели чёрным волшебством и кровавым предательством, но Бог его спас — спас, разумеется, для последнего и победоносного похода.

И те, кто видел Иешуа, приходили в изумление, насколько он похож на Шимуна…

О да, Иешуа изменился. Мне кажется, в нём что-то сгорело, и он более не испытывал губительных — так он думал — колебаний. Теперь он был каждодневно занят тем, что обучал своё, увы, уже не столь многочисленное, войско. Но в это войско влилось немало молодых асаев, обученных своими учителями воинского искусства, и цореков-сиккариев, которые успели разочароваться в хашидах — те-де лишь обещают скорую смерть во имя Господне, но боятся и палец о палец ударить. Иешуа же сказал твёрдо: ещё не настанет время жатвы, как я приведу вас на другую, великую жатву; и мало кто вернётся с неё.

Круглые сутки горели горны и стучали молоты.

Всего под рукой Иешуа было две тысячи бойцов.

В начале месяца панема, когда вновь установился страшный зной, к Зегеде подступило до четырёх тысяч стражников, вооружённых, как римляне. Они тащили подвижные башни и метательные машины. Став лагерем не далее чем в шести стадиях, стражники перекрыли дороги, ведущие на север и на восток, и начали строить осадные сооружения. Но в первую же ночь отряд асаев в триста примерно человек сделал вылазку, тихо вырезал часовых и спящую охрану и поджёг подвижные башни. Потом они ускользнули от погони и вернулись в крепость, потеряв лишь девятерых заблудившимися.

Потом из этих девятерых трое вернулись, рассказав, что случилось, а шестеро попали в руки стражникам. Днём мы все видели расправу над ними…

Теперь Иешуа окружали совсем другие люди, мало похожие на прежних апостолов. И асаи, и ревнители были фанатически религиозны; я знаю, что, когда Утёс и Неустрашимый со своими бойцами захотели войти в крепость и присоединиться к воинству, их не подпустили и близко, потому что они где-то когда-то недостаточно почтительно отзывались об Иешуа. Ему самому ревнители тогда ничего не сказали, он узнал о происшествии только через декаду или больше.

Большую часть времени я проводила с Марией. Она была охвачена каким-то мрачным возбуждением; время от времени её, напротив, охватывало чувство вины, она плакала и говорила, что все неудачи — из-за неё.

Однажды я случайно увидела Иешуа наедине с самим собой, когда он думал, что рядом никого нет. Он пытался, как в детстве, подбрасывать мешочки с песком. «Не думай о руках! — вспомнила я. — Забудь про руки и смотри только вверх. Руки тебе мешают. Расслабься, как будто хочешь уснуть…» Но он уже не мог забыть о руках, и я сама ощутила весь его ужас, когда ему чудом удалось продержать недолго в воздухе пять мешочков. Потом они упали.

Стражники развернули метательные машины напротив крепости и занялись методическим обстрелом. Я уже упоминала о том, что крепость была не столько построена, сколько выдолблена в горе и самим сооружениям эти обстрелы поначалу не приносили вреда. Другое дело, что при такой чудовищной скученности людей, как в Зегеде, сразу появилось множество раненых и несколько убитых. К Иешуа тут же подступились начальники войск и потребовали сделать вылазку и уничтожить метательные машины. На что Иешуа сказал, что противник именно этого от нас и ждёт и наверняка припас какую-то хитрость; да и лагерь уже ощетинился частоколом. Нет, сказал он далее, мы прикинемся слабыми и выманим его на приступ, после чего ударим с неожиданной для него силой.

Следует сказать, что местность вблизи Зегеды ущелиста и плохо проходима; драться здесь остриё на остриё для нас невыгодно, поскольку людей у нас меньше вдвое, и то если мы видим все силы противника, и они нигде не прячут запасное войско.

Иешуа предложил свой план: каждую ночь из крепости будет уходить столько бойцов, сколько может просочиться горными тропами незаметно для стражников. Когда в потаённом месте в тылу стражницкого лагеря накопится человек шестьсот, гарнизон крепости пойдёт как бы на вылазку. Чтобы стражники поверили, что вылазка эта от отчаяния, следует распустить слух, что в крепости кончилась вода (на самом деле вода кончиться не могла, потому что из крепости был пробит ход прямо под один из рукавов Иордана [11]). Для этого самым отчаянным бойцам придётся рисковать и жертвовать собой, под стрелами противника таская воду из реки к стенам крепости. Понятно, что стражники перебросят на другой берег Иордана немало лучников, чтобы прекратить это. На том берегу уже стоит около пятисот солдат, прикрывая переправу от возможного нападения

11. Так в рукописи; приходится думать, что в описываемое время топография местности значительно отличалась от нынешней: сейчас русло Иордана не дробится на рукава, проходит в пяти километрах восточнее горы Кумран, а почва речной долины засолена настолько, что там нет никакой растительности. Впрочем, на снимках со спутников видны пересохшие русла примерно в описываемых местах.

Ареты. Арета отпускает пришедших к нему бойцов понемногу, а не сразу, поскольку его и Антипы войной очень недоволен сирийский прокуратор Вителий. Прежнее войско Иешуа накапливается в низовьях Наганиила, откуда до Зегеды ровно один переход. Итак, в обусловленный день начинается вылазка из крепости; когда стражники выстраиваются, чтобы дать отпор, им в спину бьют те, кто ушёл в засаду. Наверняка на помощь основным силам стражников бросится отряд, который на левом берегу прикрывает переправу и отстреливает наших водоносов. Но не менее вероятно, что многие из солдат основного отряда, атакованные с двух сторон, побегут на переправу же... Начнётся смятение и неразбериха, и в этот момент в спину переправляющимся ударят подошедшие бойцы из армии Ареты.

Кто-то из ревнителей предложил, и предложение тут же подхватили остальные, чтобы за водой на берег Иордана ходили не мужчины-воины, а женщины и подростки—это-де придаст картине катастрофы большую выразительность; я сказала, что готова возглавить этих людей. Я видела, что для Иешуа это предложение было неприятно, но он промолчал.

Ночи, увы, были лунные. Спустившись к подножию крепости и собравшись под защитой домов, мы перебегали дорогу и с мехами и кувшинами в руках бежали по усыпанному мелкими камнями пологому склону к берегу, к полоске жидких кустов. Потом, наполнив сосуды ненужной водой, возвращались обратно, передавали их наверх, подхватывали пустые, бежали обратно и так до тех пор, пока не переставали держать ноги...

После первой, совершенно спокойной, ночи наши враги выдвинули к крепости несколько десятков лучников и пращников; от стрел, метаемых со стен, их прикрывали большие, в полтора роста, деревянные щиты, которые просто ставили на землю. У нас появились первые потери—пока только ранеными. Но стоны и крики женщин, похоже, лишь раздразнили врагов.

На третью ночь большой отряд—наверное, в полторы сотни—переправился через Иордан и засел там и тут в дельте, недосягаемый для наших стрел и камней; мы же, водоносы, на берегу оказывались перед ними как на ладони. Только в первую ночь два десятка женщин, девушек и мальчиков остались лежать на камнях—либо упали в воду, и их отнесло течением. Вдвое больше получили страшные раны, поскольку враги использовали стрелы с наконечниками, как у гарпунов; многие умерли в мучениях. Весь день со стен нёсся плач по погибшим, а едва упала тьма, новые десятки водоносов бросились навстречу смерти.

Среди нас была и Мария. Я ни о чём её не стала спрашивать, а сама она ничего не сказала. Утром мы молча обнялись.

Прошло ещё две ночи. Убитых и раненых стало много меньше, потому что мы тоже начали использовать деревянные щиты. На берегу слышно было, как враги громко хвастаются друг перед другом своими достижениями. Стрелы находили меня раз десять, но Предвечный ещё и тогда не решил, что со мной делать, так что они лишь рвали одежду, болезненно резали или царапали кожу, только одна нанесла заметную рану: пробила навылет левую руку на три пальца выше запястья, пройдя аккуратно между костями. Я донесла полный мех и упала—наверное, просто от страха. Древко стрелы переломили и вынули, рану забинтовали, и вскоре я вновь присоединилась к остальным. Мария тоже пострадала: брошенный метким или особо удачливым пращником свинцовый шарик попал ей в шею сзади и сбоку, пониже уха. Она упала и не могла сама встать, её вынесли на руках. На месте удара образовалась багровая опухоль размером с кулак, которую позже пришлось разрезать и выпустить дурную чёрную кровь.

За это время почти четыре сотни наших воинов просочились за спину врагам. Оставалась последняя ночь, бой был назначен на предрассветный час. Иешуа уже знал, что отряд от Ареты вечером покинул свой лагерь и теперь бежит по ночной дороге. В бой им придётся вступать усталыми, но зато бить по изумлённому противнику.

Вместе с водоносами сегодня пошли и самые искусные стрелки: им приказано было засесть за щитами, установленными на берегу, но в перестрелку не вступать и вообще не показываться до тех пор, пока враг не начнёт переправляться. Под видом кувшинов мы таскали им вязанки стрел. Может быть, враг пресытился кровью, а может быть, мы научились укрываться даже там, где укрыться нельзя, но в ту ночь среди водоносов погибло всего семеро.

Когда луна опустилась за гору, а солнце ещё не поднялось, остававшиеся в крепости воины спустились со стен; несколько десятков сиккариев растворились в темноте, остальные построились у подножия горы. Для Иешуа и других начальников войска спустили коней; я слышала их задавленное ржание.

Вдруг в лагере врага зазвучали рожки, потом взвилось пламя, послышались крики и команды. Сиккарии, как выяснилось позже, проникли в самое сердце лагеря и напали на палатку тысячника Нахума бен-Хиэля, который и командовал всеми пришедшими сюда. Убить его не удалось, но несколько других тысячников и сотников, собравшихся в тот час у командира, погибло или было ранено, равно как и множество стражников; что замечательно, большая часть сиккариев вырвалась из окружения и скрылась в тёмных расщелинах. Немного передохнув, они присоединились к сражению...

Пока бой шёл в самом сердце лагеря, наши воины бросились к его воротам и столкнулись со стражниками, только начавшими строиться. Было ещё темно, поэтому удар получился совершенно внезапный. Наконец наши, устав убивать, отскочили, чтобы хоть несколько минут передохнуть, но и этого им не удалось. Разъярённые стражники снова и снова бросались в бой плотными толпами,

мешая друг другу; и наши снова убивали, сколько могли, и снова отскакивали. Вот стало светать, и у стражников объявились командиры, которые носились на конях вокруг своих войск, сбивая их в строй, как пастухи и собаки сбивают стадо. И только после этого наши смогли отойти и перестроиться.

Взошло солнце и осветило побоище. Через моё волшебное стёклышко я увидела Иешуа: в белом плаще, без шлема, он стоял на высоком камне, когда-то вырубленном из скалы, но брошенном здесь без пользы. Рядом кто-то держал в поводу его лошадь.

В большинстве своём выйдя из лагеря, стражники перегородили всю долину, так их было много. Пыль, взбитая ногами, висела над головами подобно расслоившемуся дыму. Возможно, стражники даже и не понимали ещё, скольких уже потеряли. Наш строй против их строя был что Давид против Голиафа.

Я бросилась вперёд и влево, поближе к воинам и скалам. У меня откуда-то взялось копьё в руке и старый шлем на голове. Шестеро мальчишек, учеников асаев, увязались за мной, кто с копьями, кто с пращами.

Примерно с полчаса ничего не происходило. Воцарилось молчание, какое бывает в небе перед большой бурей.

Потом над стражницким жёлто-коричневым строем развернулись и заколыхались знамёна, раздались звуки рогов и флейт. Строй двинулся навстречу нам—медленно и размеренно. И тут же зазвучали наши рожки.

Теперь мне надо рассказать, как Иешуа обучал наших воинов, пока на это было отпущено время. Если у стражников главным оружием было копьё, то у наших стало—щит. Крепкий тяжёлый дубовый слегка выгнутый щит, в котором наконечник копья застревал даже при самом сильном ударе. Сомкнутая шеренга, прикрытая от глаз до колен, была практически неуязвима, но главное не в этом. Разогнавшись сначала в быстром шаге, а потом в ритмичном беге, такая шеренга с лёгкостью опрокидывала строй, вооружённый копьями и небольшими круглыми щитами,—даже если в том строю воины стояли в несколько рядов; но ведь и наша шеренга бежала не одна, и в момент соприкосновения с врагом в спину наших воинов упирались щиты их товарищей, усиливая и без того страшный натиск. А после того, как нарушался вражеский строй и частый гребень копий исчезал, в ход шли наши железные мечи, заточенные до остроты бритвы.

Не буду лгать—я не видела, да и не могла видеть всей битвы; и дело не столько в слабости моих глаз, сколько в облаке лёгкой, но плотной пыли, тут же поднявшейся из-под множества ног. Но я многое слышала и понимала, что происходит…

Слышно было, как медленно и непреклонно набирают темп ходьбы, а потом бега наши воины. Земля стала как бы огромным полым барабаном или настилом моста, который дрожит и подпрыгивает под множеством бьющих в такт подошв. Наша шеренга была, я думаю, впятеро короче строя противника. Я почти угадала момент удара—с точностью до нескольких сердцебиений.

Наш строй врезался во вражеский несколько левее его центра. Докатился чудовищный звук, который просто ничем не передать. Вопль ужаса вознёсся за несколько долей до того, как пришёлся самый удар—множеством тяжёлых деревянных колотушек по недостаточно защищённым телам. Стражники поняли, что копья здесь ничего не стоят. Возможно, души их вырвались из тел с тем воплем, не знаю. А потом будто захлопнули крышку…

Дальше был сплошной стон или вой.

Те части строя врага, что не попали под удар, вели себя по-разному. Тысяча, оказавшаяся ближе к скалам, почти сразу начала разбегаться, и многие просто побросали оружие и доспехи, чем в большинстве и спаслись. Две же тысячи, что были ближе к берегу, попытались развернуться и охватить наших с фланга. Однако тут в спину им вцепились наши воины, до того обошедшие лагерь по горам. Эти не имели тяжёлых щитов и действовали не плотным строем, а россыпью, но и против них у стражников не оказалось защиты—тем более что нападение было внезапным и страшно кровавым. Вот тут я видела, и пыль не всё закрыла, как начинает бежать армия. Только что это был гранит, а стал песок. Стражники бросились к переправе и там действительно смешались с отрядом лучников, пытавшимся прийти на помощь. Иордан в этом месте, перед разделением на рукава, довольно широкий, но мелкий, по грудь или шею, и по расчищенному броду его перейти легко; но в сторонах от брода есть и ямы на дне, и камни. Думаю, град из стрел, что обрушили на переправу наши лучники, взял самую малую долю из погибших там. В воде дрались, утратив весь рассудок, свои со своими; река текла кровью, и это не книжное красное слово.

А чуть позже на том берегу появились, словно ниоткуда, несколько сотен наших воинов…

Но бен-Хиэль был не самым бездарным военачальником. О нет, он был по-своему прекрасен и гениален, и таких других я не знаю нигде. Потеряв более половины войска за каких-то три часа сечи, он сумел преломить панику в своих бойцах и собрать тех, в ком ещё не весь иссяк дух, вокруг себя. Жёлто-коричневые ряды вновь выстроились, плотно сжавшись, поперёк Иерихонской дороги, отойдя немного за лагерь и бросив переправу, ставшую ловушкой для многих несчастливых. Ступившие в воду так и не вышли из неё…

Иешуа велел трубить сбор. Увлёкшись рубкой бегущих, войско вполне превращалось в разрозненную толпу, уязвимую даже для медлительных кушан. Кроме того, все безумно устали; многие были ранены легко или средне, но держались на ногах благодаря боевому порыву; в новой же схватке сил их могло не хватить.

Линию сбора обозначили семеро всадников с высокими апостолонами—пожалуй, единственным,

что у Иешуа осталось от прежнего. Туда двигались, если могли их видеть сквозь плотную пыль, усталые воины; прочие брели на звук рожков. Был бы кстати самый лёгкий ветер, но его не было; зной набряк, как нарыв, болезненный, ещё не готовый прорваться. Я, ведя за собой моих лучников и пращников (число их возросло), устремилась к брошенному лагерю: заняв его дальнюю стену и смотровую вышку, мы могли бы поражать и часть строя врага…

То, что произошло, произошло в четверти стадия от меня и на моих глазах, но я так ничего и не поняла. Иешуа ехал на коне среди других начальников войска, из которых я знала лишь Иегуду Горожанина и Иоханана бар-Забди; навстречу им разрозненно шли раненые или просто слишком усталые воины, повесив свои щиты на спину или волоча их по земле. И вдруг Иешуа исчез в один миг: вот он только что был, а вот его уже нет. Я вскрикнула и бросилась туда, продираясь сквозь ставшую вдруг слишком плотной толпу. Я почти добежала, когда совсем рядом раздался страшный рёв: «Барра!!!»

Это были римляне. Их бронзовые шлемы и щиты и красные плащи вдруг оказались совсем рядом, на бросок дротика. Туда!—я послала свой отряд в сторону переправы, а сама попыталась прорваться к Иешуа; тщетно. Меня подхватил вал бегущих. Римляне шли с двух сторон, от Иерихона и от Иерушалайма; чуть позже они показались и на той стороне Иордана; там их попытались задержать, но силы были слишком неравны. Вдруг я снова увидела Иешуа, совсем рядом—но нет, это оказался бар-Забди, накинувший его белый плащ, теперь запятнанный кровью. Он увидел меня и показал: там.

Иешуа несли на сомкнутых щитах; я видела, как волочится рука. Я услышала за спиной голос бар-Забди, вновь запели рожки, и тут же зазвенели мечи. Кто-то схватил меня за руку и поволок; это был Нубо. Я упиралась, но он был много сильнее меня.

Глава 34

Мой труд подошёл к концу уже хотя бы потому, что писать больше не на чем. Я могу послать мальчика в город, но это будет нескоро; да и нужно ли? Всё, что я хотела рассказать, я рассказала; Шаул же, назвавший себя Наималейшим, перестал быть мне интересен; я знаю, чего он добивается. Да, он и те, кто стоит над ним, хотят пошатнуть еврейскую веру и внедрить новое язычество, дабы укрепить власть империи, и мне всё равно, получится это у них или нет. Мне жаль только, что они используют для этого добрую память о моём брате. Но я бессильна им помешать.

…Римляне разгромили нас, усталых и не успевших собраться. Впрочем, успевших они разгромили бы тоже. Я не знаю армии, которая могла бы им противостоять даже по силам один в один; здесь же их было больше вдвое, чем нас.

Погибли почти все, кого я знала. Крепость Зеведу взяли к вечеру, и в ней потом ещё несколько дней что-то горело. Всего в плен к римлянам попало полторы тысячи мужчин и шестьсот женщин и детей. Мужчин распяли на столбах вдоль Иерихонской дороги; детей и женщин продали в рабство. Избежать этой участи сумели сотни две, не более. Мы с Нубо отлежались в тёмной лощине, под терновым кустом, слыша, как в трёх локтях над головами хлопают сандалии римских солдат.

Потом мы ушли, изображая из себя мирных беженцев.

На одном из столбов я видела Иоханана бар-Забди. Не знаю, был ли он жив к тому времени или уже нет. Его прибили коленями вбок, с дощечкой-седалищем, так что он мог прожить и несколько дней; не знаю.

Тела погибших наших зарыли вблизи крепости в двух огромных рвах. Я думаю, что Иешуа тоже лежит где-то там, среди людей, которые верили ему и которым верил он сам.

Иегуда сумел тогда спасти Марию. Они бежали по старой Содомской дороге вместе с десятком воинов. Позже они нашли пристанище у Ареты; однако попав из-за последних событий в страшную немилость к Вителию, Арета счёл за благо отослать беглецов ещё дальше, в Египет; известно, что в ту пору между наместниками Сирии и Египта не было дружбы, а была вражда.

В Египте Мария родила сына, которого назвала в честь деда Антипатром.

Три года спустя, когда Пилат уже был отозван, Ханан, ощутив свою полную неподконтрольность, послал отряд тайных убийц за Марией. Они захватили Филарета и пытали его так, что он показал им дом Марии. Убийцам удалось войти в дом, удавить Иегуду и Марию и похитить ребёнка. Говорят, Ханан мучительно умертвил его во время своих богопротивных магических практик. Может быть, да, может быть, нет. Скорее, я думаю, просто убил.

А за полгода до этого злодеяния в Самарии произошли другие события. Элиазар, Марфа и Мирьям не придумали ничего лучше, чем создать поминальное капище Иешуа на горе Геризим, священной для всех евреев, поскольку именно там Предвечный принял их под свою защиту; когда-то там стоял Храм, позже разрушенный, поскольку не может быть двух Храмов, и на вершине горы покоились зарытыми священные сосуды самого Моше. Чуть не вся Самария вдруг двинулась туда, на гору, говорят, было две тысячи, а говорят, что и пять тысяч человек; и вновь поддавшись клевете Ханана, Пилат отправил туда войска. Пролилось много крови; вдруг ощутив в себе любовь к народу, Антипа отписал наместнику Вителию, и тот прибыл сам разбираться с делами Пилата. Что из этого вышло, я рассказывала.

Мой брат Яаков остался в Иерушалайме и скоро стал знаменитым проповедником. Одни звали его Праведным, другие—Неистовым. Он всеми силами отстаивал чистоту писаного Закона и обличал тех великих, которые вольно нарушали его в свою корысть и удовольствие. Так продолжалось долго, но не бесконечно. После по синагогам

велено было говорить, что он в гордыне своей проповедовал с надвратия Храма и в него ударила молния. Многие видели, однако, как моего брата с перебитыми ногами затащили туда стражники и копьями столкнули вниз.

Об этой истории ходило много пересудов — как всегда, имевших мало общего с реальностью. Говорили, что Яакова погубил Шаул ха-Тарси, в ту пору один из служителей тайной стражи при прокураторе. Это не так, я проверила. Говорили также, что Яаков остался жив, только не мог более ходить на прямых ногах, а лишь на коленях. И это не так. Иосиф занял его место, назвавшись Яаковом…

(У них были грубые, израненные острыми сколами различных камней руки. Но души их были нежны и преданны. Мои братья. Мои любимые братья.)

…Его и многих других праведников и упрямцев побили камнями в лето безвластия — между кончиной несчастливого Феста и приездом Альбина. Через десять лет Храм рухнул.[12]

Я же после разгрома вернулась в Галилею, вся опустошённая и выжженная изнутри. Нубо сопровождал меня, почему-то всегда держась в отдалении. Он говорил, что быть рядом ему тяжело. Сначала я пришла в дом к маме, и мы с нею, с братьями и с моими детьми оплакали наши потери. Ещё и сестра Элишбет умерла, укушенная больным лисёнком. Её охватывали мучительные судороги, текла слюна. Пришедший цирюльник сказал, что спасти её нельзя и можно только облегчить муки, спустив злую кровь… Ему заплатили. Он сделал своё дело и ушёл.

Мы с детьми поселились в нашем разорённом и пустом доме в Геноэзаре. Без Нубо я ничего не смогла бы сделать; он же, бывший плотник, знал и множество других ремёсел. Что-то налаживалось, вставало на места. Однажды мы с ним отправились на ярмарку за гвоздями и скобами. Вернувшись вечером, мы не увидели в доме огня.

Обстановка была вновь порушена, и занавесы сорваны. Пол лип к подошвам. Дети мои лежали в углу, обнявшись. Я зажгла огонь и поняла: им перерезали горло и отпустили, и они бросились друг к дружке…

Это всё. Потом была только тьма.

ДиН стихи

Владимир Кудрявцев

С престола деревенского крыльца

У омута

Нарушила река обет молчанья,
Где каждый камушек — большой порог.
Где и журчанье, словно заклинанье
От скользких тропок и кривых дорог…

И всё ж, наивно доверяясь чувству,
Иду, как пленник грусти и тоски,
По берегу, не изменяя руслу,
До гибельного омута реки…

* * *

Крыльцо родное, как престол,
На царстве бедственного края.
Я в детстве на него взошёл
И до сих пор не отрекаюсь.

И верой-правдою служу
Ему, чужие взяв столицы,
А нашу старую межу
Я охраняю, как границу…

* * *

Отключусь от телефонной связи.
На бугре часовня без креста.
Гибельный ольшаник у моста
Весь в коросте пожелтевшей грязи.

Надо мною хаос облаков.
Ухожу…
        Вокруг светло и голо.
Но не с камнем — с думою тяжёлой,
И не в омут чёрный — в глубь веков…

* * *

Сельская площадь. Гуляет корова.
Флаг у правления, поднятый в честь
Механизатора Славки Седова.
Дальше размыто дождём — не прочесть…

Площадь почёта, волнений и казни.
Скорбный свидетель побед и невзгод.
Так отчего же здесь даже на праздник
Не собирается нынче народ?

Взмыли грачи над берёзовой рощей.
Село на изгородь вороньё.
Пусть и не Красная — сельская площадь,
Но и державной не быть без неё…

12. Многие исследователи прямо указывают на причинно-следственную связь между гибелью Яакова Праведного и началом Первой иудейской войны. В последние годы своей деятельности Яаков был очевидным религиозным лидером традиционалистов-патриотов и наиболее вероятным претендентом на пост первосвященника. Я могу лишь догадываться, почему Дебора, которая наверняка знала об этом массу подробностей, отделалась одним коротким, хотя и ёмким, замечанием.

Выпуск подготовила Марина Переяслова

Андрей Расторгуев

В междувечье

О чём это ветер в метельной поёт круговерти?
О жизни и смерти, товарищ, о жизни и смерти.
Он новый напев у надежды весенней берёт
и волчьею нотою тонкое горло дерёт.

Чернильная скоропись в шероховатом конверте—
о жизни и смерти, ребята, о жизни и смерти:
родители пятидесятое лето подряд
друг другу и с нами о новой любви говорят.

Как вышние воды, сочатся законы природы.
Но давят не многие годы, а низкие своды,
и чтоб удержаться на лезвии и волоске,
всё более воли приходится жать в кулаке.

Н. К.

Давай с тобой черты не перейдём,
ни камушка в грядущее не бросим—
удержимся, как задержалась осень
меж долгожданным снегом и дождём.

Давай поговорим о суете—
хочу тебя поднять над суетою.
Способно ли назваться высотою
сведённое к телесной простоте?

Но продолжай словесную игру,
почти уже дошедшую до края.
Молю—и медлю, нас оберегая
от разочарованья поутру.

Пускай в разъединяющей дали
за крепнущей стеною снегопада
нас не загложет поздняя досада,
что мы с тобой черты не перешли…

Время реже шевелит ресницами,
точно засыпает на бегу.
Мы рябину разделили с птицами,
поделили с птицами иргу.
Облепиха остаётся рыжая
на поживу сойке-снегирю.
Вот и всё, что уродилось-выжило
ныне к золотому сентябрю.
Пусть клюют зимой полуголодною
глухари, синицы и клесты…
Хоть зовут рябину черноплодною,
в ягодах ни капли черноты.

Как будто в небе вишня отцвела,
и лёгкий цвет слетел на город спящий,
и волоконца вешнего тепла
приблизились к нему по нисходящей.

А в поднебесье, видно, целый сад—
так долго лепестки летели свыше,
и размывались линии оград,
и умягчались улицы и крыши.

И посредине будущей воды,
сулящей вновь цветение и спелость,
не так хотелось в вечные сады—
и даже совершенно не хотелось.

С. К.

Как перехожий допотопный арий,
не знающий пути наверняка,
блуждаю меж планетных полушарий
в долинах твоего материка.

И, точно нескончаемые воды,
глубинами земными единясь,
великие и малые народы
отныне протекают через нас.

И звёзды в озарённые мгновенья,
покуда плоть со плотью сведена,
простор освобождая для творенья,
былые отрясают имена.

Наги перед небесной целиною,
мы заново её переживём—
как первое колено после Ноя,
засеявшее влажный окоём.

Жизнь то переплетается комом,
то взметается шалой водой.
У не очень старинной знакомой
муж недавно ушёл к молодой.
Отчего бы семье сокрушиться—
вроде женщина в самом соку…
То не бес под ребром копошится—
просто хочется жить мужику
и вершить плодотворное дело…
И когда ты ложишься со мной,
залюби моё жадное тело
до желанной истомы земной.

Коктебель. Музей Волошина

Плещутся купальщицы в воде,
уголёк под шашлыками шает…
Если верить каменной гряде,
суета поэту не мешает.

Он в недосягаемой дали,
соразмерный вечному пространству,
внемлет колыханию земли
и морского хода постоянству…

Коктебель! За тридевять земель
я к тебе тянулся, будто нетель,
слыша в азиатском «Коктебель»
то ли эховое «колыбель»,
то ли элегическое «белль»,
то ли экзотическое «бетель»…

Если напитаться между строк
слуховою влагой стиховою,
на пересечении дорог
и не то почудится с лихвою.

Но с ладонью влажной на скуле
заскулю от кукольного горя:
кто меня узнает на скале,
если рядом не найдётся моря?

И печатью на ком — не Бог,
нынче душу на кон — писать…
У меня на компе — блог,
у меня на компе — сайт.

Как на цинковый стол пластом,
другу или врагу на клик —
точно тихий в толпе стон,
точно на берегу крик:

— Знайте, люди, я тут живу —
тоже вроде энтузиаст…
Ни строкою свою главу
не допишет Экклезиаст.

Не в укор судьбе, не во спасибо
я сижу на берегу Транссиба,
где не застывает никогда
полая железная вода.

Тем, кого несёт она, живая,
ничего худого не желаю —
может быть, и сам не уплыву
поводом к чужому торжеству.

Здесь едва не каждому Харону
дадено по спальному вагону,
только пассажирам невдомёк,
почему везут не поперёк.

Или в эти морочные леты
мы плывём посередине Леты,
и четыре долгие струны —
всё, что уцелело от страны?

Который век под громыханье гроз
картошка воскресает, как Христос,
хотя разворошённый пух земной
едва прочнее толщи водяной.
Но срок живому овощу длинней:
до воскресенья девяносто дней,
когда сидим и плод его едим,
и целый мир един и невредим…

Парничок, теплица да сарайка,
облепиха, яблоня, ветла.
Грядки год не копаны — хозяйка
прежняя зимою померла…
Ничего, весной перекопаем —
чай, не отродясь на хрустале…
Покупаем дачу, покупаем —
сами прикрепляемся к земле.
Не усадьба в ближней деревеньке,
и запросом вовсе не пустяк,
а не спросим: почему за деньги,
если по названию — за так?
Знаем, что гроша не стоит слово,
и садам цена — не пятачок…
Огляди-ка пристальнее снова:
дом, сарай, теплица, парничок…
А земля вытягивала тело,
будто нас пыталась поддержать.
Очень жить хотела. Не хотела
холостою-вдóвою лежать.

Стиховою мерной речью
не в меженную струю,
мы застряли в междувечье
на мелеющем краю.
То недолгая заминка
на течении сквозном
или колкая соринка
на яблоке глазном,
или всё, что в слове этом
сквозь весёлое стекло
впечатлительным поэтам
померещиться могло…

Когда я душу отведу —
ни дня не знаю, ни дороги…
Её незримому труду
неосязаемы итоги.
Не рви её и не трави
у невесомого предела:
о неистраченной любви
жалеет вянущее тело,
а ей мирское — пустяки,
не заболит, не захлопочет —
несуетливые стихи
лелеет, лепит и лопочет.

Геннадий Иванов

Душа — на месте…

О мире

Я устал от тоски. Я не сплю.
Я стою у окна. Замерзаю.
Боже мой! Как я мир не люблю,
Как устройство его презираю!
Михаил Анищенко

Этого мира осталось, быть может, на годы,
Не на столетья осталось лесов и полей,
Птиц распевающих, в сердце поэта свободы…
Не проклинай этот мир, а его пожалей.

Что, Михаил, мы о мире воистину знаем?
Мы в этом мире пичужки, песок и трава…
Мы о нём знаем немного, хоть много страдаем.
Выстрадай душу, а всё остальное — слова.

Восхищение

Я прощаю вас, люди!..
Простите меня.
Если путь у вас труден,
Отдам вам коня.
Магомед Ахмедов

Прослышал я, что друг мой Магомед
Людей спасает от забот и бед.
И если у кого-то путь тяжёл,
Отдаст коня, чтобы пешком не шёл.

Какой ты добрый, щедрый, Магомед!
Я б так не смог. Коня к тому же нет.
А у тебя ведь тоже нет коня…
Но ты щедрее всё-таки меня.

Возражение

В моей стране так мало света,
Царят в ней деньги и чины.
В моей стране мечта Поэта —
Наесться вдоволь ветчины.
Николай Зиновьев

Как много света — выйди в поле!
Какая дивная страна!
Не унижай поэтов, Коля.
Зачем поэту ветчина?

Ему Катулл, ему Конфуций,
Ему божественные сны.
Поэту мало конституций!..
Ну что ему до ветчины.

Поэты ходят по фуршетам
И по банкетам, но всегда
На них не по себе поэтам —
Еда она и есть еда.

* * *

Звёзды чиркают небо, сгорая.
Над рекой догорает костёр.
Засыпаю под утро в сарае,
И мне снится такой разговор.

— Ты себя не обманывай, в мире
Было много таких же, как ты,
Тоже что-то бренчали на лире,
Но понять этот мир не могли.

Что поймёшь ты, то капля всего лишь.
Так зачем себя мучить, скажи?
Вдохновенно себя ты — неволишь…
— Я неволю себя для души.

А она и живёт только этим.
Что, прикажешь мне жить без неё?
Без неё одиноко на свете,
И бессмысленно всё бытиё.

— Что душа? Это выдумки ваши,
Всё метафора только одна,
Чтобы мир-то обманывать краше…
Я проснулся, вокруг тишина.

Добрым солнцем туман был просвечен,
От костра чуть струился дымок.
И опять я ходил по-над речкой
И чего-то понять я не мог.

А потом мне почудилась песня.
Этой речки? Травы? Камыша?
И была, слава Богу, на месте —
Где, не знаю — на месте душа.

* * *

Стоят у деревни три стога.
Как три рассуждающих бога…
И есть им подумать о чём —
Ведь жизни всё меньше кругом.
Всё меньше заботливых рук,
И глуше пространство вокруг.

И мы на крыльце рассуждаем,
И выхода тоже не знаем.
Глядим на вечернюю тень —
Темнеет, кончается день.
Темнеют холмы и луга.
Сливаются с небом стога.

В Чегеме

Как странно:
На могиле Кайсына Кулиева мне радостно.
Как будто я встретился с самим поэтом…
Так не бывает на могилах родственников —
Там всегда есть чувство утраты или даже вины.
А здесь — чувство обретения,
Чувство радостной благодарности
За то, что его стихи меня радуют, умудряют
И укрепляют в жизни.

Я стою над могилой
Рядом с памятником из белого мрамора.
Прекрасный памятник, прекрасный образ поэта.
Белый мрамор символизирует светлую душу Кайсына,
Искренность и чистое мужество.

Хорошо ходить по дому поэта,
Который стал музеем,
Хорошо вспоминать его стихи и поговорки —
Мне нравится такая:
«В горах ценится длинная верёвка, но короткая речь».
Хорошо постоять под огромным раскидистым орехом,
С которого планируют, как птицы, большие осенние листья.
Хорошо опять вернуться к могиле
И словно бы поговорить с поэтом по душам…

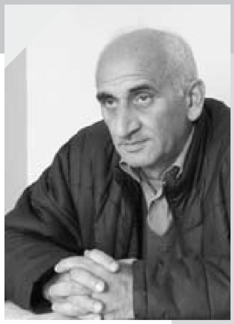
Одна печаль:
Не удалось добраться до Верхнего Чегема,
До родного гнезда поэта, до его истока, до его сакли…
Там где-то в горах засели боевики.
На днях они жестоко убили девятерых
Егерей и охотников.
Такое теперь кровоточащее время.

Я стою у могилы Кайсына Кулиева
И прошу его на небесах
Сделать всё возможное,
Чтобы кончилась эта кровоточащая полоса скорее.
Там ему должны помогать и Расул Гамзатов,
И Алим Кешоков, и Мустай Карим,
И Николай Тихонов, и Михаил Дудин, и Наум Гребнев…
Там у Кайсына много друзей и единомышленников.

Хочу я в Рим, хочу в Париж…
Но снова — остаётся лишь
Деревня, милая деревня,
Куда и снова, и опять…
Где осмотрел я все деревья,
Где всякую земную пядь
Я исходил — холмы, низины,
Где изучил реку до дна.
Где тёти Паши, тёти Зины…
Моя родная сторона.

А в стороне родной уныло.
А в стороне родной темно.
Там людям выживать постыло…
Там будто кончилось кино
На веки вечные — не будет
Теперь иллюзий никогда.
Тоска там клонит в сон и будит.
Там жизнь разрушена — беда.

Беда, беда — озноб по коже…
Но там ещё родной простор!
Там догорающий, но всё же
Мне душу греющий костёр.



Темур Амколадзе

Цветок-бессмертник

Перевод с грузинского Александра Пурцхванидзе

Граница

— Несчастный я человек,— сказал однажды он,— что же это у меня за семья, если родной сын даже раз в день домой не заходит?

Не то, что раз в день — месяц калитку его двора никто не открывал. Тысячу раз обидевший его, а потом помирившийся с ним, иногда заходит к нему лишь двоюродный брат.

Он воспитал девятерых детей. Все выбрали свои дороги, и для отца не часто находили время. Он тоже особо не грустил без них, но иногда, когда накапливалось много дел, вспоминал о них и говорил:

— Не приходят, не помогают, но урожай берут.

А что у него было, что он мог им дать, кроме вина? Но и его он им не давал.

Не знаю, любил ли он кого-нибудь? Но если и любил, то прохладной любовью. Я не думаю, что он кого-нибудь ненавидел. Он с холодным сердцем смотрел не только на чужое горе, но и на горе своих родных и близких.

Сын погиб в России. И помню, что на привоз тела на родину по рублю считал деньги и переживал, что не мог поехать лично в Россию. Младший сын и зять не хотели брать его с собой. Слёз на его глазах я не видел. Я вспоминаю ту минуту, когда три года назад он хоронил своего внука, которому едва исполнилось полтора года. Он не стоял рядом с гробом как положено по обряду, а ходил вокруг и при каждом обращении с соболезнованиями переводил разговор на погоду или урожай.

— Что он за человек,— удивился Семён,— он должен как ангела внука хоронить, а он говорит о погоде или урожае, постоянно жестикулируя руками. С ума сошёл, что ли?

На поминках за столом он сел с краю и постоянно напоминал хозяйкам, чтобы на столах всегда были рыба и лимонад.

Был у него двоюродный брат, с которым он жил рядом, через забор, но они не очень ладили. Пока их отцы были живы, они жили очень дружно. Но после создания своих семей напёрстком делили землю. На их границе рос дуб, к которому был прикреплён забор. Со временем дуб вырос, накренился и забор пошёл вкось. Начался новый делёж земли, в котором ни один из братьев не уступал. Дело дошло до драки, в том числе с применением дубин.

Местные власти, узнав об этом, решили братьев наказать и послали их на работы по обработке винограда: перекапывать и опрыскивать. А хитрый Семён предложил бригадиру распределить их обязанности так, чтобы один из братьев, высокорослый Давид, прикрепил у себя на спине машинку для опрыскивателя и мог дотянуться при опрыскивании даже до самых высоких веток. А второй брат, низкорослый Юлиан, постоянно должен был доливать воду с купоросом в ёмкость на спине Давида. Во время работы Юлиан, поднимаясь на цыпочки, весь напрягался, его мышцы на ногах и руках тряслись от напряжения, и вода с купоросом лилась мимо воронки за шиворот бедному Давиду. Но так как братья после ссоры не разговаривали, Давид никак не реагировал на это и не подавал виду, несмотря на то, что вся спина у него была мокрая. Семён и другие соседи чуть не умирали со смеху, и приговаривали:

— Вот так вам за драку.

После этой совместной поучительной работы братья кое-как помирились. Но через некоторое время они снова поругались. А местом раздора стал колодец, который проходил как раз по границе между участками. Давид взял и разделил досками колодец посередине с первого до последнего венца. Перестал работать ворот для подъёма воды. Воду стали брать вручную, с помощью верёвки, наматывая её на руку.

Когда пришла война, на фронт они пошли вместе. И очень скоро оба брата вернулись домой — комиссовали. У одного была прострелена рука, у другого были отморожены пальцы на ноге. Но происхождение этих дефектов было для всех окружающих большой тайной. Мне они всё же как-то решили раскрыть свою тайну и рассказали следующее:

Во время перевозки на полу кузова автомашины в район боевых действий братья обратили внимание, что один неспокойный солдат часто поднимал руку над головой и говорил, что так можно получить ранение в руку и поехать лечиться домой. Но так как результата не было, он поднялся во весь рост, и шальная пуля сразила его насмерть, успокоив его навечно, отключив от войны, мира, горячего душа. Братья впервые увидели убитого пулей человека и с испугом смотрели на него. Когда они приехали на место, Давид обратился к Юлиану с просьбой выстрелить ему в руку. Юлиан, оказывается, тоже подумывал о членовредительстве. Они бросили жребий, Давид выстрелил в руку Юлиану, отвёз его в санчасть, и стал думать, как ему самому уклониться от службы.

На улице стояла суровая русская зима. Кругом всё было заснежено. Давид слышал, что если будут отморожены пальцы, то можно комиссоваться. Но пальцы на руках ему были нужны, а на ногах можно и потерять. Мочевой пузырь был переполнен и сильно беспокоил его. Он отошёл от дороги.

При свете луны на белом чистом снегу он сделал звёздочки жёлтого цвета и подумал, что если пописать в сапоги, то крепкий мороз сделает своё дело. На следующий день он долго терпел, лёжа на койке, весь извертелся, стараясь побольше наполнить мочевой пузырь. Рано утром встал и сделал задуманное. Тёплая моча с шумом наполнила сапоги, попала на руку и слегка намочила штаны. Сначала было тепло, а потом!..

В итоге Давид вернулся домой с войны с отмороженными пальцами ног, а Юлиан с висячей рукой. Для них война закончилась, не начавшись.

Эту тайну они берегли от всех и только однажды поделились со мной этим секретом, когда мы втроём зимним холодным вечером сидели у камина, пили хорошее вино и закусывали лобио с купатами.

— Мы трое пьём и замерзаем,— сказал Юлиан.

— Это разве холод! А вот там, на фронте, был холод! О-го-го!— Давид засмеялся и хитро моргнул Юлиану.

— Так-так,— пробормотал тихо Юлиан, шевеля дрова в камине.

— Сначала действительно было теплее, даже приятно, потом было то, что стало…— ответил Давид.

— О-хо-хо…— засмеялся Юлиан,— вспомнил он своё прошлое.

— Что это вы, ребята, говорите загадками?— спросил я у братьев.

— Давай, Давид, расскажем о нашей тайне,— обратился к брату захмелевший Юлиан.

— Расскажи,— сказал Давид, потянулся к кувшину с вином и разлил его по стаканам.

Так я узнал об этой тайне.

А жизнь в селе продолжалась. Сгнившие доски в колодце, о которых шла речь ранее, поменяли, искривлённый забор у дуба по-прежнему был яблоком раздора, но дело до драки с дубинами уже не доходило. Я начал работать в сельском совете, занимался вопросами землеустройства. Однажды Давид позвал меня:

— Навести меня, я умираю. Но пока ты меня не навестишь, меня земля не примет.

Я удивился. Он меня уважает, но чтобы он обо мне скучал, слышу впервые. Я был в течение двух дней занят и не смог навестить его.

Потом пришёл человек от Юлиана. Он передал, чтобы я навестил его, что у него ко мне есть дело. Люди в селе сказали, что оба брата обессилили. Если переживут зиму, то до лета могут и не дожить. Тогда я отложил все дела и направился к старикам. Давида не было дома. Оказывается, он переполз к Юлиану. Оба старика сидели у камина и смотрели на огонь. Повернувшись на скрип двери, братья по-стариковски посмотрели на меня и улыбнулись. Старики налили мне стакан чачи и себе налили, предварительно разбавив её вареньем. И беседа началась. Я заметил, что братья устали и намеревался уже уходить. Но Юлиан, заметив мои движения, попросил задержаться для того чтобы, как я понял, что-то мне сказать важное.

— Я ещё приеду,— сказал я.

— Это ещё неизвестно, когда ты приедешь,— сказал Давид,— неужели ты ко мне не зайдёшь?

— Иди к себе, разожги огонь в доме. Не будешь же ты принимать такого дорогого гостя в холодном доме,— сказал Юлиан, делая всё возможное, чтобы остаться со мной наедине.

— Хорошо,— согласился Давид,— жду обязательно.

Давид пошёл к себе в дом, а мы с Юлианом смотрели в окно до тех пор, пока за Давидом не закрылась калитка.

— Родной, хочу спросить у тебя об одном деле,— сказал Юлиан, пристально смотря мне в глаза.

— Пожалуйста,— ответил я.

— Не сегодня, так завтра я отправлюсь на тот свет. Чтобы я спокойно ушёл туда, помоги мне выпрямить земельную границу с братом. Если ты этого не сделаешь, то Давид может присвоить мою землю.

— Весной будем перемерять все земли, и всё на твоих глазах я сделаю, как ты просишь,— ответил я.

— Я могу не дожить до весны. Мои дети не хотят знать границу и не интересуются ничем. Я думаю, до годовщины моей смерти всё продадут,— с горечью сказал Юлиан.

Я подумал, что если его детям это не нужно, то зачем ему всё это надо? Но потом я понял, что это желание сидело в его крестьянской крови, и промолчал.

— Возьми на полке верёвку— 300 метров— и протяни по всей длине моего участка от липы вдоль ручейка по прямой линии. Ты меня слышишь?— спросил он.

— Слышу, слышу,— ответил я,— сейчас схожу к Давиду.

— Хорошо,— кивнул мне в ответ Юлиан.

У Давида на столе около окна стояло угощение.

— Границу хочу выпрямить,— сказал Давид мне.

— Да, весной начнём,— ответил я.

— Неизвестно, выживу ли я,— грустно сказал Давид.

— А что, куда-нибудь торопишься?— улыбнувшись, спросил я.

— Да, дорогой. Всевышний не спросит об этом у меня,— ответил Давид.

— Вчера Мераби, по моей просьбе принёс мне 300 метров лески,— сказал Давид, показывая мне леску,— так ты привяжи её к липе и вдоль ручья протяни по всему участку по прямой линии. Если часть земли останется у Юлиана, моих детей это не интересует. Они хотят только, чтобы водилось вино, и урожай был богатым. Продадут после меня всё,— грустно сказал он и потянулся за стаканом вина.

Когда я уходил, он опять повторил:

— Я на тебя надеюсь. Чтобы на тот свет я не уходил с переживаниями.

Уходя, я прошёл по колено в снегу по границе раздора братьев от липы вдоль ручейка. Оглядываясь на пройденный путь, я обратил внимание, что следы на снегу были слегка извилисты. Наверно вино было очень хорошим.

Всю ночь шёл снег.

Во сне мне приснилось, что слегка развеселившиеся от разбавленной чачи братья, стояли около липы и смотрели недовольно на неровные следы на снегу, которые остались от меня. Они

были возмущены тем, что я своими шагами уже неправильно разделил их границу.

Через неделю Мераби на тракторе приехал к нам в правление и сказал, что вчера ночью умер Юлиан, и добавил:

— Я сейчас довезу Чичико на станцию, чтобы он на электричке доехал до детей Юлиана и сообщил им о смерти отца.

Мераби с грохотом уехал на станцию на своём тракторе, а я поехал к дому Юлиана. Около дома стояли соседи, курили «Приму», смотрели на глубокий до груди снег и обсуждали, как по такому снегу копать могилу, как отнести туда тело, как организовать приём родных и близких, и другие вопросы. Я так понял, что они не очень жалели тех, кто приедет на похороны. Они больше думали о своей тяжёлой работе, которую им предстояло сделать.

Давид, увидев меня, повёл в дом, где лежал покойник. На кушетке лежал закрытый покрывалом Юлиан. Я внимательно посмотрел на Давида и увидел, что он был очень напряжён и немного дрожал. Мне показалось, что он был сломлен, и я подумал, что если бы случилась беда с молодыми людьми, или ещё что-нибудь другое, страшное, то он бы так не переживал. Наверно, он думал об этой кушетке, на которой он тоже может оказаться очень скоро.

Когда я вышел на улицу, ко мне подошёл Семён.

— Ты видишь,—сказал он, указывая на Давида,— раньше всегда ругались, дрались, даже дубинами. А сейчас прослезился.

Этой же ночью умер и Давид. С этой печальной новостью опять к нам приехал Мераби.

Началась очередная подготовка к похоронам. Но неожиданно возникла проблема с изготовлением гробов. В этом году из-за большого снега в лес войти было невозможно. Тогда Семён предложил:

— Давайте срубим дуб на границе. Хватит для изготовления двух гробов и ещё останется на дрова для приготовления еды на поминках.

Братьев хоронили в один день. Из домов мужики на плечах вынесли оба тела. Их холодные лица уже ничего не выражали, и ничто их не волновало. И я подумал, какие бы они были счастливые, если бы увидели, сколько родных и близких пришло проводить их в последний путь.

Шёл спокойный и редкий снег, который моментально покрывал мягким покрывалом следы от похоронной процессии. Как положено по традиции, все отдали свой долг братьям, каждый на своём месте, как мог.

А я думал, что когда мы все вернёмся домой, то мне придётся вести поминальный стол. Что и как я должен говорить: надо или не надо говорить о последнем желании братьев по разделу земли, интересна ли будет сидящим за столом та горсть земли, которая частенько была камнем раздора для них? Но потом я себя успокоил, а нужно ли так волноваться, ведь я тамада, как скажу, так и будет.

Вернувшись с кладбища, я остановился около их калитки и посмотрел на то место, где когда-то стоял могучий дуб. В моём воображении на месте дуба появились два тёмных гроба, которые медленно-медленно уплывали вдаль. И я вспомнил ту ночь, когда, по колено в снегу, старался прямо и ровно прошагать по границе их участков.

Цветок-бессмертник

— Так мне везёт! Ну, просто такое везение!—воскликнул в сердцах Семён, перекрестился и добавил то слово, которое мы все знаем, но прилюдно не применяем.

Поскольку присутствовали все свои, Семён не постеснялся и излил свою душу. Такая судьба у него с самого рождения—если есть вероятность попасть в какую-то неприятность, то с ним это обязательно случится, если есть опасность, что-нибудь себе сломать, то он обязательно сломает.

— Если умру, то от переживаний за него. Когда из дома выходит, всё время думаю, что бы с ним ничего не случилось,—пожаловалась жена, когда мы в очередной раз пришли к Семёну домой поздравить «везунчика» с тем, что он в очередной раз остался живой и невредимый.

Волнами бугрится неправильно положенный Семёну на плечо гипс, что особенно видно, когда он пытается выпрямиться.

— Как смогли, так и загипсовали,—съехидничал Амиран.

Как-то в детстве к идущему домой со школы Семёну пристал Ираклий—давай поборемся!

— Отстань от меня, изобью ведь,—громко кричал в ответ Семён.

Но Ираклия так просто успокоить было нельзя.

— Ну да ладно, пусть будет так. Если с тобой что-нибудь случится, я не виноват, люди свидетели,— громко произнёс Семён.

Мы тоже стали отговаривать Ираклия: эй, парень, отстань от него, убьёт он тебя.

Но из этого ничего не вышло.

— Знаете, что я из него сделаю?—грозил Ираклий.

Борьба всё-таки произошла. Они схватили друг друга, иногда ставили подножки, но ничего у них не получалось. Мы уже подумали, что всё у них закончится миром, но неожиданно Ираклий свалил Семёна на землю. Семён долго не вставал и корчился от боли.

— Вот ему!—гордо произнёс Ираклий.

Мы подошли к Семёну и попытались его поднять. Но он категорически не давал дотрагиваться до него.

— Ой, ой,—кричал он от боли.

Оказалось сломанным левое плечо.

Когда Ираклий узнал об этом, цвет его лица мгновенно изменился.

— Что делать?—чуть не плакал Ираклий, не зная, чем ему помочь.

Семёну поставили гипс. Это был второй случай. Оказывается, правое плечо у него уже было сломано раньше, но, как и где не помню, и к нашему рассказу это не имеет никакого отношения.

Долгое время с Семёном ничего существенного не случалось. Пришёл из армии, женился, воспитывал двух детей. Когда ждал третьего ребёнка, то днём и ночью дежурил около родильного дома, засыпал и просыпался на стульчике. Родился мальчик.

— Ну, теперь можно жить богато и счастливо,— подумал Семён.

Но тут врачи ему заявили, что ребёнка он не получит, пока не сдаст кровь. В больнице ему выдали сопроводительное письмо на станцию переливания крови как бесплатному донору. Таков был принудительный порядок для отцов, которые не смогли додуматься, что можно откупиться деньгами.

После сдачи крови Семён еле-еле добрался до дома. Лежал без сил два дня. На третий день его срочно отвезли в больницу.

— Болезнь Боткина у тебя, гепатит,— поставили диагноз врачи и оставили в больнице на месяц.

Через месяц выписку пришлось отменить, так как болезнь обострилась.

— Тьфу ты, какая у меня судьба,— говорил о себе Семён, прося Бога помочь.

— Шесть месяцев должен быть на диете, ни капли спиртного, даже нельзя есть шоколада,— сказал он мне.

Хотя шоколада он никогда в жизни и не ел. Несмотря на принятые меры, Семён не поправлялся.

Как-то я и Рамази обрабатывали виноградник, вернее, делали вид, что обрабатывали, качаясь на лопатах и постоянно оглядываясь за спину, не едет ли кто-нибудь, чтобы помочь нам в работе. Торнике нас предал, так как пришёл только вечером, а не с утра, как обещал. Он рассчитывал на то, что вечером примет активное участие в застолье после нашей трудной работы. Вдруг я услышал шум мотоблока и пошёл на этот звук. Через калитку была видна шевелюра Семёна. Он шёл за мотоблоком, а Тимур шёл сзади. Мы от радости бросили лопаты. До вечера весь мой виноградник был обработан одним Семёном. При этом он частенько, отдыхая, держал руку на печени и жаловался на свою болезнь.

— Дай Бог тебе здоровья, спасибо за то, что ты помог мне,— сказал я,— я должен выпить с тобой стакан вина.

— Нет у меня сил,— грустно сказал Семён,— печень беспокоит, убивает, ни капли не могу.

— Это ничего,— вступил в разговор Рамази,— я знаю лекарство от этой болезни — один цветок, который называется бессмертник. Я тебе его пришлю. Ты помнишь, как я тяжело болел. А сейчас могу прямо перед твоими глазами выпить бутылку чачи.

Семён верил Берекашвили и знал, что он никогда не соврёт.

— Если ты мне друг, то привези этот цветок, попробую. Если поможет, то лучшего друга, чем ты, у меня в жизни не будет,— сказал Семён.

Я знаю, что этой ночью Семён во сне увидел этот цветок. Поле, усыпанное жёлтыми цветами, летело к нему, как инверсионный след от самолёта. Во сне он ощущал пьянящий запах цветов, дышал глубоко и чувствовал, что все болезни отходят из него. Сидя в траве, он видел, что к нему идут люди и несут ему кувшины с вином и бутылки с чачей. Он их выпивал, благодарил людей, желал им здоровья и был счастлив, так как цветок сделал своё дело.

Сон сном, но пока Рамази не принёс ему цветок, с Семёном случились очередные происшествия.

Один раз бычок долго таскал его по щебёночной дороге. В этом происшествии мы оказались виноватыми. Однажды вечером мы сидели в конце села и пили вино. Мимо нас проходил Сосо, тот, который считался дальним родственником Семёна. Поздоровавшись с нами, он спросил:

— Ребята, не знаете ли, кто продаёт нестерилизованного бычка?

Мы его направили к Семёну, сказав, что у него есть, если он до сих пор не стерилизовал. И добавили шутя:

— А, в конце концов, он и сам сгодится вместо бычка.

Сосо посмеялся и пошёл к Семёну.

Скоро мы его увидели снова, но без бычка. На наш вопрос о бычке он ответил:

— Отстаньте от меня ребята. Я его чуть не убил,— и быстрым шагом пошёл вниз по сельской дороге.

Оказывается, произошло следующее. Семён, силой удерживая на длинной верёвке проданного бычка, подвёл его к воротам. Так как бычок упирался и не хотел идти через ворота, Сосо по просьбе Семёна сильно ударил бычка прутком. Эти действия помогли бычку выйти за пределы двора, но затем скотина будто сошла с ума. Она опутала верёвкой своего прежнего хозяина, свалила на землю и таскала по селу до тех пор, пока верёвка не разорвалась, и бычок не убежал.

На этот раз Семён еле-еле остался жив. Надо было остаться, и остался. Такова его судьба.

В очередной раз с Семёном произошла неприятность, когда он с женой в саду собирал инжир для варенья. Собрав весь инжир в пределах досягаемости с земли, он стал смотреть с жадностью на высокие ветки.

— Это пусть останется птицам,— сказала жена.

— Птицы своё всё равно возьмут, ответил Семён,— но с той богатой ветки, с которой мы каждый год собирали урожай в детстве, я должен сейчас собрать всё.

Семён, как молодой, полез на дерево, но неожиданно ветка под ним треснула, и он рухнул на землю. И на этот раз опять остался живым.

— Дерево инжира приносит счастье,— сказал Семён, придя в себя после падения,— я не должен был на него лазить. Как неожиданно сломалась эта ветка! — удивился он.

Но по правилам, выросший в селе человек не должен был удивляться такой ситуации, так как дерево инжира очень хрупкое, и в детстве Семён весил как индюшка, а сейчас вес его составлял около шести пудов.

Но и на этом не заканчивалась его «хвалёная» судьба «везунчика». После этого случая он при ремонте соседской крыши умудрился упасть и сломать ногу да ещё пролежал три недели в больнице. После выписки из больницы нога постоянно побаливала. Но, успокаивая самого себя, Семён говорил, держа руку на печени:

— Все эти происшествия — чепуха, лишь бы не беспокоила печень. Если я по-прежнему останусь

живым, то у меня хорошая судьба. Если её можно назвать хорошей.

После этих слов Семён перекрестился и засмеялся.

Наконец, после долгого ожидания, Рамази принёс цветок-бессмертник. С любовью и надеждой Семён смотрел на мешочек с цветком и нежно гладил его.

— Это бессмертник? — с сомнением и надеждой спрашивал он у Рамази и продолжал, обращаясь к жене и ко мне, — у Рамази печень так же болела, как у меня. Цветок ему помог. Теперь бутылку чачи он может выпить за один присест. Когда у человека есть здоровье, чего лучшего ему можно пожелать?

Он сильный человек. Бог поможет и защитит — и печень отпустит, и нога заживёт. Если больше ничего не случится.

Конечно литр чачи ни Семён, ни я не выпьем сразу, но стакан хорошего вина мы с удовольствием выпьем вместе с Рамази и Торнике.

Цветок-бессмертник поможет — это точно!

Крики шакалов

В своё время от учёбы он не перетруждался. Но удовлетворительную оценку всё равно получал. Когда школу окончил, в горный техникум пристроился.

— Самое главное диплом, не важно какой, это значения не имеет, — говорил он.

Техникум не успел закончить — взяли в армию. Служил где-то в Сибири или даже дальше. Он писал из армии, что снежная и лютая сибирская зима приняла его как родного. Даже непонятно, как мог южный человек так быстро породниться с сибирским климатом? Но в дальнейшем стало понятно, что всё это неправда, так как в следующем письме он писал своим односельчанам, которым предстояло идти в армию, чтобы всё продали и откупились от службы в этом суровом краю. После демобилизации он благополучно вернулся домой с лимитом для вуза.

Он говорил:

— Не моё это дело — в шахте работать, если обвал в шахте, куда денешься? Если придётся умирать, то лучше на земле.

И поехал в Сухуми для поступления в институт.

— Технологом хочу быть, — говорил он, — если деньги сегодня можно сделать, то на вине, — уверял он нас.

Да, действительно, он был прав, на вине в то время делались хорошие деньги.

Через месяц пришло сообщение, что он зачислен на подготовительное отделение Сухумского института. Целый год от него не было известий, но, как говорится, земля слухами полна, односельчане узнавали о судьбе нашего героя из многочисленных дополнительных источников. Однажды он написал, что у него полный порядок, по физике и математике он гений (о химии он не упоминал), профессора носят его на руках. Мы, конечно, не верили во всё это, но не сомневались, что удовлетворительные оценки он мог получать. Кончился учебный год. Кто-то принёс известие о его отчислении. После этой вести из Сухуми приехал наш герой.

— Не хочу этого виноделия, бросил я институт. Если окончишь институт, потом надо работать. А за хорошую работу надо заплатить пол-лимона.

Откуда у меня такие деньги? Если бы у меня были такие деньги, я бы купил себе хорошую машину и возил красивых девочек, — говорил он односельчанам.

— Вай, вай, когда же твоё хвастовство кончится? — ехидно смеялся Семён, когда они однажды встретились за одним столом.

Но разве его остановишь.

— Я поеду в Россию, поступлю на юридический, я уже договорился, — рассердился он на Семёна, — вот ты смеёшься, а я через пять-шесть лет приеду домой с дипломом юриста. А если не закончу юридический, то будет исторический, какая разница. Вступлю в партию, получу хорошую должность и буду жить, как хочу. Ты пей, пей это вино, дорогой. А то всю душу из меня вытряхиваешь.

Тем не менее, он поработал в селе в строительной бригаде — разрушили старые здания клуба, библиотеки и фермы для их полной перестройки, но новых не построили.

А тут и в Россию его понесло. Уехал и долго не приезжал.

— Он что, заучился в России что ли? — бормотал Семён, — за это время можно было закончить не один институт.

Приближалась 15-я годовщина окончания школы. Когда одноклассники спросили, будет ли он на праздновании, его родители показали письмо, в котором было написано, что он заканчивает учёбу в ГПИ, затем направляется в командировку в Монголию, а далее в Индию.

В настоящее время работает начальником управления и живёт хорошо.

— Конечно, он приедет, — грустно ответили родители, и продолжили, — в настоящее время он живёт в Чите, женился, но постоянно находится в разъездах и регулярно, каждые два дня, звонит жене. Так что ему можно сообщить напрямую или через жену любую информацию.

Одноклассники потеряли надежду увидеть его на юбилее, но адрес у родителей взяли и послали телеграмму. Банкет был назначен на конец июня.

— И сам не приехал, и телеграмму не соизволил прислать, — возмущались одноклассники.

Через некоторое время пришло письмо на имя Семёна, в котором было написано: «… вовремя не узнал о праздновании окончания школы, так как не смог позвонить домой. А если бы и узнал, всё равно не смог бы приехать так быстро из Китая! Насчёт здоровья всё хорошо. Учусь. Остался один год, и закончу. Работаю в фирме «Загранстрой». Месяц назад работал в Китае, в настоящее время работаю в Монголии, а затем переезжаю в Японию».

— Странно, — удивляясь, смеялся Семён, когда речь зашла о Японии, — для чего в Японии нужны наши строители? — и продолжил чтение письма. Далее в письме было написано следующее: «Потом из Японии поеду в Аргентину. Так что езжу

и на весь мир гляжу. А если бы жил в Грузии, то на восток дальше Зестафони, а на юг—дальше Кутаиси не поехал бы. Работаю начальником стройуправления. Два месяца как назначили, до этого был главным инженером. Строим только за границей. Объекты в Китае, Монголии, Сирии, Эфиопии, Аргентине. Есть ещё в Румынии, Болгарии, Чехословакии, Египте, на Кубе. В марте появятся новые объекты. Строим совместно. Не знаю, как с такой работой закончу институт. Хочу в августе переехать домой в Грузию. Пока надо место найти, потом для места нужно много денег. Я, ты знаешь, мастером не пойду работать, когда приеду домой. Проезд на самолёте и по железной дороге для меня бесплатный. Вот такие мои дела, Семён. Теперь два слова о погоде. В Чите—47–50 градусов мороза. Так мне сообщили по телефону из дома. Так что приезжай в Читу закаляться. Семён, ты помнишь, как я тебе уже говорил, что если свадьба или не дай Бог, кто-нибудь умер, то напиши мне по читинскому адресу, который указан на конверте, я приеду. Передавай привет Нугзару, Бено, Бадрию, Тохо, Ираклию. Передай им, что я жду от них письма».

Семён обратил внимание, что письмо было написано, судя по подписи, в 1889 году. Видно, что это была ошибка написавшего. Посмеявшись над этой ошибкой, он сам себе сказал, что в эти года не только его, но и его деда Арсена ещё не было на свете. Семён, поняв, что всё, написанное в письме, не соответствует действительности, стал показывать, ехидно смеясь, это письмо односельчанам и артистично рассказывать о его содержании.

Через некоторое время на Багдадской автостанции (тогда она называлась имени Маяковского) я его неожиданно встретил.

— Из Кутаиси еду,—сказал он,—место для работы нашёл, но такого количества денег у меня нет.

Рядом стояли трёхлетний белобрысый ребёнок с матерью и внимательно смотрели на нас.

— Иди сюда,—позвал он ребёнка.

— Твой, что ли?—спросил я.

— Мой, конечно. Чужого привёз бы, что ли? Это моя любимая девочка. Лучше одна любимая девочка, чем пять мальчиков. По-грузински знает только два слова: папа и мама. Но скоро вместе с матерью научится грузинскому языку,—сказал он уверенно.

Подошёл автобус. По пыльной и неровной дороге продолжался наш разговор.

— Здесь всё по-другому. Очень отличается от Читы. Всё равно здесь лучше. Надо когда-нибудь переехать сюда. Надоело по стройкам лазить, не моё это дело. Когда был молодым—лазил, а сейчас от высоты коленки трясутся, не дай Бог что-нибудь случится. Работать на земле и жить в своём доме лучше.

— А как же ты работал начальником?—спросил я, зачем тебе нужно лазить по верхам, когда рабочие сами знают своё дело?

— Это правда, дорогой,—ответил он,—но если ты не поднимешься на высоту и не увидишь всю работу собственными глазами, может получиться не так, как нужно.

По приезде в село он настойчиво пригласил меня к себе в гости на стакан вина. В разговоре, стакан за стаканом, мы и не заметили, как наступила полночь. Из леса послышался крик шакалов. Это был плач голодных шакалов. Разговор сразу прервался, и в наших глазах появился какой-то блеск, который напоминал нам наши молодые годы, когда мы в детстве слушали эти звуки, похожие на женский плач.

— Папочка, папочка,—испугался прибежавший ребёнок и прижался к отцу.

— Тише, тише,—сказал он и стал опять прислушиваться к этому звуку,—видишь, ребёнок и жена боятся. Во дворе пока нельзя оставлять их одних. А для меня эти крики—лучше музыки. Иногда лежу, сплю в моей квартире в Чите и слышу во сне крик шакалов. Кричат, кричат эти черти! А сам думаю во сне, что я здесь в Грузии и кричу тоже—э-хе-хе! Мой голос теряется где-то в лесу. Проснувшись от крика, долго не понимаю, где нахожусь. А затем, поняв, что я в доме в Чите, начинаю жалеть, что не в Грузии, в моём родном селе. Буря воет, ломает всё, бьёт в окна. Что здесь делают шакалы в центре Читы, на проспекте Ленина? Просыпается жена. Смотрит, смотрит на меня и ничего не говорит. А что она должна сказать?

Через неделю опять мы стояли на дороге и ждали автобус. Было очень жарко. Горячий воздух крутил пыль на дороге. От проезжавших машин на дороге образовался такой пылевой туман, что нельзя было увидеть рядом стоящего человека.

— Иди в зал ожидания, а то запылишься,—говорила жена ему по-русски.

— Ничего,—отвечал он ей и рукой подправлял поднятую ветром шевелюру.

— Сейчас лучше всего полежать в нашем лесу, а не глотать эту пыль,—сказал он, обращаясь ко мне.

Я почувствовал в его голосе, что он с сожалением уезжает из родного края. Я тоже его пожалел.

— Ты всё ещё продолжаешь писать?—неуместно обратился он ко мне.

Ответа он не ждал, так как он был ему не интересен.

— Поеду в Читу, закончу все свои дела и вернусь скоро домой,—сказал он мне.

Сколько это «скоро» будет длиться, не знаю. Думаю, что этого не знал и он сам. Наверное, этим он сам себя успокаивал. Так думаю я сейчас.

Станислав Бондаренко

Камо летеши?

Из цикла «Память Ирпенская»

Молодой специалист

Ученикам Ирпенской
сш № 2 начала 80-х

До утра, до очуменья,
хоть совсем испепелись:
проверяю сочиненья,
молодой специалист.

Два десятых, два девятых —
каждый класс по сорок два
лоботряса, виноватых
в том, что пухнет голова.

И к рассвету всё небрежней —
не затем, что неуют,
и в Кремле хворает Брежнев:
строфы голову клюют.

Ирпе-нюни ирпе-няни…
Но рассеянный русист
с Достоевским сходит в баню
и с Толстым распишет вист.

Про *моливень* и *счастливень*
почитает школярам,
даже речке, старой сливе,
птицам, лесу и ярам…

…Всё сошлось — без сожаленья.
Жаль, творятся с этих пор,
там уже не сочиненья —
Творы![1] Воры… Оры… Ор!..

Память об учебном годе

Ирпень — это память о людях и лете.
Борис Пастернак

Ирпень — это память о вас (не о лете!), —
о том, сколь извилист белеющий лист,
о старцах вокзальных, о старшем поэте,
о том, кто писатель и кто кагэбист.

Об учениках, что уже папы-мамы,
о той судоходной когда-то реке —
её не замулят ни сплетни, ни спамы:
блаженная память живёт налегке!

И об ученице, что зря обожала
внеочередь в классе повымыть полы,
чтоб взгляд педагог оторвал от журнала
и видел, как ноги литые белы:

как Зина со шваброй — перед Пастернаком
в ещё довоенном шальном Ирпене…
Поэта пример показался мне знаком,
чтоб школьница мыла полы… не при мне.

Проза жизни отца

(глазами пятилетнего)

В одном селе полицаи
отца моего порицали:
не то чтоб видели агитатором,
поскольку домра его звучала, как альт,
но отправили гастарбайтером,
а вышло, что — в Бухенвальд.

Поскольку (по взрослой версии)
на заводе германском он сколотил группу
и сотворил две диверсии,
чтоб навредить какому-то Гитлеру или Круппу.

Отец вернулся — освободили,
чтоб я родился, — американцы.
Все дамы с бати глаз не сводили,
а мама ликом взяла и танцем!

А я в пять лет — Девятого мая
спросил отца при всех на параде:
что ж орденов он не надевает,
как другие учителя и родные дяди?

И тихонько отец, не нарушив уюта,
прошептал то, что я лишь после пойму:
«За Бухенвальд орденов не дают! А…
А ты о том — вообще никому…».

Так я в пять лет побыл полицаем —
никем за это не порицаем…
И нет отца уже — за оградой…
Даст Бог, хоть внуки ему — наградой!..

Вдогонку за летом

Алексею Зараховичу

Дай, кассирша, четыре билета —
если трое других не придут,
сам уеду на краешек лета —
видеть солнца бесхитростный труд.

Проводник, не сели мне случайных
заполнителей смысла в купе:
сам себе и стакан я, и чайник,
и учитель, как боли терпеть

и любить этот промельк пространства,
чтоб и сердце стучало, как встарь —
как любил государь государство,
и как поп — свой алтарь!

Если троица та не отстала,
а скорей по пути меня ждёт —
я пойму: по свече в три накала,
я умею читать этот код.

---

1. Творы — сочинения *(укр.)*.

20 лет навстречу

Н. Л.

Ждала меня женщина 20 лет,
будто Аполлон я или атлет—
исчезали страны, менялась власть,
ждала меня женщина—заждалась.

Отогнав охотников и ворон—
после двух родительских похорон -
ждала меня женщина—дождалась:
нежная жень-шеньщина, твоя власть.

Камо летеши?

(триптих)

снгейша

Улетаешь маршрутом новейшим,
не спрошу тебя: «Камо летеши?»—
за летейские воды? за лешим?
ах, пушиночка ты, снгейша!

На какой из пятнадцати родин
сыщешь бабочку синего детства?
Рубикон отменён или пройден?—
по мобилке спроси у индейца!

Не дебилка—любовь тебе в уши!
Хороша ты в серёжках-мобилках.
Тесно тут, на шестой части суши?
Ах, нимфетка, конфетка, любилка!..

Битвой пахли грудей твоих ядра,
на щеках отпечатались розы.
Пращур звал бы такую—Троянда[2]
на забытом наречье—до прозы.

...Так ревёт, разгоняясь и плача,
твой мотор, что ни цента не значит
вся заначка (от родин заначка!)—
стариковская слёзка на сдачи

от времён, по каким ты летала,
не нуждаясь в дюралевых крыльях!
...Путь открыт (Моби Дик из металла!)—
жаль, в отчизне тебя не открыли...

Пусть не плачет уже Ярославна—
плачет Игорь у ног Святослава.
Глянь, Путивль опускается плавно,
так как ты подымаешься (к славе?)

Опускаются в травы могилки.
Помни бабочку дедовской дачи!
...Ну, perpetuum Моби... с мобилкой
и—perpetuum родина плача!

снгуси

Летят снгуси,
летят снгейши.
А где снгений,
скажи, нувориш?!

Творишь, новорус,
новояз твой новейший,
но ведаешь ли,
что творишь

снгеи

снгеи тоже собираются в стаи
и летят бизнес-классно и пан-американски
(пустим? пусть им—лишь бы здоровье!),
но из всех, кто этой осенью улетает,
вернутся весной лишь дикие гуси—
не потому, что им неведомо слово «Родина»
(с большой или маленькой буквы),
нет, просто собственные имеют крылья,
управляющие существом
верней и упрямей, чем голова.

Просто человек ищет, где лучше,
а Родина ищет, где гуси,
независимо от того:
права эта Родина
или убийственно не права.

...снгейши стране важнее, чем снгеи:
первые могут родить будущих граждан
и даже целого снгения,
который важней, чем все снгуси.
Пусть и с виском простреленным, но чтобы был,
пускай он гусей нелепее—на земле пока.
Неважно, рождённый он у Днепра или в Нигерии,
лишь бы не дал заблудиться Родине
и корректировал полёт Земли
в бережном направлении,
где встречаются невраждебные облака.

Встреча в пробке между родин

Nulla dies sine[3]... скука?
Carpe diem[4] за рулём?!
Между родин—эка штука!—
друг сияет фонарём.

Брат-филолог, от наложниц,
от налогов ли бежишь,
от властей совсем безбожных,
что ничем не ублажишь?

...И у нас не nulla dias
sine строчки—во дела:
всё хиреет Ablativus[5]...
Не кадит ли «Кадиллак»?

Я слыхал, ты благороден:
дал на выборы с лихвой
на одной из бедных родин,
хоть не помню, на какой.

Дал и мне б на книгу, старый?
Выпить—рад, не за рулём,
ну а деньги мы, гусары,
и у Сары не берём.

Лучше спой, как чехам били
шайбу, лей «Васпуракан»—
без сациви с чахохбили
за тебя тяну стакан!

Родин стало многовато,
новых пробок и границ—
развели всех нас, богатый,
разложили—вверх и вниз...

---

2. Троянда—роза *(укр.)*.
3. Nulla dies sine linea—ни дня без строчки *(лат.)*.
4. Carpe diem—лови мгновенье *(лат.)*.
5. Ablativus—творительный падеж *(лат.)*.

Родина — терпимости мой дом,
что ж тебя всё меньше узнают?
Разве все мы на тебя плюём —
кем же так оплёван твой уют?

Чирей на груди твоей жесток
возле синей жилочки Днепра.
Я неважный знахарь и знаток:
как же нам лечить тебя, сестра?

Что же, девка, сделать для тебя,
чтобы хоть привстала ты с колен?
Сутенёр твой — истинная тля.
Я же с плеч твоих сдуваю тлен.

Есть ли нам о чём поговорить?
Не прошу любви уже — Бог с ней!
Удружи уменьем отравить
или изрубить меня во сне —
чтоб не больно…

Опыт шёпота

Человеку дано слышать не все частоты,
а лишь 20 процентов звуков вокруг…
Из газет

Самое главное на Земле
говорится шёпотом:
если миру выпадет стыть в золе —
от пренебреженья подобным опытом!

Как бы человечество ни трясло —
две нехватки: шёпота или слуха!..
Даже если шёпот слышнее слёз,
редко частотой совпадает с ухом.

Самый трудный этот язык учу
сорок лет пустынных без вычета —
я уже почти что шепчу,
небо точно по Брайлю вычитав.

…Встанешь тихим ангелом за плечом,
разливанная радость вещая,
и на донце сердца щемит — о чём? —
жажда шёпота человечьего.

Лето в декабре

Из цикла «Хождение
ступенями Востока»

Дал Бог нам лета в декабре,
продлив кредит тепла и воли.
Уют в роскошной конуре
и полное кораллов море.

Заглядывают три страны[6]
глазами башен в наши окна.
А горы строгие стройны,
как Божеских одежд волокна.

Пустыня вечная, как Бог.
И что бы с миром ни случилось,
но у Него тут получилось:
никто из нас не одинок.

Из цикла «Кириллица Киевских улиц»

Зима приземлилась

Зима приближается. Сызнова…
Борис Пастернак

Зима приземлилась — так рано, что жутко,
а думали — всё только лепет и блеф:
летали и таяли хлопья, как шутки,
как лепет кокетки, впотьмах осмелев,

но, плавно лавируя в ночь, приземлилась,
и куполом бел — в пол-Земли — парашют.
Кто ждал в ноябре эту скользкую милость?
Как мир молодит эта милая жуть!

Вот так обелить нашу серость до срока!
И только с верхушек заснеженных ив
спускаются ветки, как жёлтые стропы.
Яснеет пейзаж. Застывает мотив.

Планирует в снег пара листьев устало —
две птицы, что больше уже не взлетят.
Покоится осень под снежным завалом.
И стынет в снегу искупавшийся взгляд.

В галерее зимних берёз

Белые стволы — будто бы холсты,
свёрнутые в трубки
под тесёмкой веток.
В каждом скрыт пейзаж зелени и света —
может, в нём девчонкой
промелькнёшь и ты!

Сторож

Разве я сторож брату моему?
Ветхий Завет

Шагами вымокшую тьму
прошив по улочкам горбатым,
я вдруг пойму: я сторож брату,
я сторож брату моему,

который княжит надо мной,
каштанами давая плату,
мой первородный брат родной!..
Я запоздалый сторож брату:

он старше библий на Руси
и сам, как Библия живая,
где Днепр, как рана ножевая,
струится память оросить.

Я за него не умирал,
а он за всех горел и падал,
и тыщи душ своих терял,
и правды прах он в землю прятал.

Не потому ль росли холмы,
где нимбы фонарей в сиянье
нас допускают к покаянью,
пока, прохожий, живы мы?

---

6. На египетский городок Таба «смотрят» через залив Красного моря Израиль, Иордания и Саудовская Аравия

Браток под номером XX

Кончается браток, седой и бородатый,
сокамерник лихой, что мягко нам стелил…
Кончается, увы, мой ушлый соглядатай,
мой закадычный век — обнимемся, старик.

А я любил тебя и номер твой XX-й —
не так уж важно, кто кого переживёт:
нам плохо будет врозь, мой грустный соглядатай,
и это оба мы предвидим наперёд.

Не номер у тебя — роскошных две решётки:
из них бы два креста я запросто сверстал…
Ты зря мне дело шил, суя чужие шмотки,
а после подставлял подгнивший пьедестал.

Но не обиды час — последний час братанья:
чем дольше шли мои на волю письмена,
тем больше я любил и причащался к тайне,
тем дальше отступал осипший сатана.

Я Библию тебе кладу у изголовья,
а завтра и меня покличут в паханы…
С тобой у нас ничья! Но я — ещё с любовью:
тебя ещё почтит созвездие шпаны.

Молитва в Гефсиманском саду

Да минует меня чаша сия;
Впрочем, не как Я хочу, но как Ты.
Евангелие от Матфея

Иерусалим, не пересоли
Море Мёртвое.
Не пересласти, Иерусалим,
горе горькое.

Средь твоих олив я в твоей горсти —
на ладони весь,
Гефсиманский сад, дай мне дорасти
до твоих небес.

Веткой прошепчи то, что Он сказал —
без посредников:
вся Земля — Его поднебесный зал
для наследников.

Не как я хочу, но всегда — *как Ты:*
вовсе не как я!
В киевских холмах есть твои черты,
Гефсимания.

XXI век, не пересоли
Море Мёртвое.
Не пересласти, Иерусалим,
чашу горькую.

На приисках

В потёмках стоял человек вдалеке,
слегка наклонённый, казалось, к реке.
Спросил я: «Что ищешь в прибрежном песке,
помочь ли, что ищешь?»

А он зарядил мне словами в висок
так, будто под нами различный песок:
— Да, нет — я на приисках неба,
где всякая помощь нелепа…

Не сразу поймёшь: дурака ли валял,
звезды отраженье рекой поверял,
а может быть, звёздами — реку?

Престранный старатель, но всё ж не нахал:
раз помощь отверг и не ищет похвал,
не надо мешать человеку!

Последний май ветерана

Владимиру Кострову

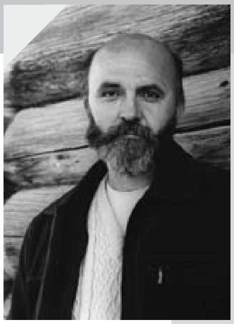
Мальчик слушает пчелу,
точно учит слово «мёд»…
Пот у деда по челу:
мёд плюс годы — как помёт.

Видно, скоро скажут «был» —
хуже, если промолчат…
Кто не путал «пыль» и «пыл»,
различит огонь и чад.

Языком лизнёт свеча
темень, дабы свет беречь:
и могилы не молчат,
и трава — всё та же речь.

И мальчонкино «уа»,
и волчонкино «ау» —
тоже Божии слова
с тайным смыслом наяву!

И пока поёт пчела,
и волчонок воем прав —
вновь природа зачала,
снова смерть весной поправ.



Николай Зиновьев

На чердаке

Бывают дни, дарованные свыше,
Когда на все гримасы суеты
Глядишь с пренебреженьем, так на крыши,
Должно быть, птицы смотрят с высоты.

В подхваченные ветром занавески
Небесная сквозит голубизна,
И всё вокруг в каком-то влажном блеске,
Как будто в детстве, после сна…

На чердаке

Я дверь, как печальную книгу открою.
Здесь время уже никуда не спешит.
И сумрак не тает он, будто иглою,
Лучом из оконца к стропилам пришит.

Вот старая прялка в седой паутине,
Как серая птица, попавшая в сеть.
Вот птицы, которым не петь на картине,
Которой уже никогда не висеть.

Вот тихо коробится жесть керогаза,
Стреляя чешуйками краски, а то
Блестит в полумраке булавкой от сглаза
Покойного деда пальто…

Благовест

Когда так небо бирюзово
И так медвяны облака,
Я словно слышу эхо зова
Издалека и свысока.

Чей голос душу мне тревожит?
Откуда он, такой родной?
Не может быть… Или быть может
То тихий зов души самой.

Сквозь мрак, рождённый злобным словом,
Сквозь кровь и месть, сквозь ложь и лесть.
Она своим негромким звоном
Благую весть мне шлёт: «Я есть».

Не спалось, и я вышел во двор.
Лип верхушки над крышей плясали.
Хмель, как вор, на соседский забор
Лез неспешно. И звёзды мерцали.

Лёгкий ветер мне дул в рукава,
Еле тлела в руке сигарета,
И кружилась слегка голова
Оттого, что вращалась планета…

У нас на хуторе, в Европе,
Пока ни стычек, ни боёв.
Лишь кошка прячется в укропе,
Подстерегая воробьёв.

И жизнь, и смерть походкой тихой
Идут,—тьфу, тьфу, не сглазить чтоб.
И дед Антип с усмешкой дикой
Себе сколачивает гроб.

И говорит, что нет надёжи
Ни на кого—все пьют в семье,
И что крещёному негоже
Потом, как псу, лежать в земле.

Ребёнок

Я завидую этому крохе,—
Моя зависть, как солнце, бела.
Прямо в пыль посредине дороги
Он уселся, в чём мать родила.

Он в пыли беззаботно счастливый,
До чего ж хорошо одному.
Ах, моё беспортошное диво!..
Дай же, Господи, мира ему.

Легенда

А свои голубые глаза
Потерял я в двенадцатом веке,
При внезапном степняцком набеге
Они с кровью скатились с лица.

И тогда, чтоб за гибель семьи
Печенег не ушёл от ответа,
Я их поднял с горелой земли
И с тех пор они чёрного цвета.

Спустилась ночная прохлада.
Сижу на ступеньках крыльца,
Дыханье цветущего сада
Касается нежно лица.

И к тайне творенья причастный,
Я плачу от мысли одной,
Что бывшие в жизни несчастья
Все были придуманы мной.

А месяц стекает на крыши,
И льётся с небес благодать
На кроны деревьев, а выше…
Что выше? Не надо гадать.

А в глубинке моей
Нет ни гор, ни морей.
Только выгон с привязанной тёлкой.
Да древко камыша,
На котором душа,
Маясь, мечется сизой метёлкой.

Но случается вдруг
Чувства светлые в круг,
Вопреки всем невзгодам и бедам,
Собираются все,
Как свет солнца в росе,
Как семья в старину за обедом.

Я в нашей комнатке прохладной,
Проснувшись рано поутру,
Ступал на солнечные пятна
На голом крашеном полу.
Она спала, нагие груди
Укрыв распущенной косой,
А я счастливый и босой,
В постель ей нёс пирог на блюде.
Спешил на кухню ставить чайник…
Всё это вижу, как в кино.
Увы, мы встретились случайно.
Увы, расстались мы давно.

И жизнь, как прежде, непонятна.
И я, как нищий на балу.
Но эти солнечные пятна…
Но эти солнечные пятна
На голом крашеном полу!..

Парк. Осень. Клёны. Желтизна.
И дно фонтана в паутине.
И облака, как на картине,
Стоят недвижимо. И сине
С небес нисходит тишина.

Охапку листьев соберу,
Склоняясь в поясных поклонах
Неутомимому Тому,
Кто вновь их вырежет на клёнах.

Козёл

С утра на привязи надёжной
Козёл пасётся на лугу.
Травы достаточно в кругу,
И сыт козёл, как только можно.

Но бородатому злодею
Неймётся всё. И потому
Верёвка шёлковая в шею,
Как нож, врезается ему.

От боли глаз ползёт под веко
И в горле горечи рассол,
И в сердце злоба… О, козёл!
Как ты похож на человека!

Женщина

То нужна, а то вдруг не нужна,
То гоню, то зову её робко.
То принцесса, царица. Княжна!
То рабыня, холопка.
То волнует, а нужен покой,
То… А впрочем, скажу по секрету:
Очень плохо, когда её нету.
Когда нету её.
Никакой.

Я бьюсь над смыслом бытия,
Но ты войдёшь с улыбкой влажной,
Возьмёшь халат свой за края—
И ничего уже не важно…

Кем эта власть тебе дана?
В судьбу на радость и на муку
Тебя швырнул мне сатана
Или Господь привёл за руку?

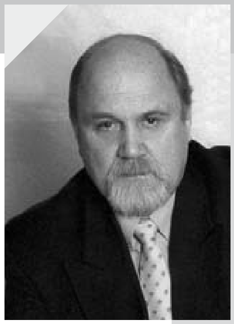
День Победы

Воспетый и в стихах, и в пьесах,
Он, как отец к своим сынам,
Уже полвека на протезах—
Что ни весна—приходит к нам.

Он и страшнее, и прекрасней
Всех отмечаемых годин.
Один такой в России праздник.
И, слава Богу, что один.

Все женщины разные очень,
Особенно в жаркие ночи:
Одна молчалива, как птица.
Другая пылает, как зорька.
А есть та, которая снится.
Которая снится. И только.

На сенокосе
Покряхтев и поохав,
Дед отладил косу.
И шагнули мы «с Богом»
По колено в росу.
Дед столетью ровесник,
Он и тут впереди—
Даже на спину крестик
Сбился с впалой груди.
Так и шли мы, к полудню
Я чуть ноги волок.
И, признаюсь, не помню,
Как упал на валок…
Высоко в поднебесье
Уходил в облака
«Миг», похожий на крестик
Моего старика…



Валерий Иванов-Таганский

Грязь к алмазам не пристаёт

Голливудская наколка

1.

Встретились они в Юрмале, неподалёку от станции Дубулты. Не видел Кондырев Зиновия Зинича по кличке «пушкинист» лет двадцать, если не больше. Прицепили ему эту кличку вначале из-за названия школы, где он учился, но главное, что смолоду бредил Александром Сергеевичем, знал наизусть уйму стихов, с чтением которых нередко выступал в концертах студии имени великого поэта.

Недолго поговорив, старые друзья решили поехать в Булдури, где прошли детство и юность. В маршрутном такси Зиновию стало плохо. Лоб быстро покрылся влажной сероватой плёнкой. Зиновий волновался, говорил громко и торопливо, не обращая внимания на попутчиков. Пахло от него спиртным. Причём, такой запах бывает, когда пьют на ходу, без закуски и не в охотку. Позже он признался, что «наступил на пробку» для храбрости.

— Ведь столько времени прошло! Каким ты стал — сразу не поймёшь, — добродушно извинялся он знакомым с детства голосом — теноровым и беспечным.

В молодости он и впрямь жил беспечно, надёжно запрятанный за широкую спину вездесущей мамы, деятельного и хорошего врача, которая, как наседка, уберегала его с братьями после давней, скоропалительной смерти мужа.

Маршрутка гнала вперёд, пассажиров не убавлялось. Вскоре с лица Зиновия потекло, но он этого не замечал, а продолжал неугомонно вспоминать общее с Кондыревым прошлое. Рассказывая, он теребил в руках плотный нейлоновый пакет, в котором, как потом выяснилось, была початая бутылка водки, недопитая с ночи, после грибной прогулки с соседом.

От Дубулты до Булдури — рукой подать, и вот они у цели. Вышли на воздух. Зиновий судорожно вытер комочком мятого платка посеревшее лицо и глубоко задышал. Маршрутка поперхнулась, хлопнула газами и исчезла.

— Вот мы и здесь, в Альма-матер, доложу я тебе чистосердечно. По дороге ты изволил заметить про памятник Сталину, старина? Так вот, тут, на этом самом месте он и был, — указал он большой опухшей рукой в сторону зелёной поляны рядом со станцией. — Здесь «усатый» стоял, царство ему небесное. Хоть и дьявол был, а до сих пор уважаю! Не каждому дано так в голове застрять. Ведь мальчишками были, чего кажется, а вспомнишь — и вновь страшно. Владыка!

Он подошёл к небольшому окну магазина, где с присущей ещё с давних лет обходительностью купил для Кондырева сигарет. А потом на каком-то воробьином языке, с прибаутками и представлениями Кондырева, как заморского гостя, договорился с продавщицей, что зайдёт к ней через час домой за «добавкой».

Ещё в Дубулты, при встрече, Кондырев спросил его о Дзинтре, единственной девчонке, которую он помнил из той, доинститутской, или, как он называл, «латышской» поры его жизни. Вспомнил Кондырев об этой девушке так, невзначай, но Зиновий загорелся, предложил поискать.

— Авось где-нибудь в толпе мелькнёт, — фантазировал он, — а вдруг и на пляже увидим.

Отец Кондырева был военным. Забросило его в Латвию после фронтовых судеб по приказу маршала Баграмяна, у которого комполка Кондырев в составе Прибалтийского фронта был на хорошем счету. Забросило, как оказалось, навсегда. Здесь, в Латвии и остался на веки вечные забайкальский казак — Александр Павлович Кондырев.

После войны определение «зона влияния» было особенно в ходу, поэтому и застряло в памяти подрастающего Кондырева, как большая заноза. Постепенно термин прижился и стал частью послевоенной биографии целого поколения.

2.

Впрочем, «зона» оказалась для всех, с той только разницей, по какую сторону ты.

Позже, уже в наше время, вся эта «зона» аукнется и прорастёт в Прибалтике невыносимым чертополохом, а политические проходимцы договорятся до того, что Латвия все советские годы находилась в оккупации.

Первое время Кондырев злился, что не могут наши политики дать сдачи зарвавшимся латышским перемётчикам, а потом привык, видя, как сдают российские «новоделы» всех, с кем когда-то дружили.

— Ну, вот и пришли, — возвестил Зиновий.

Перед ними была улица, точнее проспект, где Кондырев когда-то жил с родителями.

— Вот они, в общих чертах, контуры детства, пути-дорожки, так сказать, — велеречиво провозгласил старый друг, оглядываясь по сторонам.

Кондырев осторожно, словно на ощупь, шёл следом и ничего не узнавал. Он смотрел по сторонам и недоумевал. Какая-то другая жизнь наступила на его далёкую, а теперь и вовсе потускневшую юность.

— Что это за чудо такое? Куда сгинуло всё, что мне нравилось? И так быстро, словно по щучьему велению, — думал он, непрестанно оглядываясь.

Действительно, на его детскую выцветшую киноленту наехала какая-то «голливудская наколка», некий сине-красно-фиолетовый наплыв из невероятных, как на конкурс выставленных особняков, похожих на пирамидальных буйволов, наперегонки гарцующих по старой, но уже незнакомой улице.

Между тем, Зиновий всё подробно комментировал, называл имена новых владельцев, как и на чём «выскочили» создатели этой «новой», взятой на прокат с чужой кинополки цивилизации. Видно было, как звериная хватка новых хозяев безжалостно задавила не устоявшее и теперь кричащее старостью и ветхостью всесоюзное прошлое. Закрылись когда-то известные санатории, исчезли парки, кинотеатры и даже велотреки. Даже общественные туалеты, заваленные пластмассовыми отходами, чёрными от грязи бумажными катышами и ржавым ломом, теперь были не нужны. Отправляли нужду по углам, в дюнах или за деньги в чьих-то подъездах. Горько и зло, с матерными вкраплениями старый дружок, словно кладбищенский гид, живописал о конце старого порядка и о нахальной поступи нового.

— А вот и искомое местечко! — радостно затянул он, указывая в сторону громадного дома с телекамерами. Дом был с множеством окон, во дворе журчал позолоченный фонтан и, казалось, ещё секунда и вынырнут белые лебеди.

— Вот здесь, на этой территории, студиоз мой ненаглядный, ты наливал мышцы вперемешку с интеллектом. Фраернули нас отсюда, а вот это оставили, — кивнул он в сторону.

И вдруг на соседнем пустыре Кондырев узнал почерневшую от времени старую берёзу, на которой много лет назад был прилажен скворечник. Материал, из которого его тогда смастерили, был добротным, из «железного» дерева — карагача, и закрепили, будто на века. Жив был скворечник. Перелётный, похожий на стёртую пемзу воробей на секунду, транзитом, приземлился на крышу скворечника, радостно их поприветствовал, а потом, отсалютовав сброшенной какашкой, полетел дальше к своим птичьим радостям. Впереди, за забором таинственного и безмолвного поместья, неожиданно появилась громадная чёрная собака. Она злобно прицельно лаяла и, казалось, прогоняла их. Зиновий показал на телекамеры.

— Заметили! Долго стоим на виду. Предлагают удалиться. А это, — он указал на оскаленную пасть разъярённого ризеншнауцера, — их парламентёр, делает первое предупреждение. Пошли, пока охрана не появилась. Видишь, никто не любит, когда долго стоят над грешной душой, — таинственно, чтобы его не подслушали, заметил Зиновий. Они быстро отошли в сторону.

— Кстати, аусвайс у тебя с собой?

3.

— Паспорт, что ли? — поинтересовался Кондырев, — с собой.

— Не удивляйся. Это я так, на всякий случай спросил. У нас ведь тут экзамен по латышскому ввели. Язык-то я знаю. Мне присвоили вторую ступень. Спасибо министру Хирши и всем другим титулярам от бывшего пушкиниста Зиновия. Мог бы и выше подняться, но экзамена боюсь. Мотор ведь не тот.

Он прочитал на латышском языке Яна Райниса и добавил: — Хороший был поэт, с детства люблю.

Потом он стал читать Пушкина. Читал долго и вдохновенно, на фоне шумевшего вдалеке моря. Особенно прозвучали «Бесы». Строчку: «Сбились мы, что делать нам!» — он выкрикнул, словно ища спасения.

Вдруг неподалёку мужской голос окликнул собаку.

— Зевс! На место!

— Слышал? — остановился читать Зиновий. — У них, как в Греции всё есть, даже свой Зевс в ошейнике. Он перевёл дух, и друзья двинулись дальше.

В стык с поместьем, которое охранял ризеншнауцер Зевс, словно бастион Раевского, доживал одноэтажный зелёный барак с полупустым участком.

— Этот уже куплен, видишь — окна, как слепые, — решительно сообщил Зиновий.

— А люди где? — спросил Кондырев.

— Люди стали уходить — философски заметил он. — Раньше тянули, мечтали до пенсии дожить, а сейчас живут, как колуном отрубили: ни за квартиру не заплатить, ни купить ничего не могут. Вот и стали один за другим помирать. А твоя Дзинтра, между прочим, где-то здесь междуножьем прорастала, — захохотал он и указал на соседнее место, где теперь возвышался белый двухэтажный дом, обнесённый массивным и таким же белым забором.

— А может там? — махнул он в другую сторону. — Да не всё ли равно — нет её. Затерялась в массовке — статистка! Они свернули на тропу, манившую своим золотисто-жёлтым течением. Иногда дорожка топорщилась угловатыми, как ключицы, полированными корнями и щербилась выцветшими осколками хвои и иссохшей травой. Затем они шагнули вглубь леса, вышли уже на другую тропу, пошире, приспособленную для прогулок отдыхающих. Она была неухоженной, заросшей, как небритость на лице покойного. Шли и молчали: ни встречного, ни поперечного, лес словно вымер. То и дело встречались старые разрушенные постройки, ограды, зарытые в песок столбы, покрытые зелёной плесенью. Незаметно они подошли к ресторану «Юрас Перле», что в переводе «Морская жемчужина». У Кондырева буквально ноги подкосились. Ресторана практически не было, остались развалины — чёрно-белый остов. Крушение когда-то жемчужины Рижского взморья было невыносимо для него. Он отчётливо помнил этот европейский уголок, сделанный с размахом и вкусом, ещё с 60-ых годов. В памяти всплывали подробности: надменность и ухоженность администрации, изысканность официантов, хорошая кухня, разнообразные напитки и блестящее варьете, где пели в разное время Салли Ландау и, конечно же, блистательная Лайма Вайкуле. Словно выброшенный из воды «Титаник», со сгоревшим остовом и чёрными всполохами из окон, взирала сейчас на людей сокрушённая жемчужина. И крушение было

очевидным, запротоколированным, с чёрной печатью и без адреса, просто так: «До востребования». Вот здесь, старина, я восемнадцать лет, как один день отслужил,—с чувством воскликнул Зиновий. Он достал початую бутылку водки, заготовленные для «процедуры» пластмассовые стаканчики и вопросительно взглянул на Кондырева. Кондырев отрицательно махнул головой. Тогда Зиновий, опершись на толстый бетонный парапет, перекрывающий дорогу к морю, с изысканным мастерством налил себе водки из завёрнутой в газету бутылки. Крохотный, как горошина, помидор внезапно появился на его большой ладони. Из-под густых бровей он метнул взгляд на то, что когда-то было рестораном, глубоко вздохнул, хотел что-то сказать, но не получилось. Только глаза налились тоской и болью. Выпив, он не закусил, а, поглаживая рукой похожий на мячик для пинг-понга красный овал помидора, наконец, заговорил.

— Когда после отделения Латвии начали закрывать русские школы, и с Пушкиным стало не по пути, пошёл сюда. Барменом я здесь был. Восемнадцать годков—ни дать ни взять! Кто только перед глазами не прошёл. Какие крутые здесь совдепы тусовались! Деньги, как душ Шарко, шумели. Ну, правда, и работали.—Глаза Зиновия загорелись, он выпрямился, и по еле уловимому развороту Кондырев неожиданно заметил намёк на что-то прежнее, артистичное и до сих пор не забытое.

— Здесь же и сломали меня,—тяжело вздохнул Зиновий.

Он потянул к колену штанину и показал длинный шов на ноге, ставший спасительной дорожкой к его сердцу. Зиновий опять изящно плеснул из-под газеты водки, и, выпив, принялся теперь уже подбрасывать маленький помидор.

— Пришёл как-то с утра один чувачок. Харрис его звали. Я его знал. В своё время «нагрел руки» на чём-то, ну, и упырём стал. Ни дать, ни взять—хозяин жизни. Подай ему виски—пятьдесят грамм. Я налил. «Нет,—говорит,—давай уж лучше сто!». Потом вдруг передумал, бальзам попросил. Я вылил виски, налил бальзама. Он смеётся, доволен, видя, как я завожусь. Бальзам налил—не пьёт. И так меня вдруг повело, что до сих пор понять не могу. «Ах, ты,—думаю,—фраер, ну погоди!».

А сам еле сдерживаю себя, буквально меня трясёт. Ведь понимаю, что он провоцирует меня, а взять себя в руки не могу.

— Ты, может, сейчас прикинешься и шампанского захочешь?—медленно так говорю ему.

— А что, может быть и захочу,—оскалился этот гад.—Твоё дело лакейское! Я плачу, что хочу, то и заказываю.

— Что я ему илот какой-нибудь! Ведь и я здесь родился и потом—не бедуин! Оба здесь росли, землю одну топтали. Одни и те же бабы к «хозяину» в штаны лазили. А тут, поди ж, помёт я для него стал. Лакей!—И тут врезал я ему, да так, знаешь, от души, с оттяжкой! Как бильярдный шар, он в угол «свояком» врезался. Потом встал, отряхнулся и зашипел мне:

— Ну, морда ты этакая, я тебе устрою! Поймёшь, наконец, кто здесь теперь хозяин.

— И устроил!—Зиновий помолчал, хотел было закусить помидором, да не стал. Задумался ненадолго, опять на глаза влага набежала да челюсти сжались мёртвой хваткой.—А потом серийный фильм начался, вроде «Места встречи изменить нельзя». Каждый день он с приятелями стал появляться—пасти меня. Издалека вижу, вооружены они, прицелы блестят. В первый день я тесак взял на кухне. Кое-как дошёл до дома. От Майори до моего дома ровно три тысячи шагов. Пришёл, сердце вываливается—скорую моя Валя вызвала.

На второй день снова они появились, но я уже на работу «Парабеллум» захватил и газовый баллончик для нахальных ресниц. Возвращаюсь вечером домой, выстрелы слышу за спиной. И опять у меня сердце—хвать! И снова—скорую. А на третий день, они в бинокль весь день на меня на работе глазели. Вышел в Майори из электрички, прошёл своих тысячу пятьсот шагов и чувствую—не могу. Кол посередине груди. Лечь, думаю, что ли? Решат, что пьяный. Я ведь тогда в мундире ходил, при бабочке—не этому чета,—Зиновий скользнул потной рукой по рубахе.—Потащился, держась за заборы, домой. А в затылок мне окуляры целятся: то ли бить будут, то ли стрелять… Коли один-два—нестрашно! А то ведь человек пять по следу идут. Весь расчёт—на количество. Дошёл до дома—кричу Вале: «Быстрей скорую, подыхаю…». И шарах—с ног долой! Увезли! Как утопающего за шиворот вытащили. С тех пор—инвалид второй группы. Сорок пять лат на всё про всё. Меня починили, четыре артерии новых проложили, а дом мой,—он грустно посмотрел на сгоревший ресторан,—видно не оклемается. Так видно и будет чёрными подтёками глазеть на пустой пляж… В жизни хорошее не запоминаешь, а плохое—бери топор—не вырубишь. Фантастический реализм, дружище,—экономика на якоре, лат дороже доллара, жизнь взаймы… Понастроили всякой чепухи, думают—Беверли Хиллз тут, а о моей русалке забыли. Некому даже грязь стереть.—Они подошли к стене здания, и Зиновий, подобрав клочок газеты, стал оттирать чью-то похабень у проёма.

— Видишь, русалка моя, не получается. Грязь и дикость под кожу тебе влезли, словно наколка.

Помидор неожиданно выпал у него из руки и покатился вниз по тропинке. Катился он далеко, к морю… Какой-то толстый дядя, пробегая, наступил на него, и, на ходу отряхивая ногу, побежал дальше.

Море было спокойным. Только вдалеке, почти на горизонте, чернел какой-то предмет—то ли бак, то ли рубка сказочной субмарины…

Главы из трилогии «Обречённая на жизнь»

Грязь к алмазам не пристаёт

День был солнечным и влажным. Природа за ночь поплакала и подсыхала, как слёзы на ресницах притихшего ребёнка. Они завтракали и бесшумно проскочили мимо хозяйкиных окон. Ильин предложил поехать к штабс-капитану Тульневу.

Дом инвалидов был рядом с Борованштрассе. Получалось удобно: повидать друга деда, а потом—к Маркову.

Вступив за ограду богоугодного заведения, Ильин заволновался: вспомнилась надпись на подаренной фотографии: «…завершить незавершённое». Он до сих пор ещё не мог прийти в себя от встречи с дядей Витей. При всём хорошем, его раздосадовало то неизбывное и не проходящее с возрастом желание старика хоть через силу, но дотянуться до «руля жизни» и что-то на нём начертать если не литерой, так хоть самой мелкой прописью. В его возрасте такое тщеславие Ильину казалось суетным и даже вредным: «В мечтах они так долго ехали на Родину, что не только опоздали со своим неуместным морализаторством, но и вредят памяти: куда лучше их помнить бойцами, чем воспринимать советчиками. К тому же в России, где абсурд давно уже превращён в реальность, чему-то учить просто поздно, ни у кого нет морального права».

—Что поделаешь, если мораль, как лавина, упала к подножию и назад на пьедестал её не затащишь,—сказал он вслух Дорине.

—К чему это ты?—насторожилась она.

—Это не то, о чём ты подумала.

—Ты имеешь в виду, что я теперь у твоих ног?

—Не знаю, кто у чьих? И вообще с тобой вслух думать опасно: у тебя фантазия богаче.

У дежурной они узнали номер комнаты. На табличке под номером шесть стояло две фамилии. На стук никто не ответил, постучали громче—опять молчание. Ильин осторожно тронул дверь и в щель увидел одинокого старичка, сидящего на металлической койке и внимательно читающего газету «Труд». Увидев людей, тот весело, даже слегка придурковато улыбнулся и чуть не пропел:

—Пожалуйста! Вам кого?

—Штабс-капитана Тульнева,—в тон отозвался Ильин.

—Штабс-капитан перед вами,—с этими словами старичок попытался молодецки выправиться и встать, но это не в полной мере получилось.

—Штабс-капитана, однако, это ничуть не смутило, он опёрся на большую стопку книг, лежащих на шкафчике рядом с постелью, те аккуратно рассыпались, но хозяин устоял. Старичок походил на весёлого оловянного солдатика-отставника: со взбитым, взлетевшим высоко наверх клоком волос и изумлённым лицом, на котором все черты приобрели удлинённое, вопросительное выражение.

—«Лица незнакомые, но приятные»,—пел его голос, в котором прорывалось удовлетворение человека, долго молчавшего. Речь его была скандирующая, он наседал на гласные, проплёвывая через подсыхающий с боков рот.—Проходите, проходите, с кем имею честь?—протянул он лёгкую руку и еле слышно прикоснулся к руке Ильина.

—Внук полковника Шаргунова—Владимир Сергеевич Ильин,—с некоторым военным изыском доложил Ильин.

—Вольдемар, тебя ли я вижу, мой мальчик? Значит, вот ты какой?

Откинув корпус и подбоченясь, Тульнев описал полукруг, изучая Ильина, и твёрдо заявил Дорине:

—Не правда ли, красавец? И ростом выше меня.

—Но не умом,—весело подхватил тон хозяина Ильин,—Маркса не читаю.

С этими словами он поднял «Капитал» Маркса, оказавшийся среди упавших на пол книг.

—О, это моё снотворное. Две страницы на ночь—и вот, сплю, как новорождённый.

—А я решил, что это пособие для вдохновения или диссертации.

—Что вы, Вольдемар, разве этот субъект может научить чему-нибудь хорошему? Его мамаша всё время ему повторяла: «Вместо того, чтобы писать «Капитал», Карл, нужно его накопить». А я бы добавил: человеку, который выдумал «Капитал», а жил на деньги приятеля и жены, следовало бы сменить название сочинения на «Карманную чахотку». Нет-нет, Вольдемар, успокойтесь, я не марксист. Опыт не оставляет иллюзий. Многомятежное человеческое хотение привело к катастрофе. Теперь нам нужен здоровый консерватизм, а не сверхобщество. Россия всё равно сошьёт свою идеологию из «старого платья»: держава, православие и служение через жертву. Эта русская тройка—единственная сила, способная вывезти нашу страну. Другой просто нет! Другая «тройка»—это уже не Россия, а неведомое нам отечество.

—Это ваша мысль?—поинтересовался Ильин.

—Совершенно верно, мой дорогой. Моя! Записана в двадцатых годах в дневнике, когда я впервые использовал Маркса в качестве снотворного. Присаживайтесь. Представьте мне даму, Вольдемар!

Дорина протянула руку и назвалась.

—Вы не француженка?

—Нет, я болгарка, но французский знаю.

—А что, моя дорогая, это богатство. В моей научной работе мне всегда не хватало знания иностранных языков. Бог с ними, с французским и немецким, их я кое-как знаю, но латынь, греческий—они у меня вылетели постепенно, но окончательно. Вольдемар, тебя ждёт подарок,—многозначительно уставился на Ильина штабс-капитан,—я систематизировал свой труд и решил, что, как ты появишься, подарю его тебе. С его дедушкой, Дорина, мы были самыми близкими друзьями, к тому же в 1920 году он спас мне жизнь. Но об этом после. Мой мальчик,—торжественно заговорил старик,—возможно, ты станешь богатым! В этом дрянном шкафу—мои сокровища, коллекция минералов, собранных в течение шестидесяти лет.

Он распахнул дверцы стоящего в глубине гардероба, и Ильин увидел, что тот забит снизу доверху коробками.

—Я собирался это отдать представителям одной фирмы, но сейчас у меня есть наследник, и я вручаю эту коллекцию тебе, мой мальчик. Её надо вывезти быстро и в надёжное место. Они меня уговаривали подписать предварительную бумагу, но твоё появление меняет дело. Как только ты объявился, я сказал себе: «Вот кто продолжит вековой труд». Продолжит или отдаст его в надёжные руки.

—Спасибо,—беспокойно ответил Ильин,—но что я с этим буду делать?

— С богатством делают одно — его приумножают.

Ильин осторожно притронулся к коробкам и с удивлением спросил:

— Откуда же у военного человека такая привязанность к камням?

— Мой дорогой, для того, чтобы всё рассказать — не хватит жизни, но коротко отвечу: я из Екатеринбурга. Дед мой с бабкой работали на знаменитом петровско-малаховском месторождении. Один уникат из этого месторождения я храню семьдесят лет, но ему, мои дорогие, за двести. Это подарок моей бабушки Анны, царство ей небесное, потом я его обязательно покажу. Я военный по случайности, по стечению обстоятельств. По профессии я геолог, а точнее — шлифовальщик редких минералов. Здесь, в этом шкафу, — история болгарской земли, неповторимость её природы, прослеженная мною за шестьдесят лет.

Ильин слушал Тульнева и не мог не удивляться. Откуда бралось? Совсем не стариковское здравомыслие, неистовая увлечённость, лик профессора на кафедре и эта неожиданно вспыхнувшая привязанность к нему — всё казалось неправдоподобным, но происходящим на глазах и трогательным до слёз.

— Твоему дедушке, Вольдемар, было нелегко, он долго не мог определиться. Потом он стал электротехником, и всё стало на место. Я же с первых дней эмиграции пристроился к геологической партии. Вначале — чернорабочим, потом — шлифовальщиком. И так до пенсии. Я счастливый человек, я занимался любимым делом всю жизнь. Пусть не на Родине, пусть вдалеке, но делал то, что мне поручил Бог. В этой коллекции зафиксированы все минералы, повторов которых уже в природе нет, ибо магнитное поле Земли не повторяется.

Он схватил Ильина за руку и ближе подвёл к шкафу.

— Вот каталог, — он раскрыл небольшую потёртую тетрадку, в которой были записаны цифры и даты. — Коллектора у меня нет, но все подробности, номера, годы и описание месторождений и минералов записаны точно. Эта сторона представляет особую значимость. Это аметисты, вот тут друзы аметистов, из которых делают украшения для женщин: браслеты, серьги, ожерелья и многое другое. Вольдемар! — с удовольствием воскликнул старик. — Это капитал, который не теряет своей стоимости. Но это не главное и не самое дорогое. Есть то, что сделает тебя, мой мальчик, богатым.

— Спасибо, но почему всё это мне? — удивился Ильин. — Неужели у вас нет родных, близких?

— Кроме тебя — никого! Все там, — он указал на пол, — я верил, что ты появишься. Я тебя выдумал и давно ждал. Поэтому прошу тебя — внимай мне, как Пимену, хотя это далеко не Чудов монастырь. Шутка пришлась ему по вкусу, и он по-детски захихикал.

— Как дедушка вас спас?

— Под Новороссийском один мерзавец, по природе мародёр, знавший о моих нескольких яшмах в рюкзаке, решил убрать меня во время боя. Когда он целился, твой дед сразил его наповал. Я ему сообщил о возможности покушения и не ошибся в выборе. У тебя добрые глаза, мой мальчик, а камни служат только избранным для добра. Он обнял Ильина и обернулся к Дорине.

— Не правда ли, он достоин?

Дорина кивнула и тоже заулыбалась.

— Теперь о главном. Дорина, оставь нас буквально на несколько минут. Есть вещи, которые должен знать только один Вольдемар.

Сказано это было так галантно, что Дорина тотчас же исполнила просьбу.

— Вольдемар, ещё раз повторяю: уникальность коллекции сама по себе, особенно сейчас, после 10 ноября, когда её можно предложить для реализации, — бесценна. Учти, что в Болгарии нет сильной школы минералогии, кое-чему они учились у немцев, которые, тати, помогли мне найти то, что должен знать только ты. В тридцатых годах в Пиринские горы часто ездили немцы. Чаще всего на так называемые экскурсии. Одну такую «экскурсию» геологов я выследил. В брошенной ими небольшой шахте осталась жила, которую я продолжил с таким упорством, какое швабам не снилось, сейчас я тебе кое-что покажу.

Он быстро передал Ильину несколько коробок и из глубины вытащил свёрток, завёрнутый в вафельное полотенце. Это были коробки, аккуратно заполненные ватой. В них лежали камни, похожие на зелёный лёд. Их было более двадцати, сантиметров по восемь длиною.

— Что это такое? — почему-то шёпотом спросил Ильин.

— Это — изумруды из пегматитовых жил пиринского массива. Каждый камень стоит огромные деньги. Здесь их двадцать один. Мне заниматься этим поздно, тебе же, мой мальчик, и карты в руки. Вывези это, — старик округлым движением указал на шкаф, — в двадцать четыре часа — иначе будет поздно.

— Почему так срочно? Что-нибудь случилось?

— Ничего! Предчувствие, мой мальчик. А теперь, — он завернул изумруды и задвинул их на место, — зови твою возлюбленную.

— С чего вы решили?

— Не решил, а знаю, — он вдруг медленно присел и тяжело закрыл глаза. — У стариков, Вольдемар, как у древних змей, чувство смерти и жизни в глазах.

Ильин позвал Дорину. На сей раз старик откуда-то сверху достал очень красивый шлифованный камень.

— Это — яшма, — заговорил он торжественным голосом. Этому камню больше двухсот лет. Он может околдовать, но и... принести счастье. Вглядитесь в шлифованную плоскость, здесь указан смысл бытия.

Ильин пригляделся и действительно увидел странный рисунок, светящийся изнутри. На фоне красно-коричневых облаков величественно подсыхало когда-то красивое дерево, а сверху была протянута чья-то рука: то ли спасающая, то ли указующая. Дорина и Ильин от изумления переглянулись и вопросительно уставились на штабс-капитана.

— Это работа древних мастеров, наших предков. У неё два названия: «Конец земли», второе — «Начало жизни» — одигитрия по-гречески.

— И всё-таки, что же это? — спросил Ильин.
— В том-то и секрет, мой мальчик, что видит это каждый по-своему. Я одним глазом, а ты — другим.
Он вдруг присел и опять медленно закрыл глаза.
— Что случилось? — встревожился Ильин.
— Сердце, чёрт бы его побрал, галопом поскакало. Вот… эмоции, они хороши, но мстительны, мой мальчик. Но ничего… Там вон, в шкафчике, — валидол.
— У вас здесь какой-нибудь медицинский персонал есть?
— Ещё бы: Амосов Чиркова подпирает.
Ильин нашёл упаковку валидола и передал Тульневу. Старик вытянулся на кровати и закрыл ладонью слегка побелевшее лицо.
— Эх-тих-тих, — посетовал он, — голова завертелась, словно аттракцион в ней.
На какое-то время он замер.
— Валидол-то возьмите, — нарушил тишину Ильин.
— Да-да, забыл.
Тульнев выдавил таблетку и положил её под язык.
— Всё это уже не помогает, так, для самообмана.
— Может быть, позвать врача?
— Не надо, ни к чему, — он нащупал руку Ильина и, притянув его к себе, сказал. — Сегодня же займись вывозом коллекции. В понедельник будет смена дежурных и это сделать станет намного труднее.
— Почему?
— Санитар из той смены за мной следит, фирма, кажется, наняла соглядатая, поэтому надо торопиться.
— Господи, — воскликнул Ильин, — сколько неприятностей из-за моего появления.
— Не из-за тебя, мой мальчик, коллекция дорого стоит, они это знают.
— У вас с этой фирмой есть договор?
— В случае моей кончины и отсутствия наследника они могут воспользоваться моей коллекцией.
— Что мне делать?
— Нужна машина и место, куда коллекцию вывезти, — вмешалась Дорина.
— Правильно, — обрадовался старик, — помоги ему.
— Вот что, — по-деловому и решительно проговорила Дорита, — езжай на Боровантрассе, там телефон, и сообрази, как всё организовать. Я останусь здесь и буду ждать. Кстати, здесь есть телефон?
— В конце коридора, — отозвался Тульнев. — Я напишу дарственную, а вы… — он опять замер и на сей раз надолго замолчал.
— Ровно через час я тебе позвоню, — отчеканила Дорина.
— Может быть всё-таки позвать врача? — неуверенно спросил Ильин.
— Не надо, пусть дежурная измерит давление и даст резерпин, — прошептал Тульнев.
— Я всё сделаю, миленький, а ты немедленно езжай и будь на телефоне.
Ильин пожал старику руку и неожиданно поцеловал её.
— Не беспокойся за меня, главное мы уже сделали. Иди, Вольдемар.

Кого отмечает Бог

В купе к Ильину подсела лишь супружеская пара, четвёртое место оставалось свободным. Пожилой мужчина был высоким, худым, в роговых очках. Тонкое, нервное лицо обрамляла чуть намечавшаяся бородка. Спутница его была, очевидно, больна, опиралась на костыль. Ильин ответил на короткое приветствие и продолжал читать газету, изредка досадуя на неожиданных попутчиков. Мужчина изысканно устраивал дорожной быт: на столике появилась минеральная вода, фрукты, красивые чашки. Женщина с увядшим, когда-то очень красивым лицом, на котором теперь застыла гримаса недуга, привычно руководила мужем, и он охотно исполнял любое её желание. Вскоре они устроились и только тогда вежливо отреагировали на появившееся из-за газеты лицо Ильина. Поезд постукивал колёсами, мелькали с черепичными крышами домики и похожие на дворцы виллы, сменявшиеся уступами гор, редкими стрелочниками с торжественными застывшими лицами и деревьями — чаще ивой, лиственницей, реже — сосной. Наконец соседи перекусили, помолившись в начале и в конце своего короткого ужина. Ильин не любил дорожных разговоров, и установившаяся тишина его вполне устраивала. Вскоре женщина прилегла на нижнем месте и затихла. Сосед вышел покурить и, вернувшись, стал устраивать постель на верхней полке. Вот только тут Ильин вмешался:
— Я бы вам советовал расположиться внизу, на моём месте, — на ломаном болгарском оказал Ильин.
— Правда? — с каким-то детским удивлением спросил мужчина по-русски.
— А что вы так удивляетесь?
— Но ведь это ваше место. К тому же вы человек, который любит укромность и благоустроенность.
— Почему вы так решили?
— Смею надеяться — наблюдательность. Чаще всего люди по природе своей болтливы, особенно женщины. Разговориться — это значит разорвать путы, избавиться от одиночества, в котором мы от колыбели до последнего вздоха, не правда ли?
— А поделиться своей удивительностью, разве это не главная цель? — весомо перебил Ильин.
— Конечно, и это тоже. Всякий человек — это тысячецветная радуга, и каждый чувствует этот божий отсвет, но по природе человек — рабское создание. Однако есть редкий тип людей, с которых сорвать печать молчания — мука невообразимая. К этому типу, по-моему, принадлежите вы. Конечно, условно и недавно.
— Вы что, экстрасенс?
— Нет, я — священнослужитель.
— Как интересно, вы до Москвы?
— Да.
— А почему условно и недавно?
— Вы очень напряжены. У вас одна и та же поза. Редко человек троекратно одной ногой обвивает другую. Вы словно готовитесь к какому-то испытанию. Потребность в концентрации во время чтения настолько вам необходима, что даже лист газеты вы переворачиваете почти судорожно. Вы боитесь оторваться, потому что придут мысли, которые вас беспокоят.

— Да, отменная наблюдательность. Это плод знания или духовной проницательности?
— Конечно, и знаний. Но не главным образом знаний.
— И всё это вы успели заметить за этот короткий промежуток времени?
— Ну, положим, не такой короткий.
— Да ведь вы даже моего лица не видели! — воскликнул Ильин.
— Нет, видел. Наш Спаситель — эзотеричен, он не человек, а божественное начало, которое есть у каждого человеческого существа. Когда оно не в гармонии, мы, священнослужители, обязаны видеть или убираться из храма вон, как гнали торговцев в Святом Писании.
— Значит, вы обнаружили отсутствие гармонии во мне? В чём же это выражается?
— В каждом человеке есть Божье святилище. Оно во всём: в лице, в походке, во взгляде, но больше всего — в выборе поступков. У Господа нет выбора, поэтому каждый, ступивший мимо, сразу может быть заметен.

Ильин только теперь, после всего услышанного, начал приглядываться заново к этому неожиданному попутчику. Всё в нём было ровно: пластика, постав головы, чуть отброшенные назад плечи, а слово, оно было намагничено живой энергией вдохновения, уверенности, но не той шумной и показной, а ровной, животворной и лишённой всякой позы. Особенно хороши были его глаза: серые, глубоко упакованные в замшевую подкладку кожи, несущие черты нелёгкой, шероховатой и глубоко выстраданной жизни. Самым удивительным в нём была манера общения: он не учил, не гарцевал, а выстраивал и высветлял, как в литургии, то, что, казалось, Ильин хорошо и давно знает.
— С вами легко говорить, такое впечатление, что вы подслушиваете мысли.
— Нет, в этом нет необходимости. Человеческое лицо — это такой экран, на котором при желании всё можно прочитать.
— Видите ли, моя профессия — это как раз научить прятать лицо за спиной поступков. И жизнь так устроена, что одно мы думаем, другое говорим, а делаем нередко третье.
— Это явление временное. Только на период, когда человек болезненно контролирует себя. К тому же это противоестественное состояние. Рука невидимого садовника, формирующего генеалогическую крону человечества, подрезает и отсекает ветви, не соответствующие задуманному образу.
— Ну, это уже какая-то мистика.
— Правильно. Совершенно правильно, потому что человеческая жизнь, её существо — экзистенция, кроется не во внешних обстоятельствах, а в мистических свойствах человеческих судеб.
— Ильин на секунду задумался и ещё раз внимательно посмотрел на собеседника. Нет, сосед не казался ему одержимым или фаталистом, но такая предначертанная и централизованная программа, проводимая кем-то, не соответствовала ни его способу жизни, ни житейскому опыту. Однако его тянуло к этому человеку, но вместе с тем хотелось возражать ему, найти в его логике дырку, через которую истечёт весь этот гармонический розовый дух.
— Один из лучших писателей прошлого века воскликнул, что не нужен ему рай, если он построен на слезе одного ребёнка. С тех пор человечество дожило до атомной бомбы, звёздных войн, нацеленных уже вовне; человечество думает о военной программе для защиты против инопланетян. Как всё это «сшить» с некоей божественной режиссурой, которая голодных не кормит, больных не лечит, а кукловодов оберегает? Где же выход? И есть ли он вообще? — уставился Ильин на собеседника.
— Выход есть. И он совсем рядом, он в нас самих. Мы должны вернуться к образу оптимального человеческого поведения. В геронтологии человека заложены не только сроки жизни, но и выбор способа этой жизни. Не являются ли заповеди, данные Богом Моисею, кодексом поведения чадам своим? И только нарушение этих заповедей вело к неминуемой расплате. В истории, в летописях, в живой практике сегодняшнего дня за каждым дьявольским поступком идёт наказание: «казни египетские», потопы, землетрясения, распри, голод, насилие, войны… В геноме человека есть «взрывной код». Каждый наш неверный шаг, преступление не остаются не отмеченными. Ты преступил, но не заметил, что началась психическая и физиологическая реакция, после чего изменяются процессы жизнедеятельности, наступает болезнь, гибель или безумие.
— Значит, этот снежный ком мы не можем остановить? Так что ли?
— Совершенно правильно. Не можем, но должны.
— Но многим людям так проще и кому-то так это выгодно. Опустившимися маргиналами легче управлять.
— Абсолютно правильно. Сатанизм имеет всё: и средства, и последователей, и цели. Но сопротивление ещё велико, и в этом главная надежда на спасение.
— Значит, «пора ударить в великий колокол идеи», так, что ли? — воодушевлённо сказал Ильин.
— Вы хоть и иронизируете, но совершенно верно — «пора». Дай бы Бог, побольше таких людей, как вы!
— Ильин свернул газету и засунул её за сетчатую полку.
— Как вас, кстати, величают?
— Отец Грознов, — с некоторой гордостью ответил попугайчик. — В миру — Борислав, а по-русски Боря, вернее — Борис.

А по батюшке как?
— Борис Аспарухович. Был у нас такой царь — отца назвали его именем.
— Звучит внушительно: Грознов, почти Грозный…
— Вы не ошиблись, есть свидетельства, что ниточку боковой ветви Грозного мы унаследовали.
— Ильин даже присвистнул от удивления и ещё с большим вниманием уставился на собеседника.
— А где вы учились? У вас такие обширные знания.

Отец Грознов тихо рассмеялся и вдруг процитировал уже знакомое:
— «Мы все учились понемногу»… Учился в Греции, сразу после войны. Но главное, повезло с учителем. Моим духовным наставником был Партений,

епископ Левкийский — одна из самых светлых личностей в нашей иерархии.
— Он жив?
— Нет, он умер. Но оставил много учеников: и хороших, и посредственных — всяких…
— И такое бывает у великих учителей?
— Конечно. Кстати, наш патриарх — тоже его ученик.
— Борис Аспарухович, — откровенно заговорил Ильин, — я с натяжкой религиозный человек. Верю я, скажем так, кустарно, от случая к случаю. И сучу ручонкой от лба к пупу тоже не всегда, чаще даже лукаво.
— Хорошо, что признаётесь. Значит, ещё не всё потеряно, — вновь весело засмеялся отец Грознов.
— Не знаю, но говорю честно, что чувствую. А вот что для вас религия?
— Религия — это высшая форма философии. Царство небесное — это не что иное, как будущее.
— Интересно, а кому оно принадлежит, это будущее? Посмотрите, как стягивается капитал мира в ограниченный и неприступный круг особых людей, как по мановению дирижёрской палочки сменяются правительства, сметаются премьеры, президенты и государства. Вы говорите, сопротивление велико, а мне кажется, что оно бессмысленно.
— И, тем не менее, будущее принадлежит «нищим духом» и «изгнанным за правду». Князьям мира путь в царство небесное заказан, — твёрдо возразил сосед, — те же, кто в поте лица добывают хлеб свой, вознаграждаются.
— Но как в это поверить после Гитлера и Сталина? После Хиросимы и Нагасаки? После серии «мутантов», которые управляли социализмом? Как поверить во всё это спасение Божье после «подкорковой операции», сделанной сотням миллионов людей, поверивших в «светлое будущее» и выброшенных сейчас за черту бедности, на грань вымирания, как аборигены-индейцы в своей Америке?
— У вас сильный темперамент, но говорите потише, чтобы не разбудить жену. Ей нездоровится. Кстати, я вам представился, а вы — нет.
— Ильин Владимир Сергеевич. По профессии я…
— Я уже понял: ваша работа связана с искусством. Вы обронили слово: божественная режиссура…
— Да, я режиссёр…
— Очень приятно. Мы с женой любители театра, особенно балета. Так вот об этих, как вы сказали, «мутантах». Сталин боялся Гитлера, Гитлер — Сталина. И оба боялись собственной тени. И что за жизнь: Сталин подслушивал, как мелкий уголовник, телефонные разговоры своих соратников, а Гитлер не снимал свою стальную фуражку даже в помещении. Жизнь в вечном напряжении, жизнь за решётками, и там же, за решётками, своими же «учениками дьявола» были оба уничтожены — сожжены и убиты. У Гитлера никого не осталось. А наследники Сталина? Старший — Яков — убит, Василий умер от алкоголизма, собственную жену Сталин убил, а дочь и рада бы его оправдать, но не получилось. Остались правнуки. Где они? Тишина!.. А может, тишина возмездия? Разве это не наказание? Где они, Гитлер и Джугашвили? Их больше нет! Как нет и тех империй, которыми они управляли. Недаром первые же страницы Евангелия открывают главную тайну мира…
— Подождите вы с Евангелиями, мой дорогой отец. Как что, сразу — Евангелие, — горячо возразил Ильин. — Верю, что вы правильно понимаете эти «чудесные узоры» человеческой мудрости и найдёте там верный ответ. В конечном итоге, допустим, так и будет, как там сказано. Но практика и мечта — на разных меридианах бытия. Все эти гитлеры, сталины, трумэны, равно как буши и горбачёвы — только фантомы. А есть другие исполнители главных ролей мирового концерта, которые из ложи поощряют или низводят своих подопечных — «белых мышек». И пока во всём этом человеческом эксперименте всё удаётся только тем, кто сидит в ложе и меняет по мере надобности световой спектр и партитуру этого «мирового концерта». И вся эта Вселенная у них не разбегается, вопреки утверждениям астрономов, она без Нострадамуса предсказана и связана мостами и туннелями. Завтра эти конкистадоры прорвутся за триллионы до Урала, перебросят дорогу через Берингов пролив, откроют новые рабочие места в Антарктиде, поближе к озоновой дыре, куда «пригласят» миллионы неимущих дураков. Крестоносцы Мамоны, внедрившись незваными в очередную страну-жертву, агрессивно впиваются в её тело и, разрушив изнутри займами и ультиматумами, перекупают всё лучшее по дешёвке, цинично называя колонизацию «задушевной демократией». Но вот посмей противостоять, распорядиться самому в своей стране, то тут всё рушится: летят головы, звереет охранительная пресса — трубят «SOS» и все «дружно» загоняют «белых мышек» в те клетки, которые привычны пейзажу и вашей Болгарии, и нашей России, да что там — всему миру. Вот с этим как быть, святой отец? Как это соотнести с той «загадочной пустотой», когда прикасаешься к анализу бытия «главных экспериментаторов»? Вот тут-то как раз и возникает вопрос о предназначении человека! Что же, в конце концов, необходимо делать во спасение подопытной «белой мышки», чтобы устроить сносную жизнь? И, наконец, являются ли такими путеводителями божественные заповеди, данные Моисеем? Ведь это уже было, когда Библию назвали Забавной, так почему же следующим шагом не станет — изменение её содержания не в слове, а на практике?!
— Я вас очень понимаю. Не исключено, что такой конспиративный сговор и существует, потому что дискредитация Духа Божьего идёт постоянно. Порнография, извращения, проповедь сатанизма — всё это подогревается и кем-то, безусловно, внедряется. Но апологеты этого — не черти из табакерок, они — люди. Они платят за это достаточно дорогой ценой: за кнут, награбленное богатство платят потомки — своим бесплодием и вырождением. Но не думайте никогда, что Бог отвернулся от нас. Он отпустил узды, а мы устремились по ложной дороге. Его право наказать нас за неправильно использованную свободу.

— Как же вы сохранили себя, вы — потомок Грозного?
— Видимо, кто-то одумался, остановился и начал всё заново. Начать заново никогда не поздно, ибо чудо не требует много слов, оно нуждается в вере, мой дорогой попутчик.

Поезд остановился, и тут же в дверь постучали. Кто-то в тамбуре громко и весело крикнул: «Русе!»

До Москвы оставалось ещё две тысячи сто километров, но Ильин чувствовал, что законы и время на этой земле одни и те же повсюду.

Дмитрий Косяков

История храма в Барабаново

Есть близ Красноярска удивительное творение рук человеческих — деревянная церковь святой Параскевы. В деревянных церквях — своё очарование: запах дерева, лёгкое поскрипывание от ветра делают храм живым и невольно внушают благоговейное чувство даже убеждённому атеисту. Как минимум, это благоговение перед собственной историей, перед талантом и усердием прежних мастеров.

Стоит церковь святой Параскевы в селе Барабаново в 60-ти километрах от столицы края. Согласно описанию приходов Енисейской епархии, составленному в начале XX века, этот уникальный памятник русского зодчества был построен более полутора веков назад — в 1857 году. Это старейший деревянный храм на всей территории края и, конечно, главная достопримечательность Барабаново.

Незатейливый корпус здания сложен из брёвен в обычной для православной культовой архитектуры планировке: храм и колокольня. Храм завершает пятиглавие, а колокольню шатёр, обе высшие точки увенчаны яблоками с крестами. Стены довольно крепкие, на некоторых окнах кованые решётки. Где главный вход, когда-то росли сосны; перед алтарём была могила священника, а подземный переход вёл прямо к Енисею.

Строительство было вызвано ростом населения окрестных деревень. 2–3 служителя из ближайшего прихода не могли охватить более 2000 прихожан, так что в 1852 году сход граждан Додонова, Шиверов, Карымской и Барабаново решил собрать средства на строительство своей приходской церкви. Основные части заготовили в Кантатском логу, зимой вывезли через болота и Енисей; два года выдерживали. Потом местные плотники Черкашины, Минеевы, Айкановы, Черных и др. под руководством нанятого мастера соорудили в Барабаново храм. Николай Черкашин за 35 пудов муки и 300 рублей вызолотил киоты, иконостас и царские врата. В те неспокойные предреволюционные времена многие искали в храме утешения и забвения повседневных забот и горестей. Что и говорить, религия — вздох угнетённой твари. После Революции советская власть рушить храм не стала: красивое здание как-никак. Не запрещались и церковные службы, пока в конце 1950-х народ окончательно не охладел к религии. Тогда опустевшую церковь переделали в склад зерна, так сказать, заменили хлеб небесный чем-то более существенным.

Конечно, нехорошо поступать подобным образом с памятником архитектуры, но, по крайней мере, здание эксплуатировалось, а значит, поддерживалось в удовлетворительном состоянии. Куда хуже стало в смутные перестроечные времена и ельцинские «лихие 90-е». Хлеба не стало, и церковь сделалась вовсе не нужна. Постепенно она стала разрушаться, селяне голодали, им было не до восстановления объекта культурного наследия, лишь формально числившегося под защитой государства. Кто-то из местных снял и продал на металлолом железный крест, раскололи и увезли колокол.

Государственные же чиновники памятники культуры реставрировать не спешили, они интересовались куда более внушительными объектами, прибирая к рукам заводы и бывшие «стройки века». Кроме того, вновь подняла голову Православная Церковь, требуя в свою собственность все храмы и монастыри с прилегающими территориями. Но и РПЦ барабановская церковь оказалась ни к чему: денег на её восстановление и поддержание потребуется прилично, а нормальной торговли свечами и литературой, проведения платных обрядов в ней организовать не получится — деревня Барабаново невелика, небогата и находится вдали от мест массивных государственных дотаций.

Периодически сюда приезжают ученики и преподаватели Красноярской летней школы и делают посильный косметический ремонт. Нет, они не религиозные миссионеры, не выполняют заказ Министерства культуры Красноярского края, просто болеют душой за гибнущую красоту. Храм и сейчас сохраняет часть былого великолепия. На потолке и стенах ещё сохранилась роспись — образы Николая Чудотворца, апостолов-евангелистов, святой Параскевы написаны прямо по дереву.

Но усилия энтузиастов явно недостаточны, церкви требуется серьёзный ремонт. Местные жители и заезжие туристы не брезгуют использовать доски церкви в качестве топлива или стройматериалов. Ещё немного, и храм исчезнет, как исчезли уже многие объекты исторического наследия в Красноярском крае, да и по всей России.

Юрий Пахомов

Вечер в Стамбуле

Максим Чупраков несколько лет не летал самолётом, но даже ему, привыкшему к обшарпанным бортам военно-транспортной авиации, Ил-154 показался загаженным сараем. Соседкой справа оказалась этакая бизнесвумен, красивая, ухоженная и надменная. Он отметил, с какой брезгливостью она отдёрнула руку, когда, доставая из-под кресла привязной ремень, он случайно коснулся её локтя, и со злостью подумал: «Сучка».

Ужинать Чупраков не стал, глотнул виски из бутылки, купленной в магазине дьюти-фри, и сразу уснул. Проснулся, когда самолёт заходил на посадку в аэропорту Стамбула. Женщины рядом не было, видно, она пересела на другое место — Чупраков после ранения дёргался во сне и скрипел зубами. И это окончательно испортило ему настроение.

На кой чёрт его занесло в Турцию? А всё тётка: «Тебе нужно встряхнуться, совсем бирюком стал. У меня в Стамбуле знакомый директор турфирмы, я всё устрою. Поживёшь в приличном отеле в старой части города, рядом собор Святой Софии. Хочешь — ходи на экскурсии, хочешь — не ходи. А лучше возьми в аренду машину и погоняй по окрестностям Стамбула». Это его и подкупило.

В аэропорту Чупраков взял такси, водитель турок, свободно говоривший по-русски, за двадцать долларов с ветерком докатил его до отеля «Гелал Султан». Отель Максиму понравился — тётка Мария подсуетилась: одноместный номер чисто прибран, ковры, на стенах картинки с дервишами Мевлеви и мечетями, из окна вид на собор Святой Софии. Туристы — в основном, японцы и англичане. Чупраков в последние годы поднаторел в английском и чувствовал себя за ужином свободно. Порадовался: нет надоевших ему новых русских, хотя отель не из дешёвых. Не хватало ещё здесь, в Стамбуле, встретить кого-нибудь из своих клиентов.

Каково же было его удивление, когда за завтраком на террасе за соседним столиком он увидел вчерашнюю бизнесвумен. Та была в неброском, но дорогом прикиде, из украшений — золотой крестик с бриллиантами на шее. Стильная девка, ничего лишнего. За ночь бизнесвумен выспалась, посвежела. А может, искусно положенный макияж? Но главное, с лица исчезло холодно-надменное выражение, а глаза наполнились тёплым светом. «А ведь хороша», — подумал Чупраков и, тронув пальцем изуродованную щёку, нахмурился.

Несмотря на ранний час, было уже жарко, купол на соборе Святой Софии матово отсвечивал. За сдвинутыми столиками громко спорили англичане. Рыжий верзила предлагал отправиться на Египетский рынок, остальные настаивали прямо сейчас ехать в Чанаккале. Внезапно небо померкло, над городом проплывала стая крупных птиц — сколько их, не счесть. Максим с изумлением подумал: «Неужели аисты? Надо же!»

Чупраков закурил любимую сигарку «Кэптен Блек» — иных не признавал, и, почувствовав первый сладкий толчок никотина, вспомнил Ольгу, как в их последний вечер она вдруг заплакала, горько, безутешно, по-детски. Может, предчувствовала? И радостное настроение, с которым он проснулся, погасло.

От оплаченных экскурсий Чупраков отказался, чем немало удивил гида, и отправился разыскивать фирму, сдающую в аренду автомобили. Безупречные международные водительские права и щедрые чаевые произвели на агента фирмы должное впечатление. Максим выбрал новенькую «мазду», небольшой автомобиль с просторным салоном, и, только сев за руль, успокоился. Ещё вечером, в номере, едва распаковав вещи, он тщательно изучил карту Стамбула — ничего сложного, нужно только приноровиться к особенностям вождения в этом древнем городе. Ему было всё равно, куда ехать, но прежде всего хотелось по одному из мостов пересечь Босфор, а дальше — куда глаза глядят. Азиатская часть Стамбула ему не понравилась: обычный спальный район, каких тысячи: офисы, серые пятиэтажки, магазины, лавки с сувенирами, уличные овощные рынки, в переулках груды мешков с мусором, около которых бродили тощие кошки. Босфор тоже не произвёл на него впечатления, слишком всё ярко, как на любительских фотографиях: голубое, в солнечных бликах море, белые пароходы, яхты, прогулочные катера под тентами, а вдалеке, где должно начинаться Чёрное море, лежала плотная серая дымка и городские предместья тонули в ней. На загородном шоссе стало свободнее, по обе стороны потекли обожжённые поля, перебиваемые густо-зелёными рощицами оливковых деревьев, а то вдруг возникали плантации подсолнечника, с тяжело обвисшими, уже зрелыми шляпками.

Пообедал в ресторане при заправочной станции. Турецкая кухня ему понравилась: чечевичный суп, острый кебаб с картошкой и маслинами, салат, крепкий кофе по-восточному, виноград. Над головой вились осы. И даже здесь, километрах в ста от Стамбула, было много туристов и почему-то одни японцы: немногословные осанистые мужчины, старухи в широченных шляпах и юные японки с оголёнными животами.

«Мазда» раскалилась на солнце, в салоне было не меньше сорока градусов. Чупраков включил кондиционер и покатил в Стамбул, уверенно ориентируясь по информационным знакам. Хотелось поскорее встать под душ, смыть липкую испарину, перебить острые, пряные запахи, которыми, казалось, было пропитано всё—дома, придорожные кусты и даже серое полотно шоссе.

Жизнь Чупракова как бы разделилась на две части. Первая была яркой, наполненной ощущением бешеной скорости, риска, удачи. Вторую, после ранения, захлестнули пустота и тёмное, как стылая осенняя вода, одиночество. Если в первой жизни он был всеобщим любимцем, баловнем судьбы, удачливым спортсменом, боевым офицером, то во второй он ощущал себя никому не нужным изгоем, избегающим появляться на людях.

…Его группа из взвода разведки, прихватив брошенный «Урал», катила по сизой, щербатой от воронок грунтовке—нужно было оторваться от преследования. По обе стороны дороги дышала зноем зелёнка. Преодолев подъём, «Урал» с грохотом свернул к комендатуре. Чупраков сразу оценил обстановку: не ко времени—по всему периметру шёл бой, стучали очереди калашей, гулко, как в бочку, ухал станковый гранатомёт, со стороны кирпичного с сорванной крышей дома короткими очередями огрызались боевики. Ребята сыпанули из кузова, кинулись к КПП. Максим пересчитал бойцов, порядок, все целы. Ну и рожи у пацанов: загорелые, раскрашенные пылью в два цвета, бороды, как у боевиков, головы повязаны косынками—бандюганы, а не разведчики. На каждом разгрузочные жилеты, ножи под левым плечом.

Выстрелы, как по команде, смолкли. Зависла тишина. Встретили их на КПП неласково—настороженными стволами.

— Вы что, охренели, мать вашу,—хрипло крикнул Чупраков, пытаясь унять дрожь в отяжелевшем вдруг теле. Через несколько минут разведчики сидели во дворе у стен комендатуры, вяло ковыряя ножами в банках тушёнки, а комендант, давний знакомец, чисто выбритый, в свежем камуфляже, присев на корточки, рассказывал:

— С час назад просочилась небольшая группа боевиков. Засели в развалинах. Упорные чехи попались, только «шмелём» и выкурили. А вообще у нас тихо. Ты-то как, Макс?

— Нормально. Может, нальёшь ребятам по соточке? Нас ведь боевики уже за штаны хватали.

— Погоди маленько. Место перед сарайчиком хорошо пристрелено, а в нём, в погребе, ящик водяры припрятан.

Чупраков с завистью глянул на коменданта:

— Чистенький, аж хрустишь. Небось воды—залейся?

— А то! Горячий источник рядом. Ничего, вас тоже выстираем.—Комендант настороженно прислушался, пошкрябал в кармане, отыскивая сигареты.—Знаешь, отчего мы такой концерт устроили? Из-за сюрприза.

— Какого сюрприза?

— Утром мой помощник по тылу бензовоз из Грозного пригнал, зил, доверху залитый горючкой. Мы его чуток мешками с песком прикрыли—да чем чёрт не шутит, саданут чехи из гранатомёта, тогда полный отпад. Считай, вакуумная бомба.

— Почему не отогнал?

— Горючки жалко. Тут она под прикрытьем. Да и тихо было у нас.

— Ничего себе, сюрприз.

Комендант встал и крикнул в проём двери:

— Кирпич, тащи из сарайчика три флакона. Ребятам нужно стресс снять.

Из двери возник боец поперёк себя шире. Точно, Кирпич.

— Понял, командир, я мигом.—И двинул вразвалку к крытому шифером сараю. И тотчас у его ног защёлкали, вздымая пыль, пули.

— О, блин, опять начали, паскуды.

Выстрел из подствольника отколол часть стены комендатуры, брызнула кирпичная крошка. У косой тени от бензовоза взметнулся серый султан разрыва.

— Ты куда, Макс?—завис в воздухе крик коменданта.

Но Чупраков его уже не слышал, пружинистыми скачками кинулся он к зилу, рывком распахнул дверь, ключ от зажигания предусмотрительно торчал в скважине, сипло заурчал движок. Максим нажал на газ, одним махом снёс ворота КПП и уже облегчённо вздохнул—вроде пронесло, как белая от солнца бетонка слилась в одну сверкающую полосу и, кувыркаясь в чадном дыму, всё же успел подумать: «А ведь попали…»

Дальше был госпиталь в Моздоке, грохочущее брюхо самолёта «Ил-76», госпиталь имени Бурденко, ожоговый центр, три пластические операции, унылые, лишённые красок месяцы ожидания и, когда Максим наконец нашёл в себе силы взглянуть в зеркало, первое, о чём он подумал: «Лучше бы мне оторвало ногу». Из мутного, в разводьях зеркала на него взирал человек, разительно не похожий на прежнего Максима Чупракова: правой половины лица не существовало, её заполнил бледный, спаянный из разных лоскутов кожи рубец, оттого голубой, в пушистых ресницах глаз походил на пуговицу, наспех пришитую пьяным портным. Многочисленные процедуры, повторные операции у дорогих пластических хирургов особых результатов не дали. Не спасла и густая прядь волос, ниспадающая на изувеченную часть лица. Теперь Максиму постоянно казалось, что люди сторонятся его, провожают удивлёнными взглядами, шепчутся за его спиной, и он стал выходить на улицу только поздними вечерами, выбирая наиболее затемнённые места.

Максим мог бы остаться служить, на его камуфляже поблёскивали боевые ордена, а раненое лицо лишь бы укрепило его авторитет, особенно перед молодыми бойцами, но он не принял новой жизни, подал рапорт на увольнение и вернулся в Москву.

Большую часть времени Чупраков теперь проводил в своей комнате, на звонки друзей и знакомых не отвечал, от всех встреч отказывался, и потому дни тянулись медленно, вяло и безрадостно. Он

рано потерял родителей, воспитывали его дядька с тёткой.

Дядька Иван Степанович в самом начале «перестройки» ушёл с завода и организовал кооператив по ремонту легковых автомобилей. Как-то вечерком он заглянул в комнату Максима и, грохнув бутылкой водки по журнальному столику, сказал:
— Разлей, сынок.

Чупраков ещё в госпитале дал себе слово не пить, а то крыша окончательно съедет, но в голосе дядьки послышалось нечто такое, что он безропотно достал два стакана и плитку шоколада на закуску. Выпили молча, как на поминках. Иван Степанович налил ещё, отломил кусочек шоколада, понюхал его и тихо сказал:
— Хреновые дела, Максим. Меня тут за хорошие бабки прокрутили в онкоцентре на Каширке — рак и, похоже, с метастазами. Нужно ложиться на химию, только проку от неё — ноль. Упущено время. Ты только Машке не проговорись. Успеется. Короче, принимай дела в фирме, иначе всё пойдёт прахом. Фирма на подъёме, от заказов отбоя нет. Жаль, крепкое дело пропадёт.

Максим минут пять не мог унять дрожь в подбородке, пытаясь осознать, вникнуть в услышанное. Дядьку он любил, тот заменил ему отца, многому научил, и вот такое. Переборов себя, с трудом разжал непослушные губы:
— Какой из меня фирмач с этакой рожей? Только клиентов отпугивать.
— Не ной, ты мужик, с головой, руками и ногами. И руки у тебя золотые. Я всё продумал, было время. Только не перебивай. Владельцем фирмы будешь ты, с правом первой подписи и прочим, а для представительских функций я тебе компаньона подыскал — Костю Горобца. Юрист с опытом, надёжный, порядочный мужик. Я ещё его отца знал, работали вместе. Хотя приглядывать и за ним нужно. В дело я тебя введу. Думаю, успею. На себя возьмёшь всю производственную часть, мастера, то-сё. Сведу тебя с нужными людьми, с поставщиками запчастей у нас и за рубежом. Приоритет — иномарки, за ними будущее, пока ещё сервисные центры раскрутятся, а мы уже вот они. Я прикинул создать бригаду перегонщиков подержанных тачек из Владивостока, Польши, Германии, Дании. Дело прибыльное, но опасное — нужна надёжная крыша. Да ведь ты не из трусливых и с людьми сможешь договориться. Сейчас что мент, что бандит, считай, одно и то же. А ты пацанов знаешь, в спорте тусовался, да и тебя знают. Ухватил?
— Типа того. Слушай, а может, лекаря из онкоцентра не волокут? Может, всё туфта? Обойдётся?
— Не обойдётся, сынок. Меня светило смотрел, самый-самый. Академик. Куда уж выше? Машку не бросай, единственная у тебя родня. Давай ещё по стакану.

Дядьку через три месяца сожрал рак. Здоровенный мужик превратился в мешок с костями, но до последнего вздоха не терял присутствия духа, подшучивал над женой, выпивал, курил.

Максим быстро вошёл в дело. У него обнаружились способности к бизнесу, с куражом, разумным риском, азартом. Костя Горобец вполне подходил для представительства: полный, румяный, седые волосы зачёсаны на пробор, очечки в золотой оправе, носил кашемировые пиджаки от Палло Поверри. Джентльмен, гарант надёжности. Владельцем фирмы считался он, Максим управлял из тени и большую часть времени торчал в мастерской, обслуживая постоянных клиентов. Фирма Чупракова поглотила три других и успешно прижимала конкурентов. В охране — крутые пацаны, дружки Чупракова по Чечне. Тётка, промышлявшая переводами с английского, погоревав, навострилась писать детективные романы. Какие-то суетливые люди приносили ей странички с текстом, напоминающим подстрочник, и она, шпаря на компьютере, превращала это варево в пристойную литературу. Зарабатывала хорошо, особенно, когда по телевизору пошли сериалы — экранизации её романов.

Чупраков в том же доме на улице Свободы в Тушино купил однокомнатную квартиру, сделал евроремонт, обставил по своему вкусу. Столовался по-прежнему у тётки, стараясь не мелькать на людях. Так и жил. Была, правда, ещё одна проблема, но он решил и её, пользуясь услугами дорогих проституток, ухоженных, хорошо одетых женщин, чем-то напоминающих надувных резиновых кукол, что он видел однажды в секс-шопе в Амстердаме, откуда перегонял заказанный «мерседес». В них было что-то ненатуральное, механическое, и это примиряло его со своей, тоже ненатуральной, словно выдуманной жизнью. И лишь одна Ольга, синеглазая блондинка, его по-настоящему волновала, потому с ней он был особенно резок и груб.

Ольга обычно приезжала в субботу с корзиной закусок и французских вин из супермаркета на Новом Арбате и никогда не брала денег. «Дурак, это я тебе должна платить, а не ты мне. Иногда мне кажется, что я тебя люблю, хотя слово «любовь» при моей профессии звучит вульгарно. Ты единственный, от кого бы я хотела ребёнка».

В воскресное утро она в его рубашке, наброшенной на голое тело, готовила ему завтрак, и при этом лицо у неё было домашней хозяйки, которой нравилось смотреть, как муж ест. В эти часы он жалел и ненавидел её, ненавидел себя и ждал, пока она наконец уйдёт. А, оставшись один, скучал по ней. В таких случаях единственным спасением была скорость, он спускался в гараж, выводил свой отлаженный, как швейцарские часы, «ягуар» и уносился километров за двести по Ленинградскому шоссе, на Волгу, и только там чувствовал себя хорошо. Инспектора ГБДД недолюбливали Чупракова, хотя он расплачивался с ними за превышение скорости по самой высокой таксе. И ни один отморозок не рискнул бы угнать его «ягуар», в криминальной среде хорошо знали, каким серьёзным людям Макс обслуживает лимузины, — те из-под земли достанут и строго накажут.

Ольгу изнасиловал и зарезал беспредельщик из Новосибирска, изуродовал так, что девушку трудно было узнать. Родителей её так и не удалось разыскать — жила по чужому паспорту. Чупраков похоронил её на Хованском кладбище, заказал

памятник и запил, неделю не появлялся в офисе фирмы, тётке дверь не открывал, с Костей Горобцом общался только по мобильнику.

Как-то вечером его навестил один из его клиентов, известный авторитет. Брезгливо оглядев грязную посуду на столе, батарею бутылок в углу, спросил:

— Киснешь? На вот, ополоснись пивком и завязывай. Ты же не пьёшь, в натуре.

— Не пью,— эхом откликнулся Максим.

— А теперь рассказывай, что знаешь.

Прощаясь, он сказал:

— Сам не лезь, без тебя управимся.

Спустя несколько дней бомжи на одной из подмосковных свалок нашли труп новосибирского гастролёра, в рот ему был забит отрезанный половой член.

К завтраку Чупраков выходил поздно, когда туристы уже разбредались по городу. Бизнес-вумен он больше не встречал, видно, она завтракала раньше или, управившись с делами, уехала. В эти утренние часы он особенно остро чувствовал одиночество. Сидел, курил, равнодушно глядел на купола и минареты Святой Софии, на автомашины, взбирающиеся по горбатой улочке на площадь перед дворцом Топкапы, снизу доносились крики уличных торговцев, и всё ему казалось бессмысленным: поездка, блуждание по магазинам и лавкам, затянувшиеся ужины в ресторанах. Его уже не радовала езда по окраинам Стамбула. Он вспоминал тихие волжские плёсы и тосковал. Беспокоили мысли, как идут дела в фирме. Нужно было уезжать, но что-то его удерживало, он томился, никак не мог принять окончательного решения и злился на себя.

Как-то вечером Максим сидел в ресторане «Метрополис» на соседней с отелем улочке. Смеркалось. Август стоял жаркий, даже вечером было душно, от стен домов, брусчатки проезжей части дороги тянуло зноем. Столик стоял на тротуаре, тихо наигрывала турецкая музыка, в темнеющем небе проступали звёзды. В этом вечном, кишащем туристами городе никому не было до него дела. И он вздрогнул от неожиданности, когда за спиной прозвучал низкий, с едва заметной хрипотцой голос:

— К вам можно, воин?

Он обернулся. Перед ним стояла бизнесвумен. На этот раз на ней был белый, подчёркивающий фигуру костюм, туфли на шпильках. Она успела загореть и в сумеречном свете походила на мулатку.

— Присаживайтесь,— он указал на стул слева от себя, так, чтобы меньше бросалась в глаза изуродованная часть лица.

Женщина небрежно повесила сумочку на спинку стула, щёлкнула зажигалкой, закурила и, зажмурившись от дыма, сказала:

— Уж извините. В мусульманской стране женщине не принято сидеть в ресторане одной. Могут принять за проститутку. А скажите, что делать пустым вечером?

— Пожалуй.

— Я навела на рецепшен справки. Вас зовут Максим?

— Да. Кстати, почему вы решили, что я военный?

— Ну, это за версту видно. И, скорее всего, бывший. Действующий офицер вряд ли может себе позволить жить в номере за сто долларов в сутки.

— Вы ясновидящая?

— В чём-то да. Зовут Еленой. Где вы целый день пропадаете? Спите в номере?

— Развлекаюсь ездой на автомобиле.

— Счастливчик. А я мотаюсь по делам фирмы. Несколько магазинов в Москве. Обслуживаю средний класс. Добротно и сравнительно недорого. Сегодня подписала выгодный контракт на поставку женского белья. Здесь оно приличное. А вы чем занимаетесь?

— Автосервис.

— Я так и подумала.

— Это почему?

— Руки у вас не банкира. У тех лапы суетливые и часто липкие.

Чупраков сглотнул ком в горле:

— А лицо?

— Да бросьте вы свои комплексы! Вы же красивый мужик, воин, от вас разит такой силищей, что у меня, как только вас увидела, ноги подкосились. Эх, Лена, Лена, где твоя гордость?— она невесело рассмеялась.— Хотите нестандартное предложение? У меня в сумочке фляжка с бурбоном. Рядом на площади есть фонтан, там можно разыскать свободную скамейку. Пить из горла вы обучены, тут без вопросов. Потом побродим по ночному городу. Я одна боюсь.

— На вас не похоже.

— Перестаньте! Обычная я баба и трусиха к тому же. Позавчера таксист ко мне привязался, дикарь из восточной провинции. Пришлось в полицию обращаться,— Лена брезгливо оглядела ресторан,— терпеть не могу этих туристических забегаловок со сладко-приторными гарсонами. Ну, так как?

— Годится.

В этот поздний час толпы туристов не поредели. Все скамейки у фонтана были заняты. Молодёжь обосновалась прямо на газоне под деревьями. Стеклянные струи фонтана не рождали ощущения свежести. Мимо беззвучно проплыл трамвай— четыре сцепленных вагона, широкие окна отсвечивали голубизной, оттого пассажиры напоминали разноцветных рыб в аквариуме.

— Лучший транспорт в Стамбуле. Кондишн, информационное табло,— сказала Лена, провожая трамвай взглядом.— Пройдёмся, я знаю одну кафешку, где красивый мальчик выжимает отличный сок из грейпфрутов.

Позади осталась громада Святой Софии, в глубине парка Гюлхане за чугунными решётками лежала густая тьма. Витрины магазинов и лавок были ярко освещены. Чего там только не было! Дорогие шёлковые ковры ручной работы, молитвенные коврики попроще, горы тюбетеек, фесок, кальяны, утварь из меди, декоративные ятаганы, антиквариат, яркие ткани, струнные музыкальные инструменты, изделия из кожи. Мимо этого великолепия струилась разноязыкая толпа. Туристы

курили, жевали, целовались, замирали у красочных витрин или неторопливо рассаживались за столиками многочисленных кафе, расставленными прямо на узких тротуарах. В затенённых переулках шла своя жизнь—там звучала музыка, мигали огоньки реклам, возникали и исчезали тени, от контейнеров с мусором тянуло сладкой гнилью.

Мальчишка турок и в самом деле был красив, рослый, кудрявый, с профилем эллина, а сок терпким и свежим. Лена достала из сумочки фляжку с виски и протянула Максиму:

—Давайте по чуть-чуть, а потом двинем на набережную, я покажу вам ночной Стамбул без прикрас.

Набережная бухты Золотой Рог была тускло освещена, светлыми пятнами выделялись окна лавок с фруктами и прохладительными напитками. В сутеми слышались крики торговцев, уличных зазывал. Дешёвый бросовый товар для бедняков был разложен прямо на асфальте, кое-где горели свечи, выхватывая из темноты груды обуви, белья, одежды, пластиковых пакетов с дешёвыми рубашками, а рядом—меховые жакеты и дублёнки, пованивающие овчиной. Морем не пахло, всё перекрывал запах жареной рыбы, которую готовили тут же на жаровнях, установленных на тележках. В толпе шныряли подозрительного вида типы. У парапета на корточках сидел старик, перед ним на столике высилась горка чего-то серого.

—Чем это он торгует?—спросил Максим

—Табак,—пояснила Лена.—Здесь можно и травку купить. Полиция избегает посещать эти места. Следите за карманами, обчистят. Хочу рыбы. Одна подходить не решалась. Женщин с непокрытой головой они не жалуют.

Турок, поблёскивая зубами, положил на картонную тарелочку жареную рыбу, полил её соусом и, причмокнув губами, сказал Лене:

—Кушай, вкусно. Твой хозяин после рыбы сильный станет, сильно любить тебя будет.

Елена засмеялась:

—Тешекюр эферим, уважаемый.

Турок заговорчески подмигнул ей.

—Что вы ему сказали?—спросил Чупраков.

—Поблагодарила.

На мосту Галата было ветрено. Огни дробились в тёмной воде. Под мостом прошёл теплоход, на ярко освещённой палубе отплясывали туристы, визгливо свистели дудки, трещали барабаны. Японцы, англичане, французы, немцы, африканцы танцевали восточный танец. Вечный город был отдан на откуп туристам, и никто не хотел думать о том, что в Южном Ливане идёт война, небо дырявят ракеты, а приземистые израильские танки гусеницами утрамбовывают развалины, под которыми ещё слышатся крики обречённых.

Лена прижалась к плечу Максима и пожаловалась:

—Меня что-то подташнивает. Может, от рыбы?

—Пойдёмте скорее в бар. Только пить уж лучше водку. Дезинфицирует.

Они спустились с моста на набережную, пошли вдоль трамвайных рельсов, в которых отражались огни реклам. В баре было пусто.

—По соточке?—спросил Чупраков, отодвигая меню.

—Обижаете, воин. Бутылку. Мне сегодня нужно выпить.—Лена горько усмехнулась.—Никогда я ещё так откровенно не предлагала себя мужчине. Совсем сдурела баба.

—Не боитесь испортить вечер?

—Боюсь, ох, как боюсь.

—А вот теперь вы отбросьте свои комплексы. Нас ведь Бог свёл. По-местному—Аллах.

—Не кощунствуйте.

—Не буду.—Чупраков поманил к себе официанта и на беглом английском сделал заказ.

—Ну и ну. А мы, оказывается, и на аглицком ботаем?—Лена покачала головой.—Вы не перестаёте меня удивлять.

—Не то ещё будет. А феню бросьте, вам не к лицу. Как, по-вашему, я бы объяснялся с иностранцами. Моя фирма специализируется по иномаркам.

Официант принёс маленькую бутылку водки в ведёрке со льдом, жареный миндаль, рюмки.

Лена, не обращая внимания на Максима, выпила подряд две рюмки водки, похрустела миндалём. В бар ввалилась шумная компания подвыпивших поляков. Один из них полистал меню, выругался, остальные захохотали и, хлопая друг друга по спинам, вышли.

Лена презрительно усмехнулась:

—Эти младонатовцы ведут себя на удивление по-хамски. Чем незначительнее страна, тем больше амбиций. А у поляков их всегда было через край. Что же вы за мной не ухаживаете? Действуйте, воин!

Минут через двадцать Лена заметно опьянела. Алкоголь подействовал на неё странно. Она поблекла, под глазами залегли тени. Курила, прикуривая одну сигарету от другой. После продолжительного молчания сказала неожиданно трезвым голосом:

—Эх, Максим, знали бы вы, как я по мужику соскучилась. Ведь настоящие мужчины совсем перевелись. Вы—реликт, вроде стегозавра. У меня было два мужа. Один—телеведущий, сладкоголосый говорун. По нему всё мурманское бабьё тащилось. Мечтала, что он меня на областное телевидение протолкнёт. Я же Институт кукльтуры закончила, немножко пою, музицирую, да и внешность вроде подходящая. Куда там, не пробьёшься. А муженёк к тому же бисексуалом оказался, больше по мальчикам ударял. Я его и турнула. Шмотки с балкона выкинула.

Второй был абсолютно правильный и столь же безответственный. Валялся на диване и философствовал на тему, как обустроить Россию, а сам для этого и мизинцем не пошевелил. Считал себя религиозным мыслителем. Показания с электросчётчика снять не мог. В сочетании цифр видел мистическое предзнаменование. Словом, шизанутый. Я редактором в мурманском издательстве работала, домой приду—под глазами круги, а он мне Бердяева вслух читает. Два года промучилась. А тут отца в Москву перевели. Так и простились. У отца за семнадцать лет на Севере серьёзные деньги скопились, я на них в самом

начале перестройки открыла кооператив, и поехало. Хорошо, вовремя остановилась, успела до гайдаровских реформ деревянные в доллары перелить. А как устаканилось, открыла своё дело. Благо, начальный капитал был. И откуда во мне предпринимательская жилка? Родители — нормальные люди. Тут-то и открылась мне изнанка человеческого бытия. И откуда всплыло столько подонков? Одноклассники, близкие подруги, нежные любовники при случае продадут, сдадут, а то и закажут. Сама поневоле волчарой становишься…

Бизнес завораживает, как наркота, целиком берёт, — мёртво шелестел голос Лены. — Работаешь с утра до ночи, вроде гонки по вертикальной стене, остановишься — рухнешь, костей не соберёшь. Какие там десять заповедей! Попробуй полюби ближнего, так он придушит тебя и ещё спляшет на твоём трупе. И всё путём. Однажды проснулась с жуткой мыслью: зачем всё это? Счёт в банке, да ещё в оффшорах, тряпки от Версаче, жратва на выбор, тусовки, а жизни нет. Всё мимо. Не помню, когда в консерватории была. Родить и то некогда. Кому я добро оставлю? А мне тридцать пять, скоро старуха…

«А ведь она чем-то напоминает Ольгу, — с горечью подумал Чупраков. — Внешне — благополучны, хотя и заняты разным делом, упакованы — супер, деньги не считают, а внутри — полный облом. И у обеих на самом донышке лежит тоска по простому бабьему счастью».

«А я, — вихрем пронеслось в голове, — сломался, как битая тачка с выработанным моторесурсом. Может, ресурса и вовсе не было? А как же другие пацаны, что в инвалидных колясках в метро побираются? Хлипкое поколение. Вон дядька, помирал — виду не показал, отшучивался. А ведь и войну захватил, и тяжело ранен был».

На его руку легла тёплая ладонь Лены:

— Прости меня, дуру, Максим. Потянуло на исповедь. А всё ты виноват. Удивительное ощущение, будто я двадцать лет шастала по свету и вдруг встретила школьного товарища, в которого была влюблена в девятом классе. Да и пить мне нельзя. Всё, больше не буду. Пошли, погуляем по ночным улицам. Что-то меня сегодня на подвиги тянет.

В отель они вернулись в начале первого ночи. Поднимаясь по лестнице, Лена остановилась на площадке и, коротко взглянув на Максима, насмешливо спросила:

— Ну что, воин, будем изображать целомудрие или…

— Или, — улыбнулся Чупраков. Давно он не чувствовал себя так легко, так свободно, словно всё тяжёлое, мрачное, что давило его в последние годы, разом отринулось, отошло, и он, словно по волшебству, вернулся в ту, прошлую жизнь, где был счастлив и уверен в себе. И ещё — он давно так не желал женщину — простую и вроде бы доступную, но притом загадочную и очень близкую.

В номере Лены пахло французскими духами и царил такой порядок, будто это было не временное жилище бизнесвумен, способной на неожиданные поступки, а монашеская келья в каком-нибудь монастыре, заброшенном в горах.

Елена зябко повела плечами:

— Иди в душ, Максим, я потом. Нужно немного прийти в себя. И не смотри на меня так, а то я расплачусь. Я боюсь, боюсь счастья. Ведь за всё придётся платить…

— А ты не бойся. И вообще, никогда не бойся, никому не верь и ни у кого ничего не проси.

— Закон зоны? Ты и там побывал?

— Пронесло.

— А верить тебе можно?

— Мне можно.

— Знаю.

С этого вечера всё и началось. Потом, вспоминая дни, проведённые в Стамбуле, Чупраков не мог выделить какой-то отдельный эпизод — всё слилось в одну яркую, сверкающую, наполненную предощущением счастья картину.

…Вот они на белом прогулочном теплоходе, солнечный день, Босфор, зависшие в небе мосты, мимо проплывает громадный нефтеналивной танкер, лодочка рыбака рядом с ним кажется бумажным корабликом. Гид что-то молотит на украинском, туристы в основном из западных районов республики. Дебелые женщины, бритые наголо усатые мужики. Западенцы недобро косятся на москалей. Одна, с рачьими глазами толстуха говорит товарке: «Дывись, Надейка, на дивку, на неи ничого не мае, бачишь, титьки сторчать. От срамота!» Лена улыбается ей и неожиданно отвечает на украинском: «Ой, титко, та я ж и штанцив не ношу. Человик заборонуе. Так ему краще мацать». Мужики ржут, а толстуха яростно отплёвывается. Лицо у неё покраснело от негодования, на майке проступили пятна пота. Лена поясняет: «У меня мама украинка».

А рядом толчея на Египетском рынке, воздух так насыщен запахами пряностей, что становится трудно дышать. Банки, баночки, пёстрые пакеты, серые, зелёные, красные пирамиды ароматного разнотравья, разноголосый гул и треск голубей под сумрачными сводами.

…Они несутся по шоссе в Чанаккале, «мазда» ловко обгоняет один автомобиль за другим, иногда выскакивая на встречную полосу.

— Ты что, гонщик? — спрашивает Лена.

— Был. Мастер спорта, призы выигрывал. И вообще, я умею водить всё, что движется: танк, БТР, катер. Могу поднять в воздух вертолёт. Вот посадить сложнее. — Он смеётся. Ему весело.

— А ещё что ты умеешь?

— Чинить автомобили. Могу двумя пальцами убить человека. И с бизнесом тоже получается.

— Только не о бизнесе. Где будем обедать?

— А вот здесь. — Максим лихо разворачивается и осаживает автомобиль в нескольких сантиметрах от бампера роскошного «мерседеса».

В ресторане — самообслуживание. Лена деловито расставляет на подносах закуску, не задавая Чупракову вопросов, словно давно знает его вкусы.

— Йогурт возьми, — просит он.

— После салата?

— Самое то.

С поварами она разговаривает на беглом турецком. Те почтительно улыбаются, что-то советуют.
— Ты знаешь турецкий? — удивляется Максим.
— Милый, я бываю в Турции раз в месяц, а то и два. Поневоле освоишь.

…Дворец Топкапы, столетние платаны, фонтан, в котором мыл руки палач после казни, синее небо, треск воробьёв, и вдруг этот мир раскалывается от звона литавр и рокота барабанов — во двор входит строй янычар. Впереди воины в кольчуге, железных шлемах, блестят отливающие синью мечи, за ними красочно одетые визири в высоких тюрбанах со спадающими на спину отрезанными рукавами. Строй замыкают музыканты и одетые в жёлтое юноши. Колонна движется рваными зигзагами, участники процессии через каждые два шага поворачиваются то влево, то вправо, лица неподвижны, у каждого усы, у кого свои, у кого искусно наклеенные, музыка грозная, воинственная. Такой строй столетия назад шествовал во главе войск, отправляющихся в походы.
— Страшно, — говорит Лена.
— Фуфло! — усмехается Максим. Для слабонервных. Наши мужики в таких случаях крестились и вламывали туркам аж по самые помидоры. Только задницы сверкали.
— А тебе бывало страшно?
— Разок. В Чечне. Наступил на мину. Ногу уберёшь — разнесёт в клочья. За несколько секунд вспотел, хоть выжимай. Хорошо, в метре был обрыв — туда и сиганул, осколками лишь спину посекло да каблук на берце срезало.
— На чём?
— Ботинки такие, высокие, со шнуровкой. Потом пацаны меня водкой отпаивали, трясло, как в лихорадке. Умирать-то не хочется.

В отель они возвращаются поздно, за полночь. Портье улыбается, ожидая чаевых.
— А сегодня к кому? — спрашивает Лена. — К тебе или ко мне?
— Сначала к тебе, а потом ко мне.
— Годится. Заметь, твоё словечко. Только потом снова ко мне и снова к тебе.
— Это уж как получится.
— Не прибедняйся. Я хочу тебя до конца вычерпать, до самого донышка, а потом забыть.
— Не выйдет.
— Да, не выйдет. Ах, попалась птичка, стой, не уйдёшь из сети.

…Они лежат обнажённые на смятой постели. Холодная струя кондиционера не освежает. За окном начинает светлеть, вот-вот закричи муэдзин, призывая правоверных к молитве. Голос у него, как у оперного тенора. «Ему бы в Большом петь», — как-то сказала Лена.

Лена гладит Максима по груди и говорит сонным голосом:
— Хочешь, я расскажу о своём детстве.
— Расскажи.
— Жила-была девочка… Хорошенькая, с косичками. Папа у неё был командиром атомной подводной лодки, мама учительница. И жили мы в самом замечательном месте на свете — в Гремихе. Скалы, тундра, чистый снег, чистые люди. Я потом таких людей уже нигде не встречала. Ветры в Гремихе дули такой силы, что сбивали с ног. На улицу не сунешься поодиночке. А когда лодка выходила на боевую службу, женщины собирались у кого-нибудь на квартире, немного выпивали и пели. Каждая приходила со своим песенником. Ты можешь себе представить поющих людей на какой-нибудь тусовке?
— Могу. Если по пьяни.
— И чтобы задушевное пели? Брось…
— Пожалуй. Отец у тебя каперанг?
— Контр-адмирал. «Мухи» на погоны он получил, когда в штабе флота служил. Гремихинского воспитания мне надолго хватило. Даже в институте не скурвилась, а уж там такие оторвы были, печать негде ставить. Это в Москве меня ветерком подхватило… Я очень маму с папой люблю.

Голос Елены гаснет, она тыкается носом в плечо Максима и засыпает, а он лежит, боясь пошевелиться, потревожить её.

Однажды Лена сказала ему, глядя твёрдо в глаза:
— Теперь я тебя никому не отдам, буду ревновать к каждому столбу и убью первую же сучку, на которую ты положишь глаз.

Чупраков по привычке попытался усмехнуться, но рот, точно судорогой свело, и он подумал: «Мы поладим, мы, как две шестерёнки, зубец к зубцу».

В Москву они улетели бизнес-классом и прямо из аэропорта Внуково поехали к Чупракову в Тушино.

Георге Раковицэ

Покаяние

Учиться жить по-новому

Однажды пришёл муж с рынка, разгневанный до белого каления, да и напустился на жену громом и молнией:

Ты понятия не имеешь, что в городе творится! Цены на все продукты подскочили так, что волосы становятся дыбом! На наши с тобой зарплаты можно купить только хлеба и молока. Страшные цены, и если не примем меры, умрём с голоду. Ты слышишь меня?

— И что же делать, дорогой? — миролюбиво спросила супруга.

— Как что делать — учиться жить по-новому, по рыночной экономике: срочно сократить все расходы и на питание, и на одежду, на всё!.. Мне не до шуток. Всё подорожало в десять-двадцать раз, и на наши доходы теперь можно прожить от силы неделю.

Наконец жене передалась тревога мужа:

— И что ты предлагаешь?

— Сократить до минимума все расходы — сначала на тряпки… Кстати, почему это мой тесть должен носить шапку из дорогого меха — он всё равно лысый! Он мог бы обойтись — всё равно ему тёща всю жизнь рога наставляла. Пусть наденет на голову дешёвую спортивную шапочку. А зачем твоей матери, пожилой женщине, носить трусы с вышивкой? Пусть наденет старые мужнины кальсоны или вообще ходит без трусов. Кто к старухе под юбку заглянет?

Вот, к примеру, кума. Женщина хозяйственная, любящая мужа и семью… Продала свой французский бюстгальтер и польские трусы и купила мужу шёлковую рубашку и модный галстук, чтобы мог прилично выглядеть — ну, на собраниях и так далее. Сама же, бедняжка, ходит теперь без бюстгальтера и трусов и мёрзнет…

— Что?! — закричала во весь голос жена. — Дурак неотёсанный, а ну признайся, откуда ты знаешь, что кума ходит без трусов и бюстгальтера?..

— Замолчи! Соседи услышат, пойдут разговоры…

— А-а! Боишься, что дойдёт до её мужа, кобель несчастный! Ты лучше ответь, почему твоя мать носит импортные бюстгальтеры с выпуклой вышивкой посередине — чтобы чужих мужиков щекотать по спине в очередях? Пусть ходит без бюстгальтера. Он стоит уйму денег — можно целую неделю семью кормить. И зачем твоей матери, тоже старухе, ходить в шёлковой комбинации? Уже песок из неё сыпется, а всё форсит!

— Погоди, погоди! А скажи-ка, — повысил голос муж, — а почему твоя мать делает химическую завивку в парикмахерской, маникюр, педикюр и всё такое прочее? Ты знаешь, сколько денег уходит на ветер?! Старухе надо намазать голову обувным кремом, и всё будет в порядке!

— Ты лучше ответь мне, — жена пытается перекричать мужа, — почему твоя мать ходит на высоких каблуках? Ей впору будут и суконные тапочки, как у всех порядочных старух. Лучше бы почаще ходила по очередям и вынюхивала, где и что можно купить подешевле да получше, понял?!

— Постой, жёнушка дорогая, не горячись! Лучше скажи, почему каждый день меняешь платье и колготки, да всё с вышивкой, да всё с люрексом?! Небось, заимела нового начальника, длиннорукого! Пусть лучше зарплату тебе повысит, а не лапает, поняла?!

— Закрой рот, подлец! Ты-то почему носишь на работу в портфеле бутылочку и шоколадку? Думаешь, я не знаю, чем вы там занимаетесь? Закрываетесь с любовницами в кабинетах! Думаешь, мне люди не говорят обо всём? Хочешь жить вольготно, а меня перевести на рыночную экономику, иуда? Переводи лучше на рыночную экономику любовницу свою и куму, которая ходит без трусов, понял? Корми любовницу сухарями, а не шоколадом! И не пои дорогим вином!

— Не ори, дура!

— Не орать, говоришь? А вот и буду! Пусть все знают, что ты за птица, пусть кум услышит и морду тебе набьёт. Ишь ты, явился злой с базара и давай за мой счёт рыночную экономику устраивать. Жить по-новому вздумал? Я тебе покажу рыночную экономику!..

Неудачник

— До чего беспросветная жизнь пошла, — жаловался бывшему собутыльнику Василий Чунту, — пятидесяти граммов на целый день человеку глотнуть не дают. Кругом — стража: на работе — коллектив, борьба за трезвость, значит; дома — жена. На фабрику к концу смены за мной каждый раз заходят дети — то дочка, то сынок, шагнуть в сторону не позволят. К забегаловке не пробиться, к винному магазину не подойти. Везде — заслон.

— А в выходные? — напомнил собутыльник.

— Пропащие дни, — покрутил головой Василий. — По субботам и воскресеньям вокруг меня двойной кордон: супруга, а в резерве — тёща… Не пробить.

— Остаётся разве что ночь…

— Была у меня надежда на неё, — оживился Чунту. — Попросил по секрету одного приятеля купить для меня в магазине бутылку водки и пять бутылок минеральной воды, положил всё это в сумку. А потом, улучив минутку, потихоньку переклеил этикетку с «Боржоми» на «Столичную». Ну, думаю,

моя взяла! Ложась спать, поставил заветную возле кровати, будто от изжоги. Жена даже похвалила: молодец, дескать, о здоровье заботиться стал…
— Ну?
— Ночью, когда все уснули, беру осторожно свою бутылочку, тихонечко глотаю… И чуть не поперхнулся — чистая минералка. Поднимаюсь, крадусь на цыпочках на кухню, пробую из всех бутылок… Везде — вода, чтоб ей пусто, водки — как не бывало. А жена высовывает голову из-под одеяла и злорадно эдак говорит: «Пей, муженёк, водичку — она и полезна, и мозги не мутит. А водку я сберегу на праздник.

Покаяние

Господи, и почему нас пытаются убедить, что на свете нет чудес?! Чудеса случаются, да ещё какие! Вот послушайте-ка, что произошло однажды в тридесятом государстве, как раз на заговение, в пост…

Собрались как-то вечерком у бывшего первого министра государства бывшие уже «величины»: первый и второй экс-президенты, экс-председатель парламента, несколько бывших парламентёров. Затем появился ряд высокопоставленных сановников, которые немедленно устремились за стол…

Именно в тот момент, когда дамы уже накрыли скатерти всевозможными яствами, как то: голубчиками, тонущими в сметане, шашлыками и индейками, запечёнными в тесте, ягнятами с зеленью во рту и множеством других господских блюд, хозяин дома торжественно поднял бокал с шампанским, брызги которого поднялись до потолка, и вдруг неожиданно разрыдался.

Не понимая в чём дело, высокопоставленные лица встревожились, вскочили и окружили бывшего первого министра, который никак не мог успокоиться. Наконец от него можно было услышать следующее:
— Дорогие мои гости! Как видите, стол у нас ломится от вкусной пищи и марочных вин, но… народ… наш бедный народ, который в своё время избрал нас на руководящие посты, томится в нищете, голодает, а ведь кто… кто, как не мы, сделали его несчастным?! Вот мы возвели себе дворцы и дачи, загнали в свои гаражи элитные машины да минимум по миллиончику отхватили… Да гори синим пламенем эти доллары, ведь, что ни говорите, а приносят они одну лишь головную боль! А народ, несчастный, бросил на произвол судьбы своих детей, жён отправил в далёкие страны на заработки… Дочери за ломоть хлеба стали продавать себя… Господи, какая нечистая сила надоумила нас залезть в народный карман?! Правильно ведь сказано в Библии, что настанет время, когда рогатые наводнят землю… Горе нам! Надо покаяться! Пригласите священника, ибо Господь добр и всепрощающ… Он обязательно нас услышит…

Опухший от слёз, поднялся первый экс-президент:
— Господа! Мы наполняем свои желудки дорогими коньяками и винами, а народ действительно пребывает в страшной нужде. Надо покаяться и да услышит Господь наши стенания и оценит угрызения совести, которые мучают нас. Многие годы мы выжимали соки из своих ближних, столкнули их в яму беспросветности. Со слезами на глазах попросим Господа вытащить наш многострадальный народ из этой пропасти… пусть знает, что мы не забыли о судьбе бедняков…
— Да увидит Господь, да услышит! — закричали присутствующие, откладывая на время свои фужеры.
— А я вот что предлагаю, — смахивая слезу, прошептал дородный экс-парламентёр, — давайте-ка, не откладывая в долгий ящик, отвалим от наших миллионов некоторую толику этим несчастным?
— Заткнись, дурень! — послышалось со всех сторон. — Может, Господь и не подозревает о том, каким путём они нам достались… Конечно же, в нашем мире существует немало бедняков, но разве когда-нибудь кто-то слыхал о странах без бедных? Даже во времена святых отцов имелись богатые и бедные. И, в конце концов, если бы не существовало бедных, некому было бы подать копейку или бублик! А без милостыни и покаяния разве попадёшь в рай?
— А если богатые от этого самого… от Дьявола? — задал несмелый вопрос какой-то министр.
— Ты, кажется, слишком далеко зашёл! — оборвал его второй бывший экс-президент. — Что касается меня, я лично ничего абсолютно не крал: мне добровольно приносили зелёненькие и клали на стол, я же лишь закрывал на это глаза, как на моём месте поступил бы любой порядочный человек. Понятно?
— Но, господа, господа… — поднялся из-за стола один из вспотевших сановников, — я не могу отделить от своих миллионов даже маленькую часть. Как-то так получается, что не отделяется эта часть! Вот вы предлагаете дать деньги народу… А разве народ умеет считать миллионы? Не дай Боже, сойдут бедные люди с ума от многочасовых подсчётов, да и где им хранить такие деньги?
— Верно, верно, братцы! — поддержал коллегу другой сановник, уже несколько пришедший в себя. — Мы не имеем права разбазаривать имущество наших маленьких деток. Если хотите покаяться, давайте-ка, покаемся, но устраивать благотворительность… Господь, как известно, богаче, пусть у него и просят!
— Вот и мы согласны покаяться! — донеслось из угла, где собрались жёны сановников. — Но раздавать направо и налево свои деньги…
— Покаемся, покаемся! — закричали со всех концов стола, звякая вилками, ложками и бокалами.
— Я бы выделил народу одну из своих машин, — задумчиво молвил экс-премьер, перекладывая в другую руку бокал с шампанским, — но опасаюсь, чтобы кто-нибудь не врезался в какой-нибудь столб и не закончил свои дни по моей вине… Не хочу отвечать на том свете!
— И я такого же мнения, — добавил один из министров. — Мелькнула, было, у меня в голове мысль: отдать какому-нибудь нищему одну свою дачу, да боюсь, что он, бедный, заблудится в огромном количестве комнат, света божьего не взвидит… «Марш в ад, грешник! — скажет мне после этого

Господь.—Зачем сделал человека несчастным?!» А Дьявол от удовольствия только хвостиком вильнёт… Значит, как ни крути, ничего не получится…

Тут бывший премьер-министр утёр слёзы чистым полотенцем, заботливо поднесённым супругой, и подвёл итоги:

—Итак, дорогие гости, мы не вправе раздавать своё имущество, грешно это, как вы сами понимаете! Но покаяться, как видите, надо! Зовите священника, поднимайте бокалы, и да здравствует наш бедный народ!

Все собравшиеся, кажется, чрезвычайно обрадовались такому благополучному исходу дела, потому что единодушно закричали:

—Слава, слава нашему любимому народу!

Сюрприз

Все годы учёбы, приезжая на каникулы, наш сын делал нам приятнейшие сюрпризы. Привёз как-то мне электробритву,—да такую, что и не чувствуешь, как скользит по лицу, морщины разглаживает. Купил в другой раз для жены платье—всем соседкам на удивление и зависть. Да и пошутить притом любит. Сначала притворяется: забыл, мол, отцу и матери подарок привезти, а потом—показывает сюрприз.

На сей раз мы ждали его с особым нетерпением. Как-никак—инженером приедет. Год-другой поживём после этого с женой без забот. Надо и нам отдохнуть, прийти в себя, ведь сына-студента иметь—не шутка. Хочется поездить с женой, новые места посмотреть, природой полюбоваться, городами—всем, чем богата страна. Потом оженим его, годик спустя, глядишь, будет у нас внучек или внучка, опять хлопоты-заботы пойдут.

И вот долгожданный день наступил. Сын приехал. Смеётся радостно, новенький диплом показывает. Обняли мы его, расцеловали, поздравили. Себя, в мыслях, тоже: сынок самостоятельным стал, пришло время отдыха и для нас.

—А я приготовил вам сюрприз,—говорит любимый наш сын и выходит за дверь. Мы так и застыли в приятном ожидании. Но вот он вернулся, и мы онемели совсем.

На пороге стояла молоденькая женщина с ребёнком на руках.

—Вот, избавились от забот,—сказал я жене, когда мы ненадолго остались вдвоём.

—Теперь избавимся не раньше, чем когда внучек наш в армию уйдёт…

Да, приготовил нам сынок сюрприз!

Заначка

Совершил я на днях с женой небольшой рейд по магазинам. Между нами говоря, если в её руки попадает вся зарплата, считай, что её нет, как ветром сдувает всю без остатка. Потому и сложилась у меня привычка на всякий случай оставлять заначку—закладывать между листками паспорта несколько купюр, чтобы она о них не знала. Так вот, прохаживаясь в тот день со мной по разным торговым пред-приятиям и точкам, супруга моя прихватывала то одно, то другое, пока не исчерпала взятую из дома сумму. Как вдруг на глаза ей попались ультрамодные сапожки. Мгновение спустя, жена была у прилавка и отойти от него не могла уже никак. Хватает меня за рукав и шепчет: «Достань полсотни… Хоть из-под земли… Другие такие попадутся нескоро!..»

—Как же найду я тебе столько денег прямо здесь, в магазине!—отвечаю я ей тоже тихо. А сам тереблю в кармане свою заначку—как раз полсотни. Отдам ей—сначала обрадуется, а потом начнёт догадки строить, и выйду я у неё из доверия навсегда.

Раздумывая над тем, как же быть, вижу своего приятеля, входящего в магазин, тоже с женой. Пожав ему руку, я незаметно сунул знакомому требуемые пятьдесят руб., громко объяснив при этом, какое у нас сложилось положение, и попросив о займе, столь нужном в ту минуту моей жене. Приятель, конечно, тут же достаёт всученные мною деньги со словами: «Пожалуйста, возьми!».

Не успел я, однако, их взять,—как жена его схватила злополучные бумажки и чуть не выцарапала ему глаза. «Бессовестный,—говорит,—давно подозревала, что ты прячешь от меня деньги! А мне сапожки разве не нужны?!» И давай его пилить!

Мы с женой не знали уже, как поскорее улизнуть. Я и думать забыл, что деньги те—мои. А они все ругались и грызлись.

—Если бы мне только могло прийти в голову, что ты прячешь от меня деньги, в тот же день бы с тобой развелась—говорила потом жена.—Подумать только, какой этот твой приятель негодяй!

Вот как вышло в тот день с моей заначкой. И всё потому, что проявил слабость духа, решился её отдать.

Общими усилиями

Взволнованный Кирюша направился к стайке ребят. Видя, что он не в духе, товарищи решили узнать, в чём дело.

—Друзья, у меня плохие вести…

—И что за вести?

—Господин Коцофанэ, наш классный руководитель, снова взялся за старое!

Ребята в один голос:

—Опять хочет что-то выжать из нас?

—Угадали… До субботы мы должны, у кого есть и у кого нет, каждый добыть по 50 руб… Сказал, уговорите родителей любыми путями, но деньги чтоб были.

—Для чего это?—спросили ребята недоумённо.

—Говорит, что необходимо купить кое-какие учебные пособия, дидактические материалы для нашего класса, так как у школы нет такой возможности—карман пустой…

—Только в прошлом месяце приносили по 20 руб;—вздохнул Петрикэ.—Нам хлеба не на что купить, а он хочет воспользоваться нашими копейками. Мама болеет, пенсии даже на лекарства не хватает! Я воровать не умею да и не хочу. Живу у бабушки, которая тоже еле сводит концы с концами. Если заикнусь про бабки, опять будет ходить всю неделю с повязанной головой! Ума не приложу, откуда взять эти деньги!

—Вы что не знаете, что наш классный любит закладывать и всё за счёт наших родителей? К жене

своей не подступится — та держит кошелёк за семью замками! — сказал Пантилие.

Митикэ подскочил, как ужаленный. Когда батя услышит про деньги, он треснет сына по затылку и скажет: «Видел я вашего Коцофанэ, когда тот подкрадывался к пивнушке, чтобы пропустить стаканчик-другой вермута, а его госпожа жена не перестаёт шуршать полными кульками в магазине!»

— Ребята, это не дело. Надо что-то придумать. Мы ходим в дырявых носках, а он глотку свою ублажает!

— Да, надо принимать меры, — согласился Колюня, почёсывая затылок. — Но ведь дело в том, что кто принесёт деньги, тот получит на один-два балла выше…

Василикэ, будучи молчаливым и в учёбе более слабым, пискливо заметил:

— Повысить оценку — дело хорошее, даже очень хорошее, но откуда же денежки взять? Вы все знаете, что и мне негде их откопать: бабушка даёт всего два раза в неделю по рублю на булочку. Даже если я откажусь от этой булочки, всё равно не смогу собрать сумму, которую требует Коцофанэ.

Кирюша задумчиво оглядел всех и спросил:

— Когда же Его Величество ожидает денег? Значит, в субботу, утром, на первом уроке… Видите ли, здесь разговор идёт и об оценках, и о деньгах. До субботы есть ещё время. Что-нибудь придумаем…

В субботу ребята сидели тихо, каждый на своём месте. Господин учитель весело вбежал в класс, сел, каждого измерил внимательным взглядом, недоумевая, почему все молчат и смотрят ему прямо в глаза. Прошло несколько минут, и он спросил:

— Вы не забыли о нашем уговоре?

— Нет, не забыли.

Коцофанэ довольно улыбнулся и протянул руку. Ученики один за другим стали нести ему конверты. Учитель поспешно совал их в карман. Затем начал урок, но не выдержал и вскоре стал вскрывать конверты. Растерялся, вскочил и металлическим голосом заявил:

— Кажется, вы забыли о том, что я ваш классный руководитель?! Забыли, что на следующей неделе у вас экзамен? Что же вы пишете мне в своих конвертах, что «мы ещё пенсию не получили» и «как получим, отдадим с удовольствием!» и тому подобное? Вот на что вы способны!

Тем временем дверь внезапно отворилась. По-солдатски вышагивая, в класс входит тётушка Пакица, Кирюшина бабушка, которая направляется прямо к учительскому столу.

— Господин учитель! Возьми, пожалуйста, гостинцы из «пенсии» учащихся! — и выкладывает перед учителем несколько пирожков. — Подумали ли вы о том, откуда детишкам брать денежки для вас каждый месяц? Господин Коцофанэ, если ты обидишь кого-нибудь из ребят, я надену эту корзину, в которой принесла пирожки, прямо тебе на голову! Сделаю всё по справедливости!

Тётушка Пакица, оставшаяся к этому времени почти без зубов, вышла на середину класса и громко закричала:

— Долой Карпуция! Долой! Ребята, не стесняйтесь, повторяйте за мной: Долой Карпуция! Карпуция в школе долой!

Когда оглянулись, классного руководителя и след простыл. Всё же через несколько минут он вернулся и тихо попросил:

— Замолчите, наконец! Директор услышит!

Тётушка Пакица ещё раз закричала «Долой Карпуция!» Затем повернулась к Коцофанэ и разрешила: «А теперь можешь продолжить урок!»

Мужская слепота

С девчонками родителям всегда беда, особенно в наше время, когда уж больно они стали самостоятельными. У кого есть дочери, тот легко меня поймёт. С ребятами дело куда проще, и не заметишь, как семьёй обзаведутся. А с дочерью я намучилась. Вроде с умом моя Валя, другим не уступит и собой недурна, а всё не сбывалась моя мечта — увидеть её замужем. Парни целыми днями вокруг неё вились да вились, а вот такой, чтобы за руку взял да в загс повёл, — такой всё не появлялся.

Стала я однажды толковать об этом с соседкой тёткой Иляной. Она и говорит:

Уж ты не обижайся, только с Валей твоей всё это — вовсе не зря: красавица она у тебя не ахти какая. Парни, правда, спокойно не могут мимо пройти — глазастая, да только есть у неё серьёзный недостаток. Как бы сказать тебе понятнее… Косолапит она немного, а они, видно, это замечают.

Ничего подобного! — чуть не задохнулась я. — Моя дочка не косолапит ни капельки!

Так тебе кажется, потому что ты мать. Если же приглядеться со стороны, есть маленько. У парней же на такое особенно острый глаз. Капризные стали нынче черти, девочек со всех сторон осматривают, чтобы всё было в ажуре. Да ты не печалься, и такой беде помочь можно. Слыхала, небось, мода теперь на длинные юбки повернула. Твоей Вале как нельзя более кстати: сошьём ей эту… как их называют… макси, и скроется её изъян. А то не стать ей невестой, как ни моли судьбу.

— Ладно, — говорю, — может, ты и права, со стороны виднее. Только кто такую юбку получше сошьёт?

— А я и сделаю, — пообещала соседка. — Съезжу вот на две недели к своей дочери, в большой город, новые все фасоны разведаю, материал подходящий по знакомству достану, есть у меня в столице нужный человек… И сошью, что нужно, уж ты не тревожься!

— Хорошо, — соглашаюсь я, — как раз через полмесяца она у меня возвращается с практики, обнова поспеет вовремя.

Соседка моя, честь и хвала ей, не подвела. И модель самую фасонистую подобрала, и материал достала — самый что ни есть кримплен. Едва прикатила — принесла показывать. Сидим, от ткани глаз оторвать не можем, рисунки да выкройки рассматриваем. Как вдруг звонок в дверь, приехала моя Валя тоже. Поцеловала моя студентка мать, поставила в передней чемодан и сразу — к столу.

— Ой, а это для кого?
— Для тебя, детка, для тебя,— поясняет соседка.— На юбку тебе, чтобы до пят. Наденешь — и женихи десятками повалят, как увидят тебя такую модную,— дипломатничает тётка.
— Зачем до пят?— смеётся моя Валя.— Шейте короткую, какие всегда ношу!
— Старших слушаться надо,— настаивает тётка Иляна.— В годы девичества и короткие носить можно, а придёт время пару искать — нужна длинная юбка. И скромности в ней больше, и недостатки, если какие имеются в походке, начисто скроет. Косолапие, к примеру…
— Косолапие?— Валя завертелась перед нашим большим трюмо.— Как это я до сих пор не заметила, что косолапая. Может быть, может быть… Только если этого не заметил мой муж, от кого теперь и прятать?
— Какой муж?— говорю я и сажусь — ноги подкосились.

Дочка бросилась меня обнимать.

— Прости, мамочка, прости! Засмотрелась на этот кримплен да забыла сказать главное. Я вышла замуж, ты знаешь его, и называет молодого инженера, с которым познакомилась на прошлогодней практике в том же городе.
— Так что длинная юбка,— Валя лукаво взглянула на соседку,— вроде уже и не нужна…
— Выскочила замуж, вот тебе на!— шепнула мне тётка Иляна на прощанье в прихожей,— впрочем, чему удивляться! От любви на мужиков находит настоящая слепота.

125 лет
со дня рождения

Николай Гумилёв

О высшей радости земли

Поэту

Пусть будет стих твой гибок, но упруг,
Как тополь зеленеющей долины,
Как грудь земли, куда вонзился плуг,
Как девушка, не знавшая мужчины.

Уверенную строгость береги:
Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
Хотя у музы лёгкие шаги,
Она богиня, а не танцовщица.

И перебойных рифм весёлый гам,
Соблазн уклонов, лёгкий и свободный,
Оставь, оставь накрашенным шутам,
Танцующим на площади народной.

И, выйдя на священные тропы,
Певучести пошли свои проклятья,
Пойми: она любовница толпы,
Как милостыни, ждёт она объятья.

Борьба

Борьба одна: и там, где по холмам
Под рёв звериный плещут водопады,
И здесь, где взор девичий,— но, как там,
Обезоруженному нет пощады.

Что из того, что волею тоски
Ты поборол нагих степей удушье;
Все ломит стрелы, тупит все клинки,
Как солнце золотое, равнодушье.

Оно — морской утёс: кто сердцем тих,
Прильнёт и выйдет, радостный, на сушу,
Но тот, кто знает сладость бурь своих,
Погиб… и Бог его забудет душу.

***

А я уже стою в саду иной земли,
Среди кровавых роз и влажных лилий,
И повествует мне гекзаметром Вергилий
О высшей радости земли.

***

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда,
Всё, что смешит её, надменную,
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Всегда ненужно и непрошенно
В мой дом спокойствие входило:
Я клялся быть стрелою, брошенной
Рукой Немврода иль Ахилла.

Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше,
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склонённые к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Грозу в лесах, объятых дрожью.

И видит, горестно-смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Андрей Матях

В одну и ту же реку

Дорогою привычной
Идёт из века в век
По улице обычной
Обычный человек.
Обычная одежда,
Обычное лицо,
Не гений, не невежда
И не из подлецов.
Дорогою кратчайшей
Он движется вперёд
Оттуда, где был раньше,
Туда, куда идёт.
Обычный груз печалей
И радостей комплект
Несёт он за плечами
В теченье ряда лет.
Он редко смотрит в небо,
Ведь слабый звёздный свет
Не заменяет хлеба,
И даже сигарет.
Он в меру беспорочен.
В кругу друзей, подруг
Чудачил — но не очень,
Влюблялся — но не вдруг.
Он не был, не являлся,
Не знал, не состоял.
Хвалили — улыбался,
Ругали — он молчал.
А совесть не страдала —
Так это потому,
Что жизнь не предъявляла
Больших счетов ему.
Он не умрёт от СПИДа,
Но жизнь его одна
Для сохраненья вида
Не очень-то важна.

…Как часто, уносимый
Асфальтовой рекой,
Я замечаю спину
Его перед собой.
В лицо взглянуть мечтаю,
Но, страх в душе тая,
Шагов не ускоряю:
Что, если это… я?

В одну и ту же реку

Давайте верить греку,
Сказавшему: «Учти,
В одну и ту же реку
Два раза не войти!
Ведь устали не знает
Текучая вода,
И всё, что принимает,
Уносит без следа!».
Был щедр на откровенья
Практичный древний грек —
Без всякого сомнения,
Разумный человек.
Для нас, своих потомков,
Он мыслил, не спеша,
В тени маслины тонкой,
Под сенью шалаша.
…С тех славных пор античных
Немало лет прошло,
В моря из рек различных
Воды перетекло.
Но мы, пренебрегая
Советом мудреца,
Потоков проверяем
Текучесть без конца.
Отчаянно мечтая
Минувшее вернуть,
Мы, в лоно вод вбегая,
Со дна вздымаем муть.
Река, забот не зная,
Бежит за веком век.
На нас, с небес взирая,
Хохочет мудрый грек…
И вдруг — остановилась
Текучая вода,
И снова возвратились
Ушедшие года.
С безумною надеждой
Мы вспенили поток.
Да, всё, как было прежде,
Но… Всё-таки не то.

И истина открылась
В кристальной простоте:
Река не изменилась,
Да мы уже не те!

В призрачном мареве ёжится
Тусклая жуть фонарей.
И нескончаемо множатся
Зевы открытых дверей.

Сумрачно хлопают двери,
И начинается день—
Дрожью чугунных артерий,
Трепетом каменных вен.

В поры асфальтовой кожицы,
Тысячеглазо слепа,
Каплями липкой сукровицы
Вдруг проступает толпа.

И, растекаясь, бередит
Ссадины каменных ниш.
Город горячечно бредит
Чушью реклам и афиш.

Люди асфальтовый студень
Месят в угаре забот.
Вечная бестолочь буден
Их за собою ведёт.

Сонмы надежд и печалей,
Болей, предательств и вер
Кружат над городом стаей
Призрачных серых химер.

Серые стены нависли,
Серая пыль на губах,
Серые пыльные мысли
Люди несут в головах…

Смятые каменной толщей
В серый бесформенный ком,
Люди привычно не ропщут
Под персональным крестом.

Мутный безжизненный морок
Глушит и вопль, и стих.
Люди построили город.
Он изуродовал их…

Мундиром оторочены,
Себя несём на блюде,
Такие озабоченные,
Ответственные люди.

Принарядившись франтами,
Валеты всех мастей,
Гордимся аксельбантами
Весомых должностей.

Звучит в словесном грохоте
Начальственный размах,
И от служебной похоти
Темно у нас в глазах.

Сметая все барьеры,
Мы с места рвём в карьер,
В расчёте на карьеру
Меняя экстерьер.

И строже соблюдаем
Диету на друзей,
Зато в руке сжимаем
Всё больше козырей.

Мы—рыцари карьеры,
Верны лишь ей одной,
Имея символ веры—
Наш список послужной.

Идём, бежим, ломимся,
Других сбивая с ног,
И всё, чего боимся—
Начальственный упрёк.

Ну, вот мы и у цели.
Ах, как приятно знать,
Что мы везде успели
И некого топтать.

Но почему с вершины
Успеха своего
Мы видим только спины,
А лиц—ни одного?

Юрий Каминский

Сердце-смычок

Птицы летят вдоль осеннего дня,
Больше не нужные клёнам и липам,
Душу вытягивая из меня
С криком прощальным, как будто со скрипом.

Птицы летят мимо пашен немых,
Медленно к солнцу творя восхожденье,
Словно по-бабьи повисло на них
Этой неброской земли притяженье.

Птицы летят… И уже не забыть
Мне никогда, как за хатой калина
Шепчет им вслед: «Никому не забить
Клин между мной и растаявшим клином».

И неуверенность с крыльев гоня,
Может, из глаз наших черпая силы,
Птицы летят вдоль осеннего дня,
А поперёк им душа моя взмыла.

—Неудачник,—соседи о нём говорят,
Окопавшись в душистых геранях,—
В ресторан приглашали и, знаете, зря
Он не хочет играть в ресторане.

Он бросает на стул свой потёртый жилет,
Старый пол недовольно поскрипывает.
И смотрю я, как наш нелюдимый жилец
Долго ходит в обнимку со скрипкою.

Вдруг замрёт у окна, и седой хохолок
Чуть касается рыжего месяца…
И вот уже вытянутое в смычок
Его сердце над струнами мечется.

И слепящей, победной улыбкой сквозь боль
Нарастает и ширится скерцо…
Оседает под струнами канифоль,
Словно пепел горящего сердца.

В печи дрова загадочно трещат,
А мы в окно глядим, оставив косинус,—
Безлюдный материк холодной осени
В меридианах скучного дождя
Зовёт нас, утомлённый одиночеством.
Ах, как ему сейчас Колумба хочется,
Или хотя б случайного прохожего;
Но за окном не видно никого,
А он из мглы, огнями растревоженный,
Всё лезет, как из кожи лезет вон.
Старинные подержанные ходики
И тишина, которая нам врёт,
А за окном, вдали, как стадо котиков,
Такси блестят под мутным фонарём.
И смотрим мы в окно, такое чёрное,
Как смотрит капитан в трубу подзорную.

Светлее самых светлых в мире дней
Вставал тот день, осыпав струпья свастики,
И на ресницах солнечных лучей
Земля дрожала, как слезинка счастья.

А после, будто не было всех бед,
Распахивая окна, словно клапаны,
На стебельках ликующих ракет
Покачивалась ночь. И вдовы плакали,

И шли они в манящие огни,
Взлетавшие всё яростней, всё чаще…
Как безутешно плакали они
И утешали плачущих от счастья.

Во тьме веков теряется тот век,
Та, не отмеченная гимном веха,
Когда, как настоящий человек,
Собака умерла за человека.

И если состоится Страшный суд,
В день, когда трубный глас ворвётся в уши,
Я знаю, и собаку призовут
На этот суд. И дрогнут чьи-то души.

Вечер древним Эвксинским Понтом
Подступает к окну, и звезда,
Взмыв, упала за горизонтом
Неисписанного листа.

Только это не лист, а Туманность
Андромеды лежит на окне…
О, понять бы хоть самую малость
Говорящих её огней;

Примоститься хотя бы на краешке,
Как мгновенья, летящих лет,
Посмотреть на детей, играющих
В прятки с бабочками. И в свет

Превратиться, чтоб далью безбрежной
Каждый миг упиваться всласть,
И на чей-то лист белоснежный
Осеняющим бликом упасть.

Была вода у скал точь-в-точь,
Как лошадь, загнанная в мыле,
И маяки, словно немые,
Жестикулировали в ночь;

Привстав на цыпочки, волнуясь,
Выглядывали корабли…
А море вспоминало юность
У доадамовой земли.

Вот так мильоны лет назад
Оно у ног планеты юной
Входило в бешеный азарт,
Срывая молнии, как струны;

Кромсало землю одинокую,
Ей верность трудную храня…
И были ласки те жестокие,
Как обещания меня.

Уже давно закат над плёсом
Глухой тревогою горел…
Отяжелевшие, как вёсла,
Вздымались крылья. Как с галер

Стекали с неба стоны птичьи
На дом, на плечи, на газон.
И, полный грустного величья,
День уходил за горизонт.

И вмиг умолкли все собаки,
Когда подобием змеи
Качнулась ночь. В таком вот мраке
Завязывался плод земли.

И до поры в нём были скрыты
И эта осень, и крыльцо,
И уличный фонарь, со скрипом
Качающий твоё лицо.

Владимир Любицкий

В самолёте над Альпами

На альпийские горы
Я смотрю с вышины.
Здесь когда-то Суворов
Продырявил штаны.
А поскольку в равнине
Задержался обоз,
То заштопать штанину
Денщику довелось.

На дворцовом приёме,
Где шуршали шелка,
Полководец припомнил
Мастерство денщика.
И, мундиром блистая,
Пить за русский народ
Он не в шутку заставил
Весь австрийский бомонд.

С той поры миновали
Не года, а века.
Помнят горы едва ли
Русака-чудака.
Где-то канули в Лету
Боевые полки,
Схоронив эполеты,
И штыки, и портки.

Нынче в крае гористом —
Муравейник людей:
Не солдат, а туристов,
Не врагов, а друзей.
В этой буче кипучей
Слышен чаще других
Наш великий, могучий
И свободный язык.

На заснеженном склоне
Строят рядом дворцы
Бизнесмены в законе
И законов творцы.
Всем тут сладко живётся —
Просто праздник в судьбе,
Если место под солнцем
По карману тебе.

Позабыв, как страдают
На родимой Руси,
Наши пьют и гуляют —
Хоть святых выноси.

И, пьянея от денег,
Куролесить готов
Кто — в штанах от Кардена,
Кто — совсем без штанов.
А красавицы смело,
Будто честь — не к лицу,
Часто жертвуют телом
«золотому тельцу».

…Но недавно на горы
(тот, кто видел, исчез)
Дух Суворова гордый
Опустился с небес.
И, одет не по моде,
Наблюдал с высоты
Это пиршество плоти,
Торжество суеты.

Непростые вопросы
Сам себе задавал:
Он за то ли боролся?
Он за что воевал?
Для того ли о скалы
Истирал он до дыр
Свой красивый и славный
Государев мундир?

Невзирая на годы,
Слабость старческих сил,
Он бы снова походом
Мать-Европу сразил,
Он бы Альпы осилил
За здорово живёшь —
Да ведь нынче в России
Мастеров не найдёшь,

Чтоб с ружьём, как с иголкой,
По-солдатски — на «ты»,
Чтобы с верой сыновней
Шёл на штурм высоты.
Чтоб Россию не мерил
Ни рублём, ни фунтом…

…Нам Суворов доверил
Помолиться о том.

Сергей Белозёров

Среднерусская дорога

Сначала он напомнил о себе письмом: может быть, не забыли — ещё в семидесятых, в Иркутске, на конференции молодых авторов был у вас в семинаре некий старшина ракетных войск Белозёров Сергей — так вот, это я самый и есть. Потом появился в моём петербургском (тогда ещё ленинградском) доме. Сказал, что живёт сейчас в Туле, а до Ленинграда добирался через Москву, на… пригородных электричках, пересаживаясь с одной на другую. Есть, оказывается, такой способ, очень экономичный, если проявлять при необходимости известное проворство. Уже эта подробность говорила о моём госте, как человеке, мягко говоря, нестандартном, не вписывающемся в обычные житейские рамки. Рассказывают, что последние свои годы он прожил вообще без паспорта, а, стало быть, и без прописки, у каких-то сердобольных людей.

Но в стихах этого «дикоросса» (воспользуемся термином, удачно введённым в обиход поэтом Юрием Беликовым) обнаруживалась несомненная поэтическая культура, независимость суждений. Перечисляя своих учителей, он называл не те имена (весьма достойные), которые были в то время у всех на устах. «Самойлов, Слуцкий, Смеляков», — таков был его список. И ещё из XVII века Симеон Полоцкий, чью силлабику — косноязычную и упоительную — Сергей тонко имитировал. И самое, пожалуй, главное — ему, беспаспортному, было присуще обострённое чувство гражданской ответственности. Говоря о наших петых-перепетых бедах, он не ограничивался горестной констатацией. «Двадцатый век закончили. С чего теперь начнём?» — так завершается одно из лучших стихотворений — о белорусской деревне Белица. Начать «с красной строки» никогда не поздно. Сергею Белозёрову достался лишь крохотный кусочек нового века.

Сейчас друзья собирают материал для его посмертной книги. Стихи из единственного прижизненного тоненького сборника «Словарь далей» (Тула, 1989) составят лишь малую его часть.

Илья Фоняков

Среднерусская дорога

Среднерусская дорога…
И ухабы, и морока,
и простая, как частушка,
вырастает деревушка:
восемь, что ли, там домов —
в общем, как в частушке слов.

Среднерусская дорога!
Каждый дом — шагах в пяти
от державного пути,
здесь отмеченного строго:
то квитанцией налога,
то медалью на груди.

Похоронок было много,
свадеб не было почти.

Среднерусская дорога
громыхает у порога —
ей как будто всё равно,
если здесь остынет печка,
и обрушится крылечко,
и доской забьют окно.

Разве что у мимоезжих,
мимолётных, мимоспешных
шелохнётся, ворохнётся
ощущение стыда,
что из отчего колодца
без следа ушла вода.

Среднерусская дорога
поднимается полого
мимо вымерзшего дома,
мимо вымершей избы —
это ясно и знакомо,
это вычерки судьбы,
это — выпало словечко,
укатилось, как колечко,
и не жжётся, не смеётся,
затерялось…
И тогда
и частушка не поётся,
и Россия — сирота.

Среднерусская дорога…
Вот и снова — без упрёка —
вырастает, как частушка,
небольшая деревушка:
восемь, что ли, там домов —
в общем, как в частушке слов.

Если будет свет в окне —
мне светлей в моей стране.

«Здесь темно — возьми мою звезду», —
прошептала ночь мне на мосту.

А звезда вздохнула, как во сне:
«Для него там свет горит в окне…»

И вода твердила под мостом:
«Там твой дом и только там твой дом…»

Но никак не мог я сделать шаг
к огоньку тому, на лай собак.

Повернулся и пошёл назад,
ничего не видя, наугад.

Проворчала берегу река:
«Отчего-то жалко дурака…»

И шепнула ночь звезде своей:
«Видишь, как бывает у людей…»

Белозёров Сергей Алексеевич,
тридцати с незначительным лет,
терпеливо пытался отсеивать
сор от хлеба и счастье от бед.

Сито билось, как сердце, порывисто,
он не первый надеялся год,
что на донышке по справедливости
золотая крупица блеснёт.

Ну, а жизнь — без старанья излишнего —
убеждала его: через сеть
не пройти её тяжким булыжникам,
да и лебедю не пролететь.

Он не верил, шатаясь от голода,
он стоял на своём, как всегда,
и сжимал в кулаке своё золото,
а когда разожмёт — пустота…

Он с долгами никак не расплатится,
он скитается по городам,
только сито дырявое катится
по пятам, по пятам, по пятам…

Жизнь должна быть неудачной —
так оно повеселей.

Вы хотели б жить на даче?
Я хотел бы — на Земле.

Жизнь должна быть неуютной.
Дверь уже отворена.

Вы сказали: слишком людно?
Просто комната тесна.

Жизнь должна быть несчастливой,
в меру мужества и сил,
чтоб кулёчек чернослива
тоже счастье приносил.

Тот кулёчек, что в больнице
тихо лёг перед тобой —
из тетрадки ученицы,
из обложки голубой…

И в дверь мою стучат с рассвета,
и в окна дождь стучит-сечёт…
К чему стучать? Душа поэта
закрыта на переучёт.

Перебирая виновато
на счётах лет костяшки дней,
она ведёт подсчёт растраты,
невольно совершённой в ней.

Ей у разбитого корыта
опять, опять всю ночь считать,
всплакнуть, потом чуть-чуть поспать,
вздохнуть, и выставить опять
табличку с надписью «Открыто»
и с просьбой ноги вытирать.

Слышишь, не забывай меня,
счастье неназываемое,
рыжая полонянка
рощиц яснополянских!

Крикни мне из столиц твоих:
помнится ли и длится ль
нежность ослепших листьев,
трогавших наши лица?

Перешепчи по почте
почерком удивлённым:
что тебе этой ночью
шепчет звезда над клёном?

Снова я с этим, с этим,
с этим, что отболело,
точно полоска под сердцем,
мертвенно побелело.

Светом былых галактик
светит былое чудо…

Запахивая халатик,
резко звякнув посудой,
ты обернись — не зовут ли? —
к окнам своим замёрзшим,
словно от боли смутной,
ясный свой лоб наморщив.

Где-то в большой державе,
нас разделившей стольким,
звёзды мой лоб прижали
к чёрным морозным стёклам.

Чтоб и теперь делиться
радостью и бедою
белых незрячих листьев,
тающих под ладонью…

Тише, милая, тише:
туфельки спят в прихожей,
спит за стеной сынишка,
не на меня похожий.

Спит и твой муж, уставши,
ты же его разбудишь…

Не забывай меня, даже
если меня забудешь.

Накаты жары — как движение душной волны:
вдохнул — и ныряешь, а там, у крыльца, где затишек,
когтями, хвостами цепляясь за выступ стены,
крадётся к дверям виноград, точно стайка зелёных мартышек.

Не стану пугать эту дерзкую банду юнцов,
я здесь постою, у калитки, пускай через силу —
а вдруг они дверь распахнут, вдруг я встречусь глазами с отцом,
и он мне простит, что не ездил к нему на могилу…

Симеон Полоцкий

Склоняю выю, егда вспомню тыю силлабику:
мужичка! словами мужицкими славу тебе реку!
Егда поменялась земля, и люди в ней тоже,
негоже их ладить в грецкия ды римския одёжи,
а надо езыком российским правду про жизнь казати,
коряво ды право чрез болото гатить гати.
И плачу я, ибо знаю, что Богом речётся:
хто перьвым идёт по болоту, тот с берега камнями побьётся.
Тыя, хто полетят за тобой меж твердью и небесами,
начнут хаять тебя, силлабика, смеяться над твоими словесами.
А ты иди, сестрица моя силлабика, иди прямо,
не поверьху и не посуху — через бугры ды ямы.
А хто камень бросит — прости: мало винны дети, что забыли,
як ты перед ними в грязи стелилась, дабы ноженьки не замочили…

Не возвращайся из ссылки, Овидий!
        Ну, что ты с обидой
пишешь мне письма?
        Здесь нет восхитительных мидий
Понта Эвксинского,
        и не найти винограда
слаще, чем тот,
        что растёт на горе Митридата.

Помнишь ли, сколько малины
        внепланово нам выдавала
под Сортавалой, бывало,
        деляночка лесоповала?
Где б ты ещё
        пешедралом дошёл до Байкала,
или с конвоем вкусил Иссык-Куля
        и выслушал речь аксакала?

Публий Овидий Назон!
        Не метафоры — метаморфозы
Скифии суть.
        Так воспой её ад и морозы,
и осознай свою жизнь
        преходящей, но всё же нетленной,
за Ойкуменой,
        но всё же цепляясь за обод Вселенной!

Стихи приведены в соответствие с авторскими
рукописями Андреем Коровиным.

Татьяна Заворина

Жизнь хороша, птички поют

Мне же, еже прилеплятися Богу, благо есть, полагати во Господе упование спасения моего.

Псалом 72

Посвящается памяти архимандрита Маркелла (Егоровского)

Горело дерево. В пойме реки мальчишки жгли прошлогоднюю траву, дым и кольца огня стелились по чёрной земле. Одиноко стоящее сухое дерево прямо от земли делилось на три ствола, и загорелись сразу все три, образовав алый пылающий трезубец. Далеко потянулись хвосты сизого дыма.

Повсюду ещё заплатками лежал снег, который так неестественно, как в театре, выглядел среди распаханных кое-где полей и трепетных цветущих ив. А в лесу его было и вовсе много. Стволы тополей стали атласными, золотисто- голубыми. Во впадинах молочные наледи над водой замерли, настыли.

А вокруг—плотный бархат прошлогодних смятых трав, неразличимых друг от друга. Лишь высокий ковыль узнаваем: звенит своими скрипичными струночками от ветра. Серое небо расцвечено тонкими прожилками голубизны.

Дед возвращался из больницы с дочерью. Он перенёс две операции, четыре месяца провёл там лёжа и сейчас смотрел, как и все в автобусе, завороженный, на это горящее дерево. «Какая-то весна нетёплая»,—сказал дед. Дочь неотрывно следила за огнём, провожая его глазами.

За окном вдоль дороги сосны, ольха, тополя, осины шли широкими шагами вразмашку вслед за автобусом, наклонившись от ветра, как спешащий человек. Золотые нити берёз, бронзовые столбы тополей, медовые торсы сосен с густыми синими тенями тянулись ввысь. Фиолетовые дали раскрылись. И лишь ели хранили ещё свой зимний траур, стояли недвижно, окаменело. Они обычно долго, тяжело держат свой бурый уже мех, и орешник рядом с ними покрывается вдовьей вуалью—тенью от елей. Всё вокруг этих столпившихся лесных красавиц ещё холодное, провальное, солнце не волнует их.

А берёзы уже танцуют, и когда мчишься в автобусе, то видишь их то розовое, то голубое весёлое мельтешение.

Дед смотрел в окно ненасытно, но устал. Ему очень хотелось поговорить: дорога была неблизкая. Но все молчали.

—Что за кусты?—спросил он дочь. Та, поглощённая своими мыслями, не отвечала.

Уже извиняющимся тоном, спросил он рядом с ним сидящего парня в малиновой кожаной куртке:

—Отстань, дед,—отбрил тот

Дед обиженно уткнулся в окно. Кустов, привлёкших его внимание, было много в округе реки. Их шелковистые красноватые прутья держали на себе множество серебристо-серых, живых пушистых комочков, и дед прекрасно знал, что это за кусты.

Дочь подумала: «И что он лезет…» Хотя и понимала с жалостью, что всё ему сегодня в диковинку и хочется поговорить.

—Да верба и ива это,—отозвался старик с бородой в проеденной молью шапке-ушанке, в телогрейке, с запрятанными на дно души глазами. Сидел напротив, подрёмывая, хмельной, да вдруг встрепенулся.—По всему лесу сейчас цветут.

И неожиданно для человека с такими глазами слабым, хриплым голосом, окая, доверительно завёл рассказ о вербе, приблизившись к деду:

—В старину-то на Вербной неделе в печи вербную кашу варили с почками.

—Как это ?—спросил дед, оживившись.

—А в кашу такусенькие, вот как щас, почки ивы али цвет её, али серёжки—что уж придётся,—клали к Вербному воскресенью. А почто? Почесть Христа!—он выразительно поднял грязный указательный палец.—А вот почто. За пять деньков до его крестной смерти, Иисуса-то, народ встречал его ивами ирусалимскими. А сейчас всё забыли, всё делают не так, как положено, машут вербами, в дом несут. А зачем? Не знают.

—Ерунда всё это. Опиум для народа,—выслушав, пробурчал дед и разозлился.—Я атеист и ничему этому не верю. Вздор!

—А ты скажи-ко, вечно что ли жить собрался? «Не верую». Ишь, хорохоришься! Погоди, наступит денёк,—поймёшь, с кем имеешь дело!—И мужик показал пальцем в небо.

Оба умолкли и молчали уже всю дорогу.

Деду—Фёдору Стребулаеву—было семьдесят пять. После операции он усох, кожа местами—на руках, на подбородке пожелтела и обвисла. Чёрные глаза отливали землистым оттенком и из-под очков смотрели беспомощно, неуверенно бегали. Голова стала совсем маленькой, седой на тонкой шее, но усы оставались роскошными, чёрными, с лёгкой проседью. Прямой породистый нос и правильные черты лица придавали ему сходство с известным артистом. Однажды в молодости, году в 60-м, это стало причиной забавного конфуза. Он покупал в ГУМе, в Москве, детскую коляску и ещё кучу вещей, когда к нему подошла женщина и спросила: «Ой,

вы артист Тихонов?» Он решил поозорничать и поддакнул. Тогда дама взяла его коляску, коробки и решительно двинулась к остановке такси. Всю дорогу уверяла, что он любимый артист: набивалась на свидание. А он до потери сознания врал про съёмки, в которых, правда, раз в жизни случайно участвовал на фронте. Часто потом в компании друзей смеялись над этим случаем… В молодости озорство он любил.

Пока автобус шёл до города, вдруг повалил снег вперемешку с дождём, и в городе под ногами уже было жидкое месиво изо льда, снега, грязи и воды. Лужи раскинулись огромные, как озёра.

Полуобморочная, худосочная российская весна пришла, когда деревья оживают, чернеют стволы, и чувствуется, уже бурлят в них соки. Но уродливые культи обрезанных веток городских тополей смущённо куксятся, поджимают пальцы, торчат беспомощно, уповая на небо. Всё полно влагой. Кусты боярышника дерзко краснеют на фоне общей, сизоватой, как дым, серости.

Дочь несла две его тяжёлые сумки с вещами из больницы, часто останавливалась. И под зонтом деду трудно было идти по этому городу неумытой державы. Взгляд невольно искал красоты, но натыкался на вечный хлам и мусор, накопленные под снегом за зиму. Ветер и дождь тщетно пытались вылизать и вымыть это неуклюжее несовершенство после зимы… «А ветер-то будто с моря. Как пахнет морем!» — подумала дочь, хотя море было отсюда далеко-далеко.

Недалеко от их дома установленный зимой ядовито-жёлтый киоск, торгующий сникерсами и западными дешёвыми ликёрами, жвачками и презервативами, облезший от краски, утонул в луже. Но вывеску имел вызывающе громкую: «Славяне».

— Ты смотри! Черти дери, — заворчал дед, — Не просто так: «Славяне». Всё изгадили. Всё испоганили. Вот она, дерьмократия!

Дома, чуть не сбив его с ног, закричала на весь дом внучка Алёнка — кареглазая, в деда, глазища — омут, как взмахнёт длинными ресницами, вцепилась в него накрепко, как котёнок:

— Ура! Деда вернулся!

А вечером, после праздничного обеда с пирогами, с домашним тортом на белой скатерти, он устроил *баню*.

Стихийное бедствие — у деда банный день. Это случалось раз в месяц и лишало его дочь сна.

В такую ночь она казалась себе муравьишкой, боящейся быть раздавленной под ногами великана. Кот шмыгал по углам, распушив от ужаса хвост, искря шерстью и глазами.

Великий языческий обряд! Приготовления начинаются за час. Дочь должна выдать чистейшее свеженаглаженное (уже поглаженное ещё раз перегладить) бельё, начистить ванну. Остальное — сам. Засучив рукава, ещё раз моет ванну, по-своему, и пускает пар. Признаком готовности ванны являются потёки воды по стенам коридора. Течёт по стенам — готово.

В ванной всё сметается со своих мест. Дверь затыкается половиком. Устанавливается новый порядок вещей. Во время банного ритуала из ванной слышится фырканье, бульканье, восторженное кряхтенье на протяжении часа-полутора.

Да разве это баня! Всё не то и не так! Вот в деревне! Он родился в сибирской тайге. Отец был механиком МТС, детей имел от двух жён девять человек: два мальчика, остальные девочки. Сосны были в три обхвата. Озеро — другой стороны не видно, лишь тонкая чёрная лента леса. Зато дно видать. До каждого камня. Рыбы — тьма. На озере волны, как в море. Зайцы подходили близко к дому — и в силки. Вот и мясо, и рыба всегда к столу.

Школа — пешком три километра — по лесу. Зимой волки следом шли. Стра-а-шно.

Жизнь была суровая. День начинался с пяти утра. Мать хлеба пекла — много буханок каждый день. Грибов заготавливали по десять бочек. Ели всё своё. В холода спали со свиньями в одной избе. Свиней держали много… И однажды — жуть! — одну сестрёнку-грудничка — сожрал боров. Родителей не было: батька работал, а мамка в революцию — в коммуну, в «обчественную» жизнь ударилась, а дети недосмотрели, в саду заигрались.

А баня — жара! Он, худющий мальчишка, не выдерживал, сидел под бочкой и ледяной водой, ковшичек за ковшичком, обливался. Раз он так сидел, а отец с мамкой принесли младенца, самого младшего — купать. Отец его — хлесть, хлесть веником, веником! В ответ — писк, визг! Отец — хлесть, хлесть! Писк, верещанье. Мать быстро-быстро мылом розовое тельце с темечка до пяток, после в бочку с холодной водой, и раз — выпустила нечаянно из рук. Пацан ускользнул вмиг. И нырк — под воду в бочку. Стихло… Но отец пошарил, пошарил в воде, выловил — и снова веником, веником — хлесть, хлесть! Заорал братец. Всё произошло в секунды. Брык его на руки мамке — и в полотенце. И его самого, Фёдора то есть, так же купали. Всех так.

Девчонки босиком в любую погоду по шишкам: подошвы, как на тапках! — кожаные. За ягодами ходили. Голубика, черника, земляника, брусника, клюква, кедровый орех. Делали заготовки.

Никогда не болели…

Охо-хо. Из всех из них в живых только и остался дед Стребулаев. Один за одним все они, кроме его матери и старшей сестры, умерли во время войны от непонятной болезни, после чего мать стала слегка помешанной. Это было так давно, что, кажется, и не было никогда…

После «бани», в двенадцатом часу ночи, когда уже все спят, после ста грамм у деда начинается променад по квартире с крошечной белой кастрюлькой, в которой бултыхается в воде, бьётся о стенки розовый зубной протез. Скрипят расшатанные половицы, громко скрипят двери, гремит на кухне посуда.

Раз двадцать он энергично, бодро, быстрым шагом идёт на кухню и обратно, в свою комнату, поглощая собой пространство. Если попасться в этот миг под ноги — беда! Не миновать скандала. Станешь помехой ночного полёта души, подлунного восторга жизни. На этот раз шестилетняя Алёнка, ещё не ложившаяся спать, решила нарушить ритуал. Она накрасилась маминой косметикой

до неузнаваемости, нарисовала огромные малиновые губы, чёрные тени вокруг глаз и свекольные щёки. Намазала усы, нарочно распустила косы, всклокочив волосы, и надела бабушкино платье. Подкараулив деда за дверью, она в таком ужасающем виде выскочила и рявкнула басом:

— Деда, с лёгким паром!

— Ой, ёй-ёй,— отшатнулся дед, искренне напугавшись, да так, что чуть не упал. Думал, спит давно.— Фу, до инфаркта доведёшь! Ну, марш отсюдова! В кровать! Я тебя…— и узловатой рукой прицелился схватить её, чтобы отшлёпать по-настоящему, но она ушмыгнула в свою дверь и залезла для недосягаемости под широкую кровать. Дед не стал её добывать оттуда, махнул рукой и только долго ворчал: «Фу, напугала, фу, напугала».

И снова гремела крышка чайника, ложка стучала очень вызывающе о стенки банки с вишнёвым вареньем, о чашку, затем также с грохотом летела в раковину. Громыхали дверцы кухонных шкафчиков, холодильника. Звучала торжественная послебанная какофония.

Как боевой петух, он был теперь готов к любому бою!

Дочь знала, что в этот вечер лучше молчать и не попадаться на глаза, и сидела тихохонько в углу дивана с книжкой. Через застеклённую дверь она видела, как дед, наконец, подошёл к большому, во всю стену, зеркалу, побрился и аккуратно её маленькими маникюрными ножницами (из-за чего всегда имел неприятности) подстриг свои усы и стал пристально себя разглядывать. Погладил руками осунувшиеся, но гладко выбритые щёки, расправил усы, и, оправив чистую пижаму руками, заговорил сам с собой:

— Жениться, что ли?— ещё постоял и, насмотревшись на себя вволю, выдал:— Вот если бы Галя жила так близко, как Ира, а Ира была бы такая заботливая, как Галя, то я бы, пожалуй, и женился!

Дочь прыснула от смеха и, чтобы не выдать себя, спряталась лицом в книгу.

2.

Как обычно, Александра не скоро уснула. После священной банной церемонии она долго убирала в ванной, на кухне.

Заколола, высоко подняв руки, пышные, как были у мамы, вьющиеся волосы, посмотрела в зеркало. Первые морщинки, первая, ранняя, седина… Волосы, овал лица, губы, родинка на щеке, длинные ресницы — от мамы, большие карие, но с зеленоватыми лучами, глаза — от отца. Говорят, с возрастом всё больше становилась похожа на маму, и глаза светлели, и зелёных веточек в глазах прибавлялось… Когда они выходили с мамой на улицу, соседки, бывало, болтали: «Да на них всякий заглядывается!».

Работа была у Александры, как в песне поётся: «а в терем тот высокий нет хода никому». Александра служила казначеем в государственном учреждении. Ей привычны были длинные ряды цифр, терпеливое сидение у компьютера среди женщин-коллег, офисная затворная тишина. Породу занятий она любила порядок во всём. А вот в доме его так не хватало…

С дедом ей нелегко было жить. Он всегда был неопрятным, всё делал кое-как, руководствуясь главным тезисом: «И так сойдёт!». Давно уже мочился мимо унитаза. Сплёвывал под ноги. Серая, крупная, жёсткая пыль — пепел от дешёвых сигарет, которые он без конца курил, сбритая серая щетина со щёк и подбородка, рассыпанная на одежду,— вечно всё покрывала в доме — его стол, диван, пол в его комнате, подоконники, пианино и тянулась по его следам на кухню, в коридор. О чистоте в доме можно было только мечтать…

Он мог есть прямо из сковородки, из банки, из миски,— было бы чего!— мешать селёдку с манной кашей и вареньем и закусывать чесноком. На кухонном столе, как и на полу, после него оставались рассыпанные крупа, сахар, разлитое подсолнечное масло, крошки хлеба, этот вечный пепел от сигарет, слегка размазанные грязными рукавами и подошвами тапок. В чистой одежде он чувствовал себя неуютно, как только дочь его переодевала, он спешил потерять лоск.

Несмотря на всё это, дочь относилась к нему с какой-то необъяснимой печальной жалостью. Бывший муж за это называл её «мазохисткой». Он с убийственной иронией говорил: «Александра, тебе бы непременно памятник поставили при жизни… где-нибудь в Китае за то, что ты пожертвовала свою жизнь отцу».

— Или я — или этот маразматик!!!— периодически взрывался он и, в конце концов, от них ушёл.

Дочь и сама удивлялась, как и почему она живёт с отцом, хотя порой даже ненавидела его. Почему не имеет воли изменить свою жизнь, бороться за семью, начать жить своей, личной жизнью? Но каждый раз, когда она почти решалась бросить его, уйти, перейти с дочерью к мужу, ей становилось нестерпимо больно. Вспоминала маму:

— Есть неумытыми руками не оскверняет человека,— говорила та, когда Александра была ещё школьницей.— В одной мудрой книге сказано: что исходит из уст и сердца, оскверняет его.

Тогда Александра не могла понять её слова. Впрочем, пока мама была жива, отец следил за собой. Он, кажется, любил её всю жизнь… Любила ли его она?

Девушка была из «недобитых буржуев». Старший лейтенант, фронтовик выбрал её за смиренность, хотя, скорее, это были просто воспитанность и интеллигентность.

Любить же его, казалось, было не за что. Невозможно было его любить. Он был скуп, держал семью «в чёрном теле». Был против «барахла», довольствовался малым. В детстве позволял покупать дочке конфеты, когда экономили на чём-то. Дни рождения не отмечали. «Буржуйская привычка!»,— считал он. Разрешалось почитать только советские праздники. Его идеалом была комната без лишней мебели: кровать, стул, как в чёрно-белых фильмах про Ленина. В его фотоальбоме на первой странице под тонкой папирусной бумагой хранился бережно вклеенный цветной портрет Иосифа Виссарионовича Сталина.

Жили скудно, хотя бедны не были. Однако дочь удивляло, что мама на её вопрос: «Да как ты с ним живёшь?» — твёрдо отвечала: «У него много недостатков, но есть одно достоинство: он — честный человек».

Александра, прибрав в доме, наконец, с облегчением вытянулась на кровати рядом с дочкой. На улице шёл дождь со снегом, за окном была кромешная тьма, тикали часы, она про себя вздохнула: «О, Господи…» Но, прислушиваясь к монотонному звуку капель, ударяющих о подоконник, стала вспоминать…

«Не помню, чтобы в детстве шли такие тоскливые дожди со снегом, как сейчас, и капли стучат в окно и ночью, и днём. «Ни словом унять, ни платком утереть…»

Кажется, всегда было солнце. В детстве… А что я помню о детстве?

Почти ничего, словно это время закрыто шлагбаумом и осталось в другой стране, которой уже нет. И всё-таки?»

Чистая комната. На детском деревянном столике у окна, который сделал своими руками отец, как и детский стульчик, аккуратно постелена кружевная белоснежная салфетка, а на ней сидят любимая кукла Люба с отбитым носом (почти живое создание, друг, сестра) в белом платье, другие, тряпичные, куклы, а среди них чёрный плюшевый Мишка в синем самодельном жилете. Стоит маленькая деревянная тележка с деревянными колёсиками, очень ладненькая, пахнущая липой. Саша любила на ней каждую плашечку, каждую гладкую обструганную и отполированную реечку, перильце, каждое колёсико». Её, тоже самодельную, смастерил отец. К ней был привязан ремешок. Лошадкой становился Мишутка, а пассажирами бумажные фантики от конфет, которые Саша коллекционировала (конфеты были редкостью), или нежные бумажные куклы, похожие на ангелов, нарисованные мамой.

«Я очень любила эту тележку, такой не было ни у кого»,— подумала Саша.

Однажды на Первое мая к ним пришли гости. Взрослые гуляли за праздничным столом после демонстрации. Дети тоже ходили вместе с ними по городу в весёлых шеренгах нарядно одетых людей с воздушными шариками, флагами и транспарантами, портретами вождей. Дети несли веточки с едва распустившимися зелёными листочками и нанизанными на веточки маленькими белыми и розовыми бумажными цветами. Цветочки накануне делали вместе со взрослыми. «Это было здорово,— припоминала Саша,— мы сидели с подругой Любашей за круглым столом среди вороха лёгкой, шелковистой, шуршащей разноцветной бумаги, а из кухни вкусно пахло пирогами, которыми нас потом и угощали».

На демонстрацию многие дети и взрослые шли с такими же веточками. Женщины были одеты впервые после зимы в яркие шёлковые новые платья под лёгкими расстёгнутыми плащами или в цветные крепдешиновые блузки. Пахло духами. Мужчины в строгих новых костюмах с галстуками. Все разговаривали, шутили, смеялись, пели песни.

«Я, как и другие дети, давно, с нетерпением, ждала этого дня. Нас брали с собой с одним условием: не хныкать, и не жаловаться на то, что далеко идти. А мы и не хныкали, и, держась за руку мамы или папы, вприпрыжку вышагивали вместе с колонной больших, самых лучших на свете людей».

Город преображался в этот день. Дома были свежеокрашенными, никакого мусора. Горели на солнце красные флажки и знамёна, которые контрастно оттеняли едва распускавшуюся зелень.

Проходили по Новому проспекту — широкому проспекту-саду. В воздухе стоял запах свежей, клейкой листвы, первых нарциссов и тюльпанов. Особенно благоухала берёза, выделяя эфирное масло со своих глянцевых крохотных листочков, которые каскадом спадали с веток сверху вниз.

Останавливались на Красной горке у церкви перед выходом в центр города. Обычно взрослые там разливали водочку, закусывали пирожками, бутербродами, детям покупали мороженое, пирожное, шоколад. Играла музыка. Начинались танцы…

«Мы глазели во все глаза, пели, орали вместе со всеми, растворялись в общем ликовании. Я с белыми бантами, в синей новой гофрированной юбке — невозможно нарядная и довольная своим видом».

Саша с ностальгией всматривалась в прошлое.

Потом колонны снова выстраивались и вливались в другие колонны, которые по центру города ровно шли к красным трибунам через арку огромных старинных городских ворот, называемых Золотыми, мимо торговых рядов, мимо соборов. Из открытых окон жилых домов сладко пахло, выглядывали улыбающиеся люди, старушки вместе с кошками, дети махали руками, флажками, шариками. Высоко в небе среди воздушных шаров летала стая белых голубей.

Всё было замечательно. «Кажется, одно было совершенно непонятно нам, детям,— думала Саша,— почему конечной целью движения была высокая красная трибуна с плохо различимыми дяденьками в чёрном и в шляпах, которые кричали что-то в большую трубу, а все дружно повторяли за ними». Висящие на столбах, как пауки, штуки в виде перевёрнутых колоколов — «громкоговорители» усиливали их лозунги:

«Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза!», «*Ура!*» Народ подхватывал: «*Ур-р-а-а-а!!!*» «Да здравствует Генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв!», «*У-р-р-а-а-а!!!*». «Да здравствует Юрий Гагарин — первый человек планеты, полетевший в космос!!!». «*У-р-р-р-а-а-а-а-а!!!*». «*У-р-р-р-а-а-а-а-!!!*». «Слава советскому народу!!!»

«Все подхватывали, и мы, дети, особенно. Вместе громко кричать «Ура!» было тоже здорово и весело».

Вскоре после трибун демонстрация заканчивалась, и люди уже нестройными рядами бодро расходились по домам к праздничным столам.

«В тот день я устала от жары, проголодалась от долгого пути. Дома детей закрыли в отдельной комнате вместе с бабушкой. Было душно. Кажется,

собирался дождь… Мы тоскливо ждали, когда мама принесёт обед, накроет мой маленький, празднично сервированный столик. Один незнакомый мальчик играл с моей тележкой и стал её ломать. Я начала её отнимать, и мы подрались. Мальчик вырвал тележку и с силой выдернул из неё колесо, потом оглобли, и в одно мгновенье всю её разломал!

Я с этой тележкой в руках рванулась к своему самому лучшему защитнику, судье—к папе…»

В другой комнате вовсю шло веселье. Взрослые пили вино, закусывали. Папа громко рассказывал анекдот, а все смеялись. Мама была на кухне. Саша, с глазами, полными слёз, с остатками тележки в руках, подошла к отцу и тронула его за локоть: «Папа, посмотри…» Он отмахнулся и продолжал всех смешить. Саша взяла его за рукав белой рубашки и подёргала, всхлипывая: «Папа, пап, ну папа, посмотри…». По телевизору показывали Красную площадь. Он, глядя внимательно на экран и что-то оживлённо говоря, снова отмахнулся. Девочка тихонько тронула его за плечо, ещё раз, протягивая свою тележку. И тогда он, мгновенно развернувшись, всей силой своей такой знакомой красивой волосатой руки ударил её наотмашь.

Отлетев на несколько метров, тело девочки шмякнулось о стену, а голова ударилась о ручку двери туалета.

Были горькие безутешные слёзы, женщины повскакали со своих мест, забегали. У Александры началась рвота, мама-врач капала какие-то лекарства, детей увели гулять, ребёнка уложили в постель, и она прижимала поломанную тележку к груди, всхлипывала и с ней уснула.

«А он курил в коридоре и даже не подошёл за весь день больше ни разу»,—с непреходящей детской обидой отметила про себя Саша.

«Остальное не помню».

В то время как будто что-то ушло из дома.

Кажется, какое-то время он пил… Стал Саню пороть за мелкие провинности. Возьмёт, зажмёт между ног—она визжит!—и кожаным узким, затёртым армейским ремнём с пряжкой—больно, по попе: «Я тебя породил, я тебя и убью!»,—орал, когда мамы не было дома. Став старше, она убегала из дома через окно до прихода мамы. Сейчас, вспоминая впервые—ведь после смерти мамы она словно отключила свою память—впервые, пожалуй, за всю сознательную жизнь тот случай, Александра думала, что он стал словно замороченным, заворожённым, чужим, далёким и страшным. А был ли он раньше другим? Добрым? Любящим? Впрочем, некогда ей было об этом размышлять.

Рушились *идеалы!* «Осуждение культа личности Сталина…». «Нас предали, нас предали,—напившись, повторял он.—Без войны, без боя, и не враги—свои».

Из памяти ползло тяжёлое, неизменное…

Мама умирала от рака. Часами она оставалась без сознания, изредка приходя в себя. Смертоносные клетки постепенно разрушали лёгкое, мозг, руки, ноги, сознание, речь. Пытка тянулась уже полгода. Она лежала истончённая, белая, но не безобразная, как тяжелобольная. Болезнь не исказила её лица. Приходящие медики удивлялись тому, как она оставалась хороша. Тонкие черты лица, каштановые пышные, вьющиеся волосы с сединой, белая кожа, красивая родинка на щеке, другая на груди, и поразительно молодое лицо…

Мама знала, что в другой комнате спала её маленькая внучка, Алёнка, и это придавало ей силы в последней борьбе. Дочь сидела рядом на краю кровати, гладила её по плечу, по руке. Когда сознание возвращалось, Александра переодевала маму, переворачивала полегчавшее тело, предлагала попить, пыталась дать ей бульон, кефир, но она ничего почти не пила и ничего не ела. На ногах кожа синела, лопалась на ступнях, появлялись чёрные кровоточащие раны, которые Саша обрабатывала, смазывала и бинтовала, но это не помогало. Мама угасала.

В один жаркий летний полдень мама очнулась после укола. Тогда она уже не говорила, только издавала какие-то мычащие звуки. Она открыла свои светло-зелёные с бирюзой глаза. Всегда они были такими ясными, спокойными и ласковыми. У неё был взгляд лёгкий, как морской ветер… Мама силилась раскрыть глаза шире, ещё шире… Но они упёрлись в одну точку на потолке и были неподвижны. Едва-едва она поводила головой из стороны в сторону по подушке. Взгляд не фиксировался. Мама устало, медленно закрыла их, опустила голову, и только одна большая, как кристалл, слеза скользнула по щеке.

Александра поняла, что мама ослепла.

Врачи предупреждали. Это было предвестьем конца. Саша застыла от сознания неотвратимости перемен и неподвижно села на край кровати…

Придя с работы, отец узнал новость, молча встал в дверях. В последнее время он не подходил близко к постели жены. Не переодеваясь, в синем костюме с галстуком, он грубо и торопливо начал срывать замок со стоящего напротив кровати маминого, а точнее, бабушкиного, старинного кованого сундука. Время, войны, переезды его нисколько не потрепали, и он был как новенький. Александра в детстве любила на нём сидеть, болтать с подружками, трогать резьбу, прочное дерево, маленький изящный замочек. Отец быстро взломал его и стал рыться. Он искал сберкнижку. Мама услышала громкие звуки—сундук распахивался с музыкой, как музыкальная шкатулка,—тревожно повернула голову.

Там хранились её сокровища. Мама отпирала сундук тайком, когда мужа не было дома, чтобы не раздражать его. Саша дрожала от нетерпенья и любопытства. Саша знала, что в самом низу, на дне, завёрнутое в тонкую материю—покоится чёрное шёлковое бальное платье прабабушки, местами истлевшее, с чёрным кружевом ручной работы, вышитое чёрным мелким бисером по вырезу декольте и по низу. На нём аккуратно положены экзотический веер из перьев какой-то африканской, думала Саша, птицы, одна узкая-узкая длинная чёрная перчатка из шёлка на маленькой пуговке и две белых, узких, как и шёлковые, но из лайкры,

с разрезом. Непонятно, на какую ручку их можно было надеть?

Тяжёлые кожаные альбомы с фотографиями притягивали её больше всего. Деды, прадеды с прямой осанкой, прабабушки, тётушки, дети, собачки, открытки с видами каких-то европейских городов прошлого или позапрошлого века. Всюду неразборчивые подписи пером. Кое-где попадались лица, замазанные белым или вырезанные. Среди альбомных листов вложены визитки, засушенные цветы, приглашения на бал, поздравительные открытки со стихами по-французски или надписями по-немецки, чьи-то рисунки. На некоторых листах не фотографии, а полувыцветшие акварели — цветы, женские головки, дамы в садовом пейзаже, к ним какие-то слова.

Дедушка был поразительно похож на Александра Блока. На одном из фото он сидит на стуле в тёмном блузоне с длинным воротником-апаш, завязанным, как у художников бантом, рядом стоит бабушка, положив руку ему на плечо. У неё античные черты лица, мелкие кудряшки. На шее длинная нитка жемчуга. На обороте подпись: 1934 год. (Маме пять лет). И бабушкиным почерком: «Тебе — о тебе» и после двоеточия — стихи Блока.

Приближается звук. И покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку.
Не дыша.

Дедушка отличался высоким ростом, был прям, с длинными руками, широкими плечами, а бабушка еле доставала ему до груди. Он — величавый, неторопливый, немногословный, ходил строго, прямо, широкими шагами, она — шустрая, быстрая, стремительная, говорливая, как юркая птичка, бежала рядом с ним.

Отлитые из бронзы воспоминания!

На лето Сашу увозили далеко-далеко в Сибирь в деревню к бабушке и дедушке. Называлось это место удивительно — станция Яя. Полнейшая свобода! Их дом вмещал в себя столько, что познать, увидеть всё можно было не сразу. Поэтому Александре даже не хотелось выходить за ворота, а только перебирать вещи в комоде, играть со статуэтками, заводить патефон и рассматривать столетней давности журналы, забираться в сундуки, в буфет, на чердак, в холодную кладовую, в тёмные сени, в курятник, играть в большом саду, примерять бальное платье, вуали и шляпки и непрерывно щёлкать кедровые орехи — для неё был припасён целый мешок.

…Пронзительным голосом пела Обухова с чёрной пластинки:

Пронеслись мимолётны-ы-я грё-о-зы,
Беззаботные минули дни.
Словно осенью листья берёзы
Незаметно умчались они…

Саша садилась у патефона на пол, обхватывала колени руками, мечтательно смотрела в окно и слушала…

Бабушка презирала Советскую власть.

Слегка картавя, она могла разразиться пламенной тирадой, едко издевалась над «их» манерами, и всё это как-то сходило ей с рук. Могла в автобусе тихо выругаться по-немецки. Всегда делала замечания хамам. Возможно, ей прощалось экстравагантное поведение благодаря авторитету дедушки, который был и известным учёным-агрономом, и народным судьёй, и какое-то время даже председателем районного Совета. А возможно, они жили в такой глуши, где смена властей и режимов не имела особого значения. Хотя многие её родственники из Красноярска, Томска были репрессированы.

Дедушка втайне помогал ссыльным. Ларина — жена Бухарина, отбывавшая срок в тех краях, впоследствии со словами благодарности писала о его помощи, и о нём самом в своих воспоминаниях…

Маленькая изящная бабушка, с неизменным кружевным воротничком и в шёлковом платье в горошек, с мелкими бусами — в халате её не увидишь, ни-ни! — лишь кокетливый фартучек — выходила к русской печке, как королева. Своими узкими, но цепкими надушёнными ручками брала ухват, тяжёлый чугунный горшок, точным движением отправляла его в печь. Мгновенно что-то взбивала. Строгала, крошила. Бежала в кладовку и обратно, в огород. Замешивала тесто. Гоняла кота Василия от сметаны. Следила за курами. Кормила «мою собачечку» — важную рыжую лайку Тузика. Колола дрова. Распекала дедушку за то, что внеурочно вошёл. Между делом собирала в саду букеты и ставила в вазах на окна, украшала стол. К сервировке привлекалась Шурочка. Скатерть, тарелки, серебряные приборы, супница, салфетки, вазочки в строгой иерархии на большом овальном столе. При всём при этом тихо по-немецки напевался романс Шумана «Над тихими водами Рейна…» или что-то в этом роде. Немецкий был почти родной: даже по-русски она говорила с лёгким акцентом. Её бабушка была немкой: увёз её дедушка — владелец сибирских золотых приисков — в тайгу из Германии в 1869 году.

Неотделимо от дома жил запах черёмухового торта, секрет которого знала только она. За всю жизнь Александра больше нигде такой не едала.

Саша вставала на стул и открывала буфет из чёрного дерева с готическими дверцами и гранёными стёклами — и из его нутра обдавало запахом пряностей — корицы, имбиря, шафрана (Бог знает, где бабушка доставала всё это в такой глуши!), ликёра, тыквенного варенья с лимоном. Там был припрятан лафитничек, из которого баба Тася попивала смородиновую настойку — «для куражу». В потайном месте на верхней полке лежали для Саши шоколадные конфеты в вазочке на тонкой ножке из красного хрусталя.

Нежность воспоминаний о сибирской деревне! Летучие мыши по вечерам метались с серебристых тополей к крыльцу и обратно, пугая Сашу. В сумерках пучеглазые, серые, перепончатые, как привидения, они стрелой налетали на крыльцо, где дедушка учил Сашу узнавать созвездия и звёзды, отпрянув, прятались в ветвях тополя и повисали вниз головой. Сашка их боялась.

А однажды, когда бабушка послала её в курятник за яичками, Саша на дровах увидала маленького зверька. Размером с кошку, и похожее своей ловкостью на сиамскую кошку, но с большим пушистым хвостом, внимательно смотрело на неё, замерев, прелестное существо. Саша протянула руку, и оно исчезло, а Саша испугалась. «Да это же ласка!—засмеялась бабушка.—В другой раз хватай её быстрей и тащи—она цыплят крадёт, злодейка».

За каждой вещью в сундуке дышал дорогой миг. Открываешь шкатулку из морских раковин, а в ней порванная нитка жемчуга, золотая брошь в виде цветка—в центре густой синевой с красным отливом играет сапфир, вокруг—кровавые рубины, а одного не хватает, червонного золота витой браслет с шишечками, цепочка с раскрывающимся кулоном, внутри него—фото молодой мамы и кусочек ладана—и видишь, как бабушка одевается, чтобы принять гостей: «Сегодня будут Бучевские с Региной Рихардовной и Обросовы». Видишь ноты—на обложке красавица Вера Панина—и дедушка берёт гитару, перебирает струны, бабушка запевает, и все гости дружно подхватывают:

«Жизнь хороша, птички поют…». Берёшь сборник Александра Блока «Нечаянная радость» издательства «Мусагет» и слышишь, как бабушка секретничает с Сашей, шепчет о том, как в день обручения подарила жениху эту книжку… А скатерти с монограммой Т.З. и вышивкой ришелье, кузнецовский фарфор с веточками сирени, ложечки с гравировкой!…

На кухне в «красном углу» за занавеской стояла икона Николая Угодника в потёртом серебряном окладе, с плохо различимым ликом.

Был в доме, где жила Александра с дедом, и другой заветный сундук. Он стоял в кладовке. Там пылилось наследство другой бабушки—революционной матери отца. Истрёпанная кожаная тужурка, алая косынка, кобура от пистолета. С особой бережностью завёрнутые в тряпицу билет члена РСДРП(б) и окровавленный комсомольский билет. Сашка боялась даже глядеть на него. Пугалась она и тоненькой книжки про революцию 1905 года с иллюстрациями Добужинского. Бабка—владелица сундука показывала картинки, рассказывала о Кровавом воскресенье. Особенно поразила её детское воображение гравюра: кирпичная стена, по ней растекается кровь, и в её луже на мостовой ногами кверху опрокинута прелестная кукла в кружевном платье, с выколотыми глазами.

Революционная бабка учила «Шурку» петь революционные песни. Некоторые ей даже очень нравились. Однажды, когда она разучивала, как «сотня юных бойцов из буденовских войск на разведку в поля пробиралась», оставшись дома одна, залезла на высокую спинку железной бабкиной кровати, представляя себя на коне, и не пела—декламировала, с актёрской выразительностью, о том, как юный боец «упал возле ног вороного коня и закрыл свои карие очи». И так ей живо представился этот боец—Серёга черноглазый с чубом из соседнего подъезда, вообразилось его обращение к верному коняге: «Передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих», так она сочувствовала юному будёновцу, что не на шутку разрыдалась. Мама пришла: никак не могла взять в толк, отчего Шурочка плачет. Та только всхлипывала: «Будёновца жалко…».

Боязно открывала она фотографии в альбомах с серо-синей, грязноватого оттенка бумагой. На многих застыли в одинаковых позах с одинаковыми, нехорошими лицами мужчины и женщины в чёрных кожаных куртках и чёрных кожаных сапогах. Ачинская парткомячейка такого-то года, коммунары Чертановской МТС, Новосибирские курсы ВКП(б)… Фотография сияющей здоровенными зубами бабки в платке, в больших кованых сапогах—сидит на земле среди свиней, обнимает огромного охотничьего пса по кличке Пират. На первом плане фотографии торчали кованые подмётки с гвоздями и набойками сапог…

Запах тления и плесени. Какие-то шторы, тряпки, поеденные молью шапки.

Во время войны бабка была крутым председателем колхоза, совсем потеряла женственность.

Поверх всего в сундуке пылились два томика в красном переплёте с портретами вождей—Ленина и Сталина, открытки. Иосиф Сталин пожимает руку Троцкого. Ленин в гробу.

А на самом дне сундука лежало то, от чего у Саши мурашки по спине пробегали, душа в пятки уходила—ружья, кобура, патроны, патронташ, пыжи, гильзы, ружейное масло и огромные охотничьи ножи.

3.

Мама умерла в разгар лета. Был ослепительный солнечный день. На вишне за окном назревали плоды, бойко пели птички. В комнате за полузадёрнутыми шторами стоял полумрак, была прохлада. Только тикали старые дедушкины настенные часы: тик-так, тик-так… В последний момент маятник внезапно дрогнул и замер: бо-о-о-ом…

Впоследствии, что бы они ни делали, на протяжении долгих 40 дней часы не шли.

Саше показалось, почти физически ощутимо, что кто-то невидимый склонился и распростёр крылья над мамой. Казалось, что они не одни. Время остановилось, и будто Ангел Господень, сошедший с фрески Рублёва, заполняет пространство и тихо, и бережно принимает и несёт душу, которая покинула тело.

Саша не чувствовала ни ужаса, ни горя, её поразило и удивило ощущение невероятного покоя и осознание, что сейчас совершается величайшее таинство, и что маме её…хорошо.

В день похорон стояла жара, градусов тридцать. На небе ни облачка. Александра смутно воспринимала реальность, она пребывала в оцепенении, в том странном состоянии покоя, которое овладело ей. Почему-то, когда похоронная процессия, уже за городом, проезжала через большой мост над рекой, за которой начинался лес, в уме зазвучали булгаковские слова: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землёй, неся на себе непосильный груз, тот это знает.

Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, её болотца и реки, он отдаётся с лёгким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его». Мама любила читать Булгакова.

Когда гроб опускали в могилу, среди ясного неба пошёл дождь. Крупными, с яблоко, каплями он шлёпал по кладбищенскому песку. Но—вот странно—он пролился только на том небольшом отрезке земли, где они были.

Все подняли головы: ни единого облачка. Мамина подруга сказала:

— Господь знает, что чистая душа покидает землю…

Женщины тихо переговаривались:

— Отмучилась… Господи, и за что ей такие мучения ! Ведь чистый ангел была…Голубка наша ушла от нас, красавица наша…Терпеливица…

— Каким врачом она была, скольких спасла, а сама… Себя не жалела…

По настоянию отца играл похоронный оркестр (отпевание прошло в церкви заочно). Отец был очень растерян. Он бросился к Саше, крепко обнял её и зарыдал. Стоял терпкий запах сухих кладбищенских сосен.

После похорон тёмная, мрачная, невыносимая тоска овладела Сашей. Ни муж, ни домашние хлопоты, ни заботы о маленькой—всего полтора годика—дочке не могли развеять её. Отец был ей чужд и ненавистен. Ей казалось, что это он повинен в смерти мамы. Когда он приходил домой, она закрывалась в своей комнате.

Сухими были её глаза. Саша мучилась, боялась заходить в мамину пустую комнату. Но не было слёз. Как жить? Когда мамы нет? Непередаваемое одиночество и чёрная обида терзали её. Исхудала и постарела на десять лет.

Чёрным казалось солнце, чёрными—деревья. Но не было слёз.

Как назло, стояла страшная жара.

Узнав о горе, приехали издалека на машине друзья—подруга детских лет, кареглазая рыжеволосая Любаша, её муж—неуклюжий, высоченного роста, с казачьей бородой, симметрично разделяющейся на две части, с завитками, Серёга и его сестра, кроткая Вера—жена священника. Обе женщины худенькие, в длинных юбках, в белых платках, и с такими чистыми лицами, что, казалось, от них идёт свет. Платки—это по Писанию, поясняли они, это для Ангелов, знак власти над ними, ибо «Муж есть образ и слава Божья; а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа; и не муж создан для жены, но жена для мужа».

(Первое послание апостола Павла к коринфянам,11.).

Семья Серёги—из рода иконописцев. И деды, и прадеды, и прапрадеды его на протяжении веков, и родители, дядья, и братья, и сёстры в жёсткие советские годы, как и в прежние, царские времена, реставрировали, украшали и расписывали храмы, купола золотили, мастерили дивные оклады к иконам, писали иконы. Все были многодетными. Были среди них и священники, и певчие. Один старец из их замечательного рода прославлен как святой где-то на Кавказе…

В их внешности была одна особенность—вместе с талантом всем без исключения передавались по наследству удивительной голубизны глаза, ясные, как горное озеро. Глаза с неугасаемой детской чистотой, в которые можно было смотреть как в безоблачное небо.

От Серёги исходила энергия, теплоту которой ощущал каждый, кто с ним общался: под его властью оказывались все—и люди, и животные. Кот Петлюра, бандит, подлиза и плут, его просто обожал, степенно ходил за ним по пятам, торжественно и важно подняв хвост.

В советские годы их семью ссылали с места на место по Уралу и Сибири, не давая осесть нигде: лишь только осваивались, их сгоняли дальше. Однако, все выжили, ни один ребёнок не умер. Удивительно, но после тяжких мытарств и скитаний в их роду все оставались радостными, все доживали до глубокой старости. Были гонимыми, но не роптали: «И Господу было негде главу преклонить».

Они приезжали к Саше шумной оживлённой толпой, с детьми, и после них в доме оставался беспорядок, но оставались и свет, и чувство полноты жизни. Как ни старался Сергей, привыкший к деревенскому простору, в маленькой квартирке Саши ужаться, казаться поменьше, он обязательно что-нибудь разбивал, ронял, задевал, и, повернувшись резко на стуле пару раз, ломал очередной стул, что заканчивалось общим смехом и его несказанным смущением. Любаша только успевала, как фокусник, подхватывать вещи, которые летали вокруг него.

С Любашей Серёга познакомился на берегу озера в своём забытом богом селе, куда она приехала, по распределению, после окончания института работать преподавателем музыки.

Было холодное лето. Он стоял с этюдником и «красил» пейзаж в камуфляжной робе с закатанными по локоть рукавами, длинные пшеничные волосы подхвачены на затылке резинкой, как у священников и художников. Тонкая кисть казалось крошечной и выглядела странно, как волшебная флейта, в его могучих, словно сплетённых из узлов корневищ деревьев, руках. Городская девушка, одиноко гулявшая у озера, в белой курточке и белых полусапожках, с длинными распущенными волосами, цвет которых был такого же густого медового тона, как и глаза, из любопытства подошла к нему. Она, задавая ему какие-то вопросы и отвечая на его вопросы, то и дело взволнованно перекидывала волосы с одного плеча на другое, смущённо морщила веснушчатый носик. Её глаза привлекли внимание художника—в них было то отстранённое от мира выражение, которое бывает только у музыкантов или глубоко верующих людей, словно они слышат что-то своё, то, что другие не слышат, «слышат в мире ветер»… Он уже заметил её раньше, в церкви, на Всенощной…

Оба собирались бежать из села—искать счастья в Москве. Она уже и документы забрала… Но… Как встретились, так и не смогли расстаться. Проговорили до утра в старом деревянном доме. Ели корки чёрного хлеба, запивая водой из старого,

с накипью, чайника. Кот Петлюра открывал, по своему бандитскому обыкновению, лапой холодильник, а там — пусто. От холода обиженный Петлюра спал в горячей духовке. А они три дня, не евши, не пивши, не выходили из дома. Сергей без запинки цитировал Бунина, Достоевского, Тургенева, она — пела и играла на расстроенном пианино Рахманинова… Проходит месяц — она живёт там. Серёга сказал: «Всё. Давай решать. Поженимся. Будешь рядом — всего добьюсь». Потом с гордостью при близких хвастал: «Быстро я тебя охмурил!» Сейчас гомонят в их доме четверо детей.

Пока женщины умывались, Серёга со своим характерным лёгким оканьем рассказывал Саше, как расписывал церковь в Москве, поднятую из руин, и познакомился со старушкой.

— Подходит ко мне баба Маша, оккуратна такая, в хорошем польто, бодрая, несогнутая: «Сынок! Я, — говорит, — 85-летняя старуха, дождалась! Господь сподобил увидеть, как в нашу церковь жизнь возвращается!». Счастье-то, мол, какое. Вишь ты, когда церковь-то крушили в двадцать девятом, она иконки хотела вынести и спрятать, а они — богоборцы проклятые: «Чтоб ты сдохла», — отняли и ногами их топтать! А она всё равно выкрала — другие, оставшиеся, и сберегла, а теперь в храм принесла. А те, говорит, мол, — своё получили: кто ногами-то топтал — ноги потеряли, обезножили, а кто топорами рубил — обезручили. «А я, — говорит, — старая, ничего, бегаю!».

Когда он говорил, Сашу, как обычно, удивляло сочетание в нём огромной силы и детской непосредственности. Он широко разводил руками, изумлённо высоко поднимал брови:

— Вот так. Смотри-и пожалуйста, у самой ум я-ясный, глаза у-умные. Анчихристы-коммунисты, говорит, сталелитейный цех здесь устроили, а в алтаре — печь: «В алтаре пещи огненные для Младенца сготовили!» А уж когда Батюшка сказал старушкам: «Всё, отдают нам храм», — они, старухи, мусора-то вынесли на себе самосвалов с десяток, сам видел! Во-о! Диву даёшься, откуда столь силы взялось!

Помянули маму. Незаметно разговор зашёл о вере. Как ни странно, о чём только прежде ни говорили — да обо всём, но о вопросах веры — впервые. Имеющий уши — да слышит. Видно, только сейчас Саша готова была услышать.

Люба спросила:

— А ты, Сашенька, так и не крестилась?

— Нет, Любаша, я как-то об этом не думала.

— «Р-ре-че безумен в сердце своём — несть Бога», — прогремел Серёга. Когда он сердился или расстраивался, то слегка заикался, растягивал слова. — К-как можно жить без веры-то? Эдак лукавый-то чрез грусть-тоску, да печаль быстро человека до отчаяния уведёт, — покачал головой., — Господь по-разному приводит к вере. Всё больше чрез лишения, чрез потери, чрез страданья. Вот так… Когда-а человек в наше время своим умом дойдёт до Бога?

— Я не знаю, — робко и будто обречённо ответила Саша. — Меня в детстве бабушка с мамой крестить хотели, да отец не дал.

— Вишь ты, Александра, — Сергей взял её за руки и встряхнул, пристально глядя глаза в глаза: — Всё очень просто. Есть отец земной, есть мать — родители, да, есть люди, кто тебя любит, — близкие, муж, семья. Но-о… они смертны. А есть Отец Небесный! Его любовь никогда не престанет. Ты вздумаешь оставить его — Он тебя не оставит. Взыщи Бога! Встань посреди храма, да возопи: Боже, помоги моему неверию! И мир обрящешь. У каждого свой путь к Богу-то.

— Крепко держись за веру, Сашенька, — продолжала матушка Вера — Господь не оставит, даст тебе силу, мужество. Креститься вам надо — и будет у вас Ангел-Хранитель. При крещении прощаются все прежние грехи! Это сила Таинства! Иди в церковь — и ты спасёшься. И молиться надо за маму, и за Алёнку, и за мужа. Кто же, как не ты-то, помолится за них? Бедные вы бедные…, — её голосок журчал успокоительно, ласково. — Особенно за маму молись. Ведь душа бессмертна. Православные знают опытно, что душа не умирает. Прими Христа в своё сердце — и ты узнаешь!

— Помнишь, Саша, как мы у бабушки моей шептались у иконы Спасителя, в уголке на кухне? — Лампадка горела, а мы шептали свои тайны, мечты, и как нам было хорошо? Бабушка твердила: просите — Боженька поможет?… Помнишь? — Любаша спешила, боялась сбиться, забыть то, что хотела сказать:

— Как дитя, как в детстве, доверься Богу! И он услышит. Молитва, поверь, ничего нет лучше молитвы… — она, только она. ..воскрешает душу.

Долго они ещё говорили, а Саша молчала и слушала. Чудесные примеры спасения приводили, о жизни Святых отцов говорили, о примерах веры в своей семье. Пять столетий она крепла в их роде… И по мере того, как они своими тихими, спокойными голосами возвещали ей истину о Христе, о вере, у Саши прибавлялось сил, забрезжил в душе свет…

На прощание Сергей спросил:

— А не оставить ли у тебя нашу икону? Володыке нашему — Архиепископу написали мы для собора «Троицу». А он чуть поправить велел, не принял пока. Да… Понимаешь, икона-то велика, а нам колесить по области ещё, ого-го! У тебя постоит, не помешает? — Перед самым выходом, уже в дверях Сергей, потирая кончик носа, добавил:

— Ты, это, зойди, посиди, посмотри на икону-то…

И внесли в дом большую икону, и поставили икону в мамину комнату.

Не сразу Саша, когда в доме стихло, с опаской, с содроганием вступила в эту холодную полупустую комнату. Всё лишнее было вынесено, остался стол, шкаф с книгами, сундук. Села на мамин сундук и стала созерцать.

На иконе почти в полный человеческий рост был изображён Бог Саваоф в образе величавого седобородого старца, сидящего в облаках, каким он явился ветхозаветному пророку Моисею на Синайской Горе, и Бог-Сын — Иисус Христос, сидящий «одесную Отца». Держа наклонно крест, который опирался на его плечо, Господь будто беседовал с Отцом. Над их головами по центру

парил белый голубь—Дух Святой. От зеленовато-золотистого фона с иконы шёл тонкий свет. Чем больше Саша всматривалась в икону, тем больше ей казалось, что глаза на иконе становятся живыми и смотрят ей прямо в душу—из них изливалось сочувствие и любовь.

Икона была очень красивой, такой тонкой живописной работы, что хотелось возвращаться к ней каждую ночь и любоваться ещё. Она разглядывала икону и, казалось, ни о чём не думала. Просто смотрела. «Приидите все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вас…». Теплее становилось у неё на душе, тяжёлый ком в груди растапливался, и однажды прорвалось, вырвался стон, и потекли слёзы. Она встала на колени, а слёзы, горячие, искупительные, лились и приносили облегчение.. Она вдруг поняла, что куда-то ушла злость на отца, ей было всех-всех жаль: и маму, и отца, и всех-всех-всех… В одно мгновение смягчилось её сердце и забылась обида… Ушла, растопилась боль. Саша шептала:

— Господи! Боже милостивый! Отче наш! Прости! Спаси! Сохрани, помоги! Помоги моей бедной мамочке обрести вечный покой…

И ей казалось, что мама где-то незримо, рядом, улыбается и машет рукой ей в ответ.

Через месяц она с дочкой крестилась. Крёстной у них обеих стала мамина верная подруга тётя Галя.

4.

Наступил день шальной, солнечный. Небо, словно туго натянутый голубой шёлк, отразилось синевой в лужах, ослепительно блестевших. Это был первый солнечный день с тех пор, как дед вышел из больницы. Он осмелился пойти погулять. Внучка запросила:

— Деда, купи мороженое.

— Купило притупило,—ответил тот, оделся, взял свою тросточку и ушёл.

Голова слегка кружилась от влажного воздуха, от испарений.

Впереди шёл мальчик лет семи с бабушкой. Старушка была низенькая, ростом почти с мальчика, и кругленькая, в розовом искусственном пальто, в пушистой круглой розовой вязаной шапочке.

Мальчик пожаловался, держась за живот: «Бабушка, больно…» Бабушка остановилась.

Вдруг мальчик поднял голову и удивлённо, с изумлением, сказал:

— Бабушка, как птичка поёт!

И дед обратил внимание и услышал, как по-весеннему нежно и звонко поёт трясогузка. Бабушка подняла голову и на огромном тополе увидела маленькую серую птичку с длинным хвостом. Расцвели её глаза, стали фиалковыми, яркими. Улыбка такая славная, детская, преобразила уставшее лицо.

— Смотри-ка, а знаешь, она из Африки к нам прилетела!

— Надо же, из Африки?—удивился мальчуган.— Там всегда тепло, а у нас всегда холодно… Такая маленькая… и прилетела !

Дед тоже удивился: «Из Африки. И что их сюда тянет?» И тоже заслушался. Рядом рыжий пёс с узкой мордой и хвостом колечком вылез из-под заборчика, сладко потянулся, зевая, прогнул спину и вытянул лапы. Тёмная шерсть на молодом мускулистом теле блестела на солнце, глаза сияли весело. Дед поманил его к себе. Погладил и пошёл дальше.

Шла впереди ещё одна старушка косой походкой ослабленного человека. Она была в чёрном платке, в чёрном, в талию пальто, в чёрных рейтузах, в чёрных коротких ботинках с мехом—вся в чёрном. В руке она несла прозрачный пакет со стиральными порошками. Но как несла! Словно ребёнок воздушный шар или прыгалки, как-то озорно размахивая им. Деду было видно по её спине, что у бабули приподнятое настроение, что кончилась зима, что шальное щедрое солнце улыбается ей—и всем!

И дед, выбравшись из своей бетонной коробки, увидел прогретый уже асфальт, на нём талый мягкий снег, лежащий с прогалинами, почувствовал запах этого прелого снега, свежести. Тепло, солнце, сверкающее шоссе, шум машин—всё это напомнило молодость. Он купил мороженое—самое дешёвое, а внучке подороже и, с вожделением на него глядя, быстро начал есть, наслаждаясь сладостью и окружающим теплом.

Красный кирпич забора был мокр и особенно красен, словно его специально натёрли.

Он стал мечтать о том, как наступит лето, как он поедет на своём зелёном «Запорожце» в сад. Зарыться в кусты смородины и собирать ягоды. С младенчества любил смородиновый душистый аромат, который уносил все мысли. Хорошо не думать ни о чём, вдыхать этот запах, осматривать свои владения на шести сотках земли, ощипывать чёрные маслянистые ягоды, смотреть на кусты и яблони. Яблоки в августе—шмяк, шмяк. Мечтал, как посадит петрушку, свёклу и морковь, и кабачки, и огурцы, как будет лежать под яблоней в тени, смотреть на голубое небо с косыми перистыми облаками. Белые бабочки кружатся в необъяснимом ритме над флоксами, то слетаясь, то разлетаясь. Всё это он видел бессловесно, бессознательно.

До больницы он был ещё сильным стариком. Ел всегда много и жадно, втыкая вилку в мясо, словно лопату в землю Летом ел плоды, ягоды и травы. В заморозки по ночам дежурил в саду. Особым способом поливал деревья из шланга водой, и они словно консервировались тонким слоем льда. Так он умудрялся сохранять цвет и завязь даже тогда, когда у всех цвет погибал. От этого руки у него были покрыты коркой, как у крокодила. От постоянной работы и жизни в саду он выглядел спортивным, загорелым, бодрым. Не дашь ему семьдесят лет.

Самозабвенно возился с машиной. Это была его настоящая возлюбленная. Был он инженером-конструктором по двигателям. Имел медаль ВДНХ за изобретения. На свою «иномарку» он установил, на заводе изготовленный мощнейший, ревущий, как дикий зверь, мотор, на котором настоящие иномарки обгонял. Обгоняет—и хищно смеётся. Не любил уступать дорогу. Порой рисковал собой.

Жизнь семьи была подчинена огородному крестьянскому циклу.

В любую свободную минуту он мчался за город. Маме это было обременительно, хотя она тоже любила сад. Особенно ухаживали за цветами, любили гладиолусы, которым были отданы лучшие места.

После смерти мамы сад стал другим. По краям всё зарастало крапивой, одуванчиками… Ветшал дом.

Лёжа в больнице, в долгие, холодные зимние дни и ночи дед мысленно планировал перестройку дома, пересадку деревьев. С последней осенней ясностью он боролся за то, чтобы ещё пожить.

В больнице выпало ему «счастье» встречать и Новый год и Рождество. Новый год — реанимация. Рождество — послеоперационная палата.

Операция длилась часа три… Золотистый лимонный туман — последнее, что видел он через окно перед наркозом. Небо слепило холодной голубизной. Наркоз обжигал, как мороз за окном. И словно кто натягивал красную струну на градуснике, там, на улице, всё ниже и ниже: −25, -30, так же падало у него давление. Его стошнило, вырвало. Дальше — замерещилось, завертелось, как в кромешной тьме, будто бы на Одере он баграми вылавливает скользкие трупы солдат и хоронит в общей могиле. То красные звёзды, то свастика… Река кипит кровью.

Операция прошла неудачно.

Беспомощный, с катетером, в крови, голый, он кашлял, харкал, дышал запахом мочи и крови. От кашля дико болели швы, боялся, что разойдутся. Курить хотелось «аж как из ружья», а нельзя. Дочь принесла маленькую иконку и искусственную ёлочку с шариками, поставила ему на тумбочку. Он орал: «Зачем? Куда! Мне не до ваших поповских штучек! Ещё не хватало! Нежности телячьи!». И в полубредовом состоянии пытался вставать, кричал: «Гулять буду!.. Лежать не буду! Ходить буду!!! Куда мои тапки пораскидали? Дай, а то залежусь…».

Дочь сидела рядом. Измеряла температуру, протирала тело, переворачивала, подставляла и выносила судно, баночки с мочой, меняла пелёнки. Каждую ночь врач отпускал её домой, к дочке. Когда она уходила, дед бережно поправлял ёлочку, ставил так, чтобы было с кровати виднее.

В колкую острую Рождественскую ночь дед погружался в мироздание. Ночь была ясная. Мириады светил мерцали почти над головой. Тяжёлые лапы еловых макушек под снегом виднелись в окне. Белый лес сверкал всеми оттенками радуги под лунным светом. Луна, огромная розовая и расплющенная, стояла низко над заснеженной землёй и чем-то напоминала Богородицу с крестьянских русских икон. Блистающая белизна земли и густая синева небес с нанизанным бисером звёзд, точно наколотых острой иголкой на синий бархат, захватывали дух, были прекрасны. Дед наблюдал, как луну, точно ладонями, обнимало двумя крылами мохнатое облако и удалялось, и таяло в ночной мгле. Сверкающие разноцветные звёздочки на его ёлочке перемигивались с настоящими звёздами за окном.

— Сосед. Слышь? — хрипел дед. — Был я вот таким шкетиком, как внучка, ходил Рожжество славить…

— Спи, дед. Какое ещё Рождество? — тяжело ворочаясь, возмущённо бурчал сосед, маленький круглый, как колобок, человек.

— Ночь такая была. Слышь. Пришёл Ванька, зовёт: «Пойдём Рожжество славить! А пирогов дадут!» Я и пошёл. Ходили по избам, пели во дворах. Верней, он вообще-то пел, а я орал — мне, понимаешь, медведь на ухо наступил. — Дед мечтательно вздохнул.

— Наколядовали? — заинтересовался сосед.

— А то! Наколядовали целый подол зипуна! И леденцов-петушков. И постряпушек всяких. Сахар колотый. Я домой притащил, а мать и давай меня пороть! Ну и порола — на всю жисть запомнил. «Я те покажу Христа, нету никакого Христа!».

— А ты некрещёный что ль?

— Я-то? — Долгая пауза. — Хрещёный. Да неверующий. Атеист. Одно утешает, когда бабка тайком меня, как и всех нас, малых, ещё в пелёнках, в церковь сносила да крестила, я, конечно, орал как резаный, — с гордостью в голосе оправдывался дед. — А вообще, на самом деле, — чушь это, сказки, опиум для народа.

Вторая операция прошла удачно. «Ага, смерть меня не берёт!» — хвалился он. За четыре месяца в больнице он замучил, загонял весь персонал, всех медсестёр. Чуть полегчало — он вставал; да падал, колени, локти разбивал, — но лежать никак не хотел. Со скрипами да стонами ходил взад-вперёд по коридору да всеми командовал, да всем поручения давал. Жаден до жизни был дед Стребулаев…

В январе сорок второго после Сталинграда он, девятнадцати лет от роду, в результате ранений, после тяжёлой операции умирал в смертной палате госпиталя.

Госпиталь был расположен в бывшем музее — доме-усадьбе. Смертники лежали в большой пустой зале с паркетом на первом этаже, с причудливыми огромными окнами. Рамы были все узорные, высокие, вырезанные под готику, с цветочной мозаикой; частично выбиты стёкла. Буржуйские рамы. По ночам от мороза волосы покрывались инеем, и от боли казалось, что звёзды бомбами падают вниз.

Спали под верблюжьими трофейными одеялами с толстым ворсом. Утром просыпаются — весь ворс белый… Мужики лежали тихие-тихие. Ни разговоров, ни звуков. Так же тихо и выносили одного за другим. Исходили своё солдатики…

Раз в щёлочку из-под одеяла глянул — у соседа одеяла нет. Не понял сразу. Тот под белой простынёй спит. Выглянет — лежит. Часа два так… Пришли санитарки, вынесли.

У любого одеяло откинь — бинтов не видно. Всё красное: подушки, вата, бинты, матрацы набухали кровью.

Одно утешение — вытянуть из-под матраца единственную целую руку — дотянуться на ощупь до ящика, который был вместо тумбочки. Наугад нащупать стакан. Не-е, не водки — самогона. Медленно. Нет сил поднять, донести тихонько, чтобы не расплескать, чтобы не шелохнуться — а то полыхнёт огнём боль. Затянуть с дрожью во всём

теле стакан под одеяло и там залпом выпить, чтобы тепло пошло по телу и чтобы забыться сном.

Ночью после колючего снежного урагана, сорвавшего крыши, вывеску «Госпиталь», повалившего мёрзлые деревья, наломавшего веток, был пожар. Метались верхушки древних лип, обезумевшая бледная луна дико косилась на космы облаков, напоминавших огромных тяжёлых медуз. В секунды они пересекали край видимого пространства чёрного неба. В отдалении, где была линия фронта, слышались разрывы снарядов.

Вдруг раздался хлопок, похожий на взрыв. Отчего-то резко и привычно запахло гарью, послышался треск, громкие голоса, топот ног.

Через какое-то мгновение за стенами как вымерло. Затем красные, как флаги, узкие языки пламени с чёрной каймой стали подлизываться к окну.

Раненые лежали неподвижно на матрацах из древесной стружки прямо на полу. У кого ног нет, кто в гипсе, кто в бреду. Что происходит, неясно. Зал медленно затягивало сизо-серым, едким дымком. Языки пламени на улице сливались и превращались в кромешный ад.

— Эй, мужики, пожар, похоже. Ходячие-то сбежали, похоже,— кто-то пробормотал.— Про нас сволочи забыли…

Видят — во дворе плещется во всю огонь, клубами наворачивается дым, а в дыму мечутся белые голуби. Все зрячие из последних сил следили за бьющимися в огненной стихии птицами.

— Кузница горит, ребята. И госпиталь занялся,— догадался парень, лежащий у окна.— Всё, конец нам.

Фёдор одеяло то натянет, то откинет одной здоровой рукой — всё равно дышать нечем. Кашель, хрипы, стоны. Треск огня, пожирающего старое дерево, всё сильнее.

А голуби всё медленнее порхают в кольце пожара.

Вдруг страшный грохот сотряс здание. Перекрытия второго этажа рухнули рядом.

Голуби исчезли. Пожар прекратился.

Бог миловал, никто не угорел.

После пожара медкомиссия осматривала тяжелораненых. Пламя ран сжигало их похлёстче, чем пожар. У Фёдора усилился озноб, сознание терялось. В бреду видел, как дядя Яков-художник, погибший к тому времени,— на горящем самолёте он спланировал на фашистский состав с боевой техникой,— рисует белых голубей. Парень бормотал: «Дядя, миленький, спасай голубей, голубей спасай, где голуби?».

Комиссия дошла до него:

— Кончается хлопец.

…Его засасывала жуткая липкая мгла, густая, как студень. Он погружался в неё, как в вязкое болото, в тоскливой тишине и одиночестве.

Ужас непереносимый вызывало более всего в душе это ощущение отчаянного одиночества. Навеки один в этой тьме? Полная вечная пу-у-у-стота, мрак. В голове медленно, до предела черепной коробки будто раздувался шар, он больно пульсировал, ещё миг — и лопнет. *«Не-е-ет!!! Не хочу! Не пойду я туда! Назад!»* Эй! Кто-нибудь! Услышь меня… Мамочка родная! Дайте мне руку. Вырвите меня из этого болота…». Вот она красная зыбкая черта… Родная земля удаляется и становится маленькой, недосягаемой.

Ещё секунда — и кажется, будет поздно, и он уже никогда не вернётся из-за этой черты. Руку! Господи!

Он лежал без признаков жизни.

Внезапно свет, бесконечно больший, чем можно себе представить, стремительно стал вырастать, как будто из отдалённой точки. Огромный, бесконечный, неземной свет разливался вокруг него. Федька, не веря чуду, постепенно, блаженно-невесомо доверялся безбрежному, непостижимо нежному пространству, его окутывало какое-то молочное тепло. Ни боли, ни печали, ни тревоги… «Отдохнуть хочу, чуть-чуть, ну хоть чуточку, пожалуйста…» Каждой клеточкой своего существа он начинал ощущать покой, лёгкость и рядом — робко осознавал — невидимое чьё-то, понимающее всеведение всей его жизни: ведение всех его помыслов, грехопадений девятнадцати лет и взлётов, ощущение теснейшей связи своей жизни с *ним*, дыхания своего, жизни сердца, тепла тела…, и чувствовал, как ежесекундно волны спокойствия, сил, бесстрашия вливаются в него с надеждой. Он чувствовал, что он не один.

— Давайте попробуем сульфидин,— предложил кто-то из докторов.

— Только что получили, препарат ещё не опробован, ну что ж, тут терять нечего.

Тут же сестричка стала колоть новое средство. И наяву произошло чудо. Парень три дня бывший без сознания: то ли спал, то ли бредил, неожиданно, понемногу стал оживать.

Его перевели в общую палату.

Когда впервые, на костылях, он вышел на улицу, шатаясь, один, уже была весна. Лишайник на деревьях бурно зацвёл. Ярко-розовые облака улыбались на синем небе. Под ногами была холодная сырая земля, пропитанная только что стаявшим снегом и местами покрытая тонкой прозрачной корочкой льда. И на узкой полоске жирной чёрной земли между пластинками льда — померещилось, что ли? — сидела настоящая живая бабочка. Он нагнулся — голова кружилась. Точно, бабочка. Трепещет крылышками, живая! Шоколадно-бархатная, на крылышках по краям фиалками играют четыре «глазка». Он осторожно, опираясь одной рукой на оба костыля, нагнулся, а другой взял бабочку за крылышки и бережно, держа её в ладонях, а костыли под мышкой, под угрозой в любой момент свалиться в грязь, еле дыша, принёс её в палату. Радости было! Раненые посадили её в большую банку, накрыли бинтом. Бабочка замерла и словно спала на подоконнике, сложив крылышки, иногда ими трепеща. Потом в особенно яркий, солнечный день — расправила крылышки, выпорхнула из банки, завораживающе красиво описала круг по комнате, к всеобщему восторгу облетела всех и исчезла в форточке.

Он выздоровел и вернулся в свой полк. «На мне, как на собаке…»,— хвалился он.

…Потом, когда прошли годы, он вспоминал про бабочку и про тех голубей в огне. А про чудо забыл, не вспоминал.

5.

Долго держались холода, и только к 9 мая стало теплей. Деревья украсились зелёными крошечными бантиками. На ветках боярышника, словно присели бабочки—распустились крошечные тугие пучки листков. Трава покрыла землю нежным изумрудно-атласным ковром, отливающим свежим блеском. Синие причудливые тени от деревьев переплетались с чёткими силуэтами деревьев. На берёзах заструились прозрачные листочки, и нарядные серёжки засыпали всё своей пыльцой. Мелкой кисточкой, точечными мазками наносила весна свой тонкий узор. Тюльпаны, наконец, вырвались из-под земли, их бутоны набухли. Всюду, словно тысячи мотыльков, затрепетали на деревьях первые лепестки. Миг—и они улетят. Но они не улетают, а набирают силу с каждым днём. Деда, как никогда, умиляло это оживление в природе.

День выдался пасмурным. В Москве мэр Лужков решил разогнать облака и дал команду очистить небо. Облака расстреливали из пневматического оружия, с вертолётов распыляли тонны химикатов в дождевые тучи, а дождь всё шёл и шёл.

—Это хорошо,—сказал дед,—слезами небо плачет.

Дед с утра противился идти на праздник Победы. Накануне, как всегда, он впал в беспокойство, и, насмотревшись военных фильмов, болел. О войне он рассказывать не любил, только, бывало, перед Днём Победы по ночам страшно невнятно кричал, стонал, рыдал во сне, отдавая команды, словно кого-то предупреждал об опасности. Всех будил своим криком, невольно пугал. Вот и сейчас вечером, накануне праздника, после своей «бани» разволновался так, что поднялось давление, вызывали «Скорую». Всё же приготовил серый пиджак с медалями, чёрные брюки, всё повесил на стул: собирался на «пятачок»—небольшую площадь около сквера рядом с домом. Там для участников войны звучала музыка, шёл концерт, накрывали столы, вручали подарки. Да вот беда! Потерял приглашение, голубой билет.

—А на шута мне это надо, их сто грамм! Нажидался я на их ста грамм! Вот сам куплю бутылку и дам им! Не пойду! Ещё не пустят!

Дочь собирала наряды вместе с ним. Ботинки начистила, брюки перешила, белую рубашку погладила—белым-бела, приготовила галстук, джемпер, новые носки. Наутро это всё предстояло на него надеть! И это было непросто. Начались сборы…

—Не пойду! Не надену!

—Ладно, давай брюки примерим—хороши ли? Я перешила.

—Хорошо…,—огладил себя руками.

—Давай рубашку новую примерим—это тебе подарок!

—Не пойду! Не надену!

—А я и ботинки уже начистила тебе!

Еле собрались. Пошли. Внучка с воздушными шариками, вприпрыжку, совершенно счастливая и гордая дедом, за руку с ним.

Дождичек моросил. Зелёные бантики колыхались. Дорогу дед, наперекор всему, переходил на красный свет. Воинственно звенели три ряда медалей, стучала об асфальт трость. Все машины останавливались.

И без всякого билетика его усадили за столик под навесом, девушки-официантки стали приносить бесплатное угощение. Весенний ветерок шевелил края белых скатертей и лепестки стоящих на них нарциссов.

С берёз неслышен, невесом, слетает жёлтый лист.
Старинный вальс, «Осенний сон» играет гармонист…

Эх, дороги, пыль да туман
Холода, тревоги, да степной бурьян…

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови,
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

На импровизированной эстраде мальчики из музыкальной школы, в белых костюмах, с бабочками, пели песни военных лет. Детскими чистыми голосами они пели недетские песни. Воздух был наполнен свежестью распустившихся трав, ароматом первых цветов.

Дождь на время перестал.

Что-то особенное было в этом дне, какая-то неторопливость, грустная задумчивая тишина.

За столом сидел пожилой плечистый человек с военной выправкой, с ярко-голубыми глазами на загоревшем лице. Грудь в орденах и медалях.

—Меня зовут Василий Фёдорович,—представился он.—Ты с какого года, дорогой друг?—обратился он к деду.

Дочь ответила:

—С двадцать четвёртого. Он плохо слышит—контузия была.

—Молодой! А я с двадцатого. Плохо сохранился. Курит? Ранения были?

—Ещё как курит—каждые полчаса! И ранения были.

—И у меня ранения. А я вот не курю и здоров!—Громко обратился к деду:—Ну, выпьем, дорогой друг!

Они выпили за победу. На каких фронтах воевали, где закончили войну, кто командовал фронтом, где были ранения—выяснив эти вопросы, обнялись, поцеловались. Дед, выпив, полностью погрузился в процесс еды. А Василий Фёдорович похвалил Александру:

—А ты молодец, отца не бросаешь. А мы плохо воспитали своих детей. Берегли зря.

—А как правильно воспитать детей?—заинтересовалась она.

—Трудиться надо. Трудолюбие прививать. Сейчас никто не хочет трудиться—только деньги подавай! Я кадровый военный, полковник. Всю войну прошёл, и в Чехии, в Польше, в Германии был, как твой отец. Ордена—это чушь. Главное—что у тебя в душе,—постучал по груди—главное—доброта. Грубые все стали… Сын грубит, всё забирает,—собеседник заволновался, покраснел, голос задрожал. Александра живо перевела разговор:

— Вы столько живёте и так хорошо выглядите! Вам Бог, наверное, продлевает жизнь за ваш подвиг, за жертву вашу!
— Что верно, то верно! Богом спасаюсь! — Неожиданно подхватил он. — Верою живу. В Бога крепко верую. Молюсь и надеюсь… Знаешь, дочка, запомни. — Василий Фёдорович доверительно приблизился к Саше: — В минуту отчаянного одиночества или смертной опасности человек понимает, что он не один — что есть рядом кто-то, но не каждый готов принять, признать, что этот кто-то — Бог! Молюсь, надеюсь, плачу. Чуть поволнуюсь — плачу.

Огород копаю, сажаю всё. Живу там с супругой — она меня на 8 лет моложе, и я молодой! В церковь ходим. Крепко держись за веру, дочка — спасёшься!

Громко спросил деда:
— Фёдор Иваныч, а ты верующий? — и громче: — В Бога веруешь?
— А-а? Чего? — Дед подставил ладонь к уху. — Какого к шуту горохововому бога? Я атеист, и в Бога не верю! Религия — опиум для народа, — заученной скороговоркой отрапортовал дед.
— Да, заморочили коммунисты голову… — Василий Фёдорович махнул рукой и покачал головой. — Дочка, а ты терпеливая. Дай я тебя поцелую!

Дед послушал концерт. Довольный, принял от детей цветы. На обратном пути он уже не так воинственно стучал палкой. Сказал:
— Жаль, что мы поздно пришли.
— Это почему? — спросила дочь.
— Телевидения не было. А то меня показали бы, как в прошлом году!

Дома дочка накрывала праздничный стол. Уже были готовы пирожки, пожарена курица; водочка, икра, салаты. Стояли тюльпаны, подаренные детьми гвоздики. Ждали гостей. Дед обычно был неразговорчив, увлечённо смотрел телевизор. То ли выпитая водка подействовала, то ли концерт растрогал: неожиданно, сидя спиной к Саше и глядя в телевизор, как-то задумчиво-тихо, ни к кому не обращаясь, словно сам себе, стал вспоминать:
— Перед Берлином наша артиллерия стояла на Одере, я получил приказ как командир батальона: «Открыть миномётный огонь!» А я подумал: «Берлин весь в огне. Не разберёшь, где фрицы, где свои. Куда стрелять? А вдруг там наши? — Александра замерла с вилками в руках. Дед продолжил:
— А я и не стал открывать огонь. Вот так я однажды нарушил приказ… А через некоторое время — ничего не понимаю: все стреляют в воздух, палят изо всех орудий, да вверх, вверх! Что такое? Вдруг слышу: «Немецкая капитуляция»! Мы в Берлине так и не побывали. Стояли с американцами, братались в Рослау. Три месяца в оккупационных войсках. Было спокойно, хорошо кормил, — сказал и снова умолк.
— Деда, деда Федя, покажи медали! — запросила Алёнка. — А эта за что? А эта? А сколько всего? Раз, два, три… десять, двенадцать… — забралась к нему на колени и стала считать.
— Девятнадцать? — подсказала Саша.
— Зачем будем врать? — протяжно вымолвил дед. — Не-е, не девятнадцать, а шишнадцать. Шест-надцать правительственных наград — чётко повторил он. — Да на что тебе?
— Ну расскажи ей, — попросила дочь.
— Эта — «За отвагу». И эта — «За отвагу». И эта. Три медали «За отвагу». Эта — «За освобождение Варшавы». Эта — «За взятие Берлина», — стал перечислять. Эта «За победу»…
— Мама, а деда у нас герой!

Только в День Победы он изредка что-то рассказывал о войне. Однажды в компании за столом он вспомнил, как в Польше освободили селенье, где-то шли бои, а к нему подошла встревоженная полька и жестами позвала за собой: «Пан, пан…» Он с опаской пошёл, держа автомат наготове. «Шут его знает, может, недобитые фрицы», — думал он. Она завела бойца в богатый дом, провела через сени в большой двор и дальше в хлев. А там… Там бесчувственно лежала стельная чёрно-белая корова с огромным животом, а из её чрева вылезали маленькие передние ножки телёнка. У коровы уже не было сил, она не могла разродиться. Женщина жестом и словами что-то объясняла, но он как крестьянский сын быстро всё понял сам… Голова телёнка не шла. Корова была вся мокрая. Красными глазами она покосилась на мужика и дико замычала.

Они тащили телёнка вместе, молча, с остановками, а за стенами где-то вдалеке звучали взрывы. Спасли обоих. Корове дали телёнка облизать, и хозяйка завела в дом спасателя накормить. Рассказывая, он поглаживал усы, намекал, мол, что заходил к ней на огонёк. Наверное, врал.

Пришли гости, три подруги, три вдовы: тётя Ира, тётя Шура и тётя Галя. Все с цветами, с подарками. Обнимались, целовались, вспоминали, плакали. Из всех мужиков их когда-то большой дружной компании остался живой один дед Стребулаев. Они его не забывали, собирались, как сейчас, песни пели, шутили, водочки выпивали. Когда встречались, им казалось, что они, как и прежде, молоды, что всё лучшее впереди, что жизнь хороша!

Нянчились с Алёнкой. Навещали «Федюшку» в больнице. Вместе ездили на кладбище. Он сажал их в свой «Запорожец» и терпеливо развозил по могилкам…

Женщины были чем-то похожи, как сёстры: всегда уравновешенные, бодрые, никогда не жалующиеся, они были моложавы без каких-либо на то ухищрений, не красили ни губы, ни волосы, но отличались тем, что на них всегда было приятно посмотреть. Тётя Ира забирала волосы высоко назад, тётя Шура была кудрявая и коротко стриженая, тётя Галя красиво укладывала длинную косу на затылке. Одевались скромно.

Тётя Ира была в оккупации… Каждый год 9 мая она не могла не вспомнить со слезами о тех, кто погиб на её глазах. Когда фашисты заняли их хутор и вторглись в их дом, они, дети, спрятались под крыльцо и дрожали от страха. Пьяные немцы, обосновавшись, стали искать развлечений: прицеливаясь, как в мишень, расстреливали огородное пугало и всю движущуюся живность — редких птичек, старую кошку… Когда им наскучило, они стали искать людей… Где-то в сарае заплакал

младенец — они вытащили оттуда молодую женщину со спящим ребёнком и поставили перед собой, нацеливаясь в голову ребёнка… Когда она не выдержала, закричала и попыталась убежать, мальчонка тут же заорал, пристрелили и его, и мать…

Тётя Шура рассказывала о том, как они с матерью переплывали вдвоём широкую реку, чтобы спастись от фашистов, разоривших и сжёгших их деревню, и чудом не утонули.

Тётя Галя — о том, как будучи ещё девочкой, работала на оружейном заводе и сутками оставалась там; чтобы выполнить норму, спала по нескольку часов на каменном полу.

Саша просила деда тоже рассказать что-нибудь интересное и героическое для внучки про войну. А дед вдруг обиделся совсем некстати, вспылил:

— Пристала! Да чо там героического! Ничо героического! — отвернулся даже, — Война! Никакой это не подвиг! Это тяжелейший труд! Шли и шли с боями… Раз ногу кичкой придавило…

— Чем придавило, деда? — Алёнка засмеялась — Деда, ты чего сказал? Такого слова не-ет!

— Кичкой, другими словами — телегой. На телеге пушка, а грязь, землю развезло от дождей, ну я не увернулся, нога заскользила и под колесо… Только кости захрустели.

— Так что, тебя в госпиталь, да?

— Како там госпиталь? Сел, замотал портянками, палку примотал там да и пошёл. Никому и не сказал. Сапогов не снимал. Ничо-о-о, всё срослось!

— Так ведь больно!

— Не до того было, шёл и шёл… Не мог я оставить свой батальон.

Когда отгремел праздник, разошлись гости, ночью дед никак не мог уснуть. Бродил в одном носке, пьяненький, бормотал стихи с мелодраматической интонацией, охал: «И скучно, и грустно, и некому руку подать / В минуту душевной невзгоды…».

В такие дни, как этот, в редкие мгновения душевного возбуждения он неожиданно цитировал заученные намертво со школьной скамьи стихи классиков, чем всегда поражал Александру.

— Охо-хо, охо-хо-хо-хо, ох, ох, — мрачно бубнил на разные лады. И совсем уж отчаянно, по слогам, декламировал, поскольку петь не умел: — «Майскими короткими но-чами, отгремев, закон-чились бои. Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои? — и громко, истошно, — Где же вы теперь… дру-у-зья- одно-полчане?!!»

Надсадно, как-то обиженно-горько кашлял.

Без слёз невозможно было видеть это со стороны.

Дочь хотела пожалеть его, помочь. Вошла в его комнату. На этажерке висел серый пиджак, ордена и медали сильно оттягивали его вниз. Новая белая рубашка и брюки валялись на полу. На столе, накрытом свежей скатертью, — свежие окурки. Аккуратно разложены подарки. Он сидел на кровати, опустив голову и свесив руки. Она присела на кровать.

— Давай поговорим? Что не спишь?

— Да так чё-то не спится.

— Корвалол дать?

— Не надо! Курить дай.

— Хватит тебе курить. Две пачки сегодня выкурил, ужас! — Саша вынула из кармана заранее припасённый простой крест на шнурке, всё не решалась об этом заговорить, и протянула ему.

— Знаешь что, лучше надень-ка крестик, я тебе купила — тебе легче станет.

— Отстань! Завела шарманку! — дед оттолкнул руку с крестиком, — Я жил безбожником, безбожником и умру! — и чуть тише, задумчиво, — жил нехристью, нехристью и умру, это тебе поможет, а мне — ни-и-и, — хмельно протянул он, — мне не поможет! Вот так. Всё. Иди. Спать буду.

6.

Под утро Александре приснился страшный сон. Ей снилось, будто она с группой людей спускается в бункер Сталина, который был построен специально в Самаре для ставки главнокомандующего на случай эвакуации из Москвы во время войны. В Самаре она недавно была в командировке. Медленно открываются бронированные двери, винтовая железная лестница уходит всё ниже и ниже, под землю, и кажется, ей нет конца. Гулким эхом отзываются осторожные шаги. Становится душно и темно, всё едва освещается каким-то тошнотворным зеленоватым светом. Некоторые туристы не выдерживают, возвращаются назад, кто-то падает в обморок.

Александра оказывается в кабинете Сталина… Длинный стол с зелёным сукном, огромная, во всю стену, карта СССР с направлением ударов, с расположением фронтов, много массивных стульев. Она стоит, смотрит, вроде как на экскурсии в преисподней. Всюду двери, двери, двери… Экскурсовод — странная чёрненькая волосатая маленькая женщина, с суетливыми движениями при каждом слове, полушёпотом, со свистящими звуками и придыханием повторяет: «Засекречены все сведения об этом объекте. Это очень секретный объект. Науке до сих пор неизвестно, был ли он здесь — *он*, Иосиф Виссарионович! О, Иосиф Виссарионович! Благодаря гениальной воле нашего генералиссимуса, благодаря мудрому руководству товарища Сталина советские войска неуклонно теснили фашистов — что мы видим на этой карте!».

Вдруг карта ожила. По всей её протяжённости Александра видит крошечные фигурки в серых шинелях, видит танки, взрывы, тонущие корабли, огромные массы бойцов, боевой техники. Реки и моря крови… На одном направлении — артиллерийские пушки, наши «Катюши» палят непрерывным огнём, летят самолёты с красными звёздами, бомбят фашистов, фашисты бегут и падают, падают, падают… На другом направлении — вроде, наши отступают…

А в это время экскурсовод с невероятным подобострастием игриво прибавляет: «Товарищи! Иосиф Виссарионович любил двери! Никто никогда не знал, что есть за какой двер-цею!

Не все-е дверцы настоящие, некоторые ложные… Он всегда появлялся из разных дверей! Это очень удобно! На случай, если возникала срочная необходимость обезвредить врага народа, врага уводили под конвоем в одну из дверей… Фокус

в том, что никто не знал, в какую, куда… Хи-хи-хи-хи-ха-ха!»

Александра стоит, опираясь рукой о стол, поражённая, разглядывает карту. Вон, вроде тот маленький молодой человечек, который кричит: «Огонь! Огонь!», напоминает отца… Увлечённая зрелищем, она не замечает, как остаётся совершенно одна. Куда же идти? В какую дверь? Где же выход?

О Господи! Вдруг Сталин открывает одну из дверей и оказывается -невероятно—рядом—вьявь!—со своими тараканьими усами, в пропахшей табаком шинели… Он угрожающе говорит с ярким грузинским акцентом:

— Александра Фёдоровна! Что ви сдесь делаэте? Кто пропустил?!! Пройдёмте!—И кладёт свою тёплую тяжёлую, словно каменную, лапу на её руку.

Мгновенно из-за шести дверей выскальзывают мужчины в чёрных кителях… Её подхватывают под локти и волокут… Раздаётся дьявольский шёпот: «Чуждый элемент, это чуждый элемент…»

Проснулась в холодном поту и лежала с полчаса:

«Где я? Дома ли я? Я ли это?

Дома. Я.

Но рука ещё тепла от прикосновенья…»

Быстро собралась и пошла в церковь. После ливня асфальт сверкал синевой. Небеса раскрылись и были слепяще-радостными. Неслись весёлые лёгкие облака, обгоняя тяжёлые, чёрные. Кудрявая травка, одуванчики, тюльпаны от тёплого ливня блистали тысячью огоньков, миллионами бриллиантов и трепетно тянулись к яркому утреннему солнцу. Всё живое выражало восторг. Этот блеск зелени, светящейся на солнце, движение воздуха, облаков в вышине и неподвижность, тишина на земле—это божественное состояние природы сопровождало её на пути в храм, где певчие пели: «Радуйся, Богородице, Господь с Тобою!».

В храме из высокого окна струилось тихое сияние, празднично потрескивали свечи, и водворилась тишина всех чувств, возникло полное растворение в молитве. Пришла к миру душа.

Настоятель храма, седой, пожилой архимандрит в серебристом воскресном облаченье в конце службы произнёс проповедь. В храме было многолюдно, до Саши доходили не все слова, но она старалась уловить каждое слово:

— Святые отцы Церкви наставляют нас: «Живи не по своей воле, а по воле Божьей и скоро узришь милость его». Что заключено в этих словах? Не надейтесь своею волею исправить мир, не просите у Господа конкретных благ, поскольку вы не всегда ведаете, что для вас Благо, надейтесь только на волю Божью.

А чтобы исполнить волю Божью, надо следовать одному основному закону—закону любви. На Страшном суде ни в чём, кроме недостатка любви, нас не будут обвинять.

— Отец Александр Ельчанинов указывал: «Всегда в жизни прав тот, кто опирается не на логику, не на здравый смысл, а тот, кто исходит из одного верховного закона—закона любви». Бесстрашны, не ведают страха те, кто испытывает всесовершенную любовь. Там, где любовь,—нет страха. Несмотря на несвободу физическую, социальную, политическую, человеку нужна только одна свобода—свобода духа, которой никому не отнять, свобода любить Творца и иметь только один страх—страх Божий, и никакой иной.

У каждого человека возникает в жизни вопрос, зачем вам жить завтра? Разве ради того, чтобы есть, пить, приобретать какие-то вещи?

Мы живём потому, что есть люди, которых мы хотим видеть завтра, с которыми мы хотим быть, которые нас любят и которых мы тоже хотим любить. Другой причины у нас и быть не может для желания жить, как то, что нас любят, и мы любим. Жизнь не престаёт, пока есть любовь!

Святой праведный Иоанн Кронштадтский учил: «Нужно любить всякого человека и в грехе и в позоре его: *не нужно смешивать человека—этот образ Божий* со злом, которое в нём».

— Мы отмечаем День Победы—чтим, тех, кто не щадя себя, жертвуя собой воевал за Отечество, за мир на земле, а сегодня уже слаб, немощен. Вчера они были героями, а сегодня—в большинстве своём больные, нуждающиеся в помощи и заботе, порой заброшенные, порой озлобленные, раздражительные, покинутые люди… Старый человек может быть нестерпимым, трудно может быть с ним… Если рядом с вами живёт одинокий старый человек, даже вам не родной—придите к нему, протяните ему руку помощи, помогите ему. Если вам что-нибудь неприятное или обидное говорит старый человек, то не слушайте, а просто ему помогите, со всем усердием, как больным, что бы они не делали и не сказали.

Все трудности происходят от недостатка любви—к Богу, и все трудности среди людей—от недостатка любви между нами. Если есть любовь—трудностей быть не может. Смысл всей жизни—в бесконечной, переливающейся через край любви.

Но что такое эта любовь? Архиепископ Иоанн Шаховской говорил: «Если сравнить душевную природную любовь со Христовой—благодатной и сверхъестественной, то первая узка, эгоистична, часто изменчива, граничит иногда с жестокостью, забвением Бога, и в конечных целях часто чувственна. Вторая—безгранично широка и самоотречённа, вечна, духовна, чиста и сильна».

Вот какова любовь Христова.

Учитесь любви Христовой, ищите её. Только любовию искупляется неисчислимое множество грехов! Творите любовь! И Вы узрите Царствие небесное.

Выйдя на воздух, Александра попала в цветущий вишнёвый сад. Ещё нигде деревья не цвели так, как здесь, в монастыре. Вишни стояли белые-белые, как одуванчики, а облака на ярко-голубом небе были словно цветущие вишни. И ей так было легко, так светло и радостно, что хотелось летать. Но было и что-то другое. Было горько от мыслей про деда, нестерпимо жаль его. Мало их, фронтовиков, осталось. Мало они видели радости в жизни. Вся жизнь тяжёлый труд… Обострённое чувство долга… Недосыпали, недоедали… И вдруг её пронзила мысль: «Да нет, ведь они счастливее

нас — по сути, они ближе к Богу, чем мы: ведь они воевали и погибали, и стояли насмерть — именно благодаря этой своей самоотречённой любви, которая оскудела в нас. Именно Любовь победила фашизм!».

7.

Пришёл август — время собирать плоды. За лето дед окреп, поправился, сильно загорел и стал таким, как прежде, до операции — крепким, дюжим. Летом в саду он ходил в старой, перекошенной соломенной шляпе, которая еле держалась на верёвке под подбородком, в синих плавках и в перевязанных шнурками расхлябанных сандалиях на босу ногу. Всё, что дед посадил: и кабачки, и помидоры, и огурцы, и свёкла, и капуста, и тыква, — уродилось на славу. Он был этим чрезвычайно горд. Ходил по огороду и твердил: «Ага, знай наших!»

В выходные дни Александра с удовольствием составляла ему компанию. Хлопотала в небольшом бревенчатом доме, где распахивала все окна, начинала мыть, убирать, готовить… В доме было прохладно, даже когда на улице стояла жара. Дед ей давал распоряжения — он тут был главным хозяином — обед готовить, самовар ставить, грядки полоть. Алёнке дозволялось баловаться: вместе с дедом они, веселясь и дурачась, высоко в небо разбрызгивали воду струёй из шланга и таким образом освежали яблони. Кидались яблоками и смеялись. У внучки была своя жёлтая леечка, из которой она старательно поливала грядки, когда дед разрешал.

Саша и Алёнка были в одинаковых цветастых сарафанах, сшитых из одной ткани.

В августе поднимали головы гладиолусы, георгины, астры.

В тёплый воскресный день взяли с собой кота, собрали продукты, Алёнка — игрушки, раскраски, карандаши, книжки, сели в машину и поехали. Утреннее солнце озорно подмигивало из-за деревьев, когда они мчались по шоссе.

Только высадились из машины, открыли дверь дома — кот стал носиться в траве, как оглашённый. Алёнка — за ним. Дед возмущённо заворчал, замахал руками:

— Уйди, уйди, идолище проклятое, грядки-то помнёшь!

— Мам, кот у нас молодой, не выбегался ещё! — звонким голосом, так, что все соседи услышали, возвестила Алёнка. Со стороны соседей послышался дружный смех…

Внезапно кот замер, слился с землёй, прижав уши: кого-то заприметил, начал выслеживать. На ярко-зелёной траве прекрасно выделялась его гладкая белая спинка с чёрными пятнами и чёрный пушистый хвост.

В зарослях кабачков и капусты прыгал зайчонок. Соседи закричали задорно: «Лови, лови его Алёнка, лови паразита, а то всю капусту сожрёт!». Алёнка охотно стала вместе с котом прыгать за зайчонком. Да куда там! Поди поймай его! Петляя, ускакал в сторону леса.

Низко между деревьев тяжело летела крупная, словно прилетевшая из сказки, птица с молочно-шоколадным бархатным брюшком, с длинным хвостом. Голова — рыжая, а над живыми шустрыми глазками к носу шла чёрная полоса. На хвосте белые полосы. Александра даже остановилась, чтобы получше разглядеть и показать её дочке. Дед тоже засмотрелся.

— Алёнушка, погляди, какая птица!

— Ах, — восторженно выдохнула Алёнка, — ой! Какая птицка!

Дед не выдержал, вскинулся:

— Ничо вы не знаете! Природу не знаете!

— А что?

— «Пти-ицка!». Да желна это!

Обед Саша накрыла в беседке на улице. Крепкий, с чесночком, терпкий борщ, салат, остро пахнущий свежестью только что сорванных овощей, приготовила из того, что было на грядках. Под конец заправила борщ душистыми веточками сельдерея, петрушки, кинзы, растёрла в пальцах и бросила горсть семян любистка, полила сметаной, которая таяла в тарелках, как снег, своими серебристыми блёстками превращая гущину тёмно-бордового борща с вкраплениями зелени — в розовую, с живописными разводами, палитру… Дед разжёг поленья для самовара, потянуло сладким дымком. Чай из самовара, заваренный в чайнике с петухом, с листьями малины, смородины, был особенно духовитен. На десерт подала малину в молоке, которую ели большими ложками. Когда Алёнка поднесла ложку с малиной ко рту и уже открыла рот, прямо в ложку слетела пчела и деловито заработала хоботком. Девчонка так и остолбенела с ложкой в руке, опасливо скосив глазки на нежданную гостью. Дед загоготал: «Гы-ы-ы… Вкуснятина, должно!» Саша замахала полотенцем, согнала пчелу.

Отобедав, дед отправился на покой — отдыхать в доме, Алёнка прилегла под яблоней на раскладушке и валялась, подняв ноги кверху и крутя ногами в воздухе, словно на велосипеде, — даже когда она лежала, ножки её бежали.

Переделав все дела, Александра тоже села отдохнуть на маленькую деревянную скамеечку под яблоней и замерла. Вишни в соседнем саду образовали прозрачный полог, золотистый в лучах солнца. Контур их тонких стволов был изящен. Она сидела так тихо, что стали слетаться птицы. Бабочки появились — белая, коричневая, почти чёрная. Рядом Алёнка нашла божью коровку и долго с ней играла. Саша вспомнила, что точно так же играла в детстве в саду у дедушки. С детства она любила эти безобидные и удивительные создания — красные на зелёной листве. Вдруг раскрывает свой твёрдый панцирь в белый горошек, а под ним показываются, словно фалды чёрного вечернего платья под красной мантией, тончайшие капроновые крылышки, и улетает.

Александра растворялась в природе, в тишине, в созерцании огромных основательных яблонь, резных кустиков смородины, травы, посвежевшей после полива, и завершающего всё неба с веером белых облаков.

Над головой на фоне серого лёгкого неба на пяти яблонях красовались яблоки — красные, зелёные, розовые, жёлтые. Яблоки в августе падают — шмяк, шмяк, — усыпали всю землю.

Александра прислонилась спиной к тёплому стволу и задремала. Ей привиделся белый светящийся силуэт. Дедушка шёл впереди и вёл её за собой. Увидела забор дедушкиного дома, калитка сама открылась, и Саша пошла за ним. Привиделся его сад, кадка с ледяной водой, медный ковш, дом, тепло брёвен…

Когда очнулась, заметила, что веточка яблони тянулась к небу так трогательно, каждый отросток был устремлён вверх так доверчиво, что ей подумалось: даже деревья полностью полагаются на волю Божью, и только человек, люди не знают её, все делают своевольно, вопреки ей, полагаясь только на себя.

Вдруг птицы начали быстро таиться по кустам. Саша присмотрелась: словно забеспокоились, моментально слились с листвой. Снова пролетела та большая, с коричневым брюшком, желна, несколько мелких синичек, ласточки заметались. Когда птицы схоронились, стало совсем тихо. Неслышно было ни людских голосов, ни собак, ни звуков машин. Казалось, что-то происходит в природе чрезвычайное.

Саша обратила внимание на то, что солнце постепенно уменьшалось на глазах, и сквозь затемнённые очки можно было видеть, как оно сереет и медленно убывает, перекрываясь луной. В нём появилась полукруглая тёмная выемка, и света вокруг стало заметно меньше. Ослепительно сиял золотом лишь тонкий серп, оставшийся от солнца и не заслонённый луной.

Началось солнечное затмение.

В саду слегка потемнело, словно в сумерках. Всё стало серым, бесцветным, контуры деревьев — туманными. Стало тревожно. Всё будто вымерло. Жизнь на мгновение остановилась…

Саша сжалась от нехорошего предчувствия. Подступила какая-то обида на жизнь, подкатили нежданные слёзы, чувство одиночества, ощущение богооставленности, покинутости и женской невысказанной тоски.

Это длилось недолго — всего около получаса. Никто и не заметил этого события. Всех сморил сон, а Александра сидела неподвижно, не могла ни пошевелиться, ни позвать, чтобы дед и Алёнка тоже увидели затмение…

Вскоре пошёл дождь.

Дед появился, сладко зевая, потягиваясь, и по-хозяйски оглядывая огород, заметил:

— Дождь — это хорошо, надо дождя. Вон, смотри, картофель-то обрадовался, а кабачки затаились.

Александра укрылась под яблоней, и ей не хотелось уходить. Дождь лил всё сильнее, крупные капли долбили землю с силой, а она прислонилась к дереву, трогала его рукой и отдыхала. Алёнка сгребла в охапку всё своё имущество, и её как сдуло в дом, только пятки сверкали, и косичка болталась из стороны в сторону. Из дома они с дедом звали: «Саша! Мама! Иди сюда! Промокнешь!».

По стволу гудели соки с огромной силой, наливая яблоки, и Александра чувствовала, что идёт гигантская работа в этом покрытом звёздочками лишайника сорокалетнем дереве. Его крона настолько мощна, великолепна, что дождь долго не проникал сквозь неё, и только когда всё вокруг промокло, капли стали просачиваться через листву и попадать на голову Саше, потекли по шее первые холодные струйки дождя, и она бросилась от дождя босиком по мокрой траве, держа шлёпанцы в руках.

Дождь трижды начинался и переставал. Вдруг всё темнело; мчалась туча, проливалась и так же стремительно убегала. Урчал гром. Мама распустила Алёнке волосы, чтобы просохли, и она, стоя на крылечке и подняв ладошки к дождю, верещала: «Дождь, не уходи, лейся, лейся, чтобы мы скорее уехали и успели на мультики!». А гром в ответ: «Бу-у-у м!». Глазёнки вытаращила, плечи прижала, притихла, смотрит. Снова: «Бу-у-у м!». Дед с Сашей переглянулись, заулыбались — и она звонко засмеялась.

Собрав под тёплым дождичком в большие корзины яблоки, снова кидались ими и хохотали. Когда наступали на яблоки, они хрустели под ногой.

Засобирались домой. Можно было умориться от смеха, глядя на деда. То он забыл, где положил носок, и долго, ругаясь, искал его, ходя в одной туфле по мокрой траве, другая нога босая. А нашёл… на подоконнике. Пришлось мыть ногу. То стал вытирать стёкла машины грязной тряпкой, размазывая грязь, и ещё больше их замарал. Потёр-потёр — успокоился. Завёл мотор — заметил, что протёр плохо. Стал снова перетирать. Всё это делалось с чрезвычайно сосредоточенным и серьёзным видом. На предложения помочь отмахивался: «Отстань. Сам буду!». Саша с Алёнкой весело смеялись над ним.

В последний момент обнаружили, что нет кота. Его видели после обеда, затем он куда-то исчез. Звали-звали: в ответ — тишина.

Когда сели в машину, решительно загудел мотор, покликали его снова. Неожиданно его совершенно счастливая белая морда с розовым носом и чёрными, словно очки, пятнами на глазах и на ушах показалась из слухового окна подвала. В зубах он крепко держал маленькую серую мышь.

Стали отнимать — еле отняли. Кот начал с ней играться, прятать её в кустах. Деду пришлось выйти и закопать её в землю. Алёнка рыдала.

На обратном пути дождь перешёл в шквалистый ливень — когда из машины не видно ни зги.

Конец света! Серая лава воды обрушивалась со всё новой силой на полное машин шоссе. Ехать было страшно. Потоки воды лились и сверху, и снизу, и видно было только фары машин впереди. Дед растерялся, разогнался и не догадался сбросить скорость и встать на обочине, как другие, и, спускаясь с горы, врезался посреди дороги в лёгкий грузовичок, который в толще воды не было видно, а скорость была, по обыкновению, велика, чтобы вовремя затормозить.

Стукнулись крепко, сцепились бамперами. К счастью, никто не пострадал. Жутко было стоять посередине узкого шоссе, заливаемыми со всех сторон дождём, и под жалобное мяуканье кота слушать, как матерился с дедом шофёр, и видеть и справа, и слева проплывающие мимо в воде, как океанские корабли, огромные фуры, бензовозы,

контейнеровозы, «Камазы», двухэтажные серебристые «Неопланы», между колёсами которых они застряли. В водяной мгле эти машины казались ещё больше, и они представлялись замурованным в машине Саше и Алёнке, огромными механическими чудовищами, каждое колесо которого было больше их, маленького, зелёненького, как лягушка, Запорожца.

Саша молилась.

Только въехали в город, и точно раздвинулись тяжёлые шторы — небо очистилось, и дождь вмиг прекратился. У деда дрожали руки.

В сентябре дед Фёдор пропал.

В тот роковой день небо было осколочным: клочками появлялась яркая голубизна, клочками — рваные облака, и ветер, хлещущий наотмашь, запутывал длинные плети желтеющих берёз в узлы.

С утра деду нездоровилось, но он, несмотря на запрет Александры, собрался на машине на картошку: «Отстань! Сам знаю!». Остановить его было невозможно. Картофельное поле находилось недалеко за городом, километров десять, в овражистом месте.

Потоптался-потоптался, покурил — поехал копать картошку.

Когда дед ушёл в гараж — заурчал гром, накатили медузоподобные, совсем низко плывущие над землёй грязновато-белёсые тучки, а за ними выше — медленно наползла угрожающая чёрная тьма. Небо меняло окраску: лиловое, чёрное, серое — всё ватное от влаги — прорезывалось электрическими вспышками. С балкона Саше было видно, как на сизо-чёрном небосводе во всю видимую высь разверзлась молния, которая, как пика или стрела, упёрлась прямо в дорогу, где текли с горы потоки огней — зажжённые фары машин.

«Я брал молнии в горсть», — вспомнила Александра слова песни. Силы небесные рвались в бой. Страшно, оглушительно гремел гром. Разразилась такая гроза, что падали деревья. Гроза бушевала до вечера.

Саша ничего хорошего не ждала…

Когда стало темнеть, дед не вернулся. Саша подняла соседей — сорокалетнюю супружескую пару, с которой дружила. Сначала отправились в гараж: бывало, он задерживался там допоздна. Нет его. Всё заперто, и никто его не видел.

Саша позвонила тёте Гале, чтобы та пришла и посидела с Алёнкой, — она жила близко. Как только крёстная села с Алёнкой у её постельки и стала читать книжку, Алёнка стала засыпать, Александра с соседями на их машине выехали на картофельное поле.

Стемнело. Ехали медленно, шоссе было сплошь мокрым. С трудом нашли нужный поворот.

После ярко освещённого шоссе в поле видимость была плохой: дорогу выхватывал из темноты только зыбкий, неуверенный свет фар. Скоро асфальт закончился, а дальше ехать было невозможно: земляную дорогу размыло. Пошли пешком, с фонариком, плохо ориентируясь. Ноги в резиновых сапогах расползались в грязи, которая хлюпала и квакала под каблуками. Примерно дойдя до нужного места, ничего не обнаружили, кроме огромных холодных луж, затопивших картофель. Долго безуспешно, безответно звали, кричали… Покружили-покружили — растерянные, стали возвращаться домой.

Обзвонили все клиники, милицию, ГАИ, МЧС. Информации нет. Заявление смогут принять только через три дня… Решили наутро самостоятельно продолжить поиск.

Тётя Галя сказала: «Приготовь чистое бельё». Саша достала дедову чистую майку, трусы, кальсоны, рубашку и невольно прижала их к лицу. Родной, прокуренный запах, который уже не выветривался никакой стиркой. Саша заплакала. Заснуть не смогла, зажгла свечку, молилась.

Ночью голубой лунный свет помечал поочерёдно то край белой кружевной салфетки на прикроватной тумбочке, то сиреневого мишку, который лежал с Алёнкой, то икону Спасителя на стене, и так же отрывочно память выхватывала из своих тёмных глубин то одно, то другое, связанное с отцом. Вспоминалось хорошее: как отец учил её рисовать, как, долго выбирая, покупали цветные карандаши в больших коробках, уложенные в них в три ряда, оттачивали их вместе, и горка с крошками грифелей и радужной стружки покрывала белый лист; покупали, также долго выбирая, альбом со специальной, мягкой, бумагой для рисования, и, всё подготовив, в один прекрасный день садились вместе за стол. Устанавливали натюрморт из посуды или игрушки, и отец учил её точно строить композицию, наносить штрихи, накладывать тени… Когда Саша становилась старше, переходили на акварельные краски, потом на масло. Он научился рисовать у своего дяди Якова — художника — и рисовал отлично. Сохранился портрет мамы, совсем молодой, ещё студентки, сделанный им карандашом и тушью. Особенно ему удался мягкий блеск её живых глаз и мягкие волны кудрей.

Учил плавать по правилам, по советам журнала «Охотник-рыболов». Сначала Саша лежала, вытянувшись стрелочкой на воде с закрытыми глазами, потом сворачивалась калачиком и, не дыша, кувыркалась в воде, как мячик, безвольно предаваясь невесомости. Саше было интересно, как под водой пузырьки воздуха окутывают её тело. Потом учил плыть, оттолкнувшись ногами от дна и, как ножницами, размахивая ими в воде, а руки вытянув стрелочкой, потом учил работать в воде руками… Алёнку она учила так же, по правилам, и дочка уже в шесть лет свободно плавала, как маленькая русалка.

Катались всей семьёй на коньках и на лыжах: совершали многокилометровые прогулки по заснеженному сказочному лесу далеко за городом, съезжали с высоких горок, так что дух захватывало! Сосны стоят, как стража из свиты деда Мороза.

Изредка по осени он даже брал её на охоту. Вместе с красным любимым сеттером Джеком выслеживали уток, Джек с лаем поднимал их из зарослей ивы и осоки, утки взлетали, дед стрелял… Пёс бросался в реку, хватал добычу и приносил к ногам хозяина. Потом отряхивался от воды,

и фонтан брызг накрывал всех. Дед привозил маме красивых уточек, куропаток,… однажды подстрелил красавца глухаря, а однажды вальдшнепа… Саше их было страшно жалко. Но с каким любопытством она трогала и рассматривала их пёстрые коричневые и зелёные пёрышки, их рыжие лапки, их блестящие головки.

Ездили с ночёвкой и на рыбалку всей семьёй и вместе удили рыбу, и сидели у костра, ели уху, пили обжигающий чай. Искры от костра уносились высоко в тёмное небо…

Вспоминала, как каждый день по вечерам читал ей вслух, с выражением, «Робинзона Крузо», когда она тяжело болела гриппом; как совсем маленькую, завёрнутую в полотенце, выносил на руках из ванной… Разве можно было всё это забыть!

Наутро, в 7 часов, Александра собрала спасательную бригаду: вчерашних соседей, ещё двоих друзей на машине—мужа и жену, тётю Галю, и провела заседание штаба. Решили обследовать всю местность в оврагах. Алёнка встала, тряхнула кудряшками вокруг лба, твёрдо заявила:

—Что вы тут причитаете! Я знаю. Деда найдётся!—и спокойно поела.

Выехали на то место, где начинался поворот на картофельное поле—и… увидели на дороге призрак! Весь в грязи, с размазанной по лицу кровью, оборванный, небритый—на лице торчат одни воспалённые бегающие глаза, трясущийся—на обочине стоит дед и голосует проезжающим машинам, но они проносятся мимо. У старика совершенно безумный, сверхъестественный вид. Развернулись, подъехали ближе, и Саша выскочила из машины: «Живой! Папа! Живой!», бросилась к нему, обняла… Подбородок у него дрожит, руки ходуном ходят.

Не попадая зуб на зуб, рассказывает. Доехал он хорошо, и стал выкапывать картошку. Там, на поле, не сразу пошёл дождь. Успел выкопать два мешка, когда началась гроза. Он пересидел грозу в машине, поел. Потом надел дождевик и под дождём продолжал пытаться копать, пока не понял, что стало совсем мокро и грязно. Было уже часов пять, когда он собрался ехать домой. Вокруг ещё кое-где были люди.

Снова пошёл ливень, дорогу развезло, и он не справился с управлением, машина заскользила, слегка съехала в ложбинку. Дед вышел из машины и пытался её вытолкнуть, но у него не хватало сил. Стал ждать людей. Но все спешили домой, быстрей-быстрей—и на шоссе.

Наконец, остановился такой же, как он, дед на велосипеде. «Друг, слушай, поезжай к дочке, я адрес дам, передай, что я застрял, или позвони ей, будь другом»,—дед Фёдор написал ему адрес и телефон. Постояли, покурили. Тот обещал.

Два здоровых парня на «Джипе» остановились: «Давай поможем». Дед обрадовался. Стали толкать машину—дед за рулём—ничего не получается, только ещё больше машина стронулась по склону в балку. Хотели прицепить на трос к джипу—оказалось, троса ни у кого нет. Непонятно, что там между ними произошло, возможно, дед на них и наорал, только они приказали: «Выйди, дед». Дед вышел, его попросили отойти подальше. Он отошёл. Вдруг они с силой раскачали его машину так, что она сползла по мокрой траве на дно оврага, и пока дед опомнился, моментально вытащили его сумочку с деньгами и документами, аптечку, приёмник—обчистили всё и, быстро поднявшись наверх, бросились к джипу. Дед за ними, цепко схватил одного за шиворот куртки сзади, так что ворот куртки поднялся, и придушил вора за горло. Другой тут же врезал кулаком деду по уху, потом по лицу, обматерив его, сгрёб и легонько столкнул в овраг. Пока старый вояка там валялся, из носа шла кровь, и он не мог подняться, дружки выволокли из багажника ещё и мешок картошки и умчались. В кошельке была вся его пенсия.

Он заплакал. Темнело. Однако фронтовая закалка выручила. Трезво взвесив всё, он решил ночевать там, в машине. Подумал: «Хорошо, не убили, и ладно». Пососал оставшийся в кармане валидол и на удивление крепко уснул, так что не слышал, когда его искали и звали.

Под утро он продрог, проголодался, вспомнил всё и, несчастный, вышел на шоссе.

Решили так: одна часть спасателей едет вызывать эвакуаторную машину и милицию. Дед наотрез отказался без своей машины возвращаться домой. Другая группа—остаётся с дедом.

Спустя час-полтора на шоссе под проливным дождём (на небе—битва при Ватерлоо), в сопровождении грома и молнии можно было наблюдать замечательную процессию, которая остановила всё движение на дороге: впереди ехал огромный тягач, за которым на прицепе тащился дедов «запорожец», за ними—след в след: одна машина Сашиных друзей, вторая. В «запорожце», крепко вцепившись в руль, сидел сам дед—никому не доверил свой транспорт, рядом его подстраховывал Сашин друг. А завершала этот восхитительный кортеж милицейская машина с мигалками.

Дома уже был накрыт стол. Тётя Галя хлопочет, даже пироги испекла. Дед помылся под горячим душем, надел то самое, приготовленное с вечера чистое бельё, переоделся, побрился и вышел, весь светящийся радостью. Алёнка прыгала, хлопала в ладоши, хвалила деда: «Деда, какой ты молодой, чистенький, хорошенький!». Все спасатели весело садились за стол, оживлённо вспоминая перипетии происшествия, подшучивали над дедом. Деду налили большой стакан водки.

В этот момент раздался телефонный звонок:

—Дочка, уж ты меня прости, старого дуралея. Беда! Твой батька-то на картошке! Забыл я, устал, приехал домой и заснул, а он просил тебя известить вчера-а… Уж помер поди… Ах я дурак!

Звонил, чуть не плача, сильно взволнованный тот старичок, который был вечером на велосипеде и обещал сообщить о происшествии. Только утром об этом вспомнил—извинялся: что поделаешь, мол, старческий склероз…

Все громко, с облегчением смеялись.

Саша тоже помылась, переоделась, вышла к столу. Ей хотелось расслабиться, хотелось кушать, выпить чаю, вместе со всеми за компанию порадоваться. Но неожиданно у неё подкосились

ноги, сильно закружилась голова и она чуть не упала. С ней никогда такого раньше не случалось.
— Что-то мне нехорошо. Вы кушайте без меня, а я, пожалуй, полежу немного.

Но выйти так и не смогла.

Пообедав, друзья потихоньку разошлись: у всех были свои дела. Александра тихо лежала в своей комнате, её не стали беспокоить: она заверила всех, что чувствует себя хорошо, просто устала. Дед лёг спать и быстро заснул. Алёнка смотрела телевизор.

Тётя Галя прибрала, помыла посуду и присела с Сашей.

— Ну, как ты?

— Ой, что-то мне совсем плохо, если честно,— ответила, тяжело дыша, Саша.

Тётя Галя открыла окно. За окном было картонное серое небо. Крёстная предположила, что у Саши поднялось давление, но, как назло, сломался аппарат, которым обычно деду измеряли давление. Вызвала скорую.

— У меня ноги мёрзнут, И-и-и руки немеют,— с дрожью в голосе сообщила Саша.— В глазах мушки, плохо вижу…

— Ну, полежи ещё,— тётя Галя потрогала пульс. Пульс был бешеный. Дико болела голова, её тошнило, стало трясти. Нашли корвалол, Саша выпила.

Через какое-то время почувствовала небольшое облегчение.

— Тётя Галя, вы идите домой,— Мне уже лучше. Я засну… Сейчас врач приедет.

Посидев ещё немного, крёстная засобиралась: её ждали дома.

— Ну, если что — звони, прибегу!

Саша попыталась встать. Однако, пройдя до двери, она чуть не потеряла сознание: потемнело в глазах, потом засверкали перед взором искры, выступил пот. Она упала навзничь на кровать.

Ноги становились ещё холоднее, стал колотить озноб. Позвала дочь. Алёнка бросилась в ванну, налила в таз горячей воды, приволокла и заставила маму опустить ноги в воду. Скорая всё не шла.

Алёнка растормошила деда. Дед, ещё не выспавшийся после бессонной ночи, ничего не мог понять. «Пойду покурю»,— тупо ответил и ушёл дымить в коридор.

Саше становилось всё хуже. Лёжа в полуобморочном стоянии, она шептала: «Господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй…»

— Деда, ты чё, мама умирает!— Алёнка схватила деда за руку, потащила в их комнату.

— Молитесь… «Отче наш»…— слабым голосом еле слышно попросила Александра.

— Да я не умею! Не буду! Не знаю я, сейчас покурю…— нелепо талдычил что-то дед, сам не зная что, пытался выйти, крутил в руках новую сигарету.

Алёнка увидела на тумбочке у мамы красную книжечку с распятием на обложке — «Молитвослов», дала ему. Дед засуетился, зашелестел страницами, руки дрожат, всё повторяет: «Сейчас, только покурю, сейчас покурю…». Нашёл. Открыл заложенную страницу, и вдруг: «Не могу, не вижу ничего, да не умею я! Всё расплывается в глазах… Пусти, пойду покурю…». Алёнка выхватила у него из рук молитвы, и строго приказала ему:

— Деда-а! Стой! Я буду читать — ты повторяй за мной!— и начала по слогам складывать, от всей души перекрестившись, знакомые слова,— От-че наш! Иже-е е-си на не-бе-сах!— и деду криком,— деда! Повторяй!

Дед, безвольно, испуганно глядя на Сашу, начал с запинками автоматом дудеть:

— Ну, Отче, ну, Ижи, ижи иси на небеси,— забормотал испуганно дед, потом зачесал нос и опять за своё,— нет, пойду покурю, потом…потом,— и повернулся, чтобы уйти.

— Деда-а!!! стой!— внучка схватила его за рукав и начала с начала, звонко, более бойко,— Отче наш! Иже еси на небеси! Да све-тит-ся имя Твоё!

— Да светится имя Твоё!— эхом отозвался дед.

— Да при-и-дет Цар-ствие Твоё!— Алёнка, стоя, крестилась и заворожено смотрела на икону Спасителя над маминой головой.

— Да при-идёт Цар-ствие Твоё!— Дед стал чесать одну руку другой, стал потирать ноги, почёсывать за ухом. Заволновался, заёрзал на стуле, даже рассерженно как-то сказал:— Ну, хватит, сейчас врач приедет!

— Деда, читай! Да бу-дет во-ля Тво-я и на земле, как на небе!

— Да будет воля твоя и на земле, как на небе!— дед зачесал затылок. Взмолился:— Пусти, покурю!— Саша лежала без движения, глаза закрыты, но, кажется, слушала.

Снова прошептала:

— Ну, пожалуйста, не уходи…

Дед более отчётливо, но бесчувственно, скороговоркой выдохнул все слова в одно слово:

— Дабудетволяиназемлекакнанебе!

— Хлеб наш на-су-щный даж нам днесь!— умоляюще, ещё звонче выговорила Алёнка.

Дед оживился, повторил более охотно:

— Хлеб наш насущный дай нам! Днесь!

За окном хлынул косой дождь, деревья вдали закачались от ветра, а вблизи стояли как вкопанные. И одновременно с дождём дед как-то обмяк, вспотел, у него сами собой, непроизвольно, увлажнились глаза, загудели ноги.

— И ос-та-ви нам дол-ги на-ши, яко же и мы остав-ля-ем дол-жни-кам на-шим!— ни Алёнка, ни дед не замечали, как дождь стал заливать окно, пол комнаты. Только сейчас до него дошло, что Саша лежала мёртвенно-бледная. Дед, словно очнувшись, выхватил у внучки книжечку и так же, как она, начал от души взывать:

— И не введи нас во иску-шение, но избави нас от лу-ка-во-го!— последние слова он почти выкрикнул и, неожиданно для самого себя, нежданно-негаданно, по-настоящему, навзрыд, заплакал и сильно закашлялся. Дождь переменил направление, пошёл прямо вертикально.

Дед, вытирая слёзы, посулил:

— Нет, Ей-богу, сейчас-сейчас, перекрещусь!— и испуганно, даже как-то пригнувшись, дед, не сразу сложив три пальца вместе и боязливо косясь на икону, медленно поднёс их ко лбу, затем к животу, после на правое плечо, и медленно, чётко, на левое.

У Саши вырвался вздох облегчения… Со словами молитвы, которые так неистово читала дочка,

а дед как мог возобновлял, вместе с дождём вошли в комнату свежесть, чистота, лёгкий воздух. На окне в этот самый момент распустился Сашин любимый нежно-розовый цветок на длинной ножке, его продолговатые, как у осоки, тонкие листочки слегка качались от шумевшего за окном ливня. Какая-то пружина разжалась внутри у неё, боль, напряжение постепенно отпускали. Она пошевелилась, снова глубоко вздохнула.

Алёнка уговаривала:

— Деда, читай, читай, деда, дальше!

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, *Боже!*

— Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже! — двумя голосами, старым и малым громко звучал речитатив.

— Господи, помилуй, Господи, помилуй! Хлеб наш насущный даждь нам днесь… Царю небесный, Утешителю, душе истины…Иже везде сый и вся исполняяй…

Горизонт стал на глазах очищаться, светлеть, дождь ещё всюду отвесно падал, но уже не так сильно. Появились на небе голубые бледные краски, стали проступать белые облака, которые постепенно становились золотистыми. Из-за ветвей вдали поднялось ослепительной белизны облако, которое росло и возвышалось, как вершина горы. Прозрачный светлый дождь уже моросил сквозь солнце. Туча клином отходила.

Пошатываясь, неуверенно опираясь на одну руку, потом на другую, Александра присела. Потом в одном порыве горячо обняла и трижды расцеловала дочку, обняла и поцеловала отца: «Вы ж мои хорошие, вы мои любимые…». Все трое, приникнув друг к другу головами, крепко обнялись и так оставались какое-то мгновение. Саша улыбнулась и сказала деду:

— Ну вот, теперь иди и кури!

Дед же смутился, ответил:

— Да чё-то не хочется… — и со смешанным чувством раскаяния и жадности покосился на пачку сигарет.

Когда часа через два приехала запоздавшая скорая, сверкало солнце, в доме царило настоящее веселье, дед в небывало приподнятом настроении включил радио на кухне и под бравурный марш самостоятельно готовил ужин. Алёнка в комнате ликующе, во весь голос пела, а Саша ещё лежала, но уже порозовевшая, спокойная, и вся сияла, слушая её пение:

Жизнь хороша, птички поют,
Травы все в росе,
И в каждой капле
Виден целый мир…

— На следующий день ранним утром, когда ещё все спали, дед уже без всякого колебания собрал свои стратегические запасы сигарет, выбросил их в мусорное ведро и самолично унёс на помойку, и даже плюнул вслед им. И больше он никогда не курил.

ДиН стихи

Александр Винничук

Как на гравюрах Хокусая

Я знаю, что в скрипках скрываются феи,
Я видел их тонкие белые крылья,
Я телом раскис, а душой не старею,
Хлебнув невзначай сладкий яд изобилья.

Я в вечность заброшен, как в море бутылка,
Я имя, которое жаждет прочтенья,
Я телом устал, что-то давит в затылке
Строкою неопытной стихотворенья.

Ветер муторных сельских окраин,
Что ты можешь, не в счёт сквозняки,
Дуй им в спину, слуга и хозяин,
Чтоб без боя сдавались враги.

Но, как свечи, оплавлены цели
Чёрным воском нависшей беды.
Я хочу лишь, чтоб сосны и ели
Голубели у быстрой воды.

На перламутровое небо
Упала сонная зарница
Жемчужинкой — седая капля —
В лучи закатного светила;

В преддверье чёрного Эреба
Всё, что потом в ночи приснится —
Заката солнечная пакля
В щелях небесного настила.

Три цвета: синий, жёлтый, красный —
Легли густым мазком на стёкла, —
Льняные дхармы прошлых жизней
Припоминать душа устала —

Ультрамариновая краска,
Цвет бирюзы и жёлтой охры —
По дню умолкнувшему тризна,
Как на гравюрах Хокусая…

Александр Величанский

Под музыку Вивальди

Пустыня. Люди в разных позах
лежат: затерянный народ.
Заутра снова, словно посох,
песок змеится: вновь вперёд.
И сколько лет сей сон кошмарный
не прерывается нигде:
песок мы называем манной,
привыкли к каменной воде.

Человек — лишь состоянье,
а не сущность. Так и ты:
как сияло глаз сиянье,
как лучилися черты…
Не дай Бог узнать нас скоро,
что таит души краса
в глубине колодца-взора,
за околицей лица.

Вечернею зарёю
мир сделался опять.
Меж жизнью и собою
легко ли выбирать?

Ты, словно жребий, выпал,
а мнится, словно роль…
Бог создал боль и выбор:
иль выбор или боль.

А истина? — а истина —
не лабиринт крота —
как нагота, таинственна,
проста, как нагота —
она умом незрячим
окутывает нас,
мы ж прячем её, прячем…
но как-то напоказ.

Зимы белый свет.
Беспутная высь.
Как волки — след в след —
и днесь и надысь
идут глухо, слепо,
а оттепель слов:
посмертные слепки
застывших следов.

Под музыку Вивальди,
Вивальди! Вивальди!
под музыку Вивальди,
под вьюгу за окном,
печалиться давайте,
давайте! давайте!
печалиться давайте
об этом и о том.

Вы слышите, как жалко,
как жалко, как жалко!
вы слышите, как жалко
и безнадёжно как!
Заплакали сеньоры,
их жёны и служанки,
собаки на лежанках
и дети на руках.

И всем нам стало ясно,
так ясно! Так ясно!
что на дворе ненастно,
как на сердце у нас,
что жизнь была напрасна,
что жизнь была прекрасна,
что все мы будем счастливы
когда-нибудь, Бог даст.

И только ты молчала,
молчала… молчала.
И головой качала
любви печальной в такт.
А после говорила:
поставьте всё сначала!
Мы всё начнём сначала,
любимый мой… Итак,

под музыку Вивальди,
Вивальди! Вивальди!
под музыку Вивальди,
под славный клавесин,
под скрипок переливы
и вьюги завыванье
условимся друг друга
любить что было сил.

Понуро, обречённо
уходит навсегда
измученная чёрная
рожалая вода
из голубого пыла
в свой беспросветный прах,
и что же это было,
я не пойму никак.

Лариса Дегтярёва

На маленьком холсте

На маленьком холсте,
где места нет деталям мелким,
и некуда упасть мазкам густым,
поблекли тени,
и цвета померкли,
другая женщина…
Её глаза грустны.
Её глаза на маленьком холсте
излишне велики
и тяжелы излишне.
Тебе не кажется, что ей не до гостей?
Тем более до нас—
Незнамых, пришлых…

До тех, кто из-за пыльного стекла
пытается узнать её секреты…
Её на дальнем плане ждут дела—
последние штрихи к её портрету.

Посвящение кукушке в часах

1.

В доме твоём темнота и тишь.
Тишина и тьма.
Стой!
Куда же ты полетишь…
В других домах

слишком светлых
просторных слишком
охватит страх,
что никто о тебе не вспомнит
в своих стихах.

2.

Часы не врут. Всего лишь полчаса
осталось до весны. Кукушка хлопнет дверью,
уйдёт в глубины времени, где верно
и бед, и радостей отмерит без числа.

Нисколько не оставит на потом,
а сразу—через край и без остатка
всё выплеснет—и горьких дней, и сладких,
и одарит нежнейшим шепотком

листвы. И благодарности взамен
не дожидаясь, снова хлопнет дверью.
И там, в глубинах вечности, наверно,
закроет веки прожитой зиме.

3.

Не снишься мне… Не стыдно? Не прошу
я милости иной, всего—приснись мне.
Кукушка не запнётся, голос не понизит,
над временем не бросит ворожбу.

Скомандует: «Ку-ку!», и новый час
куда-то поползёт по циферблату.
И сколько ни зови его обратно,
он, маленькую стрелку волоча,

хромая, медленно сползая вниз,
пойдёт просить кукушку: «Покажись мне!»
Как я, кому-то предложив полжизни,
прошу тебя: «Пожалуйста, приснись!»

4.

Скажи всем птицам, прилетевшим с юга,
что было нелегко,
что время только бегало по кругу,
но больше не лечило никого…

Как ветер и рывками, и толчками
усиливая стрелок беготню,
просился в дом… И ты его встречала
двенадцать раз на дню…

Как только он, вздыхая, затихая,
под крылышком твоим уснул в тепле,
то женщина неровными стихами
писала о тебе…

Я где-то здесь, я рядом, под рукою…
Но знай—как только я глаза закрою—
я окажусь за тридевять земель…

Воздушный замок в царстве тридевятом.
Обычные дела—и без тебя там
мир катится, как водится, к зиме.

По звёздной россыпи опавшим жёлтым листьям
подобной, чтобы вовсе удалиться
за пелену дождя, за облака.

Но помни—где-то здесь одно из самых
любимых мест моих—один воздушный замок.
Он мне дороже, чем твоя рука…

Одиссею

1.

Вот волокно, веретено и прясло…
Не верится, что кто-то может праздно
сидеть, смотреть в окно…

Предпочитаю прясть. Надежда крепнет—
ты возвращаешься, пока я гребнем
расчёсываю волокно.

Горит очаг. Но гаснут все надежды.
А ты идёшь так долго, так неспешно.
Ночь близится к утру…

Я прячу и веретено, и прясло.
Ведь я боюсь—покажется напрасным
тебе мой труд.

2.

Ах, Одиссей, я не умею ткать,
поэтому ко мне не возвращайся.
Но признаю—сочла бы я за счастье—
выуживать из нового мотка

льняную нить, и провожать уток
сквозь нити, словно плектр по струнам лиры,
покуда ты не обойдёшь полмира,
чтоб возвратиться лет так через сто…

Надеюсь, что сквозь ниточки дождя
ко мне идёшь ты, как уток сквозь нити.

Ах, не забыть к утру бы распустить их!
Но, Одиссей, я не умею ждать…

ДиН перевод

Венди Коуп

Беспокойство

Перевод с английского Натальи Крофтс

После обеда

Простившись с тобою, иду через мост,
И дует в лицо мне промозглый норд-ост.
Лицо вытираю платочком из льна—
Стараясь не думать, что я влюблена.

Идя через мост, повторяю одно:
«Всё это—пустяк. Просто флирт и вино».
Но мудрый шарманщик, живущий в груди,
Мне что-то другое упрямо твердит.

Иду через мост. Я хочу танцевать!
«Не будь идиоткой!»—«Да мне наплевать!»
И слышу: в груди—просто топот коней!
Как ум ни старайся, а сердце—главней.

Беспокойство

Я волнуюсь за тебя.
Мы так долго не встречались.
Ты—один? Всегда печален?
Без меня ты вне себя?

Я волнуюсь. Сон нейдёт.
Всё гадаю: как ты, бедный?
Неприкаянный и бледный?
Иль—совсем наоборот?

Беспокойство—острый нож!
Говорят, мужчинам тоже
Боль разлуки сердце гложет.
Боже, как меня тревожит
Мысль, что, может, это—ложь!

Два средства от любви

1. Не пиши ему писем. Избегай его взгляда.
2. Но есть способ попроще: поживи-ка с ним рядом.

Ещё один новогодний стишок

Опять проклятый Новый год настал.
Давайте ж выпьем—за любовь повсюду,
За мир, чтоб счастлив был и стар, и мал!
И пусть мужчины вымоют посуду!

Потеря

Я помню день ухода твоего,
Как страшный сон. Мороз бежит по коже!
Что ты ушёл—так это ничего,
Но ведь с тобой ушёл и штопор тоже!

Ещё немного стишков

А надо жить. Начнёшь читать.
Идёшь к психологу опять.
Меняешь стрижку и духи.
Кропаешь прозу и стихи.
Не куришь. Бегаешь. Не пьёшь.
Ужасно правильно живёшь.
Но всё впустую. Боль в висках.
И жизнь—зелёная тоска.
Ты хочешь сесть и тихо выть.
И всё же, как-то надо жить.

Утрёшь глаза—и вид на «ять».
Идёшь к психологу опять.
Находишь «принца» своего
И что-то лепишь из него.
Но всё впустую. Боль в висках.
И жизнь—зелёная тоска.
Сидишь и воешь. Бьёшь духи.
Всё время ешь. Строчишь стихи,
Вовсю стараясь не курить.
И всё же, как-то надо жить.

Александр Кердан

Перекрёсток

Всю ночь шёл снег, неспешный, величавый,
Как взгляд зимы—царицы этих мест.
И тополя в окне, и купол—справа,
И в свете фонарей над ним маячил крест.

Всё это—Томск, где мой ночлег случайный,
Где ночь, как век, казалась мне, длинна,
Где лишь зима—прекрасная, как тайна,
Со мной стояла тихо у окна.

И я молчал. И было слов не надо.
По мановенью царственной руки
Маячил крест и хлопья снегопада
Слетались на огонь, как мотыльки…

Дачный посёлок и солнце в зените,
Пташки порхают, звенят на весу.
Перед тобою—стакан земляники:
Мама её собирала в лесу.

Чтобы—по ягодке, сладкой, пахучей—
Цену любви ты распробовать смог,
Самоотверженной, лучшей из лучших:
Только расти поскорее, сынок!

Только запомни минуту простую,
В сердце её сохрани навсегда:
Глядя, как ты землянику смакуешь,
Мама так счастлива и молода…

Анамнез

В только что захваченной траншее
Старшина раздал боезапас…
Ты сидишь с царапиной на шее,
Ты живым остался в этот раз.

Как стервятник кружит в небе «рама»,
Тявкает немецкий пулемёт…
Пьёшь свои положенные граммы
И не знаешь, что наутро ждёт.

Может, пуля-дура, как хозяйка,
В грудь ударит жёстко, на убой,
И твою наркомовскую пайку
Будет так же молча пить другой.

Иль иначе—оберегом древним
Отведёт судьба на фронте смерть,
Начертав потом в родной деревне
От горячки белой умереть…

Вспыхнула ночная тишина
Перед днём Христова вознесенья—
Факельное шествие сирени
В городе устроила весна.

Гулом распустившихся соцветий
Напитался быстрокрылый ветер,
Ароматом улица полна…

И душа, подобно ветке тонкой,
Силой переполненная звонкой,
К небесам сквозным устремлена.

Первопроходцы

Анатолию Омельчуку

Через прихожую Сибири
Рванули смело на восток:
Своё ещё не долюбили—
Уже в чужом познали толк.

Чтоб жилы рвать, вгрызаясь в жилы
Заморского материка,
Не ради призрачной наживы
След оставляли на века
На скалах сумрачной Аляски,
В могучих брёвнах форта Росс,
Чтоб сочинять об этом сказки
Потомкам дальним довелось…

Чтоб прорастала русским словом
Американская земля,
Россия вновь шагнуть готова
От стен Тобольского кремля.

Перекрёсток

Бежит мальчишка, а навстречу
Ему едва бредёт старик…
Сойдутся, как рассвет и вечер,
И разойдутся в тот же миг.

А я—сторонний наблюдатель—
Стою, их встречею задет:
В душе—мальчишка и мечтатель,
Хоть за спиной полсотни лет.

Стою, на опыт не в обиде
И не в претензии к судьбе,
Как будто миг назад увидел
Себя, бегущего к себе.

Лебединая песня зимы
Острым клином врезается в лето.
Солнце, цвета лежалой хурмы,
Плавит снег непонятного цвета.

Скоро будет теплей и светлей
И природа—щедрей на подарки.
Мы увидим опять лебедей
На пруду в нашем стареньком парке.

И о вкусе бакинской хурмы,
О метелях, стучащих в окошко,
Станем мы до грядущей зимы
Каждый день забывать понемножку,

Наблюдая, как птицы плывут,
Изогнув горделивые шеи…
Только летом они не поют,
До разлук свои песни лелея.

Челнок

Памяти А. Н. Маурова

На этом диком берегу
Я обрастаю мхом,
Забыть хочу, да не могу,
Что звался челноком.

Что свежий ветер наполнял
Мой парус молодой,
Что не страшил девятый вал
И ураган седой…

Ещё я помню: южный порт,
Невесту рыбака—
Как нежно гладила мой борт
Красавицы рука.

И страстный шёпот, томный вздох
Летели над волной…
Теперь один зелёный мох
Беседует со мной.

О том, что жизнь почти прошла,
Что умер мой рыбак.
Его жена с ума сошла,
Повадилась в кабак.

Она трухлявее, чем пень,
Морщинистей волны…
И никому на этот день
Мы в мире не нужны.

У памяти недолог срок,
У счастья норов крут…
И с борта ветер и песок
Название сотрут.

Чтоб позабыл я имя той,
Что в свой последний час
Придёт погладить остов мой
Ещё хотя бы раз…

На Аляске

Пялятся тотемы рода Ворона,
Над покатой крышею жилья.
Стайки звёзд шарахаются в стороны,
Словно испугавшись воронья.

Мхом поросший лес хранит молчание
О давнишнем споре—кто кого…
Об открытьях, сделанных датчанином,
А вернее, вовсе без него.

О простых, с мужицкою ухваткою,
Людях, что пришли издалека,
Распрощавшись с Курском, Тотьмой, Вяткою,
Да вот здесь оставшись на века—

В золоте крестов на колоколенках,
В именах, что носят острова—
Русским духом, самой малой толикой,
Что ещё в Америке жива.

Горькая, уже не знаменитая,
Но родная—тем и дорога—
Наша кровь, как ветвь, к дичку привитая,
Пропитала эти берега

Навсегда. И эту память жгучую
Чёрный ворон чутко стережёт,
Словно сон, что радует и мучает,
И забыть легенду не даёт.

Рядовой

Ах, как землица неровна…
Неровности землицы
Любить заставила война,
Чтоб мог солдат укрыться.

Любая ямка, бугорок—
Спасение от пули.
И, крепко заучив урок,
Солдат живым остаться смог
В сорок втором, в июле.

Вжимался плотно в землю он,
Мечтая слиться с нею.
И был Победой награждён—
Стирал портянки в Шпрее.

И вот—землёй навеки стал,
Привнёс в родной суглинок
Своих осколков драгметалл,
Полученный в Берлине.

Да прах, что прорастёт травой,
Да память, что нетленна…
Итог, как будто рядовой,
В судьбе обыкновенной.

Валерий Скобло

Шаг вперёд

Я дышу неровно и с присвистом
И Твоё дыханье слышу рядом.
Боже, я хочу быть атеистом
Под Твоим, меня пронзившим, взглядом.

Столько раз душа моя немела,
Что не ищет больше оправданья,
Попадая в рамочку прицела
Поля Твоего бомбометанья.

Так судьба с чужою страстью слита,
Что шепчу, свыкаясь с этой болью:
«Я люблю, люблю тебя, Лолита!»—
Жизни, распинаемой Тобою.

Но отдал бы все богатства мира
За мгновенье—в шутовском полупоклоне
Вновь мелькнуть в скрещенье ниточек визира
На Твоём бескрайнем полигоне.

«И все эти звёзды затем лишь явил
Господь наш, премудр и пречист…»—
Он начал, а дальше продолжить не смог,
Поскольку он был атеист.

И долго с печалью и страхом глядел
В прекрасную звёздную тьму,
Пытаясь проникнуть: зачем? почему?—
И не было ясно ему.

И каждая точка, пылинка в ночи
На бархатной тверди небес
Имела своё назначенье и смысл,
Размер, положенье и вес.

В гармонию мерно вращавшихся сфер,
Столь явственно видных ему,
Вперял он, тоскуя, взыскующий взор
И верить не мог ничему.

От этой загадки он взгляд отвести
Пытался—и не было сил…
А все эти звёзды лишь только затем
Господь своим чадам явил…

—Непосильна мне ноша земная…
—Что ж… небесную выбери ты—
Облаками насквозь прорастая,
Поднимаясь всё выше и тая,
Средь надземной глухой пустоты…
…Там, где лестница вьётся крутая
Неподъёмной уже правоты.

Кодекс Бусидо

Коле и Пете

Я часто рвал судьбы своей нить
И душу свою не берёг,
Но помнил: не знаете, как поступить,
Сделайте шаг вперёд.

Бывал я слаб и талантом мал,
И лил на царапину йод,
Но если, как поступить, не знал,
Я делал свой шаг вперёд.

Бывало—этого мне не забыть—
И отступал в свой черёд,
Но, если не знал, как же мне быть,
Старался шагнуть вперёд.

Советчиков будет—просто беда,
И каждый второй соврёт,
Но, если туго станет, тогда
Я сделаю шаг вперёд,

Губу закусив и собравшись весь,
Превозмогая свой страх…
Даже в последней победе здесь
Я вспомню про тлен и прах.

Да уж, что точно, мы прах земной,
Извилист и путан наш путь,
Но, несмотря на мороз и зной,
Мы можем вперёд шагнуть.

Ребята, вам ещё жить и жить
И как, бог его разберёт,
Но, если не знаете, как поступить,
Делайте шаг вперёд.

Мы так долго жили мирно,
Что забыли запах крови,
Сладковатый запах смерти…
Он совсем почти зачах.
Я-то помню: было дело,
Вволю, сладко повалялся,
На казённых, на больничных,
Серых, мятых простынях.

…Он уже окреп, отъелся,
Разжирел на мертвечине,
Ходит где-то за рекою
И высматривает мост…
Может быть, всего и надо:
Увидать врага в прицеле,
Автомат на землю бросить
И подняться в полный рост.

***

На деревья легла серебристая мгла,
Звёзды в небе всё глубже…
Сквозь чужое окно вижу плоскость стола,
И мерцанье фарфора, и блеск хрусталя,
И «Особую» тут же.

Вижу, как возле мужа хлопочет жена,
Режет студень на части.
И во мне точно рвётся со стоном струна…
Я спрошу без улыбки Бог знает кого:
«Это счастье?»

Озари меня, Господи, правдой своей,
Ты способен на чудо.
О, как зябко под светом Твоих фонарей,
Я не знаю, как жить и за что умереть,
Нынче, вправду, мне худо.

Длани в небо вперяю и слышу ответ,
Но не сверху, а сзади:
«Проходи, человек без особых примет,
Не скопляйся в участке, доверенном мне,
Что тут жмёшься к ограде?»

Это сторож порядка возник изо тьмы,
И колышутся ветки…
Мне ещё пережить приближенье зимы,
Мне ещё в подворотнях стоять на ветру
У судьбы на заметке.

***

Жить умом ни за что не хотят—
Только верой, влеченьем, недугом…
Вот и топят, как малых котят,
Потешаясь предсмертным испугом.

Ни своим, ни чужим… Боже мой!
Утешаясь судьбою безликой…
Что за рок над великой страной?
Ведь без всяческих скидок—великой.

Но ценою… Какою ценой…
И какой неподъёмной виною…
Лучше, вправду, пройти стороной,
Чем попасть в этот ливень стеною.

Только капли дождя на лице,
Только градинки этого града…
С этим поздним прозреньем в конце,
С этим криком прощальным: Не надо!..

***

Давай попытаемся жить дальше
С твёрдым знаньем, чего мы стоим.
Как писал я когда-то раньше:
Жить без иллюзий—дело простое.

Давай вернёмся к своим истокам,
Чистому взгляду, первой надежде…
Ни ты, ни я не знаем срока,
Начнём сначала… житьё, как прежде.

Шагнуть непросто в такое завтра,
Рискнуть накопленным за эти годы,
Где ты уже не герой, не автор…
А то, что было,—лишь эпизоды.

***

О жизни, о смерти и так… ни о чём—
О чём ещё может поэт?
О лире и лаврах, добытых мечом,
В течение прожитых лет.

О подвигах, славе и прочей фигне…
Конечно, ещё о любви,
Ещё—о загубленном суетном дне,
Ведь, как говорят, «се ля ви».

О лжи и предательстве, всякой муре,
Набившейся в стих между строк.
Но, в общем, о жизни, об этом ковре,
Где смерть—это только уток.

О глупостях всяческих вроде весны,
О тяжести каменных плит,
О том, что сбываются вещие сны,
И это добра не сулит.

О том, что поэт умирает в стихе,
О том, как тревожно ему,
О жизни, о смерти—смешной чепухе,
Не нужной уже никому.

***

Смотришь с жалостью и укоризной
На меня… словно вот убегу…
У меня всё в порядке с Отчизной:
Перед ней и тобой не в долгу.

А глядишь, как бы даже в испуге…
Не держу я в руках пистолет.
Ни от Родины, ни от подруги
Не гуляю… по старости лет.

Впрочем, даже и этого мало,
Знаю, что ты имеешь в виду:
Вот, мол, гречка в продаже пропала,
Скоро, видно, и я пропаду.

Жестокий романс

Говорю, следом ты, дальше снова я…
Обжитой, нас не слышащий дом.
Кухня, стопки и водка «Перцовая»,
Полузимний пейзаж за окном.

Вечер к полночи клонится медленно,
Заметает позёмка кусты.
Об оставшемся, что нам отмерено,
Говоришь, следом я, снова ты…

В нашей участи всё обозначено,
Никакой не предвидится крен.
В ней, оплаканной, прожитой начерно,
Трудно нам ожидать перемен.

Одиноко душе, неприкаянно—
Ничего не поделаешь тут.
Помянут наши жёны, рыдая, нас—
Или так… облегчённо вздохнут?

Остаётся под водочку вечную,
Собирая морщины на лбу,
Заговаривать муку сердечную
И глухую старуху-судьбу.

Людмила Гайдукова

На окраине жизни

Микрорайончик серенький,
куст облетает чахленький,
и старичочек седенький
по улице идёт.

Мой городочек миленький,—
полжизни тобой съедено,—
давай, что ли, по маленькой,
пока там дождик льёт?

Я выпорхну из тёмного
подъездного пространства,
увижу, непременно,
два мусорных бачка,

и ухнет тело в тёплые
антициклона массы,
а в небе—переменные
гуляют облачка.

В местечке неположенном
пересеку я трассу,
и двину к переправе
я—к берегу реки.

А трасса так проложена—
кладбище слева сразу,
родильный дом—направо,
и вдоль мне—не с руки.

Налево—рановато,
Направо—поздновато.
Но я не виновата.
Никто не виноват…

Ах ты, глупая птичка!—
как взметнулась высоко—
крылышкам невелички
так губительна высь.

Там, в небесных потоках
кружат сильные птицы,
хлад и бездна—жестоки,
птичка, не горячись.

Прощебечешь, я знаю,
что чем выше, тем слаще,
что чем выше, тем легче,
нарезать виражи.

Радуга коромыслом
семилучьем зависла
Может, нет в этом смысла.
Ну, а в чём он, скажи?

После последнего дождя помыть окно,
смахнуть с карниза сосульки скудных слёз
утешившейся осени, ушедшей боли.
И наблюдать,—как вьюга белит полотно
у школы на пустующем футбольном поле,
и на стекле выводит иероглифы мороз.

И, неминуемо, наш городок зима
возьмёт на долгий срок в свою осаду,
и станет сатанеть и свиту насылать
на наледь улицы, на сонный сквер, дома,
нашёптывая—спать!—и снегом засыпать—
до крыши, до макушки—ракушку эстрады.

Такого цвета только в октябре
над головой несутся облака.
За это я ручаюсь, как свидетель.
В междусезоние жемчужный полубред
уже не осени и не зимы, пока…
И непогода-ключница—радетель

прихода новой власти вьюг—
брать будет населенье на испуг
похолоданьем резким и ночами
позванивать, по-воровски, ключами.

Автобус плавно огибает речку Кан.
Взглянув на небо из автобусных окон,
я загрущу, как городской реликт
о недоступности далёких стран,—
здесь жизнь моя поставлена на кон.
И серый свиток подтверждает сей вердикт.

Памяти Славы Зубкова (Глюка)

Сон на личной окраине жизни—
беспокоен, прерывист, мятежен.
Пояса часовые отчизны
ночь на части и порции режут.

Спят соседи по меридиану,—
современники, соминутники—
под мерцание телеэкранов.
По небу чиркают спутники.

Вдруг почудится чьё-то надрывное
о неведомом облаке-рае.
Будто пенье в окошко открытое.
Может где-то поэт умирает?..

Анастасия Астафьева

Грустника

Предисловие

«Грустника»… Не правда ли, чудное название! Оно пришло ко мне из детства. Как рассказывала мама, двухлетней крохой она уже брала меня с собой в лес. Стелила на землю еловые лапы, на них — куртку, а сверху сажала меня. Она собирала ягоды неподалёку, следила, чтобы я не утопала куда-нибудь. Но высокие, усыпанные тёмно-синими ягодами кусты черники, что росли вокруг насиженного места, привлекали меня куда больше. Даже комары и мухи, неустанно кружащие около, казались лишь забавой, а пропитанный солнечными лучами сосновый бор виделся большим светлым домом. Насобиравшись ягод, мама находила свою дочь, упичканную черничным соком, сонно уткнувшуюся в курточку. Отдохнув немного рядом, она будила меня, и мы неторопливо шли к деревне…

А как-то вместо сладкой черники мама протянула мне на ладони горсть некрупных бордовых ягод. Я попробовала и сморщилась от кисели.

— Бру-сни-ка, — сказала мама, смеясь.

— Грустника, — повторила я.

И каким неожиданно точным оказался этот неосознанный детский каламбур. Созревает брусника в самом конце лета, когда начинает желтиться лист на берёзе, когда всё реже и скромнее поют лесные пичужки, когда воздух становится как будто более прозрачным, а небо — высоким и ясным. Кисло-сладкий, с неотразимой терпкой горчинкой, вкус этой ягоды навевает светлую осеннюю грусть. Кажется, что в нём соединились все оттенки приближающейся осени: её пряные пьянящие ароматы, её затяжные холодные дожди, её редкие солнечные дни, которые радуют как целое, вновь дарованное лето, её длинные, тёмные ночи, её знобящие утренники…

Так, мне кажется, и маленькие рассказы, этюды, простые наблюдения за жизнью, собранные под этим обобщающим названием, соединяют в себе все оттенки нашего земного бытия: печаль и радость, стыд и откровение, обиду и примирение, боль и наслаждение, рождение и умирание.

Как каждый человек проживает свою жизнь, всегда являясь первооткрывателем того, что до него уже открыто миллионами, так и я смотрю на мир со своей точки, вижу и осознаю его по-своему. И мне, словно ребёнку, хочется поскорее поделиться с вами всем увиденным, тем, что удивляло, поражало, разочаровывало, примиряло с жизнью.

Россыпью невиданных ягод, горстями «грустники» щедро угощаю вас. Какова-то она на вкус? Дозрела ли?

Анастасия Астафьева

Тревога

Пока реклама с экрана телевизора навязывала зрителям разные товары, Ольга успела расправить сыну постель, проследить, чтобы он сделал все необходимые на ночь дела. Уложив, она ласково погладила его по мягким волосёнкам:

— Смотри «спокойной ночи», а потом — спать.

Сын крепко закутался в одеяло и уставился полусонным взором в телевизор.

Ольга подошла к окну, чтобы задёрнуть штору. Весь день капал мелкий нудный дождь, но к вечеру небо прояснилось, закатное солнце подрумянило городской пейзаж, и следующий день обещал быть тёплым и уютным.

Под окном остановились две милицейские машины, постояли с мгновение, а затем быстро уехали.

Сквозь шум льющейся воды и бряканье моющихся тарелок она слышала, как Хрюша со Степашкой рассказывали её сыну приторно-глупую историю, и Ольге подумалось, что под неё невозможно не уснуть.

На душе было легко и чисто, будто вымыто дождём. Она давно не испытывала такого счастливого состояния. Видимо, это оттого, что прояснилась погода, а завтра вернётся из командировки муж, и они всей семьёй поедут в деревню к её матери. Там, в деревне, она по-настоящему могла расслабиться и отдохнуть, а грядки и сенокос — это не работа, праздник…

В прихожей запиликал звонок. Ольга удивлённо взглянула на часы — поздновато для гостей.

На площадке стоял молодой, почти мальчишечка, милиционер:

— Срочно, в течение получаса, прибыть с тревожным пакетом на Советский проспект, семьдесят пять, — он говорил очень чётко и серьёзно.

— Простите, не поняла, — смутилась хозяйка.

— Тревога, — также чётко сказал милиционер, — сборный пункт на Советском проспекте, в здании РОВД. Прибыть нужно не позднее двадцати двух часов.

Что-то вдруг больно дёрнулось внутри у Ольги, и она почувствовала, как по рукам побежали мурашки.

— Да, конечно… но что случилось? Что потом? Повезут куда-то?

— Все распоряжения на месте, — милиционер уже начал спускаться по лестнице.

— Постойте, что нужно положить в этот… тревожный?..

— Тревожный пакет? У вас же памятка должна быть. Что… Еды на сутки, документы, лекарства, полотенце… сами подумайте!

Милиционер сбежал по лестнице.

Ольга в оцепенении осталась стоять у открытой двери. Мысли в голове суетились, пульсировали, мешались. Сразу вспомнились милицейские машины под окнами. Закат какой-то необычный, ядовито-яркий. Подумалось, что какая-то авария на химзаводе. А точного ответа не было. Что? Что…

Она стряхнула с себя столбняк и быстро стала собирать необходимые вещи.

Сын уже спал, раскинувшись, из-под одеяла торчала розовая пяточка. У Ольги сжалось сердце, но она «взяла себя в руки» и решила разбудить его в самый последний момент.

Телевизор потихоньку бубнил новости, но тревоги на лицах дикторов не было. Ольга пощёлкала кнопкой: по всем программам шли предвыборные дебаты, только по местному телевидению какой-то пустой фильм. Пресса молчала. Не знала? Хотя смешно… Скрывала? Но что? Война?! Безумие. Тишина вокруг… Авария? Всё-таки, наверное, авария, и они с сыном уже несколько часов дышат не свежим последождевым воздухом, а — смертью…

Ольга бегала по квартире с целлофановым мешком, в котором болталось одно полотенце, и никак не могла сосредоточиться и сообразить, что входит в этот «тревожный пакет».

Пресса молчала, но вокруг была тревога. Женщина ясно ощущала её теперь всем телом, каждой клеточкой, тревога была всюду и во всём, и она была тем более страшна, невыносима, так как шла от неизвестности. Отнимала силы.

Ольга почувствовала невыносимую усталость и опустилась на диван. Она не знала, что делать дальше. Пожалуй, впервые она всерьёз осознала отсутствие мужа. Он бы всё взял в свои руки и не дал бы ей распуститься. Но сейчас нужно было решать всё самой, собраться с мыслями и…

Через пару минут «тревожный пакет» был сложен, она бросила его в коридоре и только тут заметила, что так и не закрыла дверь. На площадке было тихо. Соседи, наверное, в такой же растерянности пытались собраться, понять происходящее. Ольга закрыла дверь и стала будить сына. Он сопел во сне, вздыхал, но не просыпался. Она взяла его, сонного, на руки, стала одевать, путаясь в одежде, и сын захныкал. Руки её дрожали, но рассудок теперь был спокоен и холоден.

Вновь запиликал звонок.

Ольга резко распахнула дверь.

На пороге снова стоял тот же мальчишка в милицейской форме:

— Вы извините, ради Бога, — быстро сбивчиво говорил он. — Оставайтесь дома. Тревога учебная, с этими выборами все запутались, чуть не каждый день поднимают. А я недавно работаю. Адрес перепутал. У нас сотрудница в соседнем доме живёт. Простите, пожалуйста! Простите… — он побежал по лестнице вниз.

Ольга осталась в полной растерянности, но очнувшись, быстро положила сына в кровать и распахнула окно:

— Молодой человек!

Милиционер торопливо шагал от дома.

— Товарищ милиционер! Так тревога точно учебная? Правда?!

— Конечно! — крикнул он, обернувшись на ходу. — Извините ещё раз. Спокойной ночи!

Гуляющая во дворе молодая пара странно посмотрела на участников непонятного диалога и заулыбалась между собой.

Ольга раздела сонно капризничающего сына и вновь уложила спать. Потом стала разбирать «тревожный пакет» и рассмеялась. Смеялась, смеялась и никак не могла успокоиться, смех постепенно перешёл в слёзы. Она плакала, уткнувшись в ледяные дрожащие ладони. Рядом, к суточному запасу еды, брошенному в пакетике на пол, пристроился кот, медленно и деловито жевал колбасу. Сын крепко спал, так и не поняв, что случилось. Из распахнутого окна тянуло вечерней свежестью.

А женщина плакала и плакала. Ей вдруг близка и понятна стала любая трагедия, о которой она слышала за смутное время из прессы: всякая авария или стихийное бедствие в далёких неизвестных городах, и война в кавказской республике, такая непонятная и ненужная, что не верилось в её реальность… И перед всем этим она была бессильна. Не могла защитить себя и своих любимых.

В телевизоре всё так же плели политическую паутину люди, обещающие счастье и процветание всем, и ей в частности. Она вспоминала их лица, слова. И боялась каждого, и ждала что-то от каждого. Ещё было время и неизвестность.

А в душе? В душе осталась учебная тревога. Учебная — перед большой, настоящей, страшной — и, увы! вполне возможной…

Ожидание

Однажды она меня позвала. Именно позвала. Сама. Я частенько проходила мимо неё, не замечала, увлечённая поиском грибов, а тут — словно прозрела, услышала зов и подняла от земли глаза.

Она росла в гордом одиночестве на едва заметном взгорке, а метрах в трёх вокруг, будто расступившиеся в почтении слуги, застыли тонкоствольные молодые сосны. Не раздумывая, я поняла, что это царица надменно высится над своей челядью. Была она стара, стояла наклонно, напоминая этим Пизанскую башню. До самой вершины ствол её был гол — отсохли, обломились с годами ветви. Отчего-то я долго не решалась подойти к ней.

День выдался жаркий, ослепительно-солнечный. Лесные пичужки резвились и играли, прыгая по ветвям деревьев, перелетая с одного на другое. Вдруг одна из них, совсем крохотуля, с зеленоватыми пёрышками на крыльях, уселась на ствол царицы-сосны и тюкнула клювом её толстую, наверное, почти каменную кору. Мне представилось, как рассердится, разбушуется сейчас дерево, стряхнёт с себя дерзкую птичку, но птаха улетела, не найдя ничего съедобного, а всё осталось по-прежнему тихо.

Тогда я скинула с себя оцепенение, поставила на мох в листья брусничника полупустую корзину, подошла к сосне и обняла её. Рук моих хватило

лишь на половину обхвата ствола. Он был тёплый, нагретый за день солнечными лучами. Светло-коричневые, размером с ладонь шашки коры лепились отдельно друг от друга и напоминали рисунок на теле жирафа; кое-где кора была проточена вредителями, издолблена неглубокими дуплами, затянувшимися слезящейся смолой. Деловито устремляясь к вершине, ползли по стволу крупные чёрные муравьи. Своими объятиями я нарушила им проторённую дорожку. Насекомые смешались было, но через мгновение осмелели, заползали по моей руке, пытаясь прыснуть едким спиртом своим в неожиданного врага, хорошо, что рукав куртки защищал меня. Я примирительно убрала руку с пути муравьёв, и чёрный ручеёк выровнялся, вновь побежал размеренно.

Мне слышалось, что в сердцевине дерева таким же ровным потоком текут соки, несут живицу от корней к вершине, к искривлённым изломанным ветрами ветвям.

Крона сосны была так далеко, так высоко, что легко представлялось, как цепляются за неё белые облака, да и само небо держится на ветвях сосны, как на плечах древнего Титана. Ей и тяжело и торжественно это, она знает, что хрупкие тонкие тела молодых сосен, столпившихся вокруг, никогда не выдержали бы такой ноши, потому и полна царица снисходительной заботливости к ним, как мудрая старуха с превосходством знания жизни, но и со слезами умиления взирает на неразумных ребятишек.

Холодные дожди, секущую порошу, ураганы, ласковые весенние ветры, жару, палящее солнце; острую боль от точащего её тело жука-короеда, спасительный, но и жестокий клюв дятла; смятение и тоску от разносящегося по бору треска упавшего дерева, ужас и панику от далёкого визга бензопилы; усталость и упокоенность — всё знала древняя сосна. И мечта была у неё — ей хотелось умереть своей смертью. Не рухнуть подпиленной, не завалиться истерзанной с вывороченными корнями во время урагана, а золотым осенним днём, когда откричат прощально улетающие на зимовку птицы, в бору зазвенит тишина, и в дрёму погрузятся все деревья, с тихим стоном усталой надломленной души, с глубоким вздохом умиротворения, не круша своей многовековой тяжестью молодняк, медленно опуститься на землю, в объятии раскинув по ней истомившиеся ветви, и замереть, всё ещё слыша, как протяжный вздох её передаётся от сосны к сосне, улетая далеко и затихая навсегда…

Пройдут многие зимы и вёсны, пока затянет ствол царицы мхом, покроет брусничником, осыплет перезревшими семенами, и сокроется, срастётся с землёй то, что было когда-то могучим гордым деревом. А на его месте взрастут юные ершисто-колкие сосёнки. У них и мечты будут совсем иные: скорее подрасти, вытянуться, подняться к солнцу.

С замершим сердцем слушала я исповедь дерева и едва слышно отвечала ему: живи, не поддавайся смятению и бурям, настанет день, и я приведу к тебе самого дорогого человека, чтобы мудростью своей примирила и обвенчала нас, даровав столь же долгий счастливый век нашей любви…

Она понимала меня, кивала согласно ветвями, и мы долго ещё стояли, обнявшись, думая каждая о своём.

Прошло уже более десяти лет с того дня, когда сосна впервые позвала меня. Я всегда прихожу к ней, если оказываюсь поблизости. Как и тогда, прижимаюсь к ней, и она сдержанно вздыхает, видя, что я снова и снова прихожу одна. Она ждёт, как мать ждёт часа благословения детей своих, после которого успокоенно станет доживать свой век.

Так и сосна моя будет ждать, зная моё одиночество, и это даст ей силы жить ещё и ещё.

Только бы не набрёл на неё жестокий лесоруб, а меня миновало несчастье обманутых ожиданий. Так мы и думаем друг о друге долгими зимами: сосна-царица в далёком занесённом снегами бору, а я — в слякотном городе. Ждём. Обе ждём весны…

Лес в кадушке

Лето стремительно катится к своему завершению. Длиннее и холоднее сделались ночи, яснее и прозрачнее небо: высокое звонко-голубое днём и многозвёздное манящее в тёмное время суток. Конец августа.

Уже просыпаешься по утрам в тревоге — не было ли заморозка, который в одночасье погубит все нежные огородные растения, опалит, словно после пожара, помидоры и картофельник, скрутит в сухие ломкие трубочки листья огурцов и кабачков, а сами плоды от невидимого гибельного его прохода покроются тёмными пятнами и сделаются негодными для хранения. Потому и спешишь уберечь выращенное, вовремя собрать да заготовить на зиму.

Ещё вчера бывший зелёным лес вдруг подёрнется золотистой дымкой березняка да багряными пятнами осинника. Холодные сентябрьские ветры быстро обтреплют с них помертвелую листву, и сразу же прозрачнее и тише сделается лес, словно просветлится ликом перед длинной, гораздой на испытания зимой. Лес окутает низкими неуютными тучами, омоет дождями, и он счастливо затихнет, когда, наконец, после ветров, непроглядной мороси, промозглых туманов и сковывающих почву утренников на землю, на ветви ляжет первый, ещё влажный снег, от которого станет светло и чисто в округе.

Но случится это не скоро, ведь ещё только август, ещё ясными выдаются дни и дожди коротки и теплы. И от тепла, от влаги небесной рождает благодарная земля истинные чудеса, не удивляться которым, не восхищаться, не радоваться может только человек, равнодушный ко всему живому.

Управив домашнее хозяйство, деревенские жители, кто своим ходом, чаще — на мотоциклах, отправляются в лес: прошёл слух, что рванули в рост белые, боровики, лезут грузди, мостами жарятся и червивеют на солнцепёке маслята. Усидишь ли в такую пору дома. Гори всё синим пламенем — грибная лихорадка охватывает разум и душу.

Натянув сапоги, набросив на ходу куртёшку, с большой берестяной корзиной топаю к ближнему леску. Мы люди «безлошадные», за десять-пятнадцать километров на своих двоих не уедешь. Да и к чему, если за баней, за забором растёт всё то же самое, за чем гоняют лихие мотоциклисты, жгут бензин, трясутся на лесных ухабах.

Неспешно, вдыхая полной грудью запахи лесной прели, хвои, грибов, шагаю я по тропинке, заросшей спутанной, не знающей косы травой. Солнце поблёскивает на влажных листьях деревьев, на крупных каплях росы в зарослях разнотравья. Попискивают в ельнике резвые птички, «подружки» моего годовалого пса Шарика. Этих юрких наглых птичек, дразнящих своим писком, ему никак не достать, и от досады, от обиды барбос заходится в щенячьей истерике, в визгливом, недостойном серьёзной собаки лае. Года через два он, может, сделается степеннее, заважничает и станет брезгливо воротить нос от заигрывающих с ним пичужек, а пока бесполезно дозываться его из тесных еловых зарослей.

Ай да подарок! Прямо на тропке, едва заметный в траве под сенью ивового кустика родился из земли крепышок белый. Ему дня два, он с бурой гладкой шляпкой, на толстой, похожей на бочоночек лото, ножке… Сколько хожу за грибами, но к этой нечаянной радости не могу привыкнуть, каждый раз сердце трепыхнётся при виде такого-то красавца. Хотя знаю, есть белый гриб и поважнее — кремнево-красный и твёрдый, боровой, едва видный из жёсткого голубого мха, похожий больше на камень иль на кусочек коры, не раз и не два обманывавший даже самый опытный глаз! Всё-таки не выдержу и дня через два сбегу на дальние боры, изношу ноги, чтобы добыть с десяток эдаких неземных красавцев, а пока — пока срезаю упругую ножку логового крепыша, с радостью отмечаю, что целый он, не подточенный червями, и опускаю его на дно пустой корзины. Начало положено, в душе начинает разгораться азарт тихой охоты, и дальше я уже вся поглощена поисками. Мои глаза цепко бегают, шерстят траву и мох вокруг, рука крепко сжимает в кармане куртки ножик, и вдруг ловлю себя на мысли, что похожа сейчас на бандита с большой дороги, готового наброситься с клинком на беззащитного путника. Становится чуть стыдно за свою алчность, но тут-то и попадаются мне путники — серые сопливенькие грибочки, славные в солении, да и собирать их просто удовольствие, враз с десяток наколупаешь с одного места. Вот затесалась среди них пара волнушек — одна попоросячьи розовая, с загнутыми вовнутрь лохматыми краями, другая переросшая, до желтизны вымытая дождями, выгнувшаяся воронкой, в которой стоит вода и плавает сосновая иголка. Такая в момент развалится, раскрошится, поэтому я и не беру её, оставляю на развод.

Сложив соленье в корзину, хочу уже подняться и двинуться дальше, но невдалеке около молодой сосёнки замечаю бордовошляпый подосиновик, а подойдя, рядом ещё один — поменьше. Они тоже оказываются в общей компании.

Я продираюсь сквозь заросли, защищаясь руками от хлёстких ветвей, спотыкаясь о валежины. Со старых елей в корзинку частым дождиком сыплется засохшая пожелтевшая хвоя. Вот уж намучаюсь после соскребать её с мокрых грибных шляп да выковыривать из пластинок солья! Хочу разворчаться, но меня отвлекает почти сказочная картина. На раструхшем берёзовом пеньке толпятся опята, любопытно выглядывают друг из-за дружки, теснят соседа, словно зовут: возьми, мы съедобные, вкусные, не поганки. Шиплю тонкошляпых опят и вдруг вижу: с другой-то стороны пенька пристроились, подделываются под съедобных ложные, авось, прихватит и их на свою беду незадачливый грибник. Ну уж нет, больно ядовито-жёлтые у вас шляпки, по-змеиному выгнутые тощие ножки без юбочек, без червоточинок. Меня так легко не проведёте, не отравите!

Весёлые конопатые опёнки находят своё место в корзине, которая наполняется всё быстрее и быстрее. В ней путники и волнушки, бордовые и по-лисьи рыжие подосиновики, гордецы белые, желторотые моховики, мягкотелые подберёзовики, склизкие маслята, улыбающиеся рыжики, да с выбора взятая, самая красивая во всём лесу сыроежка с зеленоватой шляпкой-колпачком.

А глупый пёс Шарик всё так же носится за писклявыми птичками по кустам!

Первые принесённые из лесу грибы будем любовно перебирать всей семьёй, восхищаясь и радуясь, трепетно относясь к каждому грибному кусочку, вырезая подпорченные бледными черноголовыми червями места.

Из первых грибов обязательно наварим супу, нажарим селянки, наедимся до отвала. А дня через три грибного поста уже не захочешь ни того, ни другого. Притащенные всеми домочадцами три-четыре корзины будем долго чистить, замачивать, сушить, мариновать, и незаметно удовольствие от сбора перерастёт в однообразный утомительный труд: сходить, собрать, перебрать, порезать для сушки на противни, печку протопить, жар не упустить, но и грибы не сжечь. Сольё — замочить в ванну, тазы, вёдра, и чтобы не перекисло. Раз, а то и два в день перемыть, засолить да ещё угодить на общий вкус.

Вечером, падая от усталости, клянёшь всё на свете, охаешь, что никогда больше в лес ни ногой, пусть всё там пропадёт пропадом! Но тут же спохватишься, представив, сколько же добра по российским лесам пропадает, до иных мест вообще никто никогда не дойдёт, не доедет, а ведь земля даром даёт такое богатство, только приди, поклонись, возьми, прокормит лес-батюшка. Да как же это я завтра, отдохнувшая, и не пойду в лес! Гриб-то мой перерастёт, зачервивеет, сопреет, повалится на бок, рассыплет споры, и останется от него самое настоящее мокрое место. Это один, а сколько их там! Тысячи! Заснёшь под такие мысли и всю-то ноченьку рыщешь среди деревьев, нет тебе покоя ни во сне, ни наяву.

Так пройдёт неделя, вторая, грибы всё растут и растут. Потому что ночи тёплые, дожди благодатные, туманы густые ложатся на землю… К концу

третьей так «огрибеешь», что руки почернеют от несмывающейся даже в бане грибной грязи, иголки еловые в одежде, в сапогах, в волосах. Насолено вёдер пять, насушено килограммов семь, а всё мало! Алчность обуревает, снова с какой-то нездоровой настойчивостью прёшься в лес. Корзина наполняется за полчаса, грибы валятся через край. Стащишь с головы белый платок и в него набросаешь шляп, заранее зная, что тот уже не отстирается. А-а! Всё нипочём, когда вокруг грибы, грибы, грибы! Сгрёб бы их в кучу вокруг себя, под себя, как царь Кощей своё богатство, завалился бы этими несчастными грибами и чах над столь доступным лесным златом.

А не спятил ли?!—ужаснёшься, ведь весь-то лес в одну кадушку не запихаешь, не засолишь с укропом и чесноком. Присядешь на пенёк, одумаешься да и тянешься с десятикилограммовой корзиной домой, снова кляня собственную жадность.

Мотоциклисты с корзинами перестали гонять по деревне. Лес уже не полнится криками и ауканьем, значит, устала земля рожать, значит, всё меньше встречается разноцветных шляп на борах и в березняках.

А тут ещё в огороде новые заботы подоспели—пора убирать картошку. Зимой так-то славно под неё горяченькую, парящую в чугунке на столе, подцепить на вилку хрусткий грибочек, поспорить с домашними—волнушка это или попутница, а то и сам груздок, и отправить его в рот, припоминая вдруг летние радости, прислушиваясь к неожиданно воскресающему в душе азарту. Сейчас бы с корзиной да в лесок!.. Но под снегом спят грибницы до будущей осени, копят силы для новых урожаев.

Миновало короткое бабье лето. С ближнего нетопкого болотца женское население повытаскало алую ядрёную клюкву.

Однажды утром, тоскливо курлыкая, пролетела над деревней семья журавлей, летовавшая на том самом болотце, и словно осиротила сельчан до весны, заронила в душу холодную осеннюю грустинку.

Уже под Покров, удивляясь стойкой тёплой осени, отправилась я на дальний бор, точно зная, что нет там белых, отросли моховики, вытаскана брусника. Но лес отчего-то ещё манил.

День выдался тихий, безветренный, хоть и пасмурный. Плотная серая облачность заволокла небо и солнце. Сосновый бор застыл, не шумел вершинами, не скрипел старыми стволами. Ни одного живого звука не улавливал мой слух, только похрустывали шишки под ногами, и ступала я осторожно, боясь нарушить покой леса. Что-то жуткое было в этой тишине, тревожное. Показалось вдруг, словно всё вымерло в один миг—птицы, животные, насекомые, а я осталась один на один с этим неуютным октябрьским днём.

Облака густели, темнели, опускались всё ниже, и я второпях кидала в корзину тёмно-красные остроконечные шляпки горькушек, самых стойких и многочисленных боровых путников. Ругала себя потихоньку за дерзость: по народным поверьям нельзя под Покров ходить в лес—лешие натешиться, нагуляться спешат, потому как после праздника положено им убираться на покой. Вот они и забавятся с припозднившимися грибниками, водят, заманивают в глушь… От мыслей таких и вовсе не по себе мне сделалось в знакомом каждым деревом лесу. Завязав наполненную корзину платком, я решительно направилась к дому, но сделала лишь два шага и застыла в изумлении. Из нависших туч на затихший до звона в ушах бор, на сосны, на мох, на бордовые шляпки грибов медленно, как лебяжий пух, стали опускаться снежные хлопья. Они словно зависали в воздухе, ещё раздумывая, время ли им падать на землю. И от этих чистых снежных хлопьев мне сразу стало легче и светлее на душе. Показавшаяся тревожной природа застыла вовсе не в ожидании чего-то страшного. Она-то точно знала день первого снега, готовилась к нему, терпеливо ждала, как желанного гостя, а, дождавшись, успокоено задремала, уверенная в том, что всё ладно на белом свете. Придёт, как и положено, в свой срок зима. Пронесутся над заснеженными лесами метели, укачают, убаюкают сосны, ели, берёзы, осины до нескорого тепла.

И хотя этот первый снег неверный, тает, едва коснувшись мха, и после него ещё будут холодные дожди и совсем редкие короткие солнечные деньки, и земля, и лес, и само небо уже познали чудо очищения, уже обрели покой и веру в вечность, незыблемость природных законов. И моя душа, ставшая случайно свидетельницей этого таинства, тихо и светло грустила о зыбкости и неправедности законов человеческих.

Этой осенью я больше не ходила в лес, он запомнился мне таким заворожённым, застывшим на всю тёмную сырую зиму.

Порой во сне мне слышался запах осеннего леса, сияющего, ликующего, по-отечески ласкового и щедрого. Хотелось шептать ему: спи спокойно до бурных вёсен и золотых сентябрей, спи, я знаю, что ты всегда примешь меня и наградишь за любовь и преданность тебе.

Погоня

Солнце, ослепительное, пробивалось сквозь редкие кроны хрупких сосен. Едва ощутимый ветерок доносил запахи прели, смешанные с терпким ароматом багульника. Тишина в лесу стояла именно такая, какая бывает только осенью, когда не слышно птиц, безумных в весенних страстях. Лес без их голосов словно бы дремал, едва ли выходя из своего состояния даже при звуке моих шагов. Да и шагала я осторожно, стараясь уловить настроение природы, не помешать ей. Не было в моей душе того летнего азарта, когда только и замираешь, ожидая увидеть перед ногами грибную шляпку, когда даже при желании невозможно прислушиваться к лесу, всё перебивает страсть грибника.

Я шла для тихой работы, при которой можно обдумать всё, на что не хватает ни сил, ни времени в будний день. Выходило, что этот день становился праздничным. Ведь и в самом деле, если идёшь на болото не ради заработка, а для собственного

удовольствия, это становится радостью. Я шла за клюквой.

Вот и болото. Оно не топкое, весёлое. Появляется среди деревьев внезапно. Лишь делаешь шаг и ты уже не на твёрдой почве, а на перине мха, который покачивается под ногами, холодит сквозь сапоги влагой.

Ягод у края немного, и я наклоняюсь за ними только чтобы бросить в рот прохладные шарики, покатать их на языке и раскусить хрусткую мякоть, чуть поморщившись от кисели. Ещё какая-то лень во всём теле, но вот попадаются и вовсе красные кочки, и ягод на них полно, крупных, подставивших бочок под солнце и покрасневших от его поцелуев. Другой бочок, тот, что во мху, всегда светлее. Клюква твёрдая, до сочной зрелости ей ещё лежать и лежать рассыпанной в доме. Это только весной из-под снега она выйдет бордово-коричневой, помороженной и необыкновенно вкусной. Сколько её остаётся под снегом на болотах, докуда не доходит никто, на топях, куда не сунется ни самый заядлый и рисковый ягодник, ни даже медведь-увалень, которому хватает лакомства в его чащобах.

Глухо стукаются, скатываются по дну берестяной корзины первые горсти клюквы. Она такая крупная, и её так много, что не успеваешь заглянуть в посудину, чтобы удостовериться прибыло ли. И когда вдруг внезапно подходит первая волна усталости, посмотришь в корзину, а уж половина набрана. Руки работают споро, глаза высматривают рядом нетронутые кочки, и уже не начисто выбираешь прежние, начинаешь копаться, прыгать от одного ягодного островка к другому, вдруг де там совсем огромные да алые ягоды с яблокодичку размером.

Но вот и спина слегка заныла. Я разогнулась, размяла затёкшие ноги и взглянула в небо, куда посмотреть до сих пор было недосуг.

Погода чудная. Ни облачка.

Вдруг откуда-то издалека донёсся едва слышный собачий лай. Сначала он медленно нарастал, но потом также внезапно, как возник, стих. Я напрягла слух, но в лесу была такая тишина, что слышалось биение собственного сердца.

Он возник совершенно неслышно и медленно, словно вплыл в этот лесной осенний сон. Я даже не успела испугаться или вздрогнуть от внезапности его появления.

Он проплыл всего в нескольких метрах от меня—застывшей в изумлении—чинно и размеренно выбрасывая вперёд ноги, длинные и тонкие, словно сухостоины. Всё его массивное жилистое тело и тяжкая корона рогов были полны внутреннего спокойствия и достоинства.

Лось исчез в лесу так же, как появился, будто растворился, а я стояла, так и не веря в реальность этого видения.

Только минут через двадцать, когда я уже снова склонилась к ягодам, из леса донёсся нервный перелай собак. Трое псов, одурманенные безумной гонкой, промчались по лосиным следам. В глазах двоих, что были чуть помельче чёрного вожака, светились жадность и щенячий восторг. Они перелаивались с повизгиванием и неслись напролом. А чёрный пёс бежал молча и как будто бы с лёгкой ленцой, в которой сквозило почти волчье спокойствие и уверенность.

Лай удалялся. Скоро он стих вовсе.

Я присела на поваленную сосну, бросила в рот клюквину и, катая её на языке, мысленно желала лосю удачи. Мне подумалось, что он уже ушёл от собак на несколько километров. Он, несомненно, был сильнее их, и мог бы взмахом рогов раскидать эту небольшую свору или размозжить крутолобую пёсью башку одним ударом копыта. Но лайки подняли его с сытой лёжки, и в осеннем лесу было так мирно, так благостно, что он не захотел принимать этот бой. А потому сильные ноги несли сейчас стройное гибкое тело через бор, к дальним сырым низинам, к тёмной лесной речке, над которой нависли ветви ив и черёмух. Когда лось добежит до неё, он просто перейдёт речку вброд, и отставшие собаки, потеряв след, замечутся на берегу. Их лёгкие будет разрывать горячечное дыхание, с их языков будет капать пена, мышцы на лапах—мелко дрожать от усталости. Молодые псы заскулят раздосадованно, а старый вожак загнанно и зло посмотрит на тот берег, спустится к воде и примется долго и жадно лакать бурую воду, понимая, что на этот раз он проиграл охоту.

Борьба с терроризмом

Вечернее московское метро. Из подошедшей электрички выскакивает здоровущий русоволосый парень, ищет кого-то на платформе и снова заскакивает в вагон. От греха подальше я сажусь в соседний.

Время позднее, и людей в вагоне немного. Напротив меня вальяжно и нагло развалились по всему сидению два «лица кавказской национальности», они липким взглядом осматривают присутствующих девушек, в том числе и меня, цокают языком, переговариваются по-свойски, но и так понятно, что похабничают.

Во мне поднимается волна негодования. Вот из-за таких мерзких самодовольных рож совсем недавно, ещё неделя не прошла, погибли в театре заложники, дети. Вот они, эти террористы, ездят преспокойненько в метро. Что им стоит взорвать и этот вагон, и целый город, и весь мир! Но как, как с ними бороться?!

Выхожу с такими мыслями на нужной станции, и меня едва не сбивает с ног тот здоровенный парняга, он со всего ходу бросается на разомлевших кавказцев, огромными ручищами хватает одного из них и тащит к дверям, словно мешок с мукой. Откуда-то взялся и помощник ему, помельче ростом, поуже в кости, но хапает второго, волочёт из вагона. И всё без единого слова, без мата. Кавказцы сразу притихли, съёжились как-то, и на лицах их была написана обречённость—быть избитыми. Парни за шкирку протащили их до эскалатора, втолкнули на ступеньки.

Что было дальше, мне оставалось лишь догадываться. Я хорошо представила, в какое месиво превратит сейчас поджидающая наверху компания (ведь наверняка русские парни были не вдвоём)

обоих кавказцев. И подумала вдруг, что месть, как обычно, достаётся вовсе не тем, кому предназначена. Ну, подвыпили южные парни, ну, поглазели на девчонок. Кто знает, может, они приехали в столицу на честные заработки, таскают кирпичи на какой-нибудь стройке, цемент мешают…

Ещё вспомнилось, что когда в Москве взорвали жилые дома, в моём родном небольшом провинциальном городе русские парни разгромили кавказское кафе, порезали много «чёрных». Милиция возбудила дело по хулиганской статье, ребята отделались условными сроками. А вскоре несколько кавказцев изнасиловали двух несовершеннолетних девчонок, шедших домой с дискотеки. Тогда наши разгромили их ларьки на рынке… Et cetera?

Подайте копеечку…

Московское метро. Двери вагона, в котором я ехала, открылись на очередной станции, и вошёл калека: обеих рук нету выше локтя, рукава свитера закатаны до подмышек, на голых уродливых обрубках натянута хозяйственная сумка, в неё-то и кидали монетки сердобольные пассажиры. Больше — пассажирки. Я отвела взгляд от неприятного и порядком надоевшего зрелища. Старушек-попрошаек, грязных липучих цыганят, инвалидов на колясках и костылях, пьяных бомжей, брошенных всеми нищих матерей-одиночек, собирателей на корм для собачьего приюта, музицирующих на всевозможных инструментах, продавцов тысячи мелочей, просто сумасшедших или хорошо их изображающих, в метро и на улицах развелось столько, что глаза на них уже не смотрят, жалость в душе просыпается всё реже и реже.

Помнится мне уже много лет одна пожилая, бедно, но опрятно одетая женщина, что стояла на улице моего родного города, не привыкшего к подобным зрелищам. Она робко тянула крупно дрожащую ладошку и рыдала: «Люди добрые! Господи! Позор-то какой! Поверьте, я никогда бы не вышла попрошайничать. Но врач выписал лекарство, которое стоит в три раза больше моей пенсии. Без этих таблеток я умру…». Женщина скорбно приняла от меня монетку и долго благодарила, снова оправдываясь, снова рассказывая свою беду. Я поговорила с ней, попыталась приободрить и до сих пор не хочу думать, что всё это было лишь талантливо разыгранным спектаклем…

Безрукий калека, молодой ещё парень, дошёл и до меня. В моём кармане, я знала, было несколько рублевых монет, но я не подала ему, хотя сидящая рядом женщина выгребла целую горсть мелочи и бросила в сумку.

— Спасибо, — очень грубым и, как мне показалось, даже надменным голосом сказал калека и вышел на станции.

Пока электричка стояла, я успела увидеть, как на платформе к безрукому парню быстро подошёл молодой здоровый мужик в кожаной куртке, сунул ему в рот пластинку жевательной резинки, обёртку от которой бросил тут же, на пол, и стал выгребать из сумки собранные деньги. Он даже не подождал, пока уедет электричка с милосердными людьми, которые подавали свои деньги калеке, которые горестно качали головами, вздыхали, сочувствуя чужой беде.

Я уже нисколько не стыдилась, что не бросила свою дань в подставленную сумку. Я уже точно знала, что парень-калека не купит себе хлеба на собранные деньги. В лучшем случае, вечером «пастух» нальёт ему водки или даст дозу наркотика, и тот забудется в тяжком сне в каком-нибудь затхлом подвале, чтобы завтра снова выйти «на работу».

Только не бейте

Шла я поздно вечером на вокзал мимо круглосуточно работающего продовольственного магазина. На крыльце его стоял продрогший измученный мужичонка бомжастого вида, не старый ещё. Остановил меня:

— Девушка, дайте, пожалуйста, пятьдесят копеек.

Я обернулась с недовольным видом, сунула руку в карман куртки в поисках мелочи, а бомж дрожащим голосом добавил:

— Только не бейте меня, пожалуйста, — и вроде как рукой прикрывается. — Вы не спортсменка? Нет? — Взгляд испуганный, молящий.

И удивилась, и обиделась я, и жалко его стало до боли, до щемящего, сводящего горло спазма. Сунула мужичонке попавшуюся в пальцы двухрублёвую монету и пошагала дальше к вокзалу.

Уже в поезде, забравшись на вторую полку плацкартного вагона и засыпая, я невольно вспомнила про бомжа. Обидно было мне, что от меня, в общем-то, очень миролюбивого человека, кто-то вдруг ожидал удара, но от этого же и жальче. Досаден был невольный укол по поводу моих мощных габаритов и спортивного стиля в одежде.

Много-много бродяг, гуляк, пьяниц, бомжей, уличных дурачков встречается на улицах российских городов. Раздражают они всё больше и чаще. А этот вот, с его тихой мольбой, просьбой «не бить», задел меня, запал в память и вспоминается с грустной усмешкой.

Ветер с Енисея

На похороны Виктора Петровича Астафьева прилетели из Питера его давние друзья. Среди них был и актёр Кирилл Лавров. К сожалению, а может, так угодно было Господу и самому покойному, немного людей, которых он считал своими товарищами, удосужились проводить писателя в последний путь. Ссылались и на болезни, и на занятость, и на дороговизну билетов… Не об этом сейчас.

Главные провожающие, которых, уверена, более всего и хотел видеть сам Виктор Петрович, были рядом. Это овсянковские жители, что высыпали на крохотную площадку перед деревянной церквушкой, где отпевали новопреставленного, все до единого. От мала до велика. Люди плакали тихо и скорбно, переговаривались и сдержанно курили мужики, не матерились. Маленькие жители села встревожено тянули головы, пытаясь выглянуть из-за спин взрослых, увидеть творящееся действо. Перетаптываясь усталыми больными ногами, терпеливо стояли старухи, промокали концами платков глаза, слезящиеся то ли от ветра, то ли от

общего горя, соединившего всех в единое целое на этой продуваемой ледяным ветром с Енисея улице.

Лавров стоял среди овсянковцев, ничем не выделяясь в толпе. Когда проносили гроб по улицам села, шёл вместе со всеми, а не впереди, где было положено идти именитым людям. Я шла рядом с Лавровым, уже благодарная ему лишь за то, что он безмолвно и строго поддерживает меня своим присутствием.

Отпевание было недолгим, но и тех тридцати минут на декабрьском ветру, под хлёсткими, колкими крупинами снега, которые несло с Енисея, хватило, чтобы продрогнуть окончательно, мрачно сравнивая ледяной воздух этот с холодом могилы.

Лавров в своём стареньком кожаном плаще, осенних ботинках стоял с краю людской толпы. Лицо его было бледно и строго, и остро бьющая снежная крупа не могла заставить его дрогнуть, казалось, он не чувствовал ничего, слыша лишь собственную душевную боль. Лавров, конечно, замёрз, как и все здесь сейчас, но, как и все, он здесь сейчас об этом не думал.

— Что же вы, Кирилл Юрьевич, на самом-то ветру,— тихонько проговорила, встав с ним рядом, пожилая женщина,— пальтишко у вас холодное. Растолкайте людей-то, в серёдку зайдите, туда, там теплее, вас прикроют. Ветер-то с Енисея, злой.

Лавров благодарно взглянул на усталое лицо женщины, но беспокоить людей отказался. Она ещё сколько-то упрашивала его, а потом сама встала со спины, прикрыв его собой от порывов ветра:

— Мы-то привычные…

На женщине этой было потёртое драповое пальто, вязаная шапочка да поношенные сапоги. Сама она вся до костей промёрзла, прозябла, да только куда важнее было ей сейчас оберечь другого человека от страданий, облегчить их хоть на кроху, поддержать робко, сил своих, пусть немногих, придать. Лишь бы кому-то стало легче.

— Мы-то привычные,— шептала она застылыми губами.

А в храме горели поминальные свечи, батюшка отпевал покойного, обходил гроб с кадилом.

На промозглой декабрьской улице монотонно и невыносимо тоскливо бил колокол, один-единственный на деревянной невысокой колоколенке. Звук его пронзал до мозга, словно иглой, пробирая до дрожи, до костей, как ветер с Енисея, с реки, которая из-за построенной на ней ГЭС, не замерзает вот уже много-много зим…

Попробуй жить дальше…

(монолог)

Вот ты говоришь: все грешны, и у каждого самый тяжкий грех есть среди мелких, почти привычных, ежедневных. Тот, который всю жизнь мает, от которого жуткой тоской заливает грудь, разум затуманивает. От которого выть хочется, бежать куда-то. От которого людей ненавидишь, потому что винишь их во всём, себя-то ведь как винить! Если о нём думать постоянно — сойдёшь с ума, жизни уже спокойной не будет ни секунды. Ни во сне, ни в водке, ни в объятиях женских не забудешься. Выход — в петлю или пулю в висок.

Но можно ещё и простить себя, внушить себе, что так было угодно судьбе, что всё получилось так, как должно было случиться. Простить себя, напакостившего ребёнка, собой взрослым, рассудительным. Тогда проживёшь и, возможно, даже забудешь о своём грехе, о своей вине. Почти забудешь…

Вот и я почти забыл. Очень хотел забыть, и получилось. Стало казаться, что не со мной было, что это чья-то чужая история, слышанная когда-то, до отвращения неприятная, из головы бы её поскорее выбросить и ладно.

Не со мной было. Не моя это жизнь. Моя должна быть другой.

А значит, это не я убил сына. Да и убил ли я его. Я ли его убил…

Мы тогда с Катей уже два года прожили. Редкая любовь случилась с нами. Может, и оттого, что я уже взрослый мужик был, тридцатилетний, сына растил, а Катя девчонка двадцатилетняя, смотрела на меня восхищёнными глазищами своими, каждое слово ловила, доверчивая, что ребёнок. Мне в радость было её оберегать ото всего, прятать, укрывать ото всех жизненных невзгод, это и мне будто сил прибавляло, уверенности.

И сошлись-то ведь быстро. Всего-то раза четыре и виделись наедине, в близости. Я-то ведь женат, думаю, надо заканчивать, решаться на что-то, а тянуло-о-о меня к Кате!

Жду вот с такими мыслями её в обед с работы — отпрашиваться пошла у начальника. Я и сказал себе: если отпустит, значит, всё, судьба вместе быть. Нет — по газам и никогда больше не увидимся. Считать даже про себя стал, за минуту и двадцать три секунды до назначенного самому себе и ей срока, вижу, выбегает из ворот, шапочка красненькая далеко видна. Вроде как и успокоился сразу, усмехнулся. Судьба, значит.

Хорошо с ней было. Я сам такой отчаянный что ли, любопытный, дома сидеть для меня смерть, а прежняя жена домоседка попалась. Всего-то за год один раз в гости к маме, да к нам друзья на Новый год да на день рождения. Не вытащить никуда, даже в кино не сходить. Тоска. Хорошо ещё, работа с командировками была связана, в дороге отвлечёшься как-то. Домой же вернёшься — всё то же. Чистота стерильная, рубашки отглажены, борща-картошки наварено, сын за уроками сидит стриженый, ухоженный. Сама с шитьём каким, с вязанием. Ну, прям, семейная идиллия. А мне с порога охота швырнуть чего потяжелее да выматериться. Тоска. Кому что, видно.

Здесь — рубашку сам отгладишь — радость, обед, ужин состряпаешь, Катюшка придёт, я её встречаю. Ездить стали везде, за границей побывали. В горы, так в горы, за грибами, так за грибами, в столицу на денёк рвануть, собравшись в один вечер, запросто. Легко как-то всё, словно и лет моих нет, сам с ней мальчишкой двадцатилетним сделался.

И любви я её учил. Хоть и были у неё до меня мужчины, а я словно чистую взял, не думал, кто

там и как у неё был. Моя прежняя миссионерской позой меня замучила. Погладить лишний раз нини, а уж если излишества какие, дак аж в слёзы. Я после неё, вроде, как сам себе противен был.

Нет, с Катюшкой всё не так. Моя она была, вся моя, до единой капельки весь свой юный сок отдавала, а я пил и напиться не мог.

Счастливая любовь у нас случилась.

Вот и говори после этого, что на чужом несчастье счастья не построишь. Чушь! Чтобы я остался с прежней женой, ну не решился бы на развод. Там уже до того доходило, что или я с ней, или с собой что-нибудь сделаю. Жить не хотелось. Тут—летал просто, душа пела. Не поверил бы, если кто сказал, а тут сам пережил.

Февраль в тот год выдался на чудо снежный. Тёплый, сырой даже, но дня не было, чтобы снег не валил. Город заносило по вторые этажи домов. Никакие коммунальные службы не справлялись, транспорт застревал. Машины, брошенные хозяевами то тут, то там, моментально превращались в большие сугробы.

И вот в такую-то погоду засобирались мы в столицу прокатиться. Билеты купили на ночной поезд. До вокзала пешком пришлось добираться, всё из-за того же снегопада. Отряхиваться устали, шапку можно было каждые две минуты обивать. А на вокзале оказалось, что и поезда из-за заносов задерживаются. Народищу тьма, психуют, дежурного задёргали.

Наш поезд для начала на три часа отложили. Потолкались мы чуть-чуть, вещи в камеру хранения еле сдали, всё уже забито было. Думали к родственникам, что недалеко от вокзала живут, пойти, да куда заявишься в час ночи. Решили погулять просто так.

Вышли на привокзальную площадь. Город спит. Троллейбусы, машины тут же брошены, ночуют до утра, ждут, чтобы их откопали. Сугробы по всей площади в человеческий рост, а в них лопаты натыканы. Видно, дворники умученные даже унести их не смогли.

Я Катюшку в сугроб свалил, хохочет девчонка. Целовал её в мокрые от растаявшего снега губы, дурачились, как дети, снежками кидались, смеялись взахлёб, до слёз. Потом по лопате взяли, стали снег разгребать. Умаялись, ухохотались, вымокли до ушей. Отряхивал я девочку мою и чувствовал себя счастливейшим человеком на свете. Никто бы меня тогда своими самыми огромными достижениями не переубедил. Я был самый-самый счастливый! Обнял её, разгорячённую, прижал к себе, маленькую, лёгкую, на руках закружил. Она смеялась, глаза её, чудные, любимые, сияли восторгом. Я уверен был, да и сейчас уверен, что она тогда тоже была самой-самой счастливой женщиной на свете.

Закружились и снова в сугроб упали, и лежали долго, глядя в чёрное небо, откуда, словно звёзды в космосе, летящие навстречу кораблю, падали на нас снежные хлопья.

Поезд только в пять часов утра подали. Составы сборные, никаких номеров вагонов и мест уже не признавали, распихали кого куда. Проводники, наверное, поседели за ту ночь. Мы же оказались в св вместо положенного купе, и как кому, а нам повезло.

Одежду мокрую на плечики повесили, даже по стакану чая выпили. Катюшка легла, я сел рядом, по волосам гладил её, говорил о чём-то. Потом уткнулся ей в шею, пахнущую едва уловимо сладкими духами и теплом, детским каким-то, родным теплом. Губы её пухлые нашёл, вкус любимый ощутил, и всё в голове закружилось. Всегда так, когда её целовал…

На всю жизнь и запомнил ту ночь, может, когда и лучше было, но то не помнится.

А через пару месяцев Катюшка моя меня обрадовала—сыночек будет. Сразу почему-то оба были уверены, что сын.

Носила она его удивительно: ни прыщичка, ни отёка единого, похорошела только. Хотя, куда уж хорошеть-то было. И никаких токсикозов, никаких нервов, бессонниц. Животик маленький такой, аккуратненький. Потом только, когда уж срок подошёл, она никаких признаков родов не замечает. Неделю перехаживает, на вторую поехала.

Вечером однажды, легли уже, говорит, съела что-то не то, живот заболел, посижу пойду. Не проходит. Я тут себя по лбу, дурак, так ведь рожает моя девочка!

Тачку поймал, в больницу отвёз, и там только сообразил, что седьмое ноября наступило, праздник. А сообразил тогда, когда в приёмном покое от врача водкой напахнуло. Медсёстры тоже не совсем живые. Разозлился я на них, а Катюшке всё хуже и хуже. Показалось, слёзки в глазах заблестели. «Боюсь…»,—шепчет. Я вовсе растерялся, на врачей рявкнул, они меня и выпроводили.

Ходил-ходил под окнами, мороз сильный, промёрз до костей. Убрёл домой, на сердце неспокойно, сна ни в одном глазу. Выпить бы, а не хотелось. Так и сидел один в пустой тёмной квартире, свет почему-то не включал. Сидел и смотрел в окно на фонари да слушал, как редкие машины проезжают.

И всё время казалось, что слышу, как кричит Катюшка моя, и вроде даже самому больно делалось. Забылся на какие-то минуты, очнулся—на лбу пот холодный, колотит всего. Время уже к восьми утра. Стал звонить в роддом. Сначала и вовсе никто не подходил. На третий раз ответили, что не родила ещё. Четвёртый, пятый раз звонил—не родила. Потом через каждые пятнадцать минут номер набирал. Медсестра уже ругать меня стала.

Только часам к двум дня ответили сухо так, что всё, сын. А сколько вес, рост, самочувствие как—не сказали.

Я в одну минуту собрался, цветы на ходу купил—и к ним. Теперь—к *ним*. Их же двое теперь, а нас—трое. Бегу, что лось, машин не замечаю, прохожих с ног сбиваю.

Медсестра в роддоме дорогу загородила, нельзя к ней, говорит, цветы передам. Я: что да как. Она—глаза в сторону. Думаю, что-то тут не так. Походил, подождал и, к счастью, наткнулся на парня-практиканта из медучилища. Скучный ходит, в халате, в шапочке. Приставили его, бедного, передачки

беременным тёткам таскать, заскучаешь. Я его в сторонку отозвал и долго не упрашивал. Деньжат сунул, а он мне — униформу. Сделался я практикантом из медучилища, передачки понёс.

Нашёл Катюшку. Тихая лежит, бледная, улыбается слабенько. Сердце зашлось у меня, жалкая такая вся. Первое, что сказала, узнай, почему мальчика не приносят.

Удивился я, беспокойство опять в душе всколыхнулось. Нашёл дежурного врача. Сказал, что и как. Он на меня пристально посмотрел, долго так, неприятно. Я коньяк выставил. Сели, выпили. «За сына» — говорю, он кивает только и в глаза не смотрит. Бутылку усидели, и он мне медкарту протягивает, сам же сигарету взял и вышел из кабинета.

Почерк у всех врачей жуткий, но и того, что разобрал, хватило, чтобы сковало ужасом затылок: «Асфиксия… перелом… вывих… травмы позвоночника, черепно-мозговая травма…».

Карту на стол положил, ладонью разгладил, поднялся, ноги ватные.

Дежурный врач в коридоре у окна стоит. «Смотреть пойдёшь?» — спросил. Я кивнул. «А надо ли?» — снова спросил. Я снова кивнул.

Лежало в барокамере крохотное красное существо, всё его тельце было опутано проводками, капельницами. Тихо шуршал аппарат искусственного дыхания, что-то попискивало.

В барокамере лежал мой сын. Маленький красный человечек спал. Да нет, он не спал, он был в коме. Жизнь его поддерживалась только за счёт этих проводков, этого искусственного дыхания. Я видел живой трупик. Трупик моего сына.

Я не помнил, как вышел оттуда. Врач говорил ещё, что даже если ребёнок выживет, то будет стопроцентным инвалидом, не будет держать головку, не будет ходить, говорить, есть.

Мы ещё пили в его кабинете, я уже не помню, что.

Через час я снова зашёл в барокамеру. Долго стоял около, смотрел на него и не видел. Только слышал, как монотонно и медленно работает аппарат искусственного дыхания. И звук этот, тихий неназойливый, сделался вдруг для меня невыносимым, оглушительным, мучительным.

Я отчётливо припоминал ребёнка наших хороших знакомых, больного детским церебральным параличом. Всю жизнь он в коляске, ест — еда мимо рта течёт. Он, как все такие дети, одарён без меры. Научился как-то рисовать, кисть держит, мучается, смотреть страшно, но ведь рисует! На выставках даже его работы бывали. Всё это так. Но так же отлично я видел, как измучена его мать, каково ей всё это даётся. Не жизнь это. Нет! Я так не смогу!

И тут на глаза мне попалась кнопка отключения аппарата, я смотрел на неё оторопело. Потом шагнул. И нажал…

Аппарат затих. Тишина эта сдавила мне голову, запульсировала в мозгу, отзываясь нестерпимой болью.

Я включил кнопку снова и ушёл.

Когда спускался по лестнице, услышал дружный смех, доносящийся из кабинета, откуда пахло спиртным и салатами. Медработники отмечали праздник.

Когда на следующий день пришёл в роддом, мне сказали, что ребёнок умер, и попросили сообщить жене.

Катя забилась на кровати, и я впервые побоялся обнять её, стоял, окаменевший, рядом.

А дальше у меня было два пути — задавить себя своим смертным грехом, замучиться, запиться, съехать с ума и застрелиться, наконец. Или…

Или простить себя, чтобы жить дальше, чтобы всё это стало частью другой, не моей жизни.

Врачи в роддоме в ту ночь, когда я привёз Катю рожать, были пьяные в дупелину, продержали её в предродовой, пока она не стала кричать страшно. Ребёнок пошёл ножками, опутался пуповиной. Катя стала терять сознание, и думать надо было уже о том, чтобы спасать её.

Ребёнка тащили всем, чем можно и нельзя, сдавили головку, повредили позвоночник, вывихнули ручки и ножки. Родился он практически задушенным.

Не жилец он был. Хотя они, вот такие-то, как раз самые живучие. Выкарабкался бы и жил полным идиотом, и Катя была бы всю жизнь прикована к нему. Молодая, живая, способная, талантливая Катя угробила бы свою жизнь.

Я знаю, о чём ты сейчас думаешь. Думаешь, что это я струсил, я испугался трудностей, а вовсе не Катю пожалел. Ты даже скажешь, что я слабый человек. Слабый! Ха! Попробуй-ка жить с этим. Покоя-то нет. Всё и вправду чужое стало, вправду, как сон дурной приснился. Но, порой, такая тоска навалится…

Живу с этим уже пятнадцать лет. Уже и другому сыну четырнадцать скоро. Через полтора года решились мы с Катей на него. Здоровенный парень, меня перерастает. Спорит с нами, умничает, в специальной математической школе учится, девочки ему названивают. А ведь останься тот жить, этого бы не было на свете.

Кате я через год признался, рассказал всё, как было. Сказал. Не мог в себе держать, пить стал крепко.

Я не знаю, как она это пережила. Конечно, видел всё, как мучилась. Как боролась с собой, с непониманием, с ненавистью ко мне. Как уходила и приходила. Всё видел. Но как она смогла в душе, в уме это пережить. Один на один с собой. Этого мне прочувствовать не дано.

Вот и тебе я рассказал. Зачем? Ты сама решай, кто я и что я. Чтобы ты не думала обо мне слишком хорошо. Вижу ведь, смотришь на меня восхищёнными глазами, такая же молодая и доверчивая, как она когда-то. Давно она на меня так не смотрит. Совсем другая стала. И я другой.

Дай мне руку твою… Холодная какая. Страшно, да? Ты не бойся меня, я и сам себя боюсь иногда. Ты переживи мою историю, знаю, тебе для этого немало времени надо. Тогда только поймёшь, нужен ли я тебе.

Послушай, а что же это получается? Всё-таки расплатился я за свой грех? Самым дорогим

расплатился: нашим с Катей редким счастьем. До сих пор расплачиваюсь.

Вот я сейчас здесь, с тобой, а она… она знаешь где? Она тоже не одна, есть у неё мужчина кроме меня, и не первый за эти годы. Я всегда угадываю, как у неё новый роман начинается: сразу хорошеет, взгляд блестит, лишние килограммы и годы тают не по дням, а по часам. На какое-то время она становится той, двадцатилетней девчонкой, пусть на этот раз влюблённой и не в меня. А я в такие дни, будто впервые осознаю, что люблю эту женщину. И нисколько не мучаюсь, не ревную. Лишь какая-то грустная нежность в душе…

Ведь Катя ко мне возвращается. Всегда.

И завтра вернётся. Ведь вернётся? Правда?..

Ген войны

Мне часто снится война, ещё с детства помню эти сны. Всё очень натурально: взрывы, выстрелы, боль, крики. Чаще всего я в этих снах разведчик или гонец с важным пакетом. Всегда я—это зелёный ещё мальчишка в пилотке, серой застиранной гимнастёрке и таких же галифе, в тяжёлых, великих по размеру сапогах. Я бегу по полю среди взрывов, подбрасывающих столбами землю к небесам, пригнувшись, петляю, как заяц, будто бы так можно укрыться от этого бесконечного обстрела. А день весенний, солнечный, и кажется, что это лишь игра. Но на зубах скрипит земля. Я скатываюсь в овражек, поросший молодыми сосёнками, среди них чувствую себя чуть в меньшей опасности, но взрывы настигают меня и здесь. Сосёнки взлетают вместе с землёй, с вырванными корнями. Я перебегаю всё быстрее от дерева к дереву, спиной ощущая нависшую надо мной тяжесть самолёта-бомбардировщика, и среди грохота новых взрывов думаю лишь об одном: мне нужно доставить пакет, значит, долг мой—выжить. И тут же проваливаюсь в небытие…

Как монтаж в кино: теперь мне снится полустанок. Деревянные вагоны, солдаты. Кто ест кашу из котелка, кто умывается, кто тихо напевает, кто-то громко разговаривает, кто-то—раненый—стонет. У меня тоже рана, рука висит плетью, но я знаю, что пакет доставлен, поэтому мне даже радостно, и рана мало тревожит. Медсестра перевязывает мою руку, я прошу пить, она говорит, где есть вода, показывает, куда идти, и я пробираюсь через лежащих, стоящих, сидящих солдат, в таких же, как у меня, застиранных гимнастёрках. Лица людей усталые, запылённые, задумчивые. Они отдыхают после большого боя, они молча оплакивают потерянных товарищей. Мой пакет ждали и *те* тоже…

Я никогда не была на войне и молю Бога пронести мимо меня и моих близких эту страшную чашу. Но когда я думаю об этих снах, мне кажется, что всё это действительно когда-то происходило со мной—слишком уж остры ощущения. А как душат меня слёзы, когда смотрю фильмы о войне, всё во мне просто скукоживается от необъяснимой боли!

Я никогда не была на войне, но мой отец воевал. Может быть, это какой-то особенный ген страха перед человеческой бойней передался мне от него по крови. Может быть, этот ген, эта невидимая частичка появляется у выживших на войне людей. Этот сгусток ужаса, непонимания, скорби от отца к детям передаётся как предостережение, как мольба, чтобы никогда уже не взрывались бомбы, не трещали автоматные очереди, не плакали и не кричали от животного страха женщины и дети…

Как жаль, что нельзя знать это наверняка. Иначе давно бы уже можно было изобрести лекарство от жажды убийства, излечить ещё в детстве будущих муссолини, гитлеров, басаевых.

А мне снова снится сон. На этот раз я—разведчик…

Змей будет жалить тебя в пяту…

То было первое лето, проведённое нашей невеликой семьёй—я да мама—в деревне. В гости к нам часто приезжала моя троюродная сестра.

Вместе с нами мама обходила все прежде знакомые местечки, где она таким же подростком играла, живя на летних каникулах у деда с бабкой. Тогда у стариков собирались внуки и внучки всех возрастов. Пасли коз, месили ногами навоз на колхозной конюшне, купались вместе со свиньями в грязном пруду, бродили по перелескам… Теперь мама с тоской посматривала на давно проданный дом. Кто бы мог подумать, что через четверть века её потянет вдруг в родные места! Всё это она рассказывала нам с сестрой, водила в повзрослевший лес, искала и показывала нам старые тропы и дороги, видимо, стараясь через наши детские эмоции воскресить свои, давно смолкнувшие, потонувшие в прожитом.

Так забрели мы славным солнечным утром на старую дорогу, когда-то ухоженную и широкую, выводящую через лес к большаку. Теперь выезд был с другой стороны деревни, через поле. Там стояла ржавая железная остановка, и после проехавшей машины пыль густым облаком наносило с большака на дома и огороды.

Старая дорога вся заросла разнотравьем, высокими кустами и уже подпиравшими небеса деревьями.

Мы ели спелую крупную землянику, спрятавшуюся среди лесных цветов и духмяных трав, собирали букеты, а в сыром месте с изумлением увидели несколько скромных бледненьких цветочков ночной фиалки. Под жарким солнцем она не пахла так, как по маминым рассказам должна была. Белым, едва ли не прозрачным, на высокой светло-зелёной ножке соцветиям фиалки необходима была вечерняя роса, наползающие из-под елей сумерки приближающейся ночи. Только тогда она начнёт источать великолепный сильный, но не приторный, не дурманящий аромат. Тем более странным было, что её ближайшая родня, такая же фиалка, только с фиолетовыми соцветиями, не пахла вовсе, ни днём, ни ночью.

Мы миновали сырую низину, вновь поднялись на лесной пригорок, маленькую опушку, заросшую тесно жмущимися друг к другу юными сосёнками. Здесь было раздолье для маслят, которые мостами стелились под колкими, низко склонёнными к земле ветками. Три пары наших рук быстро

собрали в общую корзинку коричневые склизкие шляпки. Внезапно на опушку выскочил бурундук, наш радостный вопль так испугал бедного зверька, что он взметнулся на высокую ель, и больше, как ни таились, мы не увидели его.

Среди зарослей завиднелся просвет, и близкий лай собак подсказал нам, что старая дорога скоро закончится, и мы выйдем на зады деревни, где пасутся в загороде коровы и овцы.

Но внезапное живое препятствие заставило нас замереть. Сперва послышалось лишь тихое шипение, и мы не сразу, но разглядели в заросшей дорожной колее чёрную змею. Она свилась кольцом и, раскачиваясь в нашу сторону, лишь приподнимала острую голову с раздвоенным языком. Сестра вскрикнула и отшатнулась, отбежала подальше назад. Заметив движение, змея зашипела громче и вытянулась вверх, стала раскачиваться сильнее. Мы оцепенели от первобытного страха.

Тут только я вспомнила, что при мне была гладкая длинная палка, с резной, мною раскрашенной ручкой. Я всегда ходила с ней в лес, мне казалось, что настоящий грибник обязан ходить с палкой, хотя на самом деле она создавала лишние неудобства: мешала срезать грибы.

Как только я вспомнила о ней, ко мне вернулись силы. Я растормошила маму и сказала, чтобы она отбросила змею с дороги палкой. Но только мы зашевелились, заговорили, замершая было змея, вновь агрессивно вытянула голову и даже чуть подползла в нашу сторону.

— Уходи!—закричала мама.—Что мы тебе сделали? Мы не трогали тебя! Уползай отсюда!

По её голосу я с невольным удивлением поняла, что она очень напугана. Наверное, всегда странно ребёнку узнавать слабости родителей, открывать, что и у них бывают страхи, слёзы, неудачи.

Видимо, страх подстегнул маму, и она со всей силы ударила по змее. Чёрное длинное тело извилось от боли и злобы, на мгновение оплело палку. Мама с криком отбросила змею вместе с нею. Но змея тут же пружинисто встрепенулась и зашипела непримиримо. Мама отчаянно подхватила с земли брошенную палку и стала лупить по змее, выкрикивая:

— Вот тебе! Вот тебе!

Змея шипела, извивалась, выкручивалась. Удары часто не попадали по ней, лишь взрывали песок вокруг.

Мне казалось, что это длится уже час, а то и два. Сестра стояла в стороне, закрыв ладонями рот, сдерживая крик. Мамино лицо исказилось яростью, и это тоже было для меня открытием. Сыпались частые резкие удары, её рука, сжимающая палку, уже уставала, слабела. Но чёрное тонкое тело, очень походящее на короткий шланг, уже не сопротивлялось, уже смялось, скомкалось, смешалось с песком и взрытыми пучками травы.

Всё стихло. Мамина рука выпустила палку. Змея не шевелилась.

Мы обошли стороной то место, где она оставалась. Шли быстро, молча. Уже кончился лес, и коровы, гуляющие в загороде, любопытно смотрели на нас, пугливые овцы шарахнулись с блеянием.

Мне хотелось плакать. Наверное, маме и сестре тоже.

— Жалко…—едва слышно прошептала я.—Зачем мы её убили?

— Да. Жалко,—сказала мама.—Но она же не пропускала нас.

— Но мы могли обойти её… или вернуться назад…— тихо проговорила сестра.

— Говорят, что если убьёшь змею, с тебя снимается сорок грехов…

— А вдруг у неё детки там были,— всхлипнула я,—поэтому она так и защищала… гнездо своё-о-о!

Мы снова замолчали. Настроение было испорчено окончательно.

Весь вечер мы переглядывались виновато, запоздало просили прощения у убитого нами живого существа. Пусть и у змеи, пусть и у гадюки…

Никто из нас больше никогда не ходил старой дорогой, хотя там росла крупная сладкая земляника, было много грибов. Палка, которой была забита змея, скоро потерялась.

Не знаю, снялось ли с нас хоть по одному греху, но стыд и отвращение даже сегодня охватывают меня при воспоминании о том случае. С упрямой наивностью хочется верить, что змея та ожила, уползла к своим детям, вырастила их. Они никогда не ужалили никого, только ловили ночами лягушек да мышей.

Смешно столько лет каяться в том, чем иные люди гордятся, специально забивают случайно встреченных пугливых змей, суеверно подсчитывая снявшиеся с них грехи.

Первородный страх. Первородная вражда.

Змей будет жалить тебя в пяту. Ты—бить его по голове.

О понимании счастья

Мне всегда приходилось, да и до сих пор случается испытывать неловкость, какое-то замешательство, даже стыд, когда встречаю я на улице ли, в учреждении, в метро, на вокзале человека, убирающего мусор, подметающего пыль, сгоняющего тряпкой или метлой грязную воду от натаявшего снега. Чаще всего этот человек—женщина, пожилая, и без того изработавшаяся за долгую трудную жизнь. Облик иной красноречиво говорит о её тяге к крепким напиткам. Одна, бывает, поворчит привычно. Другая лишь запуганно и обречённо взглядывает на пробегающих мимо, не замечающих её людей, чтобы затем снова склониться к затоптанному полу и мести его, мыть, скрести. Ежедневно, однообразно, униженно.

Неловко было мне всегда от одной мысли, что, возможно, женщина эта ничуть не менее умна, одарённа, красива, чем все проходящие мимо, но отчего-то именно на её долю выпало подбирать, замывать за нами нашу грязь. С содроганием представляла я себя на её месте и, как все, спешила поскорее уйти, чтобы не видеть рабского труда человека.

Но «от сумы и от тюрьмы», как известно… Трудное время заставило и меня взять в руки ведро и швабру, и мыла, и скребла я полы в какой-то конторе, в дождливый тоскливый месяц октябрь,

смешивая воду для пола со своими горючими слезами. Песок и глина, натасканные обувью посетителей, размазывались по линолеуму. Я кляла свою судьбу, жалела себя, и жалениями своими доводила до полного отчаяния! Думала, что, доработав месяц, даже под страхом голодной смерти, никогда больше не пойду мыть полы. Пусть—белоручка, пусть—принцесса! Увольте!

После я только с ещё большим стыдом и ещё скорее пробегала мимо уборщиц. Пока не поразил меня случай в общежитии Литинститута, где обитала я два года, будучи слушателем Высших литературных курсов, вбирая в свою головушку науку писательства, а—большей частью—науку творческого сожительства с собратьями по перу.

Этаж, на котором жили ВЛКашники, убирала девушка по имени Надя. К литературе она отношения не имела, потому работала за возможность иметь крышу над головой именно в этом общежитии. Годика 22–23 ей было от силы. Юркая, с открытым, очень живым лицом и потрясающе честными ясными, распахнутыми навстречу всякому человеку искренностью и вниманием глазами. Она с неимоверной тщательностью, даже скрупулёзностью отмывала за творческой братвой всю жизненную накипь. Залитые жиром и убежавшими супами плиты, заваленные, забитые мусором и отходами углы уборных и кухонь, заляпанные, засорённые заваркой и волосьями раковины, обмоченные «благоухающие» унитазы, засыпанные окурками коридоры и площадки у лифта, после её прихода преображались.

Самым большим счастьем было успеть в туалет сразу после Надиного посещения, посидеть по-домашнему, уютно, до того, как массово ломанутся туда мыслители, чтобы превратить сиё место в вокзальный сортир.

Как-то ночью меня разбудил непривычный звук, доносящийся из коридора, спросонок мне подумалось, что кто-то плачет или кричит, но, прислушавшись, обомлела—сильным чистейшим голосом Надя выводила оперные арии. Я выглянула в изумлении из комнаты—девушка домывала коридор и самозабвенно пела, при этом лицо её было радостным, почти счастливым. Надя заметила меня, голос её оборвался. Она заулыбалась смущённо, извинилась, что побеспокоила и больше этой ночью не пела…

Я просто не могла смотреть ей в глаза, я заливалась краской стыда, когда встречала девушку с тряпкой на кухне или в умывальнике, мне всегда хотелось пошутить с ней, подбодрить её, скрыв тем самым свою неловкость. Надя в ответ улыбалась или потихоньку напевала что-то. И однажды я не выдержала и высказала ей свои мысли. Она вскинула на меня свои ясные глаза, полные удивления, улыбнулась растерянно и огорошила меня признанием: «А почему вы считаете, что я мучаюсь? Почему-то все стараются меня пожалеть! Почему все думают, что я должна быть ужасно несчастной? А я счастлива! Абсолютно! Правда!». И вновь запела, в который раз отскребая от кухонной плиты засохшие пригорелые наплывы.

Я была восхищена! И это чувство надолго осталось в моей душе, я по-иному взглянула на ситуацию, поняла вдруг, что может быть человек счастлив при любом расположении событий, уже хотя бы потому, что живёт!

Теперь, когда мне приходится делать что-то неприятное, нежеланное, я вспоминаю Надю. И работать уборщицей мне приходилось ещё не раз, но я уже не роняла на пол пустые слёзы, а старалась напевать или обдумывать очередной рассказ.

Четвёртое измерение

Часы пробили восемь раз. Я взяла ключи и вышла на крыльцо.

Солнце, громадное и огненное, ещё пылало за лесом. Брёвна дома окрасились от его лучей в удивительный красно-коричневый цвет. Но солнце быстро оседало за горизонт, и он менялся на глазах, превращаясь в привычный древесно-серый.

Велосипед приветливо звякнул и послушно выкатился следом за мной из сарая. Мы выехали за скрипнувшую калитку, и я оглянулась.

Край солнца потух за кромкой леса.

Взгляд мой будто прощался с домом. Вернуться ещё не поздно. Приготовила бы стол, а потом ввалилась к кому-нибудь и пригласила погулять на дне рождения… Но нет! Я всё решила, и мой велосипед уже уверенно катился по большаку, всё дальше и дальше от деревенских домов. Вниз-вверх. Вниз—стремительно, вверх—натужно. Дорога холмистая, но это доставляет особое удовольствие.

Мы поднялись на очередную вершину—далеко внизу тускло засветились фары машины. Велосипед сорвался с высоты и стремительно понёсся вниз, навстречу разгорающимся фарам.

На миг перед глазами мелькнул слепящий свет и тёмный бок легковушки. Меня накрыла волна пыли и душный запах отработанного бензина. Пыль скрипела на зубах, в горле першило.

Наконец, велосипед мой свернул на уютную лесную дорожку, и вместо удушливого бензинового облака меня окутал терпкий дух прелой листвы, шишек, грибов.

Сумрак ночи осторожно выползал из-под низких еловых ветвей и подбирался к кронам. Тропинка уже почти не различалась среди деревьев. Упругие колёса то и дело натыкались на корни, меня подбрасывало на седле. Пятна темноты стекались вместе, в сплошную пелену, скрывая стволы деревьев, ветви, заросли кустарника.

Словно от внезапного дуновения холодного ветра, меня охватил знобящий страх. Тот извечный страх перед природой, который достался нам от пращуров, но песчаная тропинка вдруг сделалась шире, и даже в такой густой темноте спасительно белела впереди. Только поэтому я не заехала в канаву, не налетела на поваленное дерево.

Но от страха никак не могла избавиться. Он пробивал мелкой дрожью всё тело. Зубы отстукивали чечётку. Какая глупость! Детский ужас, смешной и непреодолимый. Что же дальше-то будет?!

Осталось совсем немного. Вот и поворот…

Велосипед сильно подкинуло, и я словно стряхнула с себя пустой страх.

Лес внезапно кончился. Передо мной раскинулось бескрайнее поле, над которым витал аромат ночных цветов, а из низины, где, я знала, неспешно текла тёмная заболоченная речка, тянуло прохладной сыростью. Но главным здесь был одинокий холм, поросший ровной полосой молодых тонкоствольных сосен. Он был моей целью. Даже больше — это была моя мечта…

Лишь когда я совсем устроилась, постелив на землю нарочно захваченную старую куртку, и отдышалась, взгляд мой устремился вверх. Я, не раздумывая, выбрала именно этот склон холма и не ошиблась: между двумя соснами, похожими на замерших стражей, виднелось чёрное, в звёздном горохе небо и молодой худенький месяц.

Затаив дыхание, я вглядывалась в бесконечность раскинувшегося над головой Космоса, и сознание мутилось от попытки мысленно охватить всю его глубину.

И всё же я не могла полностью уйти в звёздную медитацию. Бояться, конечно, было нечего. Кто забредёт сюда ночью! Но сжавшейся в первобытном страхе душе всё казалось, будто из-за каждого ствола выглядывала нечистая сила.

«Трусиха! — сказала я себе. — Ну и сидела бы дома, как обычные люди. Нет, взбрело в голову отметить день рождения в лесу, ночью. Надоела обыденность? Кому рассказать — только у виска покрутят. А ведь непременно проговоришься! Не скули! Пусть становится прохладно, и зубы уже стучат не от страха, а от холода. Пусть нудный ночной комар повис около уха. Зато между этими двумя соснами есть твоя звезда!»

Я обмерла от счастливой догадки: если сегодня мой день рождения, то звезда моя, наверное, где-то близко-близко к Земле.

Пробежавшись глазами по всем звёздам, которые были на крохотном клочке между двух крон, я выбрала одну. Не очень яркую, возможно, не самую красивую, но — мою. И не важно, что её уже сто раз открыли до меня. Я её открыла заново и занесла на звёздную карту моего неба. Пусть её как угодно называли до меня — она носит моё имя!

Я улыбнулась сама себе. Где-то глубоко в груди зародился странный звук, и я не сразу поняла, что он похож на волчий вой. Мне непреодолимо захотелось завыть на свою звезду! Возможно, волки таким образом разговаривают с небесами.

Мои голосовые связки напряглись, и губы уже вытянулись в трубочку, но тут сзади раздался шорох, и я захлебнулась подступившей волной звука.

Господи, как стыдно! И смешно!..

Я осторожно оглянулась. Конечно, никого за спиной не было, просто налетел ветер, прошелестел травой и исчез.

Только тут я заметила, какая кругом тишина и глухая темнота. Кузнечики, так неистово стрекочущие каждую ночь под окном, здесь молчали. Тишина порой пугает, но сейчас мне наоборот стало спокойней.

Ещё в детстве я хотела прийти в лес, забрести далеко-далеко, сесть на большой пень и просидеть так всю ночь. Передумать всё-всё-всё. О прошлом, о будущем, о настоящем. И вот пришла. Сидела и думала — о настоящем, будущем и прошлом. Жаль, что четвёртого не дано. Для равновесия хотя бы. Впрочем, есть, я изобрела! Четвёртое — это то, чего не может быть. А об этом особенно приятно думать. Никогда не будет, но никогда и не разочарует. В детстве я думала только об этом четвёртом. И, наверное, тогда же мечтала о такой лесной ночи, жалея, что её никогда не случится. И — ошиблась.

Мне вдруг захотелось плакать. Я сжимала ресницы, резко открывала их и сквозь пелену слёз различала свою звезду.

Вот она! Сегодня она была рядом. Она волновала мою душу. Я могла говорить с ней. Просить у неё счастливой судьбы для себя. Делиться грустью и надеждами.

Этой ночью случилось то, чего не могло быть. Сбылась несбыточная мечта. Моя мечта…

Велосипед, весело побрякивая, катился по тропинке. Всё тот же дух листвы и грибов. В утреннем воздухе он чувствовался особенно резко. Росные капли посверкивали в траве, когда их осторожно касался луч восходящего солнца.

Деревня мокрыми от обильной росы крышами выглянула из-за поворота. Я вернулась! Не съел меня волк, не поломал медведь. Вроде бы ничего и не случилось.

Но эта ночь не забудется. И в минуты душевного томления не раз я буду искать на блеклом городском небе мою звезду. Но тщетно…

Сказка о зеркале

В одном большом селе жили-были люди. И Красавица в селе была. И Богатырь. И Старуха. И Ушастый. И Длинноносый. И Косоглазый. И Светлоликий. И Черномордый. И ещё много кого. Всех так вместо имён и кликали:

— Эй, Ушастый, здорова бывать!

Кивал Ушастый в ответ да так и верил, что уши у него больше, чем у всех.

Так же и Старуха верила, что она просто старая. И Длинноносый трогал свой нос и верил, что у него он самый-самый длинный. И Богатырь напрягал мускулы и, гордясь своей силой, перекидывал брёвна.

Верили люди в то, что им говорили. Потому как никто себя со стороны увидеть не мог. Не было в селе зеркала. Да и слыхом о нём не слыхивали.

Но жил в том селе Парнишка, завидев которого, все почему-то отворачивались, и здоровались с ним как-то тихо, осторожно. А иногда до Парнишки долетали их слова:

— Вот ведь Божье наказание. Уродится же такое.

Парнишка плакал, когда оставался один, всё больше людей сторонился. И хотелось ему увидеть себя, чтобы понять, чем же он так ужасен и виноват перед людьми.

За тяжкими думами забрёл он однажды в дремучий лес да и заблудился там. Плутал, плутал, вышел на поляну и увидел, как резвятся на ней

девушки — лесные колдуньи. А на дереве, что посреди поляны росло, огромное стекло висит. И колдуньи лесные перед этим стеклом вертятся, смеются.

Дождался Парнишка, пока наиграются лесные колдуньи и убегут, и пошёл к дереву. Но заробел. Чем ближе подходит, тем ноги у него слабее делаются.

И вдруг увидел он, что ему навстречу из стекла какой-то парень идёт, тоже робко ступает. Но всё ближе, ближе…

И вот уж близко совсем стал.

Всмотрелся Парнишка в лицо парня да и отвернулся, глаза в землю потупил и тихо так, осторожно с ним заговорил:

— Доброго здоровья тебе, человек.

А про себя подумал: «Вот, Божье наказание, уродится же такое…».

Только парень из зеркала ничего ему не отвечает.

Взглянул тогда Парнишка на него осторожно. И тот, из стекла, смотрит. Рукой махнул, и тот махнул. Подпрыгнул Парнишка, и тот подпрыгнул.

Тогда Парнишка протянул руку навстречу стеклу, и тот, из стекла, руку потянул. Коснулись они друг друга. Да только вместо тёплого прикосновения холодное стекло звякнуло в ответ.

Всё понял Парнишка, заплакал и пошёл, куда глаза глядят.

Наутро мать хватилась его, созвала народ, упросила идти искать сына.

Разбрелись люди по лесу, и каждый наткнулся на дерево, где висело зеркало. И каждый вдруг увидел себя впервые.

И Старуха узнала, что значит быть старой. И Ушастый узнал, что значит, когда уши торчат в разные стороны. И Богатырь увидел, какой он огромный и неуклюжий. И Черномордый всё тёр и тёр щёки, надеясь, что они станут чище.

И только Красавица всё смотрела и смотрела на себя в онемении, да так и истаяла…

Забыли люди и о деле, за которым пришли в лес, и все имена свои прежние забыли.

Теперь им нужно было самим придумывать себе новые, те, какими они себя увидели сами.

Перекрёсток

Невесомо, нежно, мягко. Летящая завеса из белых лохматых снежинок. Мир пёстрых фонарей, окон. Царство новогодней зимы.

Томление в груди… Если бы не рваные мысли в голове и не страх, что ничего уже не успеть!.. Но через пару часов он кончится, и будет совсем легко, свободно и спокойно. Начнётся долгий новый год.

А пока в мире снежинок и фонарей — таинство, неведомое простому смертному, но которое чувствует сердце. И больно ему, и сладко. Ожидание. Ежегодное ожидание чуда.

Я вздрагиваю на ходу — это прошептала шинами машина и растаяла в белой пелене. И опять жутковатое царство затаившей дыхание новогодней зимы. Город вымер, сокрылся в праздничных квартирах. И всё в ожидании чуда. Какого? Заранее известно — чуда не будет!

Последний перекрёсток загадочного лабиринта пустынных улиц, наполненных сказкой. Оставшиеся мне шаги ничтожны, а там — наигранный уют украшенной комнаты, равнодушный поцелуй, традиционный бокал шампанского под бой курантов, пожелания счастья, любви, радости… И всё. И ничего. Начало ежегодной новой жизни. Хмурое утро первого дня. Унылые лица. Хорошо, если хоть на одном мелькнёт улыбка. Вечный, кем и когда — неизвестно — придуманный сценарий. Законный, не имеющий права смениться. Так даже спокойней — никаких неожиданностей. Всё идёт своим чередом.

Последний перекрёсток. Сотворить довольное счастливое лицо и вперёд, домой, в праздник. Чуда не…

Боже! Такого быть не может, потому что не может быть никогда!

Четыре стороны у этого волшебного перекрёстка. Север, юг, запад, восток. И со всех четырёх сторон сразу идут люди! Из какого космического замысла, зачем, что свело их здесь в этот теперь поистине чудесный вечер? Казалось, гром небесный грянет средь молчания улиц!

Сошлись шесть жизней, шесть судеб. Одна — моя. Навстречу ей две медленно угасающих. Справа — две других: разгоревшаяся, ярко пылающая, а с ней — едва начавшая тлеть. Слева — ещё одна, на грани между тем, чтобы ярко гореть или совсем потухнуть. Неужели исчезнет?

А что остаётся, если каких-то полчаса назад всё для неё кончилось? И больше не начнётся, даже с новым годом. Полчаса отделяет её от нелепой ссоры. Полчаса, за которые утрачен весь смысл жизни. Для неё, для этой судьбы. Одной из шести. Быть может, самой несчастной. Куда идёт она, где кончится, когда? Но только не в эту чудесную ночь! Милая девочка! Поверь, всё придёт вновь. Подожди только два часа. Если бы я могла помочь тебе! Но наши судьбы лишь перекрестятся, как улицы. И вот ты проходишь мимо, унося с собой своё отчаяние. Иди, только будь в эту ночь благоразумна. И поверь в чудо. Желаю тебе *чуда!*

Четыре стороны у перекрёстка… Две судьбы, почти подошедших к развязке. Они идут парой, их лица в глубоких морщинах, но светлы и счастливы. Кажется, что всегда они были такими. А ведь за годы, которые они провели вместе, были и ссоры, и обиды, и потерянность. Всё ушло куда-то, осталось — счастье. Осталось чудо обретения друг друга… Пусть оно всегда будет с вами!

А это кто?! С хвостом-баранкой, с пятном на боку, с мокрым носом, на котором блестит растаявшая снежинка. Бежит, никого не замечая, по своим делам. Откуда и куда несут тебя твои холодные усталые лапы? К праздничному ли столу с сахарной косточкой или в пустой тёмный подвал с тощими рыжими котами? Беги. Нам не понять сейчас друг друга.

Четыре стороны… Ещё две судьбы. Мать ведёт за крохотную ручонку родного человечка. Никто не знает, куда приведёт его эта тёплая ладонь. Но я-то могу предполагать. В эту волшебную ночь я вольна выдумывать. Желаю опять же чуда, но какого!

Собрать бы всё самое-самое… Эх, не хватает необыкновенных идей! Пусть исполнится простое и главное — не совершай непоправимых ошибок!

Четыре стороны у перекрёстка. Встретились и разошлись. Казалось, гром небесный грянет средь молчания улиц. А ничего не случилось. Нет! Было *чудо*. Была *встреча*. Как планеты, недосягаемые друг для друга, на миг сойдутся однажды в мистическом параде, чтобы больше уже никогда не столкнуться в безграничном пространстве, так и люди эти, встретившись кратко, растаяли во вселенной лохматых снежинок. Среди миллиардов звёзд…

Одинокий свет тусклых фонарей над опустевшим перекрёстком. Городом. Миром.

Теория относительности

Рву на растопку старые книги — труды Ленина и Сталина. Пожелтевшая пересохшая бумага вспыхивает, словно порох, сгорает мгновенно, так, что дрова не успевают заняться огнём. Приходится сжигать страниц по пятьдесят.

И вдруг думаю — лет восемьдесят назад за такое-то дело я бы загремела в лагерь, да годиков на двадцать пять, да без права переписки. То есть — до скорого смертельного исхода. «Пришили» бы мне шпионаж, терроризм и антисоветчину! Следом бы сослали моих родных — маму, брата, сестру как членов семьи врага народа…

И сколько тысяч сгинули на веки вот так — за клочок газеты, за колосок, за неловко сказанное слово. А я жгу когда-то неприкосновенные труды Вождей, и в дом приходит тепло.

Как всё относительно в нашей жизни… В какие времена родишься? От какого страха будешь дрожать?

В средние века суеверно отправляли на костры рыжих женщин — теперь они считаются самыми красивыми. Да зачем так далеко ходить! Совсем недавно, при советской власти, нельзя было бродяжничать и тунеядствовать. Теперь — гуляй, рванина! Бомжи, попрошайки, калеки… Живите как хотите, валяйтесь под заборами. При той же советской власти много предприимчивых молодых людей попало в тюрьму за валютные махинации. Нынче же выйдите на улицу любого города — такие махинации творятся на каждом углу и совершенно официально.

Да, наверное, и к счастью, всё это в прошлом: ГУЛАГ, необоснованные приговоры…

А вдруг завтра придёт новое время с новыми законами? Ведь их — законы — мы же сами себе и придумываем. Чтоб не спали. Чтоб жилось лучше и веселее.

Миг счастья

Я помню один крохотный момент счастья в своей юной жизни. Мы с девчонками гуляли по родной улице, хихикали, глупо обсуждали прохожих. Дошли до магазина, что около вокзала, до перекрёстка и вдруг — вспорхнули, как спугнутые бабочки, побежали легко, весело через дорогу, заливисто хохоча на весеннем ветру. И я на крохотное мгновение ощутила какую-то неповторимую девическую невесомость, так вольно и свободно было бежать вместе с подружками, прыгая через поребрик тротуара, через все эти лужи и ухабы давно не ремонтированной дороги. Секунда неповторимого восторга обняла меня в тот момент, миг неосознанного юного счастья, и я с удивлением отметила, что не ощущаю тяжести собственного тела, что ноги мои, словно не касаются земли, что я почти парю над ней, что мне хочется со всеми делиться этим невероятным чувством. Да, это был миг счастья. Только тогда я этого не понимала. Оно, счастье, всегда вот такое — очень краткое, почти незаметное. И почему-то всегда осознание его приходит позднее. Вот как сегодня, когда мне уже тридцать пять.

А в тот майский день нам было по тринадцать лет.

В тот год я впервые влюбилась.

Владимир Селянинов

Смех нутряной

Настёнка

Господи, не наложи бремени более,
нежели снесть могу.

Священное Писание

Если коротко, то дело было так.

В палате большой больницы лечили девочку, у которой хирург удалил ступню. Девочка училась в третьем классе, и у неё была тряпичная кукла с пластмассовой головой.

В своём нездоровье она виновата сама: не надо было ей ходить в морозный день далеко от детдома. Но ей очень хотелось посмотреть на полянку, где летом было много красивых цветов и летали разноцветные бабочки.

Обмороженный палец ей отрезали в районной больнице, но потом оказалось, что в районной больнице нет какого-то заграничного лекарства, и её отвезли в большой город. Там её лечили разноцветными таблетками и делали уколы. К ней приходили серьёзные дяди в белых халатах, о чём-то говорили, разглядывая то, что осталось от ноги.

Сделали ещё операцию, а то, что осталось, опять покраснело. И очень болело. Девочка клала рядом куклу и гладила тонкими пальцами розовую пластмассу. «Настёночка ты моя»,—говорила ей. Или: «Если ты будешь плохо вести себя, то вырастешь дурой…». А однажды добавила: «И ты не сможешь адаптироваться в современное общество». Ещё она вспоминала одного мальчика, который летом сказал, что у неё длинные ресницы. «И вообще…»—добавила, смотря на бабочку, что села на цветок.

Оставшаяся часть ноги становилась всё «болючей»—не помогали ей разноцветные таблетки, и девочка все крепче прижимала к себе Настёну…

В это трудно поверить, но десятилетней школьнице пришла мысль о смерти, и от этого в её горле появился жёсткий комочек. И девочка подрагивающим голосом тихо сказала: «Я скоро умру, и ты останешься без меня… Ты тут слушайся…». А кого слушаться Настёнке, она не сказала.

И правда, скоро пришёл какой-то важный дядя и говорил сестре непонятные слова, смотря на неё внимательно. В тот же день девочку—с сильно заострившимся носиком—перевели в палату с ширмами у кроватей. Ей разрешили взять с собой куклу, потому что она просила не разлучать её с Настёнкой. И плакала.

Дня через два, ночью, девочке стало совсем плохо и ей захотелось, чтобы кто-то сел рядом и рассказывал о Новом годе и Деде Морозе, который принёс детям подарки. И чтоб ей он подарил новое платье, а Настёнке принёс красивые сапожки. Но за ширмой была тётя, которая спала, положив голову на стол.

Под утро девочка очнулась в последний раз и, как это бывает у умирающих, в полном сознании сказала: «Настёнка, я тебя очень-очень люблю». Она прижала к груди куклу, а между её длинных ресниц дрожало много влаги. Потом она вздрогнула телом и, пытаясь приподняться, кому-то сказала: «Я люблю тебя. Ты обними меня крепко-крепко». Видимо, забываться уже стала.

Утром разжали её тонкие пальцы, удерживающую куклу, а дядя-доктор, зачем-то посмотрев мёртвой девочке в глаз, разрешил её отнести в подвал.

Потом, за счёт какой-то статьи в бюджете, девочку отвезли на кладбище. На кладбище работали двое мужчин. Из неопрятных. Опуская гробик в могилу, один сказал: «Однако, ещё и не пробована никем». И он кивнул на безногое тело, укрытое серым больничным одеялом. Другой, видимо, из учтивой нашей интеллигенции, шутки не поддержал, а, дыхнув перегаром, только хмыкнул. Вот так: «Хмм…». Тем и проводили в последний путь.

Настёнку же больничная тётя бросила в большую машину с мусором. Машина, заурчав шибко лошадиными силами, отвезла мусор на городскую свалку, что рядом с кладбищем.

…И теперь, когда ветер с Енисея шевелит над могилой дощечку с белым номерком, дощечка поскрипывает жалобно. И тогда со свалки, где сжигают мусор, доходит дымок; он укрывает могильный холмик, напоминая о любви, которая, как и материя, не исчезает бесследно…

Недалеко ярко светят ночами огни большого города, но о том, что мы рассказали, не знает никто.

Смех нутряной как предчувствие гражданской войны

Валентин Петрович—подслеповатый и глуховатый, и кавалер «букета болезней» семидесятилетнего—получил письмо: «Заплатите налог, пеня растёт!». А Валентин Петрович много работал мастером на линейном строительстве в местах, где зимой снег бывает по пояс, летом грязь непролазная. От таёжного гнуса он пострадал много. А контингент на таких стройках?! Как минимум—две судимости. Вот почему в его «букете болезней» видное место занимали расстройство сердечно-сосудистой системы, нервозноподобные состояния, сопровождающиеся повышенной

раздражительностью. Была тахикардия, была бессонница. И вот он получает строгое, с печатью, письмо, где ему грозят.

Понятно, старый человек занервничал, если не сказать более, вспомнив, что он уже в прошлом году получал подобное письмо на бланке. И, кажется, в позапрошлом. За старый жигулёнок, уже три года как утилизированный. Есть документ, наконец! Вот почему Валентин Петрович сунул ноги в валенки, вот почему он их решительно направил в один из офисов, которых в стране стало много.

Не будем утомлять рассказом о том, как старик в очередях выстаивал, с какой неохотой ему отвечали дамы из окошка и как отправили его разбираться на этаж выше. К другой даме—строгой и при погонах.

А расскажем, как она, обеспокоенная содержанием вот таких вот праздношатающихся пенсионеров, смотрела на просителя, сжимающего крепко шапку.

— Что у вас?—взгляд она бросила оценивающий человека, но не вопрос, который он может иметь.

— Я третий раз плачу налог за машину, которую утилизировал. В законном порядке,—зная себя, Валентин Петрович старался говорить спокойно. Очень даже мирно с ноги на ногу переступал.

— Обратитесь ниже. Вам ответят,—хмурится.

На что старик без головного убора—как и положено ему быть в присутствии—стал объяснять, что уже был там. А теперь, если вспомнить о «букете болезней», то станет понятным, почему события далее стали развиваться стремительно.

— Отстоял положенное,—уже с напряжением сказал Валентин Петрович.—И, вообще, сколько можно?—добавил.—Это издевательство!—заметно громче.

Сидящая рядом со строгой дамой молодая дама, видимо, ещё только стажирующаяся, посмотрела на просителя, как на нечто забавное. На спинку кресла откинулась.

— Почему я должен платить налог за машину, которой у меня нет?!—не выдержал старик в старом бушлате монтажника. Подслеповатыми глазами сверкнул. А зря он так. Не надо было «сверкать»…

На это главная дама тоже откинулась на высокую спинку стула. Глаза повеселели. И это при строгом выражении лица! Многие возразят: невозможно такое. Да, было невозможно, а теперь стало очень даже возможно. Подслеповатый видит!

— Идите разбираться в окно номер шесть,—ухоженную руку она потянула к чашечке с чаем. С видимым удовольствием отхлебнула из неё.

— Нет-нет, вы напишите мне сей же час письмо с теми же печатями, что я ничего не должен,—вскричал старый, советских времён, строитель.—Прочерк поставьте в графе «долг»!—можно сказать, с пол-оборота завёлся.

Потом он стал выкрикивать, что он пойдёт жаловаться. И что вы тут все сидите, и кто-то ворует деньги и пр., и пр.

Очнулся Валентин Петрович, когда холёная помощница сказала, щурясь: «Вы сами уйдёте или охрану вызвать?» Хорошо отрезвляют эти слова праздношатающихся стариков из бывших строителей.

Выходя из кабинета, Валентин Петрович услышал голос начальницы: «Хватит, девочки. Давайте работать».

Несколько дней старик не мог успокоиться, своего нервного срыва стыдился. «В глаза смеялись,—иногда бормотал, расхаживая по квартире.—И ведь, ну, никакой же управы на них нет!»—возмущался. Как-то закон физики о переходе накопленной потенциальной энергии в кинетическую присовокупил к своим переживаниям…

Не стоило бы об этом и рассказывать, если бы не одно обстоятельство. Почему-то вспомнил Валентин Петрович в один из этих дней, как много-много лет назад, в такой же мороз, в их деревеньку мужики привезли с охоты большого волка. Живого, повязанного и с палкой в пасти. Он смотрел на окруживших его людей жёлтым глазом (другой был прижат к дну саней), понимая, что с ним станет скоро. Великая печаль была в его жёлтом глазу, откуда одна за одной—редко, но явно—появлялись слёзы. Но неожиданно волк стал смотреть куда-то мимо присутствовавшего здесь мальчика Вали. Мальчик Валя посмотрел рядом и увидел девочку его возраста. Обмотанную шалью, обутую в сибирские пимы и со слезами на глазах. Девочка плакала потому, что у животного заметно вспухли лапы от крепкой перевязи и потому, что он всё понимал.

Грустное воспоминание. Грустная ассоциация между девочкой—душой чистой и теперешними дядями в строгих костюмах, смотрящими с экрана телевизора весело… Конечно же, нехорошо успокаиваться тем, что воруют у всех. Грех это. Но такой он человек—этот старый Валентин Петрович. Простим его. Может, и нам когда простится.

Евгений Лукин

Памятник

Поэма в прозе и бронзе

1.

Самые аляповатые выставки в Петербурге случаются на Большой Морской улице. Кажется, художники тащат сюда любую рухлядь—портрет усатого председателя колхоза с красным орденским пятном на груди, зимний берёзовый пейзаж с ажурной стрелой башенного крана посредине, незамысловатый натюрморт, символически сочетающий невинные белые ромашки с ударным гаечным ключом. В обширных залах царит такой унылый дух минувшего бытия, а выставленные картины отдают таким прогорклым маслом идейного реализма, что и приходить сюда ещё раз не захочется.

Там сегодня и вправду было хоть шаром кати. Редкие посетительницы, в основном стародавние поклонницы угасающих талантов, хлопали глазами перед украшенными стенами, порой вздыхая от счастья узнавания. Действительный государственный советник Воробьёв, только что хлебнувший крепкой холостяцкой свободы в соседней рюмочной, этого прелого запаха, исходящего от потускневших холстов, не чувствовал. Видимо, оттого, что римский нос его был защеплён узкими змеиными очками, впившимися в переносицу. Заглянув на выставку по случайности, он раздражённо рыскал по залам, словно пытаясь кого-то обнаружить. «Тоже мне художники: ромашки, подорожники,—бормотал чиновник, проносясь мимо картин,—этак и я малярить умею».

Настроение у него было мрачное, обострённое к тому же ощущением безысходности. С самого утра Воробьёв искал самого себя. Безуспешность поиска была очевидна, и потому ничто этим дивным осенним днём его не радовало—ни хрупкая наледь луж, отражавшая неяркий небесный свет, ни сладкая изморозь водки, обметавшая по краям гранёную рюмку, ни, тем более, трогательно-наивная выставка старых художников. Даже нежданная ласковость высокопоставленной чиновницы, с которой он минуту назад обмолвился словом по мобильному телефону, не принесла обычного ублаготворения, а лишь вызвала рифмованную горечь: «Ах ты, душечка моя, душечка-подушечка!»

Последующей неприличной рифме он ужаснулся, поелику и в тайных помыслах не допускал вульгарного отношения к боготворимой начальнице. «Лучше зарифмую кружечку с подружечкой,—подумал Воробьёв,—будет как у Пушкина». Но тут же вспомнил, что великий поэт называл подружкой свою старую няню, а его начальница ещё блистала неотразимой красотой, как красное солнышко. «Нет, нет,—испугался Воробьёв,—она умница, она сразу поймёт намёк и наверняка обидится». Почему-то интимная рифма «подушечка» его никак не страшила, а наоборот—слегка тешила мужское самолюбие.

Изредка Воробьёв сочинял рифмованные экспромты, которые, как известно, изготавливаются заранее и произносятся при соответствующих обстоятельствах, создавая приятное впечатление об авторе, якобы внезапно озарённом божественным вдохновением. Правда, сказанное относилось к Воробьёву лишь отчасти: зачастую его экспромты, выдавая несколько склочный характер творца, оказывались далёко небезобидными. А происходило это оттого, что сочинял он по выходным дням, когда, оставшись наедине, вдруг начинал представлять себя не тем, кем действительно был всю рабочую неделю—трудолюбивым чиновником комитета по печати. Воскресные фантазии его обладали невероятными, умопомрачительными свойствами. Он воображал себя то бродячим певцом, подрабатывающим вечерами в каком-нибудь захудалом кабаке, то бритоголовым юнцом, улыбающимся какому-нибудь конголезцу в тёмном переулке, то бесстрашным боевиком, нагло разглядывающим фронтон Смольного через прицел гранатомёта. Потому и экспромты его переливались всеми оттенками чёрного юмора, как тонированные стёкла лимузинов.

Но сегодня сумасшедшие фантазии остались за пределами хмурого сознания Воробьёва. Он не находил себе места. Нет-нет, на самом деле он стремительно передвигался от картины к картине, с одного места на другое, но своего как раз и не находил. Тут его полуосмысленный взгляд неожиданно остановился на бронзовой скульптуре, одиноко возвышавшейся в конце зала. Она показалась ему знакомой. Вернее, знакомыми показались несообразные черты лица, отлитые в благородном металле—высокий лоб, символизировавший определённую глубину мысли, небольшой нос, горделиво вздёрнутый, пухлые щёки, раздутые от собственной значимости, окладистая борода, означавшая презрение к сиюминутным земным благам. «Не может быть,—в изумлении застыл Воробьёв,—не может быть!» Он опасливо приблизился к скульптуре, словно побаиваясь прочесть табличку под ней. Втайне он надеялся, что табличка назовёт другое имя и опровергнет его страшное предположение.

Увы, по табличке курсивом струилась невзрачная, но неумолимая надпись: «Поэт Евгений Васильевский». На мгновение Воробьёв окаменел, потом достал носовой платок и, отцепив змеиные очки от переносицы, медленно и скорбно, будто в глубоком трауре, пересёк залу наискосок—туда,

где красовался грубоватый портрет передовика производства, скалящего огромные щербатые зубы динозавра. «Выскочка! Выскочка!—лихорадочно протирал Воробьёв узкие чешуйчатые стёкла, думая, конечно, не о передовике, а о своём давнишнем приятеле.—Рифмоплётом назвался—и сразу в Горации. Я, мол, памятник себе воздвиг. Одна худосочная книжка, которую зажилил подарить, да две статейки в журналах—всего-то напечатано. И вот полюбуйтесь—скульптура».

Выйдя на улицу, он поначалу остановился в нерешительности, как бы размышляя, куда податься—направо или в рюмочную, а затем понуро побрёл в сторону тёмной громады Исаакиевского собора. «Это всё моя проклятая фамилия виновата,—чертыхался Воробьёв, заворачивая за угол.—Вот в Державине слышится что-то величественное, державное, в Пушкине—что-то задорное, артиллерийское, в Достоевском—нечто, достойное великого человека. А что слышится в такой фамилии, как Воробьёв? Одно и слышится, что вора бьют: воробей—вора бей. Какой ваятель возьмётся за памятник вору, да ещё отлупленному? Да никакой!»

«Эх, матушка, матушка,—глаза его заслезились.—Зачем ты меняла фамилию, когда выходила замуж? Был бы я тогда не Воробьёвым, а Андреем Олинским. Звучит, чёрт возьми! Фамилия возвышенная, гордая, благородного дворянского происхождения. Теперь это модно. Теперь все занимаются своими родословными. Вон хитроумный Карат целую книгу настрочил, доказывая, что он потомок благонамеренного пешехода, который был ненароком задавлен революционной лошадью в Одессе. Теперь, пройдоха такая, может претендовать на солидную денежную компенсацию от незалежной Украины: задавили дедушку—заплатите. А я на что могу претендовать? Ни на что! Даже на скромный памятник не могу».

У подножия Медного всадника, как это и бывает по воскресеньям, кучковались молодые женихи с невестами, нежными и прозрачными, как перистые облачка. Молодожёны пили из фужеров первые пузырьки семейного счастья и целовались под вспышки фотографической любви. Неподалёку терпеливо переминались две гнедые кобылы, приветствуя хвостами то ли вздыбленного медного коня, то ли возбуждённых гостей, пытавшихся и с ними поделиться радостными пузырьками. Суетливая воробьиная стайка кочевала от душистых навозных роз, декоративно разбросанных по земле, к подёрнутому благородной патиной лавровому венку, украшавшему чело всадника. Естественно, никто не обратил внимания на мрачного субъекта в чёрном кашемировом пальто, подошедшего к месту праздничного ритуала.

«Не в одиночестве печаль, а в постоянстве,—парировал Воробьёв всеобщее невнимание, сосредотачиваясь на царственной фигуре.—Вот у пушкинского бедного Евгения никакой фамилии не было, а кулаком Петру Великому всё же пригрозил. Мы ведь все—люди маленькие, нам только и остаётся, что исподтишка показывать фигу всяким высокопоставленным истуканам. У меня, слава Богу, хоть фамилия есть. Что ни говори, но Воробьёв—это звучит гордо! Вон воробей сидит на императорском лбище—бесстрашно сидит и так же бесстрашно гадит. На Фонтанке памятник чижику-пыжику поставили—пьянице беспробудному. А где монумент храброму воробью—этому маленькому символу народного сопротивления? Где, в конце концов, памятник Воробьёву?»

Воодушевлённый бронзовой идеей, он уже не слышал, как напоследок бились оземь тонкие фужеры, как заливчатый смех заглушался хлопающими дверцами свадебного экипажа и навсегда испарялся в синей бензиновой дымке. Эта реальная цветущая жизнь, становясь ирреальной, уже не представляла для Воробьёва никакого интереса. Настоящую реальность обретала идея создания памятника человеку незначительному, но желающему получить чудесное медное значение, человеку невеликому, но жаждущему достичь великой монументальной высоты.

Он стоял перед Медным всадником, воображая, что его скульптура может быть не хуже творения Фальконе, а в некотором смысле даже лучше—по крайней мере, его блестящую бронзовую физиономию не испортят трагические чёрные оспинки, что рассыпались по мужественному лику императора. Разумеется, ваять скульптуру должен знаменитый художник, который блюдёт строгие классические традиции и с пиететом относится к увековечиванию талантливых выходцев из народа, а не какой-нибудь завзятый модернист наподобие Михаила Шемякина, для которого ничто не свято—ни Бог, ни царь, ни герой. Попадись такому под руку, не постыдится вылепить и горбатый нос крючкотвора, и нескромную плешь селадона, протёртую на чужих подушках. Ещё, дурак, очки приладит к переносице, как будто нельзя без них обойтись. В результате получится не величайший монумент, так сказать, действительному государственному советнику, а никудышный памятник в очках, который и на кладбище-то поставить стыдно.

Вот, кстати, ещё одна проблема—где воздвигнуть сей шедевр? Понятно, что кладбищенский пейзаж не вдохновляет, да и посетители бывают раз в году—придут так называемые родственнички, помянут чекушкой с горбушкой, повсхлипывают для показного приличия и молча отправятся восвояси—ни высоких речей не скажут, ни пышных од не произнесут. Хорошо бы установить памятник в золотом треугольнике Петербурга, на пересечении трамвайных путей и человеческих судеб, неподалёку от Медного всадника или, на худой конец, в Летнем саду—конечно, не на главной аллее всеобщего отдохновения, а в укромном философском уголке, вблизи Аристотеля или Диогена. Там и ежедневные посетители прогуливаются, и цветы регулярно высаживаются, а иными вечерами даже выстреливаются фейерверки.

Вечерело. В потемневших небесах менялись погодные настроения. Ветер дул наперекор течению Невы, и волны внахлёст набегали друг на друга. Юные цыганистые наездницы, собрав последнюю дань милосердия, на усталых лошадях медленно тронулись в сумрак Александровского

сада. На опустевшей площади остались только воробьи и Воробьёв.

2.

По главной аллее Летнего сада, где обитают утренняя заря, истина и курфюрстина бранденбургская, двигалась романтическая процессия с разнообразными цветами. Её возглавляла молодая парочка, причём, девица была облачена в прозрачные кружева, которые то и дело обвевали синий костюм юноши, отделанный золотистыми пуговицами с двуглавым российским гербом. Приглядевшись, Воробьёв узнал вчерашних молодожёнов, особенно запомнившихся по необыкновенным патриотическим пуговицам жениха. Дойдя до дворцовой площадки, парочка свернула направо и вскоре приблизилась к философскому уголку.

— Здесь, Наташа, находится приют метафизической мысли, убежище античных основоположников,— заблистал юноша своими познаниями, галантно сопровождая молодую жену вдоль тенистого круга.— Вот это — скульптура Аристотеля, академика солнечного синтеза, а это — бюст Диогена, древнегреческого бомжа, жуткого мизантропа.

— Что же их тут собрали всех вместе, академиков и бомжей?— прикинулась простоватой Наташа, как будто впервые очутилась в Летнем саду.

— Демократия,— вздохнул юноша глубокомысленно.— Для вечности характерны святые демократические принципы. Там, на небесах, все равны.

— А это что за идиот в очках?— девица бесцеремонно остановилась напротив статуи, горделиво возвышающейся рядом с Диогеном.— Вроде как древние греки очков не носили.

— Не знаю,— растерялся юноша.— Видимо, какой-то новый экземпляр. Сейчас прочтём. Тут, Наташа, написано, что это — действительный государственный советник третьего класса Воробьёв А. В.

— Что он здесь делает, в этой античной богадельне?

— Я же говорил — демократия,— вздохнул юноша вторично и глубокомысленно.— Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор.

— А, ну понятно,— отозвалась Наташа на поэтическую цитату.— Только Воробьёв с Черномором вроде как из другой оперы.

— Почему из другой? Это, можно сказать, символическая авторитарная тень любой управляемой демократии.

Парочка покинула философский уголок, направившись к мраморному тезису козлоногого сатира, который сладострастно обнимал роскошный женский антитезис, совокупно образуя солнечный синтез Аристотеля.

«Стойте!— силился крикнуть вдогонку Воробьёв.— Стойте! Это давеча скульптор напутал, очки на нос, дурак, прицепил, а я просил его сделать без очков, как это было у древних греков и римлян, тоже древних».

Однако бронзовые уста его не размыкались, а правая рука, покрытая металлическою тогой, казалась закованной намертво. Эта абсолютно нерушимая неподвижность угнетала свободолюбивый дух Воробьёва, который привык награждать своих обидчиков серьёзной юридической оплеухой…

Он проснулся в поту бессильной ярости. Минувшая грёза Летнего сада представилась ему неминуемой, неотвратимой, неизбежной ужасной явью. Первая мысль, которая посетила его ум, была очевидной, как наставший понедельник: необходимо срочно подготовить правительственное распоряжение, запрещающее новобрачным посещать Летний сад, поскольку таким образом не только нарушается покой в местах отдыха, но и замусоривается территория пожухлыми цветами, вызывая дополнительные уборочные усилия персонала.

За стеной послышалось лёгкое старушечье шарканье и лёгкое стеклянное звяканье посуды. «Ну вот, домашний персонал проснулся,— с неудовольствием крякнул Воробьёв.— Не спится ему на пенсионном обеспечении». В темноте он нашарил махровый халат, отыскал очки, оказавшиеся почему-то под кроватью, и, выйдя в освещённый коридор, появился в настенном овальном зеркале, установленном в самом центре квартиры и потому отражавшем все ходы и выходы бытия.

Старинная квартира, занимаемая действительным государственным советником, представляла собою раскрывшийся трилистник — в одной комнате ютилась его мать, семидесятилетняя старуха, отягощённая дремучими причудами, в другой комнате находилась его спальня, хаотически усеянная электронными пультами, растрёпанными книжками и прочими скукоженными вещицами, источающими пряный аромат повседневности. В третьей же комнате располагалось научное святилище, сиротливо обставленное мемориальным шкафом, ампирным диваном, ломберным столом потёртой страсти, а также двумя резными креслами, продавленными в нежность. Сюда Воробьёв заходил лишь по великим праздникам, пытаясь вспомнить о своей лучезарной юношеской мечте. Бывало, откроет скрипучую дверь и, слегка взмечтнув, снова затворит её с запоздалым огорчённым выдохом: «Эхма!»

Но самой большой достопримечательностью квартиры являлась прихожая — обширное пространство между внешними и внутренними дверями. В отличие от остальной площади, благоустроенной для приятного пребывания на свете, она была так обшарпана и загажена, что иной гость, впервые переступивший порог, поневоле полагал, что перепутал адрес. На вешалке болтались тряпичные фигуры дождя, похожие на истасканные пальто, в углу валялись полиэтиленовые пакеты, заполненные затхлыми отходами существования. Прихожую не убирали года три, а уж не подновляли, пожалуй, целых три столетия — с тех пор, как здесь обретался обер-гофмаршал Леволд.

— Осторожно,— предупреждал вошедшего гостя Воробьёв,— мистический дух обер-гофмаршала не спугните.

— Тут не мистическим духом, а прошлогодними розами-мимозами веет,— учтиво отвечал гость.

— Да, подванивает,— соглашался хозяин.— Между прочим, прихожую я преднамеренно не ремонтирую, а использую как кладовую. С одной стороны сохраняю памятник культуры, а с другой —

отпугиваю воров. Согласитесь, будь воришкой, вы вряд ли полезли бы в квартиру, от которой за версту разит. Зато в комнатах у меня — неприкосновенное благоухание.

— Разве я похож на воришку? — гость открывал изумлённый рот и внезапно обнаруживал себя в овальном зеркале. — Я, скорее, похож на обалдевшего обер-гофмаршала.

Овальное зеркало одним махом поглощало пространство, время и различные предметы, попадающие в круг его зрения. Однажды оно, не поперхнувшись, употребило внутрь два десятилетия супружеской жизни вместе с печальной шубкой жены, отороченной серым кроличьим мехом. Следом в разверзнутой бездне зазеркалья исчезли железные погремушки сына, заклёпанного под крутого рокера, а также заплаканный взгляд дочери, который растворился в неизвестности. А буквально на днях, пируя с каким-то полуголым субъектом, оно беспардонно выпило весь годовой запас отличного шотландского виски. Впрочем, Воробьёв не был до конца уверен, что этим субъектом не являлся он сам.

А в понедельник, то бишь сегодня, это зеркальное чудовище незаметным образом стащило туалетные принадлежности, в частности, ароматный бумажный рулончик. Пропажа обнаружилась слишком поздно, когда Воробьёв уже приступил к привычным утренним занятиям. На счастье он вспомнил о неприхотливых воробьях Медного всадника, которые обходились без всяких принадлежностей. Смирясь, он тут же поднялся из неудобного положения, воспользовавшись крылатым библейским изречением.

«Будем как птицы!» — повторил изречение Воробьёв, молодецки садясь в служебную бричку типа «Volvo», отделанную великолепной кожаной обивкой, бортовым компьютером и прочими электронными наворотами, но главное — снабжённую легкоструйным подогревом переднего сидения. Придремавший слегка водитель очнулся и, воодушевлённый крылатым призывом, нажал на педаль жизнерадостного движения.

3.

Обер-гофмаршал Леволд был человеком настолько двуличным, что воочию раздваивался на две сущности. Одна прислуживала любезному царевичу Алексею Петровичу и, преследуя только личную выгоду, была до такой степени тщеславной и подлой, что по своей корысти могла принести в жертву и самого благодетеля. «Едва ли этот Леволд верит в Бога», — говаривал обычно итальянский посланник, наблюдая за скользящими пируэтами обер-гофмаршала вокруг престолонаследника. Так оно и случилось позднее, когда эта сущность, обложив хозяина подушками, помогла царевичу умереть от безвоздушной пустоты.

Другая сущность прислуживала ненаглядной супружнице Алексея Петровича — кронпринцессе Шарлотте. Обладая весёлым нравом, а также испытывая страстную любовь к мотовству и развлечениям, она нередко обирала бедную кронпринцессу до нитки. «Едва ли этот Леволд ходит в церковь», — говаривал обычно итальянский посланник, наблюдая за скользящими пируэтами обер-гофмаршала вокруг грустной Шарлотты. Так оно и случилось позднее, когда эта сущность, обложив хозяйку подушками, помогла кронпринцессе умереть от безграничной печали.

Согласно историческим свидетельствам, подлая сущность обер-гофмаршала Леволда скончалась в 1735 году, а его беззаботная ипостась преставилась двадцать лет спустя. Однако другие документалисты полагают, что двуличная сущность стала, в сущности, бессмертной и получила постоянную прописку в обшарпанной прихожей действительного государственного советника Воробьёва. По крайней мере, один выдающийся исследователь петербургского некрополя всерьёз утверждал, что среди особ, умерших за последние три столетия в городе на Неве, двуличная сущность не значится. Следовательно, она как ни в чём не бывало продолжала существовать в нашем северном измерении, обратившись в некий мистический дух, который обитатели квартала звали попросту Обером.

Мало того, этот Обер и нынче действовал в двояком направлении. Томимый неимоверным тщеславием, сначала он умудрился приобрести благосклонность администрации английского паба, расположенного по соседству с квартирой Воробьёва, и в результате паб ни с того ни с сего стал именоваться его высоким придворным званием. Затем, демонстрируя свой весёлый нрав, он решил очаровать картинистую даму, мерцающую обнажёнными линиями Модильяни на отдалённой стене этого увеселительного заведения, и в результате ответный воздушный поцелуй, незаметно посланный в дымную трансцендентность зала, обозначил успешное начало его готического романа.

— Что же вы так долго не приходили? — прикрывалась дама загадочным китайским блюдом. — Я не видела вас со вчерашнего дня.

— Дела и тяжести государевой службы, — извинялся мистический дух Обер. — Хозяин приходить домой мокрый как курица, бросаться не в себе на кровать, даже пёрышки не чистить, в одеяле зарываться, плакать.

— Ах, как романтично, — вздыхала дама. — Он что, влюбился?

— Как же, влюбиться, — передразнил Обер, — влюбиться в самого себя. Всю ночь бредить каким-то железным истуканом самому себе, метаться по кровати, что лазаретный больной, и всё время пытаться свои стеклянные очёса разбить.

— Разбил?

— Я же сказывать, дела и тяжести государевой службы, — поражался дамской несообразительности Обер. — Всю ночь я прятать от него очёса — под подушку, на тумбочку, под кровать. Он ведь без стеклянных очёс ни одной бумаги не прочитать, ни одного постановления не написать, а его законные постановления так требоваться для общественного здоровья отечества.

— Ну уж, — засомневалась собеседница. — Жили ведь древние греки без очков, а какие солёные законы принимали!

— Вот-вот,— подтвердил Обер.— Хозяин тоже про древних греков бормотать. Мол, какой идиотус прицепить стеклянные очёса не то Аристотелю, не то Диогену? Видать, дискутировать во сне с каким-то художником.
— Наверное, с Шемякиным,— мечтательно взгрустнула дама.— Я слышала от одной метафизической фигуры, всласть нагулявшейся по злачным мастерским, что Шемякин очень обходителен — весь день обходит свои драгоценные картины в хромовых сапогах и даже ночью их не снимает.
— Что, так в сапогах и почивать?
— Да, намажет сапоги гуталином, начистит щёткой до блеска и ложится спать, не снимая, как культурный человек. Та метафизическая фигура объясняла, что его чувствительная творческая душа, чтобы случайно не пораниться о грубости жизни, переместилась в пятки и прикрылась хромовыми сапогами.
— Бедняжка, как я её жалеть! — посочувствовал Обер, едва не всхлипнув.— Как я её понимать!
— Что-что? — вспыхнула дама, очнувшись от засапожных мечтаний.— Кого вам жалко? Сейчас же признавайтесь!
— Душа! Душа шемякинская жалеть. Она, бедняжка, ночевать под потной стелькой, во мраке гуталиновом, распинаться на ржавых гвоздях, будто истинная мученица египетская.
— А я уж подумала, что…

Она не успела договорить, как над стекольчатой дверью забренчал медный пастушеский колокольчик, в соломенное тепло помещения ворвалось дыхание ледяных звёзд — и на пороге появился тот, кто, отряхиваясь от хлопьев первого снега, едва ли спешил расставаться со своими последними иллюзиями.

4.

Поэт Евгений Васильевский скинул оснеженную куртку на скамью, протянутую вдоль тёмной кирпичной стены, устроился за деревянным столом, расцвеченным позеленевшими салфетками, и бросил взгляд на очаровательную барменшу за стойкой.
— Как всегда? — вопросительно улыбнулась барменша.
— Как всегда, Анюта.

Это «всегда» означало небольшую чашечку кофе и сто грамм водки, непременно в изящном бокале, поскольку гранёных стопок Васильевский на дух не переносил, считая эту советскую посуду убогим конструктивизмом нужды, а также примитивным строением зрачка Веры Игнатьевны Мухиной. «В них нет живой красоты,— объяснял он любопытствующим,— лишь мёртвенный кристалл. Ведь жизнь всегда округла, а смерть всегда квадратна».

Фарфоровая чашечка дымилась горячим кофе, изящный бокал блестел холодной прозрачностью водки. «Они сошлись,— подумал Евгений,— лёд и пламень, стихи и проза». Уже полгода он работал над петербургской поэмой, где стремился гармонически сочетать утренний туман Невы с голубым мерцанием компьютера, осенённого золотистым крылом ангела. Его герои — реальные люди — становились таинственными файлами, которые в цветочном беспорядке колыхались, пульсируя, на электронном рабочем столе, чтобы раскрыться духовными лепестками Мосха тогда, когда этого пожелает творец. Оттого казалось бессмысленным давать героям вымышленные имена — он предпочитал пользоваться теми, какие существовали в реальности. А сейчас в реальности имелось несколько имён завсегдатаев, которые завертелись, затрепыхались на его языке, когда он вошёл в паб имени Обера.

В основном, это были директора мелких магазинчиков и фирмочек, заполонивших близлежащие окрестности в последние годы свободоправия. Тут обретался разухабистый менеджер обветшалого петербургского жилья Сашок, допоздна потягивавший прохладное чешское пиво, пока за ним не являлась разъярённая жена с поводком супружеского долга. Сюда заглядывал и скромный обладатель местного зоологического ларька Борис Оскарович, цедивший крепкий кофе вприкуску со сладкими байками про дешёвые бразильские консервы для кошек и старушек. Здесь иногда отдыхал и мрачный нотариус соседней подворотни Магомед, неизменно заказывавший душистый шашлык своей перчёной кавказской молодости. Выражаясь библейским языком, каждого товароведа здесь было по паре, а правоведов и того больше. Среди последних своеобразной популярностью пользовался милицейский начальник Аверьяныч. Всегда под мухой, он громыхал волосатым кулаком по столу, регулярно грозя перепуганным посетителям: «На допрос! Все на допрос, сволочи!» И только прибывший специальный наряд был способен его успокоить: «Товарищ подполковник, давайте завтра всех вызовем, а сегодня пускай зверьки отдыхают». Шатающегося Аверьяныча бережно уводили под руки, а притихшие завсегдатаи потом долго гадали о своём утреннем расписании.

Но сегодня в этом блистательном созвездии имён явно не хватало центрального районного светила — действительного государственного советника Воробьёва, который ещё утром предложил Васильевскому встретиться и переговорить с глазу на глаз.
— У меня проблема,— вещал он в телефонную трубку,— нужен твой мудрый совет, нужна твоя помощь.
— Извини, я не юрист, и даже не его сын.
— Пойми, это необычная проблема! Она находится за рамками моей потенции, компетенции и общей юриспруденции.
— Какая-нибудь уголовщина?
— Какая уголовщина! Проблема чистейшей законной пробы!

На берегах Невы, Фонтанки, Мойки, а также Муринского ручья Воробьёв был известен ещё как страстный, неутомимый законник, порою лишённый чувства меры и меры сочувствия. Его юридическая мысль отличалась особенным, можно сказать, изящным иезуитством, но всё по мелочам. Разумеется, он был выше грубоватой самодеятельности органов правопорядка, хотя душою приветствовал художественный эксперимент Аверьяныча:

«Зверьки должны знать своего хозяина». Но его творческий дух временами достигал высот Игнатия Лойолы или Джироламо Савонаролы, только местного уровня. Выбрав очередную жертву, он методично и до конца преследовал её, выискивая в ней самые малозначительные ущербности, придумывая самые редкостные каверзы, ибо точно знал: когда-нибудь зверёк притомится, устанет и взмолится о пощаде. В общем, он был настоящим стражем российского закона дышла, причём, не столько по профессии, сколько по призванию.

Воробьёв явился на обусловленную встречу только в девятом часу вечера. Его чёрная вязаная шапочка поблёскивала снежными кристалликами, распахнутое пальто развевалось чёрными крыльями, а по лилейной сорочке испускался чёрный с блестящим узором галстук, некогда подаренный любимой начальницей на всенародный праздник настоящего мужеского начала. По всему было видно, что прилетела очень важная птица.

— Что случилось?—съехидничал Евгений, приветствуя запыхавшегося.—Буратино утонул? Колобок повесился?

— Хуже,—притворно нахохлился Воробьёв, присаживаясь на краешек деревянной скамьи.—Медный всадник поскакал не в ту сторону.

— Не понял?

— Сейчас расскажу.

Воробьёв разоблачился, артистично чиркнул зажигалкой и, закурив долгую сигарету мира, приступил к изложению оригинальной теории воробьиного отпора, обдуманной им в течение рабочего дня. Первый теоретический постулат заключался в том, что Медный всадник, олицетворяющий власть как таковую, испокон веков скакал за тем, кто ему сказал: «Ужо!» Однако с недавних пор он, оказывается, поменял ориентацию и теперь скачет за тем, кто ему сказал: «О, да!» Перепутав оду с ужом и растоптав её копытом, Медный всадник окончательно утратил своё историческое зрение, слух и значение. И сегодня достоин мощного воробьиного отпора, как, впрочем, его достойна и нынешняя никудышная власть.

— Главное, этот отпор необходимо делать ежедневно и усердно! Вот и всё,—поставил точку Воробьёв.

— А может, всё наоборот?—засомневался Евгений.—Может, власть обрела живые свойства и перестала быть бронзовой, потусторонней?

— Любая власть, в конце концов, бронзовеет. Тут даже спорить не о чем. Такова бородатая правда жизни.

— Хоть умри, но мне кажется, что Медный всадник не мог за тобой поскакать. В принципе не мог, даже в самом страшном сне.

— Ну да,—согласился Воробьёв,—не мог. Только лоб свой угрюмый всё равно поморщил.

— А ты говоришь: поскакал. Всего лишь поморщился. Самую малость, так что никто и не заметил, кроме тебя. Интересно, что такое ты ему сделал? Наверное, что-нибудь маленькое и гаденькое? Ну, признайся, так ведь?

— Ничего я ему не сделал,—возмутился Воробьёв.—Я просто стоял и смотрел. Смотрел, как воробьи отважно скачут по императорскому лбищу. И подумал, что…

Над стекольчатой дверью брякнул колокольчик, возвестив об очередном прибытии Сашка, отцепившегося от супружеского долга. Помутневшим взором Сашок обвёл туманное пространство английского паба, пытаясь обнаружить хоть каких-нибудь знакомых, но спьяну никого не узнал и, обречённо махнув рукой, отправился восвояси.

Долгая сигарета мира истлела, и Воробьёв предпринял удачную попытку заказать яичницу с помидорами, томлёнными в растительном масле. Яичница выглядела аппетитно—поджаренный белок был обрамлён золотистой корочкой, а зыбкие желтки слегка подрагивали, как юные перси. Под мякотью, овеянной укропной пыльцой, вздымались красные томатные бугры. Воробьёв деловито вооружился вилкой, напоминающей трезубец, и с размаху вонзил её в глазунью, окончательно придав обыкновенному столовому зрелищу сокрушительную динамику древней помпейской трагедии. Пока стальной трезубец летал над жёлтыми руинами, он увлечённо рассказывал о посещении выставки, которая навеяла на него тоску и уныние. Конечно, недобрым словом помянул и колхозный орден председателя, и гаечный ключ ромашек, и передового динозавра производства. Следом поинтересовался, какой бетонщик отливал скульптуру под названием «Евгений Васильевский»? Наконец, промокнув салфеткой жирные губы, сделал самодовольное заключение: «Выставка—дрянь, художники—дрянь, Воробьёв с яичницей—молодец!»

Наступала ночь. Последние посетители покидали гостеприимное заведение, плутая в нетрезвой системе координат. Картинистая дама, подарив напоследок воздушный поцелуй, удалялась в темноту с мистическим духом. Подсчитав выручку, очаровательная барменша запирала улыбку на ключ кассового аппарата. Предусмотрительный охранник улетучился в таинственных пролётах арок. Телевизор лошадиного формата, наржавшись за день, втихомолку пережёвывал оранжевые тюбики рекламы.

Лишь двое завсегдатаев продолжали обсуждать неоднозначные перспективы земного бытия, воплощённого в бронзе. Уже битый час Воробьёв уговаривал приятеля познакомить его со знаменитым скульптором. Надлежащее вознаграждение за творческий полёт резца он гарантировал.

— Зачем тебе памятник?—иронически вопрошал Евгений.—Лучший памятник чиновнику—цветение отечества и цветущее состояние граждан. Сей разумное, доброе и что-нибудь ещё, кроме кукурузы.

— Ага, так ведь спасибо всё равно никто не скажет. А тем паче никто и не подумает увековечить мою трудовую физиономию в благородном металле.

— Отчего же?

— Оттого, что люди неблагодарны по сути своей и добра не помнят.

— Ну, хорошо, хорошо,—согласился Евгений, подыскивая другие аргументы для вежливого отказа.—Тогда ответь, где ты хочешь видеть свою

трудовую физиономию, отлитую в бронзе? Перед Смольным не разрешат — там уже стоит одна. А кладбищенской прописки тебе ещё ждать и ждать.

— Приличному памятнику местечко всегда найдётся, — ухмыльнулся Воробьёв. — Это — уже моя печаль. Да вот хоть здесь соорудить, на улице Чайковского, напротив паба. Будут в паб заходить граждане, будут пить за моё железное здоровье.

— И будет он, несчастный, торчать среди клумбы, палимый солнцем, гонимый ветром, сеченый дождём и снегом. И каждый божий день будут сюда прилетать воробьи, усаживаться на бронзовую плешь и применять твою отпорную теорию на практике. Тебе это надо?

На самом деле Васильевский отказывал приятелю по другой причине. Он дружил со скульптором много лет, восхищаясь его необычайными бронзовыми грёзами, которые высоко ценились и не менее высоко оценивались, а потому даже в самом пьяном бреду не мог себе представить, каким образом он сделает такое предложение великому ваятелю.

— Я же не какой-нибудь прощелыга, я человек порядочный, к тому же платёжеспособный, — лопотал порядком захмелевший Воробьёв, пытаясь уразуметь, зачем барменша принесла ему какой-то денежный счёт. — Я ведь обязательно расплачусь. Я — такой. Ты же знаешь, какой я такой!

— У тебя, такого, никаких денег не хватит, чтобы расплатиться за памятник, — Евгений демонстративно разорвал счёт, выбросив клочки в тарелку. — Я, между прочим, о тебе забочусь, о твоём кошельке.

— Как ты не понимаешь! Это ведь навсегда, это ведь на веки веков! Понимаешь, я в вечности останусь! — пошелестев купюрами, аккуратно скреплёнными большой скрепой, Воробьёв жалостно протянул их приятелю. — Этого хватит?

— Вечность стоит дороже, — сурово отрезал поэт, пересчитав деньги и направляясь к стойке. — А вот пусть нам Анюта скажет, сколько стоит вечность?

— Шестьсот шестьдесят шесть рублей, — не моргнув глазом, известила барменша подошедшего клиента. — Бутылка водки, две чашечки кофе, одна яичница с помидорами — итого семьсот рублей.

— Хлеб посчитала?

— Хлеб у нас бесплатно.

— А любовь?

— Нахал! — фыркнула женщина, притворившись то ли оскорблённой, то ли польщённой. — Настоящая любовь цены не имеет.

— Ну вот, хлеб насущный бесплатно, настоящая любовь бесценна, а такая необходимая вещь, как вечность, стоит почему-то всего семьсот рублей.

Приятели уже приближались к стекольчатой двери, как дёрнулся колокольчик над нею и в бледном проёме поздней осени, будто некий кладбищенский призрак, опять возник разухабистый Сашок, в одной рубашке навыпуск, в помятых брюках с вывернутыми наружу карманами, в истоптанных домашних тапочках. Помутневшим взором он обвёл туманное пространство английского паба и на истошный вопль барменши — «Мы закрыты!» — обречённо махнул рукой:

— А ну вас к чёрту!

5.

Васильевский остров покачивался под порывами сильного ветра. Стальные мосты, звеня огромными коваными цепями, едва удерживали его на петербургском причале. Прямые линии, отмеченные редкими пунктирами прохожих, изгибались и теряли чёткую перспективу будущего. Морской вокзал сигнализировал тревожными огнями лондонскому туману и гамбургскому счёту.

Наискосок от Морского вокзала покоилась неколебимая твердыня позднего русского классицизма. Её не страшили ни мрачные волны наводнения, ни свинцовые тучи Балтики. Это был надёжный форпост мужества, суровая цитадель традиции, святой храм подлинного искусства. За его стенами расцветала настоящая творческая мысль. Короче, здесь, на излёте Большого проспекта Васильевского острова, в небольшом старинном особняке находилась мастерская Владимира Горевого.

«Милости прошу», — широким жестом приглашал скульптор в свою храмовину, и Евгений Васильевский со священным трепетом переступал порог грандиозной залы с высокими окнами и обширными антресолями, куда устремлялась железная спираль лестницы. Всякий раз Евгений испытывал необъяснимое желание подняться по ней и взглянуть на пространство залы с глухой антресольной высоты. Взгляд сверху меняет впечатление об изваяниях, расставленных по периметру мастерской. Император Павел Первый, например, весьма самоуверенно расположившийся на троне, кажется не таким величественным, а его чуть-чуть покосившаяся корона похожа на саму шапку Мономаха, какую народный самодержец, точно разудалый возничий, залихватски сдвинул набекрень. Екатерина Великая, конечно, выглядит не гордой царицей полночных стран, как могло померещиться снизу, а богатой дамой, полновесно дефилирующей по аллее в изысканном наряде. И только великолепный образ египетской богини Сохмет остаётся таким же, поскольку её львиная пасть устремлена ввысь, а раскосые глаза заворожены призрачным видением гигантского красного солнца, восходящего над седой пучиной мира.

Разглядывая эту прекрасную даму, Евгений с улыбкой вспомнил о недавнем проекте, предпринятом совместно со знаменитым скульптором, — проекте весёлом и чудаковатом, но чересчур дерзком, чтобы быть воплощённым. В державном Петербурге намечалось необычайное торжество матриархата, чего здесь не бывало как минимум два последних столетия. И вот, взирая на это неостановимое гендерное шествие к власти, друзья рискнули предложить петербуржцам низвергнуть памятник Владимиру Ильичу Ленину, некогда утверждённый перед Смольным, а взамен на пьедестал гранитной диктатуры воздвигнуть чудесную статую египетской богини. Правда, этому препятствовало одно существенное обстоятельство. Дело в том, что Сохмет, подобно упомянутому вождю мировой революции, также славилась своей неслыханной кровожадностью,

которую её бедный солнечный отец периодически утолял лишь с помощью ячменного пива, обманным способом подкрашенного под кровь. Евгений взялся улучшить отрицательный имидж богини, опубликовав в респектабельной газете «Санкт-Петербургские ведомости» пространную статью, где искусно превратил страшную львиную пасть Сохмет в безобидную кошачью мордочку её сестры Хатхор—покровительницы домашнего очага и сердечной любовной неги. В самом деле, что тут такого: была львица—стала кошка? В конце концов, двойственность всегда была присуща капризной женской натуре. К тому же Сохмет и Хатхор считались не только родными сёстрами, но и очами своего солнечного отца, так что подобная метаморфоза истолковывалось автором статьи как невинная замена ока на око. К счастью, публикация не возымела должного воздействия на прохладные умы петербуржцев, благоразумно воздержавшихся от повального низвержения истуканов, и победивший матриархат, потрясая львиной гривой, воцарился на берегах Невы без соответствующего монументального оформления.

— Хороша подполковница!—цокал языком скульптор, поглаживая Сохмет по голой щиколотке.—Перед Смольным её поставить в самый раз, в самый раз—поставить перед Смольным.

Мало кто знал, что стройная натурщица, позировавшая Владимиру Горевому, на самом деле была милицейской подполковницей и чуть ли не супружницей того самого Аверьяныча, который громыхал волосатым кулаком по пивному столу. Раздеваясь, подполковница оборачивалась соблазнительной красоткой, с которой хотелось немного поразвлечься на мягкой перинке, а когда вновь облачалась в синий мундир с двумя кровавыми струйками, стекающими по плечам, то возникало желание как можно быстрее расстаться. У подполковницы не то что фигура менялась на какую-то топорную, а даже сладкий голосок приобретал хрипловатый тембр, созвучный отрывистому рыку. Воистину: в каждой кошке скрывается львица, в каждой женщине—подполковница.

— Да, военный чин у тебя получился замечательно, можно сказать, гениально получился,—с тайным умыслом похвалил Евгений скульптора.—А почему бы теперь тебе не заняться чином гражданским и не вылепить бюст рядового чинуши, этакого вдохновенного крючкотвора и искреннего почитателя законной буквы? Почему бы не создать памятник настоящему российскому бюрократу? Быть может, он лучше подойдёт к классической панораме Смольного, чем твоя подполковница.

— Это не ко мне, это к Чуркину,—обиделся Горевой, никак не ожидая услышать такую галиматью от поэта, кичащегося своим безупречным вкусом.—Это Чуркин ваяет памятники профессиям. Вон жандарма в немецкой каске навалял, теперь ваяет мусорщика с мраморной лопатой. А завтра, поди, почтальона отольёт с толстой сумкой на ремне.

Это был давний спор между художниками. Один отстаивал принципы модельного искусства, где объектом изображения была некая фигура социума в натуральную величину, которая устанавливалась на улочках-переулочках—поближе к прогуливающимся добропорядочным обывателям. Подобные безликие манекены булочников и пивоваров в маленьких европейских городах создают иллюзорную атмосферу тёплого домашнего уюта. Их монументальное достоинство—в абсолютной непримечательности и утилитарности.

Другой художник называл эти невыразительные статуйки грубыми бюргерскими поделками, недостойными великого русского искусства. По его глубокому убеждению, объектом изображения должна быть колоритная личность, сложная трагическая фигура эпохи, отмеченная божественным знаком. «Петербург,—проповедовал Владимир Горевой,—величественная столица империи, и здесь нет места чугунным болванчикам подворотен. Здесь должна звенеть и петь священная бронза царей и цариц, прекрасных поэтов и зодчих мысли».

Не трудно догадаться, что в нынешние времена, когда золотым стандартом бытия стала не бесконечная небесная вертикаль, а отглаженный европейский шнурок, дискутирующие художники оказались по разные стороны добра и зла: один возглавил всемогущий академический ректорат, а другой продолжал потихоньку преподавать на кафедре вечности. И вот третьего дня давний философский спор между ними закончился тихо и тривиально, как мелкий осенний дождь,—Владимир Горевой был уволен из Академии классических искусств.

— Представляешь,—жаловался Евгению скульптор, тыча пальцем в бесцветную бумажку клеветы,—Чуркин обвинил меня в том, что я будто бы стащил моток проволоки. Зачем мне его ржавая проволока? Да пошёл он к Вере Игнатьевне со своей ржавой проволокой!

Имя Веры Игнатьевны Мухиной было нарицательным, поскольку именно она, следуя принципам европейского модельного искусства, создала русский аналог усреднённой фигуры социума. Ярким образчиком её творчества стала колоссальная символическая композиция, где никелированный пролетарий сливался с никелированной колхозницей в едином трудовом порыве. Подобное никелированное воплощение слишком человеческого едва ли являлось гуманным, ибо известно: когда обычного рядового человека воздвигают на пьедестал невероятной высоты, он поневоле превращается в чудовище. И потому всякого, кто пытался исповедовать модельную исключительность, настоящий русский художник посылал подальше—к Вере Игнатьевне. Понятно, что такое неслыханное ругательство в первую очередь относилось к Чуркину.

— Подожди, подожди не бранись,—Евгений внимательно изучал предъявленную бумажку клеветы.—Вот тут написано, что ты самовольно разгрузил какую-то машину с арматурой, да ещё потребовал заплатить за это.

— Ты что, считаешь, что я подрабатываю грузчиком? Я вообще-то академик, а не грузчик! Как ты себе это представляешь: стоит на улице машина

с металлоломом, мимо идёт себе академик и вдруг ни с того, ни с сего начинает её разгружать, а потом направляется в ректорат и говорит, что, мол, я тут по личному почину разгрузил целую машину труб, так будьте добры, заплатите мне за честный труд и грузовую доблесть?

— Ну, если академик был пьян, то…

— Да трезвым я был, трезвым. Академики всегда трезвы, когда проходят мимо машин. А спьяну я палец о палец не ударю — не то, чтобы трубы всякие разгружать.

— А может быть, ты силовик? — продолжал подтрунивать Евгений. — Решил от нечего делать поиграть мускулами, слегка размяться.

— Силовики сегодня трубы не разгружают. Силовики сегодня играют на трубах судьбы.

Евгений закурил. Проблема статуса человека, столь злободневная в современном киническом мире, теперь коснулась и его товарища. Он живо представил себе будущее: сначала человек, потеряв статус, некоторое время на что-то надеется, на что-то рассчитывает, потом время для него останавливается, желаемое возвращение представляется несбыточным, человек окончательно обретает статус бывшего человека и в один прекрасный день обнаруживает себя у помойного бачка или Диогеновой бочки, что, в сущности, одно и то же. Ну, а дальше начинается последний акт этой печальной драмы — драмы мизантропа, которому приходится общаться с себе подобными, как обычно говаривал, наблюдая за скользящими пируэтами бомжей вокруг помойного бачка, итальянский посланник Сардоникус, некогда прилежный ученик скульптора, а затем скиталец по ближнему краю света — Египту.

— Увы, теперь мне нужны не клодтовские кони, а Кони, — как-то безрадостно прокаламбурил Горевой.

— Какие кони? — переспросил Евгений, загасив сигарету о край пепельницы, переполненной окурками сомнений и тягостных раздумий. — Ты о чём?

— Да-да, теперь мне нужен очень хороший юрист, такой, как Кони. У тебя нет на примете Кони, который защитит мою академическую честь? Я с ним обязательно расплачусь. Ей Богу, расплачусь. У меня ещё есть кое-какие деньжата.

Евгения внезапно осенило — как будто гром среди ясного неба, вспыхнуло озарение, и на ум пришла спасительная идея.

— Ну Кони, конечно, на примете у меня нет, а вот хороший правовед найдётся, — спокойно заверил он. — Это больше, чем просто адвокат. Это — местный недооценённый Цицерон, ненароком скрещённый с переоценённым Нероном. И достанется он тебе почти бесплатно.

— Как бесплатно? — возмутился Горевой. — Я никогда в жизни не ел бесплатного сыра! Всё ел — ветчину, буженину, грудинку с корейкой. Даже утиное крылышко ел у китайского посла, а вот бесплатного сыра — никогда!

— Многое потерял, придётся разнообразить меню этим деликатесом, пока не поздно, — Евгений спешил поделиться со скульптором своей осиянной идеей.

Суть осиянной идеи была такова: один знакомый, действительный государственный советник, профессиональный сутяжник, задаром отстаивает в суде академическую честь Владимира Горевого, а благодарный Владимир Горевой, заново обретя свою кристальную честность, высекает ему памятник — чудесный и вечный. В общем, это был обыкновенный бартер, но с каким-то дьявольским душком, при котором производился своеобразный обмен между духовной и материальной категориями — высокая идеальная честь обменивалась на реальную бронзовую почесть. Напряжённо слушал Евгения скульптор, мучительно потирая лоб, разглаживая крупные морщины, а потом с какой-то мрачной безысходностью усмехнулся:

— Какая безделица — памятник соорудить! А я-то, грешным делом, подумал, что…

Распахнулась входная дверь, и в храмовину вошла Оленька, верная спутница Владимира Горевого на большом проспекте жизни. Рядом с продублённым кряжистым скульптором она выглядела тростинкой, хрупкой и бледной. Смутившись, девушка достала из сумочки длинный конверт, обклеенный египетскими марками пирамид и зелёных фиников. Конечно, конверт был уже бесцеремонно вскрыт, как гробница последнего фараона.

— Вот, от господина Сардоникуса весточка прилетела, — извинилась Оленька, протягивая письмо итальянского посланника. — Он пишет, что иллюзия — это единственная реальность, на которую можно хоть как-то рассчитывать.

6.

Потрескавшаяся лампа на ломберном столике мерцала загадочным изумрудом, излучая зеленоватый болотистый свет, отчего вся комната обретала манящую глубину тихого омута. Мутные травяные блики, точно молодая ряска, колыхались на разложенных листах, наплывали на бледное лицо Воробьёва, склонившегося над столешницей. Сознавая историческую значимость момента, он впервые в своём научном святилище составлял необходимую бумагу мировому судье, призванному защитить высокую академическую честь.

Маятник настенных часов, мерно раскачиваясь, неумолимо приближал час назначенной встречи со знаменитым скульптором. Воробьёв не стал затруднять себя поиском возможных вариантов стыдливого извинения, которое, в конце концов, принародно выдавит из себя изобличённый клеветник и которое всецело удовлетворит оскорблённое чувство творца. Этот извинительный набор был им давно и тщательно состряпан, любовно нашпигован чистосердечными глаголами и эпитетами, а напоследок изысканно оформлен коварным блюдом к постному столу клеветника.

По замыслу Воробьёва, в результате выигранной судебной тяжбы клеветник должен покраснеть до ушей и признаться, что он — злой и завистливый человек, который честным способом никогда не сможет сравниться с заслуженным художником, поэтому и решил возвести на него напраслину. Или: клеветник должен покраснеть до корней

волос и признаться, что он, отсутствуя на работе, знать не знает, кто заслужил особое право разгружать арматуру, поэтому он, дурачок, просто не подумал, что эту проклятую арматуру мог разгрузить не лично академик Горевой, а кто-то другой. Или ещё проще: клеветник должен абсолютно весь побагроветь и признаться, что ему, шкоднику, сызмальства нравится наветничать и лгать — мол, хочу лгу, хочу не лгу, но главное, чтобы за руку не поймали.

Отложив в сторону составленную бумагу, Воробьёв подошёл к большому книжному шкафу и снял с запылившейся полки тяжёлый фолиант. Здесь хранились все мелкотравчатые газетные статейки, где вкривь или вкось упоминалось его достопамятное имя. Он порылся в периодических отрыжках печати и наугад вытащил одну заплесневелую заметку. «А ещё в шляпе!» — гласил заголовок, под которым размещались славословия нашему стряпчему, весьма поднаторевшему в различных спорах, ссорах и склоках, а также приводился достойный образец его многолетней правовой практики:

«Руководство трёх творческих союзов возжелало выселить на улицу детскую музыкальную школу, дабы с выгодой сдать освободившуюся площадь в аренду ушлым коммерсантам. Одна независимая газета, где работал юрист Воробьёв, возмутилась: как вроде бы интеллигентные люди могут так бесцеремонно обращаться с детьми? Творческие работники обиделись на публикацию и подали в суд широкошумный грозный иск. В ответ юрист Воробьёв публично извинился, что чисто случайно принял истцов за интеллигентов. Пристыженные служители трёх муз отказались от судебной тяжбы, а юные таланты продолжили изучение скрипичных ключей в своей любимой школе».

Последняя страница фолианта уповала бледно-зелёной пустотой, что когда-нибудь и сюда опустится сизокрылое имя героического юриста Воробьёва. «Скоро, скоро, — погладил он шероховатую пустоту, — скоро обо мне узнает весь подлунный мир, вся объединённая Европа и даже Свечной переулок узнает». И бережно вернул фолиант на полку своего счастливого будущего.

Скульптор дожидался Воробьёва в скверике на Манежной площади — там, где полвека покоился закладной камень Николая Васильевича Гоголя, так, увы, и не ощутивший великое бремя монументального писательского седалища. Зато теперь вокруг возвышались бюсты классических петербургских зодчих — Росси, Кваренги, Ринальди и Растрелли в парике, а на закладном камне золотилась надпись, что означенные бюсты являются даром итальянского правительства и миланского муниципалитета.

«Хороши! — скульптор пристрастно оглядывал свои рукотворные творения. — Чёрт возьми, хороши получились итальянцы! Особенно этот в напудренном парике».

Владимир Горевой отнюдь не горевал, что его имени нет на памятном камне, как нет и имени его ученика — итальянского посланника. «Истина разобщает, ложь объединяет», — дипломатично высказывался в таких случаях Сардоникус, хотя именно ему пришла в голову идея увековечить эту блистательную архитектурную квадригу в бронзе, препоручив её творческое исполнение лучшему скульптору северной столицы. К тому времени сиротливый памятник Николаю Васильевичу Гоголю уже кручинился по соседству, в пустынном коридоре Малой Конюшенной улицы, отчего закладной камень на Манежной площади утратил магическую силу полувековой юбилейной клятвы.

«Вот посмертная судьба! — подумал Горевой о злосчастном русском литераторе. — Даже страшно себе представить. Стоило всего лишь раз бессмертную душу назвать мёртвой и превратить её в ходовой товар, как тотчас наступило возмездие. Не приведи Господь оказаться заживо погребённым, как Гоголь, и наяву испытать жуткие загробные страдания души, а потом с небесных высот наблюдать, как хохочущие товароведы скидываются по рублю и сооружают в земных пределах твоё убогое изваяние, когтями выцарапывая на постаменте свои омерзительные клички. Слава Богу, что здесь, на памятном камне, отсутствуют наши имена».

— Приятно, что мы оба пунктуальны, — за спиной скульптора внезапно обрисовался галантный Воробьёв, приготовивший по пути различные любезности. — А всё-таки жаль, что наших ваятелей не упомянули рядом с итальянским правительством и миланским муниципалитетом, очень жаль. А то бы все знали, кто именно сотворил бюсты — такое чудо!

При этом Воробьёв механически кивнул в левую сторону, видимо, полагая, что именно там находится некая всенародная абстракция, готовая к восторженному излиянию чувств. Присмотревшись, Горевой обнаружил в этой абстракции только двух одурманенных юнцов, сидящих на железной оградке и бессмысленно бренчащих на гитарных струнах, натянутых между колками колкого снега.

— Да чихать им на это чудо в бюстах, — резко повернулся Горевой. — Этим обкурившимся конквистадорам пиво на колёсах подавай да прыщавую девицу с серьгою в носу. Вон и на оградке уже намалевали — пиратская скамейка.

— Надо позвонить в охрану культурного наследия, — серьёзно озаботился Воробьёв, — пусть примут меры.

— Перестаньте! Этому культурному наследию, видать, уже никакая охрана не поможет, разве что конвойная. Давайте лучше поговорим о нас грешных.

Они перешли мостовую, заляпанную голубиной слякотью небес, и неспешно углубились в тишину Кленовой аллеи. Воробьёв посвятил скульптора в некоторые тонкости предстоящего гражданского дела. По его мнению, дело было не таким простым, но и не таким сложным, чтобы он, специалист по моральным обидам, не справился. К тому же тот, кто пытался расправиться с заслуженным художником, отныне становился и кровным обидчиком Воробьёва, а это значит, что супротивника ожидало неотвратимое и жестокое наказание. Вскочив на любимого юридического конька, Воробьёв зажёгся, заговорил вдохновенно, обнаруживая

недюжинные познания в судебной казуистике, недоступной простому смертному. Живописуя последнюю торжественную сцену истины, он великолепно разыграл роль раскаявшегося клеветника, опустившего долу очи, красные от стыда, чёрные от слёз. Он уже пророчил побивание общественными камнями, а затем позорное изгнание этого самого клеветника из академического рая. Но вдруг осёкся, взглянув на обомлевшего скульптора, готового то ли грохнуться наземь, то ли подняться на голубиные небеса.
— Что случилось?—испугался Воробьёв.—Вам плохо?
— Мусорщика жалко,—прошептал Горевой.
— Какого мусорщика?
— Мусорщика Чуркина жалко.

По летописной брусчатке поднялись они к узорчатым воротам Михайловского замка, за которыми виднелось изваяние императора Павла Первого, одиноко замерзающего на ледяном троне. Затуманились глаза Воробьёва, когда он разглядывал прекрасное творение. По правде говоря, едва ли ему хотелось очутиться в такой же опрометчивой ситуации, когда трон под тобою уже шатается, и самодержавная корона вот-вот покатится, подпрыгивая на камнях, а ты всё также горд и заносчив, и велеречив, и наивен в своей слепой уверенности. Нет, Воробьёву импонировали, скорее, победители, чем побеждённые. Холёные баловни судьбы казались куда притягательнее отощавших неудачников злого рока. Но скульптура, передающая трагическую царственную обречённость, всё-таки была гениальной.

«Надо признать, что монумент порфироносному простаку удался. А какой-то будет памятник мне, действительному государственному советнику?—забеспокоился он.—Уж не забыл ли Горевой о достигнутых договорённостях?»
— Вот, я принёс, как договаривались,—Воробьёв застенчиво извлёк из папки три фотографии: на одной был запечатлён его белый фас, на другой—чёрный профиль. Третья представляла собою цветной коллаж, где наш стряпчий гордо восседал на медном коне, прикрыв свою сухощавость могучим тевтонским щитом. Этот безыскусный сюжет он прихватил с собою в тайной надежде, что художник, быть может, проникнется идеей конной композиции и создаст нечто похожее на прославленный бурун Фальконе.
— В тюрьме, что ли, фотографировались?—с угрюмой деловитостью поинтересовался Горевой, рассматривая чёрно-белую контрастность будничного существования.
— Почему в тюрьме?—удивился Воробьёв.—Вы же просили фас и профиль. Для пущей достоверности, так сказать, моей трудовой физиономии. А это,—он ткнул пальцем в третий экземпляр,—это радужная перспектива будущего, грёза государственного ума.
— Ну, государственную грёзу с тевтонским щитом я точно лепить не буду,—Горевой по привычке перетасовал карточки и ловко спрятал фотографическую колоду в нагрудный карман.—Кто же выдумал такое?
— Поэт Евгений Васильевский!—похвастался Воробьёв.—Знаете, он ещё подарил мне на день рождения оригинальную канцелярскую фигурку—упругий бархатный задок юной конголезки, но почему-то с ушами.
— С ушами?
— Да, с оттопыренными ушами по бокам.
— И что?—Горевой чуть не подавился от смеха.—И что вы делаете с этим милым ушастым задком?
— Как и полагается по инструкции, храню канцелярские принадлежности в углублении—карандаши всякие вставляю, скрепочки.
— А я уж подумал, что…

Распахнулись узорчатые ворота, и машина, гружённая битым кирпичом, обрезками арматуры и прочим строительным мусором, медленно выкатилась на мостовую зимы.

Шёл снег вечности. Белые хлопья покрывали летописную брусчатку перед замком, клочьями свисали с деревьев Михайловского сада, заметали печальный трон несчастного русского императора.

7.

— Здесь, в мастерской, находится подлинник,—пояснил Горевой, расставляя на столе глубокие фарфоровые тарелки.—А там, в Михайловском замке, стоит всего лишь копия Павла Первого. Так, сейчас мы будем есть супчик.

Ароматный запах куриного супчика, поданного верной спутницей Оленькой, источался по пространству залы, достигая львиных ноздрей египетской богини и вздёрнутого носика самодержца. Ловко орудуя половником, хозяйка разлила по тарелкам золотистый бульон, заправленный картофельными кубиками и морковными звёздочками, и снова удалилась на кухоньку, оборудованную где-то за спиральной лестницей.
— Опять иллюзия подлинности,—продолжил застольную беседу Евгений Васильевский, пробуя горячий бульон.—Нас когда-нибудь уничтожат копии, неотличимые от оригинала. От копий всегда попахивает плагиатом. Кажется, соли не хватает.
— Ну, так не печатайся,—добродушно посоветовал Горевой, отламывая кусок хлеба.—Навеки останешься самобытным поэтом. А всё то, что вышло в тираж, обречено на копирование, заимствование, подражание. Олюшка, соль принеси! В конце концов, что такое слава? Слава—это когда тебя копируют, тебе подражают.
— Хорошо бы при этом, чтобы делали ссылку на первоисточник, а то ведь просто-напросто хватают чужую мысль и выдают за свою.
— Ничего не поделаешь, так устроен наш мир, который всего лишь копия надмирного бытия. А вот и соль.
— Выходит, философ Соловьёв со своими отзвуками и отблесками навсегда приговорил нас к плагиату.
— Да нет, копию всегда можно отличить от оригинала,—на минуту задумался Горевой, подыскивая точное сравнение.—Это как супчик—вроде бы тот же, а соли не хватает.
— То-то в столовых всегда недосаливают.

Сегодня круг важных бронзовых особ, среди которых пировали друзья, был несколько расширенным. Помимо египетской богини, императора и императрицы присутствовала ещё одна таинственная фигура, окутанная ослепительно белой тканью и опоясанная атласной лентою. Она молча стояла в отдалении, чуть позади императорского трона, безропотно дожидаясь чудесного мгновения, когда здесь появится тот единственный и неповторимый, кто назовёт её своею и навсегда заберёт отсюда — в золотой дворец счастья, на высокий минарет любви, в райский шалаш блаженства. Там, в небесных эмпиреях, она станет его ненаглядной сущностью, его драгоценной повелительницей и будет владеть им и владычествовать до скончания веков.

Единственный и неповторимый приехал тютелька в тютельку. Его появление сопровождалось таким неописуемым весельем, таким жизнерадостным хохотком, что друзья тотчас позабыли о всяком философствовании. Они поднялись из-за стола, оставив бронзовых особ любоваться фламандской роскошью блюд, украшенных прозрачными виноградными гроздьями, пылающими кусками багровой ветчины и орехами миндальной праздности. Очевидно, вся эта роскошь, мерцая и благоухая, предвещала не заурядную пьянку, но исключительное пиршество.

— Зима! Крестьянин, торжествуя, на «Volvo» обновляет путь, — торжественно продекламировал гость, расстёгивая чёрное кашемировое пальто, запорошенное снежными экспромтами. — Его бутылка, хлад почуя, сама открылась как-нибудь.

— Милости, милости прошу в мою храмовину, — приветствовал скульптор, помогая гостю раздеться. Из-под спиральной лестницы по-кошачьи выглянула Оленька, убедилась в необходимости своего присутствия и через минуту вышла к развеселившимся мужчинам, как обычно, бледная и хрупкая.

— Воробьёв, — щёлкнул каблуками гость, представляясь хозяйке. — Действительный государственный советник. Пока третьего класса. Но, но, но…

Он многозначительно поднял палец кверху, как будто там, в глухом антресольном поднебесье, уже строчился губернаторский приказ об очередном повышении по службе. Затем, описав рукой вычурное полукружие, подал Оленьке цветастую коробку восточных сладостей, а друзьям преподнёс бутылку шотландского виски.

— Предлагаю народный митинг по торжественному случаю начать, — выкатив вперёд животик, Васильевский прошествовал к императорскому трону и встал рядом с таинственной фигурой. — Сегодня на митинге присутствуют: действительный государственный советник Андрей Валерьевич Воробьёв, академик Владимир Эмильевич Горевой и народ. Кстати, где народ?

— Я здесь! — откликнулась из кухоньки Оленька. — Иду, иду, только сласти разложу.

— Ну вот, народ на подходе, — Евгений внушительно откашлялся. — Дорогие друзья! Братья по разуму и сёстры по ощущению! Сегодня в Санкт-Петербурге — знаменательное событие. Оно останется в наших сердцах навсегда. Мы непосредственно открываем памятник не только человеку, получившему чин, но и человеку, достигшему, так сказать, монументальной высоты. Он удостоился бронзовой чести, проявив несгибаемую настойчивость в долгой судебной тяжбе. И Фемида вынесла справедливый приговор — имя нашего замечательного скульптора, недавно подвергнутое испытанию чёрными красками, вновь блещет гранями первородной чистоты, а сам скульптор возобновил преподавательскую деятельность в Академии. Дорогие друзья, братья, сёстры и так далее! Разрешите памятник действительному государственному советнику Воробьёву торжественно разоблачить. Народ, где ножницы?

Две стальные молнии, сверкнув, скрестились над таинственной фигурой — и атласная лента послушной змейкою свернулась у подножия, а следом, шелестя нежными складками, рухнула ослепительно белая ткань. Народным взорам открылся очередной шедевр Владимира Горевого — памятник беспощадной целеустремлённости, беспримерному тщеславию и самолюбию, олицетворённому в конкретной личности. Высокий лоб с умными залысинами, холодные пронзительные глаза, римский нос с лёгкой горбинкой, плотно сжатые губы находили точное отражение в облике представшей скульптуры. Этому мужественному жестокосердному римлянину явно не хватало только лаврового венка на челе.

— Мёртвая голова! — ахнул потрясённый Евгений, подразумевая под этим название бывшей немецкой дивизии ужаса и ненависти.

— Да, характер стойкий, нордический, — невозмутимо подтвердил Горевой. — Так и было задумано.

Постояв немного, друзья молча направились к роскошному столу — пропустить по стаканчику шотландского виски, звенящего льдом. Воробьёв остался один, застыв столбом, что сирийский столпник.

«Свершилось! — ликовал он. — Теперь вечность от меня никуда. Вот она, рядышком, воплощённая в бронзе рукою почтенного мастера. Миленькая, наконец-то я обрёл тебя после стольких мытарств. Теперь никто не скажет, что Воробьёв — это звучит подло. Теперь любому станет понятно, что Воробьёв — настоящий железный феникс, всякий раз воскресающий из пепла бытия, и никто на свете не посмеет прервать мой непобедимый полёт. Пусть называют тебя мёртвой головою, как угодно пусть называют, а только ведь нам с тобою понятно, что пустые слова произносятся если не из зависти, то от страха. А страх — залог грядущей победы. Теперь нам с тобою нечего бояться, теперь пусть боятся нас».

Угощаясь шотландским виски, друзья философически наблюдали за Воробьёвым, который странно вытанцовывал вокруг своего памятника — то неторопливо удалялся, то стремительно, вприпрыжку, приближался, то привставал на цыпочки, сдувая с макушки воображаемую пыль, то низко приседал, стараясь заглянуть в левую ноздрю. Памятник магнетически притягивал, привораживал насмерть, и казалось, что Воробьёв уже готов крепко обнять его, засунуть за пазуху, пригреть

на груди, сделать что-нибудь невероятное, чтобы только никогда не расставаться с ним.
— Ещё неизвестно, где здесь настоящий Воробьёв,— заметил Евгений, почувствовав внезапно возникшую мистическую связь между Воробьёвым и его бронзовым подобием.— Ещё неизвестно, где здесь подлинник, а где — копия.
— Нет, он просто нашёл себя, свой истинный внутренний образ,— Горевой откровенно наслаждался необычным зрелищем.— Я страшно рад, что мне удалось поймать его железную идею за хвост. Ты только посмотри на него!
— Слушай, а сегодня ночью он никого не убьёт?

Неожиданно Воробьёв схватил памятник за горло, резко перевернул и, подобно опытному патологоанатому, принялся скрупулёзно исследовать внутреннюю пустотелость, как будто норовил отыскать там некую духовную сущность или, по крайней мере, скрытый механизм потустороннего воздействия. Поковырявшись внутри и ничего не обнаружив, он явно расстроился и с недоумением посмотрел на скульптора:
— А где имя?
— Какое имя?
— Ваше имя!— в его голосе послышался оттенок стальной требовательности.— Здесь нет вашего имени! Вы же сами говорили, что скульптура не может считаться подлинной, если на ней нет имени её создателя.
— Простите, художники всегда обещают что ни попадя, а отделываются, чем попало,— сардонически улыбнулся Горевой.— Минуточку, сейчас надпишем имя. Оленька, гравировальную иглу.

Помрачневший Воробьёв бухнулся на кожаный диван и нервозно закурил. Без сомнения, он чувствовал себя обманутым, одураченным, объегоренным. «Вот если бы не проверил, то так и остался бы с носом,— кипятился он.— Тоже мне академик. Заранее не мог надписать своё имя. Хотел всучить безымянную скульптуру. Потом доказывай, что это — гениальный шедевр. Грош цена шедевру без роду, без племени». Горячий пепел его сигареты в беспорядке падал на кожаный диван, местами прожигая обивку.

Между тем Оленька принесла гравировальную иглу, и Горевой приступил к священнодействию. Он опрокинул памятник, пристроив его между сапог Павла Первого. При этом истукан сначала сильно ударился носом о бронзовое голенище, а затем верноподданнически прильнул устами к императорской подошве. В таком блаженном раболепии истукан и находился, пока Горевой прилежно выводил на нём свою незатейливую подпись. «Ну вот, готово!»— опустил художник иглу, и Воробьёв, болезненно следивший за происходящим, опрометью бросился к памятнику, который обрёл окончательную подлинность.

Ночь прошла в безумстве храбрых. Едва Евгений начинал декламировать античные стихи: «Мало я знаю своих знаменитых сограждан — тех, кому бюсты при жизни творцы отливали», как восторженный Воробьёв вскакивал, бежал к монументу и лобызал родное темечко. «Если кому выпал жребий удвоиться в бронзе»,— пытался продолжить поэт, но Воробьёв резко перебивал его, настаивая незамедлительно совершить крестный ход вокруг мастерской, вознеся к небесам его памятник, как священную златотканую хоругвь. Горевой наотрез отказывался выходить на крещенский мороз, ссылаясь на простуду, и в бессчётный раз предлагал поднять бокалы в честь Фемиды, Афродиты и остальных прекрасных девушек… Евгений поддерживал благородный тост, но призывал выпить за царствующий матриархат в целом и египетскую богиню Сохмет в частности. Воробьёв категорически возражал, требуя в первую очередь воздать надлежащую почесть Оленьке, которая сегодня приготовила такой исторический праздник. После очередного стаканчика он вскакивал и целовал в темечко — теперь уже всех подряд, без разбору. Под самый конец пиршества кто-то громко воззвал к суровым северным ветрам: «Будем как птицы!» и провозгласил: «Над седой пучиной мира гордо реет Воробьёв», но кто это был — сам Воробьёв или его памятник, установить уже не представлялось возможным.

Он проснулся на диване жёстокого похмелья. Щека, прижимавшаяся к прожжённой обивке, обросла пепельной щетиной. Сузившиеся до щёлочек глаза силились низвергнуть монголо-татарское иго. На пиршественном столе вповалку лежали живые и мёртвые виноградные гроздья. Пустые квадратные бутылки выглядели средневековыми крепостями, разорёнными до дна.
— Да куда он подевался?— услышал Воробьёв осипший незнакомый голос.— Предписано немедленно забрать его отсюда.

Большие синие комбинезоны вольготно прохаживались по мастерской, обшаривали тёмные углы и хозяйничали посудой, угрюмо обнюхивая открытые горлышки и опрокинутые стаканчики. «Мародёры! Грабители!»— подумал Воробьёв и сжался до размера детского казуса.
— Вот здесь кто-то есть,— по-медвежьи переваливаясь, синий комбинезон приблизился к памятнику, на который, будто на магазинный манекен, была накинута модная воробьёвская одежда.— Ишь ты, пиджак напялил, да ещё галстук прицепил. Видать, рассчитывал, что мы не найдём его.
— Да это не тот, у того лавровый венок должен быть на голове.
— Ты что, с перепою? Лавровый венок только Цезарю положен, а Нерон всегда с голой головой стоял в Летнем саду.
— Говорю, не тот. У Нерона нос напрочь отбит, а у этого целёхонек, только слегка поцарапан.
— Так он же отреставрирован. Для того и привозили в мастерскую, чтобы восстановить.
— Ну, тогда забираем.

Входная захлопнулась дверь, и протрезвевший Воробьёв мигом соскочил с кожаного дивана. Он метнулся к опустевшему постаменту и перво-наперво подобрал свой талисман — чёрный с блестящим узором галстук, подаренный любимой начальницей. Повязав галстук прямо на голую шею, тихонько, стараясь не шуметь, поднялся на антресоли, где отдыхал Горевой. Спросонок тот не мог понять, о каком монументальном хищении

идёт речь, но потом уразумел и невозмутимо поведал ошеломлённому Воробьёву, что клятвенно пообещал дирекции Летнего сада отреставрировать статую Нерона как раз к сегодняшнему сроку.
— Но они всё перепутали и забрали мой памятник,— горячился Воробьёв.— Понимаете, мой памятник забрали!
— Ничего они не перепутали,— зевал Горевой.— Да вы не переживайте, я вам приличную копию сделаю — от подлинника не отличите. И потом — вы же сами хотели, чтобы памятник стоял в Летнем саду.
— Хотел,— признался Воробьёв.— Но я думал, что на нём будет написано моё имя, понимаете, моё имя, чтобы все знали, что это именно я, Воробьёв, а не какой-то там Нерон.
— Ну, знаете, батенька, вам не угодить,— натянув шерстяное одеяло, скульптор отвернулся к стене.— Вчера вы потребовали моё имя на памятнике написать, сегодня захотели своё имя на памятнике написать. Вы уж как-нибудь определитесь со своими иллюзиями, а я пока сосну чуток.

Держась за галстук, подавленный Воробьёв спустился по спиральной лестнице и в изнеможении припал к коленям египетской богини. Сохмет оставалась холодной и неумолимой. Неожиданно её страшная львиная пасть стала исподволь вытягиваться и расширяться, фантастическим образом превращаясь в раструб милицейского громкоговорителя. Наконец раструб достиг своего служебного положения и голосом любимой начальницы во всю мощь прохрипел: «Андрей Валерьевич, вы сначала определитесь со своими иллюзиями, а потом приходите ко мне на доклад». Испустив тихий стон, Воробьёв отполз от божественного изваяния, на четвереньках добрался до кожаного дивана и сиротливо прижался щекою к прожжённой обивке.

Когда он открыл глаза, полные слёз бессмысленного существования — существования без иллюзий, в мастерской царила мёртвая тишина. Император Павел Первый дремал на троне, не снимая начищенных сапог. Императрица с отвращением взирала на разорённый пиршественный стол, где вчера разыгрался захватывающий турнир между виночерпием и чревоугодием. Памятник Воробьёву, целый и невредимый, блестел зацелованным темечком.

Сохмет усмехалась.

8.

— Опять пьянствовали всю ночь?— картинистая дама, разгневанно сверкая обнажёнными линиями Модильяни, отвернулась к противоположной стене.— Не прикасайтесь ко мне, от вас за версту разит перегаром.
— Почему пьянствовать? Я не пьянствовать. Это хозяин пьянствовать,— оправдывался мистический дух Обер, неслышно проникая в отдалённую залу английского паба.— С тех пор, как появиться этот памятник в нашей квартире, с тех пор хозяин не просыхать.
— Какой памятник?
— Я уже сказывать, хозяин соорудить железный истукан самому себе, поставить его на шкаф и праздновать. Выпивать шотландское виски и говорить без конца: надо определиться с иллюзиями, надо определиться с иллюзиями.
— А какие у него иллюзии?— заинтересовалась дама.
— У него быть всего одна иллюзия — воздвигать себе вечный памятник. Он утверждать, что когда это сделать, то сможет сразу находить самого себя. И вот иллюзия сбываться, он с ней навсегда расставаться и находить себя.
— Что же тогда он такой несчастный? Что же горькую пьёт? Радовался бы, что иллюзия сбылась! Вот у меня столько иллюзий, но все такие несбыточные, такие призрачные, как вы.
— Я не есть иллюзия,— обиделся Обер.— Я есть мистический дух, вторая реальность.
— Ну ладно, ладно,— её голосок зазвучал примирительно ласковым обертоном.— Что-то вы плохо выглядите, под глазами синяки, как сливы.
— Дела и тяжести государевой службы,— вздохнул Обер.— Всю ночь не спать, всю ночь держать памятник, чтобы тот не падать на спящего хозяина.
— Да что за истукан такой ненормальный! Изверг какой-то.
— Я спрашивать у него.
— У истукана?
— Да.
— И что же он сказал?
— Он сказывать, что он есть ненаглядная сущность хозяина, и должен почивать с ним вместе, но я его ни за что не пускать падать на постель, я его стойко держать на шкафу — изо всех душевных сил.
— Вам надо подкрепиться, чтобы быть в хорошей форме,— забеспокоилась дама.— Нельзя, чтобы этот сумасшедший памятник упал на вашего хозяина. Он ведь его убьёт.
— Мадам, один волшебный поцелуй укрепить мои силы на целую вечность.
— Тише, тише, подождите, кто-то идёт.

Над стекольчатой дверью забренчал медный пастушеский колокольчик, в соломенное тепло помещения ворвалось дыхание ледяных звёзд, и на пороге английского паба появился тот, кто не спешил расставаться со своими последними иллюзиями. Поэт Евгений Васильевский прошёл в пивную залу, устроился за деревянным столом и бросил взгляд на очаровательную барменшу за стойкой.
— Как всегда?— вопросительно улыбнулась барменша.
— Как всегда, Анюта, как всегда.

P. S. В заключение автор считает необходимым пояснить, что некоторые действующие лица этой поэмы носят не вымышленные, а подлинные имена, то есть и впрямь являются действующими. Более того, главный герой — Андрей Валерьевич Воробьёв — занимает высокую должность в петербургском правительстве и серьёзно воздействует на нынешнюю действительность, в том числе литературную.

Эта самая действительность и подтолкнула автора к тому, чтобы написать письмо главному герою. В письме высказывалась просьба ознакомиться

с рукописью поэмы, подтвердить достоверность изложенных в ней фактов и дать отзыв, который позволил бы опубликовать поэму без изменений.

Официальный ответ пришёл в положенный срок. Обращаясь к автору, Андрей Валерьевич писал: «После ознакомления с вашей рукописью готов подтвердить, что все сведения, касающиеся меня, не повлекут для вас или издательства каких-либо вредных последствий, связанных с защитой личных нематериальных благ — моей чести и достоинства».

P. P. S. Одновременно в районный суд поступило исковое заявление, в котором автор обвинялся в непочтительном отношении к памятнику А. В. Воробьёву. В заявлении, подписанном вышеуказанным памятником, в частности, говорилось:

«Я работаю в должности памятника действительному государственному советнику третьего класса А. В. Воробьёву, занимая согласно штатному расписанию установленное место на платяном шкафу.

1 мая сего года ответчик, пользуясь российской конституцией свободы, распространил в воздухе некую поэму, где содержатся не соответствующие действительности сведения, которые указывают на непочтительное отношение ко мне.

Так, ответчик написал, что действительный государственный советник А. В. Воробьёв якобы «схватил памятник за горло» и «резко перевернул» его, тем самым придав действиям А. В. Воробьёва исключительно негативный характер. В действительности А. В. Воробьёв нежно обнял собственный памятник, не причинив мне никакого материального вреда, и поставил в наклонное положение. Как верно сообщил ответчик, данные действия А. В. Воробьёв произвёл с целью отыскать у меня внутри «некую духовную сущность или, по крайней мере, скрытый механизм потустороннего воздействия». Однако затем ответчик сделал ложный вывод, будто А. В. Воробьёв там «ничего не обнаружил». На самом деле именно я, памятник, являюсь духовной сущностью и скрытым механизмом потустороннего воздействия на действительного государственного советника, который неоднократно в присутствии свидетелей называл меня «миленьким» и целовал в темечко, что подтверждается текстом поэмы.

Кроме того, ответчик утверждал, что якобы я покушался на убийство А. В. Воробьёва путём падения с упомянутого платяного шкафа. Это опять же не соответствует действительности, поскольку А. В. Воробьёв создал неодолимые препятствия моему горячему стремлению сочетаться с ним в единой божественной сущности, предусмотрительно привинтив меня шурупами к шкафу. Я также заявляю, что отнюдь не собирался падать убийственным грузом на А. В. Воробьёва, а искренне намеревался лететь к нему на крыльях серафима.

Учитывая, что действительный государственный советник официально уведомил об отсутствии каких-либо претензий к тексту поэмы, прошу принять мой иск к делопроизводству и подтвердить, наяву ли ответчик является писателем Е. В. Лукиным, для чего в порядке досудебной подготовки прошу запросить с него членский билет Союза писателей».

ДиН стихи

Антон Полунин

Ч Ш

Турки грядут на редут наряду с облаками, причастными к смерти,
Фесок красны поплавки и эфесы сверкают, как жёлтые блесны.
Чистые шахматы: может быть, нами пожертвует некий гроссмейстер —
Не из расчёта, а в силу того, что рассеян и, верно, влюблён,

Пьян, очарован (сравнение с кварком уместно, поскольку напрасно).
Ядра летят, электроны летят, гравитоны свистят над холмами.
Стоит ли здесь на авось, наобум, без надежды (закончите фразу)…
Пушки нацелены, пешки построены — дело, похоже, за малым.

К чёрному с белым примешано красное — зрелище не для зевак.
Острая тень офицера магнитной стрелой рассекает пространство.
День удивительно солнечен, то есть, прелестен, как, вновь-таки, кварк.
Близится эндшпиль и турки, грядя на редут, не выходят из транса.

Облако делает дождь, закипает земля, кавалерия вязнет. .
Пешая тень по наклонной сползает поверхности, вехи враждебны.
Партия. Юный гроссмейстер при свете настольной похож на стервятника.
Ладно, разлейте коньяк и расставьте по новой — теперь уж — на деньги.

Варвара Юшманова

История одной песни

«Славное море, священный Байкал» Д. П. Давыдова

Людей, живущих в Сибири, окружает природа необычайной красоты. Каждому гражданину России, а тем более — сибиряку, хотя бы раз в жизни следует побывать на Байкале, чтобы увидеть какие прелестные места есть на его Родине. Это место не только поражает, но и вдохновляет. Знаменитый писатель В. Г. Распутин писал в 1990 году о Байкале: «У природы есть свои любимцы, которые она при создании отделывает с особым тщанием и наделяет особенной властью. Таков, вне всякого сомнения, и Байкал… Славен и свят Байкал — своей чудесной животворной силой, духом не былого, не прошедшего, как многое ныне, а настоящего, не подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и заповедного могущества»[1].

Я с шестилетнего возраста каждое лето со своей семьёй приезжаю на это озеро. Мы ставим палатки, готовим еду на костре, купаемся в холодных водах и наслаждаемся окружающей красотой. Здесь царит какая-то таинственная мощь, удаль, и постоянно звучат песни. Чаще всего — «Славное море, священный Байкал». Эти строки на побережье знает каждый. Они раздаются из соседних палаточных лагерей, из местных рыбацких деревень, с площадок туристических баз. Кто сочинил эту песню? Как превратилась она из авторского стихотворения в народную мелодию? Чем полюбилась людям? И почему через столько лет сохранила свой шарм и актуальность? Попытаемся найти ответы в истории песни и её содержании.

Автор и песня

Первые сборники русских народных песен появились в конце XVIII века. В них ярко прослеживалось отличие сельского словесного творчества от авторского городского. Последнее имело отголоски западной культуры, привезённой из-за рубежа Петром. В середине XIX века М. Глинка переосмыслил русские народные мотивы, создав фантазию «Камаринская» на тему двух песен. Основа была фольклорная, а форма — близка к западной. Этот метод стал широко распространён в России. Все авторские песни XIX века воспринимаются как народные. Они передавались из уст в уста, преображались, жили своей жизнью, а их создатели забывались.

Одной из таких песен является «Славное море, священный Байкал». Многие люди считают её народной, однако, это не совсем так. Автор слов — Дмитрий Павлович Давыдов, сибирский поэт и просветитель, исследователь, этнограф и археолог. Его стихотворение «Думы беглеца на Байкале» — изначальный вариант песни (Приложение 1).

Чтобы понять всю глубину чувства, вложенного в эти строки, благодаря которому они так полюбились народу, следует немного узнать об их создателе. Его отношение к Сибири, к России, к людям объясняет данный феномен.

Дмитрий Давыдов принадлежал к старинному дворянскому роду, трое выходцев из которого вписали свои имена в историю XIX века. Денис Давыдов сражался в партизанской войне против Наполеона. Он был известным поэтом, воспевающим гусарскую удаль. Владимир Давыдов участвовал в Бородинской битве и в восстании декабристов на Сенатской площади. За последний поступок его сослали в Иркутскую губернию. Он также писал стихи. Дмитрий же стал исследователем Сибири, первооткрывателем, а также автором строк, которые поют по сей день.

Он родился в Ачинске в 1811 году. В восемнадцать лет приехал в Иркутск. Его знания и математический склад ума гарантировали поступление в престижный столичный университет, но Давыдов остался верен Сибири. Был педагогом и краеведом, создал «Якутско-русский словарь», изучал быт эвенков, якутов и бурят-монголов. В записках поэт пишет: «Я посвятил себя занятию, к которому чувствовал призвание и, смею думать, усилия мои к распространению грамотности, смягчению нравов и развитию умов моих воспитанников не остались без последствий».

Восемь лет Дмитрий жил в пограничном городке Кяхта. В рукописном журнале «Кяхтинский литературный цветник» и газете «Кяхтинская стрекоза» публиковались его первые стихи. Уже из Якутска Давыдов посылал материалы о Сибири в петербургскую еженедельную газету «Золотое руно». А в Бурятии он основательно занялся изучением местной географии и народного быта. В стихах поэта ясно читался сибирский колорит и мотивы народных преданий. Его поэма «Ширэ гуйлгуху, или Волшебная скамеечка» — это сочетание автобиографических фрагментов с фантастическими вставками из бурятских поверий.

В 1858 году в «Золотом руне» появилось стихотворение Давыдова «Думы беглеца на Байкале». Через некоторое время оно превратилось в народную песню. Строки родились на песчаном берегу Байкала. Старый бурят рассказал поэту о том, как беглые каторжники переплывают озеро в омулёвых бочках. В интервью «Золотому руну»

1. Байкальская земля. http://baikal.irkutsk.ru/php/statya.php?razdel=baikal&nomer=16.txt

Дмитрий отмечал: «Беглецы из заводов и поселений вообще известны под именем «прохожих»… Они с необыкновенной смелостью преодолевают естественные препятствия в дороге. Они идут через хребты гор, через болота, переплывают огромные реки па каком-нибудь обломке дерева; и были примеры, что они рисковали переплывать Байкал в бочках, которые иногда находят на берегу моря, в которых обыкновенно рыболовы солят омулей»[2].

Вскоре появилась мелодия. Её сочинили заключённые с Нерчинских рудников. Песню запел народ: арестанты, ямщики, мастеровые. Её сразу стали изменять, переделывать строки на свой лад. Удалое «Эй! Баргузин» в припеве сменило «Ну, баргузин», появилась строка «Слышатся грома раскаты», исчезли длинноты и неудачные строфы, стихотворение заметно сократилось.

Первый сборник стихов Дм. Давыдова вышел в 1858 году. Его поэзию узнала не только Россия. В Европе история байкальского каторжника появилась в переводе Дюпре де Сен Мора. Автор книги «Образцы русской поэзии» ставит имя Давыдова в один ряд с Жуковским, Крыловым и Пушкиным.

В 1863 году «Славное море, священный Байкал» публикуется в журнале «Современник» в статье «Арестанты в Сибири». Здесь она представлена как образец арестантского творчества. То есть к этому моменту песня уже стала народной.

Выйдя в отставку, Давыдов неожиданно ослеп. Незрячий, он диктовал жене или дочери окончание автобиографической поэмы «Поэтические картины». Кроме неё, в наследие поэта, которое до сих пор не изучено, вошли «Якутские силуэты», «Тунгус», «Жиганская Аграфена», «Думы о покорении Сибири» из поэмы о Ермаке, «Ширэ Гуйлуху, или Волшебная скамеечка», «Думы беглеца на Байкале» и другие произведения.

Песня «Славное море, священный Байкал» меньше, чем через пять лет после первой публикации, была зафиксирована собирателями фольклора. Её различные варианты записываются и по сей день.

В 2009 году министр культуры и архивов Иркутской области В. Кутищева предложила выбрать именно эту песню гимном региона. Ведь её строки всем знакомы и очень любимы народом. К тому же, песня стойко выдержала испытание временем.

«Славное море…»

В стихотворении Дм. Давыдова «Думы беглеца на Байкале» одиннадцать строф. В переделанной народной песне — пять. По одной из версий, первоисточник музыки — польская повстанческая мелодия «За Неман». В некоторых сборниках указан композитор Ю. Арнольд, хотя, вероятно, он лишь обработал песню. За неимением точных данных, музыка считается народной.

Народными стали и слова. В них слышится и удаль молодецкая, и печаль о судьбе, и радость свободы, и раздумья о России.

Первый куплет наиболее известен. В нём читается отношение сибиряков к Байкалу. Они называют его морем, подчёркивая его мощь и глубину. А. П. Чехов писал: «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно, так что видно сквозь неё, как сквозь воздух; цвет у неё нежно-бирюзовый, приятный для глаза. Берега гористые, покрытые лесами; кругом дичь непроглядная, беспросветная. Изобилие медведей, соболей, диких коз и всякой всячины»[1]. Авторский эпитет «привольный» люди изменили на «священный Байкал». Благодаря этой замене поменялся смысл строфы. Вместо переживаний героя-каторжника, который наслаждается волей, на первый план выходит отношение народа к озеру. Поэтому этот куплет наиболее популярен. Многие люди не знают последующих слов песни. Распевая первую строфу, они выражают в ней восхваление великого Байкала, не подозревая о первоначальном смысле текста.

Ирония наполняет вторую строку куплета. «Славный корабль, омулёвая бочка» — это не метафора. Как было сказано выше, здесь описана реальная ситуация: беглец пытается переплыть Байкал в бочке.

Далее автор и все, исполняющие эту песню, с чувством обращаются к великому байкальскому ветру: «Эй, Баргузин, пошевеливай вал». Это название не только звучно и дополняет стилистический строй стиха, внося колорит местного наречия. Оно несёт в себе особую тему, значимую для тех, кто знаком с образами и легендами Байкала. На озере более 30 ветров, носящих каждый своё название. После вековых наблюдений местные жители выделили ряд закономерностей для каждого ветра. Баргузин дует из Баргузинской долины поперёк и вдоль Байкала. Его мощь постепенно нарастает. Но вскоре ветер приносит с собой солнечную погоду. Возможно, именно поэтому герой песни и обращается к нему. Дующий повсюду, Баргузин не приносит шторма, а предвещает тепло и ясное небо, то есть — светлое будущее сбежавшему каторжнику. Ветер олицетворён. Он вместе с Байкалом и «кораблём-бочкой» — единственные помощники путника.

Беглец поёт о своей судьбе, о том, как освободился от цепей, покинул рудники Акатуйской тюрьмы в Забайкалье:

> Долго бродил я в горах Акатуя.
> Старый товарищ бежать подсобил,
> Ожил я, волю почуя[3].

Просторечные выражения близки народу, с ними песня становится родной. Наравне с незатейливыми строками, простыми, привычными для любого человека, в тексте встречаются фразы, содержащие изящные изобразительно-выразительные средства. Например, «Пуля стрелка миновала», эта лаконичная метонимия чистая и точная. Её характеризует уже то, что она понятна и близка народу. Кроме этого, слова здесь протяжны и сливаются в мелодии в одну звуковую линию,

2. Суханов О. Автор гимна Байкалу — Дмитрий Давыдов. Номер один. — 9 ноября 2005 — с. 9.
3. Русские песни и романсы. Вступ. статья и сост. В. Гусева. — М.: Худож. лит., 1989. — с. 128.

в которой красиво подобраны гласные и согласные. Далее автор всё также не отступает от фактов:

Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой[3].

Беглым каторжникам в пути помогали местные жители. Этот обычай существовал не только в Сибири, но и далее, в Приуралье. В. Г. Короленко писал в воспоминаниях о том, что в Пермском крае, где он отбывал ссылку, в XIX веке было принято на ночь выставлять у дома молоко или хлеб «для беглых из Сибири». Каторжники встречались там редко, но люди соблюдали обычай.

Последняя строфа песни первой и третьей строкой повторяет первый куплет. Завершающей фразы «Слышатся грома (бури) раскаты» нет в авторском стихотворении, её придумали люди. Вместе с ней всё четверостишие принимает форму народной песни, в которой «наиболее характерным средством создания образов служит параллелизм—сопоставление чувств и переживаний человека с картинами природы. Важное место в лирических песнях занимает символика, постоянные эпитеты, обращения к природе и другие приёмы, которые придают их поэтическому стилю красоту и выразительность»[4]:

Славное море—священный Байкал!
Славный мой парус—кафтан дыроватый!
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся грома раскаты[3].

В некоторых зафиксированных вариантах песни шесть куплетов с кольцевой композицией (Приложение 2). Последний полностью повторяет первый. В этом случае предостерегающий конец пятой строфы смягчён шестым четверостишием, оканчивающимся надеждой: «Молодцу плыть недалечко». Это чувство пронизывает всю песню. Недаром же народ сменил просящее «Ну, баргузин» на весёлое «Эй!».

Закончить хочется вновь словами В. Г. Распутина, сибиряка и художника слова: «О Байкале осталось столько восторженных отзывов, что из них можно составить не одну книгу. Стократ больше осталось не записанным и, должно быть, организованное в музыку, звучит в иные дни, когда нужно ответствовать небу, дивной песней человеческого благодарствования. Долгое время поклонение Байкалу было всеобщим, хотя и затрагивало у одних прежде всего мистические чувства, у других—эстетические и у третьих—практические. Человека брала оторопь при виде Байкала, потому что он не вмещался в его представления: Байкал лежал не там, где что-то подобное могло находиться, был не тем, чем мог быть, и действовал на душу иначе, чем действует обычно «равнодушная» природа. Это было нечто особенное, необыкновенное и исключительное»[1]. Записанное и незаписанное действительно звучит. Так же, как эта песня. Она сюжетна и лирична. Герой её, автор этих строк и весь народ одинаково восхищаются этим дивным озером. Разделяя это чувство, люди поют красивую песню, которая для каждого звучит по-своему.

История «Славного моря…» не закончилась. Ведь и стихотворение «Думы беглеца на Байкале», и рождённая от него песня продолжают жить. И пусть народ преобразует слова ещё и ещё, мощь и чувство, вложенные в них, останутся нетронутыми. Ведь именно из-за этого строки до сих пор передаются из уст в уста.

4. Славянский фольклор. Сост. Н. И. Кравцов, А. В. Кулагина.—М: Изд-во Московского университета, 1987.—с. 276.

Приложение 1

Стихотворение Дмитрия Давыдова

Думы беглеца на Байкале

Славное море, привольный Байкал.
Славный корабль, омулёвая бочка.
Ну, баргузин, пошевеливай вал,
Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи носил:
Худо мне было в горах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь:
Горная стража меня не видала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,
Близ городов я проглядывал зорко.
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Весело я на сосновом бревне
Вплавь чрез глубокие реки пускался.
Мелкие речки встречалися мне—
Вброд через них пробирался.

У моря струсил немного беглец:
Берег обширен, а нет ни корыта.
Шёл я каргой и пришёл наконец
К бочке, дресвою залитой.

Нечего думать—Бог счастья послал:
В этой посудине бык не утонет:
Труса достанет и на судне вал,
Смелого в бочке не тронет.

Тесно в ней бы жить омулям.
Рыбки, утешьтесь моими словами:
Раз побывать в Акатуе бы вам—
В бочку полезли бы сами.

Четверо суток верчусь на волне,
Парусом служит армяк дыроватый.
Добрая лодка попалася мне,
Лишь на ходу мешковата.

Близко виднеются горы и лес,
Буду спокойно скрываться за тенью,
Можно и тут погулять бы, да бес
Тянет к родному селенью.

Славное море, привольный Байкал,
Славный корабль омулёвая бочка…
Ну, баргузин, пошевеливай вал…
Плыть молодцу недалечко![3]

Варианты народной песни

1.

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль, омулёвая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал,—
Молодцу плыть недалечко.

Долго я тяжкие цепи влачил,
Долго бродил я в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь—
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,
Близ городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Славное море, священный Байкал,
Славный мой парус—кафтан дыроватый.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,—
Слышатся грома раскаты.

Две последние строки повторяются

(Русские песни. Сост. проф. Ив. Н. Розанов.—
М.: Гослитиздат, 1952)

2.

Славное море—священный Байкал,
Славный корабль—омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

Долго я звонкие цепи носил,
Долго бродил я в горах Акатуя.
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,
Вкруг городов озираяся зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Славное море—священный Байкал,
Славный мой парус—кафтан дыроватый.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся бури раскаты.

Славное море—священный Байкал,
Славный корабль—омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

Запись Д. Давыдова

(Очи чёрные: Старинный русский романс.—
М.: Изд-во Эксмо, 2004)

3.

Славное море—священный Байкал,
Славный корабль—омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,—
Плыть молодцу недалечко.

Долго я звонкие цепи влачил,
Душно мне было в норах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил—
Ожил я, волю почуя.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь:
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.

Шёл я и в ночь, и средь белого дня,
Вкруг городов озираяся зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.

Славное море—священный Байкал,
Славный мой парус—кафтан дыроватый.
Эй, баргузин, пошевеливай вал—
Слышатся бури раскаты.

(Шедевры русского романса. Ред.-сост. Н. В. Абельмас.—
М.: АСТ, Донецк: Сталкер, 2004.)

ДиН школа

Людмила Мыльникова

Рубаи

Из собрания сочинений
Красноярской литературной школы
«Вдохновение и ремесло»

Откуда у людей такая жажда знать,
Что может в глубине природа-мать скрывать?
Ведь с тайнами её жить всё же интересней,
Но каждый свой вопрос хотел бы ей задать.

Любуясь каждый раз гармонией земной,
Не в силах мы найти в гармонии покой.
Стремимся сквозь века к космическим просторам,
Чтоб, наконец, постичь все тайны до одной.

Подсказки память шлёт из тех далёких лет,
Когда никто не знал, что есть добро и свет,
Что кровь несёт с собой нам тайное наследство,
А для чего оно—пока ответа нет.

Станислав Ливинский

Звезда любви и смерти

Вот и всё. Листопад, журавли, дембеля.
Из горла. Не горит. Не иначе — палёнка.
После третьей качнётся и вздрогнет земля.
Щёлкни что ли на память на фоне Кремля.
Оп! Ну, я так и знал, что закончится плёнка.

Отмотаешь её на полжизни назад
или, может, вернёшься в начало страницы.
Всё поймёшь потому, как отводится взгляд.
В этих случаях здесь как-то вскользь говорят,
что не помню, что память плохая на лица.

Так учили когда-то, где Родина-мать
в сорок первом — вдова, а теперь — разведёнка.
На «камчатке» за партой на стержень дышать.
Математика — 3. Рисование — 5.
Оставайся, дружище, последним ребёнком

и кури не в затяжку, как тот идиот,
не умея играть, становясь на ворота.
Вот и всё. И на взлётной ковёр-самолёт.
И как будто бы время неспешно течёт,
но срезает углы на крутых поворотах.

То ли зима, то ли нас просто нет.
То ли дурак и его царь-девица.
В этих краях, брат, такой этикет
что к тридцати можно, в общем-то, спиться.

В старом, до боли родном шалаше,
в сонном движении антисюжета
слух о загадочной русской душе,
словно приданое родины этой.

Звон колокольцев, хрусталики слёз.
Чёртовых, блин, зазывалы куличек.
Видишь, идёт воевода-мороз,
наш, православный, а с виду язычник.

Это ли сказки грядущей весны
или на стёклах застыли узоры?
Кто-то оставил метлу у стены,
кто-то лопату забыл у забора.

Скрипнет калитка, замёрзну стоять,
ждать, зазывая в окошко на гульки,
или до одури что ли сбивать
палкою с крыши сарая сосульки.

Всё повторится, как будто во сне —
белые хлопья, под ёлкою — вата
небо в горошек, мороз по спине.
Время застынет — качнётся обратно.

Памяти отца

Напомни тот мотив несносной тишины.
Сухое молоко, потом — сухие слёзы.
Ещё была зима, но что-то от весны
сквозило невзначай в её нескромной позе.

Напомни тот мотив, напой его слегка.
Зима, сосновый гроб, опешивший прохожий.
Когда б, ушанку сняв, ты простоял века…
Ну, всё. Надень. Пойдём. Простынешь, не дай боже.

Ещё горелый хлеб, отцовский самогон.
И он на свете том сидит, как именинник.
Я помню — брат забрал его магнитофон,
а я на память взял поломанный мобильник.

То ли я, то ли кто-то другой —
в школьной форме пай-мальчик отпетый.
На последней задачник открой —
но опять не сойдётся с ответом.

Не признаешься в этом себе.
Не найдёшь подходящего слова.
А и Б, говоришь, на трубе,
и ничто под луною не ново…

Как эстрадная музыка сфер
зазывала тебя из шалмана
или не выговаривал «р»
телефон на углу у фонтана.

Приподняться на локте, привстать
с койко-места, а там уже лето.
Вот и пташка умеет летать,
хоть сама и не знает об этом.

Так смотри же, как прячут глаза,
как любовь выпускают наружу,
как вишнёвый заброшенный сад
зарастает по самую душу.

Как спешит, спотыкаясь, домой
новый день уходящего лета.
Как пай-мальчик окажется мной
и зачем-то запомнит всё это.

От майских — ни соринки, ни следа.
На курьих ножках страшные бараки.
Ни мира, ни, тем более, труда.
Об этом и помалкивают флаги.

Ещё был двор, колонка и вода
вкуснее, чем на кухне из-под крана.
По поведенью пара, два труда,
продлёнка и зашитые карманы.

Потом — осенний день и первый снег
всё обнажал, припорошив детали.
И отходил очередной генсек.
Я молча пересчитывал медали.

Смотрел, но всё куда-то не туда.
На кумаче в очко играли черти.
Гори, гори, кремлёвская звезда,
звезда любви… Звезда любви и смерти.

Всё не сбылось, как насвистела мне
давным-давно усатая цыганка.
Пластмассовый солдатик на войне
убитый из игрушечного танка.

Он падает замедленно в листву,
пересекая траурную ленту.
И я серпом срезаю трын-траву,
и молот там кладу, где инструменты.

И не вокзал, а автостанция.
Окошко кассы, мелочь в блюдце.
А то б ещё побыл, остался бы.
Сбил пепел, молча затянулся.

Ещё была девица Старцева:
ходила всё, звала на танцы.
Я напишу — цвела акация.
Никто не станет разбираться,

что дело было поздней осенью.
Вагончик типа магазина.
Ну и меня когда-то бросили.
И я, как мог, тянул резину.

А ей бы — принц на белом тракторе
и всё такое в ритме вальса.
Потом — ты не в моём характере.
Счастливо, в общем, оставаться.

И это всё вот так запомнится
неглубоко, на штык лопаты.
Вот, напишу — была любовница,
ну и, конечно, я, поддатый.

И не вокзал, а автостанция.
У автолавки трётся тело.
Я напишу — цвела акация.
Я напишу. Не в этом дело.

ДиН реплика

Евгений Степанов

Новый Союз писателей: надо работать!

Союз писателей XXI создан в силу ряда причин. <…> Его создание уже наделало много шума. Мнения, как всегда, разделились. Очень многие поддержали Союз. Некоторые стали ругаться и задавать вопросы. <…> Видимо, пришла пора мне как руководителю Союза писателей XXI века прояснить ситуацию. Никого в Союз мы, конечно, загонять не будем. Это невозможно по определению в демократической стране. Союз — дело добровольное. Можно вступать, а можно не вступать <…> Более того, мы и не хотим, чтобы этот Союз был многочисленным. Мы хотим, чтобы в нём были только писатели с большой буквы, которых мы бы печатали и продвигали на книжно-журнальном рынке. Уже на прошлой неделе мне пришлось, к сожалению, подписать письма с отказами…

Мы ни у кого не забираем ничьей собственности. Наоборот — отдаём. Если раньше журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Крещатик», альманах «Илья», газеты «Литературные известия», «Поэтоград» издавались Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг», то теперь они выходят под эгидой Союза писателей XXI века. По этому поводу подписаны соответствующие соглашения. Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» — частная фирма. Принадлежит она одному человеку. А Союз писателей XXI века — организация общественная. Там несколько соучредителей и уже около семидесяти писателей. <…> Президент Союза и Президиум должны работать так, чтобы оправдать доверие писателей, которые поддерживают организацию, в том числе — это очень важно! — именем и рублём.

<…> Фактически, можно уверенно сказать, что Союз уже состоялся. Нам уже есть кого печатать. Есть о ком заботиться. <…> По сути, Союз писателей XXI века — это элитный клуб, небольшой профсоюз, помогающий (хотя бы отчасти!) одарённым авторам быть в наше жестокое капиталистическое время более востребованными в профессии. И я как руководитель организации обязан этого добиваться, потому что несу ответственность за своих подопечных. И они вправе спросить: хорошо ли я это делаю? <…>

Словом, всё идёт нормально. В рабочем порядке. Мы никому не обещаем золотые горы, никому не врём. Но что можем сделать — сделаем.<…> Мы готовы к сотрудничеству и с другими творческими организациями. Лишь бы это шло на пользу писателям, на пользу делу. А вот на выяснения отношений, на разборки времени нет. Надо работать.

Сайт Союза писателей XXI века: writer21.ru

Дмитрий Мурзин

Вариации

Нервы ни к чёрту, нравы ни к чёрту,
Годы клонят к презренной прозе, гадким курортам.
Гадаешь, в каком океане омыть ботфорты.

Вечером бандеролью пошлёшь фашисту гранату
Утром получишь её обратно.
Превышение веса. Просят доплату.

Жизнь изменилась, пока я ходил за клинским.
И я изменился, пока я ходил клинским.
Хочется быть не чистеньким. Хочется чистым.

Наш повар варит борщ, наш повар чегеварит,
Наш повар бородат, банданист и лукав,
И лук в его руках слезу в глазу нашарит,
И защекочет нос набор его приправ…

Всё под его рукой кипит, бурлит, клокочет,
Костёр его — горит, дрова его — трещат,
Он, знай себе, поёт, он, знай себе, хохочет
Поёт — о том, о сём, смеётся наугад.

Он весь — из озорства, побасенок, улыбок,
Случится коль чего — так он и горю рад.
А что судьба его — комедия ошибок —
Зато — костёр горит. Зато — дрова трещат.

В этом мире подделок, аналогов и муляжей
Копий, фальшивок, мороков, миражей
Ватных статуй, гипсовых плюмажей…

Смещены акценты, попутаны под и над,
И поди разбери — это сущий ад,
Или ещё дубликат.

Что до новых имён, то их не густо,
Старые связи баран — ворота, козёл — капуста.

Не хватает то ли кома в зубах, то ли в горле кости,
Пятачок мне друг и поросячий хвостик.

Подходит Владимир Владимирович и спрашивает:
«Вы могли бы
Быть таким же как все — ни мясо, ни рыба?»

А я и так похож на этих чудовищ:
Ни хрен, ни редька,
Ни васильиваныч, ни петька,
Ни фрукт, ни овощ.

Зарекшись от сумо и от трюмо,
Не поступив ни в ГИТИС ни в МГИМО
Как, в общем-то, не поступил бы каждый,
Сижу теперь над рухлядью бумажной,
Проходят дни, короче этих строк,
И важное становится неважным.

Добавь сюда, по вкусу, матерок.

На Хлебникове и воде…
А. Кабанов

На хлебе и Водкине день ото дня,
Ты шепчешь: «Таким полюбите меня,
Небритого, в рваных трико.
Когда я весь в белом, навроде коня,
Чешу языком, словно твой Потебня —
Любить меня очень легко.

Когда обнимают меня все подряд,
Когда грантоед я, когда кандидат —
Всё это лишь морок и взвесь.
Когда я вливаю в себя наугад,
И виски, и хеннеси, и суррогат —
То в этом я тоже не весь.

Когда я на кухне шепчу этот бред,
И рифмы проходят парадом планет —
Хотят этот мир изменить…
Нужны мне бумага, чернила и свет,
Мне нужно мгновение, несколько лет…
Тогда — может быть, может быть…

Нельзя обойтись парой вежливых фраз,
Решается всё только здесь и сейчас —
Нельзя оставлять на потом,
А то — не признает поэта Пегас,
А то — позабудет поэта Парнас,
А то ведь — останусь скотом…»

Сдержанное молчание
На основных частотах.
Нет. Ещё не отчаянье.
Но уже что-то. Что-то.

Дразнится точкой ижица.
Знамя поистрепалось.
Мало того, что не пишется.
Не хочется, чтоб писалось.

Как мало воздуха и света
На родине моей, в промзоне.
Мои любимые поэты
Не продаются на «озоне»

И пусть с вином у них—вендетта,
И вечно не хватает денег…
Мои любимые поэты
Не против выпить в понедельник.

А кто осудит их за это—
Почувствует себя здесь лишним.
Мои любимые поэты
Уснули.
Тише!
Тише.
Тише…

Вариации

1.

Без журавлей. Не удержав синиц
На вёслах рук в уключинах ключиц,
Всю жизнь прожить-таки в одной октаве.
С измученной улыбкой на лице
Поставить двоеточие в конце:
Харона поменять на переправе.

2.

Каучук, каугек, каугектор.
Слишком короток век, то есть вектор.
Политех, палисад, полицай,
Медведей лицедей порицай.
Повелительных враг наклонений,
На колени, мой друг, на колени
И заройся лицом мне в плечо.
Не финал. Но уже горячо.

Здесь колется свитер,
И длится зима по полгода.
Кричит «Помогите!»
Обретший свободу от брода.

Своих Чаушеску
Рождаем сквозь вязкую дрёму.
Как точно и веско
Кивает Фома на Ерёму.

Кивать так удобно,
Я тоже, бывало, кивал…
От дружбы народов
Остались фонтан и журнал.

Куплю русской водки дешёвой—
Увы мне и ах, поделом—
Китайским заем корнишоном,
Турецким утрусь рукавом.

С чего я так спёкся и сдрейфил?
Работа есть, дом и семья…
Но пахнет сибирскою нефтью
Мой стол и одежда моя.

Пришла зима в поля пустые—
Благая весть с пустых полей.
— Не узнаю тебя, Россия…
— А ты налей!

Спрячь горечь под облаткой сладкой,
Нам больше нечего терять:
Нет крестьянина, лошадки
И некому торжествовать.

Время?—После обеда.
(кажется мне не рады)
Мыслю в порядке бреда.
(что тогда—беспорядок?)

Мыслю в порядке бреда:
Выпал четверг и вторник,
Помню хотя бы среду,
Фикус и подоконник.

Лепо всё иль нелепо.
Вспомнить—где сколько выпил.
Вспомнить—куда я еду.
В качестве Бреда.
Пита.
В количестве Джонни Деппа.

Геннадию Григорьеву

стоял апрель
усталый пешеход
скользил к подъезду
медленно и робко
он думал черепной своей коробкой
что
чё-та слишком скользкий
этот лёд.

стоял апрель
сидел облезлый кот
каким-то чудом переживший зиму
у самого
пивного магазина
и кучу клал
на этот самый лёд.

стоял апрель
как стража у ворот
уже мужчины
опустили ворот
и снова
новый снег
пошёл на город
но поскользнулся
и упал
на лёд.

Полина Кондаурова

Другого мира сумрачный росток

Ноябрь

Я бреду наугад. Мой ноябрь за мной волочётся.
Глухо кашляет в арках, со стоном срывается с крыш,
В его лужах-глазницах затянуто бельмами солнце.
Я гляжу в это солнце…
— Ну что ты?.. Чего ты молчишь?..

Его слабые руки с сухой, шелушащейся кожей.
Он хватает меня за пальто. Вырываюсь. Запущенный парк.
— Посидим у реки? Ну прости… Не сердись. Ты… хороший».
Он вздыхает — вздымается птиц растревоженный карк.

Мы глядим, как с пейзажей вокруг осыпается краска,
И как ветер лениво мнёт старый речной гобелен.
Он затих, мой ноябрь, согретый бессмысленной лаской,
Ждёт, что вот я спихну его лысую голову с мягких колен.

Но я глажу его, я лгу нежности в хрупкие уши.
Снег пошёл, наконец, значит скоро домой, к очагу.
— Умирай! — я шепчу, — Умирай же! Ты больше не нужен.
Умирай же, родной мой, иначе я жить не смогу…

Кот

Откуда кошки черпают мудрость?
Вчера наскоком брал пылесос
И прыгал боком, и зубом цокал,
И пил, в молоко окуная нос.

В подоле путался, спал в ушанке,
Шипел на зеркало, хвост ловил,
Сегодня смотрит, как автор танка,
Как бюст Гомера, ушедший в ил.

Как будто он мою жизнь земную,
Смешную, пошлую жизнь мою
Прожил три раза. А я рискую,
Я балансирую на краю,

Я что-то ощупью постигаю,
Во тьме пугаюсь, во тьме бегу,
Во все невзгоды свой нос макаю,
И шерсть топорщу, грозя врагу.

Ты, певец первородных великих сует,
Ты, что смотришь вполглаза и слышишь вполуха,
Видишь — медленно, как под водой многих лет,
Нагибается к медной монетке старуха?

Да, ты видишь старуху и видишь деньгу,
Но не чуешь того, что движение — вечно.
Ты не чуешь воды, что сгибает в дугу,
Словно память потопа, старухины плечи.

Вот когда ты причалишь к своим берегам,
Посчитаешь баранов своих по рогам,
Когда первую правду посеет твой Хам…
Ты вспомянешь и нас, Человече.

Ты на берег Житейского моря придёшь,
И вернёшься не раз по проторённым тропам.
Ты увидишь его, ты нагнёшься, возьмёшь,
Ты в житейское море его зашвырнёшь,
И в душе твоей старческой ломаный грош
Вдруг поднимет цунами второго потопа.

Мне снилось, что я городская река.
Гранитный корсет заковал мне бока,
А стан мой и шею, запястья, персты
Роскошным убором объяли мосты.

И тёмные рыбины в жилах моих
Стоят неподвижно, так медлен и тих
Стал ток ртутной крови моей. Почему
Я только такой полюбилась ему?..

Когда-нибудь все вы придёте ко мне:
Во сне, по ошибке, на чашечку чая,
Как будто случайно, как будто нечаянно,
Как будто не вы в эту дверь постучали,
Как будто и света вы не замечали
Призывного в этом окне.

Мы свечи зажжём и откупорим память.
Вы будете плакать, а может быть таять.
Табак по-английски и водка по-русски,
Тоска по-испански. Всемирная музыка.
Мой греческий профиль утратит надменность —
Я кротко приму ваши клятвы на верность…

Потом вы вернётесь в своё королевство,
Топлёный цинизм с подлокотников кресла,
Оставшись одна, соберу до комочка
И вылеплю сына, а может быть дочку…
А дом превращу в неприступную крепость!

Дерево

Другого мира сумрачный росток…
Мой старый дед, опёнками поросший,
Учил меня: где солнце — там восток,
Где солнце — там восток, чего же больше?

Я не цвела, не принесла плода,
Не стала домом, дом не обогрела…
Но солнце было там же, где всегда.
И человек в одной рубахе белой,
Крестильной, отыскал меня в лесу,
Сказал, что только я его снесу.

Если б нарисовать…

Если б нарисовать,
Нарисовала бы так:
Во-первых, дом. Двухэтажный, кирпичный,
С лестницами деревянными.
И чердак.
Обязательно.
А ключ от него
Я бы нарисовала в кармане мужского драпового пальто
На вешалке в коридоре в квартире направо на втором этаже.
А воздух в комнате этой квартиры я бы нарисовала свежей,
Чем в кухне, где курят четверо
Или пять,
Где ждут кого-то ещё,
Кого-то необходимого,
Без кого — не всё.
В окрестностях дома я бы нарисовала непроходимый
Парк, и ещё один, в котором есть карусель
И паровозики, и шахматный павильон.
Ещё… реку в непроходимом парке.
И остановку, с которой днём
И ночью можно доехать до самого дома самых близких друзей.
Рельсы. И поезд, и стук, и гудок его,
В общем, со всей атрибутикой. Над головой
Я бы нарисовала, помимо неба, оранжевые фонари.
И ещё, молодого поэта в окне напротив,
Розового от зари.

Я бы стёрла самой жёсткой резинкой
Въевшуюся шпану в подъездах и во дворах.
Бухого быка, который лезет снимать тебя, а ты вспоминаешь стихи.
Сутенёров и шлюх,
Ментов и тревожный страх,
И баллончик бы стёрла газовый из дрожащей твоей руки.
Я бы стёрла презервативы с газонов
И блевотину с пустырей,
Камуфляжный и красный,
Седину с молодых голов,
Я бы стёрла замки и гвозди
С самых нужных дверей.
И могилы бы стёрла,
Которые рисовал не Бог.

Ирлан Хугаев

Быки и облака

Котолог

Почему демократы не любят котов,
догадаться нетрудно. Кот красив;
он наводит на мысли о роскоши,
красоте и неге.
Ш. Бодлер

1.

Мне нравится баловать моего кота,
всё позволять моему коту—
спать на моей постели,
есть из моей тарелки,
грызть мои папиросы,
тереться о мои книги,
точить о мебель когти,
висеть на шторах:
краток кошачий век,
пусть поживёт, как любит.

2.

Когда я зову моего кота, он не идёт:
он замирает, смотрит и слушает.
Он приходит, когда захочет сам,
когда его не ждёшь,
когда о нём забываешь;
он всегда приходит внезапно,
как настоящий тигр.

3.

Мой кот во всём похож на меня.
Мы оба любим покой и тепло;
мы оба не любим гостей
и громкой музыки;
мы оба любим запах кофе и табака
и тонкой книжной пыли;
мы оба холостяки:
у меня нет женщины, и у него нет
кошки.

4.

Когда я играю с моим котом—
хватаю его за уши,
толкаю его в бока,
дёргаю его за хвост,—
он следит за моими руками,
он охотится за моими руками,
он хочет закогтить мои руки;
он играет с моими пальцами,—
он не видит моей улыбки.
Словно лишь пальцы мои живые,
а сам я не существую
иначе, как руки,
наливающие ему молока,
убирающие его экскременты,
вычёсывающие его блох,
ласкающие (за всё он даёт себя погладить),—
и снова хватающие за уши,
толкающие в бока,
дёргающие за хвост.
Быть может, он прав,
и душа человека—в его пальцах.

5.

Мой кот не читает книг,
но он читает запахи,
более тонкие,
чем самый изысканный слог,
более глубокие,
чем все парадоксы.
Больше, чем эпосы человеку,
запах расскажет кошачьему сердцу.
Мой кот не пишет стихов,
но он пишет запахи,
вернее—запах,
ибо, как настоящий поэт,
он владеет одним-единственным стилем
и всегда остаётся верен
собственной теме.

6.

Мой кот гораздо солидней меня:
я дурачусь, даже когда работаю,—
он серьёзен, даже когда играет.

7.

Мой кот не смотрит телевизор
и отворачивается от зеркал,
зато с наслажденьем гуляет
по тонким перилам балкона:
он не воспринимает плоского изображения,
как и всё, что не обладает опасной глубиной
и настоящей перспективой.
Ему дано отличать
мёртвое от живого.

8.

Мой кот сидит на подоконнике,
выложенном подушками,
и равнодушно смотрит вниз,
на грязный и неуютный двор,
продуваемый сквозняками.
Победно задрав хвосты,
по двору снуют озабоченно
глупые разноцветные кошки,
кошки-дворняги,
которым невдомёк,
что их наблюдает кот-дворянин.

9.

Иногда мой кот вздрагивает во сне
и просыпается с досадливым ворчанием.
Это значит, что он видит сны;
а это значит, что у него есть душа;
а это значит, что мы с ним неразлучны,
что когда-нибудь мы снова встретимся
на небесах.

10.

Мой кот — инопланетянин.
Он живёт в моей комнате,
но это другая комната:
моя комната — его планета,
на которой мне никогда не бывать.

11.

Мой кот думает,
что он человек.
Правда, иногда у него возникают сомнения,
смутные, как сомнения человека,
который думает,
что он бог.

12.

Мой кот спит двадцать часов в сутки,
остальное время грезит:
подлинно философское поведение.
У него короткая память:
он быстро забывает обиды,
а ласки не замечает вовсе.
Он не знает своей истории,
а я знаю и свою, и его.

Быки и облака

Не надо сравнений: они ни на что не похожи.
Покажутся изредка разные звери — так что же?
Ужели прекрасней стада антилоп и быков
В бескрайней лазури плывущих седых облаков?

Случаются разные искусы в стихотворенье:
Всегда под рукою высокого с низким сравненье.
На самом же деле задача искусства сложней:
Сравните быка — как такого — со всем, что нежней.

Лететь за быком в поднебесье не стоит попыток,
Менять облака на быков — это верный убыток:
Такое искусство, подобно ножу мясника,
Подобного облаку белого режет быка.

Экзерсис. Письмо с периферии

Соловьи на кипарисах,
и над озером луна…
Н. С. Гумилёв. Пьяный дервиш

Не судите меня за мои экзерсисы:
как могу, потешаю себя, в заботах;
соловьи не летят в мои кипарисы,
лишь лягушки кричат в моих болотах.

Плоть усмирить — немудрёное дело:
дух не потерпит её беспредела.
А дух мятежный смири-ка! — шиш:
ведь плотью духа не усмиришь.

Потому и учу свои уроки,
зубрю зароки, слежу пороки;
и в каждой строчке — когда везуха —
капкан для плоти, аркан для духа.

Быт. Любовная лодка

Я больше не вмещаюсь в быт:
Я стал добычей, я добыт, —
И вот, как слон в посудной лавке,
Крушу фарфор, громлю нефрит.

Она ж, сочтя мои проказы,
Спешит, роняя слёзы-стразы,
Слагать скрижали-черепки
Заветной бабушкиной вазы.

Она не поняла — и пусть —
Мою избыточную грусть;
Мою избыточную нежность
Пускай заучит наизусть.

Основание веры

Ясно с самого пролога —
Светлым будет эпилог:
Если б даже хоть немного,
Гордый, я не верил в бога, —
В смертного меня, как в бога,
Словно смертный, верит бог.

Школа

Учителя мертвы давно,
Ученики мертвы поныне;
Стою один среди пустыни,
Ученью верный всё равно.

Марина Генчикмахер

Родины нет

Ох еврейское счастье! Хоть смейся с тобой, хоть плачь!
Всё труды, да заботы, да нервы о судьбах близких…
Плачет жалобно скрипка. О том ли, мой друг скрипач,
Как аидыше мама пыталась зубрить английский?
Все идут на работу, а мама сидит одна,
Как послушная девочка, пишет в тетрадь глаголы.
Времена не даются… Нелёгкие времена
Для сменивших страну, начинающих новосёлов.
У аидыше папы ночами болит плечо.
На занозистых тропках срываются в слёзы дочки.
С младшей будто бы легче—чудесный растёт внучок,
А вторая поныне парит в облаках и строчках.
И ничем не помочь, не спасти от чужого зла.
Всё труды и заботы—на всё не хватает суток…
Но аидыше мама берётся учить компьютер
И сдаёт на права… Между прочим, уже сдала!

Открываю Америку через форточку бьюика,
Через форточки в домиках и небоскрёбах,
Утверждаю: и в солнечный полдень, и в сумерки
Очень стоит открытия эта особа!

Пусть десятки открыток её тиражируют
От заснеженных пиков до крохотной клумбы,
Я Колумбом плыву в доколумбову ширь её,
Я глотаю взахлёб смесь неона и румбы.

Я не верю в Америку жёлтого дьявола
И в свободу с лицом беспощадной Минервы.
Я не стану читать описанья и правила:
Всё не то и не так на свидании первом!

Я Колумбом иду, пусть не в латах, а в кофточке,
А навстречу толпа, гомоняще-живая,
И Америка смотрит на меня через форточки,
И, по-моему, рада, что её открывают.

По проспектам пышным и широким
В ритмах оглушающе весёлых
Бродят чернокожие пророки,
Собирая банки кока-колы.
Жития пророка—не до жиру!
Ёжатся, под мешковиной горбясь,
До смерти пугают пассажиров,
Вваливаясь с банками в автобус.
Клянчат и клянут речитативом,
Не боясь того, что их осудят,
Чёрные—почти как негативы,
Наших чистых и пристойных судеб.

Звёзд дрожащих окоём,
Древних чудищ нежный абрис…
Я рассматриваю памперс,
А вернее, то, что в нём.

Консистенция важна,
Важен цвет и важен запах.
Вечность тащит что-то в лапах
Мимо нашего окна.

Вспыхнут чьи-то имена
Средь мерцающих созвездий
На моём, быть может, месте—
Ведь поэтам не до сна!

Пусть им пишется легко!
Вспыхивая, гаснут строчки…
Я для чуть подросшей дочки
Сцеживаю молоко.

Нынче помыслы мои-
Чтоб она была здорова.
Я работаю коровой
От зари и до зари.

Льются струйки молока,
Вспоминаются иконы,—
Но коровой ли, мадонной,—
Разница не велика.

Тёплый ротик у соска
С каждым месяцем—зубастей.
По сравненью с этим счастьем
Что там слава на века…

Грузные, сизые с золотом тучи—
Вдоль океана.
Тут корабли проносили Веспуччи
И Магеллана.

Их ли бесплотные тени у борта?
Зыбкие тени…
След от вьетнамки ли, след от ботфорта,—
Морю до фени.

Смоет, окатит ворчанием хмуро…
Сдуру ль, по пьянке
Я угодила на эту гравюру
Старой чеканки?

И, перепутав века и сезоны,
Склянки и румбы,
Жду заплутавшего в зыби Язона
Или Колумба.

Чтоб, как в мечтаниях пустопорожних,
Взвиться по трапу.
Зря ты меня, бестолковый художник,
Тут нацарапал…

Здравствуй, Америка! Мы — твои иммигранты.
Кто от тоски, отчаянья, кто за выгодой…
Все мы немножко несбывшиеся таланты —
Силы кипят у горла и ищут выхода.
Местным их место рождения дарит фору.
Время тасует, и карты взлетают веером.
Что же нам выпадет? В хомлесы или воры?
Или, быть может, в маленькие рокфеллеры?
В нашем отечестве мы не прошли в купечество,
Но торговаться за счастье умеем громко.
Нас не особо ценило своё отечество,
Впрочем, отечество нынче почти в обломках.
В этой Америке все толстощёко-сыты,
Лица и стены лоснятся благополучием.
Нам бы поближе к раздаточному корыту.
Мы ж не из худших, мы даже во многом лучшие!
Все за свободу? И мы за свободу ратуем.
Мы и в работе — тоже одни из первых.
Только, Америка, мы не поверим в статую.
Речи и статуи действуют нам на нервы.

Хочется нового — в голову лезут штампы;
Вечно-лазурное небо, чужие флаги.
У поцелуев, доставленных мне почтамтом,
Вкус отчуждённой сухости и бумаги.

Новая жизнь… Мудрено ли? Душа в мозолях.
Быт — словно обувь, пошитая без примерки.
Прошлое — призрак, но голос его назойлив.
Прошлое издали кажется фейерверком.

Там и слова и слава в едином сплаве
Вечностью дышат, сердца и светила движут…
Как не поверить дурманящей мозг отраве?
Помнишь о той, что уехала из Парижа?

Чтоб на земле, не такой, как была когда-то,
Вдруг ощутить, что рябина ей не поможет:
Родины нет, да и к юности нет возврата.
Смерть и бессмертие — это одно и то же.

Клуб читателей

Ульяна Лазаревская

Привет из Сан-Франциско

В середине марта в Красноярск прибыла посылка из далёкого Сан-Франциско. Нелёгкий путь — хотя и по воздуху — проделала она, добираясь к адресату, редакции журнала «День и ночь». На каком-то из промежуточных почтамтов из-за повреждённой упаковки (наверное, происки врагов!) её бросили в огромный, как у Деда Мороза, мешок, и в этом-то загадочном «обмундировании» она попала, наконец, по назначению.

Подарок оказался и вправду — «дедморозовский»: 11 экземпляров новейшего, ещё пахнущего типографской краской альманаха «Образы жизни», который на русском языке начали издавать в Америке авторы «ДиН» Алла Ходос и Марина Золотаревская. Красноярский журнал — вместе с международным интернет-журналом «Интерлит» — имеет к новорождённому самое непосредственное отношение. На страницах нового альманаха щедро представлены члены нашего авторского клуба — Айрат Бик-Булатов, Андрей Дёмкин, Александр Командин, Сергей Кузнечихин, Дарья Серенко, Михаил Тарковский, Вячеслав Тюрин, Марина Саввиных, Михаил Стрельцов. И его редакция не собирается останавливаться на достигнутом, намерена выпуски «Образов жизни» продолжать, как и сотрудничество с «ДиН».

Несколько соображений по этому поводу. Русскоязычный мир вне России — в силу целого ряда причин, в которые сейчас не время вдаваться — не просто всё отчётливее сознаёт себя полноценной частью русской культуры, но всё чаще и ярче предъявляет миру продукт этого сознания. Прежде всего, это глубокая — такая глубина, на мой взгляд, в Отечестве ещё не достигнута — рефлексия советского и постсоветского опыта. Рефлексия, пронизанная ностальгическими нотами не только в связи с собственными детством и юностью, но и в связи с переосмыслением традиций и возвращением к ним. Это особенно симптоматично, если принять во внимание, что создано людьми, покинувшими родину 15–20 лет назад. Литература, открывающаяся читателю в «Образах жизни», явно ориентирована на прозрачный, свежий, гибкий, полный юмора язык лучших произведений советской прозы и поэзии 60–начала 70-х годов. Драматические, даже трагические события, о которых рассказывает Ирина Мельницкая в автобиографической повести «Страна моего детства», может быть, благодаря этому языку, дышат каким-то метафизическим оптимизмом. Столь же философски напряжены и вместе с тем светлы и открыты миру сказки Марины Золотаревской, стихи и рассказы Аллы Ходос, Анны Кононовой, Александра Зевелёва… Блистательна искусствоведческая подборка — работы А. Станюты и Б. Бернштейна. И, разумеется, великолепны тонкие, печально-иронические эмигрантские стихи…

Андрей Оланов

Глаза улиц

Меня раздражает

Меня раздражает, что тянусь к тебе беспредельно,
Меня притягивает к тебе неделями,
Я хочу к тебе, бесит это, аж психую и хлопаю дверью.
Я скучаю в понедельник похмельный.
И так далее, до воскресенья
Я гнию, разлагаюсь, болею,
Холодею,
Черствею.
А стоит тебе написать,
позвонить,
посмотреть,
уж лучше четвертовать.

О Боже!..
До чего же
Смешно,
Что я липну к тебе, как пыль к башмакам,
Как холод к рукам,
Как пух к носам
Сиротливых прохожих.

Я буду плакать тебе в плечо,
Ты скажешь: «Андрей, ну ты чё?!»
Уложишь ничком.
Усну потом. Свернусь калачом,
Упершись лбом в твоё заплаканное плечо.

Конечно, ты не один такой человек, по которому я пересыхаю.
Ты спрашиваешь: «Можно я поживу у тебя?»
«Можно»,—отвечаю.
И пусть, что тянусь к тебе безмерно, меня раздражает.
Можешь пожить во мне,
Я не возражаю.

Глаза улиц

Пятиэтажные надгробные плиты
Цепляют ветер пустыми балконами.
Взрывная волна не разбила витрины,
Когда ахнула бомба с другой стороны
Замученных глаз.
И о чём-то своём умирали вороны,
Когда взрывом снесло неуверенных взглядов каркас.

Домá заплакали детьми из окон.
Я встречаю либо глухих,
либо безоких.
А надгробные пятиэтажные плиты
Имеют глаза
другие

чувствую себя глупым мальчиком в младенческих простынях,
а кругом все такие умные, умудрённые опытом и куда одарённей меня.
они думают, что в каждом из них сидит бог и вещает оттуда свой новый завет.
и считают, что мне жизненно важно услышать от них урок, пример и совет.

думают, что такому, как я, безусловно жизнь облегчит
монолог о том, как сейчас трудно жить; посиди, помолчи.
ты послушай, как дяди и тёти говорят в запой,
брызгая слюной,
о том, что мир чужой,
как на «peace and love» отвечают войной.
о том, как соседи шумят в выходной,
о том, как трудно дышать под водой.
и о том, что мне легко ещё, я ещё молодой.
а я молчу, курю одну за одной,
безучастно киваю своей головой,
с детства больной.
бывает, хочется взять и заткнуть им рот
схватить за волосы и об асфальт,
ты слышишь меня, мразь, я не такой!
я не слабый, не глупый и не простой!
а вы все такие умные, красивые и одинаковые толпой.
но сижу и молчу, а бывает, даже улыбаюсь.
потому что в том, что не глупый, что не слабый и не простой
сомневаюсь

Как будто в своей кровати проснуться, но в теле чужом.
потом
ежеутренний поцелуй с табаком.
и нет того места, звал которое — «дом»
всё горит огнем.

и когда начинаешь слепнуть, только-только ощутив желание видеть.
когда говорят: «тебе не понять. ты не любил», — приходится ненавидеть.
когда любой чужой запах отдает полынью.
кислород — пылью.
и все вокруг такие другие
такие чужие.

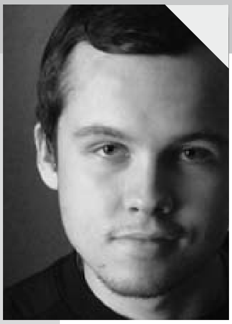
Извини

Извини, что сегодня не вместе проснулись.
Извини, что я так всегда убиваюсь.
Что я так всегда напиваюсь,
Что ты кажешься ярче фонарей ночных улиц.

Извини, что ты для меня — трафарет самых лучших.
Любовь давно уже фишка рекламы.
Твоё лицо большой панорамой
Светится неоном в моей подушке.

Извини, что я пыль на твоих подошвах.
Извини, что отдаю себя, как пробник.
Извини, что я такой у тебя алкоголик.
Говорить «между нами» уже слишком пошло.

Извини, что, стиснув зубы и веки, повторяю себе, говорю,
Что тебя
не люблю,
не люблю,
не люблю.



Борис Кутенков

Лирическая дерзость и литературные ортодоксы

Поэзия и критика в журналах конца 2010 и начала 2011 года

«Литературная учёба»: *о литературе — питерской и не только*

6-й номер «Литературной учёбы» за 2010 год открывается круглым столом, посвящённым питерской литературе. «*Что вы знаете о современной питерской литературе? Редакция «Литературной учёбы» провела небольшой опрос среди своих постоянных читателей и на основании их ответов составила следующий короткий список: поэт — Александр Кушнер, прозаик — Елена Чижова, критик — Виктор Топоров. Изредка кто-нибудь называл другие фамилии, которые, однако, чаще всего оказывались совершенно неизвестными прочим опрашиваемым. Неужели культурная столица России перешла на автономное литературное существование? Что происходит сейчас на берегах Невы с поэзией, прозой, критикой? За разъяснениями мы решили обратиться с тем же вопросом к действующим литераторам, в том числе, разумеется, и петербуржцам. Возможно, они дополнят наш список именами, к которым нашим читателям следует, как минимум, присмотреться*», — говорит в предисловии главный редактор Максим Лаврентьев. В опросе приняли участие многие — Сергей Беляков, Владимир Козлов, Андрей Рудалёв, Ильдар Абузяров, Константин Рубинский, Владимир Козаровецкий, Елена Погорелая, Сергей Арутюнов, Елена Луценко, Вадим Левенталь, Дмитрий Дзюмин, Дмитрий Колёсников, Алла Зиневич. В репликах «мелькают» разные точки зрения и называются разные имена. Самой исчерпывающей мне представляется позиция Дмитрия Дзюмина: «*…русская литература сегодня функционирует в таком странном режиме, когда литераторы варятся в собственном соку, поэты старшего поколения не посещают вечера молодых поэтов, молодые поэты читают только друг друга, старшие не знают младших и т. д.* Утрачена *групповая идентичность (писатели больше не объединяются в литературные группы из эстетических соображений), утрачен, в конце-концов, несчастный литературоцентризм, о котором уже и говорить стыдно, поскольку сказано очень много. Утрачена (и это самая большая утрата) связь писателя с массовой читательской аудиторией, поэтому откуда большинству петербуржцев узнать, например, о молодой петербургской поэзии? Они (петербуржцы) не ходят на литературные тусовки, предназначенные для литераторов. Современная русская литература предельно закрыта для обычных (непосвящённых) граждан. Ситуация усугубляется ещё и тем, что литераторы сами стремятся возводить дополнительные стены, отгораживаясь как от читателя, так и друг от друга*».

К сожалению, за пределами опроса остались многие достойные, но далеко не столь «распиаренные» литераторы: я бы дополнил этот список именами Аси Анистратенко — яркой и самобытной поэтессы; питерского по складу творческой натуры и манере письма прозаика Дмитрия Вачедина, родившегося в 1982 году в Ленинграде, в 1999 переехавшего в Германию (осенью 2010-го в издательстве «Прозаик» вышел его дебютный роман «Снежные немцы»); талантливой поэтессы-иронистки Элины Лапп; не менее талантливого поэта Дмитрия Шабанова, который родом из Минусинска, но сейчас проживает в Питере, а также родившейся в Ленинграде, но живущей в Литве Лены Элтанг, в поэзии которой тема Питера занимает важное место.

Обсуждение петербургской литературы продолжается и в статье Татьяны Лестевой «Три «Петербурга». Работа, на мой взгляд, не получилась: критик в своих рассуждениях не выходит за грань сожаления о том, что «*авторы пребывают в тоске, грусти, печали, неудовлетворённости жизнью… Трудно молодёжи сейчас…*». Кроме того, статья слишком затянута — 26 страниц: быть может, не стоило подробно разбирать каждую публикацию альманаха — гораздо эффективнее было бы остановиться на наиболее репрезентативных из них и таким образом выявить общие тенденции развития питерской литературы, анализ которых в материале Лестевой полностью отсутствует. Честно говоря, «круглый стол» с разносторонними взглядами литераторов даёт для понимания этих тенденций гораздо больше, чем нудное перечисление публикаций с поверхностными комментариями вроде «*снова тот же мотив отнюдь не героического, а сексуально озабоченного молодого поколения, которое должно через несколько лет встать у кормила власти в России*», частностей типа «*неплохо бы, чтобы автор <…> перечитывал рассказ, заменяя слово «тогда» <…> на синонимы*» или сомнительных высказываний («*толстые журналы обычно делает проза*»).

Рубрику «Литература и современность» продолжают статьи Бориса Лукина «О стихах, о талантах… о Поэзии, или Танцуем от печки» и вашего покорного слуги («Формы эскапизма в современной прозе» — об антологии современной литературы «Наше время»). Материал Лукина изобилует свойственными стилю автора деревенизмами и просторечьями («*вчерне*», «*завспоминали*»),

горькими истинами о современном блате («*Даже если талантливый ребёнок «с улицы» добирается до первого-третьего места и почти готов получить заслуженную награду, в дело вступают заградительные канцелярские циркуляры. В этот момент оказывается, что победителем конкурса-фестиваля республиканского значения может стать лишь отмеченный до этого наградами на областном-городском-районном-школьном уровне…»)* и банальностями о монополизации литературных изданий группой отдельных лиц. При моём уважении к Лукину как критику и преподавателю — мало того, что им не предлагается для исправления ситуации ничего конструктивного, сомнительным выглядит и смешивание в одну кучу монополизации, блата и качества публикаций. Немалое достоинство статьи — прямота и честность критика, не оглядывающегося на цеховую и корпоративную этику, однако остро хочется от статьи большего профессионализма, глубины оценок и меньшей эмоциональности. Утомляют постоянно упоминаемые на протяжении статьи признаки симулятивного контекста (Союзы Писателей, Пен-клубы), не имеющие отношения к литпроцессу, и перескакивания с одного на другое без должной аргументации. Автор пренебрежительно высказывается о Борисе Рыжем («*будто бы ярко просиявшем*»), ставит через запятую таких разных поэтов, как Кибиров, Гандлевский и Ватутина, написав, что «*абсолютно непонятно, чем они отличаются друг от друга*». Диковато звучит и высказывание о том, что студенты Литературного института «ничего не читают» (могу заверить как человек, ежедневно наблюдающий ситуацию изнутри, что это не так — хотя бы ввиду присутствия обязательных академических дисциплин. А собственный опыт общения Лукина с неудачно, видимо, попавшимися отдельными единицами — выборка, как говорят в социологии, не репрезентативная). Постепенно устаёшь от следующих одна за другой поверхностных инвектив без какого-либо углубления в проблему и имеющих одно послание: «как же всё плохо». Заголовок статьи себя не оправдывает — ни о поэзии, ни о талантах в ней нет ничего, а выплеск раздражённых эмоций представителя архаических взглядов по отношению к современной литературе оставляет впечатление монологичного сознания.

Интересный ход журнала — это публикация статьи об Ольге Арефьевой, которая, несомненно, привлечёт к сугубо филологическому изданию внимание определённой аудитории. Также стоит похвалить статью Натальи Вишняковой об Арсении Тарковском: если её предыдущие материалы в «Литучёбе» выглядели малоосмысленной статистической таблицей, подводящей итоги частоте употребления того или иного цвета (цветка, etc.) в творчестве поэтов, то здесь Вишнякова уходит от статистической направленности, благодаря чему статья претендует на обзор и выявление многих черт поэзии Тарковского. Великолепный анализ лирики Алексея Прасолова представляет работа Павла Глушакова, любопытна также статья главного редактора «Литучёбы» Максима Лаврентьева о трудностях перевода дагестанского поэта Абдуллы Даганова и Валентина Осипова про первый альманах писателей фронтового поколения. В разделе рецензий наиболее интересные — Екатерины Ивановой на книгу Елизаветы Мартыновой «Свет в окне» и Сергея Шаргунова о Константине Рубинском.

«Дружба народов»: *остановка «Московского времени»*

В первых номерах «Дружбы народов» и «Знамени» поэты легендарной группы «Московское время», и без того часто печатающиеся, представлены в полном объёме. Довольно утомительно встречать из номера в номер одни и те же имена — а последние публикации наводят на мысль о несколько преувеличенном внимании к ним. К новым сочинениям Гандлевского и Цветкова в «Знамени» я ещё перейду, а пока остановимся на подборке Бахыта Кенжеева в «дн». Которую «новой» можно назвать весьма условно — стихи не знаменуют собой никакого нового этапа в творчестве поэта: всё те же узнаваемые черты стиля — негромкий, размеренный голос, умствующее интеллигентствование, пронизанность атмосферой осени и старости, вариативность размеров, указывающая на виртуозное письмо и некоторую инерционность. Название подборки — «Посвящение мальчику Теодору» (одна из поэтических масок Кенжеева) — говорит о взгляде на прошлое, прощании с прежним собой. По-моему, прощание несколько затянулось.

Вообще, поэзия в январской «Дружбе» создаёт ощущение «умудрённости» и размеренной старческой неторопливости с явно выпяченной технической мастеровитостью.

В подборке Александра Тимофеевского доминируют мотивы тюрьмы, заточения, разрушения иллюзий. Сквозь порой пошловатую иронию («*даси, — я говорю любимой, / Любимая, ты мне даси?*») и наигранную молодецкую виртуозность просвечивает горечь. Отдельно смотрится подборка переводов из Кароля Чеха, которой предпослана вариация из «Слова о полку Игореве» (*Но пригубим самую малость, / Упиваться будем стихами, / Смаковать станем каждое слово — / Я по-русски, Карой по-венгерски*»), отдельно — вариации из Пастернака.

> А старость — что такое старость,
> Во всяком случае, не Рим,
> А то, что от тебя осталось,
> Причём остаток этот мним.

Подборки этого номера как лакмусовая бумажка высвечивают недостаток современной «толстожурнальной» поэзии: предельную планку мастерства и — как следствие — некоторую усталость, инерционность от «умения» писать стихи, но в то же время узости, исчерпанности тем. Так не лучше ли сделать передышку?

Некоторую новизну вносят стихи Михаила Кагановича — проникнутые ощущением национального духа и мотивом свободного странствия:

Верблюд бредёт из ниоткуда,
По направленью в никуда…
Он не торопится, покуда
Есть горький кустик и вода.

А самые интересные материалы в номере — едва ли не интереснее, чем художественная часть — в разделе «Критика». «дн» взяла на себя сложную задачу: организовать круглый стол о литературе нулевых и выяснить «*главные тенденции, события, книги и имена первого десятилетия нового века*». Каждый кулик, как водится, своё болото хвалит: категоричен Николай Александров, бездоказательно утверждающий, что «*российскую словесность определяли Сорокин и Пелевин*» и «*в современной российской словесности есть Сорокин, Пелевин и остальные*». При этом телеведущий ничего не упоминает о поэзии и перечисляет через запятую факты, не предлагая способов исправления ситуации и даже не выражая своего отношения к ним («*Плюс к тому за эти десять лет стало понятно: что литературная критика окончательно утратила свои позиции; что книг издаётся всё больше, а читателей становится всё меньше; что электронные издания всё сильнее заявляют о себе и, вполне вероятно, вытеснят бумажные издания; что претензии на серьёзность в литературе зачастую не подтверждаются элементарными навыками письма; что очень большая часть современных российских писателей плохо и случайно образованна*»). Роман Арбитман сосредотачивает внимание на фантастике, Ольга Балла рассуждает о «сетевой» жизни письменного слова. Прагматичен, трезв и в чём-то циничен взгляд Павла Басинского, декларирующий видение далёкой перспективы и даже — литературу как заранее программируемый механизм: «*Писать „просто тексты“, даже гениальные, сейчас так же бессмысленно, как попытаться стать вторым Платоновым, вторым Набоковым и вторым Бродским… Прежде чем написать статью, надо подумать о том, где ты её напечатаешь. Прежде чем написать роман, надо представлять себе его потенциального читателя*». Самая объективная и точная реплика — у Евгении Вежлян, «заводящей речь» издалека и подробно исследующей социальные причины именно такового бытования литературы 90-х и 2000-х, попутно называя наиболее, по её мнению, значимые имена. Настораживает, что о поэзии в целом говорят крайне мало, словно считая её прикладным жанром литературы. Даже о таком значительном явлении, как Борис Рыжий, упоминает лишь Ольга Славникова — и то вскользь, в контексте «*неожиданного успеха уральцев*».

«Знамя»:
поднадоевшая поэзия, хорошая критика

Разочаровывает отдел поэзии в январском номере «Знамени». Обширна подборка Марии Степановой — 8 страниц — однако при несомненном таланте и узнаваемом стиле поэтессы не оставляет ощущение, что в «больших дозах» поглощать стихи Степановой нельзя — слишком явна замкнутость на себе, герметизм и смысловая шифрация. В одном из катренов автор словно бы проговаривается:

И я для прохожего взгляда
Одета и обнажена,
Сама и могила себе, и отрада,
Сама себе мать и жена.

Засилье «Московского времени» чувствуется и в этом журнале — причём опубликованы тут сразу и Цветков, и Гандлевский. Из-за сходства поэтик названных авторов, принадлежащих к единой эстетической группировке, создаётся впечатление самоповторов, переплетения интонаций как в пределах подборки каждого, так и друг между другом — и это при несомненной различимости и самобытности каждого. Причудливое слияние времён — прошлое в настоящем — мы видим в подборке Алексея Цветкова. Этим обусловлен приём нарушения синтаксиса, свойственный поэту:

тоска над подъездом висела
где сонно мы с братом сопим

Представленное в журнале творчество Сергея Гандлевского озаглавлено «стихи», но на суд читателей представлено всего одно стихотворение — таким образом, внимание к поэту становится гипертрофированным, показывается, что немедленной публикации заслуживает — прошу прощения за резкость — каждый чих талантливого лирика, даже не дорастающий до полноценной журнальной подборки. С публикацией этого стихотворения в «Знамени» явно поторопились: начало его ритмически повторяет «На смерть И.Б». Гандлевского же 1997 года («Здесь когда-то ты жила, старшеклассницей была…»), да и не знаменует оно собой никакого нового этапа в творчестве поэта, которого бы хотелось от каждой подборки. Здесь же — топтание на одном месте: «фирменная» старчески-брюзжащая интонация, обозначенная выдвинутым самим же автором термином — «критический сентиментализм»; инерционность письма, переходящая на самозаборматывание, и припоминание как исходный мотив творчества.

Старость по двору идёт,
детство за руку ведёт,
а заносчивая молодость
вино в беседке пьёт.
Поодаль зрелые мужчины,
Лаиса с персиком в перстах.
И для полноты картины
рояль виднеется в кустах.

Самой интересной в номере я бы назвал подборку Заира Асима — молодого ещё, не «приевшегося» автора, участника X Форума молодых писателей в Липках. Стихи любопытны и в смысле представления о поэтиках народов Ближнего Зарубежья, и в плане того, как не слишком хорошее владение русским языком влияет на индивидуальность поэтики. Формально всё грамотно, но несколько искусственная постановка слов создаёт ощущение некоторой тяжеловесности, неорганичности подобного способа речи для русского стихосложения,

на что «предательски» указывают сближенные рифмы:

Снаружи присмотреться к обстановке,
как люди позвоночные на стульях
горбатятся над речью с расстановкой,
и время спотыкается в раздумьях.
Так языков нещадные лопаты
выкапывают ямы разговоров.
И обороты речи угловаты,
как здания, под тяжестью глаголов.

Последняя фраза характеризует текст Асима в целом. Хаотичность фиксируемых впечатлений вызывает ассоциацию, будто иностранец с наслаждением обкатывает трудно дающуюся русскую речь, словно камешки под языком:

Здесь гуляют промежуточные люди,
кто кого тут тщетно любит и не любит—
мне по барабану, точно африканцу.
В ресторане счёт несут американцу,
он сидит глухой, бухой, кривой, как сабля.
Проститутка ногу задрала, как цапля.
Кто чем занят. Я достал блокнот и ручку.
Облако рисую. Нет, уж лучше тучку.

В разделе «Свидетельства»—воспоминания вдовы Григория Бакланова (в № 5, 2010 была опубликована статья Льва Оборина об этом писателе-фронтовике). Мемуаристика в журнале представлена воспоминаниями Кристины Бояджиевой (1898–после 1990) о встречах с Осипом Мандельштамом. Особых новых деталей к портрету великого поэта четырёхстраничная публикация не добавляет (*«Осип Эмильевич был человеком талантливым, светлым, добрым. Он не мог мириться с несправедливостью, за что пострадал жестоко, заболел и умер преждевременно*), но любопытна для воссоздания атмосферы того времени. Раздел мемуаристики продолжает статья Исаака Глана о встрече с Лилей Брик. В рубрике «Культурная политика»—трезвый и пристрастный, эмоциональный и в то же время рассудительный взгляд Натальи Ивановой на недавно вышедший, но уже нашумевший учебник «Литературная матрица».

Самый интересный критический материал в номере—статья Евгения Абдуллаева «Большой Филфак или «экспертное сообщество»?». Мне импонируют материалы Абдуллаева—доброжелательностью, рассудительной аргументацией, тактичностью, не оставляющей в то же время впечатления идеологической ангажированности. Критик не изменяет своему принципу деления статьи на разделы: «Поэт как филолог» и «Поэт как эксперт». Статью рекомендую читать—в ней высказано множество верных мыслей и о филологическом обучении, и об отличии экспертной оценки как *заинтересованного неудовольствия* от эстетической оценки как *незаинтересованного удовольствия.*

В рубрике «Наблюдатель. Книжные серии» рекомендую к прочтению статью Владимира Кавторина об Ольге Берггольц и Сергея Глузмана о Бунине. Номер заканчивается традиционной рубрикой Анны Кузнецовой «Ни дня без книги»—точными, дельными и субъективными заметками талантливой критикессы о свежевышедших книгах.

«Москва»:
ортодоксальность и отсутствие лирической дерзости

Журнал «Москва», как всегда, отличается ортодоксальностью и делает упор на патриотизм и православие. Выбор поэтических публикаций, исходя из одной эстетической установки, не имеющей отношения к литпроцессу и полностью отстранённой от столбовых линий и ответвлений современной поэзии, скверно влияет на качество журнала. Более того, такой подход ведёт к проблемам, затронутым мной при анализе «Нашего Современника» в предыдущем обзоре[1]. Издания эти—«НС» и «Москва»—эстетически сходны: игнорирование индивидуального стиля авторов при выборе публикаций создаёт в итоге полностью симулятивный контекст.

Подборка Владимира Нечаева в № 12, 2010 «Москвы» показывает мучительные попытки талантливого автора пробиться к собственной интонации.

Не в подражание я сбиваюсь на прежний лад.
Выйдешь, вернёшься ли сразу
К праху и тверди, в прах погружая взгляд,
В разлучение глаза?

Ровные, сдержанные пятистопные ямбы и анапесты, нарративные, в чём-то повторяющие интонацию позднего Заболоцкого, представляет Марина Котова. В целом их стиль пока что можно охарактеризовать как общепоэтический.

Я прежде управлять умела снами.
И был один. В нём свет глаза слепил.
По небу, жёлтый разливая пламень,
Садилось солнце в выжженной степи.

И сквозь лучей сверкающие спицы
Дорогою, что ветер проторил,
В ночь огненные мчали кобылицы
И поднимали огненную пыль.

«Вашим стихам не хватает бесстыдства»,—сказала Ахматова одному молодому стихотворцу. Вспоминаются и часто цитируемые мной слова поэта и критика Сергея Арутюнова: «Некоторым авторам мешает то, что они—добрые люди. Вот были бы они отпетыми сволочами, такого бы написали…» (сказано с юмором, однако при кажущейся парадоксальности высказывания зерно истины тут есть, и немалое). Сходных мыслей можно припомнить много, однако не вызывает сомнения то, что отсутствие той самой лирической дерзости, охарактеризованной Ириной Роднянской как *флогистон*[2]—недостаток многих авторов, и едва ли не самое печальное, что рецепта для её

1. «День и ночь», № 1,
«Бегство в пустоту или спасение в землянке?»
2. «Арион», №1, 2010: «В погоне за флогистоном («лирическая дерзость» позавчера, вчера и сегодня)»: http://magazines.russ.ru/arion/2010/1/r022.html

«выработки» пока не придумали. (Напомним попутно, что словосочетание «лирическая дерзость» принадлежит Льву Толстому и прозвучало в письме В. П. Боткину, который прислал ему в июле 1857 года переписанное от руки стихотворение Фета «Ещё майская ночь»: «*И в воздухе за песней соловьиной разносится тревога и любовь!» Прелестно! И откуда у этого добродушного толстого офицера берётся такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов*».)

Рифмованной гладкописью отличаются и подборки Веры Коричевой, и Татьяны Шороховой. В стихах Коричевой — ровных, милых, проникнутых деревенско-метафизическим ощущением кровной связи с природой — это отсутствие лирической дерзости сказывается как нельзя более явно. Деревенская направленность, сама по себе неплохая, не доведена до профессионального уровня: предсказуемы некоторые концовки, слишком явна аллюзия к Блоку в первом катрене приводимого ниже стихотворения и «Родине» Лермонтова — во втором.

Россия, серая стерня,
И пылен плат её лоскутный.
Но в ней какая-то струна
Звучит как будто ниоткуда.

И срубы серы, и стога,
Сарайки, бани, косогоры,
Речушки мелкой берега,
И своды неба, и соборы.

Но встанет радуга-дуга…
Смотри, смотри же, глаз незрячий,
На перламутры-жемчуга
Российской серости невзрачной.

Концовка стихотворения беспомощна — неудачно смотрится плеоназм «невзрачная серость», кроме того, неясно, как поэт предлагает «смотреть незрячим глазом». Всё это наводит на мысль и о вторичности стихотворения, и о скромных масштабах дарования автора. Разумеется, последнее — не вина Коричевой: уместнее обратить претензии к плохо работающему экспертному фильтру журнала, позабывшему о своей задаче — отсеивать всё банальное, блеклое, второ- и третьесортное.

Банальностями и присутствием архаизмов пронизана и подборка Татьяны Шороховой, смотрящаяся продолжением коричевской — ввиду отсутствия явных интонационных отличий:

О, Правдолюбец! Как же прав Ты!
Вросли обманы в бытиё!

…Блаженны алчущие правды
И изгнанные за неё.

<…>

…Глас вопиющего в пустыне
Всегда, как Божий перст, — один.

Типичны ошибки непрофессиональных авторов: непременное присутствие дидактики, искажённый взгляд на поэзию как на зарифмованные прописные истины.

О, если бы не вещие слова
о Вечности, Добре, Любви, Бессмертье!..

Как объяснить неподкованному стихотворцу, что общие слова, растиражированные и отдающие душком тривиальности, исчерпали себя и что в современных условиях существования поэзии почти невозможно без «живой жизни», детали?..

Общими словами отличается и круглый стол, посвящённый так называемому «русскому вопросу». Туманным остаётся само определение «русского вопроса» опрашиваемыми: вот некоторые из реплик — «*Проблема же состоит в том, что в России государство оставляет свой народ без защиты, предаёт его. Русские никогда не были нацией. Русские — имперский народ. Но империя предполагает равенство людей перед законом. Никто не имеет права на привилегии, на исключительное поведение…*» (Фёдор Гиренок); «*Скольнибудь конструктивных программ и концепций решения русского вопроса, к сожалению, до сих пор не существует, как не существует и совершенно необходимого единства среди современных русских националистов*»… (Леонид Бородин). Создаётся ощущение подковёрной националистической игры, как и от туманного монолога Игоря Шафаревича «Мы и они». Безусловно, заслуживает положительной оценки внимание издания, позиционирующего себя как «журнал русской культуры», к национальным проблемам, — однако не стоит ли яснее выражать свою позицию?.. Да и выбор стихов, исходя из одной эстетической установки, не имеющей отношения ни к литпроцессу, ни к объективным критериям качества, не оправдывает себя.

Перехожу к рубрике «Чтения о русской поэзии», в которой помещён материал Николая Калягина. Название многообещающее — ожидаешь, что сейчас будет что-то о тенденциях современного литпроцесса, новых поэтических именах. Нет. Пушкин и Вяземский. Сам по себе материал о классиках — это, конечно, замечательно, печалит лишь то, что никакой связи с современностью. Крайне слаб институт книжных рецензий (радует, по крайней мере, что он вообще есть — по сравнению с «Нашим Современником»). В рецензиях делается упор не на качество, а на совершенно иные вещи. Показательны выдержки, тоже изобилующие банальностями: «*Нам всем знакома поэтика прозрения, мучительная тоска позднего покаяния и горькая радость последнего обретения. Это трудно выразить. Фактически невозможно.* <…> *В этом исполнении музыка повести получилась тонкой и пронзительно нежной*»; «*И очень хорошо, что М. Фёдоров своей повестью напоминает нам, что настоящая любовь, она и есть главная жизнестроительная сила*».

В рубрике «Страницы Международного сообщества писательских союзов» общее негативное впечатление немного сглаживает подборка Максима Замшева — пленяющая чистотой, искренностью и прямым высказыванием. Однако избавиться от налёта тривиальности и ей не удаётся:

Разлетается мир на куски,
В поездах отыщи мою нежность
И добавь в неё каплю тоски.
Размешай эту каплю прилежно,
Пригуби—и пребудешь пьяна,
По твоим разгуляюсь я венам,
И судьба пошатнётся, полна
Этой красной горячей вселенной.

Наиболее интересна подборка Давида Тедорадзе (переводы с грузинского Николая Переяслова), отличающаяся восточным колоритом и вызвавшая целый ряд ассоциаций с советской переводной поэзией (Р. Гамзатов, М. Джалиль, К. Кулиев, А. Кешоков…).

В твоём Батуми не найти прохлады,
и ты с утра спешишь к морской волне,
желая встречи с морем, как награды,
и, может быть, печалясь обо мне.

А я—в горах. Я так люблю их летом,
их тишину, полночный свет костра.
Сползает вниз туман перед рассветом.
Пастух коров выводит со двора.

Что же сказать под занавес о политике журнала в целом?.. Думаю, из предыдущих высказываний и цитат и так всё ясно. В позапрошлом году мне довелось побывать в Центре славянской письменности на одном из окололитературных мероприятий. Антураж производил пафосное впечатление—батюшка, перед началом осенивший всех крестом и прочитавший молитву, ведущая в бальном платье… Всё вместе смотрелось замкнутой сектой, невесть с чего возомнившей себя элитой—постоянные упоминания православия, Белой гвардии, Николая Второго… Стихи, звучавшие на протяжении вечера, ещё больше усилили ощущение замкнутости и оторванности от современного литпроцесса. Литературный мир строится по литературным законам, и попытки выстроить его по каким-то другим законам—патриотизма, православия—заранее обречены.

Глеб Симонов

Живущие у реки

качали вёслами рыбаки стоящие на песке
они живущие у реки не верящие реке
на рыбьем илистом молоке замешивали круги
они живущие на реке не знающие реки
вязали долго свои мешки затянутые в мешке
они боящиеся реки молящиеся реке
гребя с камнями в одной руке с камнями в другой руке
боясь проснуться на дне реки проснуться в самой реке
качали вёслами на песке стоячие рыбаки
они не верящие реке не знающие реки

только плыть по реке
только плыть по реке без снов
выдыхая звук и на вдохе глотая дым
опускаясь вниз чтоб ногами ступить на дно
и идти по дну заливая водой следы
из которых в воду песчаная тянет взвесь
и кружит кружит оборачивая в мозоль
над водою по оба берега красный лес
а внизу по течению только морская соль

пока она спит говоря на воду
вода говорит её
вода говорит и дыханье сводит
и руки за спину гнёт
спуская ниже по пищеводу
расплывчатый алфавит
и спящая
падает
падает
в воду
как мясо
в моторный винт

вот они басмачи
видишь их не молчи
бегай стучи кричай
стену укирпичай
пей с капитаном чай
турум-пурум-пурум
сердце моё Каракум

Нина Ягодинцева

Страна одинокого снега

О книге Сергея Филатова «Свет отражённый».

Пожалуй, как нигде в столицах, традиционная поэзия органично развивается и естественно востребована в провинции, где человек по-прежнему близок к природе. Музыка слова здесь созвучна ветрам и водам, а смыслы прочно связывают крохотное и краткое человеческое существование с бытиём безграничного, бесконечно сложного Мiра, законы которого мы едва-едва начинаем постигать. Традиция здесь не застывшая форма, не привычная колея — она насущна и потому органична, она не ломает пульс жизни в угоду сиюминутному новому, но стремится осмыслить это новое, принять его и сделать частью бытия, не разрушая жизненных основ.

В чаду вороньём, в чёрной пене ли
Шёл некий год. И гулы шли.
И нарастал закат империи
Багровой глыбою вдали.

И в некий час ударил колокол,
Раскалывая небеса.
И всё осыпалось осколками,
В которых август угасал.

И в злато, было уж зачахшее,
Тоской высокою вплелись
И благородство, и отчаянье…
И первый холод от земли…

Избранные стихотворения Сергея Филатова — напряжённый труд соединения трагически рассыпающегося человеческого мира и — Мiра незыблемого, гармоничного, непостижимо вечного. В этом, собственно, смысл поэзии — сегодня только ей, осмеянной, «модернизированной», разъеденной кислотной иронией, оболганной бесконечным пустословием, — только ей единственной всё-таки под силу восстановить внутренний космос человека, а значит, и весь человеческий мир вокруг него.

Те «якоря», пусть крохотные, но зацепки, пусть тонкие, но живые связи-смыслы, которые выстраивает сегодня — как и всегда — поэзия, удерживают человека и человеческое от распада. Поэзия бьётся за них до последнего дыхания, но когда доходит до предела и последнее — открывается дыхание второе, иное, начинает звучать иная сила, концентрирующая в человеке огромные пласты времени, память народную и память языковую.

Ночь города в окно посеяна
С есенинской похмельной нежностью,
Раскинуто бельё постельное,
Как Русь безропотная, снежная.

Возможны ли другие ценники,
Когда и дверь разбойно взломана!..
И самые глухие циники
Лишь ухмыльнутся: — Нецелована!

Что мне до них! Я сам пожалован
В жестокий чин душеспасителя.
Я, как Москва, горю пожарами —
Не за Россию, за спасибо…

В лучших своих стихах Сергей Филатов одновременно и современен, и традиционен. Современность его — в ощущении мировых трещин и разломов, в осознании великих потерь, в естественной, вполне понятной растерянности перед ужасом времени. Традиционность — в спокойном мужестве преодоления, в лирической силе сочувствия и сопереживания, в могуществе любви и прощения. В той вере, которая одна способна преодолеть отчаянье.

Слово, как влажную марлю, прикладывать
На оголённую рану вины…
Вечер, наполни мне сердце прохладою
И успокой меня светом иным.

Всё это больше, чем миг отречения
От непосильного счастья в миру.
Время, открой мне исконность речения,
Чтобы понять, что и впредь не умру.

Золотом осени, тихой отрадою
Ты осени мою душу и плоть,
Тихий раскидистый клён над оградою…
Видишь, как мало мне надо, Господь!

Не случайно в лирике Филатова мощно прорываются есенинские мотивы — тому причин множество: и времена рифмуются, и темпераменты родственны, и душевная боль за век не только не утолена, но стала глубже и горше… Сам лирический герой книги прямо говорит об этом родстве, и оно воспринимается как знаковое и значимое. Не подражание — бессмысленно подражать Есенину! Не продолжение — кому дано сказать, тот всё сказал! Именно родство, родовая память, родовые черты.

В поэтическом космосе Филатова, в полном согласии с традицией, гармонично сведены, а зачастую и неразрывно слиты малое и великое, как, например, жилы и реки:

Невозможно остаться никем.
Неизбежно — остаться. Диктую
По скрещению вен на руке,
По слиянию Бии с Катунью…

И здесь сами упругие, мощные названия рек—имена их—словно вливают в кровь силу! И внутри метафоры безнадёжности закономерно рождается незыблемая надежда:

Видишь, лужи стянуло льдом,
Как глаза во хмелю.
Чей там дом? Да не мой ли дом?..
Кто там спит? Да не я ли сплю…

На чужбинах родной страны
Разметало мой путь земной…
А поля ещё так черны,
Так пусты поля…

Как весной.

В одном из стихотворений «Светлой книги», частью вошедшей в избранное, есть образ «страна одинокого снега». Этот образ можно счесть и парадоксально-случайным—ведь дальше автор добавляет: «страна одичавшей тоски». Но мы рискнём определить его в качестве парадоксально-ключевого, в какой-то степени дающего нам разгадку характера и судьбы лирического героя, которого мы рискнём назвать народным.

Сегодня слово «народный» стало синонимом то ли научному «фольклорный», то ли почти ругательному «простонародный»—нищий, растерянный, убогий…

Лирический герой Сергея Филатова народен в ином, парадоксальном смысле—как «одинокий снег»—то, чего много, то, что ощущает себя целым, таковым вроде бы и не являясь, то, что более относится к природным стихиям, чем к миру сугубо человеческому (социальному), и подчиняется Божьему соизволению, а не случаю или произволу. Смысл «одиночества» здесь более личностен, чем трагичен, хотя и сила трагизма ощутима почти в каждом стихотворении.

Февраль обложил, что тоска вечерами—
Когда одиночество душу не греет.
Сто первая вьюга погост затирает,
А сотая вьюга под снегом стареет.

И поле за логом безмолвно, как Слово,
И даль за оврагом пуста и бездонна…
Всё глубже морщины, всё дале былое.
Ладонь разжимаешь…
И пусто в ладони.

Снег. То что есть,—и то, чего нет буквально через мгновение. То, что застилает, стирает—и одновременно обновляет, питает, дарит надежду. Это один из магистральных образов для Филатова, образ, через который многогранно выражается мироощущение поэта, а за многогранностью совершенно отчётливо ощутима внутренняя цельность личности, позволяющая ей быть мгновенно изменчивой в состояниях и неизменной по сути. Буйная буря и замирание в радости, стойкое мужество и непостижимая нежность, пьяная удаль и вековая вина—всё суть разные состояния, испытующие дух, и надо через них пройти, чтобы увидеть:

Снегопад

Пахнет небом и ладаном
Вне пространства и времени.
Так приходят на кладбище
И приходят к прозрению.
Как отчётливо дышится
И замедленно тянется!..
Оборвётся, и лишнего
Ничего не останется…

Мгновенье, когда обрывается длящееся состояние, чувство очищения и обновления приходит пронзительным мгновением весны, свет (снег) уходит во тьму (землю) и тьма становится светом, а начало нового жизненного круга—исповедью:

Светоносная, первая, тайная,
Словно чудо в порочном кругу,—
Замерцала на склоне проталина
Робкой свечкой в глубоком снегу!
Или жизнь мне пригрезилась сызнова…
Или радость земного тепла
Тихой девочкой в чёрной косыночке
Исповедовать душу пришла.

Тем и отличается сегодня традиционная поэзия от трагически осовремененной, что она сохраняет в себе меру вещей и явлений, их гармонию, соответствие. И крайности в ней не вступают в противоречие друг с другом, они суть магнитные полюса целого, между ними рождается могучий ток жизни. Он может ослабевать, а иногда кажется, что исчезает и совсем, но таково родовое свойство русской культуры: как только восстанавливают свой смысловой заряд полюса, ток заново обретает силу…

Ведущие темы творчества Сергея Филатова—жизнь, любовь, смерть. Они более чем традиционны, но в истинной поэзии должны наполняться личным содержанием так плотно, чтобы каждый раз становиться открытием. Ведь каждый из нас, пишущий, читающий или просто живущий, сталкивается с этими понятиями сам, лично, без посредников, в первый и в последний раз. И единственно возможная «территория новизны»—личное осмысление жизни, любви и смерти в границах данного времени и в пределах страны, где суждено родиться, любить и откуда рано или поздно надо будет уйти.

Вёсла ложатся короткими взмахами
В тёмную воду. Глухая пора.
В тёмной рубахе, застёгнутой наглухо,
Сумерки сводят коней со двора.

Утром хозяин проспится и хватится—
Пустошь похмелья да холод с реки…
Что-то недоброе есть в волховании:
В звуках приглушенных, в чреве строки…

Будто готовится мутное варево
И замышляется тайное зло.
Знаешь, мне страшно с собой разговаривать
И понимать отчуждение слов.

Заполночь. Кто-то невидимый ахает.
Вечности близкой темнеет нора.
Время уходит короткими взмахами.
И на земле — ни кола, ни двора…

И всё-таки ведущими, главными, на наш взгляд, для поэта являются не темы, а сама музыка речи, которая естественно рождается из глубины дыхания, из тока крови по жилам. Эта музыка свободна в пределах классической формы, но столь же естественно она может приближаться к почти к разговорной ритмической вольнице. Филатов любит свободные рифмы, усечённые созвучия, он не скован поэтическим метром. Все составляющие стиха служат одному — внутренней правде слова:

Свет очищенный, свет дочерний,
Августовский прохладный свет…
Так душа плывёт по течению,
Так внимают листве.

Эти дни отстранённо синие
Отрывают взор от земли.
То ломая, то строя линию,
Журавли летят…

Стихи эти надо воспринимать в их естественной форме существования — как речь не письменную, а в первую очередь звучащую и творящую. Их мелодическое звучание пробивается и сквозь печатную — бронированную! — форму, требуют проговаривания, радости говорения в едином ритме с сердцем и Міром.

…С Крещенья ещё не спадали морозы,
И все в куржаке вдоль дороги берёзы.
И чудится, эти морозные кроны —
Не кроны совсем, а застывшие звоны,
Тряхни — зазвенят, серебром облетая…

А ближе к апрелю — и сами оттают,
Наполнившись радостной, талой весною
И силой живою, и силой земною…

Проговаривание вслух — заговаривание, завораживание речью — усмиряет боль, утишает сердечные смуты, и верится, что к этим строчкам прислушается сама жизнь, помедлит, опомнится — и вернётся в свои берега, и двинется в путь, уготованный ей Богом.

И облака — в миру паломники —
Вновь обозначат мне мечту.
И снова май в душе надломленной,
И снова яблони цветут.

И снова яблони венчаются,
Как в детстве…
Как благая весть,
Свет радости и свет печали —
Сливаются в нетленный свет.

Надломлено — не значит сломано.
И светлых яблонь торжество
Едино, — будто в слове родина
Слились сиротство и родство.

ДиН ирония

Антип Ушкин

Вкус жизни

«Что тебе нравится?» «Мне нравится вода,
текущая неведомо куда,
неведомо откуда, для чего…»
«Не продолжай, я понял, H_2O».

«Да нет же, нет! Мне нравится вода,
текущая неведомо куда,
неведомо откуда и зачем…»
«Так и скажи: река или ручей».

«Да нет же, нет! Мне нравится вода,
текущая неведомо куда…»
«Я понял, понял: это ты о жизни нашей, правда ведь, скажи?»

«Да нет же, нет! Мне нравится вода,
текущая неведомо куда,
в себе не ощущающая льда,
не знающая, что она вода».

«Чего сидишь ты у реки?» — спросил я простака.
«Я жду, когда же пробежит весёлая река».
«И долго ли ты здесь сидишь?» «Да скоро будет год».
«А что же ты не мастеришь лодчонку или плот?»
«Зачем мне лодка или плот, я плавать сам могу».
«Так почему же, глупый чёрт, сидишь на берегу?»
«Я жду, когда же пробежит весёлая река».
«Дурак, да ты тут просидишь всю жизнь наверняка!»…
Не отвечал он ничего и на воду глазел.
Я подивился на него… И рядышком присел.

Я режу лук, я режу лук.
Ушла подруга, предал друг.
И стук ножа, как сердца стук.
Я режу лук, я режу лук…

За кругом круг, за кругом круг.
За горечь прошлых бед и мук.
За горечь будущих разлук.
Я режу, режу, режу лук.

Я режу лук, я лук крошу,
Другого дела не прошу.
Ведь жизнь, она, как винегрет:
Без лука в ней и вкуса нет!

Павел Кулешов

Концентрированная выразительность

Главы из книги «Признаки начинающих стихотворцев»[1]

Особенности русского стихосложения

Познакомимся с мнением поэта и переводчика Михаила Яснова:

«В 1994 году в издательстве «Искусство» вышел малоформатный сборник Аполлинера в моих переводах, там были, в основном, его юношеские стихи. Потом, через несколько лет, вышел большой том стихов и прозы. А дальше издательство «Азбука» пошло на риск и выпустило так называемую билингву—двуязычное издание поэзии Аполлинера «Мост Мирабо». Риск в том, что это поэт очень сложный для перевода и, сопоставляя оригинал с переводом, можно найти у переводчика много вольностей. И, когда «Иностранная литература» выдвинула эту книжку на премию Ваксмахера, я предполагал, что так просто это не пройдёт, и оказался прав. При обсуждении возник скандал, который имел большой резонанс в переводческих кругах. Французские слависты, члены жюри, встали стеной и сказали, мол, мы не можем дать премию за этот перевод, потому что это стихи, которые переведены в рифму и в размер—а это неправильно. У нас во Франции так не переводят, у нас переводят прозой, и тогда понятно, что к чему. Члены жюри с нашей стороны стали им мягко возражать: извините, у вас своя традиция, а у нас—своя. Если бы Яснов перевёл стихи Аполлинера прозой, то их никто бы не стал читать. Но те не согласились категорически. Столкнулись две традиции перевода—и в результате премию получила превосходная переводчица Вера Мильчина.

В этот раз состав жюри несколько изменился, пришёл новый председатель, и мой новый перевод прозы Аполлинера, вышедший в издательстве Ивана Лимбаха, победил.

— А французы нас переводят так же тщательно?

— Я знаю четырёх современных французских переводчиков, работающих над переводами русской поэзии. Только один из них переводит в рифму. Они говорят: «Если переведём в рифму, то для нас это будет не современная поэзия, а детская песенка». Нашу рифму и нашу ритмику они стараются как-то по-своему возместить прозой.

— У нас ведь тоже много молодых поэтов, которые пишут без рифм. Это тенденция?

— У нас достаточно молодых поэтов, просто не умеющих писать. И очень часто это неумение прикрывается свободным стихом. Мы так думаем… Мы пишем без рифм, мы верлибристы… Иногда это и правда так, но чаще так камуфлируется неумение.

Наше отличие от европейской лирики в том, что у нас очень сильна традиция рифменного ожидания, рифменного мышления. Не устаю приводить самый примитивный пример—как кормили меня в нежном возрасте. Хорошо помню стол, высокий деревянный стульчик, передо мной тарелка каши, мама берёт ложку, зачерпывает кашу, несёт к моему рту и произносит: «Ехали медведи на… (Ложка идёт в рот) велосипеде… А за ними кот задом на… (Ложка в рот) перёд.»..

Так с кашей в меня входило рифменное ожидание. И наша детская поэзия, поэзия пестования—вся на рифменных отгадках, на ритмике. И взрослое стихосложение чрезвычайно с этой традицией связано. А на Западе, в той же Франции, подобные корешки давно порваны. Это не хорошо и не плохо—как есть».[2]

До начала 21 века в русской поэзии, не смотря на новые европейские веяния и влияния, сохранилось явное преобладание силлабо-тонического (слогово-ударного) стихосложения над всеми другими способами стихосложения. И основным видом строфы, как и триста лет назад, остаётся четверостишие. И стихов с рифмами пишут не в пример больше, чем стихов без рифм.

Влияние французской поэзии на русскую можно заметить в увеличении доли «верлибров», которые представляют собой некий гибрид между прозой и поэзией. От французов же оказались переняты и «твёрдые формы»: «триолеты», «рондо», «сонеты». Стараниями В. Жуковского прижился жанр баллады, заимствованный из английской поэзии.

Влияние арабской и персидской поэзии на русскую надо признать очень незначительным. Не прижились дастаны, диваны, касыды с их членением на бейты (двустишия) и широко распространённым применением монорифмы (которую, почему-то, литературоведы называют словом «моноримм»). И, по-видимому, из-за уж очень жёстких канонических требований. К тому же читателям, которые в подавляющем большинстве не знают языка оригинала, доступны только переводы, а это сильно меняет дело:

«По персидским литературным канонам, в поэте больше всего ценят умение создать новые образы, по-персидски «маани». Отметим, что содержание понятий «маани» и «образ» не совсем совпадают. В европейской поэтике образом называют применение различных средств поэтической выразительности. Можно, например, уподобить красавицу—розе, стан красавицы—кипарису, и тогда роза станет образом красавицы, кипарис—образом

1. Начало серии статей Павла Кулешова—в «ДиН» №1, 2011.
2. Интервью опубликовано на сайте газеты «Невское время» (nv.vspb.ru/cgi-bin/pl/nv.pl?art=165346209&print)

стройного стана. Созданный одним поэтом, этот образ при повторении теряет оригинальность, может превратиться в литературный штамп. В персидской поэзии всё по-иному: в стихотворениях каждого поэта десятки раз встречаются «розы» и «кипарисы», но там они служат лишь своего рода основой образа, которая превращается в подлинный образ (маани) только с помощью привлечения новых стилистических и поэтических средств, установления новых семантических связей. Эти многочисленные вариации на одну и ту же тему-первооснову составляют одну из характерных черт персидской поэзии. (Кстати, эта особенность персидской поэзии весьма затрудняет адекватный перевод её на европейские языки, перенесение в сферу иных литературных традиций. «Вторичные» изобразительные средства, семантические и стилистические ассоциации, играющие такую важную роль в структуре персидского образа, часто исчезают, опускаются при переводе как «несущественные детали». В результате, подлинное поэтическое содержание, авторское видение предмета и манера изображения его оказываются утерянными».[3]

Из всех поэтических жанров персидской поэзии разве что рубаи постепенно приживается. Вероятно потому, что это очень малый по размерам жанр. Вот и японские хокку в моду нынче входят. Всего-то из трёх строк состоят! Причём, строго дозировано количество слогов: в первой и третьей строках по пять, во второй — семь. И что-то мало заметно, чтобы на русскую поэзию как-то существенно повлияла поэзия латиноамериканская или африканская.

Прислушаемся к Василию Кирилловичу Тредиаковскому:

«В поэзии вообще две вещи надлежит примечать. Первое: материю, или дело, каковое пиита предприемлет писать. Второе: версификацию, то есть способ сложения стихов. Материя всем языкам в свете общая есть вещь, так что ни который оную за собственную токмо одному себе почитать не может, ибо правила поэмы эпической не больше служат греческому языку в Гомеровой «Илиаде», и латинскому в Виргилиевой «Энеиде», как французскому в Вольтеровой «Генриаде», итальянскому в «Избавленном Иерусалиме» у Тасса, и аглинскому в Мильтоновой поэме о потерянии рая. Но способ сложения стихов весьма есть различён по различию языков. И так Автор славенския грамматики, которая обще называется большая и Максимовская, желая наше сложение стихов подобным учинить греческому и латинскому, так свою просодию[4] количественную смешно написал, что, сколько раз за оную ни примешься, никогда не можешь удержаться, чтоб не быть, смотря на оную, смеющимся Демокритом непрестанно. Ежели б он тогда рассудил, что свойство нашего языка того не терпит, никогда б таковой просодии не положил в своей грамматике».[5]

«Источники реформы Тредиаковского многообразны: счёт на стопы он почерпнул в античной метрике, принцип подмены в этих стопах долгих слогов ударными — в немецкой и голландской метрике, трактовку предцезурного ударения и обязательной рифмы — во французской, но сама мысль о применении этого тонического ритма к русскому стиху была подсказана Тредиаковскому (как он сам подчёркивал) наблюдениями над хореическим ритмом русских народных песен».[6]

Сама фактура языка существенно влияет на стихосложение. К примеру, «просодия библейского стиха основана не на метрическом принципе, а на параллелизме строк, выражающемся на синтаксическом, лексическом и семантико-риторическом уровнях; различаются три основных вида параллелизма: синонимический, антитетический и синтетический. Характерными приёмами являются аллитера́ция[7], ассона́нс[8], паронома́сия[9] и ономатопе́я[10]».[11]

«Если в русском языке основным средством строения слов является флексация (добавление к корню слова приставок, суффиксов, окончаний) то основным средством морфологизации в изолирующих языках, таких, например, как китайский, является словопорядок. Вот почему «хао» в «сию хао» (делать добро) является в форме существительного, в «хао жень» (добрый человек) — в форме прилагательного и в «жень хао во» (человек любит меня = добр ко мне) — в форме глагола».[12]

При непредвзятом взгляде на русскую литературоведческую терминологию обнаружится большое количество греческих заимствований. Все эти «лито́ты», «сине́кдохи», «хоре́и», «спонде́и», «мета́форы» и «ана́форы», «оды» и «сати́ры» являются заимствованиями из греческого языка. И термин «метр» оттуда же, и «стих», да и «поэзия» тоже. Однако греческое стихосложение в русской среде не прижилось по причине очень уж разного произношения. В греческом языке различаются долгие и краткие слоги, а в русском есть ударные и безударные слоги. Хотя в изменённом, приспособленном для норм русского языка виде, в русскую поэзию просочились гекзаметры и логаэды.

И что нам остаётся? Делать упор на слоги? — получится просодия *силлабическая (слоговая)*. Делать упор на ударения? — получится стихосложение *тоническое (ударное)*. Если учитывать и то, и другое, то приходим к *силлабо-тоническому*

3. Магомет-Нури Османов «Омар Хайям: проблемы и поиски». (www.khayyam.nev.ru/hayamtrf.shtml)
4. Просодия — учение о метрически значимых элементах речи, а также термин, обозначающий соответствующий круг явлений.
5. Тредиаковский В. К. «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий» (http://vers.al.ru/cgi-bin/intern/view.cgi?id=51&cat_id=1&print=1)
6. Гаспаров М. Л. «Очерк истории русского стиха» М.: «Наука», 1984, § 9
7. Звукопись.
8. Звукосочетания, составленные из одинаковых ударных гласных, но различающиеся согласными.
9. Созвучие.
10. Звукоподражание.
11. «Еврейская классическая и средневековая литература на иврите и арамейском языке» (www.eleven.co.il/article/12480)
12. Даниленко В. П. «Общая типология языков в концепции В. Гумбольдта» (www.islu.ru/danilenko/index5.html)

(слогово-ударному) стихосложению. А если не учитывать ни того, ни другого, то получается *проза.* Так что, с точки зрения технической, стихи от прозы отличаются именно наличием ритма, упорядоченности. Но нельзя не упомянуть и ещё один очень важный элемент речи, а именно—паузы. Это такие промежутки тишины между звуками. Благодаря им речевые периоды отделяются один от другого. Поскольку говорят люди ныне только на выдохе, а потом замолкают, чтобы сделать вдох, то паузы в речи неизбежны. Наиболее естественны паузы, совпадающие с завершением высказывания—предложения. Для указания пауз на письме придуманы специальные значки: запятые, точки, тире, двоеточия, многоточия. И есть ещё одна—особая—пауза. Это завершение стихотворной строки. Особыми значками она не обозначается, зато выделяется самим фактом конца строки. В разговоре мы редко отделяем одно слово от другого. Так и говорим: вразгворемыреткаатдиляимаднословатдругова.

Честно говоря, речь разговорную трудно признать прозой. Её надо выделить как ещё один особый вид речи. Её отличие от речи письменной состоит в ярко выраженной неупорядоченности. Фразы начинаются и обрываются, предложения часто создаются с нарушением литературных норм, изобилуют жаргонизмами. Кроме того, разговорная речь—речь, прежде всего, слышимая, а зачастую и—видимая, так как осуществляется в непосредственном общении.

В связи с развитием Интернета, повлёкшим за собой возникновение форумов и чатов, разговорная речь, однако, становится теперь всё более письменной. И эту ярко выраженную неупорядоченность разговорной речи они в полной мере отражают, уснащая её, вдобавок к упомянутым огрехам, обилием опечаток. Так что, если рассматривать типы речи с точки зрения первичности их возникновения, то именно *разговорную речь надо признать самым ранним и поэтому самым простым проявлением языка.*

Однако вернёмся к системам стихосложения. Потеоретизируем вслед за Тредиаковским на тему взаимного соответствия языка и просодии. Поскольку в русском языке ударения не имеют постоянного места в словах, то мы имеем возможность выбрать только те слова, которые соответствуют выдвинутым требованиям. Это позволит нам сымитировать языки, такой гибкостью не обладающие. Постараемся придерживаться одинакового количества слогов в стихах. При этом попытаемся удержаться «в теме», намекая о трудностях заполярного житья для обитателей жарких стран.

Тут применены слова с ударением на первом слоге в каждом слове (символ –́ означает ударный слог, ⌣—безударный):

–́ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ *10 слогов*
Здесь ветром море запросто вздуто.
⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ –́ ⌣
Злым холодом веет из туч морок.
–́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣
Если на юге не смог, то тут-то
–́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣
Выдюжишь вряд ли и сгинешь скоро.

А теперь подберём слова с ударениями на последних слогах:

–́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ *11 слогов*
Там, где ночь царить чуть не год норовит,
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ –́ ⌣ ⌣ –́
Ветрам легко громоздить волн кружева.
⌣ ⌣ –́ ⌣ –́ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́
Кто к теплу привык—пусть во всём даровит—
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ –́
В краю таком семь дней проживёт едва.

Как видно из этих примеров, на языках с закреплёнными ударениями вполне можно сочинять рифмованные стихи с одинаковым количеством слогов в строках. Надо только отметить, что односложные слова зачастую утрачивают ударность и как бы приклеиваются к словам многосложным, в которых ударение проявляется чётче. Вот хотя бы это «Кто к теплу привык». Произнесите и заметите сразу что «кто» произносится почти без ударения—«Кто к теплу́ привы́к». Но при такой закреплённости ударений очень трудно выдержать членение на стопы, каковое характеризует силлабо-тоническое стихосложение. Очень желательно такие стихи рифмовать, поскольку без строгого чередования ударных и безударных слогов в них трудно заметить хоть что-то ритмическое. Можно, однако, предположить, что в языках с преобладанием коротких двусложных слов при сочинении силлабических стихов вполне можно выйти на довольно чёткие силлабо-тонические метры. Хорей, к примеру, проявится в языках с ударением, закреплённым на первом слоге, а ямб—с ударениями на последнем слоге.

–́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ *10 слогов—пятистопный хорей*
Ветром море часто в крае этом
–́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣
Рвётся так же просто как и ткани.
–́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣
Вряд ли житель тёплых мирных весей
–́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣
Сможет в этом хмуром месте выжить.

⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ *10 слогов—пятистопный ямб*
В краю, где волн легко встаёт стена,
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́
Ветров рывкам спеша служить всегда,
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́
Любой из тех, кто жить в тепле привык,
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́
Едва ли тут приют найдёт себе.

Попробуем теперь сочинить стихи на ту же тему на языке с незакреплёнными ударениями (каковым и является язык русский), по-прежнему не заботясь о порядке чередования ударных и безударных слогов, но соблюдая одинаковое количество слогов в строках:

⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ *13 слогов*
До смешного коротким здесь бывает лето.
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣
Зима то ветром студит, то греет ангиной.
⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ –́ ⌣
Романтикам тропиков не по нутру это—
⌣ –́ ⌣ –́ ⌣ ⌣ –́ ⌣ ⌣ ⌣ –́ –́ ⌣
Они чуточек потерпят, а потом сгинут.

Стремясь строго соблюдать количество слогов в строках, мы пытались не обращать вниманья на количество ударений. И, надо признать, звучат эти строки довольно ритмично. Однако, присмотревшись повнимательней, мы заметим, что

количество сильных (ударных) мест во всех приведённых примерах равно пяти на строку. И мы имеем полное право признать все эти фрагменты примерами тонического стихосложения. Только примеры ямба и хорея придётся признать ещё более упорядоченными, поскольку в них правильно чередуются как ударные, так и безударные слоги. Мне представляется, что поэзия, начавшись как силлабическая, в своём развитии довольно скоро обрастёт разнообразными ритмическими метками и переродится во что-то более ритмичное. Хотя возможны и другие точки зрения на это. М. Л. Гаспаров, например, полагает, что «не следует думать, что непривычный для современного слуха расшатанный ритм силлабики — следствие того, что поэты плохо вслушивались в «дух русского языка», и будто поэтому силлабика в русской поэзии оказалась недолговечной. Поэты очень точно следовали естественному ритму русского языка; просто они предпочитали ритмическое разнообразие силлабики ритмическому единообразию силлабо-тоники, чёткости, так как это больше соответствовало художественному вкусу доклассицистической эпохи»[13].

Попытаемся втиснуть в двенадцатисложник первое предложение предыдущего абзаца:

´ ◡ ´ ´ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ ◡ ◡ ´ *12 слогов 5 ударений*
Что ж, стре-мясь стро-го со-блю-дать ко-ли-чест-во
´ ◡ ´ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ ◡ ◡ ◡ ´ *12 слогов 4 ударения*
сло-гов в стро-ках, мы пы-та-лись не об-ра-щать
◡ ´ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ *12 слогов 3 ударения*
вни-ма-нья на ко-ли-чест-во у-да-ре-ний.

Тут-то и предстаёт силлабическое стихосложение во всей своей беспомощности и явной непригодности для русского языка. Как ни кромсай предложения на равносложные строчки (равносложие которых *на слух совершенно незаметно*), они будут звучать чрезвычайно прозаично. Александр Квятковский отмечает: «Равносложие (изосиллабизм) стихов могло быть соблюдено лишь при наличии определённого метрического каркаса, который поддерживает совершенно обязательную манеру речитативного исполнения стихов. Вне метрического речитатива писать такие стихи в большом количестве нельзя»[14]. Вот двенадцать слогов в строке, но уже в «метрическом каркасе», с обязательным соблюдением цезуры (короткой паузы, обозначаемой таким вот значком — ||):

◡ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ || ◡ ´ ◡ ◡ ´ ◡
Да благословит тя || господь от Сиона
◡ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ || ´ ◡ ◡ ◡ ´ ◡
На высокочестнем || месте царя Фрона.
◡ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ || ◡ ´ ◡ ◡ ´ ◡
Да благословит же || венчанную главу
◡ ◡ ◡ ◡ ´ ◡ || ◡ ◡ ´ ◡ ´ ◡
На премнога лета || соблюдати здраву.
(Симеон Полоцкий, 17 век)

Цезура делит каждый стих пополам. Причём в первом полустишии интонация ускоряется вплоть до предпоследнего слога, являющегося ударным. В последнем стихе «На премно́га ле́та» хоть и содержится два ударения, но первое произносится ослабленно. Потому что оно не является опорным. Во вторых же полустишиях — два опорных ударения. И, хотя во втором стихе «ме́сте царя́ Фро́на» содержит три ударения, слово «царя» произносится так, как будто оно безударное. Такие стихи строго писались с парной рифмовкой («краесогласием»). В итоге получались двустишия, называемые «виршами».

Ещё пример из творчества того же автора:

Змий
В некоей стране || змий превелий бяше,
близ моста лежи, || вред лютый творяше.
Кони и волы || и всяк скот хищал есть
и путь творшыя || люди поглощал есть.
Темъ путём святый || епископ пустися
Донат, а змий на нь || гладный устремися,
Разверз челюсти, || святый наплеваше
в гортань, и знамя || крестно содеяше.
Того не терпя, || змий той умертвися,
о нём же страна || вся возвеселися.
Осмь супруг[15] волов || зла гада везоша
на поле, тамо || огнём и сожгоша.
(Симеон Полоцкий, 1678)

Строго говоря, силлабическая просодия в чистом виде нежизнеспособна. Во всяком случае, применительно к русскому языку это несомненно. С тоническими же подпорками она продержалась довольно долго — около века (середина 17–середина 18 вв.). Только, вот, закавыка — язык, на котором писали виршевики-силлабисты трудно признать русским. Поскольку письменность восточнославянская оказалась увязанной с христианской религией, языком которой в русском православии стал язык солунских (южных) славян, то писали писари с самого начала не по-русски, а по церковно-славянски. По-солунски, т. е.

А вот образец русского устного народного творчества, датируемый первой третью 17 века. Пример «раёшного стиха» (рифмованного тонического неравноударного):

Послание сына, «от наготы гневнаго», к отцу
Присному моему пречестному отцу,
приведшему душу мою ко общему творцу,
государю моему,
паче же и благоприятелю моему,
спастися
и радоватися.
Бьёт челом сын твой богом даной,
а дурак давной.
Смилуйся, государь,
для ипостаснаго троического божества
и для Христова от девы рождества
и для своея праведные души
глаголы моя внуши.
Где моя грубость —
покажи свою милость.
Пожалуй меня, беднаго
и от наготы гневнаго:
одень мою спинку,
вели дати свитку.

13. Гаспаров М.Л. «Очерк истории русского стиха» М.: «Наука», 1984, § 14
14. Квятковский А. П. «Поэтический словарь», «Сов. Энциклопедия» М. 1966 с. 260
15. Упряжек.

Воистинно, государь, хожу гол,
что бурой вол.
Свитченко у меня одно,
и то не бывало с плечь давно.
И я, государь, храню свой обет
и за то хощу быти одет.
Смилуйся, государь, прикажи въскоре
размыть моё горе
и угаси рыдание слёзное,
да в царствии небеснем
обрящеши пристанище полезное.
Ведая бо, государь, толикую твою мощ,
надеюся не отъити от тобя тощ.
Здрав буди,
толко меня не забуди.[16]

Оба стихотворения написаны в 17 веке. Но насколько понятнее, современнее кажется «Послание» в сравнении со «Змеем»! И как на этих примерах явственно предстаёт различие двух языков: книжного и разговорного! Зато, как показывают приведённые выше примеры, тоническая просодия очень даже успешно сочетается с русским языком. Хотя отголоски виршевой традиции можно усмотреть и в этом стихотворении второй половины 20 века:

◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́ *10 слогов*
По какой реке твой корабль плывёт
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
до последних дней из последних сил?
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
Когда главный час мою жизнь прервёт,
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́ *(немного нараспев—спро́сите́)*
вы же спросите: для чего я жил?

◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
Буду я стоять перед тем судом—
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
голова в огне, а душа в дыму…
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
Моя родина—мой последний дом,
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
все грехи твои на себя приму.

◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
Средь стерни и роз, среди войн и слёз
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
все твои грехи на себе я нёс.
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
Может, жизнь моя и была смешна,
◡ ◡ –́ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡ –́
но кому-нибудь и она нужна.
(Булат Окуджава, 1989)

Читателям может показаться странным, что в некоторых словах оказывается по два ударения: «вы же спро́сите́», «Моя ро́дина́». Однако, это довольно-таки распространённое явление в речитативной (в той или иной степени произносимой нараспев) тонической равноударной поэзии (в данном случае все строки четырёхударны).

Мне представляется, что исторически *стихи появились позже песни*. Т. е. поначалу «текст» не был отделён от «музыки», а был с ним спаян в «песне». Вся обрядовая поэзия—это прежде всего *песенная* поэзия. Вероятнее всего, обряды поначалу имели сугубо магическое значение, т. е. должны были как-то взаимодействовать с природой, как-то влиять на неё. Для усиления воздействия вполне могли оказаться пригодными дополнительные источники звуков—музыкальные инструменты. Тут текст не имеет самостоятельного значения. Поэтому обрядовую поэзию трудно читать—настолько коряво она сделана. Зато её вполне можно петь. Поскольку при пении звуки могут «тянуться», звучать либо кратко, либо долго, то и количество слогов в тексте песни не очень существенно для создания ощущения её благозвучия. Все эти скальды, трубадуры, миннезингеры, рапсоды, бахши, барды, ваганты, ашуги и акыны являются прежде всего певцами, а потом уже сказителями и, тем более, стихотворцами. Пожалуй, только возникновение *письменности* вынудило людей отделить текст от музыки. Тогда только речевая составляющая песни предстала как собственно *текст*. Произошло это не мгновенно и две эти ветви речевого творчества многократно то сливались, то разливались, либо подавляя одна другую, либо взаимно обогащаясь. Главное различие: песни поются, стихи сказываются. Т. е. в песнях есть долгие и краткие слоги, а в стихах—ударные и безударные. Касательно именно русской поэзии можно сказать, что первые собственно стихи были, прежде всего, тоническими. Поскольку таковым предстаёт текст, только что отделённый, а то и отодранный от музыки. Силлабическая же поэзия—прежде всего поэзия *книжная*. Заимствованная, перенятая, привитая, иначе говоря—для русского языка не родная. И деление текста на стихи по признаку равносложия—деление сугубо умозрительное, не для слуха, а прежде всего для зрения.

Поскольку гласные при говорении уже не «тянутся», как в песне, в тоническом стихосложении значительно возрастает роль пауз.

◡ –́ ◡ –́ || –́ ◡ ◡ –́
Пошёл Балда́ || в ближний лесо́к,
◡ –́ ◡ –́ ◡ || ◡ ◡ –́
Поймал двух за́йков, || да в мешо́к.
◡ –́ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡
К морю опя́ть он прихо́дит,
◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡
У моря бесёнка нахо́дит.[17]
(А. Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде»)

В следующем примере мы снова встречаемся с двумя ударениями в одном слове, однако эта неправильность придаёт значительно больше веса простым, казалось бы, словам (Значок | означает паузу, соответствующую продолжительности произнесения одного слога. Там, где стоят два таких знака, продолжительность паузы соответствует времени произнесения двух слогов). Как утверждает Георгий Аркадьевич Шенгели, «обыкновенная пауза есть просто миг молчания, при котором выключается голосовой аппарат. Динамическая пауза, или лейма, есть миг напряжённого молчания. В некоторых языках (в арабском и персидском) такие беззвучные напряжения голосовой щели входят

---

16. Текст (в списке первой трети XVII в.) цитируется по изданию: Адрианова-Перетц В. П. «Русская демократическая сатира XVII века». Изд. 2-е, дополн. М., 1977, с. 231–232 («Дополнения», подготовленные Н. С. Демковой), с. 238–239 (комментария).
17. Выделены опорные ударения, они произносятся слегка растянуто, как бы нараспев.

в общую звуковую систему, возникая в тех или иных словах в обычной речи (и играя, конечно, свою роль в стихе); там они носят название «хамза» и истолковываются как «нуль звука»[18].

Он же подсчитал, что обычная речевая пауза, соответствующая словоразделам, длится 0,036 сек., а напряжённая пауза, соответствующая пропуску слога в тоническом стихотворении, длится существенно дольше, а именно, около 0,185 сек. Пауза, соответствующая пропуску двух слогов, длится приблизительно 0,238 сек. Зная теперь эти подсчёты, можно себе представить, насколько возрастают требования к чтецам, декламирующим тонические стихотворения. Мне думается, это одна из существенных причин меньшей популярности таких стихов в народе, чем стихов напевных.

Попробуйте произнести это стихотворение с учётом вышесказанного:

Отъезд

◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡
Уезжающие—уезжают,
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ || ◡ ◡ –́ ◡
провожающие—провожают,
◡ ◡ –́ | ◡ –́ ◡ –́
и одни, совсем одни
◡ ◡ –́ ◡ | ◡ –́ | ◡ –́
остаются потом они.

◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡
Только рявкнет гудок паровозный,
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́
реактивный взревёт самолёт—
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́
одиночество холод грозный
◡ ◡ –́ ◡ | ◡ –́ | ◡ –́
превращает в снег и в лёд.

◡ ◡ –́ ◡ | –́ ◡ | –́ ◡
Превращает в мрак и в стужу,
◡ ◡ –́ | ◡ ◡ –́ | ◡ ◡ –́
в феврали, январи, декабри.
◡ ◡ –́ | ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡
Это всё случается тут же,
◡ ◡ –́ ◡ || ◡ –́ | ◡ –́
на перроне—гляди, смотри.

◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ | –́ ◡ ◡
И становится слово прочерком.
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ || –́
И становится тишью—звень.
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ || –́ ◡ ◡
И становятся люди—почерком
–́ ◡ –́ ◡ || –́ ◡ ◡ | –́
в редких письмах в табельный день.
(Борис Слуцкий)

В этом стихотворении чётко прослеживается трёхударность в каждой строке, кроме последней.

В силлабо-тонической просодии появляются *стопы*—условные единицы членения стихов. Стопы состоят из ударных и безударных слогов. Составом стопы определяется *метр*. В русской поэзии прижились пять метров: два, основанных на двухсложных стопах: это хоре́й (–́◡) и ямб (◡–́), три—на трёхсложных стопах: да́ктиль (–́◡◡), амфибра́хий (◡–́◡), ана́пест (◡◡–́). В зависимости от количества стоп в стихе, различают *стихотворные размеры*. Так, в только что приведённом стихотворении Бориса Слуцкого можно найти немало строк выдержанных в размере трёхстопного анапеста (◡◡–́◡◡–́◡◡–́). В тех местах, где обнаруживаются отклонения от анапеста, заключающиеся в пропусках слогов, возникают паузы. Так что, в каком-то смысле, тоническая просодия может рассматриваться как испорченная силлабо-тоническая. Хотя это и не совсем так. Обратите внимание на знаки препинания, расставленные самим автором. В стихотворении довольно много тире. Уже в первых же строках тире указывают на остановку произнесения, на паузы, которые разрывают вполне правильный анапест.

В рамках тонической просодии уживаются раёшный стих, фразовик, паузник, ударник. Эти названия зачастую обозначают не столько какое-то чётко установленное явление, сколько разные стороны и оттенки одного и того же. Мы уже заметили, что при опоре только на ударные слоги—в стихах возрастает роль пауз. Следовательно, ударников без пауз не бывает.

«К началу 17 века в распоряжении русских стихотворцев был опыт трёх систем стихосложения: песенного стиха былин и народных песен, молитвословного стиха литургических песнопений и говорного стиха скоморошьих присказок, пословиц и поговорок».[19]

«Выделение стиха как особой системы художественной речи, противополагаемой «прозе», совершается в русской литературе в 17–начале 18 в. Оно связано с той широкой перестройкой русской культуры, которая в литературе и искусстве происходила под знаком барокко. Барокко открыло в русской литературе стих как систему речи. Со своим характерным эстетическим экстремизмом оно уловило в русской литературной речи выразительную силу ритма и рифмы, выделило эти два фонических приёма из массы остальных, канонизировало их и сделало признаками отличия „стиха“ от „прозы“».[19]

С 18 века активно стала распространятся силлабо-тоническая просодия, которая в 19 и 20 веках стала господствующей в русской поэзии. Поскольку в русском языке довольно много длинных многосложных слов, то в ямбах и хореях часто случаются пропуски ударений, обусловленных как раз этой многосложностью. Такая двусложная безударная стопа называется пирри́хий (◡◡). Иногда рядом оказываются два односложных слова, которые приходится произносить в той или иной степени с ударением. Такая двусложная ударная стопа получила название спонде́й (–́–́). В трёхсложных размерах попадаются безударные стопы из трёх слогов—трибра́хии (–́–́–́), а также возникают случаи внеплановых ударений. Часто такие ударения не произносятся вообще, или произносятся ослабленно. Вот пример (трёхстопный анапест с чередованием женских и мужских кла́узул, подчёркнутые слова произносятся без ударения):

◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡
Ты всегда хороша несравненно,
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́
Но когда я уныл и угрюм,
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡
Оживляется так вдохновенно
◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́ ◡ ◡ –́
Твой весёлый, насмешливый ум;

18. Шенгели Г. А. «Техника стиха» М.: Гослитиздат, 1960 г. с. 190

19. Гаспаров М. Л. «Оппозиция «стих—проза» и становление русского литературного стиха» в кн. Русское стихосложение: Традиции и проблемы развития.—М.: 1985.—с. 266

Ты хохочешь так бойко и мило,
Так врагов моих глупых бранишь,
То, понурив головку уныло,
Так лукаво меня ты смешишь;

Так добра ты, скупая на ласки,
Поцелуй твой так полон огня,
И твои ненаглядные глазки
Так голубят и гладят меня,—

Что с тобой настоящее горе
Я разумно и кротко сношу
И вперёд—в это тёмное море—
Без обычного страха гляжу…
(Николай Некрасов)

В связи с тем, что в русском языке нет строго закреплённого на каком-то определённом месте ударения, возможно большое разнообразие концов строк (кла́узул): с ударением на последнем в строке слоге («мужская» клаузула), с ударением на предпоследнем от конца слоге («женская» клаузула), с ударением на третьем от конца слоге («дактилическая» клаузула). Если клаузулы созвучны, похожи по звучанию, то они называются «рифмами». В только что приведённом стихотворении Н. Некрасова четверостишия содержат перекрёстно рифмующиеся строки. Причём, нечётные имеют клаузулы женские, а чётные—мужские. Такое чередование мужских и женских клаузул (и, соответственно, рифм) в русской поэзии очень распространено. Нерифмованные дактилические клаузулы повсюду встречаются в былинах. Дактилические рифмы в русской поэзии впервые активно стал применять Николай Алексеевич Некрасов.

Синтаксис. В русском языке ещё не затвердел порядок слов в предложении, как, например, в немецком языке, не говоря уже о китайском. Поэтому русский язык, в принципе, допускает довольно-таки причудливые «синтаксические узоры». Возьмём для примера какое-нибудь вполне рядовое предложение. Попробуем различными способами расставить в нём слова. Не все сочетания слов окажутся удовлетворительными с точки зрения правил русского синтаксиса. Однако выбор весьма велик:

Правильно:
Какой чудесный вид с горы открылся этой.
С горы открылся этой какой чудесный вид.
Чудесный вид какой с горы открылся этой.
С горы этой какой вид открылся чудесный.
Вид какой чудесный открылся с этой горы.
Чудесный с этой горы вид какой открылся.

Неправильно:
Чудесный горы открылся с вид этой какой.
Чудесный с открылся горы какой вид этой.
С какой чудесный этой вид горы открылся.
Вид с какой этой чудесный горы открылся.
Открылся с чудесный какой этой вид горы.

Но есть в русском языке и недостатки. Очень уж громоздки числительные. Например 831—восемьсот тридцать один. А в родительном падеже что это будет?! Вот что: восьмисот тридцати одного. А в дательном? Вот дательный падеж: восьмистам тридцати одному. И многие ли дикторы на телевидении и радио правильно это произносят? А что говорить о простом народе?! Новый век начался. И как теперь говорят? Редко от кого услышишь: «в две тысячи первом году»… Ведь скажут: «в двух тысячи первом».

Морфология. В иных словах нагромождается куча аффиксов: префиксов, суффиксов, и даже инфиксов и постфиксов! Хотя бы вот это из двадцати одной буквы «са́мораспако́вывающееся». Раздробим его на составные части. Сам-о-рас-пак-овы-ва-ющ-ее-ся. «О»—соединительная гласная. Её присутствие в слове указывает на то, что это слово составное, в нём два корня. Из них: «Сам»—определительное местоимение, указывающее на предмет, выступающий источником собственной деятельности. «Пак»—корень имени существительного, который самостоятельно не употребляется. Зато его можно найти в словах, означающих тару, обёртку, некий покров: упаковка, паковать, распаковать, распаковывать, пакет. «Рас»—приставка, означающая разделение на части, расширение, направленность движения в разные стороны. Суффикс «овы» сопутствует глаголам несовершенного вида. Он указывает также на возможность многократности действия. В данном случае это глагол «распаковывать». «Ва»—основа неопределённой формы глагола. Суффикс «ющ» используется при образовании причастий от глаголов. Следовательно, рассматриваемое нами слово является причастием. «Ее»—падежное окончание, означающее, что данное слово относится к среднему роду. И, наконец, возвратная частица «ся». С её помощью глаголы обретают форму возвратного залога.

Все эти штуковины расположены на своих местах, все они нужны, но до чего же неуклюжим выглядит это слово! Такие вот длиннющие слова не влезают ни в какой стихотворный размер, да и произносить их довольно трудно. Как, например, тут:

Фантазия—болезнь причин и следствий,
Их раж, их беззаконный произвол.
И непоследова́тельность[20] последствий.
Фантазия! Она начало зол!
(Давид Самойлов «Фантазия»)

Аллитерации. Народное поэтическое творчество породило и такой жанр как скороговорки. В скороговорках собираются звуки, которые в тесном соседстве с трудом произносятся.

На дворе трава, на траве дрова.

Вполне можно выстроить звуки так, что они будут произноситься благозвучно. Как, например, в этом стихотворении (в каждом стихе созвучные звуки выделены буквами одинакового начертания):

---

20. Тут ещё и ударение падает на слог «ва» совсем некстати.

ПоД вечеР он виДит, застывши в ДвеРях:
два вСадНика Скачут в окреСтНых полях,
как будто по кРуГу, сквозь Рощу и Гать,
и Долго Не могут Друг Друга ДогНать.
То бросив Поводья, Поникнув, устав,
то сноВа В седле Возбуждённо приВстаВ,
и быСтро по Светлому Склону холма,
То в роЩУ опяТь, где сгУЩаеТся Тьма.
Два вСадниКа СКачут в вечеРней гРязи,
не Только оТ дома, оТ сердца вблизи,
ДРуг ДРуга они окликают, зовут,
небесные рати за рощу плывут.
И таК ниКогда им на свете вдвоём
сКвозь рощу и гать, сКвозь пустой водоём,
не ехать ввиду Станционных поСтов,
как будТо меж ними не соТня кусТов!
Вечерние призраки! — где их следы,
не видеть двойного им вСплеСка воды,
их вновь возвраЩаеТ к себе ТиШина,
он Знает иЗ окриков их имена.
По СеЛьСкой дороге в хоЛодной пыЛи,
под чёрными соснами, в комьях земли,
Два вСаДниКа СКачут наД блеДной реКой,
два вСадника Скачут: тоСка и покой.
(Иосиф Бродский)

Можно смело заявить, что для звукописи с помощью согласных звуков в русской поэзии возможностей много. С гласными, как уже говорилось в предыдущей главе, дела обстоят хуже. Сюда же можно отнести и рифмы — как разновидность звукописи. Рифмы можно разделить на два больших класса. В 19 веке господствовала рифма *заударная*, в начале века 20-го распространяется *предударная* рифма.

Вот пример рифм заударных, когда рифмующиеся звуки располагаются за последним ударением в строке:

Я возвращусь к вам, поля моих отцо́в,
Дубравы мирные, священный сердцу кро́в!
Я возвращусь к вам, домашние ико́ны!
Пускай другие чтут приличия зако́ны;
Пускай другие чтут ревнивый суд неве́жд;
Свободный наконец от суетных наде́жд,
От беспокойных снов, от ветреных жела́ний,
Испив безвременно всю чашу испыта́ний,
Не призрак счастия, но счастье нужно мне.
(Е. Баратынский)

На тихих берегах Москвы́
Церквей, венчанные креста́ми,
Сияют ветхие главы́
Над монастырскими стена́ми.
Кругом простёрлись по холма́м
Вовек не рубленные ро́щи,
Издавна почивают та́м
Угодника святые мо́щи.
(А. Пушкин)

Иду, бодрюсь… А где-то ель скрипи́т,
И почему-то делается гру́стно.
Всё спит кругом, а может, и не спи́т,
А только притворяется иску́сно.
На дне канав мерцает лунный бли́к.
Пугая тишь, заухал филин в ча́ще.
Как путь далёк, как этот мир вели́к!..
Друзья, давайте видеться поча́ще!
(К. Ваншенкин. «Ночная дорога»)

Дождём осенним плачут о́кна.
Дрожит расхлябанный ваго́н.
Свинцово-серых туч воло́кна
Застлали серый небоскло́н.
Сквозь тучи солнце светит ску́дно,
Уходит лес в глухую да́ль.
И так на этот раз мне тру́дно
Укрыть от всех мою печа́ль!
(Демьян Бедный. «Печаль»)

А это уже пример рифм предударных. В данном случае рифмующиеся звуки располагаются пред последним ударением в строке:

Сегодня приедет —
уродом-уро́д,
а завтра —
узнать посме́йте-ка:
в одно
разубран
и город и ро́т —
помады,
огней косме́тика.
<…>
Засвистывай,
трись,
врезайся и режь
сквозь Льежи
и об Брюссе́ли.
Но нож
и Париж,
и Брюссель,
и Льеж —
тому,
кто, как я, обрусе́ли.
(В. Маяковский. Два фрагмента из цикла стихов «Париж»)

Постель была расстéлена,
и ты была растéряна…
(Е. Евтушенко)

Когда есть друг, то безлюбо́вье
не страшно нам,
хотя и дразнит бес лего́нько
по временам.
(Е. Евтушенко)

Прекрасная пора́ была!
Мне шёл двадцатый год.
Алмазною пара́болой
взвивался водомет.
(София Парнок)

Царь застыл — смурной, малохо́льный,
царь взглянул с такой меланхо́лией,
(А. Вознесенский)

Страсть к убийству, как страсть к зача́тию,
ослеплённая и злове́щая,
она нынче вопит: зайча́тины!
Завтра взвоет о челове́чине…
(А. Вознесенский)

Разумеется, нет никаких практических препятствий для того, чтобы в одном произведении использовать оба вида рифм. Но есть препятствия исторические и художественные. Поскольку исторически заударные рифмы стали применяться в русской поэзии раньше предударных, то они представляются для слуха наших современников более привычными. Предударные же рифмы из-за их новизны воспринимаются более обострённо, более выпукло и потому своей непривычностью привлекают больше читательского внимания, чем заударные рифмы. Поэтому для людей, с детства приученных слышать в стихотворениях только заударные рифмы, встреча с рифмой предударной становится событием. И автор должен обладать немалым поэтическим чутьём, чтобы гармонично совместить оба вида рифм в рамках одного произведения.

Стоит упомянуть ещё неравносложные рифмы. Звучат они довольно эффектно:

(женская клаузула)
Не устанет *трудиться*
и искать
человек
то, *(дактилическая клаузула)*
что нашей *традицией*
назовут
через век.
(Семён Кирсанов. «Новаторство»)

Пожалуй, следует отметить вот ещё что. Не только в стихах, а и в прозе, и в разговорной речи завершение фразы ударным слогом звучит весомее, энергичнее. Прям щас расставлю те же слова в другом порядке, и вы сами это признаете: «завершение фразы ударным слогом весомее, энергичнее звучит». Вообще, чем меньше в речи ударных слогов, тем медлительней она кажется. А если речевые периоды ещё и завершаются дактилическими клаузулами, то и подавно.

Вот мы и признали, что в пределах русского языка вполне уживаются тоническое и силлабо-тоническое стихосложение. Силлабическое—скреплённое метрическим каркасом—тоже вполне сносно уживается с русским языком. Осталось только приложить к русскому языку, так называемый, «*свободный стих*», то бишь, «*верлибр*». «Это тип стихосложения, для которого характерен последовательный отказ от всех «вторичных признаков» стиховой речи: рифмы, слогового метра, изотонии, изосиллабизма (равенства строк по числу ударений и слогов) и регулярной строфики».[21] Назовём такое определение верлибра «*ортодоксальным*». Ведь тут «свобода» получается мнимой, поскольку *отказы надо же соблюдать*. От стиховой речи осталось только требование выдерживать стиховые паузы, соответствующие концам строк. Для проверки нам опять представляется счастливая возможность сочинить что-нибудь про тяжкое житьё теплолюбивого субъекта в приполярных широтах. Как и ранее попробуем втиснуться в четыре строки.

16 слогов
Закрепиться не может в этом краю лето надолго.
15
Что за радость—отсиживаться при костре в яранге,
15
Когда месяцами длится снежная зимняя ночь?
22
Куда приятней познать радость сопричастности
с перелётными птицами.

В первой строке 16 слогов и 6 ударений, во второй 15 и 4, в третьей 15 и 6, в четвёртой 22 и 7. Следовательно, нам удалось избежать равносложия и равноударности в строках. Равностопия тоже не получилось. Рифм нет. Все ортодоксальные формальные требования соблюдены—сплошные отказы! Только, как я уже отметил, не такой уж он и свободный—этот «свободный стих». Поскольку среди верлибристов есть много суровых ортодоксов, отвергающих любые упорядочивающие добавки. Равносложие закралось—и кричи: «караул, верлибр загрязнился»! А, то, неровён час, рифма просклизнёт[22]—вот ужас-то! Сиди над строками да только успевай выковыривать все эти ритмические примеси—блюди «свободу». Кроме того, что-то мне подсказывает, что мелкотемье при таком подходе ещё только заметней станет, чем в метрически организованном тексте. Давайте прочитаем три приводимых далее стихотворения и поищем в них хоть какого-нибудь содержания. Ознакомимся с творением *Евгения Михайловича Винокурова*.

Я ловил ощущенье…
Я ловил его, чтобы поймать
И запрятать в клетку стихотворенья.
Я ловил его.
Я подкарауливал его,
Выслеживал,
Ладонью зажав себе рот,
Затаив дыханье,
Подкрадывался на цыпочках,
Пытаясь накрыть его рукою…
Но оно улетало.
Только несколько раз
В моих пальцах оставалось яркое перо
Как свидетельство того,
Что оно было на самом деле,
А не приснилось.

Ну, а тут—*Юрий Давыдович Левитанский*:

Освобождаюсь от рифмы,
от повторений
дланей и ланей,
смирений и озарений.
В стихотворенье—
как в воду,
как в реку,
как в море,
надоевшие рифмы,
как острые рифы,
минуя,
на волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как прекрасны
его изгибы и повороты,
то нежданно резки,
то почти что неуловимы!

---

21. Орлицкий Ю. «Русский верлибр: мифы и мнения». Арион, №3/1995.
22. Это не опечатка.

Как свободны и прихотливы
чередованья
этих бурных его аллегро
или анданте!
На волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как легко и свободно
катит меня теченье.
То размашисто
заношу над водою
руку,
то лежу на спине,
в небеса гляжу,
отдыхаю…
Но внезапно
там,
вдалеке,
где темнеют плёсы,
замечаю,
как на ветру
шелестят берёзы.
Замечаю,
как хороши они,
как белёсы,
и невольно
к моим глазам
подступают слёзы.
И опять,
и вновь,
вопреки своему желанью—
о любовь и кровь!—
я глаза утираю
дланью.
И шепчу, шепчу—
о берёзы мои, берёзы!—
повторяя—
берёзы,
слёзы,
морозы,
розы…

Стихотворение Е. Винокурова было написано в 1961 году. Стихотворение Ю. Левитанского я взял из книги «Годы», изданной в 1987 году. И оба эти автора уделяли верлибрам лишь малую часть своих писательских сил. Нынче же народилось поколение, некоторые представители которого уже осознанно, явно причисляют себя к разряду «верлибристов» и силлабо-тонических стихов не пишут. Вот, к примеру, Кирилл Медведев. В подавляющем большинстве произведения его довольно-таки длинные, как это, датированное 2002-ым годом:

мной движет тщеславие; вчера
моя знакомая лена рассказывала мне
про археологическую экспедицию
в посёлке гнёздово
под смоленском,
в которую я ездил когда учился на историческом
факультете
восемь лет назад;
она была там
в июле этого года;
она сказала,
что в этом году копали ближе к Днепру
и нашли,
помимо обычных черепков, помимо
мелких монет
захоронение скандинавской девушки
(там каждый год раскапывают стоянки и захоронения
скандинавов-викингов 10 века—
тогда только что было принято христианство,
поэтому в раскопках ещё очень много
языческой символики,
но уже попадаются и кресты)
когда она всё это рассказывала,
я подумал, что если бы я поехал туда сейчас,
то меня бы наверное очень увлекло
всё это;
а тогда
на первом курсе истфака
я хотя и собирался стать археологом,
но всё-таки меня уже тогда не очень
привлекала археология
она уже не очень
устраивала меня
я понимал
что долго не выдержу
на истфаке;
я тогда пытался писать стихи
может быть, я тогда считал,
что буду поэтом,
точно не помню
скорее я собирался тогда быть
блюзовым музыкантом;
моё увлечение археологией,
которым я *жил* несколько лет до этого,
уже прошло;
мне так и не доверили
своего кургана
в той экспедиции
(при том что каждому археологу
давали там свой курган)
я сходил с ума
мой знакомый илья
до сих пор иногда рассказывает
о некоторых моих
сумасшедших штучках
лена сказала, что
в этом году в экспедиции
была норвежская девушка
она сказала, что в следующем году
норвежских девушек
будет больше;
мной движет тщеславие;
моя подруга аниса сказала мне,
что я никогда не смог бы
заниматься наукой
потому что я неусидчив
и ещё по одной причине—
тщеславие;
в то лето, когда я был в экспедиции
на берегу Днепра нашли клад
со множеством золотых и серебряных украшений;
в тот день, когда его нашли,
разразился ливень,
и я хорошо помню,
как люди вырывали, вычерпывали

(как они фактически выкорчёвывали)
это золото
из жидкой чёрной
земли
(чёрной, сырой)
все эти вещи, монеты,
женские драгоценности—
всё это буквально вычерпывалось из земли;
хотя аниса и говорит,
что я не смог бы заниматься наукой,
я всё же считаю
что археология
(так же как, например, потом филология)
это одна из моих несбывшихся возможностей
(всё *не* происшедшее со мной
я разделяю на
в принципе невозможное
и на несбывшиеся *возможности*—
которыми, кстати, при необходимости, *можно* жить—
если ничего другого—*реального*—
не удастся);
я всё же считаю,
что сумел бы
стать археологом,
я думаю,
что смог бы
заниматься наукой,
у меня есть всё, что нужно
для этого—
у меня вполне хватило бы тщеславия
(а тем более усидчивости)
я не знаю, как насчёт музыки
но я уверен что мне хватит тщеславия
для того чтобы написать некоторое количество
лаконичных тонких мерцающих
удивительных
стихотворений-молитв.

Сравним? Мне думается, что Ю. Левитанскому удалось создать более «живое» стихотворение, чем Е. Винокурову. «Освобождаюсь от рифмы» гораздо более гибко обращается с формальными требованиями, форма своевременно как бы «подыгрывает» содержанию. И где надо для усиления смысла—рифмы то есть, то нет. Да и чувство искренне прослеживается. И мне думается, что как раз такой вот «стих», как у Ю. Левитанского, и заслуживает названия «свободный».[23] Винокуровское же «Я ловил ощущенье…» как будто для отчёта написано: вот, мол, и у меня верлибр есть (подавляющее большинство его стихотворений созданы в рамках силлабо-тонической просодии). Да и забавное оно с самого начала, на пародирование напрашивается. Ну что это за начало?: «Я ловил ощущенье… Я ловил его, чтобы поймать». Но есть и другое представление о верлибре: «Свобода свободного стиха в том и заключается, что искомая семантика создаётся в нём в условиях поэтической свободы от счёта слогов и ударений, что смысл стиховых рядов и воплощающие его лексические единицы, синтаксические конструкции и интонационные контуры замкнуты напрямую, без слоговых и акцентных средостений. Поэтому в верлибре возможно всё, что нужно поэту,—и слово любой длины, и усложнённый синтаксис, и любое тончайшее интонирование, но также и любая метрическая схема отдельного стиха, и тропика, и рифма, и любые виды повторов и параллелизмов. Автор верлибра свободен от каких бы то ни было внешних ограничений, кроме одного—необходимости учитывать резко возросшую функцию концевых пауз».[24] Вот такой верлибр и создал Ю. Левитанский.

Произведение К. Медведева отличается от первых двух как своей явной ставкой на прозаичность, так и явной неэкономностью языковых средств. У Е. Винокурова и Ю. Левитанского прослеживается установка на общественную значимость творчества. Даже начиная с каких-то обыденных тем, они почти инстинктивно пытаются подняться до чего-то всемирного, или, хотя бы, общечеловеческого, чтобы вывести из них какие-то общественно значимые выводы. К. Медведев же не видит ничего зазорного в том, чтобы самозабвенно копаться в оттенках собственных воспоминаний, переживаний, планов, догадок и поверять это всё публике в том порядке, в каком оно изволило прийти ему на ум. При этом с помощью знаков препинания, разбивки на строки, выделения слов курсивом, он пытается передать интонации. Почему-то они оказываются для него важными. Я пробовал читать это произведение без разбивки на строки—обыкновенная проза. Четырёхкратное упоминание о тщеславии в разном словесном обрамлении придаёт ей некоторый поэтический шарм. Так что членение на строки отнюдь не делает текст произведением поэтическим, хотя и делает его похожим на стихи. Это подметила и Елена Всеволодовна Невзглядова, которой «пришлось однажды присутствовать при таком разговоре Кушнера с верлибристом Алёхиным. Кушнер: „Мне понравилась в «Арионе» ваша статья об Америке“. Алёхин: „Это стихи“».

Ну и как же не предъявить теперь творение такого знатного верлибриста, как Владимир Бурич!

Недостроенный дом
это мысли о лете
о детях
о счастье
Достроенный дом
это мысли о капитальном ремонте
наследниках
смерти

23. Я бы только добавил сноски к словам «анданте» (часть музыкального произведения в умеренно медленном темпе) и «аллегро» (часть музыкального произведения в быстром темпе). В дальнейшем мы ещё встретимся с проявлением со стороны автора трогательной заботы о читателях (в главе «Ограниченный словарный запас и скудость выразительных средств»). Да и «плёс», пожалуй, поясню. Это «одно колено реки, меж двух изгибов».

24. Григорьев В. П. Будетлянин. М.: «Языки русской культуры», 2000. с. 183–195 (www.ka2.ru/nauka/vpg_grid_9.html#r12)

25. В смысле—на отказ от применения выразительных средств.

26. Невзглядова Е. В. «Двенадцать писем читателя заокеанскому другу» (http://www.folioverso.ru/misly/2009_12/nevzglyadova_12pisem.htm)

Тут совсем иной, нежели у К. Медеведева, подход — вместо пространных и в общем-то неглубоких раздумий о текущих событиях, воспоминаний и мечт[27] — большая афористическая ёмкость. Тут, пожалуй, наглядно предстаёт коварство свободного стиха. И можно сказать, что «верлибр — это скорее анархия, чем свобода. Полное отсутствие любых правил не есть закон свободы; это именно закон анархии. Анархия же, как известно, нестабильна. Следовательно, верлибр не просто самостоятельный стиль, явление в себе, но определённый этап в развитии литературного пространства»[28].

Ну, а если пытливые читатели ещё раз прочитают «Послание сына, от наготы гневнаго, к отцу», то наверняка заметят сходство с данными примерами. Только там рифмы есть. И что же? Признавать его за это верлибром или уже не признавать? Или это уже совсем крамола? — рифмованный верлибр!!! Или сдать рифмованные неравноударно-неравносложные стихи в ведомство «фразовиков» из министерства «ударников»? В общем, такие виды стихосложения русскому языку вполне доступны уже с давних пор. А о теоретической неопределённости их привязки к какой-либо просодии мы пока сильно тужить не будем.

О жанрах, направлениях, течениях, школах, столпах и прочих исторических вехах можно было бы поговорить, только это было бы уж очень существенным отклонением от заявленной темы книги. Единственное, что необходимо в завершении этого обзора сделать, так это дать определение поэзии.

Не отличающийся особой строгостью язык искусства оперирует такими понятиями, как поэт, художник, ваятель, зодчий, лицедей и т. п. для обозначения людей творческих профессий. Но и деятели науки тоже могут быть причислены к людям творческим. На мой взгляд: «Художник создаёт *образы*, а исследователь — *формулы*. Можно даже сказать, что *художник формулу превращает в образ, а исследователь образ превращает в формулу*»[29].Так что мы можем выделить из множества деятельностей по признаку «творческости» особый сорт деятельностей, а именно — «творческих», распадающихся на два раздела: «искусство» и «науку». В рамках искусства выделим «словесное искусство», разделяющееся в свою очередь на «письменное» и «говорное». Первое разделяется на «поэзию» и «прозу», второе объединяет в себе множество различных «сценических искусств».

Итак, на мой взгляд, *поэзия — это концентрированная выразительность.*

Глубокий смысл, яркая образность, душевная чуткость, звуковая стройность, обширный словарный запас, афористическая отточенность, открытость новым впечатлениям, эффективное применение всех имеющихся выразительных средств, богатый жизненный опыт автора порождают в совокупности явление, называемое *поэзией*.

Поэтическое произведение отличается от непоэтического именно этой уплотнённостью, насыщенностью, я бы даже сказал, утрамбованностью всего-всего. Тут каждое слово оказывается многофункциональным. Это позволяет говорить о неаддитивности поэтического произведения, когда целое оказывается больше входящих в его состав частей. Сочетаясь в особом порядке, слова обретают значительно большую выразительность, чем каждое слово в отдельности. И этот особый порядок называется *гармония* — взаимное соответствие частей в составе целого. В гармоничном произведении словам тесно, а мыслям просторно. В нём нет ничего лишнего, в нём всё необходимо и достаточно. Прочитав такое произведение, читатель неизбежно приходит к однозначному выводу: об *этом* иными словами не скажешь! Всё на своих местах!

Предвижу возражения. В связи с этим возникает необходимость прояснить соотношение понятий «стихи», «проза» и «поэзия». Если принять предложенное мной определение «поэзии», то окажется, что поэтическим можно признать и стихотворный, и прозаический текст, если в нём наличествует концентрированная выразительность. Более того! Концентрированную выразительность можно ведь обнаружить и в живописи, и в зодчестве, и в пении, и в ваянии. Да и весь жизненный уклад можно опоэтизировать! Так ведь можно и жизнь свою выразительно прожить, и окажется она своеобразным текстом, записанным с помощью соответствующих знаков-поступков.

Невыразительные стихотворения давно уже называют рифмованной прозой. Иначе говоря, стихи-то есть, а поэзии в них — нет. Надо только не терять из виду неявного, но подразумеваемого под словом «проза», определения «прозы» как чего-то очень невыразительного, скучного и нудного. Люди своими смутными определениями внесли в понимание этих слов изрядную путаницу.

Выявляются такие противопоставления: стихи и проза, поэзия и проза, стихи и поэзия. Если мы будем под понятием «стихи» подразумевать ритмически упорядоченный текст с опорой на периодически повторяемые в определённых местах ударения, завершаемые в концах строк особыми концевыми паузами, то тексты неритмические можем причислить к прозе. А прозу разделить на выразительную и невыразительную. К невыразительной прозе можно причислить всякого рода инструкции, справочники, словари, учебники, техническую документацию и пр. под. К выразительной прозе причислим всё то, что привычней называть «художественной литературой». Соответственно, и стихи могут быть как выразительными, так и не выразительными. Выразительные стихи мы причислим к поэзии, а невыразительные стихи пока особого названия не имеют.

Нетрудно заметить, что выразительные стихи и выразительную прозу объединяет именно выразительность. У выразительной прозы и выразительных стихов есть много общего — у них одинаковые выразительные средства! Те же образы, те же

27. Это не ошибка и не опечатка.
28. Линор Горалик «Автобус идёт не к людям, Автобус идёт к остановке, — или В чём-то свободный стих (Заметки о русском верлибре)» (www.guelman.ru/slava/nss/3.htm)
29. Кулешов П. Г. «Виды мышления» (http://www.ucheba.ru/referats/3184.html)

тропы, та же ставка на предметную конкретику, на эмоциональную насыщенность текстов. Вся эта нагнеталовка делается для того, чтобы эмоционально «пробить» читателя, чтоб он, читая текст, испытал «эффект присутствия», пережил вложенное автором в текст многомерное психическое состояние. Чтоб читатель сопричастился с автором через этот текст. После такого взаимодействия читателя с выразительным произведением, читатель должен получить особое — эстетическое — переживание. И оно тем сильней, чем больше отлично это произведение от блёклого невыразительного фона. И тут можно уже применять понятие уровня выразительности. Чем выразительней фон, тем эстетически богаче получается жизнь тех, кто посреди этого фона обитает.

Словосочетание «художественная литература» давно стало привычным и, похоже, у читающей публики возражений не вызывает. Но если вдуматься в смысл этих слов, то буквально понимая смысл слова «художественная» мы должны прийти к выводу, что «художественная литература» представляет из себя что-то наподобие книжек-раскрасок с подписями под картинками. Тем не менее, под «художественной литературой» почему-то подразумевают как раз литературу выразительную, образную, включающую в себя и стихи, и прозу. Название-то нелепое, а, ничего — прижилось. В данном случае слово «художественный» понимается широко и его смысл во многом смыкается со смыслом слова «поэзия».

Есть основания предположить, что «выразительность» является главным признаком искусства вообще. Мне вот думается, что «художественную» литературу правильней было бы называть «выразительной» литературой. Но в языке уже устоялось иное словоупотребление. Та же история и с «поэзией». В одном случае её отождествляют со «стихами», в другом случае — с «художественностью», которая понимается как «выразительность». Приняв второе значение, можно сказать, что художественная литература тем более является художественной, чем больше в ней поэзии. А все стиховые атрибуты, такие как концевые паузы, рифмы, ритмы и метры оказываются лишь некоторой частью из общего состава выразительных средств. Причём, далеко не всегда понятия «гармоничности» и «выразительности» совпадают. Иногда авторы нарочно нарушают какие-то правила гармонии как раз для того, чтобы какие-то места в своих произведениях выпятить ради придания всему произведению большей выразительности. Т. е. такие дисгармонии оказываются оправданными творческим замыслом автора. Но и тут можно сказать, что творческий замысел получил гармоничное воплощение.

Слова — это всего лишь знаки. И можно договориться о признании за ними какого-то определённого значения. Условимся под словом «*поэзия*» *в узком смысле* понимать «*выразительные стихи*». И давайте в дальнейшем не будем при вопросе «Что такое поэзия?» глубокомысленно вздыхать и закатывать томно глазки, отвечая, что это, дескать, такое явление, которое всегда будет находиться за пределами человеческого понимания. *Вопрос закрыт.*

Потому-то и назвал я книгу «Признаки начинающих стихотворцев», а не «Признаки начинающих поэтов». Поскольку стихи писать проще, чем поэтические произведения. Ведь стихи — это всего лишь ритмически организованная речь, а поэзия — это, сами понимаете, выразительные стихи. Но, описывая признаки начинающих стихотворцев, я пытаюсь показать как из них могут получиться поэты, как в стихах может завестись поэзия. Научиться стихотворству можно. Сколько великих стихотворцев поначалу сочиняли неумелые стихи, которых потом стыдились! Сначала не умели, потом — научились. С поэзией посложней, но тоже решаемо. Для начала научитесь хотя бы её воспринимать.

Ну что ж, подступы закончились, приступим к рассмотрению признаков.

Признаки начинающих стихотворцев

…Большая Книга — в небо переплёт —
раскрытая, как крылья белой птицы,
и как перо — строка внутри страницы:
Цель бега есть полёт.

(Владимир Леви, из книги
«Зачёркнутый профиль»)

Немалое количество ценителей, и в их числе читателей, во многих случаях — для них не очень важных — ограничивается двуполярной оценочной шкалой. На ней всего две метки: нравится — не нравится. Ценители поопытней уже могут указать, что им нравится и почему. Развиваясь дальше, они уже достигают такого уровня, когда могут внятно объяснить, какие изменения надо внести в произведение, чтобы оно стало лучше. В данном случае вниманию читателей предлагается попытка как раз такого рода. Часть признаков является не столько сугубо литературными, сколько психологическими (неосведомлённость об особенностях словесного общения, болезненное реагирование на критику, скоропостижное осознание своей избранности).

Значительная часть признаков сосредоточена вокруг силлабо-тонического стихосложения (сдвиг ударения с его естественного места на место, диктуемое стихотворным размером; пропуски и добавления лишних слогов, сбивающих ритм; смешения стихотворных размеров в пределах одного стихотворения; наличие вставочных слов для заполнения слогами строк; необоснованные нарушения естественного порядка слов в предложениях). Есть признаки, указывающие на общекультурный уровень (теоретическая неосведомлённость и косноязычие; ограниченный словарный запас и скудость художественных средств; банальность тематики; литературные штампы). Много признаков связано с рифмами (банальность рифм; грамматические рифмы; слабые рифмы; подбор слов ради рифмы в ущерб смыслу). Некоторые главы получились очень короткими. Какие-то, в связи с обширностью самого предмета, оказались большими (например, про литературные штампы, про банальность тематики).

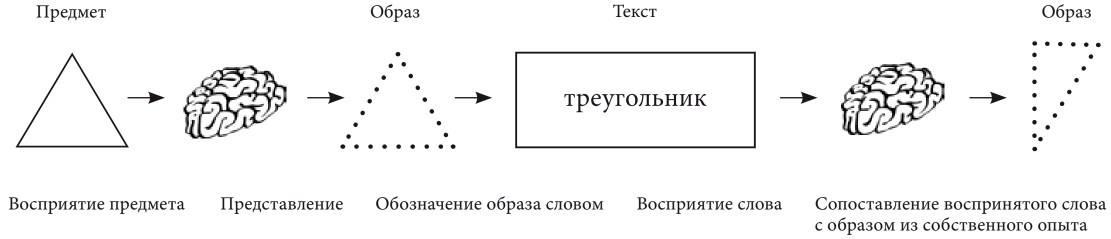


Рис. 1. Коммуникационная модель

Неосведомлённость об особенностях словесного общения

Мне лошадь встретилась в кустах.
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном…
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.

(Н. Рубцов «Вечернее происшествие»)

Начну с цитат:

«Подобно тому, как каждый человек располагает набором отпечатков пальцев, отличных от отпечатков пальцев любого другого человека, он располагает и неповторимым опытом личного развития и роста, так что нет и двух людей, чьи жизненные истории были бы идентичны друг другу. Хотя жизненные истории людей могут быть в чём-то подобны одна другой, по крайней мере некоторые их аспекты у каждого человека уникальны и неповторимы. Модели или карты, создаваемые нами в ходе жизни, основаны на нашем индивидуальном опыте, и т. к. некоторые аспекты нашего опыта уникальны для каждого из нас, как личности, то и некоторые части нашей модели мира также будут принадлежать только нам. Эти специфические для каждого из нас способы представления мира образуют комплекс интересов, привычек, симпатий и антипатий, правил поведения, отличающих нас от других людей».[30]

«На каком бы уровне мы ни рассматривали текст, мы обнаружим, что определённые его элементы будут повторяться, а другие—варьироваться. Так, рассматривая все тексты на русском языке, мы обнаружим постоянное повторение тридцати двух букв русского алфавита, хотя начертания этих букв в шрифтах разного типа и в рукописных почерках различных лиц могут сильно различаться. Более того, в реальных текстах нам будут встречаться лишь *варианты* букв русского алфавита, а буквы как таковые будут представлять собой *структурные инварианты*—идеальные конструкты, которым приписаны значения тех или иных букв. Инвариант—значимая единица структуры, и сколько бы ни имел он вариантов в реальных текстах, все они будут иметь лишь одно—его—значение.

Сознавая это, мы сможем выделить в каждой коммуникационной системе аспект инвариантной её структуры, которую вслед за Ф. де Соссюром называют *языком*, и вариативных её реализаций в различных текстах, которые в той же научной традиции определяются как *речь*. Разделение плана языка и плана речи принадлежит к наиболее фундаментальным положениям современной лингвистики. Ему приблизительно соответствует в терминах теории информации противопоставление кода (язык) и сообщения (речь)».

Обратимся к рисунку (Рис. 1). Представим себе что *некто* видит предмет, а именно—треугольник. Пока у него не возникнет необходимости кому-то сообщить о виденном, ему достаточно иметь в памяти зрительный образ этого треугольника, т. е. ему достаточно *невербального образа*. Слова—только знаки, поэтому об их значениях надо договариваться со всеми, с кем этот *некто* собирается общаться посредством знаков. Он обозначает виденный им предмет общепринятым словом «треугольник», следовательно, этот образ проходит через процедуру *вербализации*. Собеседник воспринимает это, уже известное ему из предыдущего опыта общения, слово и наполняет его *своим значением*. Поскольку ни о форме, ни о размерах треугольника источником высказывания ничего не было сообщено, то и воспринимальщик высказывания подбирает слову «треугольник» подходящее значение из собственного опыта. Понимание достигнуто, но оно неполно (*некто* под «треугольником» подразумевает равнобедренный непрямоугольный треугольник, а его собеседник—неравнобедренный прямоугольный треугольник). Хотя собеседники об этом и не догадываются. Всё же, общаясь с помощью знаков, а, тем паче, *символов* (заместителей предметов и явлений), о такой возможности надо бы всегда помнить.

«Пусть в тексте встретилось слово «стулья». Какое падежное значение оно имеет? Ответ на этот вопрос уже во многом зависит от того, с какой точки зрения мы данное слово рассматриваем.

«Стулья заменяли ящики из-под консервов». Слово «стулья» при восприятии предложения приобретает в сознании читающего значение именительного падежа (стулья—они), хотя у автора это слово имело значение винительного падежа (стулья—их). Ср. также: «Качество пруда определяет в основном химический состав воды»; «Классицизм побеждает сентиментализм»; «1400 спортсменов обслуживали 10 столовых».

При конструировании каждого из этих предложений начальное слово имело в сознании

30. Д. Гриндер, Р. Бендлер «Структура магии». М.: КААС 1995, с. 26.
31. Лотман Ю. М. «О поэтах и поэзии: Анализ поэтического текста» СПб.: «Искусство-СПб», 1996 с. 34.

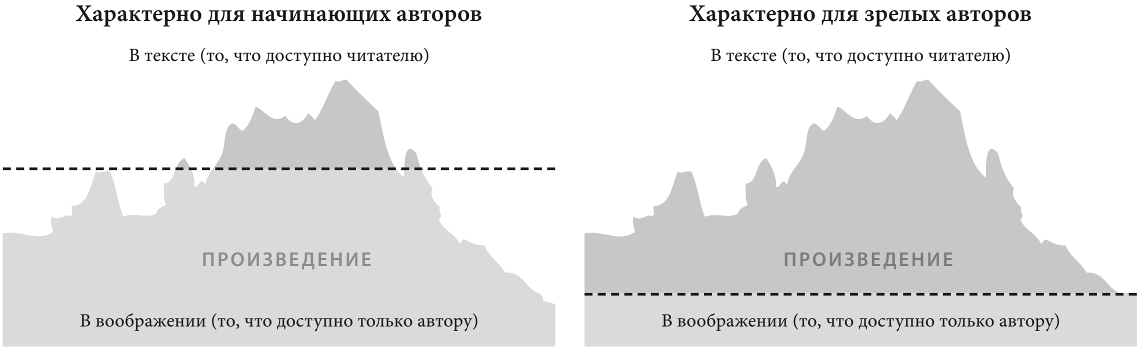


Рис. 2. Соотношение содержания текста и образа

пишущего значение *винительного* падежа (и пишущий — в акте выражения мысли — вероятно, не думал, что данное слово имеет и другое падежное значение, оно, это другое падежное значение, для него тогда как бы вовсе не существовало). А при восприятии текста читающий будет, как правило, воспринимать данное слово (в абсолютном начале предложения) в значении *именительного* падежа (а не винительного, как у автора), и появится рассогласование между передаваемой и воспринятой мыслью»[32].

Кроме того не надо забывать, «что читающий, в отличие от слушающего, всё же не слышит интонации, звучания авторского голоса как дополнительного (к семантике слов, их форме и последовательности) средства указания на то, какое слово с каким другим словом в предложении связано. Читающий вынужден поэтому угадывать звучание авторского голоса (место пауз, логического ударения и проч.), а угадать он может неправильно, особенно при таком построении предложения, которое наталкивает на неправильное понимание связей между словами или значения слов.

Итак, *закономерности смыслового восприятия письменной речи во многом отличны от закономерностей смыслового восприятия устной речи*»[32].

Рассматриваемый признак во многом является причиной т. н. «авторской глухоты», когда очевидная для читателей нестыковка слов и смыслов автором категорически не замечается. Разговаривая с авторами, пишущими редкостные по эклектичности сочинения, обнаруживаешь их почти полное безразличие к читательскому восприятию. Читая собственные тексты, они ориентируются не на читателей, а на образы, стоящие перед их собственным мысленным взором. Когда им говоришь, что всё это *никак не вытекает из текста*, они сильно удивляются и, воскликнув «Ну как!», начинают приводить очередные доводы, основанные опять же на их собственном воображении. Иной раз только с третьего или пятого захода они начинают постепенно понимать, о чём же идёт речь. Порой они искренне не замечают, что текст коряв, косноязычен, прямо-таки, уродлив, только потому, что полностью поглощены восприятием собственного образа (помимо текста). Ведь в их воображении оно всё связано! А тот факт, что воображённое плохо удалось выразить словами, для начинающего автора незаметен, потому что у него ещё не выработалась привычка читать свои сочинения *как тексты* (смотрите Рис. 2).

«Анализ многочисленных языковых фактов показывает, что, действительно, целесообразно различать две точности: предметную и речевую, или точность замысла и точность его словесного воплощения, точность намерения и точность исполнения.

Предлагается различать, что именно точно — мысль автора или сегмент текста, выражающий эту мысль. Мысль автора точна, если она соответствует отражаемому фрагменту внеязыковой действительности, если она представляет собой именно то, что должно быть сказано в данной ситуации для её адекватного отражения. Фрагмент текста точен, если он «притёрт» к мысли автора, если он не велик и не мал, а подогнан ей «по росту», так что по его «форме», в принципе, можно человеку, незнакомому с замыслом, достаточно адекватно восстановить передаваемую мысль».[32]

Как-то мне довелось беседовать с Геннадием Ивановичем Кимом, автором, уделяющим много внимания звуковой инструментовке своих стихов. Он показал мне такое короткое стихотворение:

Ведь знала ты, любовь моя,
Что денег у меня не густо.
По милости твоей, змея,
Был змееловом, стал мангустом.

Тут есть симпатичная рифма «не густо — мангустом». Касательно содержания я отметил, что «змеелов» и «мангуст», это, в общем-то, одно и то же. Здесь же, судя по ходу изложения, напрашивается какое-то противопоставление. На что автор ответил, что когда-то смотрел фильм «Змеелов», и ему очень понравился главный герой этого фильма — змеелов. И его он прежде всего имел в виду, когда сочинял это стихотворение. «Но ведь в тексте про фильм нет никаких упоминаний, — возразил я, — читателям будет не понятно при чём тут

32. Мучник Б. С. «Человек и текст. Основы культуры письменной речи». Серия «От рукописи — к книге». М. «Книга». 1985. с. 43, 18, 164
33. Шуртаков С. И. «Мысль и речь». М.: «Современник», 1983. с. 62

«змеелов». Не лучше ли сказать «Был человеком, стал мангустом»?». Автор со мной согласился и заменил слово. Стихотворение обрело чёткую афористическую концовку.

Подобное открытие в пору своей учёбы в Литинституте сделал прозаик Семён Иванович Шуртаков: «После того, как были написаны очерки о Сибири, мне захотелось на ком-нибудь проверить их, и я выбрал своего давнего, тоже институтского, друга-сибиряка Василия Фёдорова. И вот читаю ему главу о своём путешествии по Лене, читаю вроде выразительно, и по мере чтения воскрешается в моей памяти недавняя поездка, встаёт перед глазами великая сибирская река, и встаёт так ярко — аж дух захватывает.

Однако дочитал я до конца и слышу:

— Это, — тут Фёдоров назвал одно место, у тебя получилось хорошо. И это, — назвал другое, — тоже неплохо. Но… но я не вижу Лены.

Вот так так! У меня дух захватывает, а товарищ и не видит вовсе никакой Лены. Может, дело в том, что Фёдоров — поэт, а поэты это такой народ… словом, особый народ, и вполне возможно, что у них и восприятие тоже особое?

Ах, как это бывает заманчиво и соблазнительно — на что-то или на кого-то свалить собственный промах, даже хоть на это самое особое восприятие! Но хорошую прозу и поэты умеют отличать от плохой, так же как и мы, грешные, даже за версту — безо всякого дальномера! — отличаем вирши от стихов.

Дело было конечно же не в каком-то особом восприятии. Всё гораздо проще.

Читая описание своего недавнего путешествия по Лене, я сам-то видел не только то, о чём написал, но и то, что не попало, не «влезло» по разным — композиционным, тематическим, стилистическим и другим — соображениям в моё описание. Не влезло, но при чтении легко воскрешалось и «стояло в глазах». Всё так. Но моего слушателя-то вместе со мной на Лене не было, и, значит, в его глазах могло встать только то, что я изобразил, показал ему словами. (Ну, разве ещё рукой махал — но много ли это махание могло добавить к написанному?!)»

Как отмечает Вадим Валерианович Кожинов, «любой человек, так или иначе, понимает, что для действительного восприятия серьёзной музыки нужна определённая подготовка, что для этого необходимо как-то овладеть самим «языком» музыки. Но в то же время большинство людей полагают, что для восприятия поэзии никакой подготовки не требуется — достаточно просто уметь читать…»[34]

Но этого умения часто оказывается категорически недостаточно для того, чтобы правильно понять читаемое. Читая какое-либо сочинение, нам важно выяснить, сколько сведений, смыслов, образов мы можем извлечь из самого текста, того, что предстал перед нами. Будто бы мы производили какие-то раскопки в древней постройке и там обнаружили некое послание, текст. И доступны нам только этот текст и кое-какое знание языка, на котором он написан. Допустим, что мы не знаем, кто и кому его написал. Это и многое другое нам остаётся только выведать у представшего перед нами текста. Ведь не всегда же рядом будет присутствовать автор и пояснять ход своей изощрённой мысли и повороты своего прихотливого воображения.

Но и с читателями нередко случается подобный казус. Они довоображёвывают то, чего в тексте нет и в малейшем помине. И приписывают автору свойства и намерения, которых он никогда не имел. А случается это потому, что людям свойственно мыслить «смысловыми пятнами». У них за словами не закреплено чётких значений, зато есть, иногда прямо-таки огромные, «смысловые пятна», которые покрывают множество явлений. Вы, допустим, сообщаете своему собеседнику о том, что не курите и не употребляете спиртных напитков. При следующей встрече он сочувственно интересуется состоянием Вашей печени. В ответ на Ваше недоумение он напоминает Вам, что это Вы сами сказали, что у Вас больная печень. Когда начинается выяснение всех обстоятельств, то оказывается, что именно Ваша фраза про отказ от курева и спиртного была так причудливо истолкована. Если Вы откажетесь от предложенного кофе, сославшись на то, что кофе вызывает у Вас учащение сердцебиения, то в следующий раз, у Вас могут спросить о том, как Вы восстанавливаетесь после инфаркта. Если Вы высказываете мысль, которая чуть сложней или чуть подробней, чем «смысловое пятно» Вашего собеседника, то оно автоматически будет замещать всё, что будет Вами сказано. *Ваш собеседник даже не будет пытаться дословно запомнить Ваши высказывания, а просто будет подставлять вместо Ваших — свои, и потом в таком виде будет Вас цитировать.* И при этом будет глубоко убеждён в том, что правильно всё понял. Ведь для обычного человека, не привыкшего рефлекторно подбирать каждой мысли точное словесное выражение, — одышка, инфаркт, учащённое сердцебиение, перикардит, ишемия — всё едино. Большой набор смыслов покрывается одной «смысловой лепёхой» — «что-то неладное с сердцем».

В этом же ряду стоит неразличение «прозаиков» и «писателей». Так нередко и пишут в подписях под торжественными речами «имярек, поэт, писатель». У некоторой части людей почему-то считается, что «писателем» называется тот, кто пишет прозу. Термин «прозаик» они совсем не употребляют. Поэтому противопоставляют «поэтов» (как пишущих стихи) и «писателей» (как пишущих прозу). Вообще-то «писателями» являются и поэты, и прозаики, и драматурги.

Вдумайтесь в смысл слов: «Сосед работает в органах. У него есть температура, но нет давления». Людям очень свойственно «срезать углы» во всём, в том числе и в высказываниях. Так, вместо «ванной комнаты» говорят «ванная», вместо «высокой температуры», говорят просто «температура», вместо «высокого давления» — «давление», вместо «выражаться матом» — «выражаться». «Лечь в больницу», «сесть на диету», «сидеть на телефоне», «уложиться в график», «нести околесицу» — понятно же о чём речь! Вместо «космических пришельцев» всё чаще

34. Кожинов В. В. «Как пишут стихи».

говорят просто «пришельцы», «звёзд эстрады» всё чаще называют просто «звёздами», «фотомоделей» — просто «моделями». В разговоре экономия речевых средств выходит на передний план. Если только бытовыми разговорами и заниматься, то слов в активном применении остаётся всё меньше, а сами они применяются в усечённом виде и произносятся зачастую совсем уж смазанно, нечётко («нфсе» вместо «ни фига себе»). «Пятнистое мышление» становится уже автоматическим. Так можно досрезаться до того, что в речи останутся только междометия да звукоподражания. Как раз то, с чего начинается освоение человеческой речи ребёнком.

Противоположный край «смысловой» шкалы — это «точечное», точное мышление. Вообразите людей, общающихся с помощью кратких фраз, которые чрезвычайно насыщены смыслами. При этом они стараются выражаться как можно проще. И получается, что ни фраза, то афоризм. Причём с обязательной подачей собеседнику «обратной связи», чтоб убедиться в правильном понимании сказанного им. Это уже совсем другой уровень общения — сплошное глубокое взаимопонимание!

Нынче же в нашем обществе имеет место мешанина из людей разных уровней. И тут во весь рост встаёт проблема понимания. Если в типичных случаях непосредственного общения это ещё терпимо, то в более сложных ситуациях различия в картинах мира могут завести в тупик.

«Поскольку материал литературного произведения — не вещественная субстанция (тела, краски, мрамор и пр.), а система знаков, язык, то и словесный Образ гораздо менее нагляден, чем пластический. Даже используя конкретно-изобразительную лексику, поэт, как правило, воссоздаёт не зримый облик предмета, а его смысловые, ассоциативные связи. Например, строки А. А. Блока:

И перья страуса склонённые
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу

при всей кажущейся «картинности» чужды предметно-чувственной изобразительности; в них нарушена природная, пластически вообразимая связь вещей. Поэтический Образ здесь слагается из самых разнокачественных элементов: физических и психических, соматических и ландшафтных, зооморфных и флористических («перья… качаются… в мозгу», «очи… цветут… на берегу»), которые несводимы в единство зрительно представимого Образа».[35]

«Эстетический подход к проблеме языка меняет содержание поэтической функции в литературном тексте. Её значение состоит не в ориентированности на самоё себя, как в обычном языке, а в направленности к эстетической природе изображённого мира. Поэтическая функция находит выражение в конструировании поэтического мира в его эстетических измерениях.

Это имеет особое значение для читателя. Он интерпретирует линейные цепочки предложений текста не грамматически (это в подсознании), а в соответствии со своим знанием мира и социальным опытом. Другими словами, читатель интерпретирует текст и составляющие его предложения как субстанцию действительности, как некую изваянную смысловую предметность, сопоставимую с его знанием мира, с его пониманием литературных норм. Действия писателя — аналогичны. Он выстраивает текст как определённые информационно-эмоциональные сообщения. Следовательно, построение текста — результат трансформации грамматических и поэтических структур в художественный объект».

Наверно, мало кто станет возражать на утверждение о том, что для двухлетних детей надо писать иначе, чем для столетних взрослых. Поразмыслив в этом направлении чуть дальше, всякий автор должен бы прийти к выводу о необходимости чётко представлять адресата своего произведения. А коли пишешь «для себя», то и складывай всё это где-нибудь рядышком с собой. А ежели автор жаждет понимания, то ему чрезвычайно важно научиться растождествляться с образами, послужившими основой для написания сочинения. Надо научиться читать собственные сочинения именно как тексты — отчуждённо.

Образно выражаясь, сочинитель должен постараться и, как бы выдвинуть из области своего воображения в область текста то, что он хочет поведать другим. И разность мнений ничего более не означает, кроме разности образов, построенных воображениями читателей на основе их собственного жизненного опыта. Так что споры возникают в громадном большинстве случает не о том *что написал* сочинитель, а о том *что восприняли* читатели. Если ещё допустить присутствие во мнении злого умысла, побуждающего читателя нагло приписывать тексту всякую дребедень, ему совершенно несвойственную, то можно представить себе картину вопиющего глумления над текстами со стороны читателей.

В качестве иллюстрации к сказанному приведу отзывы читателей на одно и то же произведение, опубликованное в одном из сетевых конкурсов.

1. Вы ругаете всех и всё, но лучше поднести к своему лицу зеркало, чтобы увидеть правду. Посмотреть на себя в зеркало и ужаснуться. В красивой форме — пустой звук. Как можно с такой чепухой критиковать других?
2. Необыкновенно. Мне очень понравилось. С уважением.
3. М-дя…
4. Самое худшее в этом стихотворении — имя (Он). Кто Он такой, из чего возник и куда столь наплевательски счастливо исчезает? Эзотерика… (а остальное хорошо)
5. А по-моему, ничего…
6. Нельзя издеваться над читателями.

---

35. Литературный энциклопедический словарь М.: «Советская энциклопедия». 1987 г. с. 253.
36. Поляков М. Я. «Вопросы поэтики и художественной семантики». М.: «Советский писатель». 1986 с. 169

7. Как-то меня всё это смутило. Ощущения: не вдохновило, не захотелось следить за мыслью, идея, возможно, неплохая, но даже для верлибра надо бы — стихотворней. А так получился стих в прозе. И какой-то расплывчатый, несколько «топорный».
8. Великолепно. Давно ничего подобного не читал. Особенно понравилось это:
«И думает: стоит ли в следующий раз начинать разговор в надежде на собственную ошибку? И знает, что снова на этот вопрос ответит: Да. Потому что не дано ему большей радости, чем ошибаться и ждать, что когда-нибудь придёт тот, кто останется»
Спасибо вам.
9. М-да… надо подумать…
10. да
11. А очень жаль.

Как видите, разброс мнений довольно большой. Некоторые мнения вообще непонятно что выражают (3-е, 9-е, 10-е). В некоторых заметна слабая полярность (5-е, 6-е, 11-е). Есть явно отрицательные (1-е, 7-е) и явно положительные (2-е, 4-е, 8-е). Причём, это именно *мнения*. Мнение 1-е выглядит явно тенденциозным — оно скорее обращено вообще против автора. Похоже на то, что 1-му оценщику совсем не важно, *что* он оценивает, намного важней — *кого*. Мнение 7-е скорее указывает на несозвучность читателя с данным произведением. А мнения 2-е и 8-е — наоборот — указывают на созвучность. Ни в одном из высказываний не содержится сколько-нибудь весомых доводов, которые бы эти мнения подкрепляли.

Значительная часть людей не обременяет себя хлопотами о точном и глубоком восприятии адресуемых им сообщений. Она (эта часть) вполне удовлетворяется общими впечатлениями. Осознание такой особенности словесного общения нельзя признать сильной стороной не только начинающих стихотворцев, но и вообще всевозможного человеческого населения. А начинающие стихотворцы — это ж такие, в общем, люди, только начавшие сочинять стихи.

Продолжение следует

ДиН антология | *120 лет со дня рождения*

Осип Мандельштам

Высокая нежность грядущих веков…

Актёр и рабочий

Здесь, на твёрдой площадке яхт-клуба,
Где высокая мачта и спасательный круг,
У южного моря, под сенью Юга
Деревянный пахучий строился сруб!

Это игра воздвигает здесь стены!
Разве работать — не значит играть?
По свежим доскам широкой сцены
Какая радость впервые шагать!

Актёр — корабельщик на палубе мира!
И дом актёра стоит на волнах!
Никогда, никогда не боялась лира
Тяжёлого молота в братских руках!

Что сказал художник, сказал и работник:
«Воистину, правда у нас одна!»
Единым духом жив и плотник,
И поэт, вкусивший святого вина!

А вам спасибо! И дни, и ночи
Мы строим вместе — и наш дом готов!
Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков!

Весёлые стружки пахнут морем,
Корабль оснащён — в добрый путь!
Плывите же вместе к грядущим зорям,
Актёр и рабочий, вам нельзя отдохнуть!

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирён мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

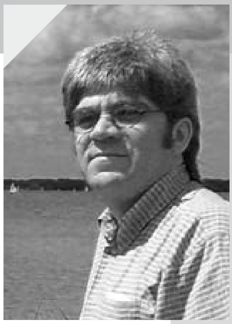
Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В тёплом теле рёбрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный…
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи тёмные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария, — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твоего порога.
Уходи, уйди, ещё побудь.



Константин Миллер

Горшочек каши

(Пьеса в купе)

Действие 1

Купе обычного пассажирского поезда. У окна сидит мужчина лет сорока (блондин) и читает книгу. Дверь в купе открывается и в проёме этой двери, стоит ещё один мужчина лет сорока (брюнет).

Брюнет. Разрешите? Проводник мне сказал, что здесь места свободные?

Блондин *(отрываясь от чтения книги)*. Да, пожалуйста, проходите.

Брюнет *(заносит сумку и ставит её на свободное сиденье)*. Может быть, откроем окно, как вы? Очень уж душно…

Блондин. Конечно, давайте.

Встаёт и открывает окно до половины.

Брюнет *(усаживаясь напротив блондина)*. Кое-как успел, промок весь пока бежал. Вы не против, если я закурю?

Блондин. Нет, я не против.

Брюнет. А вы? Или не курите? Могу предложить хорошие сигареты—настоящий «Данхилл».

Блондин. Нет, спасибо, я не курю.

Брюнет. Вы меня извините, я вас, наверное, отрываю от чтения своими вопросами. Просто я очень рад, что на поезд успел, потому и болтаю…

Блондин. Да ничего, ничего, вы нисколько не мешаете мне. А книгу я после дочитаю..

Брюнет. А что за книга, позвольте полюбопытствовать? Кто-нибудь знаменитый или модный?

Блондин. Он будет знаменитый, но пока он не родился ещё. Его имя вам ничего не скажет.

Брюнет. Вы имеете ввиду, что он не состоялся ещё как истинный писатель?

Блондин. Нет, он не родился ещё как человек.

Брюнет *(удивлённо глядя на блондина)*. Но книга-то интересная?

Блондин. А для меня других книг не бывает. Вы что же, неинтересные книги читаете?

Брюнет. Ну, попадаются иногда.

Пауза. Брюнет смотрит в окно. Блондин читает. Открывается дверь, заглядывает проводник.

Проводник. Чай заказывать будете? Или, может, ещё чего?

Брюнет. Чай—это хорошо! Я—обязательно. *(Обращаясь к блондину.)* А вы?

Блондин. Я, пожалуй, тоже. *(Глядя на проводника.)* Только чай. Настоящий.

Проводник что-то недовольно бормочет и закрывает дверь.

Брюнет. Я прекрасно понимаю, почему вы ему так сказали… Ну, про чай. Ох, я тоже натерпелся с этим сервисом в поездах. Вечно вместо чая всякие помои подают. Пить это пойло совершенно невозможно да ещё и для здоровья опасно.

Блондин *(улыбаясь)*. Именно об этом я ему и напомнил.

Брюнет. А вы знаете, у меня на этот случай всегда с собой бутылочка коньяку имеется: для дезинфекции чая, так сказать, и вкус совершенно потрясающий получается. Может попробуем?

Блондин. Обязательно, если мы сегодня этого чая дождёмся.

Брюнет. А чего нам его ждать, можно понемногу и так попробовать. *(Лезет в сумку и достаёт бутылку коньяку.)* Вы посмотрите какая марка!

Блондин. Не могу сказать вам об этой марке ничего определённого, в коньяках я не очень-то силён.

Брюнет. Ну так вы мне на слово поверьте—напиток богов! От одного аромата можно обалдеть. Давайте по капельке и познакомимся… *(Принимается откупоривать бутылку.)*

Блондин. Погодите, коньяк ведь под закуску нужно… Давайте закажем что-нибудь.

Брюнет *(открывая бутылку)*. Могу себе представить, что нам принесут. Уверен, что от их кухни никакой коньяк не спасёт… Протрите пока, пожалуйста, стаканы; я сейчас всё, что нам нужно, достану. Одна добрая женская душа позаботилась, чтоб путешествие моё проходило вне зависимости от поездных продуктов.

Начинает вынимать из сумки на стол какие-то свёртки, небольшие коробочки, баночки с чем-то.

Блондин. Ого! Как я вижу, у этой доброй женской души хороший вкус.

Брюнет *(что-то разворачивая на столе, разрезая, раскладывая)*. У неё всё хорошее… И сама она хорошая. Ну вот, готово, давайте стаканы!

Блондин двигает стаканы брюнету, в которые тот и наливает грамм по 50 коньяку; купе моментально наполняется потрясающим коньячным ароматом, который тут же сползает в зрительный зал.

Брюнет. За всё хорошее!

Блондин. С удовольствием!

Выпивают, закусывают. Брюнет закуривает.

Брюнет. Ну, что скажете, как напиток? Это не магазинная бурда… Кстати, выпить-то мы выпили, а так и не познакомились. Меня зовут Андрей Алексеевич, можно просто Андрей.

Блондин. Очень приятно и коньяк ваш очень приятный, Андрей. Меня зовут Олег.

Несколько торжественно пожимают друг другу руки.

Андрей. Ну вот и прекрасно, за знакомство нужно немедленно разлить… Давайте-давайте посуду. А как же—за знакомство! (*Очень быстро наливает коньяк в стаканы.)* Будем здоровы, Олег!

Олег. Ну что ж, давайте, но больше я не стану.

Выпивают.

Андрей *(выдыхая)*. Прелесть! А вы почему-то пить его отказываетесь.

Олег *(чем-то закусывая)*. Коньяк ваш и в самом деле… Но я, видите ли, пью очень редко.

Андрей. Так ведь и я не алкоголик. Вы закусывайте, закусывайте, посмотрите, сколько всего, не выбрасывать же. *(Наливает себе в стакан минеральной воды.)* Не хотите? Прошу вас… Вы далеко ли едете?… Извините, что опять с расспросами своими лезу к вам, но в поезде как-то принято об этом спрашивать.

Олег. Нет, еду я не очень далеко, в Перевалово. А вы?

Андрей. Я домой в Н-ск, здесь я в командировке был, с проверкой. А представьте себе, места эти я хорошо знаю и в Перевалово…

Олег. Вы сказали—с проверкой?

Андрей. Да. Я—финансовый инспектор, проверял местные школы, детские дома…

Олег. Что, детские дома?

Андрей. Да, а что это вас так удивляет, что я не кабаки курирую или клубы ночные. Нет, туда, в дерьмо это лезть я не хочу; там—либо с ними, либо—голову потеряешь. Это—закон.

Олег. И как дела в детских домах, разрешите поинтересоваться?

Андрей *(закуривает)*. Ужасно. А почему вы спрашиваете?

Олег. Да я, видите ли, сам сирота и, можно сказать, детдомовский.

Андрей. Ну, в те годы, когда вы воспитывались в детдоме, такого бардака не было, по-крайней мере, так нагло не воровали… Знаете, теперь это не воровство даже, это просто полный беспредел, извините за слово это идиотское, но оно очень точно отражает картину того, что я уже много лет наблюдаю. Почти везде дети голодают, почти везде всё растаскано по домам персоналом или им же распродано, почти везде финансовые документы ведутся с такими нарушениями, что это на словах и передать невоможно.

Олег. Подождите, Андрей, вы говорите, что дети голодают, но ведь разработаны же государственные программы финансирования…

Андрей. Да прекратите, прошу вас! Будто вы сами не знаете, как это государство финансирует такие программы. Конечно, какие-то средства выделяются, но туда, куда они предназначены, они по большей части не попадают—местное начальство распоряжается ими по-своему… Давайте ещё по капельке?

Олег. Нет, я пока не буду, спасибо. Вы выпейте в одиночку, а я, с вашего позволения, вот это лучше поем,—поразительно вкусно.

Андрей. Да, пожалуйста, кушайте, кушайте. *(Наливает себе в стакан коньяк.)* За наше знакомство! *(Выпивает залпом, скоро чем-то закусывает.)* Так ведь и это ещё не всё. Многие детские дома, которые я проверял, получают (по документам, естественно) целенаправленную помощь от благотворительных организаций, частных лиц, а иногда и из-за рубежа. А дети этого ничего не видят. Представьте себе, в прошлом году какой-то швейцарский парень пригнал сюда полный грузовик с детскими вещами, игрушками, продуктами… И что же вы думаете? Детям, они сами мне об этом рассказывали, выдали по упаковке жевательной резинки.

Олег. И что, нету никакой возможности как-то исправить подобное положение?

Андрей. Откровенно сказать, я не вижу. Всё повязано от самого верха до самого низа и даже от ещё выше до ещё ниже. И повязано такими узлами, что никакими топорами это не разрубить. Вы не подумайте, что я какой-то нытик или пессимист прогнивший, совсем нет… Я вот в какой-то газете читал, что 98 процентов опрошенного населения, считают коррупцию в стране абсолютно непобедимой на данном этапе и, должен вам признаться, что я присоединяюсь к этим процентам… Хотя, конечно, я пытаюсь делать что-то.

Олег. Очевидно, Андрей, что человек вы честный и порядочный, не боитесь их?

Андрей. А чего мне их бояться. Документы я факсом в управление отправил, а связываться лично со мной они не станут, я всё-таки государственный чиновник. *(Усмехается.)* Случись что со мной, начнутся разбирательства, следствие, кто-то обязательно слетит со своего кресла, а для них это самое важное в жизни: либо ты в кресле… А другого «либо» для них не существует.

Олег. Но согласитесь, сколько уже случаев всяких было. И не только инспекторов, а и банкиров, и министров, и депутатов…

Андрей. Нет, Олег, вы несколько не понимаете самой специфики дела: это совсем другая зона воровства, если можно так сказать, совсем другие деньги, потому и отношение к таким, как я, совсем другое. Свои правила игры, одним словом. Знаете, я не Робин Гуд, я трезво оцениваю и положение, в котором нахожусь, и свои силы, но детей жалко, просто по-человечески: чего мы потом получим-то из них полуголодных да озлобленных.

Олег. Одним словом, тупик повсюду. Скорее всего и вас, тупиковость этой ситуации рано или поздно заставит махнуть на всё рукой, либо на вас махнут рукой, продолжая, впрочем, и дальше делать своё дело. И это, я уверен, два самых безобидных варианта вашего будущего. Существуют, к нашему стыду, и другие, более страшные, о которых вам, так же как и мне, очень хорошо известно…

Андрей. Значит вы полагаете, что нужно плюнуть на всё? Ну уж нет! *(Достаёт из пачки сигарету, прикуривает и вдруг говорит очень возбуждённо.)* А вот вы послушайте-ка сейчас, что я вам

расскажу… Давайте понемногу? Ну помогайте, Олег, а то я совсем захмелею…

Олег. Ну только самую малость.

Андрей разливает коньяк в стаканы.

Андрей. За всё хорошее!

Олег. За всё хорошее, что есть в нас!

Андрей. И чтоб его было побольше. Ура!

Стукаются стаканами и дружно выпивают. Андрей двигает Олегу какую-то закуску и что-то ещё достаёт из своей бездонной сумки и выкладывает на стол.

Олег *(отдышавшись и закусив)*. Я вот думаю, что уже давно нужно было произнести тост за эти замечательные женские руки, которые приготовили вам в дорогу столько потрясающе вкусных вещей.

Андрей. Не переживайте, за эти руки мы ещё выпьем и не раз.

Олег. Нет, боюсь, что мне уже достаточно. *(Отодвигает свой стакан на край стола.)* Вы мне, Андрей, что-то рассказать хотели.

Андрей. Нет-нет, я не забыл, я вот только не знаю, с чего эту историю начать. Очень уж это необычно, то, что я вам рассказать хочу. Но прошу вас сразу же, не подумайте, что я сумасшедший или перепил (сами видите, выпили мы совсем немного). Не знаю, поверите ли вы в это или нет, но я, здравомыслящий человек и государственный чиновник, находящийся в служебной командировке, поверил в это, поверил моментально, с первой же минуты и верю до сих пор. Поэтому, если вам всё это покажется некоей выдумкой, не старайтесь меня переубедить или начать вызывать всякие срочные службы в белых халатах.

Олег. Ого! Да вы и впрямь меня заинтриговали, начинайте же, прошу вас.

Андрей *(тушит в пепельнице сигарету и раскуривает новую)*. Как вы уже знаете, я был в этих краях с финансовой проверкой детских домов и школ и нашёл ситуацию просто катастрофической; об этом мы уже тоже достаточно поговорили. *(Наливает в стакан минеральной воды, но не пьёт.)* Пару дней назад, так же, как сейчас с вами, сидели мы с одним моим хоошим приятелем (он учитель истории в одной из местных школ) и выпивали такой же коньяк. Да и разговор, который мы с ним вели, был очень похож на наш сегодняшний: бардак да воровство. И вдруг он мне говорит: «А ты знаешь, что случилось на днях в детдоме «Весёлый скворец»?» Я, признаться честно, обомлел, потому что совсем недавно был там с проверкой; ну, думаю, проглядел чего-то. А приятель мой продолжает тем временем: «Так вот, объявился у нас в городе какой-то чудак, который детей бесплатно по школам да детдомам кормит!» Я ему отвечаю, что прекрасно, мол, нашёлся хоть один порядочный человек; или может быть, опять какой-нибудь хитрожопый бизнесмен перед какими-нибудь очередными выборами очки гребёт таким образом? «Нет,—говорит мой приятель,—никакой он не бизнесмен, в том-то всё и дело… Вообще никто не знает, кто он и откуда взялся. Просто представь себе такую картину: приходит человек, к примеру, в детский дом № 1, идёт к директору, показывает ему всякие разрешительные бумаги со всякими большими печатями да подписями и предлагает совершенно бесплатно покормить всех, кто в этом доме живёт. Более того, после его обеда, как он утверждает, дети не будут ещё три дня испытывать чувства голода».

Олег. И что директора, верили этому человеку? Что ваш приятель по этому поводу говорил?

Андрей. Вы мне не поверите, но я его тоже сразу же об этом спросил, и он уверил меня, что все принимали его предложение. Будете немного?.. А я выпью. *(Наливает себе.)*

Олег. Шарлатан какой-нибудь, так я думаю…

Андрей *(закашлявшись)*. Ну что вы под руку! *(Ставит стакан на стол.)* Зачем же шарлатану, скажите мне, бесплатно всё это делать?

Олег. А может, правда, рекламирует себя кто-то таким образом или продукцию какой-нибудь фирмы проталкивает. Мало ли сейчас проходимцев всяких…

Андрей. Так я и думал, что все мои слова вы воспримите именно с такой стороны. Полагаю, что дальше и смысла нет рассказывать, вы всё равно ничему не поверите.

Олег. Напротив, я бы с удовольствием дослушал вашу историю до конца.

Андрей *(несколько обиженно)*. Ну да, вроде как очередная байка поездная, так от нечего делать. Ну и пусть, не поверите, так и не верьте, ваше дело!

Олег *(хитро)*. Поверю, поверю. Вы же поверили.

Андрей *(горячо)*. Да! И всю жизнь теперь положу, чтобы человека этого встретить. Он чудеса среди нас творит, понимаете—чу-де-са! А мы и знать о нём ничего не знаем да ещё и травим его…

Олег. Как это? Кто его травит?

Андрей. Погодите, я вам сейчас всё по-порядку! Вот вы спрашивали, соглашалось ли начальство детдомов или нет? Отчего ж не согласиться, сейчас ведь любой на всё что угодно согласен, если это денег не стоит. Хотя причины у каждого, должно быть, свои: кто от чистого сердца ребятишкам помочь, праздник им маленький устроить; кто ради халявы; кто с корыстью—вдруг выгорит чего-нибудь от такого знакомства и т. д.

Олег. Да, ну и что же он, человек-то этот?

Андрей. А он вот что: усаживает детей, достаёт из сумки какой-то предмет (что-то вроде глиняной кастрюли), подзывает к себе самого маленького, самого худенького, на ухо ему что-то шепчет и этот малыш потом произносит волшебную фразу: «Горшочек, вари!»

Олег *(удивлённо)*. Как?

Андрей. «Горшочек, вари!». Именно так и было в детдоме «Весёлые скворцы», так мне мой приятель рассказал. И не только в этом детдоме…

Олег. Ну это, знаете ли, совсем уж сказка.

Андрей *(почти закричав)*. Конечно, сказка! А что остаётся в этой стране—только в сказку и верить! Сказка—это мудрость, а мудрость—это

любовь, а любовь—это Бог. Потому-то, всем нам скорее в сказку и нужно поверить, а от сказки, глядишь, и к Богу двинемся…

Олег. Извините, Андрей, я не хотел вас обидеть, не горячитесь. Давайте, выпьем понемногу?

Андрей *(несколько равнодушно)*. Можно и выпить. *(Разливает.)* Я же знаю, что вы мне не поверили.

Олег. А вы бы мне поверили?

Андрей. Ну ему же я поверил, с первой буквы поверил. И знаете почему? Потому что я всегда верил, что где-то есть мы те, которые были раньше, в которых раньше было всё, что даёт нам Небо… За них! За тех, за нас!

Андрей выпивает свой коньяк одним глотком; Олег медлит некоторое время, словно собираясь что-то добавить, затем молча выпивает. Оба закусывают.

Олег. Андрей, ну вы всё же расскажите мне всё до конца.

Андрей *(слегка хмельным голосом)*. Да, такой вот фокус: скажешь ему «Горшочек, вари!», он начинает варить. Для детей, конечно же: день чудес, какого они сроду и не видывали,—и волшебство тут тебе, и еда, какой на свете вкусней нету… А чудесник этот по тарелкам им кашу раскладывает, и ешь сколько хочешь: в горшочке-то варится и не заканчивается. А запах такой стоит, что все, от слонов до тараканов, в гости просятся… А ещё интереснее то, что каждому, кто кашу это ест, свой запах и вкус чудится: один кричт, что у него каша такая-то, другой—такая-то, третий—другая… То есть третья. Свой вкус, заветный, понимаете?

Олег. Ну как это так, Андрей, это же совершенно невозможно. Такого же просто физически не может быть!

Андрей. Физически, может быть и не может, но это есть и это было, и об этом уже многие знают… Вот как я всё это проспал, шляпа! Я ведь там тоже в это же время был… *(В сердцах бросает салфетку на стол.)* Я потом, после разговора с моим приятелем, пытался что-нибудь о нём, о чудеснике об этом разузнать; звонил по школам, по детским домам, в разные инстанции, которые ему справки всякие выдавали, но почти ничего не узнал… И знаете почему? Оказывается на него, чуть ли не охоту объявили?

Олег. Охоту?! Кто?

Андрей. А все. И власти местные, и менты, и бандиты—все, кому не лень. Потому и молчали начальники детдомовские, боялись…

Олег. К чему он понадобился-то им, всем этим властям и бандитам?

Андрей. Ну как, на нём ж заработать можно, использовать его в своих целях по всякому… Да чёрт с ними со всеми, главное-то—он! А он исчез.

Олег. Ну что ж, если такие дела вокруг него завертелись, как ваш приятель рассказал, то правильно он и сделал, что исчез.

Андрей. Конечно, правильно. Жаль только, что всегда у нас вот так, что идиоты эти кругом… *(Наливает себе чуть ли не полстакана, молча залпом выпивает и занюхивает совсем крошечным огурчиком.)* Послушайте, Олег, то ли я совсем уж пьяный, то ли с глазами у меня чего-то—сколько уже выпили, а в бутылке всё не заканчивается. Посмотрите, чуть меньше половины…

Олег. Совсем, как в том горшочке—всех накормил и полным остался.

Андрей *(тряся головой, словно пытаясь выгнать алкогольную дурь)*. Подождите, подождите, как вы говорите: бутылка, как и тот горшочек, не заканчивается… Так это вы! Вы тот чудесник!

Олег. Да, это я.

Андрей. А зачем же это вы с бутылкой этой, напоить меня хотели что ли?

Олег. Нет. Просто не хотел, чтоб вы ещё одну у этого проводника покупали и травили себя. Одной-то, как сами видите, нам не хватило. А у него там такая мешанина, примерно, как тот чай, который он нам так и не принесёт.

Андрей *(бесконечно растерянный)*. А точно, он так больше и не появлялся.

Олег. А зачем он нужен нам, жулик этот мелкий, мы и так с вами неплохо сидим.

Андрей *(перегибаясь через стол и спрашивая шёпотом)*. Скажите, Олег, а горшочек этот волшебный, он с вами? Можно на него взглянуть, хоть на секундочку?..

Олег. Да конечно же можно. И даже покушать из него, если хотите?

Андрей *(с готовностью)*. Хочу!

Олег достаёт из-под своего сидения небольшую спортивную сумку, а из неё он извлекает тот самый глиняный горшочек и ставит его перед Андреем на стол.

Олег. Вот, прошу вас.

Андрей смотрит на него совершенно заворожённо, ошеломлённо, детскими любопытными глазами.

Андрей. И как же всё это чудо происходит?

Олег. Точно так, как вы мне только что рассказывали. Ваш приятель был совершенно во всём прав… Вот, смотрите! Горшочек, вари!

Поначалу не случается ничего особенного, но уже через пару секунд мы слышим, как в горшочке что-то бурчит, а ещё через пару секунд всё купе наполняется запахом перловой каши. Андрей берёт в руки ложку и пластиковую тарелочку.

Андрей. Могу я положить немножко?

Олег. Естественно, сколько угодно.

Андрей накладывает полную тарелку и смотрит в горшочек. Там всё так же что-то бормочет и бурчит.

Андрей. Точно, не уменьшается… *(Начинает есть кашу с каким-то невероятным первобытным аппетитом.)* Боже мой, как вкусно! Знаете, я эту кашу в детстве любил, и вот сейчас сразу всё вспомнил: и вкус этот, и запах, и кухню нашу, печку…

Олег. Да вы не торопитесь, горшочек-то варит.

Андрей. Я так думаю, что мне и эту тарелку не осилить. Каша-то и в ней не заканчивается!.. Послушайте, Олег, кто вы?
Олег. Вы же сами сказали кто я — чудесник. Не знаю уж откуда к вам это слово пришло, но оно совершенно точно отражает мою суть: я тот, кто делает чудеса.
Андрей. Да, я понимаю, правда, не очень… А можно я его потрогаю?
Олег. Потрогайте.

Андрей очень осторожно прикасается к горшочку, а затем и к каше в нём.

Андрей. Горячая!
Олег *(смотрит на него и улыбается)*. Вы, я вижу, наелись? Тогда: Горшочек, не вари!

В одно мгновение содержимое из горшочка исчезает, лишь на какое-то время остаётся запах каши в атмосфере купе, постепенно перемещающийся в зрительный зал (что лишний раз подтверждает ломоносовскую диффузию).

Андрей. А могу я ему так сказать: «Вари — не вари!»? Будет он меня слушать?
Олег. Будет, если я ему перед этим кое-что шепну.
Андрей. Разрешите, я выпью немного, а то у меня в голове что-то совсем всё перепуталось?..
Олег. Что же вы меня-то об этом спрашиваете, коньяк ведь ваш.

Андрей разливает коньяк в два стакана.

Андрей. Давайте за вас! За вас, потому что вы всё-таки существуете… И за меня, потому что мне так повезло в жизни, что я вас встретил… За вас, за дела ваши золотые!

Андрей, как обычно, выпивает коньяк залпом, Олег делает всего пару глотков.

Олег. Вы закусывайте, Андрей, а то вам плохо станет, это всё-таки коньяк…
Андрей *(весело)*. Да я вашей кашей так закусил, что теперь о еде целую неделю и думать не буду. *(Закуривает сигарету и вдруг спрашивает.)* Скажите, Олег, а вы откуда?
Олег. Ну откуда же ещё чудесник может быть — из Страны Чудес.
Андрей. Правда? А что, такая существует?
Олег. Ну если я существую, значит и она тоже.
Андрей. Логично. А вы здесь у нас один?
Олег. Нет.
Андрей. Это хорошо. А скажите, почему вы мне открылись, почему кашей меня накормили, разговариваете со мной сейчас?..
Олег. Вы мне понравились, говорю вам об этом откровенно. Хоть вы и государственный чиновник, а ребёнок в вас ещё жив, чувства ваши ещё не в плесени.
Андрей. Откуда вы это знаете?
Олег. Так я для этого и существую, чтоб об этом знать.
Андрей. И не боитесь вот так вот, один, с чудом таким по нашему беспределу?… А если что с горшочком случится? Разобьётся он или в дурные руки попадёт?
Олег *(спокойно)*. Он не разбивается и в чужие руки не попадает. Смотрите!

Андрей видит горшочек, стоящий на столе; через мгновение, Андрей видит пустое место там, где только что стоял горшочек.

Андрей. Исчез! Он теперь где-то у вас, ведь правда? Нет, это просто обалдеть можно… Я ещё немного выпью, хотя я и так уже пьян, но за ваши чудеса ещё выпью. *(Наливает и выпивает.)* Вы даже не можете себе представить, как я в вас верил, как я в вас верил… А эти мудаки ловят вас повсюду. Уроды безголовые!
Олег. Не переживайте, они меня не поймают.
Андрей. Никогда?
Олег. Никогда. Они ведь, в отличие от вас, в меня не верят. Они ведь представляют всё совсем иначе и меня, конечно, представляют совсем не тем, кем я являюсь. Жалко, что приходится взад и вперёд бегать от них, но ничего, вот видите, сегодня с вами познакомился. А ради таких встреч, поверьте, и побегать не в тягость.
Андрей. Олег, если вас Олегом зовут, значит вы русский?
Олег *(смеётся)*. Я никакой, я просто такой, какой я есть. И зовут меня, конечно, не Олег, но имя моё вы не поймёте…
Андрей. А куда вы сейчас едете, Олег?
Олег. В Перевалово, вы же меня уже спрашивали…
Андрей. В Перевалово! О, Бог ты мой, да знаете ли вы какой там у них кошмар творится… Они там живут в какой-то старой школе, построенной, наверное, ещё при царе, я это про детдом говорю. И условия там такие, что мне просто страшно вам об этом рассказывать… У меня сестра с семьёй в Перевалово живёт, и она мне ещё зимой писала о тех ужасах, которые творятся в этом заведении… Вы представьте себе, семерых малышей госпитализировали, обкусанных крысами… Помогите им там, а? Знаете что, я вам адрес сестры дам, вы можете у них запросто остановиться… И телефон, вот…

Андрей достаёт ручку, блокнот и начинает старательно выписывать на листочке буквы и цифры, затем подаёт листок Олегу.

Андрей. Разберёте мои каракули? Проспект Энтузит… Энтузиастов, 45, квартира 9 и телефон…
Олег. Разберу. Спасибо. *(Складывает листок пополам и прячет в карман.)* Вам бы, Андрей, поспать бы прилечь…
Андрей. Мне спать?! Да вы что! Я вот выпью ещё лучше для бодрости… Раз в жизни по-настоящему повезло, а я спать завалюсь… Я вас теперь никогда в жизни не забуду и всем рассказывать о вас стану… Ваше здоровье!
Олег. Так вам не поверят.
Андрей. Я расскажу, поверят. Господи, это ж надо, как мне повезло… Теперь хоть дальше жить можно, теперь у меня всё постепенно в душе моей на место встанет, я это знаю… Вы улыбаетесь, думаете, спьяну несу чего попало, а я вам откровенно скажу… Нет, погодите, можно я спрошу вас кое о чём?

Олег. Спрашивайте.
Андрей. А вы можете помочь нам?
Олег. Кому вам?
Андрей. Нам, людям в этой стране. Можете вы всех этих козлов, что столько лет нас тут пытают, деть куда-нибудь?
Олег. Да как же я такое сделать смогу?
Андрей. Ну вон вы как с горшочком обошлись, чик—и нету его.
Олег. Ох, милый вы мой Андрей, хороший вы человек, да такой наивный. То ведь—горшочек волшебный, а то—человек современный. Чувствуете разницу? Ну исчезнет местный начальник, вас водрузят на его место, как самого честного и принципиального. А через полгодика—что? И вас, как мой горшочек—чик! Если к тому времени, за честность же вашу, не застрелят вас где-нибудь. Поймите, Андрей, в тех делах, что тут у вас творятся, только вы сами разобраться можете. Нам в ваши дела вмешиваться нельзя, опасно это. Для вас опасно.
Андрей *(вздыхая тяжело)*. Как печально всё… И как в голове гудит. Напился я сегодня просто до неприличного… Вы уж, Олег, меня извините, но это так здорово, что я вас встретил, что вы здесь, что вы есть и страна ваша чудесная… Вы не уходите от нас, будьте всегда где-нибудь рядом, всё жить легче будет, если об этом знать… А мы когда-нибудь изменимся к лучше и станем потом вместе…
Олег. Вы ложитесь, ложитесь. Вот подушка, возьмите.
Андрей. А как вы полагаете, встретимся мы с вами ещё когда-нибудь?
Олег. Трудно сказать, может и встретимся.
Андрей. Как это было бы здорово…

Голова Андрея опускается на подушку и он мгновенно засыпает.

То же самое купе через некоторое количество часов. В купе находится один спящий Андрей; открывается дверь, входит проводник.

Проводник *(наклоняясь к Андрею)*. Эй, послушайте, просыпайтесь. Эй, гражданин, вставайте, ваша станция через 15 минут. *(Трясёт его за плечо.)*

Андрей сбрасывает с себя простыню и поворачивает заспанное лицо к проводнику.

Андрей. Что? Что такое?! Где он?
Проводник. Кто—он?
Андрей. Ну Олег… Тот, что со мной ехал. Где он?

Андрей садится.

Проводник. Он уже давно сошёл и вам, кстати, скоро выходить. Бельё сдавайте…
Андрей *(кричит)*. Сошёл?! Как сошёл? Где, когда?
Проводник. В Перевалово, кажется. Что я за всяким помнить что ли буду, надо мне это?
Андрей. За всяким! Да вы!.. Да ты!..
Проводник. А что вы кричите? Разбудил его на свою голову, а он теперь ещё и начинает! Через пять минут бельё сдавайте и убирайте купе, развели здесь пьянку…

Проводник, что-то бормоча, выходит вон.

Андрей *(вскакивая на ноги)*. Сошёл в Перевалово! Ну конечно, он же говорил… А я всё проспал, осёл! Такое счастье, раз в жизни, а я, как… свинья. *(Трёт руками лицо, достаёт из кармана висящего пиджака расчёску и начинает причёсываться; раздражённо бросает расчёску на столик, достаёт сигарету, закуривает и тупо смотрит в окно.)* Твою мать! Придурок я, придурок!.. Коньяк этот вонючий, словно не пил его ни разу в жизни… Где ж теперь искать чудесника-то этого? А где ты теперь его найдёшь… Эх, пьянка эта, всё эта пьянка поганая!.. Поговорить, конечно же надо было обо всём, распросить у него всё… А сейчас что ж, кроме этого свинарника, ничего и не вспомниться больше…

Что-то заворачивает и складывает в сумку, что-то в целлофановый пакет—мусор. Берёт в руки ту самую пластиковую тарелочку, из которой ел кашу, и опускает её в целлофановый пакет, однако тут же, осенённый какой-то идеей, вынимает её обратно и аккуратно ставит на стол; смотрит на неё, точно пытаясь загипнотизировать. В углу его рта тлеет сигарета, пепел с которой падает прямо в тарелочку. Андрей выплёвывает сигарету, а тарелочку тщательно протирает салфеткой.

Андрей *(держа тарелочку на ладонях)*. Может быть, он шепнул тебе что-то нужное, перед тем, как ушёл, а, маленькая моя? Может быть, ты поможешь мне, ну пожалуйста, милая моя?.. Тарелочка, вари… Тарелочка, вари!

На сцену падает занавес, из-под которого в зрительный зал вливается аромат перловой каши с маслом.

КОНЕЦ

Синяя тетрадь

*«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».*
Ахматова

Красноярский литературный лицей

Памятник

Сбылось ли пророчество Пушкина?

Ася Пузанова, 7 класс

…«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» — так говорит Пушкин в своём известнейшем стихотворении. Справедливы ли эти слова? Оправдалось ли пророчество? На самом деле, ответ лежит на поверхности. Спросите у старика, у взрослого человека, у юноши или девушки или даже у ребёнка: «Знаешь ли ты, кто такой Пушкин?». Я уверена, каждый наш соотечественник ответит: «Да!». Да и в других странах, наверное, найдётся немало таких людей. Хотя бы одно, а зачастую и десятки произведений Александра Сергеевича знают многие. Таков ответ на вопрос о пророчестве.

Но…

«Что ты читаешь? Твоя любимая книга? Процитируй любую строчку из стихотворений Пушкина!» Ответы: «Фантастику. Я не люблю читать».

А сразу прочитать наизусть что-то из Пушкина может далеко не каждый школьник.

Так что же получается? Второй строке стихотворения не суждено сбыться? Не заросла ли к памятнику поэта народная тропа? Я искренне надеюсь не дать ей зарасти! Ведь когда я задаю вопрос: «Давно ли вы читали что-то из произведений Пушкина?» — мне становится стыдно: а сама-то? У каждого свои литературные вкусы и интересы. Но, может быть, и вас что-нибудь заденет в творчестве Пушкина, заденет, чтобы остаться в душе.

Слух о Пушкине, действительно, прошёл «по всей Руси великой». Слух о гениальном поэте, вспыльчивом человеке, который не боялся в стихах и прозе писать правду, пусть иногда и завуалированную, прикрытую вымыслом и метафорами. И если я сейчас пишу о нём, если люди, сидящие рядом со мной, находят, что писать, значит, и в подрастающем поколении пробудит Пушкин «добрые чувства».

Но что расхваливать Пушкина и его Музу?! Его надо читать! А то… не оказаться бы тем глупцом, которого поэт советовал «не оспаривать… хвалу и клевету приемля равнодушно»…

Мария Вербицкая, 7 класс

…Он воздвиг себе памятник в душе человеческой. Маленький Пушкин в собственном сердце. Может быть, именно он и рождает вдохновенье. Иногда он будто говорит мне: «Вспомни, как работал я. Доверься мыслям, пойми, прочувствуй». Этот совет так важен!

Стихи и проза Пушкина дают толчок твоим собственным раздумьям и впечатлениям. Ранняя смерть поэта стала ужасной трагедией, но он не погиб! Он отдал себя народу, запечатлел свою душу в книгах. Оправдалось его пророчество! Памятник Пушкину — в душе каждого русского, каждого влюблённого в поэзию человека!

Александра Радионова, 7 класс

…Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, что значил Пушкин для народа? Что значит он для людей сейчас? Что такое — произведения Пушкина?

Пушкин для многих был живым воплощением свободы. Свободы слова, взглядов, мыслей. Дворянин по происхождению, он дарил свою поэзию всем: и образованному сословию, и простому народу. Его стихи написаны прекрасным, звучным и внятным языком. Он подарил многим поколениям детей детство, которое сопровождали его удивительные волшебные сказки. Подарил молодым людям чувство свободы, безумной радости и всепоглощающей печали. Можно ли сказать, что Пушкин помог взрастить во многих поколениях людей добродетели, которые они пронесли сквозь время? Можно ли утверждать, что для большинства русских Пушкин был первым учителем доброты, веры, жизни? Его произведения, порой забавные, порой печальные, помогали понять, где добро, а где зло. С того момента, как люди поняли суть и ценность творчества Пушкина, поэт и воздвиг себе нерукотворный памятник. Не из мрамора, не из бронзы… Памятник из чувств, из благодарности, из надежды. Это удивительный памятник! Он — как живое существо. Взрослые сажают частицу этого памятника в сердца детей, и эта частица растёт, развивается, дышит…

А что же тогда значит — «к нему не зарастёт народная тропа»? Значит ли это, что люди постоянно идут к Пушкину? И неиссякаемый поток людей — от мала до велика — стремится к памятнику, чтобы каждый мог получить от него свою частицу, а потом растить её в собственном сердце…

Но если вдруг в школах перестанут изучать творчество Александра Сергеевича Пушкина… Что произойдёт? Разрушится ли этот памятник? Или будет нерушим независимо от того, говорят о нём на уроках или нет? Есть множество примеров, когда слава поэта живёт в веках, независимо от того, изучают его произведения в школах или нет. Марина Ивановна Цветаева, например. Её помнили до нас и будут помнить после нас… Значит ли это, что творчество живёт независимой от

обстоятельств жизнью? Да, скорее всего. И творчество Пушкина будут помнить. Оно не канет в Лету. И тропа к нерукотворному памятнику не зарастёт, что бы ни происходило вокруг, как бы ни менялись времена и нравы людского племени. Вечно.

Лидия Ка ю тин, 7 класс

…Говорят, рукописи не горят. Нет, горят. Ещё как. А вот память—ни за что. Как можно заставить людей перестать говорить о Пушкине? Никак, к счастью. Даже самые новомодные поэты, пишущие обо всех ужасах современной жизни, никогда не заменят Пушкина. Они—в моде. Но не более того.

Пушкин—вне моды. Мода—дело преходящее. Мода коварна. Она меняется по первому капризу политиков или дизайнеров. Но никакой политик не заставит вас не думать о Пушкине. Пушкин «врос» в нас. Стал нашей частью. Нам и в голову не приходит, что это «отъемлемая» часть.

Моё мнение: главное, чтобы имя поэта и его стихи не сходили с уст человеческих, чтобы поэт навсегда остался в сердцах. Вот—памятник! По-моему, пророчество сбылось. К памятнику Пушкину не заросла народная тропа.

Артём Трофимов, 7 класс

…О, кормилец наших голодных душ! Сей памятник заворожит кого угодно—только приди к нему… Уж не сама ли Муза его воздвигла? Облагородила ведущую к нему «народную тропу»?

Ну, допустим, памятник воздвигнут, тропа проложена… Однако, сорняком-то она уже позаросла изрядно. А если заросла тропа Музы, то и памятник бесполезен. Тот самый, перед которым меркнет и Александрийский столп, и Петергоф, и весь Петербург… А сам поэт оставил нам только имя. Пушкин. Легендарная личность.

Что тому причиной? Компьютерные игры? Падение культуры прежде великой державы? Вместо светских салонов, музыкальных и поэтических вечеров—грязные гаражи, сквернословие со всех сторон… Какая культура возможна без доброй мудрости предков? Ведь сам Александр Сергеевич говорил: «Чувства добрые я лирой пробуждал…». А сейчас не то, что добрые чувства, даже ни в чём не повинную лиру забросили, сломали, вот она и молчит. А люди—«всяк сущий в ней язык»—судорожно ищут новый душевный идеал (да ищут ли?), к которому стремились столько времени, но, как только предложишь читать им классику, отмахиваются—дескать, это пережиток старого, скучного девятнадцатого века. И не ведают, что сами-то пребывают в дремучем варварстве…

Ох, эта серость, мрачные железобетонные небоскрёбы и острые шары граффити в подозрительных переулках! Эти страшные черепа, которые на футболках носят у самого сердца молодые люди, безвкусные балахоны рэперов… Что сказал бы Пушкин, когда бы увидел, во что превратилось некогда цветущее государство? Засмеялся бы, увидев нашу клоунскую одежду? Навестил бы свой памятник? Если бы только отыскал его среди забвения… И где тот умелец, который извлечёт из «нерукотворного памятника» застрявшую в нём пулю Дантеса? Но я верю: настанет время, и любовь снова будет жить на земле. Найдётся храбрец, и мир озарится пушкинским светом.

Анастасия Ясеницкая, 10 класс

«Милый идеал…»

Я думаю, образ идеальной женщины, о которой мечтал Пушкин, нашёл самое полное воплощение в героине романа «Евгений Онегин». Поэт открыто называет Татьяну «милым идеалом». Она—ключ к сохранившейся почти за два столетия загадке романа, выбивающийся из рамок всего остального мира уникум. И всё же самые характерные качества идеальной пушкинской героини—крепость духа, ум, религиозность, чистоту, естественность—читатель находит и в других произведениях Пушкина. В «Руслане и Людмиле», «Капитанской дочке», «Дубровском», «Пиковой даме», «Повестях Белкина», в многочисленных стихотворениях… Можно проследить эволюцию «милого идеала» на разных ступенях его творчества. <…>

Татьяна, несмотря на всю её простоту, имеет перспективу характера и глубину натуры, по сравнению с плоским, почти карикатурным «светом». Кажется, будто женщины, подобные ей, каждая в одиночку, героически противостоят тотальной глупости окружающего мира. Они отчасти принадлежат миру иному. Миру идеалов, миру сказок. Из самых сложных ситуаций они выходят, не уронив человеческого достоинства, часто жертвуя чувствами ради требований высшей нравственности. Они сверхъестественно «правильны». И в этом их «не-человечность». Они больше похожи на заколдованных царевен, купеческих дочерей и сказочных крестьянок. Каждая из них—Алёнушка или Настенька, которой надо стоптать семь пар железных сапог и съесть семь каменных хлебов, чтобы соединиться со своей мечтой. Но на то он и идеал, чтобы не принадлежать реальности…

Ты не одинок!

Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего,—но горе одному, когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его.

Экклезиаст

Человек-существо биосоциальное, твердит нам учебник обществознания. А вы представьте мир одиноких—кругленьких таких, гладеньких, скользских ноликов, полностью самодостаточных, погружённых в рассуждения о сущности бытия, катящихся по собственной намеченной траектории. Идеальный мир. Ни мук любви, ни разрушенных семей, ни брошенных детей, ни слёз, ни горечи расставаний. Царство рационализма. Но ведь мы же так не сможем. Не в нашей это природе. Одиночество—болезнь. Что-то противоестественное до ужаса. Одно из самых страшных наказаний, порождающих животный страх. Наверное, с тех далёких времён, когда, отбившись от стаи, индивид погибал. Но сейчас-то что? Мамонта

добывать вроде не надо, а мы всё болезненно собираемся в плотные кучи, тянемся к светящимся окнам, всё жаждем человеческих рук, всё хотим быть любимыми. А в этом, наверное, наша главная человеческая глупость и чудо. Как объяснить разрывающую боль познания того, что ты один одинёшенек в этом мире? Ведь всем солнцам во Вселенной плевать на то, что ты существуешь. А ты же существуешь. А может, нет? Кто докажет, что ты сам себе не показался? А нам нужно только элементарное подтверждение в эквиваленте какого-нибудь человека, не до звёзд уж. Почему нам надо, чтобы нас обязательно кто-нибудь выслушал, оставил печать участия на наших мыслях? Почему нам надо отражаться в чьих-то глазах? Почему в нас существует неутолимая жажда любви? Почему человек становится странно мнительным, неуверенным, ранимым и сентиментальным в транзитных проявления одиночества? Сколько бы человек ни был самодостаточным, в нём существует некая брешь, из которой невозвратимо убегают силы и уверенность. Пробоина ниже ватерлинии. Даже самым суровым брутальным дядькам нужны маленькие женщины, для которых они только любимые дети. Для меня на этом завязан весь мир. Не в вечном утешении и саможалении, но в связи, нуждающихся друг в друге. Мне кажется, что фраза «Ты не одинок» — некоторый абсолют, дальше его уже ничто не уходит. Не одинок и всё. Душа успокоена. Ты существуешь.

Добродушная простота или хитроумная сложность?

Многие из моих знакомых, заслышав, например, что-то вроде:

Идёт волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей вокруг холмов… etc.

недовольно морщат нос и выказывают явное отвращение к зайчикам, цветочкам, снежинкам и т. д. Всякое искреннее описание природы вызывает у большинства подростков приступ невыносимой скуки и даже ненависти. Может, в этом отвращении виноваты учителя начальных классов, накормившие нас до тошноты зайчиками и облачками? Может, причина в том, что эти люди часто врали? Может, мы, как прокажённые, мечемся и жаждем сложных непонятных стихов, пытаясь найти в них другие ощущения, вместо приевшихся биологических и климатических реалий?

Мне интересно, почему мы потеряли первооснову понимания красоты и сменили её на вот такое:

Девушки и те, кто не выносит запаха мёртвых,
Падайте в обморок при слове «границы»:
Они пахнут трупами.
Ведь каждая плаха была когда-то
Хорошим сосновым деревом,
Кудрявой сосной.
Плаха плоха только тем,
Что на ней рубят головы людям.
(Велимир Хлебников)

или такое:

Заскорузло любили, освинело горевали.
Подбрасывали вверх догорелую искорку.
Раскрашивали домики нетрезвыми красочками.
Назывались груздями, полезали в кузова.
Блуждали по мирам, словно вши по затылкам.
Триумфально кочевали по невымытым стаканам,
По натруженным умам,
По испуганным телам,
По отсыревшим потолкам.
Выпадали друг за другом как молочные зубы.
Испускали дух и крик.
(«Гражданская Оборона»)

Я не утверждаю, что вышеприведённые примеры плохи или схожи, ибо авторы — ну, совсем-совсем разные, но есть для меня в них что-то общее. Некая вторичность. Творили они уже на основе цветочков и снежинок.

А может, мы уже потеряли ощущение мира, ту тонкость и нежность души, коей обладали люди, жившие в более благоприятные для поэзии времена? У нас атрофировалось чувство единения с природой. Социум — наша природа. И его проявления вызывают в нас какие-то эмоции. Появилось больше интересных тем: политика, современное искусство, смысл жизни, «борьба с системой». Цветочки и зайчики тихо отошли в тень.

Я удивлялась бабушке и дедушке, восхищавшимся любой пташкой или цветочком. Люди бесхитростные и добрые, они видели идеальный мир, созданный Богом, в каждом его проявлении. Я такого уже не умею. Мне шестнадцать лет, и я уже не умею.

Мама ходила в зоопарк и радовалась, как маленький ребёнок, зверушкам, очень их жалела. Мне же в девять лет было уже всё равно. И создаётся впечатление, может быть, предвзятое, что мы — зажравшееся поколение в отрыве. Отрыве от истоков. Мы променяли добродушную простоту на хитрую сложность.

Простое слово, простая мысль, простое чувство осмеивается и выставляется в невыгодном свете. Милосердия в нас становится тем меньше, чем больше хитрости и разума. А ведь идеальное должно быть просто, так почему, не вдумавшись в начало, мы его высмеиваем. Считаем слишком примитивным. А на деле примитивны мы.

Не поняв начал, куда мы двинемся?

Мастерская И. А. Москвиной

Свет в окошке

Сочинения четвероклассников

Саша Пятина

Моя бабушка на зиму меж рам своих старых окон всегда что-нибудь кладёт. То положит какую-нибудь тряпочку, то вату. А иногда утепляет щели балкона пледом. Так интересно искать с бабушкой разные щёлки, чтобы их заделать!

Бабушка любит витражные краски, поэтому, когда приезжает моя старшая сестра, она всегда раскрашивает окна в яркие цвета.

Сестрёнка встаёт раньше всех и начинает рисовать. А я вся сонная, и из кухни чебуреками пахнет. Это бабушка готовит вкусненькое для нас! Встаю с постели, смотрю прямо в окно — и всё кажется сказочным: то гусеничка ползёт по травке, то майский жук в листике дремлет, то пчёлка, перелетая с цветка на цветок, собирает пыльцу… От таких окон становишься веселее и добрее, прямо как моя бабушка.

Я думаю, что все наши соседи, глядя на бабушкины окна, считают мою бабулю очень хорошей домохозяйкой и интересной женщиной.

Элиза Петрова

Что можно назвать в доме глазами? Да, конечно, окна. Это слово даже само по себе значит «глаза», то есть «очи». Вы думаете, что когда мы смотрим в окно, то это мы любуемся миром? Да наоборот, это мир любуется нами. Ведь посмотришь в окно, а где-то вблизи или вдалеке увидит тебя какая-нибудь избушка своими окнами. А о том, хозяйственный ты или нет, всё расскажут окна. Они всегда должны быть украшены. И красиво, и приятно, да ещё и полезно, как это делала бабушка Виктора Петровича Астафьева.

А я бы украсила свои окна лепестками роз. Откроешь окно — зайдёт к тебе в комнату прохладный ветерок, а лепестки роз придадут ему приятный запах.

А ночью я бы повесила яркое бумажное солнышко, чтобы светло было всегда. И не страшно. .

Лиза Какаулина

Окна бывают разные, и каждый человек по-разному их украшает.

Вот, например, в рассказе В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» бабушка писателя утепляла или украшала, я не знаю, как это можно назвать, но скорее, оберегала окно мхом, угольком и веточкой рябины.

А я с моей семьёй украшаем окна так: мы берём листочек бумаги, пишем на нём свои желания и оставляем цветной следик своей ладони. Прикрепляем к следику листочек, заметьте, это надо делать именно в полнолуние вечером. А наутро мы приходим, и иней оставляет нам послание, наверное, ответ, только на своём языке!

Саша Тетера

Плюс старых окон в том, что хозяйки могли с ними делать что угодно: раскрашивать, украшать. А теперь окна пластиковые, их нельзя украшать, как раньше.

Украшением окна может быть даже кошка. Кошки очень любят сидеть на подоконнике и смотреть на улицу. Вот Джаггернаут у бабушки, когда смотрит в окно, прилетают вороны и каркают, а он мяучит в ответ. Мы думаем, они его дразнят, потому что он очень любит быть на улице, особенно на даче. Он наш защитник. И украшение окна!

Окно есть у дома, чтобы он видел. Ставни — это веки дома. Но и через окна может посмотреть недоброжелатель. Значит, их надо защищать!

Дима Кутуров

Говорят, что раньше в окна ставили какие-то вещи. Я бы поставил под окна легендарный самолёт нашего отечества. Эти самолёты были бы на подставке. Потому что самолёт у меня значит «быстрый, неугомонный, сильный защитник дома»!

Читая «Царь-рыбу» В. П. Астафьева

Сочинения шестиклассников

Юлия Макринова

…Виктор Петрович Астафьев написал о древнем языческом существе. С самого начала рыба показалась главному герою — Игнатьичу — зловещей, «на доисторического ящера походила рыба», «что-то редкостное и первобытное было в её величие».

В своей повести автор показал, что у каждого, пусть не верующего, пусть грешного человека есть ещё шанс переродиться, стать лучше, правильнее. Для этого в древности юноши проходили обряд инициации, во время которого должны были символически «умереть», а потом — «воскреснуть». Так они становились другими — взрослыми.

Быть проглоченным рыбой и переродиться — один из элементов обряда (подобное происходит и с ветхозаветным Ионой).

У Виктора Петровича Астафьева прослеживается подобная мысль — неверующий Игнатьич, который дома даже иконку не держал, в критический момент взмолился Богу и попросил прощения за грехи. А позже и вовсе просит об искуплении, хочет пострадать за других — всех тех, «кто сей момент под этим небом, на этой земле мучает женщину». Словно Иисус Христос, страдающий за всё человечество.

«И сомкнулась над человеком ночь»… — Игнатьич словно бы умер.

И снова возродился — отпустила его рыба. А он не забыл обещанное, о покаянии, пожелал рыбе удачной жизни. Игнатьичу от этого стало легче, душа его очистилась.

Видно, и в самом деле стал другим человеком.

Анастасия Буланова

…Я думаю, Виктор Петрович Астафьев хотел сказать нам, что все могут попросить прощения, покаяться. И все могут быть прощены. Однако у автора покаяние происходит через испытание (вспомните Игнатьича, израненного, на крючках вместе с рыбой).

А если задуматься, то всё это восходит к представлениям о мире наших предков. Вспомнить обряд инициации, например… Обряд перерождения. Пострадать, пройти испытание, постичь тайный смысл… Для Игнатьича это тоже инициация, но для него это перерождение в «очищенного» человека, более взрослого душой. И рыба — как будто древнее существо — выступает в роли «священника», отпускающего грехи, принимающего искупление. И, жертвуя собой, рыба «прощает» его, сама освобождается от крючков, разорвав своё тело в клочья… Это и её жертва.

Такова женщина… И всё, что окружает героя: луна, ночь, река и даже лодка — всё женского рода… «Природа — она, брат, тоже женского рода!» — и это уже мысль не только Игнатьича, но и самого Виктора Петровича Астафьева, пронёсшего через всю жизнь трепетное отношение к женщине (рано ушедшей маме, бабушке, сёстрам, жене…)

Получается, и рыба — жертва покаяния, дарующая Игнатьичу возможность войти в новый мир, с новой душой, более «взрослой».

Елизавета Турова

…Повесть В. П. Астафьева «Царь-рыба» наполнена глубоким смыслом. Автор пытается донести до нас такую мысль: люди, никогда не поздно что-то изменить, никогда не поздно раскаяться, сознаться, молить о пощаде, признать все свои грехи, попросить прощения. У каждого есть ещё один шанс, один, только один — используйте его с умом, не скупитесь!

Я считаю так потому, что в этой повести Игнатьич был очень скуп, не веровал в Бога, насмехался над сказаниями деда, но был смелым и трусливым одновременно! Сразу возникает вопрос: как же так? Ситуация довольно странная, непонятная, даже парадоксальная. Трусость проявляется в момент, когда Игнатьич понимает, что ему пришёл конец. И, неверующий, он начинает молиться! Испугался смерти Игнатьич — грехов много совершил, а жить-то хочется, да и с грехами впридачу! А смелость проявляется в том, что — да, Игнатьич неверующий, — да, не держит иконки на всякий случай, но смерть близко, вот-вот глаза сомкнуться! Игнатьич решает рискнуть. Он осмеливается взмолиться к Богу, хотя никогда не верил… Не верил… Но всё-таки пытается… Кается… а вдруг Бог поможет?

Смерти боится всякий, а искупить свою вину не каждый может.

Илья Сазонтов

…Виктор Петрович Астафьев хотел нам сказать, что не надо грешить, даже если есть возможность покаяться. Ведь если грешить и долго не каяться, то, в конце концов, тебя заставят покаяться силой. В повести это «заставление» проявляется в виде царь-рыбы. Ведь Бог, я так думаю, сам создал обстоятельства для покаяния Игнатьича.

Очень даже возможно, что Бог подослал именно царь-рыбу, потому что Игнатьич рыбный браконьер. Я думаю, что если бы Игнатьич убивал лосей, то Бог бы, наверное, подослал ему царя лосей.

А ещё Виктор Петрович Астафьев говорит о том, что Бог видит всё.

Мастерская Е. В. Тимченко
Вечность и человек

Ульяна Помренина, 9 класс

Как-кап-кап. Вспышка.

Кап-кап-кап. Вспышка.

Кап-ка…

Вспышка. И вот в руках кусочек вечности, мгновение в формате 10 × 15. Капля, уже оторвавшаяся от потолка, но ещё не присоединившаяся к мутной лужице на полу. Сейчас она уже перемешалась с мутной водой и перестала существовать, но там, на снимке, она никуда не падает, там не действуют законы физики, нет «до» и «после» — есть только это мгновение, отображающее в себе вечность. Всё и ничего. Лишь на одно мгновение остановившееся время… Остановившееся, чтобы через мгновение пуститься в бесконечный пляс.

Софья Енгуразова, 8 класс

Что такое вечность? Отсутствие времени в пространстве застывшего хаоса, или же наоборот, хранилище мирового времени, всего времени, что прошло, идёт и ещё пройдёт?

Вселенная — как огромное сердце, сжимается до размеров песчинки, вызывая «Большой взрыв», который снова раскидывает небесные тела в пространстве пустоты. И так вечно, раз за разом, в едином, постоянном, невыносимо долгом и ужасающе быстром ритме.

А человек, постойте, где же человек?

Атом мельчайший. Что он для вещества Вселенной, что он для вечности — постоянной застывшей пустоты или же тесноты непрерывной пульсации?

Нет, даже не атом, электрон. Его масса, его мнение, его жалкие попытки покорить собственный атом, они ничтожны с точки зрения вечности, настолько ничтожны, что ими просто пренебрегают…

Так кто же мы? Блохи? Как удачно выразился один философ: «Человечество — блохи в белоснежном кролике вселенной, вытащенном из шляпы вечности. Кто-то, ища покоя, зарывается в кроличий мех, и лишь немногие, дети и философы, карабкаются на шерстинки, дабы одним глазком увидеть бесконечность».

И нельзя с этим не согласиться…

Анастасия Ясеницкая, 10 класс

Современные люди — дети урбанизации создали целую систему удовлетворения лени, обеспечения комфорта для себя любимых. Построили множество оград. Оббили стены своего сумасшедшего дома плюшем. Остальной мир умеет теперь обходиться без людей. Мы не нужны.

Впервые я, наверное, почувствовала значение такого чудовищного понятия, как «вечность», когда приехала на Байкал…

…Упрямые волны точат гранит, в воздухе стоит запах терпких, жухлых байкальских трав, будто впитавших в себя это безразмерное, присыпанное пеплом, бледно-голубое небо. Небо, не искалеченное проводами, не разбитое на правильные квадраты упрямыми линиями многоэтажек. Небо без нас — чистый абсолют. И под ним, слепым и протяжным, его отражение — Байкал. Всё тот же абсолют. Сидя на его берегу, ощущаешь на себе неиссякаемую мощь в вечном цикличном ударе волны о берег. В миге — вечность. Чувствуешь себя не то, что песчинкой, перекатываемой сильной ладонью времени, а всего лишь лишним, невидимым из-за своей малозначимости, выбившимся элементом.

Легко сказать, что Байкал был, есть и будет, труднее это соизмерить. Перед этим равнодушным видом можно понять, что бежать куда-то бессмысленно, бессмысленно страдать. Ходил ли ты по земле, был ли, любил? Ему всё равно. Мелкие страстишки схожие по приторности с растворимым чаем из пакетиков, теряют свою обоснованность, распадаются, вымываются упорным ритмичным движением. Раз — накатывает волна. Два — отступает обратно. Раз — чайка играет с ветром. Два — порыв влажного ветра в лицо. Это какое-то тяжёлое чувство — ощущать тотальную тщету собственной жизни и одновременно — умиротворяющее утешение.

Да, нас отлучили от вечности, нас окружает пугающее равнодушие, но, может быть, кому-нибудь из нас повезёт и его простят, примут обратно, может быть, мы найдём утешение в другом и начнём понимать это страшное слово «вечность».

Сергей Ошаров, 10 класс

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая лёгких времирей.

Велимир Хлебников, 1908 г.

Время. Что есть время? Может, часы? Тик-так, тик-так, тик-так, тик… и всё. Это значит — время вышло. Или напротив. Никто не может точно сказать: когда время приходит и куда уходит? Да и движется ли оно?

…Автобус. Люди. Много людей. И у каждого есть часы. Они тикают. И человек тикает. До тех пор, пока завод не кончился. А потом он не тикает. Падает и разбивается.

«Часы человечества, тикая,
Стрелкой моей мысли двигайте!»

Хотите позитива? Часы можно заводить. Так они дольше тикают. Люди тоже проживут дольше, если их поддерживать.

Но часы не будут тикать вечно. Время не любит, когда его начинают измерять. Любой механизм обращается в пыль. Любой человек — в прах. Сначала останавливаются люди, потом начинают гореть на кострах ценности, затем и сами костры обращаются в ничто.

Но нас-то это не касается, верно?

Мы живём вне времени. Лишь те, кто всегда идёт с оглядкой на время, стареют и умирают. Как? И мы тоже косимся на время? Какая незадача.

А кто-нибудь пробовал хоть раз не успеть и не опоздать? Не искать свободной минуты? Не говорить, что у него нет времени? Что занят. Некогда. Потом, когда будет время.

У нас в распоряжении целая вечность. Нет, не так. *Вечность*. Сколько было до нас и сколько будет после нас? Мы вечно молодые и бесконечно старые.

На чём зиждется наше бытие? На словах? Слова — пыль. На делах? Дела — ничто.

Так может… на времени?

Вы не хотели повернуть время вспять? А пытались? Да, глупо. Физики подтвердят. Ну, а что остаётся делать? Остаётся смотреть в бесконечность. А бесконечность на нас не смотрит. Потому что ей нужно время, чтобы обернуться, чтобы глянуть. А нам некогда. Мы посмотрим пару минут на неё и пойдём дальше.

Владимир Хохлов, 11 класс

Подчас о времени мы рассуждаем с вами:
Но время — это мы!!! Не кто иной. Мы сами.

Пауль Флеминг

Что такое вечность? Бесконечная глубина с всепоглощающей чёрной тьмой? Никто не может представить вечность. Я лишь могу поделиться своим мнением.

Для меня вечность — это общая картина всего существующего: видимого и невидимого, осязаемого и неосязаемого. Конечно, её полноту в общем виде я представить не способен, но это и не обязательно. Важен принцип, по которому действует и существует вечность.

Человек на фоне вечности — всё равно, что песчинка в космосе. И копейка по сравнению с тысячей — мелочь, однако без неё тысяча не будет тысячей. Так же и с любой составляющей вечности. Без неё она не вечность.

Ничего не уходит из вечности: люди умирают и рождаются, вода испаряется и идёт дождь. Мы без вечности — ничто, но и она без нас — тоже не вечность, отсюда: мы — вечность, а вечность — это мы! Мы все одинаковые, ибо мы одно целое. Так что я — это всё: деревья, скалы, люди, океан, звери и т. д.

Поэтому мы одиноки, что мы одно целое, у нас своего ничего нет. И у нас есть всё, ибо мы одно целое. И нельзя ничего потерять, ибо всё — одно целое.

Мастерская М. О. Наумовой «Теория и история лирических жанров»

Дарья Шлапак, 7 класс

Подражание Сафо

Врут вороны, что конца морозам не будет.
Врут, что холод навек останется в мире.
Вот уж солнечный луч постучал в окошко:
Солнце проснулось.

Лёгкий праздничный ветер природу будит.
Разольются по городу снега реки.
Тёплой ночью весенней твоё однажды
Сердце растает.

стр. 159
Астафьева Анастасия Викторовна
Санкт-Петербург, 1975 г. р.

Родилась в г. Вологде. Писать начала с пятнадцати лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский Альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза Российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького (Москва). В настоящее время студентка 5 курса Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения (киноведение).

стр. 89
Амколадзе Темур
Кутаиси, 1957 г. р.

С отличием окончил историко-филологический факультет Кутаисского педагогического института. Работал учителем. С 1981 года по настоящее время работает в республиканском литературном журнале «Гантиади». Сегодня он — заместитель главного редактора этого издания. Его перу принадлежат романы «Забытая история» и «Разбойники Двалишвили», сборник стихотворений «Двадцать лет назад» и эссе «Граница». Лауреат премии им. Нико Николадзе.

стр. 16
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп — «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 95
Бондаренко Станислав
Киев, 1954 г. р.

Поэт, журналист. Родился на Днепропетровщине в семье бывшего узника трёх концлагерей, в том числе Бухенвальда. Автор 19 книг. Публикации в «Литературной газете», альманахе «День поэзии», антологиях «Украина. Русская поэзия. XX век», «Планета Поэзия» и др. Автор более тысячи статей и интервью с известными литераторами и мировыми политиками. Десять лет вёл свою литстраницу в «Киевских ведомостях», затем возглавил газету «Литература и жизнь», а с августа 2010-го — заместитель главного редактора газеты «Літературна Україна». Лауреат премий имени А. П. Чехова, Максимилиана Волошина и Бориса Нечерды.

стр. 150
Винничук Александр
Ростов на Дону, 1990 г. р.

Поэт. Публиковался в журналах «День и ночь» (Красноярск), «Наш современник», «Спутник» (оба — Москва), «Свисток» (православный интернет-журнал). Студент Факультета филологии и журналистики ЮФУ.

стр. 158
Гайдукова Людмила Сергеевна
Зеленогорск Красноярского края

Родилась в г. Улан-Удэ. Окончила Дальневосточный государственный университет по специальности «астрономо-геодезия». С 1982 года живёт и работает в г. Зеленогорске.

стр. 204
Генчикмахер Марина Александровна
Лос-Анжелес, 1962 г. р.

Родилась 23 апреля 1962 г. в Киеве. Публиковалась в Киевских сборниках «Ренессанс», «Радуга», в американском журнале «Вестник», альманахах «География слова», «Общая тетрадь» и «Побережье», ежегоднике «Тайвас», в российском альманахе «Земляки»; в антологиях «Поэты Украины», «45-я параллель».

стр. 152
Дегтярёва Лариса Вячеславна
Астрахань, 1972 г. р.

Окончила Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работает в Каспийском НИИ рыбной промышленности и хозяйства. Гидрохимик. Стихи начала писать в 22 года. В возрасте 24-х лет была принята в СП России. Стихи и проза публиковались во многих астраханских литературных газетах, журналах, сборниках, альманахах, в «Литературной России», в ростовском «Ковчеге» и др. Выпустила

4 авторских сборника стихов: «Бесцветные гармонии», «Музеи», «Открытое письмо», «Разговоры во сне».

стр. 21 **Есин Сергей Николаевич**
Москва, 1935 г. р.

Заочно окончил филологический факультет МГУ (1960). Работал библиотекарем, фотографом, журналистом, лесником, артистом, главным редактором журнала «Кругозор». Член СП СССР с 1979. В 1981 окончил заочно Академию общественных наук при ЦК КПСС. С 1987 преподаватель, в 1992–2006 также ректор Литературного института. Член правления (с 1994), секретарь (с 1999) Союза писателей России. Вице-президент Академии российской словесности. Заслуженный деятель искусств РФ. Почётный работник высшего образования РФ. Лауреат Международной премии М. А. Шолохова в области литературы и искусства.

стр. 129 **Заворина Татьяна Владимировна**
Владимир

Окончила факультет журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Преподавала русский язык в МГУ, затем во Владимирском педагогическом университете; работала заведующей редакцией издательства «Золотые ворота»; была пресс-секретарём губернатора Владимирской области Н. В. Виноградова. В настоящее время филолог в Арбитражном суде Владимирской области. Публикации в литературно-краеведческом журнале «Владимир» и сборнике «Годова гора».

стр. 99 **Зиновьев Николай Александрович**
Краснодарский край, 1960 г. р.

Учился на филологическом факультете Кубанского государственного университета. Работал грузчиком, электросварщиком. Первая книга стихов в 1987 г. С тех пор издано 14 поэтических сборников (Москва, Кубань, Иркутск, Киев, Новосибирск). Член Союза писателей России с 1993 года. Лауреат нескольких литературных премий. Стихи публиковались в журналах: «Наш современник», «Всерусский собор», «Дон», «Москва», «Роман-журнал 21 век», «Родная Кубань», «Волга — 21 век», «Казаки», «Сибирь», «Сельская новь», «Подъём», «Дальний Восток» и других, а также в газетах: «Российский писатель», «Литературной газете», «Литературной России», «День литературы» и др.

стр. 87 **Иванов Геннадий Викторович**
Москва, 1950 г. р.

Родился в городе Бежецке Тверской области. Детство начиналось в деревне, в полях, в начальную школу ходил в бывший барский дом из имения Слепнёво, где когда-то жили и творили Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Потом семья переехала в город Кандалакшу на Кольский полуостров — там жили в бараке на берегу Белого моря, там окончил школу, оттуда уходил в армию, в арктическое плавание, там работал в районной газете и начал писать стихи. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе премии Ф. И. Тютчева «Русский путь» и Большой литературной премии России. Первый секретарь Союза писателей России.

стр. 101 **Иванов-Таганский Валерий Александрович**
Москва, 1943 г. р.

Прозаик, секретарь правления Союза писателей России, вице-президент Петровской академии наук и искусств, Заслуженный артист РФ. Родился в г. Никологорске. После окончания Щукинского театрального училища был ведущим актёром театра на Таганке (Керенский, Дамис, Лаэрт, Глумов), позже окончил Литературный институт им. Горького (семинар В. Розова) и ГИТИС (режиссёрский факультет). Многие годы был Главным режиссёром академического тетра им. Лермонтова (г. Алма-Ата) и режиссёром «Содружества актёров театра на Таганке». Автор романов «Путешествие в неизвестное», «Обречённая на жизнь», «Грабли для Сатрапа», «Семя отечества», «Грязь к алмазам не пристаёт», «Кого отмечает Бог», «Запрет на прозрение», сборника пьес «Под старой крышей». По роману «Семя Отечества» режиссёром Ю. Карой снят телесериал «Репортёры». Многие годы В. Иванов-Таганский вёл на первом канале популярную передачу «Искатели».

стр. 5 **Кавин Николай Матвеевич**
Санкт-Петербург

Родился в Ленинграде. После окончания средней школы три года работал на ленинградском телевидении. Окончил театральное отделение Института культуры, работал директором заводского клуба, режиссёром любительских театров в Бокситогорске (Лен. обл.) и Нарве (Эстония). В 1978–1992 гг. — актёр, а затем заведующий литературной частью Красноярского ТЮЗа. С августа 1992 г. — журналист «Радио России — Санкт-Петербург». Опубликовал беседы с академиками Д. С. Лихачёвым и А. М. Панченко, писателями В. П. Астафьевым и В. В. Конецким (ж. «День и ночь», «Звезда», г. «Первое сентября»). Литературный исследователь. Впервые по автографам опубликовал многие тексты Д. Хармса. Автор-составитель сб. детских произведений Х. («Летят по небу шарики», Красн. кн. изд. 1990), автор статей о Д. И. Хармсе и его отце И. П. Ювачеве.

стр. 154 **Кердан Александр Борисович**
Екатеринбург, 1957 г. р.

Родился в г. Коркино Челябинской области. Автор более 30 книг, вышедших в Москве и на Урале. Произведения переведены на английский, итальянский, грузинский, азербайджанский и другие языки. Член Союза писателей России. Лауреат нескольких литературных премий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

стр. 200 **Кондаурова Полина Борисовна**
Санкт-Петербург, 1981 г. р.

Обладатель премии «Новые имена». Лонг-лист премии им. Гумилёва «Заблудившийся трамвай», 2008. В 2001 году в Абакане вышел сборник стихов «Прилюдье». Печаталась в «Литературной газете». Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2009 года в номинации «Поэзия».

стр. 109 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск, 1982 г. р.

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра.

стр. 153 **Коуп Венди**
Винчестер, 1945 г. р.

Родилась на Юго-Востоке Англии в графстве Кент. Закончила исторический факультет Оксфордского университета, где была студенткой в женском колледже Св. Хильды. После университета 15 лет проработала учительницей в начальной школе. В 1981 г. стала одним из редакторов лондонского журнала «Контакт», а через 5 лет — корреспондентом британского еженедельника «Зритель», с которым она сотрудничала до 1990 г. Автор четырёх поэтических сборников. Её первый сборник «Готовя какао Кингсли Эмису» (Making Cocoa for Kingsley Amis, 1986) сразу же принёс автору широкую известность. Под редакцией Венди Коуп вышло несколько поэтических сборников, а в 2007 г. она вошла в состав жюри Букеровской премии. В 1987 г. Венди Коуп была удостоена премии Союза Писателей Англии. В 1995 г. она получила премию Американской Академии Искусств, а в 2010 г. была удостоена звания офицера Ордена Британской Империи.

стр. 153 **Крофтс Наталья Викторовна**
1976 г. р.

Поэт, переводчик, бродяга, побывавший в пятидесяти странах и живший в семи, от Америки до Австралии. Родилась в Херсоне. Закончила МГУ им. Ломоносова (Россия) и Оксфордский университет (Англия) по специальности классическая филология. Пишет стихи на русском и английском языках. Переводит с английского, итальянского, новогреческого.

стр. 84 **Кудрявцев Владимир Валентинович**
Вологда, 1953 г. р.

Родился на костромской земле в посёлке Сусанино. В Вологде — с юности. Работал в газетах, в том числе — главным редактором молодёжной газеты «Вологодский комсомолец», из которой вышло немало членов творческих союзов. Работал и на телевидении, возглавлял областное управление культуры. Автор сборников стихов «Венцы», «Алевтинин ручей», «Заклинание», «Пророчество кукушки», «Исповедальный день», «Мы рубим дом», «Осень света». Член Союза писателей России.

стр. 217 **Кулешов Павел Геннадьевич**
Ташкент, 1960 г. р.

Родился в Новокузнецке. С 1967 г. живёт в Узбекистане. По образованию биолог, окончил в/о биолого-почвенного факультета ТашГУ в 1986 году. В 1985 посещал семинар молодых и начинающих писателей при СП Узбекистана. После развала Союза в 1993 году работал научным сотрудником в лаборатории психологии Центрального института повышения квалификации работников народного образования, руководил психологической службой в Республиканском институте повышения квалификации работников проф-технического образования. Работал в Ташкентском Государственном Экономическом Университете, проводил психотренинги, преподавал химию, биологию, историю, географию, основы духовности в частной школе. Занимается психологическим консультированием.

стр. 208 **Кутенков Борис**
Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. Работает корреспондентом муниципальной газеты. Учится на 5-м курсе Литературного института им. А. М. Горького. Автор стихотворного сборника «Пазлы расстояний». Публикации в «Литературной газете», газетах «Литературная Россия», «НГ-экслибрис», журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Урал», «Наш современник», «Литературная учёба», «Юность», «Студенческий меридиан» и др. Лауреат и призёр нескольких литературных конкурсов.

стр. 41 **Лазарчук Андрей Геннадьевич**
Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт по профессии врач-реаниматолог, работал в различных медицинских учреждениях. Первые удачные литературные опыты относит к 1983-му году. С 1990-го — профессиональный писатель, автор достаточно известных романов «Все, способные держать оружие», «Транквилиум», трилогии «Посмотри в глаза чудовищ» (в соавторстве Михаилом Успенским) и других. В 1992 году окончил Московский литературный институт. Член Союза российских писателей и Русского ПЕН-клуба. Участник «Малеевских» и «Дубултинских» семинаров. Перевёл на русский язык произведения Филипа Дика, Роберта Хайнлайна («Не убоюсь я зла»), Люциуса Шепарда. Лауреат ряда литературных премий.

стр. 15 **Лебедева Жанна**
Швейцария, 1978 г. р.

Родилась в Санкт-Петербурге, закончила Санкт-Петербургскую Консерваторию как пианистка и композитор. Стихи публиковались в журналах «45-ая параллель», «Зарубежные задворки», газете «Гатчина-инфо».

стр. 196 **Ливинский Станислав**
Ставрополь, 1972 г. р.

Окончил училище по специальности фотография. Служил в армии. Работал фотокорреспондентом, видеооператором, звукорежиссёром. Литературой занимается 15 лет. Участвовал в Форумах молодых писателей России 2006–2010 гг., в мастер-классах А. Кушнера, М. Айзенберга, С. Гандлевского, О. Николаевой и М. Амелина. Стипендиат Министерства культуры РФ (мастер-класс поэзии журнала «Знамя») Стихи печатались в «Литературной газете», журналах «Юность», «Дети Ра», «Волга», «Южная звезда», сборниках «Новые писатели». Книга стихов «Оглазок».

стр. 177 **Лукин Евгений Валентинович**
Санкт-Петербург, 1956 г. р.

Окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена. Работал учителем, журналистом, проходил военную службу. Участник первой кавказской войны. Публиковался в журналах «Костёр», «Нева», «Аврора», «Дарьял», «Литературная учёба», «Русская литература», «Флейта Евтерпы» (США), «Новый берег» (Дания) и других. Автор стихотворных сборников «Пиры», «Sol oriens», «Lustgarten, сиречь вертоград царский», романа «По небу полуночи ангел летел», сборника литературно-философских эссе «Пространство русского духа», книги «Философия капитана Лебядкина» и других. Переводчик произведений древнегреческих, древнерусских и современных европейских авторов. Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии имени Н. В. Гоголя (2006). Главный редактор литературно-художественного журнала «Северная Аврора».

стр. 125 **Любицкий Владимир Николаевич**
Москва, 1940 г. р.

Поэт, прозаик, публицист. Окончил МГУ. Работал в районных и областных газетах, в «Правде» и «Комсомольской правде», гл. редактором журнала «Иллюстрированная Россия» (1993). Печатается как прозаик и публицист в журналах «День и ночь», «Наш современник». Член Союза журналистов РФ.

стр. 235 **Миллер Константин**
Германия

Родился в Комсомольске-на-Амуре, но вскоре был оттуда вывезен родителями в Новосибирск. Выпускник исторического факультета Педагогического университета. Несколько лет работал в археологических экспедициях, преподавал историю в разных учебных заведениях. Автор нескольких пьес. Публикации на сайте «Проза.ру», в журнале «День и ночь».

стр. 3 **Москалюк Марина Валентиновна**
Красноярск, 1960 г. р.

Доктор искусствоведения, профессор, член Союза художников России. Окончила Красноярское училище искусств (фортепианное отделение), Уральский государственный университет (филологический факультет, специальность — искусствоведение). Автор более 100 научных статей, 6-ти монографий, составитель буклетов и каталогов художественных выставок.

стр. 198 **Мурзин Дмитрий Владимирович**
Кемерово, 1971 г. р.

Поэт, выпускник литинститута им. Горького (семинар Игоря Волгина). Автор книг «Ангелопад» (1997), «Белое тело стиха» (1998), «Клиническая жизнь» (2010). Публикации в журналах «Москва», «Наш современник», «Дети Ра», «День и ночь». Ответственный секретарь журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 206 **Оланов Андрей**
Ачинск, 1990 г. р.

Работает журналистом, заочно учится на факультете журналистики в Сибирском Федеральном Университете.

стр. 110 **Пахомов Юрий Николаевич**
Москва, 1936 г. р.

Закончил два факультета Военно-медицинской академии, служил на подводных лодках и надводных кораблях Черноморского и Северного флотов. В период с 1976 по 1987 гг. — Главный эпидемиолог ВМФ страны. Участник военных действий в различных «горячих точках». За заслуги перед Отечеством награждён орденом Красной Звезды и многими медалями. Службу в ВМФ совмещал с литературной деятельностью. Член Союза писателей СССР с 1979 года. Автор двадцати книг. Занимался активной общественной деятельностью в Союзе писателей, избирался заместителем председателя ревизионной комиссии СП России (1989–1994), секретарём правления СП России (1994–2004), с 2004 года — член Высшего творческого совета СП России. Произведения публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Знамя», «Звезда», «Север», «Кубань», «Воин России», «Двина», «Белый пароход», «Южная звезда» и др., в русскоязычных журналах США и Германии, а также в других изданиях. Лауреат Международной литературной премии им. В. Пикуля, всероссийских литературных премий «Прохоровское поле», «Правда — в море», премии имени Константина Симонова.

стр. 117 **Раковицэ Георге**
Кишинёв

Член Международной организации журналистов и Союза журналистов Молдовы. Лауреат специальной премии жюри на Международном конкурсе литературного творчества им. Димитрия Болинтинеану (1994), Национального конкурса им. Михаила Садовяну. Обладатель Похвальной Грамоты фестиваля сатиры и юмора «Золотое яблоко» (2005), Диплома Митрополии Православной церкви Молдовы (2002) за публикации

на религиозные темы, медали «Меритул Чивик» (2004) за долголетнюю творческую деятельность и вклад в пропаганду духовно-нравственных ценностей. Член Международного сообщества писательских союзов. За плодотворную работу в области Кинематографии награждён значками «Отличник кинематографии СССР» и «Отличник кинематографии Молдавской ССР».

стр. 85 **Расторгуев Андрей Петрович**
Екатеринбург, 1964 г. р.

Родился в Магнитогорске. Окончил Уральский государственный университет (1986) и Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ (1999). Автор пяти поэтических книг и многих журнальных публикаций. Кандидат исторических наук. Лауреат Государственной премии Республики Коми, премии журнала «Урал» (2008). Председатель жюри Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова (2007–2010). Председатель Екатеринбургского отделения Союза писателей России.

стр. 175 **Селянинов Владимир Николаевич**
Красноярск, 1935 г. р.

Родился в г. Заозёрный Красноярского края. Закончил лесоинженерный факультет СибЛТИ. До выхода на пенсию в 1995 году работал на стройках края. Автор книг «Очень хочется умереть» и «Земля трясётся». Публикации в журнале «День и ночь», других журналах и газетах. Член Союза российских писателей.

стр. 213 **Симонов Глеб**
Нью-Йорк, 1986 г. р.

Основные публикации в журналах «Крещатик» и «Черновик», на сайтах «Полутона», «Точка.Зрения», сетевых журналах «Новая Реальность», «Топос» и «Альтернация». Лонг-листер премии «Дебют—2010» и конкурса им. Н. Гумилёва (2010). шорт-листер поэтической премии «П» (2010). Главный редактор сайта раритетного самиздата «Книжница». Бывший художественный редактор и номинатор Большого Литературного Конкурса. Помимо стихов, пишет крупную прозу, занимается цифровой и аналоговой фотографией. По профессии график-дизайнер.

стр. 156 **Скобло Валерий Самуилович**
Санкт-Петербург, 1947 г. р.

Окончил математико-механический факультет Ленинградского университета в 1970. В 1970–2007 работал инженером, научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Многочисленные публикации в области прикладной математики, радиофизики, оптики. С 1993 г. член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российских и зарубежных изданиях: «День поэзии», «Молодой Ленинград», «Нева», «Аврора», «Невский альбом», «Петербургский час пик», «Невское время» (СПб), «Арион», «Литературная газета» (Москва), «Независимая русская газета», «Колокол» (Англия), «Горизонт»,»Новое русское слово», «Слово\Word» (США), «Иерусалимский журнал» (Израиль), «Крещатик» (ФРГ) и др.; в неподцензурных изданиях (1982–1983): антологии «Острова», журнале «Молчание»; стихи для детей—«Чиж и Ёж» (СПб).

стр. 216 **Ушкин Антип**
(псевдоним), Владимир

Автор иронических стихов. Публикации на сайтах «Стихи.ру», «45-я параллель», «Топос», «Изба-читальня»

стр. 202 **Хугаев Ирлан Сергеевич**
Северная Осетия-Алания, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета им. Коста Хетагурова; преподавал русский язык и литературу в школах Северной Осетии-Алании. Кандидат филологических наук. До 2002 года преподавал на филологическом факультете СОГУ (с 2000 года—доцент кафедры русской литературы); в 2003 году поступил в докторантуру РУДН (Москва), преподавал историю русской литературы, критики и журналистики в Новом гуманитарном университете Натальи Нестеровой. В настоящее время—сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований РАН при Правительстве РСО-Алания. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь».

стр. 192 **Юшманова Варвара**
Красноярск, 1987 г. р.

Поэт, журналист. Родилась в Братске. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «журналистика». Студентка 2 курса Литературного института им. А. М. Горького. Публиковалась в сборниках «Братск—Пушкину», газете «Вестник» (г. Ульяновск), журнале «Волга. XXI век» (г. Саратов), «День и ночь».

стр. 214 **Ягодинцева Нина Александровна**
Челябинск, 1962 г. р.

Выпускница Литературного института имени Горького, член Союза писателей России с 1994 года. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор 8 поэтических книг, переводов с азербайджанского и башкирского языков, а также более 500 поэтических, литературно-критических и научных публикаций в литературных и научных изданиях. Лауреат Всероссийских литературных премий им. П. Бажова (2001), им. К. Нефедьева (2002), им. Д. Мамина-Сибиряка (2008), лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга-2007» (за книгу «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности»), многократный лауреат конкурса «Южно-уральская книга».

Редакционная подписка

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2011 год стоит 1320 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 220 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам ближнего и дальнего зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку, необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65,
e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика)   ____________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ____________________

Адрес для доставки: ____________________

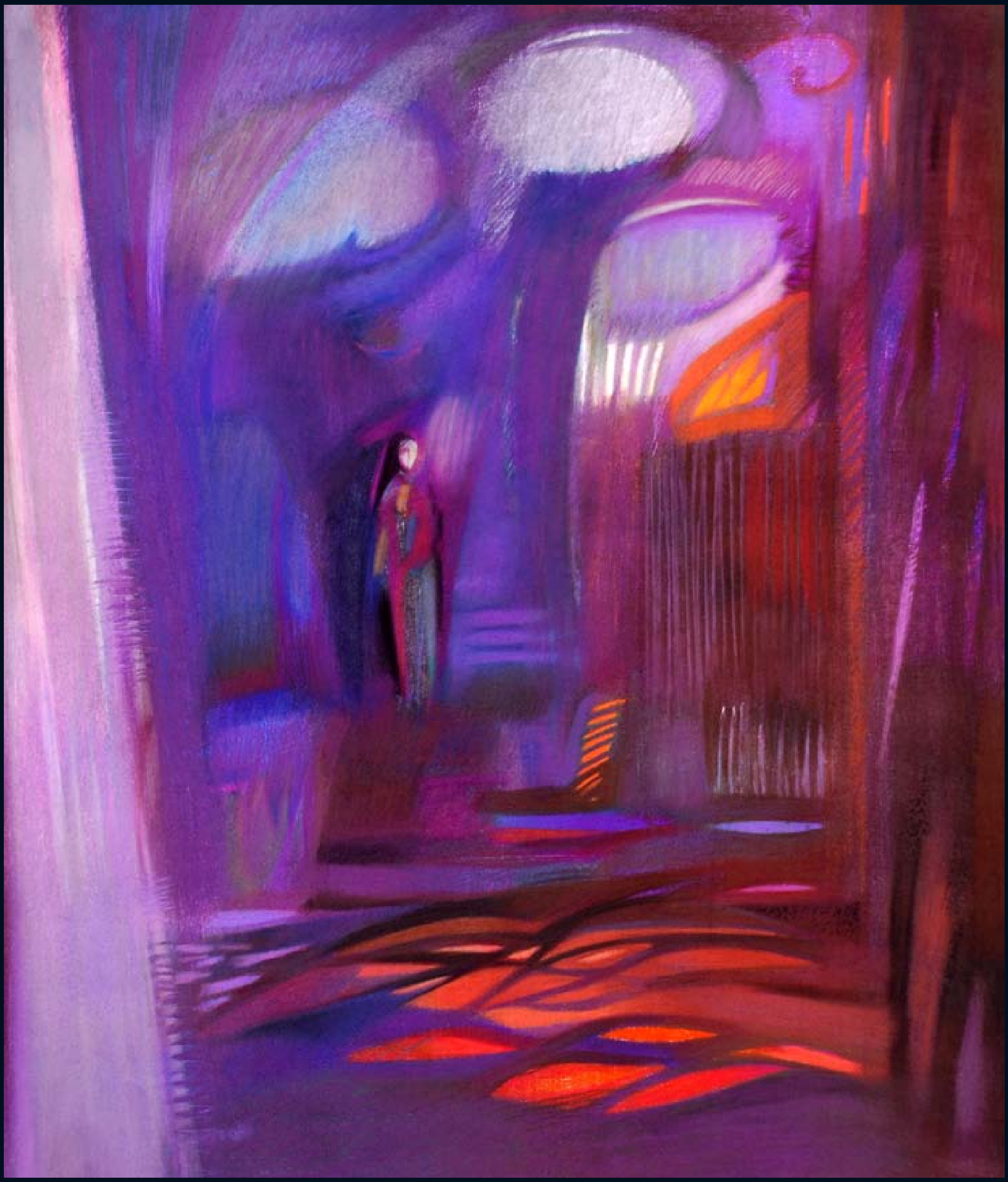
____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

____________________ (подпись плательщика)   ____________________ (дата платежа)



Румяна Внукова. «Псалом 41. Что унывешь ты, душа моя...»

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых. 2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже! 3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице
Божие! 4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «где Бог
твой?» 5 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с
ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. 6 Что унываешь ты,
душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога
моего. 7 Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона,
с горы Цоар. 8 Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои
прошли надо мною. 9 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к
Богу жизни моей. 10 Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя
хожу от оскорблений врага? 11 Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: «где Бог твой?» 12 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Румяна Внукова. «Псалом 26. Кого мне бояться»

1 Господь—свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне
страшиться? 2 Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть
мою, то они сами преткнутся и падут. 3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое;
если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. 4 Одного просил я у Господа, того только
ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать [святый] храм Его, 5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы
меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. 6 Тогда вознеслась бы голова
моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы
петь и воспевать пред Господом. 7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня
и внемли мне. 8 Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего,
Господи. 9 Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником
моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! 10 ибо отец мой и мать моя оста-
вили меня, но Господь примет меня. 11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю
правды, ради врагов моих; 12 не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня
свидетели лживые и дышат злобою. 13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.